С. Г. СТРУМИЛИН

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

•

ВОСПОМИНАНИЯ И ПУБЛИЦИСТИКА

•

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Академик

С. Г. СТРУМИЛИН

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

•

ВОСПОМИНАНИЯ И ПУБЛИЦИСТИКА

•

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва 1968

Посвящается лучшему другу
Т. Г. Струмилиной

ОТ АВТОРА

Подводя итоги своей научной деятельности за 60 с лишним лет, мне удалось, на мой взгляд, уложить лучшие из моих экономических работ в пяти томах избранных произведений, изданных еще в 1963—1965 гг. Основная тематика этого собрания видна уже из заглавий отдельных томов.

1. Статистика и экономика.
2. На плановом фронте.
3. Проблемы экономики труда.
4. Очерки социалистической экономики СССР.
5. Проблемы социализма и коммунизма в СССР.

За пределами этой тематики оставалось, однако, еще немало других работ. В 1966 и 1967 гг. вышли еще две книги на исторические темы — «Очерки экономической истории России и СССР» и «История черной металлургии СССР».

В предлагаемой ныне читателю последней книге моих избранных трудов, помимо собственных воспоминаний «Из пережитого» и очерка, посвященного памяти моего мудрого учителя и доброго друга Г. М. Кржижановского, вошли еще несколько публикаций дореволюционных лет и отклики на злобу дня. Все они перекликаются между собою, с нашей историей и общими интересами современной революционной эпохи.

Академик С. Г. Струмилин
Герой Социалистического труда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя академика Станислава Густавовича Струмилина уже давно пользуется в нашей стране заслуженной известностью и авторитетом.

Возраст С. Г. Струмилина — почтенный; нынешняя молодежь вполне может оценить этот возраст «дедовским». Но никакой «преклонности» в неустанных трудах этого «деда», к счастью, мы не замечаем. Он и в наши дни полон творческой энергии. Его фундаментальные работы по-прежнему отличаются не только глубокой продуманностью и оригинальным подходом, но и исключительно обширным использованием материалов. Сказываются навыки огромной трудовой жизни. Эти навыки были такого рода, что обеспечили ему удачное новаторство в целом ряде областей советской экономики и научно обоснованной статистики. Не случайно в настоящей своей автобиографии С. Г. Струмилин поясняет, почему он отдает предпочтение элементам анализа сравнительно с элементами дедукции. Он находит, что именно элементы анализа вскрывают новь.

Литературное наследство С. Г. Струмилина огромно. Посмотрите его библиографию, изданную Академией наук СССР, и вы сразу убедитесь, что среди наших экономистов и статистиков соперников в этом отношении у него нет. Будем надеяться, что его литературное наследство еще далеко, далеко от своего завершения.

Для иллюстрации всего сказанного достаточно взглянуть на том «Истории черной металлургии в СССР». Только беглый просмотр этой работы показывает, насколько в своих трудах С. Г. Струмилин обычно дает больше, чем это обещано в их заголовке. И в данном случае трактат Струмилина о черной металлургии является по сути дела изложением истории нашей индустриализации с привлечением колоссального цифрового материала, статистических сводок, вскрывающих все тайники в этой области. Но, скажут, академику нетрудно обставить себя целым штатом счетчиков и затем обрабатывать нечто уже обработанное. Однако всякий осведомленный в обстановке работы С. Г. Струмилина знает, что никаких счетчиков при нем не состояло и не состоит. Все обработано только им самим — не случайно ему и в домашнем обиходе трудновато расстаться с логарифмической линейкой...

Но автобиография С. Г. Струмилина представляет собой интерес не только потому, что она является автобиографией крупного ученого: перед нами автобиография крупного ученого-революционера, и наука, им разрабатываемая, не обычная наука стародавних времен, *а та наука революционеров, которая идет на смену науке доктринеров.*

---

* Написано в 1957 г. к работе С. Г. Струмилина «Из пережитого. 1897—1917 гг.»

Невольно вспоминаются далекие от нынешних дней времена первого Госплана на путях подхода к нашей первой пятилетке. Эта пятилетка впоследствии получила название пятилетки великих работ и развернутого социалистического наступления. Но пути подхода к ней были весьма затяжными и трудными. Самые прерогативы центрального Госплана оспаривались крупнейшими хозяйственными ведомствами, причем ВСНХ, Наркомпуть и Наркомзем весьма и весьма упорно защищали свою самостийность в вопросах общегосударственного плана. И даже такие организации, как Комиссия использования и Осотоп (Особое совещание по топливу), едва-едва терпели Госплан как своего скромного попутчика. А между тем конкретный государственный план был исключительно важной государственной необходимостью. Государственное планирование крайне нуждалось в опоре на крупные, экономически обоснованные районы. Сетка этих районов была старательно продумана в Госплане, но юридическое оформление этих районов приняло исключительно затяжной характер. Разведка наших природных материальных ресурсов находилась настолько в зачаточном состоянии, что, например, по тогдашним временам наша страна считалась страной органического дефицита топлива. Одного этого достаточно, чтобы видеть, в каком разрыве наши знания находились по сравнению с действительным положением вещей.

Да и сам государственный статистический аппарат только налаживался, несмотря на давнишние указания В. И. Ленина, что статистики должны быть нашими вернейшими помощниками в деле государственного хозяйственного планирования.

Вся эта обстановка с особой яркостью выявилась на первом съезде Президиума Госплана СССР и госпланов союзных республик с участием местных плановых органов в Москве (10—17 марта 1926 г.) [1]

Основной доклад на тему «Пятилетняя перспективная ориентировка Госплана СССР» был сделан С. Г. Струмилиным. Рассматривая сейчас положения доклада и статистические сводки 33 таблиц, наглядно видишь, каким исключительным мастером был С. Г. Струмилин и по эрудированности и по смелости «домыслов» для того, чтобы подняться до уровня своих предвидений и предуказаний в этом труднейшем почине. Этот документ ярко характеризует конкретно ту науку революционеров, которая создалась у нас только в условиях победоносной Октябрьской социалистической революции при неустанном вдохновляющем и ведущем руководстве нашей великой Коммунистической партии.

Вклад, сделанный С. Г. Струмилиным в это дело, трудно переоценить. Если же сюда еще присоединить литературные выступления С. Г. Струмилина в период нашей первой революции, то этого будет достаточно, чтобы видеть, насколько настоящие автобиографические заметки представляют собой интерес. И это тем более, что события своей жизни С. Г. Струмилин рассказывает без всяких прикрас, с исключительной прямотой и предельной искренностью. К тому же его «университеты» в тюрьмах и ссылках так показательны для всего авангарда нашего тогдашнего революционного подполья.

Правда, «хождение по мукам», которое пришлось испытать С. Г. Струмилину, было не просто многолетнее пребывание в бесчисленном количестве тюрем, среди которых такие цитадели, как выборгские «Кресты», питерская «Предварилка» на Шпалерной, московские «Бутырки», были лишь частностью. Отсидка юного Струмилина принимала особый характер вследствие его стоической и прямолинейной самоотверженности. В «Крестах» его бьют до потери сознания, бьют,

---

[1] См. «Проблемы планирования (итоги и перспективы)». М., изд-во «Плановое хозяйство», 1926.

что называется, насмерть, и, когда он приходит в сознание в смрадном карцере, он имеет основание удивляться, что непоправимых увечий у него не оказалось. В своей тюремной голодовке он опять-таки по причине своей «прямолинейной остроугольности» идет на абсолютную голодовку, т. е. отказывает себе не только в пище, но и в питье. Дело кончается мытарствами на тюремной больничной койке, где он на себе проверяет законы Вебера — Фехнера и делает заметки о том, что ощущает человек, приближающийся к смерти в такой обстановке.

В другом случае, чтобы покончить с затянувшейся тюремной сидкой, он задумал инсценировать самоповешение. Однако эта попытка инсценирования превратилась в настоящее повешение, и он был вынут из петли почти в безнадежном состоянии.

Пути жизни юного Струмилина были тернисты не только в этих тяжелых испытаниях. В своей автобиографии он подчеркивает, что в возрасте 20 лет он был уже и марксистом, и профессиональным революционером. Но к марксизму-ленинизму, к подлинному, научному и творческому коммунизму он пришел лишь в возрасте 40 лет.

И это несмотря на то, что на заре своей подпольной революционной деятельности он встречался с В. И. Лениным (в Париже). По прямому поручению Владимира Ильича он отправляется в Петербург уже в качестве «искровца». Однако в душе его — мятежные настроения против «фракционной грызни», приводящие его к положению меньшевика среди большевиков и большевика среди меньшевиков. И лишь гнусное поведение меньшевиков во времена керенщины открывает ему глаза на дальновидность ленинской политики, и он окончательно отходит от меньшевизма и становится большевиком. А ведь, казалось бы, вся обстановка его семьи, в которой «говорили по-польски, пели по-украински, а читали по-русски», его школьные годы в особо благоприятной среде педагогов, наконец, исключительно разносторонняя одаренность его интеллекта должны были обеспечить ему более быстрый переход от догматического восприятия марксизма к его творческим высотам.

Эти мытарства юного Струмилина приобретают особый интерес для оценки судеб революционеров из среды разночинной интеллигенции по сравнению с судьбами революционеров из среды пролетариата. Невольно вспоминаются вещие слова В. И. Ленина относительно того, что люди разных профессий каждый по-своему идут к коммунизму. Вспоминается и ленинская мысль о том, что революционный авангард нашей страны поистине *выстрадал* свой подход к коммунизму.

Автобиография С. Г. Струмилина, деятельного участника нашего революционного подполья и всех трех революций, делегата Стокгольмского и Лондонского съездов нашей партии, дает ряд художественных зарисовок людей и событий того знаменательного времени. В зарисовках много жизненной правды и душевной теплоты. Но они говорят и о большем: они говорят нашей нынешней молодежи, как много ей дано и как много поэтому мы можем ожидать от ее свершений.

Мы не сомневаемся в доброй встрече широким кругом советских читателей захватывающе интересных воспоминаний С. Г. Струмилина.

Академик Г. М. Кржижановский,
член КПСС с 1893 г.

ИЗ ПЕРЕЖИТОГО
1897—1917 гг.*

●

* *С. Г. Струмилин. Из пережитого. 1897—1917 гг. Госполитиздат, 1957*

На долю моего поколения выпала удача стать современниками трех революций и таких социальных пертурбаций, каких еще не видел мир. Была бы излишней, да и непосильной для меня задачей попытка отобразить все те великие и грозные события, свидетелем и даже участником которых стало мое поколение, опираясь лишь на такой слабый и обманчивый источник, как индивидуальная память их современника, тем более, что они зафиксированы в тысячах документов и публикаций, давно ставших общим достоянием. Менее известно, однако, как формировались, думали и чувствовали себя, переживая эти события, их непосредственные участники. Я имею в виду не вождей человечества — лидеров данной эпохи и передового класса — и не охвостье старого, отживающего мира, а те рядовые кадры великой перестройки мира, которые, не забегая вперед, но и не отставая от своего времени, шли в ногу со своей эпохой.

Материалом для освещения этого вполне могут служить не только акты исторической достоверности, но и такие человеческие документы, как воспоминания отдельных лиц. Правда, в них наряду с типичным для данной эпохи всегда отлагается немало случайного, характерного для данного автора и его персонажей. Однако, черпая в пережитом кое-что из наиболее в нем значительного для отображения той эпохи, я отнюдь не стремлюсь выскочить из рамок своей индивидуальности. Мне кажется, что любая эпоха отражается в памяти современников в той мере, в какой они сами ее определили и определялись ею.

1. МОЯ РОДИНА

Будучи убежденным интернационалистом, я не мог бы все же в нашем мире с его расовыми и классовыми социальными перегородками признать себя попросту «гражданином Вселенной». У меня есть Родина и притом предельно широкая. И ничто мне не мешает чувствовать себя патриотом всего Союза Советских Социалистических Республик, заполнившего уже в начальных своих границах одну шестую мира. Я горжусь правом гражданства в любой из наших национальных советских республик, но в то же время мне ближе других родной, славянский мир и прежде всего особенно щедро обогатившая душу русская культура, а из необъятных просторов великой Родины интимно близки и понятны те ее уголки, где я родился, рос, осваивал новые идеи своей эпохи и боролся за их осуществление. Все эти частные культурные связи и индивидуальные привязанности, взаимно переплетаясь, настолько сливаются в общих рамках Советского Союза, что все «наше» становится и моим родным, и «мое» — нашим. И хотя советский гражданин не пре-

возносит своей расы, народности и культуры превыше всех других, но к Родине он привязан крепчайшими узлами. Это о ней он поет на всех языках Союза:

Широка страна моя родная...
Я такой другой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...

Заметьте, здесь вольно дышит не только русский, грузин, узбек или еврей, а вообще — Человек! И поэтому в случае каких-либо покушений на свободу и неприкосновенность этой Родины мы способны, как показал опыт, оказать жесточайший отпор.

Однако обратимся от этих слишком общих замечаний к более конкретному содержанию моих воспоминаний о пережитом.

В моем детстве было, по-видимому, не много достопримечательного. В памяти о нем сохранились во всяком случае какие-то несвязные обрывки. Родился 17 (29) января 1877 г. на благословенном юге Правобережной Украины, где-то между Винницей и Литином, в деревне. Помню старый деревянный дом, большой двор, весь заросший густой крапивой и буйным чертополохом, заглохший старый тенистый сад, обсаженную цветущими черешнями леваду с тенистым прудочком внизу, под плакучими вербами.

Вспоминаются, как сквозь сон, в поэтической дымке залитые южным солнцем белые хатки, зеленые вишневые садочки, богатый юмором веселый украинский говор и полные тихой грусти украинские песни и думки, в которых воспевается то широкий Днепр, то казачьи походы, то совсем недавний еще народный герой Кармалюк, а то и старый запорожец

Сагайдачный,
Що проминяв жинку
На тютюн та люльку,
Необачный...

Мне в слишком раннем детстве пришлось покинуть этот чудесный уголок Украины, но он никогда не изгладится из памяти.

Старая усадьба наша была очень запущена. Но даже заросли крапивы и чертополоха на отцовском дворе доставляли мне немало радостей. Подрастая в одиночестве — без сверстников, я рано научился читать и, разыскав как-то на чердаке целый ворох давно заброшенных туда еще дедушкиных книг, принялся за чтение. Как сейчас помню, здесь нашлась и какая-то старая поваренная книга, и «Кандид» Вольтера, и волшебные сказки «Тысячи и одной ночи».

Поварские рецепты мне не пригодились. «Кандида» я прочел. Но много ли из него усвоишь в возрасте семи или восьми лет? Оптимизм Панглосса, которого даже лиссабонское землетрясение не могло поколебать в его убеждении, что мы живем в наилучшем из возможных миров, показался мне несколько преувеличенным. Всей иронии великого фернейского скептика я не оценил тогда. Много позже я воспринял у Вольтера, несмотря на весь присущий мне оптимизм в оценке людей и событий, изрядную дозу скепсиса. Но тогда, будучи гораздо простодушнее и доверчивее, я принимал все за чистую монету и от души увлекался необычайным путешествием и приключениями Кандида в фантастической стране Эльдорадо. Еще больше радости доставили чудесные сказки Шехерезады с ее летающими по воздуху деревянными конями, волшебными лампами Аладина и невероятными приключениями Синдбада-морехода.

При всей тогдашней живости воображения мне не терпелось воспроизвести эти чудеса и сказочные приключения в своих играх. И я

взлетал на деревянном коне-палочке высоко в поднебесье, храбро сражался деревянным мечом со злыми волшебниками, коварно принимавшими на дворе облик жгучей крапивы и пребольно стрекавшими сквозь худые штанишки, бесстрашно пробивался через колючие джунгли чертополоха в желанные края Эльдорадо и вот-вот достигал их... в своих грезах.

С тех пор прошло много лет. И немало сказочных грез стало привычной былью. Советские люди давно завоевали поднебесье, поднимаясь в рекордных полетах уже наяву в стратосферу и выше. В тяжелой борьбе с мертвящими силами старого мира они далеко продвинулись в прекрасную страну творимого нами нового Эльдорадо. Но борьба еще в самом разгаре, и, кто знает, многие ли из нас войдут со щитом в эту обетованную страну всамделишного равенства, братства и свободы — страну коммунизма.

...Семья наша вела свое начало как будто от довольно древнего, хотя и захудалого, шляхетского корня. Отец в свободные от труда минуты вспоминал немало славных имен из числа предков. Они совершали «рыцарские» подвиги, достойные пера Сенкевича, и кто-то будто бы спас в кровавой сече жизнь самого короля. Однако спасение королей не было, по-видимому, слишком благодарным занятием. Во всяком случае семья не унаследовала от предков никаких ресурсов для паразитарного существования за чужой счет.

Правда, когда-то у отца был все же кусок землицы, который обрабатывали старшие братья, но затем и он был потерян. Поручившись по своей доброте за какого-то приятеля-неудачника, отец вынужден был продать за чужой долг сначала усадьбу, перебравшись на хуторок за деревней, а затем и всю остальную землю. И с тех пор семья переселилась в Центральную Россию. Там ей пришлось, разбредаясь понемногу, зарабатывать свой хлеб в чужих людях, по найму.

К тому времени из дюжины детей, из числа которых я был последышем, матери, вечной труженице, удалось сохранить в тяжелой трудовой обстановке едва пятерых. Никто из них не получил школьного образования. Не имел его и отец, хотя он много читал в своей жизни, любил литературу, знал наизусть лучшие стихи Мицкевича и сам переводил Лермонтова звучными стихами на польский язык. Только мать когда-то с отличием кончила среднюю школу, получив в ней не только общее, но и специальное музыкальное образование. Обучая нас между делом грамоте, она очень хотела дать и большее, но это было выше ее сил и возможностей семьи. Правда, старшего брата отдали было в учебу сапожнику, а другого — кузнецу. Но им не пришлась по душе тогдашняя методика ремесленной учебы — шпандырем и затрещинами. Они скоро сбежали домой, где их ждала более приятная работа с косой и за плугом. Лет с восьми начал и я понемногу приучаться к труду — гонял коней на водопой и в ночное, а днем гусей пас. Это занятие оставляло немало времени для грез о будущем. Но и в грезах мне не снилась возможность выбраться когда-либо из гусиных подпасков в академики. А между тем и не такие возможности осуществляются в советской действительности.

В семье в украинский период детства говорили все по-польски, пели по-украински, а читали больше всего по-русски, так что я в равной мере владел всеми этими языками и любил их, считая одинаково близкими и родными. По матери мы были кровно связаны с польско-украинской культурой, по отцу — с литовско-русской. Впрочем, отец не знал ни одного слова по-литовски, и я не очень верил его рассказам о славных литовских предках. Но недавно мне все же пришлось узнать из словаря Брокгауза, что один из наших предков, мой тезка Станислав Струмилло-Петрашкевич, был в звании маршала Великого

княжества Литовского послом в Москве в 1490, 1495 и 1499 гг. и что род наш еще в начале XX века значился в VI книге старейших родословных записей бывшей Минской губернии. Эта справка подтверждает литовско-русское происхождение моих предков по отцовской линии. Маршал Струмилло, вероятно, потому и назначался частым послом в Москву, что, как уроженец Минского края, хорошо знал русский язык и русские нравы. Таким образом, с культурой Мицкевича, Шевченко и Янки Купалы меня связывают кровные узы происхождения. Но пять шестых жизни мне пришлось провести в повседневном труде и борьбе за свои идеалы в коренной России. И это еще теснее сроднило меня с культурой Пушкина, Толстого и Горького — с русской культурой.

Меня упрекнули как-то за «неуместные» в наши дни воспоминания о своих феодальных предках. И действительно, пищей для особого тщеславия такие предки в наше время служить не могут. Скорее, наоборот. Но именно поэтому революционеру было бы не к лицу замалчивать такие факты, которые сами по себе говорят не в его пользу. Мне лично было бы, конечно, много приятнее предстать перед своим читателем в образе *потомственного пролетария*, чем в роли жалкого эпигона отмирающего класса *потомственных паразитов*. Но, к сожалению, нам не дано самим выбирать предков. А если еще вспомнить, что древнейшим из наших общих предков была всего-навсего некая обезьяна, то и вообще отпадает всякая охота гордиться ими без разбора. Предметом гордости в этой области в лучшем случае могло бы служить лишь то обстоятельство, что, продвигаясь от своих предков все дальше, вперед и выше, мы, их потомки, двигались от обезьяны к человеку, а не в обратном направлении. Довольно далеко откатилась за пять веков от своих феодальных предков с их бесславным прошлым «обломовской», барской праздности и наша трудовая семья в ее повседневном быту. И поскольку именно бытие определяет сознание, оно уже с детства толкало меня на путь революции.

2. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

В 1887 г. отец, потеряв вместе с землей все средства существования на родине, покинул Украину и поступил конторщиком на один мелкий сыроваренный завод под городом Ряжском. Сестры Мария и Матильда еще раньше вышли замуж, братья Виктор и Александр нашли себе работу под Рязанью, а мать вскоре стала давать уроки музыки. И тут, к моему благополучию, оказалось, наконец, возможным и меня устроить в школу. В 1889 г., 12 лет, я поступил в первый класс Скопинского реального училища, а через семь лет, в 1896 г., с успехом его окончил. Учился я все эти годы с ленцой и, на мой взгляд, довольно посредственно. И если тем не менее все эти годы числился первым учеником, то только потому, что другие учились хуже. Выручали меня отличная память и внимание на уроках. Умение слушать — редкое и трудное искусство. Легко оно дается лишь тем, кто не слишком занят собой и, питая жгучий интерес к жизни, жадно прислушивается ко всем ее голосам. Мне лично это искусство во всяком случае не изменяло ни в годы учебы, ни много позже. Выручала меня еще математика. Она давалась легко потому, что не требовала зубрежки и что ее изумительно преподавал милый человек и замечательный педагог Дмитрий Константинович Гика. Светлая память о нем и доныне живет в душе моей.

Провинциальная жизнь в те годы была дешева. И учение обходилось недорого. От платы за учение я был освобожден в связи с успешной учебой. А между тем, начиная со второго класса, начал

подрабатывать понемногу в качестве репетитора разных тупиц и бездельников из маменькиных сынков местной буржуазии. На таких тупиц в те годы был немалый урожай, и скоро я настолько сводил концы с концами в своем бюджете, что мог бы и прикопить кой-что «на черный день». Однако это претило моей душе. Тупицы в больших дозах невыносимы. К тому же у меня были и другие занятия. Частенько хотелось сыграть в городки или лапту, сходить зимой на каток или сбегать летом искупаться, положить кого-либо на обе лопатки, а при случае и подраться на кулачки. Вообще я никогда не был мальчиком-паинькой и всегда был готов созорничать в хорошей компании.

Впрочем, озорство озорству рознь. Так, совсем не одобряли мы ночного битья стекол у строгих учителей в отместку за плохую отметку и тому подобных хулиганских выходок. Но в то же время, будучи в IV — V классах, мы охотно взялись за организацию тайного «Общества чертей» с весьма сложным ритуалом, на манер масонской ложи, и специальной задачей — дурачить скопинских обывателей и морочить головы местным альгвазилам. Члены общества награждались за свои подвиги громкими титулами: Сатана, Вельзевул, Люцифер, Асмодей, Мефистофель, Пипифакс и т. п., и соревновались друг с другом в измышлении все новых проказ.

Новоявленные «черти», например, разыгрывали того или иного из «столпов» скопинского общества. Был среди них, между прочим, столь же благонамеренный, сколько и жуликоватый купец первой гильдии Никитин. Его слабостью было пристрастие к малопонятным, но звучным иностранным словам и «галантерейному» обращению. Прогуливаясь с девицами в городском саду, он восклицал, например, взирая на луну:

— Какая прекрасная декорация театральных лучей!..

Избрав его своей жертвой, «черти» зачастили к нему в магазин. Один спрашивал маринованных синусов, или соленых косинусов, или засахаренных тангенсов... Другой настойчиво требовал духов Коши́, одеколона Савари́ и душистого мыла Бойля — Мариотта. Третий заказывал себе зубную пасту а-ля́ Робеспьер и зубной эликсир а-ля́ Марат. И все с упреками встречали его отказы:

— Ай-ай, Иван Иванович. Как же Вы это не следите за модой. Самых ходовых вещей у Вас нет!..

Иван Иванович сопел, рассыпался в извинениях:

— Извините-с, синусы все вышли-с. И эликсира только что последнюю банку продали-с. Но, будьте покойны, сейчас же выпишем из Москвы новую партию...

И, по-видимому, действительно выписывал... Можно себе представить его чувства, когда он узнавал от своих контрагентов, что Робеспьер и Марат совсем были в то время не в моде и что за спрос на этот товар можно было угодить и туда, куда Макар телят не гонял.

Иным разом те же «черти» перемещали ночью городские вывески в таком стиле, что над дверью блестящего безусого офицера водворялась дощечка с надписью: «Акушерка Фефелова», над крыльцом местного бравого жандарма — вывеска: «Сапожник Дергунов», над городской Думой — доска: «Мелочная лавочка», над «Благородным собранием» — надпись: «Городская богадельня», и т. д. Наутро вокруг этих вывесок начиналась возня и суматоха. Вывески отдирали клещами, мальчишки радостно тыкали в них пальцами, обыватели зубоскалили. Но больше всех тешились произведенным эффектом сами виновники его — юные пипифаксы.

Однажды они выкинули и такую штуку. По всему городу расклеены были ночью грозные предупреждения, что такого-то числа за гре-

хи родителей и собственные содомские нравы отцов города он весь запылает со всех сторон. Под воззванием стояло: надписал Вельзевул, скрепил Пипифакс, и загадочная печать в виде отпечатка собачьей лапки. Наутро альгвазилы усердно отдирали от стен прочно приклеенные к ним воззвания, а в назначенный срок всю ночь бодрствовал весь состав местных будочников и разъезжала по городу пожарная команда, громыхая рассохшимися бочками, готовая по первому же зову залить адский пламень Вельзевула и пресечь, таким образом, всякое покушение на содомские нравы отцов города.

Как далеко заходила святая простота местных стражей порядка, можно видеть хотя бы из следующего примера. Известный всему городу единственный жандарм, выслеживая крамолу школьных пипифаксов, имел обычай переодеваться бабой. В таком виде, с рыжей щетиной давно не бритых баков, торчавших из-под платочка, и синими брюками, выглядывавшими из-под не по росту короткого сарафана, он нередко появлялся и в городском саду, следуя по пятам за кем-либо из особо подозрительных, по его соображениям, шумливых верзил реалистов или семинаристов, и крайне недоумевал, вероятно, почему это встречная публика так часто разражается взрывами хохота за его спиной. Еще простодушнее были рядовые обыватели этого богоспасаемого городишки. И немудрено, если многие из них поверили и в то, что в заброшенной и полуразрушенной избушке на пустыре в центре города, где по ночам собиралось иной раз тайком со свечой наше общество «чертей», и впрямь завелась нечистая сила.

Однако увлечение спортом и разными мальчишескими проказами отнимало у нас не так много времени. Неизмеримо больше его, по крайней мере у меня, уходило на внешкольное чтение. В первые два года учебы я перетаскал и перечитал все то, что можно было получить в убогих классных библиотеках, а затем принялся за фонды школьной и городской библиотек. Сначала увлекался всякими робинзонадами, перечитал Майн Рида, Фенимора Купера, Густава Эмара, Жюля Верна, капитана Мариэтта, Дюма-отца и так далее в том же роде. Читал и Вальтер Скотта и Марка Твена. Я готов был плакать вместе с героями «Хижины дяди Тома», хохотал над проказами Тома Сойера, не уставал над бесконечными похождениями Рокамболя, без всякой критики смаковал изумительные детективные прозрения Шерлока Холмса... Но затем как-то вдруг потерял вкус ко всем этим весьма занимательным вещам.

Это произошло, конечно, не потому, что Фенимор Купер и другие писали для детей, а я выходил из этого возраста. Эти писатели создавали свои «чарования красных вымыслов» как раз для взрослых. И ими увлекались в свое время даже большие люди. Вспомним хотя бы высокую оценку куперовского Патфайндера таким тонким ценителем литературы, как В. Г. Белинский.

Но времена меняются. Усложняются жизнь и психика людей. Вырастают и требования, предъявляемые ими к литературе. И все большее число прославленных произведений отживающего прошлого, даже такие, как незабвенный «Дон-Кихот Ламанчский» или «Путешествия Гулливера» Свифта, теряя свою злободневность, становятся достоянием лишь детских библиотек да историков литературы. Они еще увлекают детей своим занимательным вымыслом, своей фабулой, подобно тому как увлекают их и самые неправдоподобные басни и сказки. Однако сказки не для взрослых. Лишенные привкуса современности, такие произведения обычно на каждом шагу вступают с ней в кричащие противоречия. Взять хотя бы героев Ф. Купера. Его Следопыт — изумительный стрелок. Но пуританский дух этого снайпера в век религиозного скептицизма звучит таким ханжеством, что при всей своей меткости он не попадает в сердца своих читателей старшего возраста.

Самое главное, однако, в том, что авторы и герои чуждых нам стран и поколений не отвечали на запросы окружающей нас действительности, не ставили тех вопросов, какие начинали волновать мое поколение, и тем самым не задевали наиболее отзывчивых струн сердца, настроенных на российский лад.

Мне удалось еще в школьные годы ознакомиться с шедеврами таких классиков мировой литературы, как Шекспир, Мольер, Гёте. Зачитывался я также и произведениями В. Гюго, Э. Золя, Мопассана, Ч. Диккенса и Эдгара По, Джека Лондона и О. Генри, Г. Гейне, Т. Гофмана. Ознакомился я и с такими творениями мирового эпоса, как Илиада и Одиссея, Наль и Дамаянти, Калевала. Но все же никто не доставил мне в юности таких глубоких и волнующих переживаний, как русские классики — Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Тургенев, а затем, немного позже,— Некрасов, Щедрин, Успенский, Короленко.

Когда они попадали в руки, я читал их запоем, как пьяница, забывая не только об уроках, но о еде и сне и о самых соблазнительных играх и забавах. Если мешали, я убегал с книжкой куда попало — на чердак, в полутемный чулан, даже в уборную. Запирался там и снова читал, глухой ко всяким зовам и иным внешним воздействиям. Русские классики были понятнее и ближе зарубежных потому, что, выросши в одних с нами условиях, они жили теми же, что и мы, горестями и надеждами и мучились над разрешением все тех же больших и проклятых вопросов. Правда, разрешали они их по-разному. Но люди моего поколения не гонялись за готовыми решениями. Достаточно было эти вопросы поставить, чтобы каждый сам заново пересматривал их и решал для себя по-своему.

Менее других созвучен был душе моей Чехов, ближе всех — М. Горький. Но с последним я познакомился только в студенческие свои годы. Увлекаясь классиками, я трактовал их, однако, довольно свободно, иной раз даже прямо наперекор тому, что подсказывала книга. Например, будучи сызмальства весьма религиозным и поддержанный в спорах о боге на страницах «Братьев Карамазовых» таким его талантливым адвокатом, как сам Ф. М. Достоевский, я, честно взвесив все «про» и «контра» в этом споре, решил его все же против Достоевского и стал в 14—15 лет законченным атеистом. Центральным аргументом за бога в этом споре был тезис, что если отвергнуть бога, то «все будет позволено» и люди перегрызут друг другу горло. Мне показался этот тезис чудовищным. Конечно, в семье не без урода. Но не все же люди по природе своей злодеи. Разве не свойственно человеку быть человечным к своим братьям. И можно ли поверить, что он-де не грызет им повседневно глотки лишь из-под палки, ради страха божия. И что это за спасительный страх божий, который никогда не мешал именно верующим людям подвергать других людей всем ужасам инквизиции как раз во имя божие. И что это за роль для всеблагого бога быть чем-то вроде вездесущего сверхбудочника. Разве всемогущий бог, будучи благим, не смог бы в корне пресечь зло, создав людей более совершенными? Если же он сам, сознательно создав и добрых, и злых, предоставил одним душить других, то кто же является виновником того, что посеянные им самим семена зла дают буйные всходы и приносят свои столь злокачественные плоды?

Люди охотно создают себе светлый облик всесильного и всеблагого бога, преисполненного к ним чувствами отеческой любви и сострадания. Но как примирить этот образ божественной любви к людям с тем мировым порядком, за который бог должен быть ответственным, если он действительно его создал. Почему сильным искони дано было порабощать слабых, господам — закрепощать своих слуг, хозяевам — эксплуа-

тировать своих рабочих, тиранам — лишать свободы всех своих сограждан, отцам церкви — сокрушать ребра своей пастве в инквизиционных застенках, белым христианам — линчевать черных и целым народам — истреблять друг друга? Не божественная ли любовь посылает людям чуму и холеру, проказу, туберкулез и сифилис, а также великих инквизиторов, свирепых Салтычих?

Чем может быть оправдан тот гнилой строй жизни, который порождает все эти цветы зла: социальное неравенство, нищету, преступления и безвинную гибель миллионов детей? Допустив хоть на минуту, что такой мир создан богом, его пришлось бы признать не богом любви, а самим отцом зла. И его бытие не нашло бы в сердцах людей ни малейшего морального оправдания.

Зараженному подобными мыслями и настроениями, мне не терпелось отразить их в каком-либо действии. Я перестал молиться. Мне казалось, что у бога, если он существует, нашлись бы и более серьезные дела, чем прислушиваться к штампованным у всех по одному образцу молитвам. А все нуждишки наши он мог бы знать лучше нас самих. Внимать повседневно при этих условиях, как весь род людской тысячи лет подряд скулит об одном и том же хлебе насущном, едва ли весело и приятно. Так к чему же было надоедать богу столь ординарными и никчемными молениями? Но со временем мне показалось, что я должен более решительно порвать все счеты с церковью. И когда в Скопине появился заездом католический священник, я решился на довольно рискованный шаг — объясниться с ним начистоту на первой и последней исповеди.

Дело было примерно так. Чтобы сократить процедуру, я на первый же вопрос священника о прегрешениях вместо перечисления их повинился оптом:

— Во всех грехах повинен я, батюшка.

— Как...— усомнился тот.— И убивал тоже?

— Если не делом, то помышлением, батюшка.

— И прелюбодействовал?..

— Если не наяву, то в грезах и сновидениях.

— Может быть, даже в бытии божием усумнился?..— спрашивал уже шепотом священник.

— И даже очень крепко... А Вы, разве нет, батюшка?

Этот последний вопрос, сорвавшийся почти непроизвольно, попал, может быть, в цель. Молодой священник, явно его не ждавший, смолк на мгновение, затем быстро зашептал что-то по-латыни и, сделав знак рукой, отпустил меня с миром, без скандала.

Таков был результат влияний Достоевского.

Из писаний того же Достоевского, Гончарова и Тургенева я почерпнул и первые свои сведения о материалистах, нигилистах и социалистах. И, хотя они давали скорее карикатуры, чем портреты наших лучших людей семидесятых годов, я вопреки авторским их изображениям по-своему оценил и полюбил этих людей. Достоевский называл их «бесами, вселившимися в свиней». Сам бывший фурьерист, заплативший за неглубокое увлечение этим учением тяжелым испытанием каторги, Достоевский, давно отрекшийся от своего прошлого, с яростью ренегата не щадил красок и эпитетов для изображения этих «бесов» по-свински. Приписав им всем проповедь «всеобщего разрушения», «ненависть к России» и «отрицание чести», он навязывал им «подленькие» и «гаденькие» поступки и честил на каждом шагу «угрюмыми тупицами», «сволочью», «подлецами»... А лидер этих «тупиц» Верховенский, прототипом которого послужил, по-видимому, известный анархист Нечаев, сам будто бы признается в минуту откровенности:

— Я ведь мошенник, а не социалист.

Вчитываясь в эти обличительные писания, я, однако, невольно почувствовал в них какую-то фальшь. Если мошенники не социалисты и автору известно, что между этими понятиями нельзя поставить знак равенства, то зачем же он их так огульно смешивает и сливает в характеристике несимпатичного ему течения. Ведь такой литературный прием едва ли отличается чистоплотностью. Допустим, что нигилисты «ненавидели» Россию. Но какую? Россию «Мертвых душ», Россию угрюм-бурчеевых, скалозубов, ноздревых и хлестаковых... Если они стремились ее разрушить, чтобы на развалинах построить новую, более отвечающую их идеалу «всемирно-человеческой социальной республики и гармонии», то разве такая ненависть не вытекает из любви к родному краю и народу. Ведь с проповедью своих идеалов они шли к своему народу, не к немцам или французам, а к русским рабочим и крестьянам. Они отрицали честь. Но какую? Не дворянскую ли, которая, спесиво попирая ногами человеческое достоинство подвластных людей, сама по-лакейски пресмыкалась перед лицом наглых временщиков из царских передних?

Мне вообще не верилось, что стойкая приверженность к высоким идеалам совместима с душевной низостью. И потому, когда большой психолог Достоевский рисует нам «подленького» фурьериста Липутина, который, однако, яростно, по-сектантски отстаивал свой идеал грядущей социальной гармонии, не бесчестя себя отступничеством от него даже в цепких лапах жандармов, то, сопоставляя эту трактовку с собственным опытом Достоевского в отношении к идеалу, столь решительно поруганному им в его «Бесах», приходилось лишь заключить, что психология его чересчур гибка и что «честь» и «подлость» — понятия весьма относительные. Переоценивая таким образом все ценности и отсеивая плевелы от полновесного зерна, я из «Бесов» Достоевского наперекор ему обрел такой вполне приемлемый, на мой взгляд, образ революционера:

...Он обрек себя страданью,
Казням, пыткам, истязанью
И пошел вещать народу
Братство, равенство, свободу.

У Гончарова в «Обрыве» в лице Марка Волохова я обрел новый образчик нигилиста. Автор очень его не любит и изображает каким-то разбойником Варравой, для которого «нет ничего святого в мире», который, «дерзко» отвергая все «небесные и земные авторитеты», «все отрицает, все порицает» и в то же время груб, грязен и циничен, напивается при первом знакомстве, бьет стекла по ночам, травит собаками милых дам, стреляет в людей, занимает везде деньги без отдачи, раскуривает чужие книги на цигарки и учит гимназистов безбожью, а юных дев соблазнам «свободной» любви. В этом образе так и чувствуется барская антипатия автора к «бездомному» разночинцу, который смеет еще «гордиться... своими лохмотьями». Однако автор понимает, что такого грязного циника не могла бы полюбить его героиня, чистая Вера, и невольно приоткрывает другую сторону медали. Оказывается, что этот «волк» Маркушка — «замечательный человек», «новая грядущая сила», «с большими дарованиями и сведениями» и «великой идеей». У него «живой свободный ум, самостоятельная воля, юмор...», «открытое лицо», «смелый взгляд, зоркость, чуткость и тревожность». И притом он «предобрый». Он «объявил войну обществу», ему «бури хочется». И если вместо большого революционного дела он лишь «апостольствует в кружках», раздавая запрещенные книжки, «вспрыскивая живой водой мозги» гимназистов и пугая до смерти своим озорством обывателей, то это лишь потому, что по условиям времени не на-

шел, да и не мог найти себе в тогдашней России «поприща» для более крупного дела.

Под этим углом зрения в ином свете представляются и наиболее озорные его выходки. Травил собаками он не дам вообще, а одну весьма блудливую бабенку, вешавшуюся всем на шею, когда она и его избрала объектом своего внимания. Пугал ружьем он не людей, а наглого зазнавшегося бюрократа, весьма нуждавшегося в подобном уроке. А грубым циником Волохов казался многим потому, что прямо в глаза говорил такую резкую о них правду, без всяких прикрас, какая им никак не могла понравиться. Модная в свое время идея «свободной» любви, в которой человеческая любовь подчас трактуется почти как птичья или кошачья, измеряемая мгновениями, никогда меня не прельщала. Подлинная любовь — это не только очеловеченная страсть, но и одухотворенное единством влечений и взглядов *содружество на всю жизнь,* хотя никто не гарантирует нас и от горьких ошибок, прискорбных разочарований и тяжелых разрывов в отдельных, частных случаях. Уродливо преувеличив и обобщив эту опасность, Марк Волохов честно отстаивал до конца свою «теорию» *любви пока любится,* даже в минуты самых сердечных признаний перед девушкой совсем иных взглядов и настроений, был дурно понят и жестоко поплатился за упорство — ее уважением и любовью и... своим счастьем.

Гончаров довольно скупо, лишь немногими намеками, приоткрывает в лице этого героя образ революционера. Но читатели моего круга и времени умели читать между строк. Эзоповский язык подъяремной русской литературы научил нас тем ярче восполнять своим воображением такие пробелы, чем туманнее были намеки и краски писателя. Иной раз мы вычитывали у него гораздо больше, чем он мог и хотел сказать. И буйный озорник и бунтарь Маркушка в моем представлении вырастал до масштабов былинного богатыря Васьки Буслаева, который не отличался кротостью духа, не верил ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай, дерзко смеялся над всеми заветами и запретами своего века и бил прямо по темени любые авторитеты, когда они становились на пути. Нужно ли говорить, что все штрихи писателя, рисующие Марка Волохова каким-то огородным пугалом для благонравных девиц, казались мне лишь цензурной маскировкой для отвода глаз, и все симпатии оставались на стороне Маркушки.

Тургенев познакомил нас с целой галереей новых людей. Достаточно вспомнить Рудина, Инсарова, Базарова, кружок Губарева из «Дыма» и героев «Нови». К сожалению, и здесь, чем ближе герои к революции и социализму, тем меньше симпатии уделяет им автор, впадая подчас и в явный шарж и в пасквиль. Особенно достается героям «Дыма» и «Нови». Первые в его изображении попросту болтуны и невежды, способные «поднять старый стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Симона или Фурье, и, почтительно возложив его на голову, носиться с ним, как со святыней». Вторые же, правда, «честные», «хорошие люди — зато глупы». Остродумов — «семинар, тупец», тупа и Машурина, Маркелов — «существо, вероятно, тупое». В своем большинстве это были разночинцы плебейского происхождения. И чистокровному барину Тургеневу эти плебеи рисуются все оптом на одно лицо, как «неряшливые фигуры с крупными губами, зубами, носами». И комната у них неопрятная, и воздух в ней «тусклый» от табачного дыма. У Машуриной к тому же «широкие красные руки», у Остродумова — «штопаные галоши», и в барской среде их, очевидно, недаром зовут «голодными щелкоперами».

Весьма скупо и тусклыми красками изображен Тургеневым в «Нови» и весь тот незабываемый роман русской разночинной интеллигенции с народом, именуемый «хождением в народ», который кончился

для нее столь горьким разочарованием. Сермяжное народное море равнодушно выплеснуло на берег утлую интеллигентскую ладью с ее незрелыми идеями не то сапожных артелей, не то социальной революции. Юных апостолов революции не понимали в деревне, а кой-где даже крутили им руки назад и представляли по начальству. В романе Тургенева все это изображено в карикатуре и с едва скрытым злорадством по адресу неудачливых апостолов. Но не так все это принимали мы, читатели романа, в начале 90-х годов.

«Пол-России с голода помирает...— читали мы в романе.— ...Везде шпионство, притеснения, доносы, ложь и фальшь — шагу нам ступить некуда...»

И хотя в романе все это относилось к семидесятым годам, но не менее остро ощущалось и в девяностые годы в царской России. Разве не пережили мы тогда всех ужасов голодного 1891 года? Разве нас не окружала густейшая атмосфера шпионажа, притеснений и гнуснейшей казенной лжи?.. И люди, которые шли в народ, страдая «за всех притесняемых на Руси, негодуя за них» и готовясь «голову свою сложить» за то, чтобы вместе с народом весь этот мир лжи и насилия «кверху дном перевернуть»,— такие люди не казались нам ни глупыми, ни смешными. Так извлекали мы у классиков в их отображении русской действительности ту правду жизни, осмыслить которую по-новому нам подсказал собственный опыт и новая обстановка бытия.

* * *

В эпоху глухой реакции конца 80-х, да и в начале 90-х годов в Скопинском уезде, как и в других провинциальных углах России, было все еще тихо и нудно. Правда, в 70-е годы волна «хождения в народ» докатилась и до здешних мест. Отправной базой народников здесь было дворянское гнездо братьев А. Н. и П. Н. Голощаповых в сельце Казакове. Близ него были устроены в то время традиционная кузница и сапожная мастерская, в которых обучались студенты для трудового общения с народом. Сюда наезжали видные народники, например известный исследователь крестьянского хозяйства статистик Харизоменов. Здесь одно время скрывался от преследований полиции еще более известный беллетрист-народник Елпатьевский со своей семьей. Наездом у Голощаповых бывал и Степан Халтурин. Сюда приезжал за хранившейся подпольной типографией революционер Саблин. В окружности распространялись нелегальные брошюры: «Сказка о четырех братьях», «Царь-голод» А. Н. Баха, «Хитрая механика» В. Е. Варзара и др. Сам хозяин казаковского гнезда А. Н. Голощапов по окончании естественного факультета ездил в Швейцарию, затем «ходил в народ» пропагандистом — с топором «плотничать» в Псковскую губернию. Но к 90-м годам все это движение давным-давно прошло и быльем поросло настолько, что даже честнейший и милейший человек А. Н. Голощапов, лечивший у себя всю жизнь бесплатно окрестных крестьян, давно уже состоял... местным земским начальником.

Политическая жизнь в Скопине, как и повсюду в провинции, замерла, и ни одной вольной мысли сюда ниоткуда не доходило. А сам город Скопин прославился на всю Россию только тем, что в нем очень крупно проворовался местный воротила Рыков. Он создал банк, обещал самые высокие проценты вкладчикам, собрав этой приманкой огромные деньги, и затем с треском «обанкротился» к ужасу своих клиентов, обобранных ловким банкротом. Местные либеральные земцы не шли дальше постройки пары-другой новых школ. Среди местных педагогов были добрейшие люди и отличные математики, но духа гражданственности они никому по условиям времени преподать не

могли, даже в тех случаях, когда они и хотели бы это сделать. Самым ярким представителем «гражданственности» поэтому в городе Скопине был в ту пору памятный старожилам босяк и пропойца Семен Почугай. Останавливаясь в моменты запоя перед окнами именитых отцов города, он без всякой пощады во всю мощь своих легких изобличал содомские нравы и воровские обычаи почтенных архиплутов и протобестий. Изобличал стильно, красочно, на самом подлинном народном языке, с упоминанием родителей в многоэтажной архитектонике.

Это было занятно. Но этого все же было слишком мало для политического воспитания скопинцев. И теперь, вспоминая то время, когда кроме непечатной публицистики Почугая до нас не доходило никакой другой, когда о Чернышевском, Добролюбове и Писареве мы знали кое-что только понаслышке, ибо они изъяты были изо всех библиотек, а о нелегальщине в Скопине в ту пору еще и слыхом не слыхивали,— вспоминая все это, не удивляешься, что и из лучшей тогдашней молодежи гораздо чаще вырастали попросту взволнованные лоботрясы разного рода, чем социалисты и революционеры.

К середине 90-х годов стало, однако, ощущаться в провинции некоторое оживление молодежи. В Скопине, например, реалисты стали выпускать свои рукописные журналы: «Первые опыты», а затем «На рассвете». Было в них все, что полагается по штату: и редакторы, и сотрудники, и беллетристы, и публицисты. Были и доморощенные плагиаторы, впрочем, немедленно изобличаемые и изгоняемые. Организовали мы также литературный кружок под обязывающим, хотя и шутливым, названием: «Лови истину за хвост». Каждому из членов кружка был присвоен подходящий к его вкусам псевдоним. Были здесь и Базаров, и Рахметов, и Райский. Меня, в частности, почтили прозвищем Маркуши Волохова. Читали в кружке с соответствующим комментарием историю города Глупова Салтыкова-Щедрина и тому подобную художественную публицистику, а иногда и самостоятельные доклады членов кружка. Мне, например, пришлось выступить с докладом на тему: «Религия и философия», в котором я рассматривал религию как первую и самую примитивную ступень философского мировоззрения с его дальнейшей эволюцией через идеалистическую метафизику к позитивизму и материализму.

Были среди нас и самодельные идеалисты, но явно преобладали «стихийные» материалисты, конечно, не в худшем смысле этого слова. Мы усердно обсуждали в кружке извечный вопрос о цели человеческого бытия, и хотя в общем этот гамлетовский вопрос — «Быть или не быть?» — решался всеми нами оптимистически, но в весьма абстрактных формах. Жить — стоит. Это ни в ком не вызывало сомнений. Но для чего собственно стоило жить, ради какой цели... Это еще было не ясно. Математики твердили, что целью бытия является *наибольшее* благо *наибольшего* числа людей, но как решить эту задачу на максимум, в чем состоит это искомое «благо» и как его достигнуть, не ведали. Моралисты возражали математикам, что никакое благо одних людей, сколько бы их ни было, не может быть оправдано, если оно куплено ценою страданий или унижения других, независимо от их числа, отвергая таким образом арифметический метод решения этой сложной задачи. Индивидуалисты, исходя из идеи, что каждый человек — прежде всего самолюбец по своей природе, вопрошали:

— Можно ли эгоизм примирить с идеалами альтруизма? И почему бы эгоист поставил целью своей жизни не свое личное благо, а благо других, например благо человечества?

Мы были незрелы в 17—18 лет и не представляли строя, в котором вместе с классовыми противоречиями исчезнут и основные противоре-

чия между личностью и обществом. Но, исходя из социальных инстинктов, я отвечал индивидуалистам:

— Я думаю, что *каждый* человек рожден для счастья. Но может ли он быть счастливым, как член общества, до тех пор, пока вокруг него развивается целое море страданий? Я лично не мог бы, а потому и убежден, что уже в интересах полноты личного счастья каждый из нас должен бороться за общее счастье всего человечества [1].

В таких спорах мы выковывали свое мировоззрение, улавливая за хвост если не полную истину, то хотя бы некоторое к ней приближение. А тем временем жизнь протекала своим чередом. После бурных прений у нас начиналось хоровое пение, танцы, игры, невинный юношеский флирт с очаровательными уже своей молодостью девушками. Дружным хором мы запевали:

Баламуты, выйды с хаты.
Хочешь мэнэ закохаты,
Закохаты тай забуты...
Выйды с хаты, баламуты.

Никто, однако, из баламутов обоего пола не спешил из хаты. Наоборот, всех, как бабочек на огонек, влекло друг к другу, навстречу этой новой, еще не изведанной, но столь желанной опасности. Вместе с другими и я танцевал до упаду, садился за пианино и играл как умел певучие вальсы и игривые польки для других, пел, ухаживал за девушками, увлекался и увлекал... И хотя дальше обмена улыбками, крепких рукопожатий и робких поцелуев в ту пору мимолетных увлечений юности у нас дело не шло, свежий аромат их навсегда остался неповторимым переживанием ранней весны нашей жизни.

3. НАШИ УЧИТЕЛЯ

Воспоминая о средней школе царских времен, обычно рисуют довольно мрачную картину. Педагоги ее — это, мол, чеховские персонажи в стиле «Человека в футляре» — бездушные формалисты. Учение — это бессмысленная зубрежка латыни и тому подобной никому не нужной школьной премудрости. И потому совсем не диво, если, кончая такую школу, ее питомцы, вроде «гимназистов» Яблоновского, дружно по команде отрясают на ее пороге прах со своих ног:

— Тряси левую, тряси правую...

Но, по-видимому, не все школы дореволюционной эпохи заслуживали такой оценки. И совсем уже не такой плохой школой было наше реальное училище в богоспасаемом граде Скопине. По крайней мере я, да и, вероятно, большинство моих сверстников сохранили о нем самые светлые воспоминания. Учеников в реальном, правда, было всегда маловато. В первый класс вместе со мной, например, было принято всего десять человек, кончало — всего шесть. Но тем больше каждому уделялось внимания. Учителя были вовсе неплохие. Латыни реалистам не преподавали. Главными предметами считались математика, физика, химия, естествознание. Преподавались они с опытами и приборами. Мне кажется, что я даже редко в соответствующие учебники заглядывал. По крайней мере теперь я не помню таких случаев, кроме разве весенней экзаменационной страды, да и тут для повторения приходилось перелистывать учебники, задерживаясь на знакомых чертежах,

[1] Тогда я еще не знал, конечно, что это очень старая истина. «Истинно счастливым может быть только тот, кто ищет своего счастья в счастье других»,— говорил еще Сен-Симон, живший два века тому назад.

формулах и рисунках, подлежащих воспроизводству на экзаменах. О тексте же не приходилось заботиться. Он сам собою вытекал из усвоенной логики предмета. Не стоило особо запоминать и формулы, поскольку в случае нужды мы и сами могли их вывести. Учеба велась так, чтобы мы воспринимали предмет не пассивно, на веру, а могли сами активно воспроизвести требуемый опыт или доказать заданную теорему с выводом затем из нее и тех следствий, какие вовсе иной раз не значились в учебнике. Конечно, каждый из преподавателей добивался этой активной самостоятельности, воздействуя на нас по-своему.

Вот, например, какую методику применял учитель геометрии Галактион Сергеевич Тумаков (он же наша «Гроза морей»). Блестящий лектор, он строго и точно излагал и доказывал ту или иную теорему с чертежом и выкладками на доске. Затем вызывал кого-нибудь к доске и требовал своими словами изложить и доказать ту же теорему, изменив чертеж и обозначения, например, с заменой остроугольного треугольника тупо- или прямоугольным. Если ученик справлялся с этой задачей, то к доске вызывался следующий, и ему предлагалось сформулировать теорему, обратную доказанной, и доказать ее, если она доказуема. Затем вызывался третий, которому предлагалось решить задачу на построение, связанную с только что доказанными теоремами, и т. д. Если же спрошенный терялся и пасовал перед поставленной задачей, то вспыльчивый и раздражительный педагог сразу свирепел и ставил ему «кол». Иной раз в течение одного урока неудачливый ученик зарабатывал по два и даже по три «кола» в одну клетку, а за четверть у многих вырастали целые частоколы в журнале и дневниках. Но стоило такому неудачнику подтянуться и показать умение самостоятельно мыслить, как Галактион Сергеевич сразу вынимал перочинный ножик и, художественно подчистив все колы, завершал четверть и в журнале и в дневнике отличной отметкой.

В другом стиле работал гораздо более уравновешенный и спокойный учитель естествознания Александр Николаевич Рождественский, именуемый на школьном жаргоне ласковым именем «Тетенька». Заботливый и педантически аккуратный, он любил во всем порядок, но еще больше любил природу и умел представить ее нам с самого казового конца. Не возлагая излишних надежд на тощие учебники ботаники, зоологии, минералогии, анатомии и т. д., он нередко говаривал:

— Все, что можно воспринять лишь из книги или только на слух, от учителя, воспринимается туго и, чтобы закрепить в памяти такое восприятие, нужно повторить многократно, не менее семи раз. А то, что познается предметно, собственными глазами, осязается, обоняется и вообще осваивается личным опытом исследователя, осваивается прочно, раз и навсегда. Природу можно и должно познавать предметно, по возможности в живой натуре и без излишних посредников.

Следуя этому правилу, когда ему приходилось внедрять в наши головы то, что не поддавалось показу — какое-нибудь новое понятие или термин,— он педантически повторял его семикратно. Например, объяснив понятие индивида, он вколачивал его в наши головы как бы гвоздями, бубня:

— Индивид-индивид-индивид, индивид-индивид-индивид, индивид-у-у-ум...

Зато во всех других случаях, когда можно было показать хотя бы засушенное растение, чучело птицы или скелет человека, он усердно демонстрировал их перед нами, вызывая к ним наш интерес тонкими наблюдениями натуралиста и попутно в двух-трех штрихах объяснял, как нужно собирать и определять растения, или набивать чучела, или получить скелет мыши, положив ее труп в муравейник, и т. д. Еще инте-

реснее было познавать вместе с ним воочию, под микроскопом, тайну кровообращения и пульсации крови в лапках живой лягушки или наблюдать под его углом зрения живую природу на загородных экскурсиях весной.

Почти каждый из нас под влиянием «Тетеньки» становился хоть на час-другой и сам натуралистом, наблюдал жизнь пчел и муравьев, выращивал сам большие правильные кристаллы у себя дома, собирал те или иные коллекции. Я, например, помню, одно лето успешно собирал бабочек, другое — засушивал цветы и растения, составляя гербарии, а зимой соорудил у себя в комнате элемент Даниэля, самодельную электростатическую машину, лейденскую банку, завел колбы и реторты, добывал, повторяя школьные опыты, кислород и водород и совсем уж было заделался алхимиком, если б не одна неудача. Задумал я делать нечто вроде спичек, составил горючую смесь из сахарного песка и бертолетовой соли и, окуная деревянные палочки сначала в клей, а затем в свою смесь, получал готовые спички, которые зажигались от соприкосновения с серной кислотой. Но случайно капля этой кислоты попала не только на спичку, но и в сосуд с заготовленной для спичек взрывчатой смесью. Последовал, конечно, основательный взрыв. И, хотя меня только слегка обожгло, перепуганная квартирная хозяйка вышвырнула всю мою алхимию на помойку и объявила, чтоб я или прекратил опыты, или искал другую квартиру.

Пришлось, конечно, подчиниться. Но проделанный опыт не прошел бесследно. Я почувствовал вкус к эксперименту и научной активности. Меня уже не удовлетворяли школьные учебники. Вместо грошовой химии Роско я стал заглядывать в Менделеева, после физики Краевича я взялся за монументальный том физики Гано. Из библиотеки стал регулярно пользоваться весьма интересным «Журналом опытной физики и элементарной математики», издававшимся тогда в Одессе. Решал предлагавшиеся там задачи, составлял свои задачи и теоремы и предлагал их через журнал другим его читателям. Журнал печатал их. И хотя это было еще очень скромное творчество, но все же оно было началом моей научной самодеятельности, вызванной к жизни нашими замечательными педагогами.

Особенно многим я обязан лучшему из них — Дмитрию Константиновичу Гике. Он был у нас не только директором, педагогом и классным наставником, но и надежным защитником от всех возможных напастей. Чуждый всякого формализма и бюрократизма, он жил только интересами науки. Тщетно ему доносили, жалуясь на те или иные наши мальчишеские выходки и проказы. Чаще всего он просто никак не реагировал на них, считая их вполне естественным явлением в нашем возрасте. Помню такой случай. Торопясь в класс, чудаковатый директор вбежал к нам, минуя раздевалку, сбросил на ходу пальто, шляпу и калоши, устремился к доске и стал тщательно вычерчивать очередной чертеж к предстоящей лекции по космографии. Один из наших проказников, зная, что Дмитрий Константинович в таких случаях ничего вокруг себя не замечает, моментально напялил директорское пальто, шляпу и калоши, поднял воротник и стал презабавно передразнивать за спиной педагога его жестикуляцию. Кто-то слишком громко фыркнул. Директор повернулся и очутился носом к носу со своим двойником. Мы ждали вспышки. Но Дмитрий Константинович был совершенно спокоен:

— Ну вот, разумеется, опять ты, Чичерин, занимаешься пустяками,— сказал он, обратив внимание лишь на его калоши.— Ну зачем ты надел калоши? Разве здесь сыро?

И, закончив на этом свое замечание, снова повернулся к нам спиной, чтобы закончить чертеж.

Другой случай был посерьезнее. В школах строго запрещалось курение. Мы еще помнили, как за одну лишь выкуренную в уборной папироску ученика IV класса Дворжанчика навсегда исключили из училища. Но то было еще до Гики. Курили, конечно, и при нем, как и раньше, и не только в уборной, а и в нашем просторном VII классе, куда на большой перемене забегали все курильщики старших классов и, покурив, забрасывали окурки на шкаф. Однако уборщики это обнаружили, конечно. Директору донесли, что на шкафу за одну неделю накопилось свыше сотни окурков. Мы ждали грозы. Д. К. Гика действительно вошел к нам с нахмуренным взором и сразу же заговорил сурово.

— Вот, говорят, у вас на шкафу целый склад окурков. Кто это из вас набедокурил, сознавайтесь...

Курильщики струсили и отмалчивались, лицо классного наставника еще более нахмурилось. Он ждал ответа. Тогда мне стало стыдно за курильщиков, и я встал с парты, а за мною поднялся и Ваня Щеглов... Только нас двое и было некурящих на весь класс. Лицо Дмитрия Константиновича сразу прояснилось.

— Ну, вот,— начал он, обращаясь к нам с Щегловым.— Неплохие математики, а не рассчитали, что так много курить, разумеется, вредно для здоровья... И класс в курительную превращать не годится...— добавил он секунду спустя.— Нужно, разумеется, убрать эту гадость со шкафа и не заниматься больше здесь такими пустяками,— заключил он, наконец, и пошел уже вполне спокойный к доске.

Был и такой случай. Однажды, поздно вечером, группа учеников выпускного класса, будучи под мухой и пользуясь отсутствием в городском саду своих учителей, натворила там целую кучу страшных преступлений. А именно: ученики ходили с палками, курили на виду у всех папиросы и громко пели студенческие песни. За каждое из этих деяний, включая пьянку, по тем временам грозили большие неприятности: по меньшей мере двойка за поведение, а то и хуже — изгнание из школы с волчьим билетом. А тут еще, когда рыжий Яшка в качестве присяжного блюстителя нравов вздумал прочесть им нравоучение, они все дружным хором пропели ему в ответ:

— Пошел ты, Яшка, ко всем чертям собачьим!..

Это задевало уже честь полицейского мундира. Яшка, знавший по своей должности платного соглядатая их всех в лицо и по фамилиям, не стал им прекословить, совсем не желая отведать внушительных палок. Но тут же, помуслив карандашик, записал их всех на бумажку для доклада квартальному. А назавтра с жалобой на озорников у директора был и сам квартальный, видный мужчина с устрашающей комплекцией буйвола и мозгами теленка, вполне достаточными, впрочем, для избранной им профессии. Сунув директору на стол яшкин список крамольников и перечислив все их преступные деяния, квартальный решил уж, кстати, приукрасить сообщение городового и своим собственным проницательным домыслом:

— А главное, никакого начальства не признают. И даже полицейскую *власть* (в лице рыжего Яшки, разумеется) поносят. Не иначе, что это они же и весь наш город недавно со всех четырех сторон запалить пытались. Исключать таких подлецов мало!..

Догадка эта была, конечно, совершенно вздорной.

Но тут уж в свою очередь наш директор Д. К. Гика огорошил провинциального Шерлока Холмса совершенно неожиданным вопросом:

— Скажите, Вы сможете мне доказать теорему Пифагора? — спросил он тоном сурового экзаменатора.

Шутка ли сказать: теорему Пифагора! Озадаченный квартальный совсем растерялся. Он снова почувствовал себя не знающим урока

школьником перед строгим учителем в ожидании неизбежной двойки. Перед ним, может быть, мелькнул даже характерный чертеж, над которым столько раз вздыхали школяры:

Пифагоровы штаны
Для решенья нам даны...

Квартального осенило сознание, что ему не по силам эта задача. И, в самом деле, ведь сам Пифагор, разрешив ее, как говорят, воскликнул: Эврика! И заколол от радости целую сотню быков на пиршество в честь такой славной удачи. Но то был Пифагор. У квартального же школьное решение давно испарилось, а найти этому буйволу *свое* было, конечно, не легче, чем любому иному из всей сотни уже пострадавших во имя науки скотов пифагоровской гекатомбы. Однако, вспомнив вдруг, что он уже не школьник, квартальный только отмахнулся от досадной задачи, как от назойливой мухи, краткой репликой:

— Да ведь она теперь нам ни к чему, эта теорема, господин директор.

— Как ни к чему!..— взъелся тут на него уж не на шутку наш математик.— Вы неспособны доказать даже известнейшую всему миру теорему Пифагора, с которой у нас справляются ученики IV класса, а беретесь за решение никем Вам не порученных труднейших проблем воспитания юношества! У нас имеется для этого свой собственный педагогический совет и учебная инспекция... Уберите отсюда вон Вашу грязную бумажонку,— ткнул он пальцем в литературное произведение рыжего Яшки.— И потрудитесь впредь не совать нос не в свое дело.

На том и завершился весь этот инцидент, грозивший исковеркать не одну молодую жизнь. Добрейший Д. К. Гика забыл о нем, вероятно, уже через полчаса.

Увлекаясь своим предметом, он всегда далеко уводил нас за рамки элементарных учебников. От четвертого постулата Эвклида он незаметно переходил к идеям неэвклидовых геометрий Лобачевского, Римана и Бельтрами, от теорий пределов к началам дифференциального исчисления, от азбучных начал космографии к законченной теории мироздания Канта — Лапласа. По поводу одного лишь прекрасного созвездия Ориона он мог нам прочитать двухчасовую лекцию об отдаленнейших звездных мирах, да так, что слушателям эти часы казались минутами. Многому научил нас этот незабвенный мудрец и философ. Но ценнее всего было то, что он научил нас любить свой цикл наук и активно к ним приобщаться.

Впрочем, наша школа немало давала и в области гуманитарных наук. Одно время учителем русского языка у нас был незаурядный ученый, позже профессор Казанского университета, Евгений Федорович Будде. Требовательный, увлекавшийся своим предметом, он и нас увлекал, даже погружаясь в непроходимые, казалось бы, дебри славянской филологии. Помню, однажды он весьма убедительно доказал нам, что слова «начало» и «конец», несмотря на столь различное звучание и противоположное значение, в сущности тождественны по своему происхождению от одного и того же корня «кон». Дело в том, что за буквой *к* в древнем написании этого корня следовала носовая гласная «юс большой», которая по законам фонетики переходила в «юс малый». Со временем славянская носовая гласная «юс малый», потеряв носовой призвук, стала звучать в русском языке совсем мягко, как «я» (ср. польское mięso — русское «мясо») и тогда звук *к* смягчился перед *я* в *ч*, из «кон» — «кя» получилось «ча» и смягченный «конец» стал «началом» [1]. Это любопытнейшее сближение данных понятий невольно толкало мысль и дальше в том же направлении. Ученики подсказали учи-

[1] Ср. русское *кон*-ец, украинское *кин*-ець, за-*чин*, за-*чать*, на-*ча*-ло.

телю, что слово «кон» и сейчас еще живет в нашем языке и означает черту, на которой ставятся бабки в известной игре деревенских мальчишек. Таким образом, и «конец» и «начало» одинаково означали прежде всего известную черту или грань — предел, его же не прейдеши[1]. Когда говорят, что палка о двух «концах», то подразумевается, что любой из них, от которого мы начнем ее мерить, может быть назван и «началом». Между ними нет принципиального различия[2]. И история языка в данном случае нам лишь подтверждает и освещает это диалектическое тождество противоположностей.

Нам не было это еще так ясно в IV классе, когда мы впервые столкнулись с филологией. Но такой незаурядный учитель, как Е. Ф. Будде, оставил все же по себе глубокий след в нашей памяти, а может быть, и во вкусах к оригинальной исследовательской работе.

Конечно, далеко не все мои сверстники одинаково успешно воспринимали то, что давала им наша школа. Но во всяком случае на конкурсных экзаменах в петербургских вузах скопинцы в течение целого ряда лет шли впереди очень многих других, даже столичных, школ. А Скопинское студенческое землячество в Питере было долго постоянным поставщиком революционеров в подпольные рабочие организации. И хотя не все из них выдержали этот искус до конца, но, вспоминая состав Скопинского землячества моего времени, я едва мог бы назвать из него одно или два лица, которые не были захвачены революционной волной 90-х годов и не попали в жандармские лапы. Все остальные не миновали тюрьмы и ссылки, гласного надзора и прочих репрессий, пройдя активно и эту школу революции.

Но в свои школьные годы в Скопине мы еще очень мало об этом думали, направляя свою активность куда попало. В частности, многие из нас, а в том числе и я, в старших классах увлеклись легкой атлетикой, наращивали себе гирями угрожающих размеров бицепсы, проделывали головоломные трюки на турниках и трапециях, прыгали, как дикие козлы, в длину и вышину и т. д. и т. п. Кое-чего мы достигли в этих направлениях. Например, Алеша Морозов легко поднимал 15-пудовую рельсу, Аркаша Бауэр ставил рекорды по прыжкам. Я недурно подвизался на турнике, а однажды, встретившись с цирковым силачом, который вздумал испробовать силу моих бицепсов, шутя поставил его на колени. В здоровом теле — здоровый дух!..— отвечали мы тем, кто не разделял наших увлечений физкультурой. Но здоровые кулаки выручали нас не раз и сами по себе. Реалисты подвергались в Скопине неоднократно нападениям местной «черной сотни», хулиганствующих мещан во хмелю. Напала как-то и на нас целая их банда. Но, когда налетевший на меня верзила с первого же удара кулаком слетел с ног и, кряхтя, еле поднявшись, поплелся в сторону, продолжения не последовало. Бандиты, не ожидавшие от презираемых ими жиденьких «умников» такого отпора, сразу успокоились.

В то же время физкультура сослужила немалую службу и здоровью. Я, например, не помню за тот период никаких простуд и болезней, если не считать обязательных в детском возрасте кори и скарлатины. А между тем бывали поводы простудиться. Однажды зимой, вечерком, катаясь на коньках, я попал на реке в большую прорубь, ухнул туда с головой, еле вылез и, пока — версты за две — дошел домой, весь обмерз, покрывшись ледяной корой, как броней, сверх одежды от головы до ног. Дома переоделся, напился чаю и лег спать. А наутро пошел в класс, не поплатившись за вчерашнее даже насморком.

---

[1] Ср. также понятия «за-*кон*» и «по-*кон*» в том же значении запретной черты или предела, его же безнаказанно не прейдеши.

[2] Ср. еще словечко «ис-кони» в значении издревле, из *начала*, и понятие «при-*чин*-а» в смысле *начального* звена событий.

Наряду с физкультурой у нас находилось немало и других интересных занятий. Так, например, я увлекался разными ремеслами. В нашем училище были столярные верстаки, токарные станки, слесарные тиски и всевозможный к ним инструмент. Получив разрешение пользоваться этим богатством, я каждый праздник немало часов уделял физическому труду. Строгал, пилил, точил, крыл лаком и полировал, изготовляя самоучкой и дельные вещи вроде физических приборов для своей домашней «лаборатории» и безделушки. Между прочим, я выпилил и выточил неплохие шахматы собственного образца. А затем, изготовив коекакую переплетную снасть, переплел собственноручно все свои книги. Все это рассматривалось как особого рода спорт, а потому никогда не утомляло.

В числе других видов спорта я увлекался некоторое время и шахматами. Научился я этой благородной игре лет пятнадцати и за отсутствием сильных партнеров мог себя считать чемпионом школы. Но случилось как-то на летних вакациях встретиться в Казани с дядей — настоящим шахматистом, который без коня матовал меня в 10—15 минут, и я понял, что и для умной игры требуется хорошая школа.

— Вы вполне меня убедили, что я не умею еще играть,— сказал я ему.— Но, чтобы лучше усвоить Ваши уроки, мне хотелось бы сыграть с Вами более серьезный матч — без дачи вперед, на равных.

— Ну что же,— согласился дядя.— В воскресенье у меня будет время, и, если ты на равных возьмешь у меня хоть одну партию из десяти, получишь приз.

Предложение было не слишком лестное, но я не заслуживал лучшего. Впрочем, до воскресенья в моем распоряжении оставалось еще время, и я решил полностью его использовать. Побежал к букинистам, раздобыл у них старый учебник Цукерторта и Дюфреня и блестящие лекции по стратегии в шахматах чемпиона мира Э. Ласкера и, вернувшись домой, с головой окунулся в эту стратегию. Результат был такой, что уже в первой партии матча с дядей я оказал ему упорное сопротивление, а вторую — выиграл. В качестве приза я получил сочинения Некрасова. А сверх того я получил на собственном опыте убеждение, что даже в таком деле, как шахматы, практика младенчески слаба без теории.

Помимо всякого спорта немало времени посвящал я и занятиям музыкой. Усвоив от матери основные элементы теории музыки, я, однако, отдавал явное предпочтение практике, стараясь освоить все инструменты, какие только попадались под руку. Вначале это была простая тульская гармоника, затем я раздобыл корнет-а-пистон, после мне подарили старенькую скрипку, наконец, с переездом матери в Скопин я получил возможность играть на пианино. Не претендуя на многое, я все же играл по-любительски не так плохо на всех инструментах и даже сочинял иногда собственные вальсы и мазурки. К сожалению, в дальнейшем жизнь сложилась так, что мне надолго было не до музыки. Зачатки музыкальной культуры завяли во мне, не успевши расцвесть. Это жаль, потому что музыка облагораживает душу, очищая ее от всякой житейской скверны. Однако ничто не пропадает бесследно, и мне сдается, что и мое юношеское увлечение музыкой оставило в моей душе неизгладимый след.

4. СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Весной 1896 г. я благополучно закончил, наконец, среднюю школу в Скопине с отличными отметками, но с весьма скромными знаниями и с тем большей охотой к дальнейшей учебе. Вопроса о *выборе* факультета перед нами не стояло. Факультет по призванию к тому

или иному циклу наук могли выбирать только гимназисты, изучавшие древние языки. Они принимались в университеты не только без конкурса, но даже без экзаменов. Древние языки не требовались, конечно, для изучения всех тех университетских наук, которых даже вовсе не знала древность,— вроде политической экономии. Их назначение было иное. Они призваны были заградить доступ к опаснейшим для царизма гуманитарным наукам возможно большей массе так называемых «кухаркиных детей», направляя их на стезю чисто прикладных знаний — знаний на потребу капитализма. Да и то лишь в самом ограниченном количестве, по конкурсу. Для нас, реалистов, таким образом, вопрос о выборе профессии решался только исходом конкурсных испытаний в разных специальных институтах. И, чтобы увеличить шансы успеха в этой конкурсной лотерее, каждый держал обычно экзамены в нескольких институтах зараз.

Наплыв поступающих повсюду был огромный, превышая число вакансий в десятки раз. Трудно было нам выдержать такой конкурс. Но нелегко было и экзаменаторам отсеять из такой массы конкурентов нужный минимум. Пятибалльной шкалы оценок для этой цели было явно недостаточно. И наши ответы расценивались с точностью до одной *четверти* балла — в $4^1/_4$, $4^1/_2$, $4^3/_4$... Но и это не помогало. Пришлось экзаменаторам придумывать для необходимого отсева особо ядовитые вопросы и каверзные задачи-головоломки. Решались они не общими типовыми методами, а каждая в отдельности особыми, искусственными приемами и подходами. Однако на всякий яд находились и противоядия. Нашлись ловкачи-студенты, сделавшие своей специальностью посещение всех конкурсных экзаменов для сбора возможно полной коллекции всех фокусных задач-головоломок с полными их решениями. Затем те же ловкачи организовали платную подготовку у себя к конкурсным экзаменам всех желающих с почти стопроцентной гарантией успеха. Желающих нашлось бы, конечно, немало. Но кроме желания требовался еще взнос в размере не менее 500 рублей наличными с каждого желающего. А это было далеко не каждому по карману.

В моем кармане во всяком случае не бывало ни разу подобной суммы. Но все же я наскреб уроками свыше сотни рублей и надеялся, что с такой суммой и без особой «подготовки» можно рискнуть осенью на поездку в столицу и продержаться там месяц-другой до приискания новых заработков... если еще раньше не сломаю шеи на конкурсных скачках с препятствиями. Я даже рискнул заехать по льготному тарифу на Всероссийскую выставку, открывшуюся к тому времени в Нижнем Новгороде, хотя это было не совсем по пути. Можно представить, сколько новых наблюдений и впечатлений юному провинциалу доставила эта поездка. На выставке я часами глазел на диковинный ряд машин и приборов, катался на впервые в России показанной здесь электрической железной дороге, прошелся не раз по всем выставленным картинным галереям, насмотрелся всевозможных зрелищ и аттракционов... Едва ли в те годы я мог зрело судить обо всем, что там увидел. Но я судил обо всем *по своему* разумению.

В частности, на выставке я впервые увидел целую серию картин тогда весьма еще модной школы художников-декадентов. Мне показалось, что свои пейзажи они пишут не красками, а каким-то весьма неряшливо приготовленным и совершенно неудобоваримым шпинатом, а декадентский жанр, вымученный и худосочный, я принял было за весьма бездарную карикатуру на чье-то подлинное искусство. Совершенно теперь не помню, чьи это были картины. Но в одном из соседних залов я впервые увидел изумительного «Демона» Врубеля и на всю жизнь запечатлел эту картину в своей памяти. Большим успехом на выставке, как помнится, пользовалась, между прочим, какая-то пикантная негри-

тянка, поражавшая публику крайне реалистическим исполнением пресловутой «пляски живота». Для дикарей это, вероятно, было бы восхитительное зрелище. Разрисованная афиша, очевидно, далеко не полностью отображала всю соблазнительность этой пляски. Но мне почему-то вовсе не захотелось поинтересоваться ближе такого рода экзотикой. Зато мне удалось еще здесь же, в Нижнем, побывать впервые в опере. Я услышал там «Паяцев» Леонкавалло в прекрасном исполнении столичных гастролеров и пришел в дикий восторг от этой единственной в своем роде музыкальной драмы.

С тех пор прошло более полувека. Я видел с той поры много других замечательных опер и картин, вплоть до несравненной Сикстинской мадонны Рафаэля. Но ни одна из них потом не произвела уже более сильного и *свежего* впечатления, чем те первые в моей жизни потрясающие эмоции, вызванные когда-то такими образами подлинного искусства, как печальный «Демон» Врубеля и драматический смех паяца Леонкавалло.

* * *

Добравшись из Нижнего в Питер, я решил держать конкурсные испытания в *трех* институтах — Технологическом, Горном и Электротехническом. И, как показал опыт, это было вполне предусмотрительное решение. Экзамены предстояли устные — по физике, алгебре, геометрии и тригонометрии — и один письменный — по русскому языку. Наиболее предательским для меня даже по сравнению с фокусными головоломками математиков оказался неожиданно как раз последний — русское сочинение. Тогдашняя молодежь, кончая школу, вообще говоря, была довольно грамотной. Я, в частности, много читал еще в средней школе, любил и знал русскую литературу и, всегда получая в школе высшие оценки за сочинения, твердо рассчитывал на успех и здесь, на экзаменах. Однако в сочинениях помимо грамоты невольно отражается также весь образ мыслей и то или иное «направление» юного сочинителя. Мое «направление» иным царским прислужникам с тонким, собачьим нюхом могло уже тогда показаться не только «вредным», но и «опасным». А возможность сразу отсечь и отсеять избыточных и «нежелательных» по национальному или любому иному признаку конкурентов путем простого снижения им отметки за сочинения была тем соблазнительнее, что в отличие от публичных устных экзаменов она облегчалась здесь полнейшей бесконтрольностью и безответственностью оценщиков таких письменных работ. Эти работы никогда ведь не возвращались и не показывались их авторам при любых оценках. Такой опасности я не предвидел и, конечно, сразу влопался, попав в западню.

На экзаменах в Технологическом институте я получил $23^1/_2$ балла из 25 возможных, т. е. 94 процента достижимого максимума. И все же остался за флагом, ибо по конкурсу того года требовалось получить $23^3/_4$ балла, т. е. не менее 95 процентов максимума. Недоставало всего одного процента до требуемой нормы. И подвело, конечно, сочинение, за которое вопреки всем ожиданиям поставили всего 4 балла. Еще неожиданнее для меня был результат конкурса в Горном институте. Заработав по всем устным испытаниям круглые пятерки, я за русское сочинение получил всего *два* балла[1]. Напрасно я добивался права самому воочию ознакомиться со своими ошибками. Все мои настояния натолкнулись на категорический отказ. Однако отчаиваться и падать

---

[1] Не потому ли, что там, где надлежало отдать лишь дань казенному оптимизму, я обронил в этом сочинении только горькую фразу: «Пока солнце взойдет, роса очи выест»?

духом было некогда. Оставался еще один и последний шанс... в третьем институте. И только здесь, в Электротехническом институте, придя на конкурс уже с некоторым опытом после двух поражений, я сознательно выбрал наиболее нейтральную тему сочинения, укротил насколько мог свой темперамент и, преодолев, наконец, все препоны, получил полностью все 25 баллов за пять испытаний, включая сюда и пятерку за русское сочинение. Больше получить было невозможно. Кстати, выяснилось, что я все же владею и русской грамотой.

Это было первое в моей жизни испытание нервов в нешуточном соревновании не только с толпой равновооруженных сверстников-конкурентов, но и с темными силами беспринципной реакции, зорко охранявшей уже сильно подгнивший старый режим. Борьба эта, признаюсь, потребовала от меня напряжения всех способностей, хотя призом победителя было только скромное звание студента.

* *

В институте началась новая эра моей жизни. Возникший совсем недавно, этот институт располагал весьма крупными научными и педагогическими силами. Из их числа я мог бы назвать великого, при всей его скромности, ученого — изобретателя радио А. С. Попова; милейшего своей всегдашней живостью и отзывчивостью М. А. Шателена; вдумчивого физика В. В. Скобельцына; слегка педантичного химика А. А. Кракау; очень требовательного к себе и другим математика С. О. Войтинского и некоторых других. Их талантливые лекции, всегда обильно обставленные хорошо подготовленными опытами и демонстрациями, в отличие от многих других *стоило* слушать. Я давно заметил, что даже, казалось бы, самые трудные разделы науки тем легче постигаются, чем с большим интересом мы подходим к их освоению. А талант педагога как раз и сводится к умению возбудить у своей аудитории возможно более глубокий интерес к излагаемым проблемам, заражая ее собственным живейшим к ним интересом. Располагая этим ценным качеством, педагоги чрезвычайно облегчали нашу учебу.

Крайне облегчалась она и тем, что освоение теории подкреплялось и закреплялось здесь соответствующей практикой. Так, например, от лекций по механике в аудитории мы переходили в чертежную, где уже сами вычерчивали детали машины, а затем, спустившись в подвальную мастерскую, собственноручно изготовляли некоторые из них. С удовольствием припоминаю, что через пару месяцев, последовательно выполняя функции кузнеца, токаря по металлу и слесаря, я уже сам мог отковать, закалить и отточить нужные мне резцы, выточить ими железный или медный болт с винтовой нарезкой, сделать, нарезать и отшлифовать шестигранную к нему гайку и ряд других подобных предметов. В аудитории по физике нас знакомили только с выводами и методами этой науки, а в лаборатории, овладев точными измерительными приборами, мы и сами применяли эти методы к решению простейших задач. В химической аудитории мы знакомились лишь с общими закономерностями строения веществ и взаимных реакций элементов системы Менделеева, а в аналитической лаборатории мы и сами уже применяли эти реакции для определения химического состава заданных нам сложных тел. Кроме того, с первого же семестра в порядке текущей проверки наших теоретических знаний мы регулярно сдавали пройденные разделы наук на так называемых *репетициях* к окончательным, переходным с курса на курс испытаниям в конце года.

В столь благоприятной обстановке наука давалась довольно легко и осваивалась прочно. На первых же репетициях мне, кстати сказать, удалось завоевать казенную стипендию, что для первокурсника было в

те времена очень большой и редкой удачей. Мой кошелек был к тому времени совершенно пуст, а ежемесячная стипендия в 25 рублей казалась неисчерпаемым богатством. Комната, которую я снимал вдвоем со своим однокурсником, находилась рядом с институтом, в пяти минутах ходьбы от гранитных колоннад Исаакия и изумительного «Медного всадника» Фальконе. Стоила она мне всего 4 рубля в месяц. Щи без мяса в студенческой столовой можно было получить за 4 копейки, порцию котлет без гарнира — за 7 копеек, а хлеб к обеду — и притом в неограниченном количестве и вовсе задаром. Обладая завидным аппетитом, я не гонялся за гарнирами, считая, что хлеб в достаточном количестве с успехом заменит любые гарниры, и тратил в месяц на всю еду не свыше 20 процентов своего бюджета. Тем больше оставалось мне на все другие потребности. И прежде всего на театр, музеи, книги, газеты и прочие культурные статьи расхода. Наука отнимала у меня обычно не свыше 6 часов в день, а потому и на развлечения оставалось времени немало.

Провинциалу было на что поглядеть в столице. Целыми часами я бродил по гранитным набережным несравненной красавицы Невы и великолепным торцовым проспектам великого города. Вот Великий Петр на вздыбившемся коне перед Невой, на той самой исторической площади, которую залил кровью декабристов его недостойный преемник Николай, по прозванию Палкин, злой гений России и жандарм Европы. А вот насупротив, за Невой,— загадочные сфинксы с женственными лицами и львиными когтями, застывшие здесь, в Северной Пальмире, зябкие дети знойных подножий египетских пирамид. Здесь гордо вздымается ввысь адмиралтейская игла, свидетельница еще петровских усилий приоткрыть окно в Европу. Там, напротив,— причудливые «ростральные» маяки Петра, осветившие впервые своими огнями новый путь к нам оттуда, а за ними и первые вещественные следы общения с Западом на этом пути: монументальный храм биржевой спекуляции и наглого ажиотажа, бок о бок со старейшим храмом строгой и неподкупной академической науки. Вот еще подальше вдоль Невы — роскошные царские дворцы: Зимний, Эрмитаж, Мраморный — целая улица дворцов, «Миллионная» улица, только в наши дни освященная именем рабочего-революционера Степана Халтурина. Во дворцах беспечально проживали свои дни всевластные «самодержавные» самодуры, а напротив их окон, посреди Невы, под сверкающим шпилем Петропавловской крепости в сырых казематах томились благороднейшие борцы за свободу.

А сколько достопримечательного можно было увидеть на всегда многолюдном и сверкающем витринами Невском. Толпы зевак привлекали здесь широкие окна книжных магазинов и переливающиеся всеми огнями витрины фальшивых бриллиантов Тэта. Но я лично никогда не мог пройти равнодушно мимо того архитектурного чуда, какое представляли собой воздушно-легкие при всей их массивности громады Казанского собора. Сказочно воздушные колоннады бессмертного Воронихина были прекраснее бриллиантов Тэта уже потому, что в них не было никакой *фальши*. А, кроме того, разве не здесь, перед этим шедевром *художественной правды*, раздалось когда-то и первое свободное слово *правды революционной* в памятном выступлении Г. В. Плеханова под красным знаменем на демонстрации 1876 г.? Вблизи Казанского собора имеется еще один любопытный архитектурный памятник — очень пышный и богатый. Это храм «Воскресения на крови» — на крови того самодержца, который, опираясь на всю мощь государственного аппарата, пытался подавить беспощадным террором сверху мирное движение «в народ» романтиков-утопистов 70-х годов и, вызвав ответный террор снизу, пал-таки в конце концов 1 марта 1881 г. от руки

горстки бесстрашных борцов за *народную волю,* которые, конечно, и сами все поплатились жизнью за свой геройский подвиг. Храм «на крови» гораздо богаче и роскошней Казанского, но неизмеримо уступает последнему в красоте и величии. В пышной роскоши чувствуется какая-то фальшь, как и в бриллиантах от Тэта. Вероятно, эта фальшь, заложена в самой идее этого храма «на крови» — увековечить царственного злодея в роли невинно пострадавшего мученика.

По-иному, чем Казанский собор, привлекали меня всегда на Невском еще два монументальных сооружения — Публичная библиотека и Александринский театр. Это были наиболее излюбленные мною очаги науки и искусства. Как часто засиживался я здесь, в богатейшем книгохранилище, поглощая труды корифеев науки и забывая при этом о времени. И сколько чистых радостей доставляла мне в Александринке игра таких мастеров искусства, как незабвенные Варламов и Давыдов и неповторимая В. Ф. Комиссаржевская, которую я всегда ставил неизмеримо выше прославленной звезды этого театра, вечно сиплой М. Г. Савиной. За Александринкой, как известно, скромно скрывается восхитительная по своей архитектуре улица Росси, а перед театром и бок о бок с библиотекой у всех на виду красуется величественная скульптура блудливой царицы... Той самой, которая, меняя любовников, как перчатки, столь любезно переписывалась с самим Вольтером, но с ужасом отвернулась от вполне резонных якобинских выводов из учения этого философа и беспощадно преследовала своих собственных, отечественных вольтерианцев. Эта скульптура всегда наводила меня на размышления. Обращенная «к искусству — задом, к науке — боком и к Невскому — передом», эта скульптура уже по своей дислокации казалась мне каким-то бронзовым символом царственного распутства. Но если жалкие раскрашенные блудницы с Невского, торговавшие своими увядшими прелестями из крайней нужды, наказывались за это общим презрением, то царственное распутство от пресыщения приодевалось здесь в бронзу и возводилось на пьедестал.

Пройдешь немного дальше по Невскому и невольно остановишься каждый раз на мосту через Фонтанку перед сказочной четверкой неукротимых коней скульптора Клодта — это не кони, а восторг. Обуздай только такого коня, и, кажется, унесет он тебя до самого конца-края мечты. Повернешь налево, на Литейный проспект, и очутишься перед новым сильнейшим искушением в виде нескончаемого ряда лавочек букинистов. Ну как тут было не порыться, утопая в этом море книжного хлама, в поисках за скрытыми в нем уникумами забытой старины или жемчужинами незабвенной творческой мысли таких титанов, как Ломоносов и Лобачевский... Тем более, что купить здесь вы могли любую из ваших находок совсем за гроши, иной раз просто на вес, по пятачку за фунт. Тяготея к общественным наукам, я уже тогда выудил у букинистов и памятные «Критические заметки» Петра Струве, звавшего марксистов «на выучку к капитализму», и блестящий памфлет Бельтова о монистическом взгляде на историю, в котором Г. В. Плеханов, укрывшись от цензуры под этим псевдонимом и маловразумительным заголовком, дал в горячем бою с народниками образцовый очерк философии революционного марксизма, и ряд экономических работ Ник.— она, В. В. и других виднейших тогда авторитетов «народнической» мысли. Человеческая мысль невесома. Но, признаюсь, что от букинистов я не раз уходил навьюченный, как верблюд, увесистыми томами «Полного собрания русских летописей» и тому подобными драгоценными находками.

Приятно было пройтись не спеша и по Каменноостровскому, среди дворцов, утопающих в зелени, на пути к еще более зеленым «островам» и «на стрелку» — послушать музыку у взморья и полюбоваться волную-

щими алыми красками вечерней зари. Никто, однако, тогда не предвидел, что всего через 20 лет сам Каменноостровский станет исторической «Улицей красных зорь» пролетарской революции, что именно здесь, овладев дворцом бывшей царской наложницы, рабочие учредят свой большевистский штаб революции, откуда великий Ленин откроет новую страницу истории — историю социализма. С тех пор в Петровом граде, ставшем ныне городом Ленина, протекло столько достопамятных революционных событий и героических дней борьбы с контрреволюцией, голодом и осатанелыми ордами фашистской агрессии, что в нем каждая улица полита кровью, каждый камень запечатлел на себе следы нетленной славы этого города, застрельщика трех революций. С тех пор весь он в целом давно уже стал в нашей стране историческим символом, а вместе с тем оплотом, знаменем и святыней революции. И ныне потребовались бы фолианты, чтобы достойно описать все достопамятности, пробуждающие в нас столько исторических ассоциаций, глубоких эстетических переживаний и интимных личных воспоминаний.

Уже первый год моего студенчества в Питере совпал с первым годом массового пробуждения здесь новой, революционной силы. Только одним годом раньше В. И. Ленин организовал здесь первый в России «Петербургский Союз борьбы за освобождение рабочего класса». И хотя в декабре того же 1895 г. почти весь состав этой организации во главе с Лениным был арестован, летом 1896 г. грянула памятная стачка 30 000 питерских ткачей, требования которых были зафиксированы в прокламациях все того же неистребимого «Союза борьбы». А в начале 1897 г. повторная забастовка ткачей вновь заявила устами того же «Союза» свои требования о законодательном сокращении рабочего дня, вынудив этим упорством у царизма первую серьезную уступку рабочему движению, вставшему под красное знамя социал-демократии. Можно себе представить, какой отзвук эти события получили в рядах революционной интеллигенции вообще и передового студенчества в особенности...

События эти обсуждались повсюду и, в частности, в организованном нами по примеру других землячеств Скопинском студенческом землячестве, пожалуй, даже много горячее, чем в других. Состав нашего землячества был весьма демократический и радикально настроенный, и притом в его рядах, по счастью, оказался живой свидетель и даже участник волнующих летних событий 1896 г. Это был студент-лесник третьего курса Алеша Сафонов. Завязав во время забастовки связи с рабочими, он прежде всего организовал сбор денег среди студенчества в помощь стачечникам, а затем очень скоро через рабочих вошел и сам в ряды организации «Союза борьбы». Алеша рассказывал нам интереснейшие эпизоды из этой борьбы, и нам, желторотым первокурсникам, не терпелось и самим хоть чем-нибудь помочь рабочим в этой борьбе.

Каждый из нас, первокурсников, чувствовал себя вначале слишком одиноким среди миллиона чужих людей в чужом городе и потому прежде всего устремлялся в свое землячество, чтобы здесь через вполне уже освоившихся земляков старших курсов скорее приобщиться к новым условиям столичной жизни. А общественная жизнь столицы била вокруг нас в те годы ключом. Именно тогда появилось здесь в печати первое марксистское «Новое слово», а когда этот замечательный журнал прихлопнула цензура, на смену ему возникло «Начало», а когда и его после нескольких номеров прикончили, марксистская мысль возродилась в «Жизни». Во всех этих журналах под разными псевдонимами печатались боевые статьи Г. В. Плеханова и В. И. Ленина, здесь же я впервые прочел и сразу же горячо полюбил юношеские произведения М. Горького — «Челкаш», «Коновалов»... зачитывал-

ся созвучными эпохе повестями В. Вересаева, А. Серафимовича и многих других. Каждую вновь вышедшую книжку «Нового слова» я сразу в один вечер проглатывал залпом и с нетерпением поджидал следующую.

Не пропустил я, конечно, также ни одной из бурных дискуссий марксистов с народниками о «судьбах капитализма в России», то и дело вспыхивавших еще и в Вольноэкономическом обществе и на разных студенческих вечерах и вечеринках. Впрочем, для меня и многих других этот вопрос не казался уже дискуссионным после массовых проявлений рабочего движения в петербургских стачках 1896—1897 гг. Стоило ли еще ломать копья о шансах развития капитализма в России, когда он был уже налицо, проявляясь в столь ярких формах вызванной им реакции, как массовое рабочее движение. Стачки 1896 г. убедительнее всех аргументов Туган-Барановского и прочих «легальных марксистов» свидетельствовали о беспочвенности народнических иллюзий о возможности миновать в России капиталистическую стадию развития. Марксизм среди студенческой молодежи становился все более «модной» теорией. И я отчетливо помню, как одна из самых юных наших землячек, миниатюрная Мусенька Яковлева, повсюду таскала с собой книжку «Нового слова» в красной обложке в знак своей приверженности к этой своеобразной моде. Но всякая мода скоро проходит. Прошла она и на занятную игру в «легальный марксизм», от которого вскоре отвернулись все его адепты. А революционный марксизм, уходя в подполье и все крепче спаиваясь там с рабочим движением, тем временем все расширял свою базу.

Связь с подпольем через Алешу Сафонова не прошла бесследно и для нашего землячества. Через него не один из нас получал текущую нелегальную литературу. Через него пополнялась тощая касса «Союза борьбы» нашими посильными взносами. И хотя Скопинское землячество в целом всегда было только беспартийной ячейкой для дружеского общения и взаимной поддержки земляков-скопинцев, но в большинстве своем они, несомненно, сочувствовали революции. И сочувствие это выражалось не только денежными перечислениями из доходов землячества в кассу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Кстати сказать, доходы эти от организуемых нами студенческих вечеров и любительских спектаклей иной раз были весьма заметными и никогда не иссякали. Но, помимо того, многие из этих земляков и землячек, самостоятельно завязав связи с рабочими, и сами вскоре вошли в актив рабочего движения. А некоторые из них, как, например, покойный поэт Е. Тарасов, талантливо воспевший Московское вооруженное восстание 1905 г., стяжали и немалые заслуги на этом поприще.

В числе других и я с первых же месяцев своего студенчества горел желанием послужить революции если не *головой* — в качестве агитатора и пропагандиста,— то хоть ногами — на посылках по тем или иным заданиям организации. Освоившись в институте, я со второго семестра стал в нем постоянным сборщиком пожертвований в так называемый «Красный Крест» — для помощи политическим заключенным. Выполняя и кое-какие другие поручения подобного рода, я ясно сознавал, однако, свою неподготовленность к более серьезной работе. Чтобы стать пропагандистом и учить чему-то рабочих, надо было самому много знать. Институт не мог мне дать нужных для этого знаний. Я должен был сам их приобрести. Очень скоро у меня на столе очутились при содействии Алеши Сафонова нелегальные издания: «Эрфуртская программа» Каутского, «Русский рабочий в революционном движении» Плеханова, «Женщина и социализм» Бебеля, «Подпольная Россия» Степняка и тому подобная литература. Трудно передать все

С. Г. Струмилин (1897 г.)

очарование, которым повеяло от этих первых для меня откровений свободного слова, где все вещи назывались *своими* именами, без всяких эзоповских экивоков и маскировки, к каким нас так приучила царская цензура, что мы уже и не замечали присущего им *рабьего* привкуса. Однако эти немногие яркие откровения не утолили, а лишь еще больше обострили и разожгли мою жажду знаний и все возрастающий интерес к специальной области наук общественно-экономических.

Зачастив в Публичную библиотеку, я перебрал там и пересмотрел за полгода почти все найденные мною здесь учебники политической экономии в целях более глубокого изучения этой новой для меня науки. Но из подцензурной буржуазной русской литературы того времени я немного мог извлечь для себя ценного. Нужно было взяться за классиков и прежде всего осилить «Капитал» Маркса. Меня сильно пугали, однако, трудностями его освоения. И я решил отложить это дело до летних каникул. А пока занялся плодами своих раскопок у букинистов: читал книги Струве и Бельтова, читал народников, добыл задержанный цензурой марксистский сборник со статьей К. Тулина (В. И. Ленина) [1], и вообще не терял даром времени. Между прочим, еще в том же году мне удалось впервые напечатать и пару собственных рецензий на текущие новинки экономической литературы. В том же памятном году, 4 марта 1897 г., мне случилось принять активное участие и в первой для меня массовой политической демонстрации у Казанского собора.

---

[1] «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития». Сборник статей, СПб., 1895, со статьей Ленина «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе)».

Поводом к ней послужила трагическая кончина в Петропавловской крепости заключенной там девушки М. Ф. Ветровой. Говорили, что жандармы-тюремщики гнусно ее изнасиловали там и оскорбленная девушка, не имея иных способов протеста, облила себя из зажженной лампы керосином и, вспыхнув, сгорела, как живой факел отчаяния. Такого факта не удалось скрыть даже в тайниках крепости. Волна возмущения широко прокатилась по столице. Кто-то предложил самую невинную и легальную форму общественного отклика на этот возмутительный факт: отслужить в Казанском соборе панихиду по «в бозе почившей рабе божией Марии». Инициатива была широко подхвачена. В назначенный час в соборе и вокруг него на площади оказались неисчислимые массы взволнованной студенческой молодежи и всякого иного люда. Попы, конечно, струсили и отказались служить панихиду по такому поводу. Но мы были готовы к этому. Чей-то юношеский, чуть вибрирующий от волнения голос звонко затянул торжественно-печальный напев:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу...

Сотни голосов и тысячи сердец дружно подхватили этот всегда волнующий революционный гимн, и, нарастая все мощнее и шире, он скоро безраздельно овладел всей площадью. Но и «архангелы» царской своры были готовы, по-видимому, к выполнению своих привычных функций: «тащить и не пущать». Из ворот окружающих площадь дворов выбежали вдруг целые сотни запрятанных там заранее дюжих городовых, гвардейской стати, и начали быстро оцеплять крамольных исполнителей торжественной гражданской панихиды. Но это лишь подлило в огонь масла. Еще торжественнее и громче с уже зловещими грозными нотками звучали на площади слова гимна:

А деспот пирует в роскошном дворце,
Тревогу вином заливая,
Но грозные буквы давно на стене
Уж чертит рука роковая.

На Невском, перед площадью, моментально запрудила проспект во всю его необъятную ширину привлеченная нашим гимном несметная толпа зевак. Движение экипажей остановилось. Полицейские стратеги на этот раз явно просчитались. Никто из них, по-видимому, не ждал такого наплыва демонстрантов. Тонкая цепочка городовых, всего в два ряда, тщетно пыталась в ожидании подкреплений, крепко схватившись за руки, сдержать в своем кругу многотысячную массу демонстрантов. Правда, все эти городовые были отборными крепышами из отставных гвардейцев, перед которыми и я со своими 182 сантиметрами роста и 88 килограммами веса казался щупленьким легковесом. Но когда перед концом гимна по рядам демонстрантов был передан сигнал «поднажмем» и прозвучали вещие строки:

Но настанет пора — и проснется народ,
Великий, могучий, свободный,

и мы действительно *поднажали,* то эффект получился поразительный. Хоровод отборных «архангелов» в одно мгновение распался на свои элементы, посыпавшись на мостовую, как сбитые кегли. А я грешный, в частности, совсем неожиданно для себя очутился верхом на спине одного из этих «архангелов», уткнувшегося носом в землю. В следующий же момент, однако, толпа вынесла меня далеко вперед на проспект. Демонстранты слились на Невском со всей толпой зевак в одну

нераздельную массу, и теперь казалось, что и вся эта случайная толпа вместе с нами допевала прощальные строки гимна:

— Прощайте же, братья, вы честно прошли
Ваш доблестный путь, благородный.

С прорывом на Невский демонстрация закончилась. Ее цель можно было считать достигнутой, ибо если до 4 марта о гибели Ветровой знали тысячи граждан, то после демонстрации об этом с возмущением узнали миллионы. Удовлетворенные этим сознанием, мы мирно разошлись по домам. Не могла удовлетвориться этим только полиция. Поверженные толпой городовые, как я узнал на другой день, оправившись, немедленно же реваншировали свою первую неудачу. Они оцепили оставшихся в соборе молящихся и, хотя здесь не было никаких «нарушений общественного порядка», сами его нарушили, грубо извлекая молящихся из храма и переправляя их под арест в Спасскую часть. Целый день там сотни людей проморили голодом в тщетных поисках «зачинщиков» среди перепуганных до смерти богомольных старушек, пока после допроса и удостоверения личности не были, наконец, отсеяны все овцы от козлищ, и невинные овечки постом и молитвой вымолили свободу, а наиболее строптивые козлища заработали высылку из столицы.

Один из таких козлищ, мой товарищ по институту, рассказал потом, в чем именно проявилась его строптивость.

На вопрос жандарма, по какому поводу он был сегодня в храме, студент, избегая лжи, честно ответил:

— По приглашению на панихиду по рабе божией Марии.

— Может быть, Вы расскажете нам что-нибудь о ее смерти...— полюбопытствовал, чуя поживу, жандарм.

— Боюсь, что Вы, по Вашей должности, лучше моего осведомлены в этом деле...— ответил студент.

— А, скажите, как собственно Вам приходится эта раба божия...— продолжал жандарм.

— Сестрою во Христе, если позволительно здесь, в узилище, говорить языком церкви,— ответил, не смущаясь, вопрошаемый.

— О, я вижу, Вы очень благочестивый сын церкви...— съязвил разозлившийся жандарм.

— Чего, судя по Вашим действиям в храме, я никак не решился бы утверждать о Вас...— очень вежливо возразил студент.

И этого было достаточно. Самые гнусные преступления царских опричников оставались безнаказанными. Но именно поэтому даже лояльный протест против них рассматривался как совершенно непростительное преступление. Нечего и говорить, что подобными действиями царский режим отнюдь не укреплял своей популярности даже в наиболее умеренных кругах населения. А для меня, в частности, памятный день 4 марта 1897 г., когда я впервые получил боевое крещение в борьбе с царизмом и почувствовал себя *гражданином*, стал начальным днем всей дальнейшей общественной деятельности.

* * *

Новые общественные интересы к концу года заметно отвлекли меня от занятий в Электротехническом институте с его циклом точных физико-математических наук. Я начал сомневаться в призвании стать инженером. В тогдашних условиях это означало бы, получив диплом инженера, в буквальном смысле слова последовать рецепту П. Б. Струве, т. е., запродав знания какому-либо фабриканту и выжимая для него все соки из рабочих, пойти «на выучку к капитализму». Эта перспек-

тива совсем не улыбалась мне. Это обеспечило бы, конечно, «кусок хлеба» и даже с маслом. Но такой кусок хлеба стал бы поперек горла. Однако приближалась экзаменационная страда. И, чтобы не потерять стипендии, я снова здорово приналег на институтскую учебу. Мне почему-то казалось, что всякие премудрости легче всего усваиваются, когда ноги значительно выше головы и, таким образом, достигается усиленное питание мозга. Товарищи часто посмеивались над этим чудачеством, застигая меня на кровати без подушки, но с высоко подвешенными кверху ногами и с увесистым фолиантом лекций в руках. Но я, ничуть не смущаясь этим, уверенно глотал страницу за страницей. Правда, перед самым экзаменом от избытка воспринятой залпом премудрости мою бедную голову обычно заволакивал сплошной туман. Я начинал уже праздновать труса, считая провал обеспеченным. Но как только, вытянув билет, я пробегал глазами доставшиеся мне вопросы, густой туман сразу рассеивался. Я отчетливо видел перед собой все нужные выкладки и формулы и мог бы даже указать, пожалуй, где именно на страницах лекций, справа или слева, вверху или внизу, располагалась каждая из этих формул. Волнений все же было немало. И, только выдержав все переходные на второй курс экзамены с предельно высокой суммой баллов, я вздохнул вполне свободно, переключая свою психику на иные задачи.

Получив через одну из землячек, медичку Надю Голощапову, заманчивое приглашение приехать на лето к ее старикам погостить в деревне, я не смог отклонить его при всей своей застенчивости. Об этих милых стариках я и раньше был уже достаточно наслышан. Семья, или, говоря точнее, две неразлучные семьи братьев Голощаповых, женатых на двух родных сестрах, была хорошо всем известна в Скопинском уезде. Ее усадьбы представляли собой очень уютные, утопающие в зелени, хотя и небогатые, дворянские гнезда. Только в отличие от тургеневских дворянских гнезд здесь между *отцами* и *детьми* никогда не возникало какой-либо идеологической розни или взаимного непонимания. Эти люди 70-х годов умели, как-то совсем не старея, находить общий язык и с людьми 90-х годов и даже с деятелями 1917 г. К тому времени один из братьев, П. Н. Голощапов, умер. Его детишки, однако, недаром все называли папой другого брата — А. Н. Он действительно не делал никакого различия между детьми брата и собственными. В этой гостеприимной семье на моей памяти перебывали чуть ли не все наиболее революционно настроенные члены нашего землячества. И все они находили здесь всегда приют и ласку. Всегда здесь можно было услышать горячие дебаты на самые злободневные темы, почти всегда можно было здесь достать и какую-либо новинку из революционной прессы. Не раз, впрочем, эту семью навещали и жандармы с обысками. Но всегда безрезультатно. И не потому, что нечего было найти. А потому, что молодежь наладила идеальные прятки в саду под дерновыми крышками, куда бесследно исчезало все, что только интересовало жандармов.

Направляясь к Голощаповым в Казаково, я знал, что встречу там целый выводок родных и двоюродных юных сестер Нади всех возрастов — от 8 до 18 лет. Сестры Нади, как и она сама, оказались очень славными и милыми девушками, и я очень быстро с ними сдружился. Кажется, и я сам в двадцать лет, если верить сохранившемуся фото, не был уродом. Молодость имеет свои права. И я совсем не прочь был в те годы порезвиться с юными девушками, поиграть с ними в горелки, попеть и потанцевать... Помню, не раз в эти годы — и летом, и на святках — танцевал я один за пятерых кавалеров, а когда вся эта пятерка, упарившись в соревновании до седьмого пота, шла «подкрепляться» к заветным столикам с наливками и настойками, я бежал

на погреб, где меня ждала крынка холодного молока, выпивал ее залпом до дна, а затем снова танцевал всю ночь до упаду. Но при всем том во время сборов в Казаково у меня и на уме не было каких-либо романических похождений. Я захватил с собой туда еще не разрезанными все три тома «Капитала» Маркса и его же прославленный томик «К критике политической экономии» со знаменитым философским к нему предисловием. Мне необходимо было все эти вещи основательно проштудировать и освоить за лето.

Гостей в это лето у Голощаповых было немало. И их пришлось разместить в обеих усадьбах, в Казакове и в Невзорове, у добрейшей Веры Ивановны Голощаповой. В частности, мне со студентом Сережей О. досталась шикарная пустая кухня-особняк в невзоровской усадьбе Веры Ивановны. В этой новой резиденции у нас установился такой примерно порядок дня. Мой сожитель «Сержа̀» признал за благо ежедневно с утра, после чаю, подхватив с собой, кстати, прелестную брюнеточку Надину С., или Надю *маленькую* — как ее здесь все звали в отличие от медички Нади *большой,* — отправляться с нею на прогулки в разных направлениях для ближайшего ознакомления «с живописными окрестностями» Невзорова. Мне не очень нравились эти уединенные прогулки с чужой невестой, но Сержа̀ настойчиво рекомендовал мне не совать нос не в свое дело. Подумав, что жениху Надины действительно удобнее, чем мне, совать свой нос в это дело, я занялся своим. А именно каждый день с утра я засаживался за «Капитал» и старался одолеть из него не менее одной или двух глав до обеда. Входя с каждым днем все более во вкус этой основной работы Маркса, я все больше радовался, что одолевать ее удавалось гораздо легче, чем я мог раньше думать, и во всяком случае легче, чем сухие институтские детерминанты, дифференциалы и интегралы. Маркс мобилизует ведь не только разум, но и сердца борцов за лучшую жизнь. И вот, шаг за шагом продвигаясь вперед, к концу лета я завершил свою задачу. Основной труд великого учителя был прочитан до последней страницы и, как сдается, прочно освоен на всю жизнь.

Послеобеденный порядок дня в Невзорове был гораздо многообразнее. Здесь частенько собиралось все юное население обеих усадеб. В пустом сарае, примыкавшем к нашей кухне, мы то и дело репетировали какую-нибудь очередную пьесу для постановки в городе «в пользу нуждающихся студентов» Скопинского землячества. Ставили мы там не без успеха и «Женитьбу» Гоголя, и «Волки и овцы» Островского, и другие вещи. Приходилось и мне в них участвовать. Говорят, что, в частности, с ролью жизнерадостного Кочкарева в «Женитьбе» я вполне справился. Гораздо труднее было справиться с ролями сценических юных любовников. Мне казалось, что нет на свете роли глупее этой. И я никак не мог произнести с чувством реплики «О, милая...» в одной из таких ролей, хотя моя партнерша по пьесе, пятнадцатилетняя Сонечка, действительно была премилая. Я всякий раз самым дурацким образом спотыкался на этой реплике, опускал глаза и, почти целиком проглатывая ее, храбро перескакивал к последующим. Только много лет спустя, когда волею судеб та же черноокая Сонечка стала женой и неизменным до гроба спутником всех моих мытарств по тюрьмам и ссылкам, я научился обращаться к ней с подобными же «репликами» — правда, без лишних свидетелей — гораздо натуральнее, чем когда-то на сцене. Опыт с несчастной репликой убедил меня тем временем в необходимости переменить свое амплуа. И вместо нелепых любовников на сцене я стал гораздо успешнее выполнять все *закулисные* роли, от режиссера и декоратора до гримера, костюмера и суфлера включительно. Особенно важную роль в наших постановках играл последний. И я охотно поддразнивал наших юных примадонн,

уверяя, что всеми своими успехами у публики они исключительно обязаны непризнанным талантам суфлера. Больше всего, однако, по правде сказать, успеху наших студенческих спектаклей содействовали обещанные в афише после спектакля танцы. Эта последняя часть программы всегда безошибочно гарантировала нам полные сборы.

После репетиций особенным успехом у нас пользовались состязания в городки и на теннисной площадке. Затем ходили купаться. Чаевничали в саду под огромной столетней липой, подобной баобабу и, несомненно, помнившей еще наполеоновский поход на Москву. Иной раз горячо спорили о грядущих судьбах великой Родины. Иной раз тихо внимали то звонкой озорной частушке под гармошку вдали, на деревне, то печальной «протяжной» русской песне, такой родной и волнующей в тихий вечерний час...

Ах, ты, ноченька,
Ночка темная...
Ночка темная,
Да ночь осенняя.

Сладко было помечтать после такой песни, нагонявшей беспричинную грусть, и молча, в одиночку, и вполголоса — вслух — среди надежных друзей... А там и впрямь спускалась темная, безлунная ночь. Никому не хотелось коротать такую ночку, как в песне, без друга милого, в одиночку. И, размечтавшись, мы долго провожали друг друга всей компанией из Невзорова в Казаково и обратно.

А когда гостей не случалось, то к вечеру я затевал веселые игры с младшими детишками в палочку-выручалочку, в гуси-лебеди, в зайцы-собаки... И сам первый бегал за палочкой, изображал в лицах то самого злющего, щелкающего зубами волка, то самого ретивого пса-забияку — хвост крючком, а то и самого что ни на есть пугливого куцого зайчишку. И не знаю, кто больше испытывал радости в этих играх? — детишки ли, у которых дух захватывало от волнения и восторга, или я, наслаждаясь их детским непритворным весельем? Иногда на меня нападал дух озорства, и, забежав в цветник, я начинал там громко мычать, подражая теленку. В доме сразу же поднималась ужасная тревога.

— Соня, Лида, Катя, Ляля...— восклицала в ужасе Вера Ивановна, бегите скорее в цветник.— Там опять телок все клумбы потопчет.

В цветник раньше всех обычно поспевала с прутом в руках резвая Соня. Но, увидав там меня, она только лукаво грозила пальчиком и бежала прочь успокоить маму.

— Ну, мама...— слышал я ее звонкий голосок сквозь открытые окна в доме. Опять ты, мама, напутала... Это вовсе не телок мычал, а наш ученый философ...

— Ах, чтоб его совсем... Опять он напугал меня до смерти,— ахала, успокаиваясь понемногу, Вера Ивановна.

А к этому времени успевала уже добежать до цветника и вся орава младших детишек. И начинался общий их радостный визг, гвалт и хохот.

В таком стиле протекали наши первые студенческие каникулы.

Омрачила их для меня только одна темная тучка. К концу лета исчез куда-то с горизонта печальный бывший жених Надюши маленькой, перебрался на новые места «изучать живописные окрестности» беспечальный Сержа̀. Но его вместо жгучей брюнетки сопровождала уже повсюду яркая блондинка в стиле Грэтхен из Риги. И с немым укором устремлялись сквозь слезы в туманную даль карие очи одинокой Надины.

5. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

Вернувшись в столицу к институтской учебе, я все чаще стал изменять ей в связи с новыми общественными интересами. В стенах Электротехнического института этим интересам определенно не хватало пищи. В рядах студентов-электриков было тогда еще слишком много откомандированных сюда для учебы провинциальных почтово-телеграфных чиновников. Они и в институте донашивали свои чиновничьи мундиры и получали не стипендии, а присвоенное им по чину жалованье. Некоторые, уже кончая институт, метили из маленьких в большие бюрократы. Другие, более отсталые и забитые, давно обзавелись детишками и обросли бородами, но все еще оставались политическими младенцами, примыкая к той категории граждан, у которых, по Щедрину, даже в паспорте, в графе «чем занимается», прописано: «всего опасается»... Помню, к одному из таких бородачей я рискнул как-то подойти с подписным листом, украшенным нелегальной красной печатью, на котором отмечались условными инициалами сделанные жертвователями взносы в пользу политических заключенных. Бородач взглянул на заголовок листа, вспыхнул и залепетал:

— Что Вы, что Вы!.. Разве Вы не знаете, что я состою на государственной службе и приносил присягу государю?..

— Да, я знаю это. Но и Вы, коллега, чай, знаете, что от тюрьмы да от сумы у нас на Руси никто не гарантирован.

Бородач пугливо осмотрелся вокруг, нет ли свидетелей, наскоро сунул мне свой рупь-целковый и взмолился:

— Только не отмечайте, пожалуйста, меня никак на этом листе.

— Не беспокойтесь, коллега, я Ваш взнос помечу тремя крестами...— заверил я робкого жертвователя.

Но страшен, по-видимому, только первый шаг на этом пути. И когда через некоторое время я смог показать ему печатный отчет «Красного Креста», в котором он узнал и свой рубль за тремя крестами, то бородач отвалил уже по собственному почину целую трешку. Не сомневаюсь, что и чувство собственного достоинства после столь геройского акта повысилось у моего бородача по меньшей мере втрое. Но все же с такими героями нельзя было рассчитывать на многое.

Из других институтов в то время наиболее ретроградное студенчество гнездилось в аристократическом Институте путей сообщения. Увековеченные Гариным в его автобиографическом романе «Студенты», питомцы этого привилегированного заведения, как помнит читатель, очень весело проводили время, отлично канканировали в шикарных публичных домах. И только заполучив там сифилис, впадали на время в сплин, уподобляясь байроновскому Чайльд-Гарольду. И это не карикатура, ибо Гарин изображал своих коллег по институту с натуры и притом с большой любовью и редким талантом... Наиболее радикальное студенчество в те годы ютилось в гораздо более демократических по составу Лесном и Технологическом институтах, а также в университете. В землячестве были хорошо представлены все эти форпосты передового студенчества, и я поэтому был всегда в курсе всех общественных настроений, в которых как раз в эти годы намечался довольно серьезный поворот.

Прежде всего народничество явно сходило на нет. Народнический журнал «Русское богатство» еще был в спросе. Читали его, в частности, и все мои земляки, среди которых не было ни одного народника. Читал его с интересом и я. И не только потому, что там печатались чарующие произведения В. Г. Короленко, а и вообще потому, что хотелось знать, что же творится в стане противников. А творилось там явно неладное.

Чувствовалось даже по мелочам, что народнические вожди остаются без армии. Раньше к этим вождям то и дело направлялись студенческие делегации с почетными билетами на каждый вечер или вечеринку, привозили их к себе, окружали поклонниками и поклонницами, с открытыми ртами внимали каждому их слову и с почтением, как на иконы старого письма, неотрывно взирали. А затем в роли таких икон на наших вечеринках вместо библейского лика седовласого лидера народников Михайловского все чаще можно было видеть П. Б. Струве вкупе и влюбе с громоздким, битюгоподобным Туган-Барановским. В дружеских шаржах Каррика эти друзья изображались в виде двуликого Януса на «устойчивой» базе игрушечного ваньки-встаньки. И действительно, их не могли уже вывести надолго из равновесия даже самые яростные атаки «последних могикан» из лагеря народников. Но в пределах *собственного* идейного лагеря их идеологическая устойчивость оказалась весьма иллюзорной.

Кризис переживало не только народничество, но и так называемый легальный марксизм. Еще в 1898 г. нас порадовало огромной важности известие о первом в России подпольном съезде социал-демократов и организации им Российской социал-демократической рабочей партии. Говорили, что опубликованный этим съездом партийный «манифест» принадлежит перу П. Б. Струве, хотя он и не присутствовал на съезде. Это сильно повышало в наших глазах политический вес Струве. Но тем большее изумление и разочарование вызывали в моих глазах его все более ревизионистские выступления в легальной печати. Возглавив новую «критическую струю в марксизме», Струве и Туган-Барановский стали то и дело открывать в печати на радость врагам все новые неразрешимые «антиномии» и «основные ошибки» в революционном учении Маркса. Признавая полную правомерность внутрипартийной самокритики, я, однако, ясно видел всю несостоятельность критических «открытий» нового течения. Их нетрудно было бы опровергнуть. Но в подцензурной печати только «критики» пользовались свободой слова. И поэтому казалось, что оппортунизм становится господствующим у нас течением. Чувствуя себя неуязвимым с этой стороны, двуликий Янус «легального марксизма», качаясь еще на своем шатком пьедестале ваньки-встаньки влево и вправо, вперед и назад, все решительнее кренился вправо и назад. Под лозунгами «назад к Лассалю», «назад к Фихте», «назад к Канту» он определенно поворачивал свое подлинное лицо в этом сплошном попятном движении к самой откровенной реакции.

С течением времени это попятное движение становилось все более агрессивным. Петр Струве утверждал, например, что вся «убогая метафизическая надстройка» марксизма «должна целиком пойти на слом». Его соратник Бердяев услужливо предлагал «пагубную ортодоксию» марксистов заменить своей собственной самодельной критической *неометафизикой*. Даже неуклюжий в философии Туган-Барановский твердил о «реалистической ограниченности философского мышления» К. Маркса и «философской непродуманности его миросозерцания». А затем, спускаясь с философских высот «проблем идеализма» на грешную землю в область аграрного и рабочего движения, критики не оставляли и здесь камня на камне. Причем, по Булгакову, например, выходило, что и в этой области «высшую санкцию современному социальному движению дает метафизика. Хуже всего, однако, было то, что этот растлевающий душу бесстыжий оппортунизм, прикрывающий свою наготу философской мантией метафизического идеализма, не ограничивал сферы своего воздействия интеллигентской верхушкой, пытаясь проникнуть и гораздо глубже, в толщу революционного рабочего движения.

Потеря «попутчиков» из интеллигенции не особо страшна была для этого движения. «Чуткий» ко всем самоновейшим веяниям российский интеллигент, в нутре которого было, как известно, «всегда одно и то же — весьма обыкновенный телячий состав студня, способный «отзываться» «трепетом на всякое чихание»,— вообще способен был метаться в разные стороны. Вчера, следуя по течению, он метнулся, скажем, к крайнему материализму и атеизму, а завтра, смотришь, он уже мечется в противоположную крайность и, завязнув в тине метафизической мистики, клянет марксистскую ортодоксию или, подобно Бердяеву, становится апостолом «нового религиозного сознания» или еще проще, подобно Булгакову, принимает посвящение в архиерейский сан и выступает в качестве признанного «ортодокса» уже в лоне ветхого церковного православия. Объяснить такие шатания разночинной интеллигенции в классовом обществе можно было уже ее объективно межеумочным положением в борьбе полярных классовых сил этого общества. Такая межеумочная интеллигенция чаще всего становилась попутчиком рабочих лишь до первого перекрестка дорог. Но бедой было то, что рабочее движение не могло развиваться успешно без участия интеллигенции. И, пока оно не вырастило своей собственной, классовой интеллигенции, ему приходилось мириться с тем, что на одного самородка Бебеля в рядах его лидеров путалась целая дюжина чужеродных Бернштейнов, Фольмаров и Давидов, сеявших гнилой оппортунизм, или даже Мильеранов и Муссолини, всегда готовых к черной измене делу пролетариата. Не миновала эта зараза и русского рабочего движения.

Даже в рабочей организации столицы после ареста В. И. Ленина с товарищами все более усиливалось оппортунистическое течение так называемых «экономистов». В отличие от «легальных марксистов» эти подпольные интеллигенты отнюдь не дебатировали о метафизике. В качестве сугубых практиков они вообще проявляли крайнюю беззаботность по части всякой теории. Страшась впасть в «утопизм», они сознательно избегали в условиях самодержавия ставить перед рабочими какие-либо серьезные политические проблемы. Считалось, что русские рабочие должны еще предварительно созреть и подрасти для этого, постепенно поднимаясь со ступеньки на ступеньку. В тех же интересах постепенности они даже международный *экономический* лозунг 8-часового рабочего дня подменяли в первомайских листовках оппортунистическим, но якобы зато более реальным требованием 10-часового рабочего дня. В таком духе редактировался, начиная со 2-го номера, и периодический орган этой организации — «Рабочая мысль», отражающий будто бы самую подлинную мысль питерских пролетариев, хотя их пером и водили за них просвещенные демагоги-интеллигенты. Помню, что мне совсем не по душе приходились некоторые из их писаний, хотя самому трудно было еще разобраться во всех качествах этого ползучего практицизма. Его боевую программу несколько позже удачно отобразила известная пародия на мотив «Варшавянки», посвященная «экономистам»:

Если возможно,
То осторожно,
Шествуй вперед,
Рабочий народ!

А между тем в условиях царской России подобный поссибилизм «вождей» ни в рабочей среде, ни в передовом студенчестве отнюдь не встречал никаких симпатий. На вечеринки еще приглашали недавних кумиров — Струве и Туган-Барановского. Но после каждого выступления их в печати с какими-либо критическими антиномиями их угощали

на ближайшей же вечеринке примерно такими запевам на мотив популярной «Дубинушки»:

Гнет и сумрак вокруг...
Жить рабочим не в мочь!..
Их хозяин и царь донимает.
А ученый их «друг»,
Чем рабочим помочь,
«Антимонии», вишь, измышляет.

Подобного рода «антикритических» импровизаций в те годы я слышал немало. Случалось не раз и мне, грешному, умножать этого рода студенческий фольклор, выступая в роли запевалы. И всегда, помню, после такого запева хор особенно охотно подхватывал песню и звонко «ухал» в дружном припеве. Это «помрачение» вчерашних кумиров только лишний раз подчеркивалось той небывалой еще популярностью и любовью, которую тогда стяжал в среде молодежи новый «буревестник» грядущей революции — Максим Горький.

О том, какими настроениями питалось тогда все студенчество, показала всеобщая в столице студенческая забастовка 1899 г. Поводом послужила весьма «обыкновенная» в дореволюционном быту история. В день годовщины университета, 8 февраля, конная полиция в порядке предупреждения возможных «беспорядков» жестоко избила нагайками перед университетом толпу студентов. В другое время по такому поводу, может быть, сильно пошумели бы на сходке, вынесли бы резкую резолюцию и кто-то спокойно положил бы ее себе в карман. Но на этот раз вышло иначе. Студенчество еще не забыло эффекта рабочих забастовок 1896/97 г. Гегемоном революционного движения в России становился рабочий класс. И, следуя по его стопам, студенчество на этот раз решило испытать тактику забастовок — это классическое боевое оружие пролетариата. Правда, в аудиториях в отличие от заводских цехов не создается прибавочной стоимости, и потому прекращение в них занятий ничем не грозит карману буржуазии. Но тем более неприятным скандалом оно угрожало правительственным кругам, ибо могло рассчитывать на сочувствие и отклик даже в рядах буржуазии и дворянской бюрократии, сынки которых тоже отведали на этот раз вкус жандармских нагаек. И, действительно, скандал получился грандиозный. Самодержавное правительство вынуждено было пойти на некоторые «уступки» явно неблагоприятному для него общественному мнению назначением генерала Ванновского председателем правительственной комиссии по расследованию причин событий в феврале.

Конечно, вначале полиция пыталась потушить движение в самом его зародыше «своими средствиями», т. е. прежде всего арестами «зачинщиков». Сорганизованный с первых же дней движения забастовочный «Коалиционный комитет» собирался в университетской столовой. И, может быть, именно поэтому особенно много арестов было среди универсантов. Но вместо арестованных немедленно являлись на смену им новые их заместители, и работа «Коалиционного комитета» не прерывалась ни на один день. Ежедневно выходил очередной выпуск «Бюллетеня» забастовки с полной и точной хроникой всех событий дня. Каждый день в ней отмечались новые аресты. А вместе с тем каждый день отмечалось и присоединение к забастовке все новых учебных заведений столицы, пока она не охватила здесь, наконец, всю студенческую массу обоего пола. Первое время были еще кое-где попытки сорвать забастовку при содействии мобилизованных педелей и шпиков, переодетых в студенческие тужурки. Загоняя самых робких студентов в аудитории наиболее беспринципных лекторов, готовых читать свои лекции, профанируя науку, даже двум-трем заведомо безмозглым дежурным шпикам, начальство пыта-

лось создать хотя бы иллюзию нормально функционирующих храмов науки. Но из таких попыток ничего не получалось, кроме конфуза.

Переодетых шпиков не трудно было отличить от студентов уже по обличию. Их то и дело окружали и изобличали, подвергая самому элементарному экзамену. Так, например, если он называл себя юристом, его спрашивали:

— А Вы в самом деле юрист? Так Вам, конечно, знакома логика. В таком случае скажите пожалуйста, в чем ошибка следующего силлогизма: «Все гуси — двуноги. Вы тоже двуногий. Значит, и Вы тоже гусь?»

Малограмотный «гусь», не разбираясь в силлогизмах, понимал, однако, свой неизбежный провал и, обливаясь холодным потом, как на пытке, сразу же под гомерический хохот веселых экзаменаторов обращался в позорное бегство. А если в какую-либо аудиторию вместе с лектором проникала все же группа вольных или невольных штрейкбрехеров, то всегда среди них оказывалось и несколько активистов-забастовщиков. Без всякого шума и скандала они проливали там под самым носом неразборчивого лектора пару скляночек специально заготовленных для этого химиками жидкостей вроде сероуглерода или меркаптана. В аудитории распространялся совершенно невообразимый, смертельный смрад. И лектор со всеми своими слушателями пулей вылетал оттуда. А наблюдающие со стороны этот вылет студенты, невольно зажимая носы, лишь провожали беглецов любезными возгласами:

— Фу! как скверно пахнет эта штрейкбрехерская наука!

Впрочем, к химической обструкции в эту забастовку приходилось прибегать очень редко. Злостных штрейкбрехеров из ряда дрессированных Пуришкевичем много позже студентов-«академистов» тогда еще и в помине не было. К тому же и повод к забастовке — избиение студентов полицией — был самый «академический». Для полного удовлетворения всех чаяний большинства протестантов достаточно было бы лишь расследовать дикое поведение полиции и наказать виновников избиения, возмутившего весь Петербург. Не возмутились им разве только молчаливые свидетели избиения — египетские сфинксы с университетской набережной. Да и то лишь потому, что их «твердокаменная» невозмутимость определялась уже качеством того материала, из которого они были высечены. Студенты были не каменные. И потому их сочувствие и поддержка возникшей забастовке были исключительно единодушными. Даже в Путейском институте забастовка прошла огромным большинством. А у нас, в Электротехническом, за нее, к моему удивлению, дружно проголосовали даже лояльнейшие из наших связанных «присягой» студентов-бородачей.

Призванный через Алешу Сафонова в 1899 г. к активной партийной работе в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», я совсем не должен был ввязываться в чисто студенческое движение. Но вышло как-то само собой, что я невзначай оказался и председателем всех сходок и бессменным делегатом института в общестуденческом «Коалиционном комитете» на все время забастовки. Институт наш считался весьма отсталым. И, чтобы поднять его на забастовку, «Коалиционный комитет» делегировал к нам своего докладчика. Чтобы провести оратора мимо швейцара, мне пришлось его переодеть в свою студенческую форму, напялив на него свою шинель и фуражку. Будучи много ниже меня ростом, он весьма беспомощно болтался в этой огромной шинели с чужого плеча и выглядел из-под моей необъятной фуражки довольно «подозрительной личностью». Однако в те годы нам сходили с рук безнаказанно и не такие еще водевили с переодеванием. Иной раз даже на сходки к медичкам удачно проникал делегатом какой-нибудь длинноногий безусый студент, который, путаясь в узких для него женских кофточках и юбках, и произносил там зажигательные речи.

Приведенный к нам на сходку, в подвальную мастерскую института, оратор в чужой шинели имел очень неказистый вид. Но, когда, открыв сходку, я предоставил слово делегату «Коалиционного комитета» и он, вскочив на ближайший верстак вместо трибуны, начал говорить, он как-то сразу же преобразился на глазах всей аудитории. Обладая большим темпераментом и волнующей эмоциональной речью, этот незаурядный человек произвел на нашу подвальную аудиторию неотразимое впечатление. Она вся, как один человек, проголосовала за забастовку.

С течением времени, однако, любые речи забываются. Труднее было многим забыть о приближающихся экзаменах, к которым надо было срочно готовиться. Если верно, что дореволюционное студенчество являлось весьма чутким барометром общественных настроений, то во всяком случае придется признать, что этот слишком чувствительный инструмент достаточно сильно реагировал и на экзаменационные настроения. Прежде всего на явную перемену погоды в этом направлении склонилась, конечно, стрелка «барометра» путейских настроений. Студенты-путейцы созвали общее собрание делегатов от всех учебных заведений и поставили на нем вопрос о ликвидации забастовки ребром. Заседание происходило в чьей-то роскошной частной квартире. Несомненно, с разрешения путейской дирекции института, а может быть, и с ведома полиции. На совещании помимо студентов присутствовали представители профессуры в лице всеми уважаемых академиков Бекетова и Фаминцына. И сторонникам продолжения забастовки предстоял тяжелый и притом заведомо безнадежный бой. Но мы все же решили до конца отстаивать свои революционные позиции.

Это была трудная задача. Почтенные академики поставили перед нами весьма резонно такой вопрос:

— Какую цель вы ставите перед собой теперь, продолжая забастовку? Если вы стремились только привлечь на свою сторону общественное мнение в известном конфликте, то эта цель уже достигнута. Кроме того, назначение Ванновского позволяет вам закончить в данный момент вашу борьбу с известным удовлетворением ее результатами. Если же вы хотите достичь большего, то подумайте только, какими силами и оружием вы располагаете для этого? Не кажется ли вам, что учебная забастовка — это оружие, способное нанести гораздо больший ущерб науке, чем тем темным силам, какие меньше всего в ней заинтересованы?

Вслед за тем разгорелся уже и общий бой. Выступая один за другим,— и за и против ликвидации забастовки,— ораторствующие делегаты в блестящем словесном турнире самих себя пытались превзойти в потоках красноречия. Но конечный результат этого петушиного боя горячившихся юных ораторов был уже заранее предрешен. Ликвидаторы, приводя яркие свидетельства упадка забастовочных настроений студенчества, спрашивали нас:

— Не лучше ли закончить затухающую забастовку организованно, чем ждать стихийного ее распада? Кое-чего мы все же добились. И чего еще вы добьетесь в дальнейшем, продолжая все тот же неразумный бойкот учебы? Не того ли, что в благословенном щедринском граде Глупове еще приумножится и без того не малое число выброшенных за борт дурачков-недоучек?

— Не всякий недоучка — дурак...— кипятились мы в ответных репликах.— Если бойкот учебы даже под ударами нагаек не разумен, то не следовало его и начинать. Начатое же дело малодушно бросать на полдороге. В самом деле, чего вы добились? Чтобы для проверки действий одного бюрократа по ведомству просвещения был назначен другой, в генеральском чине? А какая у вас гарантия, что этот новый помпадур не для того назначен, чтобы, въехав на белом коне в храм науки, обратить его в казарму. Мы знаем, что стена самодержавия не рухнет подобно

стенам Иерихона от одного лишь сотрясения воздуха нашими слабыми протестами. Но все же наш голос — не глас вопиющего в пустыне, ибо к нему прислушивается с участием вся страна. И продолжение нашей борьбы, чем бы она ни кончилась, может лишь расширить ту зловещую для царизма трещину между ним и народом, в которую ему суждено быть низвергнутым. И, наконец, пойти сейчас с видом победителей на безоговорочную капитуляцию в борьбе не значит ли совершить предательство по отношению к тем сотням товарищей, которые уже доныне арестованы, высланы и вообще выброшены за забастовку из рядов студентов?

— А вы гарантируете, что продолжение забастовки не умножит в десятки раз число этих жертв?..— возражали нам капитулянты.

Никто не располагал, конечно, такими гарантиями. А, как показал вскоре опыт последующих студенческих волнений 1900 г. на юге России, генерал Ванновский действительно получил свое назначение совсем не для того, чтобы умиротворять взволнованное студенческое море, устраняя причины таких волнений. Его задачей было, действуя привычными методами, внедрить и в высшей школе любой ценой такую же казарменную дисциплину, какая путем длительного мордобоя внедрялась в рядах темной и безответной солдатни старой царской армии. А средством к цели была избрана массовая сдача бастующих студентов для военной муштры в солдаты. По этому замыслу, чтобы со временем обратить все храмы науки в казармы, все части доблестной русской армии должны были предварительно выполнить не особо почетную роль дисциплинарных батальонов и арестантских рот для устрашения проштрафившихся студентов. Вышло же совсем не так, ибо, разослав в сотни полков бесстрашных пропагандистов и агитаторов, «мудрый» генерал, напротив, свои казармы превратил на время в школы революции.

Весной 1899 г. мы не могли еще знать всего этого. Но исход нашей забастовки был уже ясен. Большинство делегатов проголосовало за ее ликвидацию. И на другой же день по этому сигналу студенческие сходки повсюду еще дружнее, чем в начале забастовки, проголосовали за ее конец. На сходке, доложив решение вчерашнего делегатского собрания, я добавил от себя:

— Еще вчера я лично боролся, как умел, до конца и голосовал за продолжение забастовки. Но сегодня в интересах товарищеской дисциплины и солидарности, а также необходимой организованности нашего движения подчиняюсь сам и призываю вас всех сознательно подчиниться общему решению всего студенчества.

Этот призыв в нашем институте был, по-видимому, как нельзя более своевременным. Без лишних прений вся сходка и на этот раз вынесла единогласный вотум приступить к занятиям, и прямо со сходки все повалили из подвала в аудитории. На нашем курсе предстояла по расписанию лекция по топографии весьма популярного у нас профессора — генерала Нила Львовича Кирпичева. Через несколько минут он уже был в аудитории. Но, минуя кафедру, он вдруг направился прямо ко мне со следующими словами:

— Позвольте Вас расцеловать, мой друг, за Ваш призыв. Ваше поведение заслуживает всякого признания...— И без дальнейших проволочек уважаемый профессор, несмотря на мое смущение, обнял меня перед лицом всей аудитории.

По-видимому, честный генерал столь оригинальным способом хотел лишь предупредить меня, что администрация института, и не присутствуя на наших сходках, прекрасно информирована о всех выступлениях и не замедлит, конечно, при первой же возможности, если не мытьем, так катаньем, выкатить-таки меня вон из института. Впрочем, я был и без того вполне подготовлен к такому исходу. Психологически мне было

гораздо легче разделить участь других товарищей по движению, чем спасаться от нее в рядах мирно пасомых капитулянтов. Борьба за диплом меня и раньше не увлекала. А теперь, будучи уже членом подпольной партии, я и подавно должен был готовиться к очередному аресту или переходу на нелегальное житье по чужим паспортам. Мне, стало быть, вообще ни к чему не мог бы служить собственный диплом. И когда через несколько недель, как и следовало ожидать, меня выставили-таки из института, я принял это без всякого огорчения и изумления.

Участие в студенческой забастовке расширило мой революционный опыт. И я не жалел об участии в ней. Хорошим приготовительным классом к будущей общественной деятельности она послужила и для многих других активных ее участников. Я припоминаю в числе ее участников будущего историка декабристов П. Е. Щеголева, публициста Н. И. Иорданского, Носаря-Хрусталева, кооператора А. С. Токарева. Был и один анархист, студент горняк, большой оригинал и комик Николай Романов. Пародируя своего коронованного тезку, он весьма охотно строчил под самыми едкими антиправительственными листовками в студенческой столовой свои резолюции:

«Прочел с удовольствием»... или «Быть по сему»... И расписывался:

«Неизменно благосклонный
и благодарный
Николай Романов».

Студенты, узнавая всем знакомый царственный стиль этих резолюций, много смеялись по их поводу. Но сам Николай II, совершенно лишенный чувства юмора, не способен был оценить по достоинству комического таланта своего тезки. И этот талант, насколько мне известно, в конце концов таки не избежал общей участи в качестве страшнейшего «государственного преступника» против царизма.

Впрочем, в царской России подобная же участь висела вечной угрозой над каждым большим талантом, сковывая его свободное развитие.

6. ВОКРУГ КАЗАРМ

Выброшенный после забастовки из института, я вступил на путь долгих странствий и мытарств, весьма обычных для русской революционной интеллигенции. Солдатская казарма, тюрьмы и ссылки были, конечно, почти неизбежными промежуточными этапами. И мне очень скоро пришлось удостовериться в этом на собственном опыте. Оказавшись за дверью института и без стипендии, и без студенческой отсрочки по отбыванию солдатчины, я сразу же вынужден был искать себе заработков и готовиться со дня на день к призыву на военную муштру — в казарму. Годы учебы в Электротехническом институте позволили мне освоить немало точных дисциплин и специальных знаний. Но они ни к чему не пригодились мне ни в казарме, ни во всей дальнейшей моей работе и давно уже исчезли из моей памяти без следа... Если не считать разве той дисциплины ума и навыков точного мышления, которые от занятий анализом бесконечно малых остаются даже тогда, когда все конкретные его приемы и формулы дифференциалов и интегралов давно забыты. Впрочем, многим из нас удалось кое-что сделать на своем веку и без интегралов.

Прежде всего мне привелось познакомиться поближе с *рабочей* казармой и повседневным трудовым бытом одного из самых отсталых отрядов российского пролетариата — строителей. В поисках заработка я охотно принял подвернувшееся предложение поехать на лето в качестве десятника на постройку небольшого железнодорожного моста при станции Чемодановка Рязано-Уральской железной дороги. Работа производилась подрядчиком, у которого было много других подрядов в разных

местах. И мне на моем участке предоставлялась почти полная самостоятельность. Под моим наблюдением работало около 40 землекопов и несколько десятков плотников. Это была довольно серая публика, не оторвавшаяся еще от власти земли и интересов голодной деревни. Они не прочь были выпить после каждой получки, но, отсылая каждый лишний рубль домой на оплату податей, очень бедно и скудно питались. В их языке совсем не слышалось слово «сытый». А слово «трезвый» всегда заменялось равнозначащим ему термином «голодный». И на другой день после получки приходилось слышать примерно такой обмен мнений:

— Чтой-то Ванюха так приуныл сегодня? Все еще пьяный, что ли?

— Нет... Он ноне уже совсем голодный. Да опохмелиться нечем.

В двух состояниях только бывал такой рабочий в те годы — в пьяном или в голодном. И в обоих, конечно, работал вяло, лениво и крайне непроизводительно. Насыпать и отвезти шагов за сто, сбрасывая одну за другой под откос, тачек пять земли — это была обычная норма труда, за которой у моих землекопов следовала очередная «закурка», или «залога». Эти «залоги» повторялись за день, от восхода до захода солнца, раз до десяти и значительно превышали время труда. Нередко за время такой «залоги» я успевал, опыта ради, отвезти одну за другой все сорок насыпанных моей бригадой перед закуркой тачек земли. Правда, работа была тяжелая. Тачку в 10—15 пудов весу трудно было даже приподнимать от земли. Еще труднее было катить ее, соблюдая равновесие, на одном колесике по узким деревянным доскам. Но я ясно видел, что мои землекопы свободно могли бы все же выполнять свою обычную норму и в 7—8 часов, не растягивая ее на все 14—16 часов нескончаемо длинного летнего дня. Завоевав доверие бригады уже тем, что вопреки всем традициям никогда не обмеривал ее и не обсчитывал, я както предложил ей:

— А что, если бы нам устроить у себя на участке 8-часовой рабочий день? Откатать то же число тачек, что и теперь, до обеда и шабашить, освобождая все остальное время на отдых и «закурки» уже у себя дома, в казарме.

— Ты-то пошабашил бы, пожалуй,— возразили мне рабочие.— А что хозяин скажет? Разве он дозволит, чтобы мы полдня только работали? На другой же день потребует двойной работы. А мы и от этой, вишь, как отощали...

Хозяину-подрядчику, который торопился со сдачей работ под угрозой большой неустойки за просрочку, я предложил было другое:

— Почему бы Вам не попробовать для ускорения работ значительно повысить нормы оплаты своих рабочих? Ведь голодное брюхо не только к учению глухо...

— Не выйдет это,— ответил мне рассудительный подрядчик.—Во-первых, меня за это все конкуренты заклюют, да и дорога, пожалуй, откажет в дальнейших подрядах. Ведь, глядя на моих, и другие рабочие потребуют себе прибавки. А, во-вторых, где у меня гарантия, что мои землекопы используют свою прибавку эффективно, на улучшение харчей, а не на посылку в деревню для погашения многолетних недоимок в царскую казну? В эту прорву — не напасешься.

Результаты таких переговоров нетрудно было предвидеть. Но они послужили отправным моментом для последующих все более откровенных бесед с артелью на самые для нее животрепещущие темы. Начались беседы и о рабочем дне, и о заработной плате, и о налоговой прорве царской казны, и о выкупных платежах за крестьянские души, и о причинах малоземелья деревенской бедноты, и о многом другом. Элементарные истины политэкономии подсказывала моей аудитории сама жизнь. И потому воспринимались они ею без всяких усилий. Рабочих подобные темы задевали за живое. И они забрасывали все новыми во-

просами. А мне оставалось только по мере сил удовлетворять их неисчерпаемую любознательность: и о том, каковы порядки за границей, и за какое будущее борются там организованные рабочие, и что мешает у нас рабочим и крестьянам существенно улучшить свою горькую долю.

Мои мозоли на руках от почти каждодневного катания тачек во время «закурок» и наши беседы после работы убедили землекопов, что их «скубент», как они меня про себя называли, не барчук-белоручка и что ему можно верить. Аудитория была благодарная. И хотя я вел беседы в самых объективных тонах, не подсказывая никаких революционных выводов, их делали все чаще сами слушатели. Мне же в таких случаях приходилось только их предостерегать:

— Ваши выводы весьма резонны. Но едва ли бы они понравились кое-кому из начальства. Говорят, что жандармы и за более даже невинные речи, чем наши с вами беседы, угоняют людей к чертям на кулички. А потому имейте в виду, что не всякие разговоры по душам стоит вести при свидетелях.

Эти предостережения, по-видимому, неплохо были усвоены артелью. И принесли, между прочим, неожиданные для меня плоды. Однажды вечером, после работы, прибегает вдруг один паренек из слушателей, таинственно отзывает в сторону и сообщает:

— Жандармы, слышь ты, со скорым на станцию наехали. В Симеон лошадей нанимают. Не иначе, как к учителям симеоновским... Как бы нам упредить их о том поскорее?

Это оказалось вполне возможным. Мы с пареньком в момент оседлали пару лошадей и кратчайшим путем по рубежам, без дорог, примчались галопом за семь верст в с. Симеон, нашли там незнакомого нам раньше учителя и предупредили его как раз вовремя о следующих за нами визитерах. Жандармы действительно приезжали к нему по доносу попа. Но на сей раз после безрезультатного обыска ни с чем и отъехали. А я попутно в лице учителя приобрел доброго приятеля и надежного сотоварища на всю жизнь.

Сын рядового крестьянина-хлебороба, Максим Лаврентьевич Кастрикин усердной учебой добился посылки из Симеона в Рязанскую учительскую семинарию, откуда, нахватавшись революционного духа, вернулся уже в роли народного учителя в родное село. Как просвещал своих односельчан Максим, я в точности не знаю. Но знаю, что в 1905 г. его село оказалось одним из наиболее активных очагов революционного крестьянства. Впоследствии Максим упорным трудом завоевал себе и диплом горного инженера и отличную революционную школу прошел в рядах партии большевиков. Но в дни первых наших встреч этот редкой души человек, этот «святой Макс», как его прозвали близкие товарищи, поражал меня своей простотой и непосредственностью. Стоило послушать, как в кристально чистой крестьянской душе рисовалась грядущая революция. Это была какая-то сплошь фантастическая феерия. Максим твердо верил, что стоит только всем трудящимся изобразить всю царящую в мире неправду, социальный гнет и оскорбительное неравенство, чтобы поднять их всех, как одного, в условленный день и час на борьбу и привести к молниеносной победе. Он красочно рисовал мне, как это все произойдет по заранее обдуманному им плану.

— И вот, когда уже все будут оповещены и готовы к действию, в темную безлунную полночь где-нибудь на селе, в центре страны, прозвучит с колокольни условленный сигнал. И повторенный от села к селу многие тысячи раз, этот колокольный звон широко разольется тревожным набатом по стране. И зажгутся по всей земле фонари. И будет их не меньше, чем звездочек в небе. И сомкнутся все землеробы в плотные боевые колонны и двинутся с топорами и вилами в грозный поход за черный передел всей земли. И запылают уютные дворянские гнезда по-

мещиков-паразитов, спасающихся в городе. И хлынет по пятам, вслед за ними, разливаясь безбрежной волной, это сермяжное море народного гнева и зальет города. И, увлекая за собой своих кровных детей — солдат и рабочих,— этот девятый вал крестьянской революции захлестнет собой все бастионы царского самодержавия. И желанная победа с кормилицей землей и свободой народу, как давно созревший плод, сама скатится к его ногам.

Конечно, картины такого воображаемого «фонарного действа», от которых веяло еще духом средневековой Жакерии и жутью новой, социальной «Варфоломеевской ночи», были явным анахронизмом в наш индустриальный век пара и электричества, телефонной связи и скорострельных пулеметов. Теперь гегемоном движения не могла бы уже стать деревня со старомодным «красным петухом» вместо современного красного знамени. Жуткие «красные петухи» в качестве сильнейших «своих средствий» бунтаря-крестьянина, с тех пор как возникли страховые от огня акционерные общества, сами по себе давно перестали устрашать верхушки буржуазного общества. Но те новые настроения деревни, какие представлял, в частности, и Максим со своими собратьями по духу, в сочетании с растущим рабочим движением в городах не предвещали ничего доброго ни помещикам, ни царизму.

Мои землекопы, несмотря на свои корни в деревне, хлебнули немало и из чаши наемного рабства. И когда я как-то рассказал о питерских забастовках ткачей, у них сразу же возникло желание испробовать этот метод борьбы и у себя — на постройке. Момент был подходящий. Подошла уже рабочая пора в деревне. И заменить забастовщиков подрядчик никем не смог бы. А отложить работу до осени не позволяла грозящая ему по договору неустойка. Артель прекрасно все это учла. И в ближайшую же субботу, после получки, заявила подрядчику, что уходит домой на полевые работы.

— Как так?! — взбеленился подрядчик.— Вы хотите сорвать мой подряд?.. Да я с вас судом взыщу всю неустойку дороге. Все 10 000 рублей вам за меня заплатить придется... — запугивал рабочих разгорячившийся подрядчик.

— Зачем же нам за других платить... — хладнокровно возражали рабочие.— Разве ты станешь за нас платить недоимки, коли наш урожай сгорит неубранный, на корню? А тебе вот наш совет: 10 000 рублей неустойки тебе платить, верно, не с руки. Прогоришь. Ты лучше прикинь нам за работу тысчонку-другую. Мы найдем за себя косарей... Сам знаешь, во что это нам обойдется... А тебе закончим всю работу в срок.

— Ах! Грабители!.. — волновался подрядчик.— Да я вам ваших паспортов не отдам, если уйти вздумаете... — ухватился он вдруг за последний шанс.

— Какие же мы грабители?.. — спокойно защищались землекопы.— Чай, не мы, а ты огребешь все барыши, какие мы тебе выработаем своим горбом да руками. Паспорта наши оставляй себе, пожалуй. Пущай за нас хоть всю неустойку тебе отработают. А мы у себя дома как-нибудь и без паспортов проживем.

Учтя создавшуюся конъюнктуру, подрядчик сразу же снизил тон на октаву... Разговор принял вполне деловой характер. Рабочие получили 25% прибавки к своей нищенской расценке труда и ушли, вполне удовлетворенные победой. А подрядчик доволен был тем, что так дешево отделался на этот раз, так как готов уже был на прибавку и в 50%. Только на меня после этого случая он стал что-то посматривать волком, исподлобья. И я понял, что он выжидает только первого удобного повода, чтобы без особого скандала с рабочими выбросить меня на улицу. Впрочем, я и без того, собираясь на призыв в солдатчину, готов был покинуть его в любую минуту.

* * *

Покинув рабочую казарму, я располагал еще одним шансом избегнуть казармы воинской. И я решил его использовать. Этим шансом была моя близорукость. Побывав у прославленного тогда окулиста профессора Военно-медицинской академии Беллярминова, я запасся у него на всякий случай бумажкой с такой оценкой моего зрения, которая была значительно ниже предела, допускаемого для нижних чинов воинским уставом. Терять напрасно около года времени в казарме на бесплодную муштру, даже отбывая ее на льготных правах «вольноопределяющегося», не было особой охоты. Правда, и в солдатской казарме можно и нужно было сеять семена революционного брожения. Но условия для этого в рамках казарменного быта и воинской дисциплины были крайне неблагоприятны, и, довольно скромно оценивая свои возможности в этом отношении, я предпочел бы, конечно, снова поскорее заняться тем же делом в гораздо более восприимчивой рабочей среде и в более благоприятной, цивильной обстановке. Закон был на моей стороне. Диагноз Беллярминова это устанавливал с полной непререкаемостью. Его имя пользовалось неограниченным авторитетом в военно-медицинском мире. И, конечно, достаточно было бы лишь предъявить на предстоящем медицинском осмотре в любой части его диагноз, чтобы получить полное освобождение от солдатчины. Но тут я допустил непоправимую ошибку.

Чтобы не слишком удаляться от столицы и партийной работы, я по совету товарищей направился в Гатчину и подал все свои документы в канцелярию стоявшей там 23-й артиллерийской полевой бригады. Но во избежание обычной канцелярской волокиты, памятуя, что в царской России английский «Хабеас корпус» и все прочие конституционные гарантии заменяются вульгарной российской взяткой, я ради ускорения процедуры медицинского осмотра пожертвовал старшему писарю десятку. Эффект получился очень скорый, но совсем неожиданный. На следующее же утро без всякого медицинского осмотра я был уже зачислен приказом по бригаде на действительную службу канониром 1-й батареи.

— А как же без осмотра? — спросил я обделистого писарька.

— А чего Вас еще смотреть, когда Вас уже сам профессор осматривал,— ответил он, удовлетворенный.

— Да ведь профессор-то меня забраковал!.. — удивился я его хладнокровию.

— Ну, ничего, пусть его бракует. На нашем базаре и бракованный сойдет. Приказ-то ведь сам бригадный генерал подписал... — успокоил писарь с полным сознанием оказанной им мне услуги.

Получив от меня заранее мзду за ожидаемую услугу, он рассудил по-своему весьма здраво, что за следуемое по закону и платить не стоило бы, значит, от него ждут услуг в обход закона. И обошел он его артистически. Правда, плохо усвоив мои намерения, писарек явно перестарался. Но от судьбы, видно, не уйдешь. Дело было сделано. И мне волей-неволей пришлось примириться с этим совершившимся фактом.

Весь казарменный режим царской армии сознательно преследовал одну цель — не оставить солдату ни одной свободной минуты для того, чтобы подумать о чем-либо, почитать, поучиться или как-нибудь иначе приобщиться к самым скромным благам общечеловеческой культуры.

Весь день, с утра до вечера, под бдительным присмотром хорошо натасканных дрессировщиков сверхсрочной службы, именуемых в просторечии «шкурами», солдат донимали утомительной и нудной шагистикой. Вместо человеческой поступи их обучали, например, изнурительному для человека «гусиному шагу». Проходя мимо начальства, солдат должен был «есть его глазами» и «печатать» мостовую подметками с такой силой, с какой молотят цепом снопы на току. На учениях в манеже

нас часто манежили вместо верховой езды «пешими по конному» учениями, вынуждая людей изображать, подобно детям верхом на палочках, разные эволюции строевых лошадок. Гораздо реже в царской армии занимались столь нужным для войны и интересным для солдат делом, как стрельба. Из-за нехватки снарядов или за скудоумием начальства учебная стрельба производилась у нас в бригаде не чаще одного-двух раз в год. И, в частности, мне за всю учебу, хотя из нас готовили в учебной команде будущих командиров, пришлось выпустить в цель не свыше одной обоймы из нагана и пяти снарядов из давно устаревшего орудия с клиновым замком. Более совершенными, поршневыми орудиями в нашей бригаде была обеспечена в 1899 г. только одна батарея из восьми. Не больше внимания уделялось стрельбе и в пехотных частях. Немудрено, что о снайперах в те годы мы и не слыхивали.

Наименее интересным, хотя и гораздо более частым предметом наших казарменных занятий была так называемая «словесность». Со слов полуграмотных дядек совсем неграмотные в своей массе солдаты зазубривали целую серию маловразумительных военных терминов и понятий. В частности, каждый новобранец должен был заучить наизусть поименно с полным титулованием всю многостепенную иерархию своих прямых начальников — от фельдфебеля до генерал-фельдцехмейстера — и всех членов многочисленной царской фамилии. Задача эта была нелегкая. Чуждые русскому уху немецкие чины и звания с великим трудом поддавались долбежке и то и дело застревали на непослушном языке. Споткнувшись на каком-нибудь эрцгерцоге Лейхтенбергском, новобранец, потея, с напряжением твердил: эрц-верц-герц-перц... и затем беспомощно умолкал в ожидании очередной затрещины или внеочередного наряда дневальным по уборке отхожих мест. Столь же плодотворно разрешались и другие задачи солдатской «словесности».

— Что такое есть знамя,— сурово вопрошал вдруг дядька кого-либо из своих подшефных.

— Знамя есть священный хуру́.. — вскакивая с места и вытянувшись в струнку, неизменно ответствовал тот по заученному шаблону.

В артиллерии вовсе не было знамен. Ничего не поясняло новобранцам и непонятное им церковное слово «хоругвь». И, безбожно искажая это церковное слово, они задалбливали ответ без всякого смысла, как попугаи, потея от этой никчемной словесности еще сильнее, чем от «гусиного шага».

— А кто такой есть у нас «внутренний враг»? — спрашивал снова дядька.

— Так что унутренний враг есть рабочие-забастовщики и студенты, которые, ежели што, ныне самому царю не уважуть и престол-отечество самосильно внизвергають... — следовал снова в поте лица зазубренный ответ.

Сама по себе столь примитивная «политграмота» была слишком маловразумительной для только что одетой в серые солдатские шинели серой русской деревни. Но рядом с ней, в казарме, обретались и те самые рабочие и студенты, против которых ополчалась казенная словесность. И когда заинтересованный ею новобранец-деревенщина обращался непосредственно к ним за разъяснениями наиболее темных мест казенной идеологии, то из совершенно неофициальных к ней комментариев товарищей по казарме воспринимал ее значительно глубже, в новом освещении. После чего, конечно, ему еще тошнее было задалбливать ее в казенном оформлении.

— Уф! Легче бы десятину вспахать, чем этот «словесный» час перепотеть... — жаловались не раз новобранцы, выбираясь из такой словесной бани.

Разумеется, вся эта система военного воспитания, в которой неумение хорошо стрелять возмещалось четкими ружейными приемами на парадах, «гусиным шагом» и разной «словесной» ерундистикой, не могла выдержать серьезного испытания, что и обнаружилось в первом же опыте русско-японской войны. На войне оказались вовсе ни к чему не пригодными ни вся заученная ранее «словесность», ни ружейные приемы, ни шагистика. Там некогда было становиться во фронт перед каждыми генеральскими штанами с красными лампасами. «Гусиным шагом», мучительно долго вытягивая вперед носок одной ноги и балансируя на другой, тоже на войне не хаживали, ибо таким шагом солдат не прошел бы и полкилометра в час. А «печатая» подметками мостовые, он и вовсе остался бы без подметок, даже если бы царские интенданты никогда не изготовляли их из картона и заведомо гнилой кожи. Война сразу же отмела всю эту никчемную дребедень. Но только для того, чтобы после войны она снова возродилась во всем ее мишурном блеске. И могло ли быть иначе? Мог ли русский царизм создать образцовую армию, сильную духом сознательного патриотизма, когда, вооружая в ней потенциальных врагов — рабочих и крестьян,— он вооружил бы их знаниями и передовой военной техникой прежде всего против самого себя? Конечно, не мог. Он мог опираться только на армию, действующую как бездушная военная машина. Вот почему он и душил в ней всякую свободную мысль такими немудрыми средствами, как «гусиная» шагистика и ослиная «словесность».

Помимо меня в нашей учебной команде проходили муштру, подготовляясь к роли будущих командиров, еще несколько вольноопределяющихся. Особенно запомнились мне двое из них: длинноногий Петрункевич, сын крупного помещика и либерального земца Тверской губернии, и всегда томный Коншин, сынок известного фабриканта-миллионера из московских королей ситца. Оба они окончили высшие учебные заведения и казались изрядно пожившими и даже несколько переутомленными под бременем рано вкушенных ими излишеств в рядах так называемой золотой студенческой молодежи. Среди тогдашнего студенчества, вероятно, было немного подобных неженок и сибаритов. Их отцы пользовались широкой известностью в царской России. Но если их отцы представляли собой все же еще восходящую мощь отечественной буржуазно-дворянской верхушки общества, то в сынках отражались уже дух декаданса, запахи тления и признаки вырождения этой верхушки.

Встреча с Петрункевичем-сыном прежде всего оживила в моей памяти страничку истории, действующим лицом в которой был его отец. Со смертью Александра III, прозванного «миротворцем», потому что он храбро сражался только на внутреннем фронте, против собственного народа, оживились было надежды на более либеральные веяния сверху. В студенческом песенном фольклоре появился новый сатирический куплет:

— По Москве прошел вдруг слух —
«Миротворец» наш протух...

А в провинциальных земских собраниях стали спешно редактироваться всеподданнейшие «адреса» новому царю — Николаю II с торжественными поздравлениями по поводу вступления на царство в главном предложении и робкими намеками на желательность дарования народу представительных учреждений — в придаточных. Ника-Милуша, как его нежно прозывали в собственной семье, созвал-таки одно такое собрание и на страх врагам открыл свое царствование таким окриком, который надолго остался в памяти всех его верноподданных. В одном стихотворном переложении — в забытой уже ныне студенческой песне — этот дебют царственного оратора перед лицом своего народа звучал так:

Гей, вы! верные дворяне,
И мещане, и купцы!
Гей вы, эй, вы! тверитяне,
Либеральные земцы!
Вас за ваши поздравленья
От души благодарю.
Чувств холопских изъявленья
Любы русскому царю.

Но сказать я вам обязан,
Знайте это, господа!
Конституцией связан
Я не буду никогда.
Либеральных воздыханий
Я, признаться, не люблю.
И бессмысленных мечтаний
Я отнюдь не потерплю!

Роковая участь этого не по уму заносчивого венценосца могла бы послужить неплохим уроком и для многих других, если бы они способны были внимать урокам истории. Тщетно Николай Последний всю жизнь пытался наперекор истории повторять в новых условиях старый самодержавный опыт своих венценосных предков, отмахиваясь от конституции. Чтобы достойно возвеличить своего почтенного родителя, примеру которого он во всем хотел бы следовать, он воздвиг ему на Невском по удачному замыслу скульптора Паоло Трубецкого чрезвычайно тяжеловесный памятник. Чугунный царь-самодержец, отлитый им в образе массивного урядника-держиморды на слоноподобном битюге-тяжеловозе, возвышаясь на черном пьедестале, подобном катафалку, стоял здесь на страже порядка в стране и давил ее под собой своей тысячепудовой тяжестью. Но от великого до смешного — только один шаг. И глас народа охарактеризовал этот мрачный чугунный символ пережившего себя абсолютизма в следующем смехотворном образе:

— Стоит комод, на нем бегемот, а на бегемоте — чугунный обормот!

Залив народной кровью Ходынское поле уже в день коронации, Николай Кровавый много лет обильно проливал ее и на внутреннем и на внешних фронтах, и на далеких сопках Манчжурии, и перед самыми окнами Зимнего дворца. Но в конце концов он и сам бесславно захлебнулся в собственной крови вместе со всей своей семьей, потеряв таким образом не только любезное его сердцу самодержавие и царский венец, но и ту дурную голову, на которой некогда болталось это нелепое в наши дни украшение. И виной такого конца был, конечно, не слепой его рок или несчастное для него сплетение случайностей, а вполне закономерная логика истории. Царизм был осужден на смерть историей. И если ее приговор у нас выполнила революционная партия пролетариата, то это произошло лишь потому, что именно она лучше всех других усвоила логику истории и сумела в нужный момент сделать из нее для себя все наиболее плодотворные и действенные выводы.

В учебную команду бригады, где солдатская муштра достигала высшего предела, отбирались из общего числа новобранцев наиболее сильные, ловкие и выносливые. Но из вольноопределяющихся учебную команду должен был пройти каждый, независимо от его физического сложения и спортивных способностей. И потому таким сибаритам «деликатного» воспитания, как Петрункевич и Коншин, учебная команда казалась настоящей каторгой. «Словесность» их отнюдь не затрудняла, конечно. Но зато шагистика в лошадиных дозах, верховая езда без стремян на трясучих одрах, вольтижировка и всякие другие головоломные упражнения на «кобыле», турниках и брусьях казались им пытками испанской инквизиции. Они всячески откупались от них, задаривая своих дядек и взводных, и в отсутствие офицеров добивались многих льгот и поблажек. Но все же и на их долю перепадало немало испытаний. Вольноопределяющихся в числе других привилегий не оделяли зуботычинами или нарядами по очистке отхожих мест. Но и их наряжали вне очереди в караулы, ставили под ранец «с полной выкладкой», которая заменялась обычно кирпичами, и беспощадно срамили за всякую промашку перед лицом всего фронта.

Особенно часто влетало Петрункевичу на строевых занятиях. По длине своих ног он оказался правофланговым первого взвода. И на него всем нам приходилось держать равнение. Но он не мог и минуты стоять неподвижно. Он все время как-то сучил ногами и вихлялся, то вытягиваясь в струнку восклицательным знаком, то сгибаясь знаком недоуменного вопроса, а то и вовсе перегибаясь задумчивым знаком интеграла. Равняться по нем, в особенности на ходу, было поэтому труднейшей задачей. Вызывая «шевеление» всей равняющейся по нем шеренги, он один портил весь строй. Влетало за него нередко и другим. Но чаще всего доставалось на орехи ему самому. И я его видел не раз после занятий, одного или в паре с Коншиным, на утомительной стойке вместо отдыха, под ранцем с полной кирпичной нагрузкой и с томным видом христосика, невинно умученного на этой солдатской Голгофе.

Однако даже столь жалкий их вид не возбуждал к ним сочувствия в рядовой солдатской массе из крестьян и рабочих. Явная несостоятельность этих привилегированных «барчуков» в испытаниях, с которыми справлялись рядовые бойцы из народа, внушала к ним только либо недоверие, как к злостным симулянтам, либо откровенную насмешку. Убеждаясь воочию, из какого негодного материала выкраиваются эти будущие их «отцы-командиры», рядовые бойцы не могли проникнуться ни особым к ним почтением, ни признанием справедливости ничем не оправданных им привилегий.

— Эх! и мудрено же нашему брату — мужику-вахлаку — да *равняться* по барину... — сострил однажды один из недоравнявшихся на Петрункевича рядовых, получивший за это внеочередной наряд. И в этом вздохе звучало гораздо больше классово заостренной иронии по адресу барина-растяпы, чем по поводу собственной неудачи.

Хуже всего было, однако, то, что такое чувство классовой отчужденности распространялось солдатской массой на всех «господ вольноопределяющихся» и очень сильно мешало нам сближению с ней и внушению ей необходимого к себе доверия. А без этого очень трудно было сеять в этой среде семена революции. Однако они прорастали здесь, как скоро оказалось, и без нашего участия. Среди рядовых бойцов мне удалось все же в конце концов нащупать пару удалых ребят из задетых уже агитацией заводских рабочих. С ними было гораздо легче сговориться, а через них оказать известное воздействие и на многих других. Отнюдь не переоценивая своих в этом отношении успехов, думаю все же, что делал все, что мог. А так как в армии при всеобщей воинской повинности перебывали в то время почти все революционеры — и рабочие, и интеллигенты,— то немудрено, что и в царскую армию, несмотря на отупляющую муштру, проникала «гидра» революции.

Тем временем на рабочем фронте события шли своим чередом. Начавшийся промышленный кризис делал свое дело. Классовая борьба в стране обострялась. «Экономизм» оппортунистов все больше терял под собой почву. Рабочие от чисто экономических забастовок все чаще стали переходить ко всякого рода политическим манифестациям и требованиям.

Одушевляемый известиями об этих больших событиях в стране, я очень мало внимания уделял повседневной обыденщине своей казармы. Шагистика и всякая другая физическая нагрузка меня мало утомляла, а солдатская «словесность», питая свежее еще в молодости чувство юмора, даже нередко изрядно забавляла. Легче многих других пройдя очередные ступени муштры — от канонира к бомбардиру и фейерверкеру,— я сдал в августе 1900 г. весьма элементарные испытания на первый офицерский чин — прапорщика запаса артиллерии. И хотя, согласно устаревшей ныне русской пословице: «курица — не птица, баба — не человек, прапорщик — не офицер, и жена его — не барыня», я был вполне

удовлетворен этим чином, открывшим мне, наконец, дорогу из казармы. Перед выпуском на свободу пришлось, однако, принять участие еще в одном парадном гала́-представлении. Я имею в виду царский смотр войскам в лагерях у Красного Села.

Подъехав на шестерке чистокровных белых лошадок цугом к войскам, Николай II прошелся перед фронтом, здороваясь с частями. Царь смотрел на нас, мы — на него. Впрочем, последнее удовольствие было весьма посредственным. В лице царственного полковника, которого нам полагалось *есть* глазами, не было ничего «аппетитного». Самый заурядный из наших прапорщиков был много интеллигентнее этого «полковника». И глаза многих соседей, как я заметил, скользнув только мимоходом по весьма вульгарному лицу царя, с восхищением останавливались на действительно шикарном цуге его лошадок. Породистые, эти лошадки были, несомненно, много интереснее и благороднее своего хозяина. В возмещение за это разочарование царь, раскошелившись, приказал выдать всем рядовым участникам смотра по свежеотчеканенной блестящей полтине. Не имея возможности отказаться от столь щедрого дара, я заранее предусмотрел достойное ему назначение. Переданная сразу же в кассу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», эта полтина так и обозначена была в ближайшем печатном отчете «Союза» под рубрикой «царский подарок». Таким образом, по иронии судьбы и сам царь неожиданно принял участие в финансировании столь ненавистного ему рабочего движения.

7. НА РАБОЧЕМ ФРОНТЕ

Вернувшись в Петербург по отбытии солдатчины, я узнал о больших провалах в рядах нашей партийной организации весной 1900 г. Нужно было восстановить растерянные связи в рабочих кварталах, заменить арестованных товарищей свежими пополнениями пропагандистов и агитаторов. Студенческая учеба в связи с такими задачами уже не шла на ум. Хотя на всякий случай я все-таки поступил по конкурсу аттестатов студентом на 1-й курс Лесного института. Через левое студенчество этого института легче было восстановить и порванные связи с «Союзом борьбы». Привлекала сюда и богатая студенческая библиотека запретной литературы, и дешевая институтская столовая, и возможность поселиться со временем в студенческом общежитии, заполучив стипендию. Из членов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» я застал в Лесном, помимо своего земляка И. П. Щеглова, студентов-лесников А. С. Токарева, А. Э. Рериха, М. Н. Семенова, Д. М. Зайцева, М. В. Смидовича (брата В. В. Вересаева), А. Щепетева и некоторых других. Вся эта молодежь вошла в ряды членов «Союза борьбы», по-видимому, только после студенческой забастовки 1899 г. Из более старых его членов после недавних провалов оставалось немного. Наш земляк, А. П. Сафонов, по какой-то неясной для нас причине еще накануне массовых арестов весной 1900 г. застрелился. Другой его товарищ по «Союзу борьбы» — Е. Ф. Дюбюк, окончив Лесной институт, выбыл из С.-Петербурга. Из более известных ветеранов революции в то время в «Союзе борьбы» работал Петр Гермогенович Смидович. В Питере он проживал нелегально, по бельгийскому паспорту. У меня до ареста было с ним две или три деловые встречи.

Обстановка была нелегкая, сказывалось отсутствие опытного руководства. Но это никого из нас не обескураживало. Довольно скоро мне удалось сорганизовать целую группу пропагандистов. Из земляков-скопинцев, кроме меня, в нее сразу же вошли студенты-технологи Е. М. Тарасов, Н. П. Казимиров и А. А. Фогельман, горняк С. В. Константов и

курсистка с курсов Лесгафта А. В. Фессалоницкая[1]. Из других землячеств по мере умножения рабочих кружков пришлось привлечь вскоре в нашу группу пропагандистов еще двух студентов-электриков—С. Д. Мавромати и В. Черданцева, двух горняков и одного путейца. Связи с рабочими были быстро восстановлены. С их помощью удалось сорганизовать свыше дюжины кружков рабочей молодежи за Нарвской и за Московской заставами и на Шлиссельбургском тракте.

Во всех кружках нашей группы было около сотни рабочих, главным образом текстильщиков и металлистов. Был один кружок и на механической фабрике «Скороход». Посещали мы свои кружки каждый не реже одного-двух раз в неделю, чаще всего по субботам, и усердно готовились к очередным собеседованиям.

В интересах конспирации каждый из пропагандистов известен был своим слушателям только под вымышленной кличкой или псевдонимом. В частности, я появлялся за Нарвской заставой под именем Захара Степановича или просто Захара. Чтобы не привести в кружок шпика или не увести его за собой оттуда, тоже требовалось немало предосторожностей. В студенческой форме рискованно было появляться в рабочих кварталах, где на каждом углу вас подстерегало недремлющее око какого-нибудь полицейского следопыта. А пробираясь к себе домой на студенческую квартиру в рабочем костюме, легко было возбудить подозрение дворников, ибо дворники тоже находились в теснейшем контакте с полицией. Приходилось поэтому каждый раз переоблачаться из студента в рабочего и обратно не у себя дома, а у кого-нибудь из товарищей — на полдороге между студенческой обителью и рабочей окраиной, где нас не знал в лицо ни один дворник. Но и этого было мало. Шпион все же мог где-либо увязаться. Надо было вовремя это заметить и суметь его «потерять». Часто оглядываясь назад, можно было привлечь на себя внимание и таких шпионов, которые без этого и не подумали бы следить за вами. Но, остановившись у какой-либо витрины и якобы изучая выставку в окне, можно было совсем незаметно понаблюдать и за всеми, следующими за вами. Чтобы «потерять» шпика, мы чаще всего пользовались известными нам проходными дворами с выходами на разные улицы. Зайдешь в подъезд такого дома, шпик, как лягавая, сделает здесь обычную стойку в ожидании обратного выхода «клиента» из того же подъезда,— а он давно на другой улице продолжает свой путь.

В предвидении неизбежных обысков никому из нас не рекомендовалось хранить в комнате или в карманах какие-либо запретные книжки или записи. Все партийные явки, адреса и пароли полагалось заучить наизусть, без записи. И только в крайнем случае допускалось записывать их условным шифром на тонкой бумажке, чтобы сразу же ее проглотить в случае опасности. Неприкосновенность частной переписки в царской России ничем не гарантировалась. И жандармы еще бесцеремоннее, чем гоголевский почтмейстер Шпекин, совали свой нос в чужие письма. А потому в партийной переписке утвердилась следующая практика. Секретные записи в письме делались между строк невинного содержания—для жандармов— специальными «чернилами», не оставляющим на бумаге никаких видимых следов. Такими чернилами могли служить, например, столь же белое, как и бумага, молоко или же совершенно прозрачный лимонный сок. Чтобы прочесть такие письма-невидимки, их только стоило слегка подогреть над лампой, и они становились видимыми. Разумеется, все наиболее интересные для жандармов сведения даже в таких невидимых строках осторожности ради записывались шифром. В нашей группе был в ходу, между прочим, такой весьма элементарный метод шифровки. Клю-

[1] Мать трагически погибшего в 1941 г. от немецкой бомбы талантливого драматурга А. Н. Афиногенова.

чом к шифру избиралось какое-нибудь слово, например «Халтурин». Выписав это слово один или два раза акростихом по вертикали и продолжив каждую строку следующими буквами, в порядке алфавита, по горизонтали, мы получали в квадрате $9 \times 9 = 81$ букву алфавита, годную для любой шифровки. Каждая буква в этом квадрате обозначается двухзначной цифрой, указывающей ее место в горизонтальном и вертикальном рядах. Так, допустим, что требуется расшифровать запись:

2226318236517934238361342382722141763б.....

Строим по ключу «Халтурин» указанный квадрат.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	х	ц	ч	ш	щ	ы	э	ю	я	1
2	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	2
3	л	м	н	о	п	р	с	т	у	3
4	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ы	4
5	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ы	э	5
6	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	6
7	и	к	л	м	н	о	п	р	с	7
8	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	8
9	х	ц	ч	ш	щ	ы	э	ю	я	9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Затем, определяя букву за буквой в этом квадрате по номеру строки и месту в ней буквы, расшифровываем всю запись: «Белорусов — провокатор». В свое время этот шифр казался нам очень остроумным и надежным. Но после первого же ареста обнаружилось, что его расшифровали жандармы. И в этом не было особой премудрости. Пороком шифра был алфавитный порядок букв в каждой строке квадрата. Угадав одну лишь букву, вы владели всей строкой шифра. В самом деле. Исходя из более чем вероятного предположения, что в ключе шифра, т. е. в первой вертикали квадрата, должна найти себе место первая буква алфавита и что она непременно встретится и в записи, мы находим в ней только пять цифр из первой вертикали: 21, 31, 41, 51 и 61. Одна из этих цифр, значит, обозначает букву А. Пробуя их одну за другой, мы уже при первой пробе — второй строки — раскрываем пять букв нашей записи: 22, 26, 23, 23 и 21 и получаем: «Бе......в....в..а...». Допуская далее, что первое «в» в этом тексте заканчивает собой фамилию на «ов», раскрываем уже и всю третью строку шифра, в которой буква «о» занимает четвертое место. Вместе с тем расшифровываются еще пять букв нашей записи: 31, 36, 34, 34 и 36. Подставив их на свое место в текст, получим: «Бел.р..ов......а.ор», после чего дальнейшая расшифровка представляет собой уже совершенно детскую задачу. После букв «Бел» сама напрашивается буква «о», обозначенная в записи цифрой 82, откуда раскрываем всю 8-ю строку шифра и, дополняя наш текст еще тремя буквами (82, 83 и снова 82), получаем «Белор..ов п.ово.а.ор». Полагаю, что любой жандарм, знающий свою агентуру, прочел бы такую запись уже без запинки.

Нынешнему поколению нашей революционной молодежи уже ни к чему эта забытая наука конспирации, которой мы обучались на горьком опыте своих ошибок. Но быт революционного подполья, в котором борцы против старого мира всегда чувствовали себя выслеживаемой псами дичью, представляет несомненный интерес именно для молодежи.

Помимо «Союза борьбы» в Питере в 1900 г. на моей памяти подвизалось и несколько других социал-демократических групп. Наибольшей из-

вестностью из них пользовалась группа «Рабочего знамени», издававшая в 1898—1901 гг. газету того же названия под претенциозным титулом органа «Русской с.-д. партии» (А. С. Сольц и др.). Кроме того, начали выходить брошюры группы «Рабочей библиотеки» (М. И. Бройдо). Образовалась еще так называемая «Группа 20-ти», или «Социалист» (Б. Савинков). Все это были, по-видимому, преимущественно литературно-интеллигентские группы, слабо связанные с рабочими низами. Но в политическом отношении они были настроены значительно левее оппортунистов «Рабочей мысли», издававшейся за границей. Впрочем, под влиянием промышленного кризиса заметное полевение чувствовалось в этом году и в рабочих низах столицы, а вместе с тем и у части недавних идеологов «экономизма». Осенью 1900 г. у меня был не один случай убедиться в этом в дискуссиях с товарищами по организации. Между прочим, мною тогда же был написан специальный доклад на тему о влиянии экономических кризисов на революционное движение. Основываясь на опыте рабочего движения в России за последний год и уроках истории европейского революционного движения прежних лет, я доказывал не только возможность, но и неизбежность активизации *политических* форм рабочего движения в России на ближайшие годы кризиса и депрессии. И должен заметить, что этот доклад вопреки моим ожиданиям был заслушан рядом товарищей из «Союза борьбы», в числе которых был и П. Г. Смидович, с интересом и заметным сочувствием.

Еще большее сочувствие аналогичное выступление встретило на одной многолюдной нелегальной вечеринке в декабре 1900 г. Эта вечеринка была организована в память декабристов на квартире профессора Горного института Н. Н. Митинского. На ней присутствовали представители всех левых групп и течений. Мне случилось попасть на эту вечеринку с некоторым опозданием, после очередных занятий в кружке за Нарвской заставой, откуда я захватил и одного из своих слушателей. Вечеринка была в полном разгаре. Говорили о необходимости известной координации усилий разных групп и течений. Взяв слово, я поддержал мысль о вредности того идейного разнобоя, который наблюдался тогда даже в марксистских группах, обслуживающих рабочее движение, в особенности учитывая неизбежную его активизацию в новых политических формах в связи с наступившим кризисом и последующей депрессией. Развив эту идею в духе ранее написанного на эту тему доклада, я встретил ее одобрение с разных сторон. Но особенный интерес она вызвала со стороны присутствовавшего на вечеринке будущего лидера либеральной буржуазии П. Н. Милюкова. В борьбе с самодержавием в те годы даже передовая буржуазия готова была еще приветствовать революционный пролетариат. И Милюков усердно строчил что-то в своей записной книжке.

Однако живейший интерес к вечеринке, несмотря на все предосторожности ее устроителей, проявила и непрошенная, но вездесущая агентура охранки. Не знаю, удостоилось ли ее записей и мое выступление. Во всяком случае несколько месяцев спустя, будучи уже в «Предварилке», я в числе соседей по заключению обрел немало участников декабрьской вечеринки.

Выступая в рабочих кружках в роли пропагандистов, нам приходилось по-разному строить свои беседы, применительно к различному культурному уровню рабочих этих кружков. Кружок рабочих Путиловского завода требовал, например, совсем иной духовной пищи, чем кружок ткачей мануфактуры Воронина (с изрядной прослойкой недавних выходцев из деревни). Но общее представление о характере бесед нетрудно составить хотя бы по тем печатным их следам, какие нам известны. В частности, из бесед того времени в рабочем подполье мне удалось опубликовать не одну, а ряд популярных брошюр, выпущенных в свет в ре-

зультате временного паралича царской цензуры после бурных событий 1905 г. Присматриваясь теперь к их содержанию, я вижу, что очерк «Богатство и труд», рассчитанный на передовые кадры рабочих, труднее для усвоения, чем беседы о «забастовщиках», про землю и социализм, доступные и наименее подготовленным кругам деревенской бедноты. Но, насыщенные фактами и цифрами, эти беседы в обоих случаях одинаково обращаются не к чувствам, а к разуму аудитории и стремятся прежде всего просветить ее и вооружить конкретными знаниями, давая ей известный минимум политических истин и экономических понятий и пробуждая тем самым ее классовое самосознание. Ни в одной культурной стране подобная просветительная работа не могла бы считаться запретной. А между тем в царской России даже столь скромная общественная деятельность возможна была только в условиях подполья и влекла за собой самые суровые репрессии.

Это была скромная, но отнюдь не легкая работа. У рабочих мы встречали огромную жажду знаний в самых различных направлениях. И в наших беседах они то и дело отвлекали пропагандиста от очередной политической темы вопросами, возвращающими его от Маркса к Дарвину, Копернику и еще дальше. Вопросы мироздания, происхождения человека и возникновения жизни на земле интересовали их не менее живо, чем, скажем, проблема 8-часового рабочего дня, в которой они, кстати сказать, гораздо легче разбирались. Но на пути к познанию наук о природе стояли закрепленные авторитетом церкви перлы библейского невежества. Против Коперника и Дарвина свидетельствовал сам бог устами Моисея. И в интересах истины приходилось брать под обстрел эти свидетельства. Делать это, однако, было нужно с крайней осмотрительностью, щадя понятные чувства глубоко верующих людей. Вот почему в беседах и брошюре на эту тему я начинал прежде всего с пропаганды веротерпимости и равноправия всех вероучений в защите своих религиозных убеждений. Сталкивая затем между собой противоречивые учения разных религий и сект, я, только показав всю относительность и спорность этих учений, предоставлял слово и принципиальному противнику всяких религий. В рабочей среде я, впрочем, не встречал особых ревнителей церкви. Но тем крепче была приверженность к ней в деревне. И с этим приходилось серьезнейшим образом считаться.

Можно спросить себя: а много ли толку рабочему движению в России могла принести нелегкая работа подобных мне подпольных пропагадистов? И придется, конечно, ответить: очень немного. В век ротационной печати устная пропаганда подпольщика подобна беспомощному кустарю, соперничающему с фабрикой. И гений Ленина, решившего подпольную партию строить на базе свободного печатного станка и многотиражной газеты, вполне оправдался ходом истории. Что могла тогда дать работа нашего брата — пропагандиста? Проведешь десяток занятий в кружке с десятком рабочих, едва заронив в них искорку света, и глядишь, вас поглотила на целые годы тюрьма и ссылка. И не видно никаких следов твоей работы. А между тем за один 1905 г., когда при содействии печатного станка мои старые подпольные «беседы» стали вдруг доступными десяткам тысяч рабочих, это заменило работу *тысяч* пропагандистов. Правда, это уже было эффектом революции. И все же без тех рассеянных нами повсюду партийных искорок, из которых возгорелось пламя генеральных забастовок 1905 г., не было бы и революции.

Посещения подпольных кружков один-два раза в неделю не мешали, конечно, ни нашей собственной учебе, ни другим занятиям. В частности, в декабре 1900 г. производилась в С.-Петербурге очередная перепись городского населения, для которой требовалось много регистраторов. Принять в ней участие для более широкого ознакомления с рабочим бытом столицы показалось нам весьма интересным. Одним из участков перепи-

си, кстати сказать, должен был руководить Петр Павлович Маслов, уже тогда известный экономист, а впоследствии — советский академик. Будучи раньше с ним знаком по разным околопартийным поручениям, я предложил ему обслужить весь его участок регистраторами нашей группы пропагандистов, на что он очень охотно согласился. Программа переписи нас не вполне устраивала. Она задавалась, например, вопросом: имеет ли опрашиваемый «доход с капитала или земли», но вовсе не интересовалась заработком рабочих и условиями их труда и быта. Однако в этой части мы решили сами ее расширить, наметили сообща ряд интересующих нас вопросов и, собрав в пределах участка, за Нарвской заставой, большое число на них ответов, передали весь этот дополнительный материал для специальной сводки и обработки все тому же П. П. Маслову. У меня лично доныне еще сохранились некоторые заметки из тогдашних наблюдений регистратора. И, на мой взгляд, они и сейчас не потеряли своего интереса.

На мою долю достался участок человек в 300, населенный почти исключительно рабочими. Работы предстояло немало, ибо народ был здесь не шибко грамотный. Но зато не предстояло никаких огорчений, столь обычных для счетчиков в более аристократических кварталах. В барской квартире нельзя было, например, спросить по-простецки: «Сколько в вашей квартире проживает людей?» или «Сколько у вас здесь числится народу?». Ибо здесь на подобный «неуместный» вопрос вы могли услышать весьма колкий ответ:

— О людях спросите на кухне, а народ ищите на толкучке. Здесь же проживают господа Выродовы, или, скажем, Дурасовы, или Безобразовы, или еще кто-либо из носителей столь же благородных и благозвучных фамилий.

Еще больше благородного возмущения, по рассказам товарищей, вызывал в богатых квартирах вопрос анкеты о доходах «от капитала или земли».

— Кому какое дело до моих капиталов?..— возмущалась, например, одна барынька.— Эдак, вы еще в карман ко мне залезете.

И, заявив категорически, что подобные вопросы она считает «прямо-таки неделикатными», эта особа без дальнейших церемоний отправила счетчика «за всеми сведениями» к дворнику, наказав тут же швейцару «не пускать сюда больше этих... с портфелями».

В рабочих каморках не угрожала такая опасность. Рабочие квартирки от чердаков до подвалов населены были чрезвычайно густо. В каждой из них ютилось в 2—3 каморках, включая «угловых» жильцов, человек по 20 и больше. А в одной из них помещалось даже 80 извозчиков зáраз. Размещались они на нарах в два этажа, чередуясь по 40 человек в дневной и ночной сменах. Но и в этой весьма сгущенной атмосфере, в которой и топор мог бы повиснуть, встречали нас очень приветливо и охотно беседовали по всем вопросам программы переписи, а еще охотнее, выходя за ее пределы. Правда, наилучшим успехом пользовался все тот же вопрос о доходах от капитала и земли. Но здесь он вызывал не гнев, а лишь взрывы неподдельного веселья всей пролетарской аудитории.

— А вот и Афоня-капиталист привалил с работы...— радостно встречали уже опрошенные «капиталисты» какого-нибудь вновь вошедшего своего сочлена.

— Ха-ха-ха!.. Хе-хе-хе!.. Хо-хо-хо!..— дружно хохотали все вокруг.

— У него капиталов не оберешься...

— И от земли у него доходу — девать некуда...

— Оттого, вишь, он и сбежал к нам сюда из деревни...— слышится со всех сторон.

— Хи-хи-хи!..— заливается вдруг вслед за другими и сам Афоня, чумазый мальчишка лет 16, работающий уже четыре года «на задах» при

мюль-машине и вырабатывающий в месяц рублей десять «доходу». Больно он смешон сам себе в роли «капиталиста».

— Гляди-ко, а вот и еще один капиталист ползет...— замечает вдруг кто-то, и вся артель со смехом оборачивается к двери. Но смех при виде новоприбывшего на минуту смолкает.

Вид у прибывшего «капиталиста» — слишком жалкий. Это дряхлый старик 76 лет, сгорбленный, оборванный и худой, с трясущейся седой головой, длинной, почти по пояс, бородой и слезящимися глазами. Из спроса узнаю, что Клементьев—бывший солдат из безземельных крестьян — работает уже 25 лет в столице, в том числе 13 лет на шоколадной фабрике Конради, где зарабатывает 19 рублей в месяц, на каковой «доход» от своих старых костей и содержит себя и слепую на один глаз жену свою, старуху 80 лет. Из завязавшейся беседы узнаю далее, что Клементьев запоздал с работы не случайно. К празднику, видите ли, повышается спрос на конфеты, и на фабрике в это горячее время все рабочие под угрозой расчета вынуждаются ежедневно работать по 2—3 часа сверхурочно, да и в праздники до обеда. И все это без всякой доплаты к месячному окладу!.. если не считать лишь «наградных» к празднику один раз в год — по 8 рублей на брата. Безропотный старик не жаловался на свою судьбу, но вопиющие факты сами говорили за себя.

И таких фактов прошло перед нами немало за дни переписи. По общему впечатлению, питерские рабочие в среднем жили значительно лучше и культурнее других, и не случайно тянулись они сюда из деревни. Но тем показательнее были отклонения от этой средней нормы. Связь с землей у некоторых рабочих лишь ухудшала их положение. О доходе от земли им и думать обычно не приходилось.

— Есть у меня землица, это верно...— объяснял мне один из таких мнимых рантье.— Да безлошадный, вишь, я. Нечем ее уколупнуть. В аренду тоже не берут, больно плоха земля-то. Давал придачи к наделу и 20 и 30 рублей — не берут. А податя платишь. Рублей 80 каждый год пошлешь. Вот те и весь «доход».

Но и в городе, на фабрике, труд таких выходцев из деревни обычно по-нищенски оплачивался. В одной артели ткачей с Митрофаньевской мануфактуры, где им платили от 12 до 15 рублей в месяц, я спросил было, как же они живут на такие заработки.

— По всякому бывает,— объяснил откровенно один бедовый парнюга.— Бывает, что только тем и спасешься, что либо стрельнешь где что плохо лежит, либо милостынькой подкормишься. Да и то сказать, как жрать станет нечего за неделю до получки, не поститься же святым угодником. Вот пойдешь после гудка и постреляешь малость.

По этой лесенке подсобных «промыслов» можно глубоко скатиться. При переписи ночлежки, где в 1900 г. было особенно много безработных, выброшенных на улицу кризисом, некоторые ночлежники на вопрос о занятиях уже совершенно откровенно, без всякой ложной скромности объявляли свою профессию.

— Вор, дескать, я...

Другие именовали себя: «Стрелок его величества». А некоторые требовали от нас записать не только их профессию, но и специальность.

— Пиши, вор я, домушник, а не какая-нибудь там шантрапа вроде ширмушника (карманщика).

Женщинам-работницам, в особенности в годы кризиса, приходилось иной раз прибегать к «подсобным промыслам» и похуже. Помню одну еще моложавую резинщицу с «Треугольника», которая на мой вопрос о семейном положении с краской в лице ответила мне:

— Девица...

Не знаю, могла ли бы эта девица получить премию за добродетель. Но знаю, что у ней были мозолистые руки, двое детей и мать-старуха

на иждивении, а зарабатывала она всего-навсего 12 рублей в месяц. И думаю, что трудно было бы о ней судить с точки зрения суровой морали.

Экономика вообще способна существенно влиять на наши суждения о нравах. Благодаря участию в переписи я убедился, что в рабочей среде столицы брачные узы уже до революции очень нередко обходились без всяких церковных обрядов. И это никого не шокировало. Объяснение этому факту один из опрошенных рабочих дал очень простое.

— Хотел было и я венчаться. Да поп меньше 25 рублей за венец не берет. А я всего-то зарабатывал в месяц не больше. Попу отдать, так целый месяц не жрамши работать придется. А запасы у нас какие? И в кредит никто не даст. Так вот и обошлись без попа. А живем вот уже 15 лет дружнее венчанных.

Эта перепись была первым моим дебютом в области статистики. Позже мне привелось много лет поработать на этом поприще, по преимуществу по проблемам труда и быта советских рабочих[1].

Но, памятуя первый опыт, думаю, что призвание статистика не в том, чтобы без труда облекать закон больших чисел в абстрактные формулы Чебышева, извлекая из них все возможные выводы, а в том, чтобы за безмолвными рядами сухих цифр ясно слышать отклики жизни, воочию видеть живых людей и глубоко проникнуть в общественные их отношения. Этот опыт мне дал очень много для познания и сближения с рабочей средой. И долго еще при взгляде в возрастную таблицу рабочих, если в ней бывала заполнена графа «свыше 70 лет», я снова за цифрами видел трясущуюся голову и слезящиеся глаза старого Клементьева. И я сам готов был бы уронить слезу над его судьбой, если бы меня не охватывал яростный гнев на ту систему труда, жертвой которой становились тысячи Клементьевых.

Участие в переписи принесло еще один сюрприз. В одной из квартир член нашей группы пропагандистов Д. Самойлов увидел фото, на котором узнал одного из участников наших рабочих кружков. Он спросил хозяина квартиры:

— Скажите, кто этот видный мужчина?

— А это наш паспортист Белорусов,— последовал ответ.

Нужно сказать, что имя провокатора Белорусова было нам известно еще по весенним провалам 1900 г., когда он натворил много бед. Но никто и не подозревал, что этот провокатор проник и сюда под именем Н. Петрова. Это создавало для нас новую опасность. Правда, он не знал ни адресов, ни фамилий пропагандистов. Но он знал, где собирается не менее трех или четырех кружков. Уходя из кружков за Нарвской заставой, мы принимали свои предосторожности. А именно, приближаясь после занятий к конке у заставы, мы всегда делали это с таким расчетом, чтобы конка двинулась в путь. Тогда мы быстро догоняли ее и вскакивали на ходу. При этом условии шпик, следивший за нами в отдалении, не мог бы догнать конку, не обнаружив себя и своей функции. Извозчиков у заставы не было. И мы надеялись, что нас не выследили филеры Белорусова. Впрочем, это были наивнейшие иллюзии.

Система царской охранки была основана на очень солидной базе, в которой рядовые шпики-следопыты играли только весьма посредственную, вспомогательную роль. Это были в массе своей весьма невежественные и тупые люди. В потерянной записной книжке одного из них кто-то из нас обнаружил такую запись примет выслеживаемого

---

[1] См. работы автора: «Заработная плата в русской промышленности». М., 1923; «Бюджет времени русского рабочего и крестьянина». М., 1924; «Рабочий быт в цифрах». М., 1926, и др.

им студента: «высокого роста, собою брунет, занимается социалией». Другой на одном из процессов 1900 г. на вопрос защитника, какие именно «возмутительные» возгласы обвиняемых он слышал на демонстрации, ответствовал:

— Та, самую обыкновенную русскую пословицу...

— Какую же именно?

— Долой самодержавие!..

Такие тупицы могли лишь подвести свое начальство, в особенности на гласных процессах, при публике. Вот почему во избежание больших «скандалов» охранка довольствовалась обычно только жандармскими дознаниями и заключением своих жертв в тюрьму и ссылкой в административном порядке, без огласки. Уберечься за спиною одних тупых шпиков царизму было бы не легче, чем усидеть надолго на острие стальных штыков. И поэтому его охранка базировалась на широчайшей системе провокации и предательства. Провокаторов насаждали повсюду. Ими наводняли рабочие организации и студенческую среду. Их подсаживали к нам и в тюрьмы. Вспоминаю, что в числе совершивших в 1902 г. рискованнейший побег из Киевской тюрьмы одиннадцати человек, среди которых были такие крепкие большевики, как Н. Э. Бауман и М. М. Литвинов, на десяток подлинных революционеров будто бы затесался и один провокатор. Их протаскивали и в среду литературную. Припоминаю, например, некоего Гуровича, издателя марксистского журнала «Начало», на страницах которого печатались лучшие силы этого литературного лагеря[1]. Заглянув как-то в редакцию «Начала» весной 1899 г. за недосланной мне третьей книжкой журнала, я встретил там Гуровича, который, взяв квитанцию и отметив по ней что-то в своих книгах, тотчас же выдал не только третью книжку, но и «премировал» за задержку четвертой, уже арестованной цензурой книгой того же, к тому времени закрытого журнала. Я видел этого господина впервые, и его «любезность» показалась мне чрезмерной. Скоро я узнал, что он провокатор, издававший «Начало» на средства департамента полиции. И тогда все стало понятным. Запретная книжка в моем владении послужила бы лишней уликой при первом же обыске. Через несколько лет, как известно, охранка поставила своего провокатора Азефа во главе «боевой организации» партии эсеров. Она же признала полезным провести другого провокатора, Малиновского, даже в депутаты Государственной думы.

Эти профессиональные предатели были, конечно, гораздо умнее и опаснее рядовой агентуры охранки. Однако, по моим наблюдениям, это были все же какие-то психически неполноценные субъекты. Вечная ложь, к которой их обязывала сама профессия, мстила за себя какой-то застывшей на их лицах маской трусливо-наглого лицемерия. Уже своим обличьем они не внушали к себе никакого доверия. И, вспоминая отвратно уродливые лица Азефа или Гуровича с иудиной печатью во взоре, трудно понять, как их не разоблачила сама их наружность. Если бы какой-либо художник вздумал изобразить человеческие пороки в мраморе или красках, то лучшей модели для олицетворенной лжи, чем Азеф, ему нельзя было бы предложить. Азеф лгал сразу на оба фронта, предавая и террористов охранке и охраняемых ею царственных особ — террористам. Люди этого типа действительно опасны. Они равно опасны всем, с кем близко соприкасаются. И поэтому надежной опорой трону служить не могли. Но и революционному делу они пакостили изрядно.

---

[1] В частности, в нем были опубликованы статьи В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, В. И. Засулич, Л. О. Мартова, А. Н. Потресова и др. Журнал выходил под ред. П. Струве и М. Туган-Барановского.

Ликвидировать революционное подполье не могла бы, однако, даже совершенная система провокации. Сама природа этой системы была в корне порочной. Получая постоянную ренту от революционного подполья, провокатор не мог стремиться к ликвидации источника этой ренты. Провокатор знал, что если он сразу предаст всех известных ему членов организации, то вместе с тем, потеряв и все с нею связи, окажется бесполезным охранке, а потому и безработным иудой. Кроме того, таким огульным предательством легче всего было разоблачить и собственную роль в этом деле. А разоблаченный провокатор и подавно терял всякую цену в глазах нанимателей и извергался ими на помойку. Поэтому опытный провокатор типа Азефа при всех предательствах всегда оберегал от провала, оставляя на разводку, ближайшее окружение. Восстановление потерь подполья и даже расширение его границ было только на руку расчетливым иудам, расширяя поприще все более рентабельной «деятельности». Таким образом, система провокации в условиях революционного подъема отнюдь не исключала расширенного воспроизводства подпольной работы. И наши ряды умножались подобно той сказочной гидре, у которой на месте каждой вновь отсеченной головы вырастало по две.

В частном случае нашей организации предосторожности, принятые против изобличенного случайно провокатора Белорусова, отнюдь не гарантировали нас от большого провала. Наряду с одним изобличенным иудой в ней оказалось, как выяснилось позже, много больше не изобличенных. А общий подъем революционного движения в стране побуждал охранку ускорить очередную ликвидацию известных ей организационных ячеек. В частности, в январе 1901 г. началось снова заметное брожение революционных настроений в студенчестве. Поговаривали о возможности новой студенческой забастовки. А в рабочем подполье столицы зрела идея уличной демонстрации. Но, чтобы эта демонстрация оказалась достаточно внушительной, ее состав нельзя было ограничить кучкой организованных рабочих. Для успеха выступления требовалось привлечь к участию и неорганизованные массы рабочих и сочувствующей интеллигенции. С этой целью, учитывая приподнятые настроения студенчества, мы от имени рабочих повели соответствующую агитацию и среди студенчества. Идея вместо академической забастовки подготовиться к гораздо более серьезному выступлению рука об руку с передовыми рабочими на политической демонстрации была принята передовым студенчеством весьма сочувственно. Между прочим, в конце января на одной студенческой вечеринке в Лесном и мне удалось своим выступлением на указанную тему привлечь к этой идее немало активных сторонников. Мне поручено было товарищами составить соответствующую прокламацию с призывом к студенчеству от имени «Союза борьбы» в духе моего выступления. Я охотно выполнил поручение и передал призыв по назначению для печати. Это было всего за несколько дней до нашего общего провала.

Накануне его охранка выкинула еще один предварительный трюк. Одному из наших пропагандистов, С. Д. Мавромати, предложено было в кружке «по секрету» назавтра доставить около пуда шрифту для подпольной типографии по указанному для этого адресу. Предложение было заманчиво. Но и охранка возлагала на него большие надежды. С помощью шрифта при удаче можно было бы добраться и до партийной типографии, а на худой конец, арестовав кого-нибудь вместе со шрифтом, создать этим лишнюю против него улику. Мы, впрочем, и ожидали кой-чего в этом роде. И действительно, на другой день, в ночь на 29 января 1901 г., меня разбудил стук в дверь с обычным в этих случаях шаблонным возгласом: «Телеграмма!..» Мне не от кого было

ждать телеграмм. Но, готовый ко всему, я спокойно открыл дверь и впустил незваных гостей.

Ко мне пожаловал сам господин Статковский, один из крупнейших специалистов охранки. Обыск был самый поверхностный, тем более что у Статковского имелся ордер на мой арест *«независимо* от результатов обыска». Кстати сказать, у меня найти было нечего. Через полчаса я был у гостеприимно приоткрытых для нас ворот — по случаю большого приема в так называемых «Крестах», или Выборгской одиночной тюрьме. В ту же ночь тяжелые железные двери тюремных одиночек захлопнули многих других моих товарищей по рабочей организации «Союза». Разгром был тяжелый. Охранка ликовала. Но революционное движение шло своим чередом. Даже затеянная нами большая студенческая демонстрация с участием рабочих, несмотря на то что инициаторы ее были за решеткой, состоялась всего через месяц после январских достижений охранки — 4 марта 1901 г. И рабочий действительно пришел в ней «на помощь студенту» *(Ленин).*

С тех пор утекло много воды. Ветры революции широко развеяли моих товарищей-пропагандистов 1900 г. по всему лицу русской земли. Многих из них нет среди нас. Некоторые уже и забыты. Но семена революции, брошенные ими, не остались бесплодными.

8. В НЕВОЛЕ

Когда после довольно гнусного обыска с раздеванием догола в тюремной конторе я очутился, наконец, поздно ночью «у себя», под надежным замком в одиночной камере, я почувствовал вдруг несказанное облегчение. Словно гора свалилась с плеч. Призадумавшись над этим, я понял, что это чувство душевной легкости объясняется не только тем, что меня уже не касаются грязные лапы гнусных сыщиков. И даже не тем, что мне уже не предстояло ни завтра, ни послезавтра снова спасаться от тех же сыщиков, петляя, как травленый волк, по проходным дворам и пустынным переулкам. Облегчение объяснялось главным образом тем, что с моих плеч свалилась тяжелая ответственность за *других,* за товарищей по подполью и за то большое общественное дело, которому каждый из нас мог повредить даже малейшей неосторожностью, грозящей общим провалом. Теперь, после ареста, я отвечал только за себя. А это было уже много легче. Длительное и, я бы сказал, «высоковольтное» нервное напряжение, в котором чувствует себя каждый боец на ответственном посту, сразу разрядилось. Мне лично не угрожал теперь даже арест, ибо я уже находился под арестом. Я почувствовал себя в тюрьме как на курорте, завалился, не раздеваясь, на жесткую тюремную койку и уснул, как убитый.

Проснувшись утром, услышал какие-то неторопливые и глухие точечные звуки сквозь стену. Две точки, пять точек,— четыре точки, три точки,— три точки, четыре точки... просачивались ко мне еле слышные, но очень четкие звуки:

Словно там — меж одиночек —
Ходит легкий молоточек
И ряды чуть видных точек
Намечает по стенам.

Вспоминая эти строки одного из тюремных стихотворений Евг. Тарасова, я снова переживаю тогдашнее первое свое впечатление от этих бодрящих легких отзвуков мертвой тюрьмы. Нетрудно было сообразить, что это просачивается ко мне голос собрата по неволе сквозь каменную толщу разделяющих нас стен на неведомом еще мне, но уже многообещающем языке тюремной азбуки. Эгэ!.. радовался я. Значит, и в одиноч-

ке нам отнюдь не угрожает самая тяжелая участь — одиночество, невозможность общения с себе подобными. Надо было лишь разгадать этот новый для меня язык стен. Но и эта задача была гораздо легче той, какую разрешил в свое время Шампольон, расшифровав язык всеми забытых египетских иероглифов. Внимая чередованию стуков и пауз своего соседа, я уловил, что каждая буква обозначается *двумя* цифрами и что первая из них лишь однажды достигла *шести,* а вторая — ни разу не превысила *пяти.* Значит, решил я, тюремная азбука состоит из шести строк по пяти букв в каждой. Проверить эту догадку было бы нетрудно. Но и этого не понадобилось. Осматривая свою камеру, я заметил нацарапанную чем-то острым на одной из стен азбуку в следующем виде:

а	б	в	г	д	р	с	т	у	ф
е	ж	з	и	к	х	ц	ч	ш	щ
л	м	н	о	п	ы	ю	я	—	—

Этот ключ, которым, очевидно, пользовался уже не один из моих предшественников по камере, открывал передо мной новые горизонты. Конечно, пользоваться им приходилось с большой осмотрительностью, ибо тюремные стены имели не только свой язык, но и очень длинные предательские уши. Но все же, овладев им, вы уже не были одиноки. Пользуясь им, мы и в одиночках то и дело обменивались друг с другом новостями с воли, полученными кем-либо на свидании или от новоприбывших в тюрьму жертв охранки, развлекались задушевными беседами с друзьями или дискутировали на отвлеченные темы с «противниками». Поэты выстукивали соседям иной раз целые стихотворения. Мне случалось не раз коротать свои досуги с соседом за игрой в шахматы. Шахматы для этой цели пришлось вылепить из хлеба. При этом вместо «королей» мы в знак своего «республиканского» пренебрежения к этому сану вылепили себе *по сапогу* и вместо шаха королю объявляли «шах сапогу». Это было ребячество, конечно. Но ведь всякий развлекается посвоему. Не всегда, впрочем, шло здесь на ум ребячество. Приходили нередко и *минорные,* тюремные настроения. И даже тут, «коль тоска мешает спать», нетрудно было предвидеть действия взгрустнувшего. Можно было заранее сказать словами поэта, что он к *«стене* протянет руки».

И, слова доверив точкам,
Он соседям-одиночкам
Будет легким молоточком
В ночь бессонную стучать.

Все такие молчаливые беседы не обходились, конечно, без частых и досадных помех со стороны тюремных стражей. Как ночные тати, они то и дело подкрадывались к вашим дверям, бесшумно приоткрывали тюремный «глазок» в двери — это отвратительное, всегда устремленное на вас стеклянное подобие «всевидящего ока» бога Саваофа — и тайно следили за каждым вашим движением. Услышав стук или заметив подозрительные движения кистью руки, они врывались в камеру, грозили карцером и, хотя подобные угрозы, нередко приводимые в действие, не очень нас устрашали, они все же на время прерывали наши беседы. Однако ко всему можно приспособиться. Приспособились и мы к условиям тюрьмы. Наше ухо улавливало малейший шорох крадущихся шагов за дверью, наш глаз безошибочно отмечал каждое подозрительное мерцание приоткрываемого предательского «глазка». И недремлющее око тюремного провидения очень редко застигало нас врасплох. Впрочем, и среди рядовых надзирателей далеко не все отличались чрезмерной ревностью к выполнению своих шпионских обязанностей. Платили им скудно, обращались грубо. Выходцы из простонародья, они *боялись* своего

начальства, но, по общему правилу, отнюдь ему не сочувствовали. Политические заключенные возбуждали в них к себе большой интерес, а иной раз и явное сочувствие. Более смелые из них проявляли его даже с немалым для себя риском.

Помню, например, такой случай. Однажды в неурочный ночной час вдруг бесшумно откинулась железная форточка моей двери, через которую обычно подавали кипяток, обед и ужин, и в нее заглянуло юное открытое лицо дежурного надзирателя. Я подошел к двери, и он молча протянул тщательно свернутую бантиком записку. В записке знакомый товарищ по организации сообщал мне номер своей камеры — на другом конце того же коридора,— дату своего ареста и кой-какие новости с воли с добавлением, что податель записки — сочувствующий нам душевный парень и что на его дежурстве можно свободно обмениваться записками. С тех пор я неоднократно с ним беседовал, передавал через него и письма и даже целые рукописи и в пределах тюрьмы и на волю. Это был, несомненно, честный парень. Но, мало искушенный в науке конспирации, он, к сожалению, скоро был выслежен, арестован и, как говорили, отдан под суд. Правда, внутритюремная переписка и после этого не прекратилась. Однако почтальонами нам служили уже не надзиратели, а уголовные арестанты, привлекаемые администрацией к обслуживанию одиночек. Они не особенно разбирались в политических программах разных партий, но, ненавидя своих тюремщиков не меньше нашего, они всегда готовы были в отместку чем-нибудь им отплатить и напакостить. Разнося каждый день по камерам обеды и ужины, разливая кипяток и убирая по утрам так называемые параши, они все время находились под бдительнейшим присмотром надзирателей. Но с тем большей охотой и профессиональным искусством они каждый раз обставляли их, принимая от нас и передавая обратно заранее заготовленные записки.

Все эти пути внутренней почтовой связи стали мне известны, однако, когда я уже был тюремным старожилом. А вначале в качестве новичка, пользуясь с трудом даже тюремной азбукой, приходилось довольствоваться общением лишь с ближайшими соседями. Учитывая это, тюремщики рассаживали нас, политиков, обычно подальше друг от друга, через две-три камеры — вперемежку с уголовными. Но в 1901 г. был уже такой урожай на политиков, что в столичных тюрьмах их приходилось сажать в одиночки подряд, уплотняя уголовных в *общих* камерах. И поэтому одним из моих соседей в «Крестах» оказался как раз товарищ по «Союзу борьбы» П. Г. Смидович, известный мне тогда лишь под партийной кличкой «Матрена». Он тоже не знал моей фамилии. И мы долго, усердно перестукиваясь друг с другом на «нейтральные» темы, не подозревали даже, с кем беседуем. Однако как-то при выходе на прогулку мы почти столкнулись на лестнице, сразу же узнали друг друга, после чего наши «беседы» через стенку стали много содержательнее. Впрочем, к сожалению, мы скоро с ним расстались. Меня из «Крестов» перевели на Шпалерную в «Предварилку». А Смидович, которого так и не расшифровали жандармы, принимая за бельгийца, отделался высылкой за границу, откуда, конечно, скоро вернулся в Россию с новым паспортом.

* * *

В Доме предварительного заключения, или «Предварилке», режим одиночной изоляции проводился еще строже, чем в Выборгской одиночной тюрьме. Здесь даже на прогулках каждый из нас загонялся в особое стойло, огражденное со всех сторон дощатым забором высотой свыше трех метров, из-за которого можно было видеть только нашего стража, наблюдающего за нами со своей вышки, в центре окружающих ее

секторами прогулочных стойл. Особо разгуляться в этих стойлах было мудрено. Да и воздуху в глубоком колодце тюремного дворика не хватало. Но все же стойла эти были раза в два просторнее наших камер. В них было много больше и света и воздуха. И мы весело посвистывали соловьями «на прогулке» в этих незатейливых клетках. Узкие камеры, с убогим убранством двух привинченных к стенке откидных железных досок — одной, повыше, для стола и другой, пониже, для сиденья — и такой же откидной железной койки, были темноваты. Небольшое окно, высоко под потолком, с двойною рамой зимой и летом и *матовыми* стеклами в обеих рамах светило очень скупо, не позволяя никогда порадоваться ни красным солнышком, ни хотя бы краешком голубого неба. Даже летом это окно чуть-чуть лишь приоткрывало сверху свою фрамугу узкой щелью во внутрь камеры. И, чтобы вздохнуть полной грудью, приходилось, поднявшись на стоящее под окном ночное судно и ухватившись за фрамугу, подтягиваться на руках до этой щели.

Это было нелегкое гимнастическое упражнение. Но зато, подтянувшись к щели, можно было не только на минуту отвлечься от назойливых ароматов поганого судна, но и увидеть, кстати, сверху всех прогуливаемых в данную минуту в «стойлах» своих товарищей по подполью. Это не входило, конечно, в расчеты тюремщиков, специально затемнивших наши окна матовым остеклением в интересах полной изоляции нас друг от друга. Но всего не предусмотришь. Не предусмотрели они и того, что установленные ими железные трубы центрального отопления, будучи прекрасным проводником звука, явятся для нас еще лучшим, чем стены, средством общения путем перестукивания на протяжении всех шести пронизываемых этими трубами этажей «Предварилки». Не предусматривали тюремщики и того, что их тесные одиночки в своей массе становятся уже весьма широкими совершенно бесплатными и наиболее общедоступными общественными *университетами* для революционных рабочих. Но такова уж диалектика борьбы. Чем больше царская охранка хватала, рассаживая по тюрьмам порой едва только затронутых агитацией рабочих, тем больше воспитывалось из них в этом рассаднике, пользуясь редким для рабочих досугом, товарищеским общением и книгой, законченных революционеров стальной закалки, иной раз даже таких крупных, как А. М. Горький, М. И. Калинин и многие, многие другие.

Такую роль общественного университета — и к тому же одной из *лучших* школ революции в царской России — выполнял под «недреманным» оком тюремщиков и Дом предварительного заключения. Усилиями многих поколений содержавшихся здесь пленников революции и их друзей библиотека «Предварилки» была укомплектована более чем удовлетворительно. Если при этом менее подготовленные к учебе товарищи затруднялись в выборе книг для чтения из этой богатой сокровищницы знаний, то им охотно приходили на помощь добрыми советами и полезными указаниями более подготовленные. В досугах для самообразования у них не встречалось недостатка. Вспоминаю, например, с каким упоением отдавался чтению один из моих соседей по камере — молодой рабочий с завода Сан-Галли И. Гущин. Мы познакомились с ним еще на воле, так как он был членом одного из кружков нашей группы пропагандистов. Но, арестованный несколько месяцев спустя после меня, он побывал на демонстрации 4 марта и вообще мог рассказать немало новостей из подполья. Мы постоянно перестукивались с ним, беседуя о прочитанном. Я рекомендовал ему, что́ еще стоит прочесть. Он поглощал одну книгу за другой и боялся только одного, что его слишком скоро выпустят из тюрьмы — раньше, чем он успеет все прочесть по намеченной им программе.

— Подумайте только,— волновался он.— Ведь при десятичасовом рабочем дне на заводе я и за десять лет не прочел бы столько, сколько

здесь прочтешь за какие-нибудь полгода. И где бы еще я нашел такие книги?

Подобные же высказывания я слышал и от других своих соседей-рабочих. Между прочим, после 7 мая 1901 г. по соседству со мною оказался один из участников знаменитой «Обуховской обороны», в которой русские рабочие впервые показали на своем опыте дорожку от забастовки к вооруженному восстанию. Многим из них, и в том числе и моему соседу, угрожали за это суд и каторга. Но он, ничуть не унывая по этому поводу, читал запоем книги и журналы, писал сам с подъемом совсем неплохие стихи и, выстукивая их мне по трубе, восторженно делился со мною своими впечатлениями о прочитанном и продуманном. И действительно, такие книги, как например, «93-й год» Виктора Гюго, «Один в поле не воин» Шпильгагена, «Овод» Войнич, «Спартак» Джованьоли и многие другие из состава нашей тюремной библиотеки, давали немало пищи уму и сердцу нашей плененной братии, вполне отвечая бурно-пламенным предреволюционным настроениям тех памятных лет. Конечно, наши товарищи — рабочие читали не только такие книги, но в любой из них свежий ум и живые сердца их находили себе пищу и здоровый отклик. Припоминаю, например, некоторые их пометки на полях прочитанных книг. У Глеба Ивановича Успенского в его «Наблюдениях одного лентяя» приводится рассказ о выворачивании тумб и фонарных столбов «нашей» компанией, «не знавшей, куда девать свою силу». Против этих строк на полях книги корявым почерком молотобойца, вооруженного слишком легким для него пером, было нацарапано:

— Делал все это когда-то, года 3 назад, и я, а теперь узнал, куда девать силу... (п......).

Наивное пояснение в скобках с многоточием новоявленного «п.....», т. е. «политика», не оставляло сомнений, что это писал рабочий. Может быть, даже один из участников недавней «Обуховской обороны». И если он способен был выворачивать столбы играючи, то можно себе представить, с какой энергией и силой он метал в бою у себя на заводе тяжелые кирпичи в головы атакующих завод жандармов...

В другой тюремной книге, перечитывая «Братьев Карамазовых», где иконописный выходец из дворян «старец» Зосима так елейно живописует социальный идеал Достоевского: «Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наше грядущее, ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего пред бедным, а бедный, видя смирение сие, поймет и *уступит* ему, с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его», я наткнулся на такой краткий, но выразительный *ответ* «старцу» на полях книги:

«Держи карман!..»

В этом простецком ответе пролетария не звучало и тени «ласки». Но из него сразу можно было понять, что *этого* простеца уже и «самый развращенный» классовый враг на мякине «благолепного стыда» и лицемерно-ханжеского «смирения» не проведет.

Тюремный наш университет был привлекательнейшим домом учебы, однако, не только для рабочих. И наш брат — интеллигент мог весьма основательно пополнить здесь свой довольно еще тощий научный багаж. Сужу об этом прежде всего, конечно, по собственному опыту. Читал я здесь очень много, хотя и без особой системы. Читал беллетристику, читал и стихи. Но бывшие тогда в большой моде символисты — Бальмонт, Брюсов, Андрей Белый и прочие — совсем не пришлись мне по душе. За полнозвонкими рифмами и заумными образами я не чувствовал у них ни силы чувств, ни порой даже смысла. А когда одареннейший из них, Бальмонт, вычурно воспевал

Белых *ног*, предавшихся *мечтам*, (?!)
Красоту и негу без предела,

я думал про себя: как жаль, что бедные символисты вынуждены даже мечтать *ногами.* Не символизирует ли это, что *головы* у них привешены совершенно зря, только для проформы, как некий рудимент органа, некогда весьма полезного даже поэтам... Не привлек меня и изысканный Бодлéр, находивший в своих «Цветах зла» красоту даже там, откуда уже явно доносился тяжелый дух трупного тления. Зато особенно порадовал своим талантом певец «Красных зорь» — Верхарн. И немало светлых минут доставила мне изумительная лирика Генриха Гейне. Легкомысленный Гейне, как известно, был далек от коммунизма. В качестве неистового поклонника красоты он даже как будто *страшился* прихода к власти коммунистов,— страшился не за неприкосновенность своих пустых карманов, а за судьбы искусства.

«Своими грубыми руками,— не то в шутку, не то всерьез предвещал он,— они беспощадно разобьют все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу; они разрушат все те фантастические игрушки искусства, которые так любит поэт; они вырубят мои олеандровые рощи и станут сажать в них картофель; лилии, которые не занимались никакой работой и однако же были одеты так великолепно, как царь Соломон во всем блеске своей роскоши, будут вырваны с корнем из почвы общества, разве только они захотят взять в руки рабочий инструмент; роз, праздных невест соловьев, постигнет такая же участь; соловьи, эти бесполезные певцы, будут прогнаны, и ах! из моей «Книги песен» торговец будет делать пакеты и всыпать в них кофе и нюхательный табак для старых баб будущего».

Однако более характерно для Гейне, пожалуй, то, что, разразившись этой лирической филиппикой, он заключает ее все же таким признанием: «И, несмотря на это — этот самый коммунизм производит на мою душу *чарующее* впечатление».

Теперь, после Октябрьской революции, когда все виды искусства, красоты и культуры в СССР и в других социалистических странах стали впервые в истории доступны широким рабочим массам, когда книги и песни сопровождают нас и в праздник и в будни, вся неосновательность страхов Гейне за культуру вообще и свою «Книгу песен» в частности стала уже более чем очевидной. Оказавшись плохим пророком, Гейне никак не предполагал, что опасность для его «Книги песен» грозит совсем с другой стороны. В странах победившего пролетариата коммунисты художественное творчество Гейне и доныне любят и ценят, а вот в гитлеровской Германии, на родине поэта, его «Книгу песен» в числе многих других произведений человеческого гения еще совсем недавно в бешенстве варварски жгли в Берлине как раз самые ярые антикоммунисты.

Художественной литературе в «Предварилке» я посвящал, однако, только немногие часы своих тюремных досугов, отдавая все остальное время науке. Хуже всего в тюремной библиотеке была представлена экономическая наука — главным образом «критическими» трудами таких авторов, как Эд. Бернштейн, В. Зомбарт, С. Прокопович, С. Булгаков и др. Я счел своим долгом прочесть их самым внимательным образом, хотя «критика» в этих трудах показалась мне малообоснованной, а оппортунизм — крайне непривлекательным. Гораздо ценнее и богаче оказались здесь естественно-исторический и исторический разделы библиотеки. И по мере сил я старался использовать это богатство. С большим интересом проштудировал я здесь всего Дарвина, познакомился с Ламарком, мутациями Гуго де-Фриза, с учением Менделя о наследственности. Прочел Лайеля, читал работы Гельмгольца и Тиндаля, Макса Ферворна и Ле-Дантека, Тимирязева и Сеченова, Бекетова, Бехтерева, Фаминцына... По русской истории одолел все 30 томов С. Соловьева, прочел «Очерки» П. Н. Милюкова, монографию В. О. Ключевского «Бо-

ярская дума», В. И. Семевского — о крестьянах, Романович-Словатинского — о дворянах и много других. По истории Запада одолел несколько томов Н. И. Кареева, прочел все имевшиеся в библиотеке монографии о революциях 1789 и 1848 гг.— от Токвиля до Блоса и Олара. Затем, зацепившись за историю Реформации и «святейшей» инквизиции, увлекся историей религий. Ознакомился с религиями Востока — учением Будды, Конфуция, Лао-Цзы, прочел «Жизнь Иисуса» Ренана, увлекся «Историей русской церкви» Е. Голубинского, затем стал читать «Жития святых русской церкви», прочел «Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского» (4 тома), заново перечитал всю библию, пробовал даже одолеть талмуд и решил, что если эти книги читать с толком, то лучшего антирелигиозного чтения и не придумаешь.

Весьма поучительными в этом отношении оказались, между прочим, и Жития многих святых, «спасавшихся» методами *отшельничества* и *затворничества*. Отнюдь не отягощая себя при этом заботой о *других* — ни добрыми делами в пользу ближних, ни патриотическими подвигами в защиту сограждан,— эти по сути дела крайние индивидуалисты спасали, таким образом, уединившись в своем затворничестве от всего мира, только *свои* собственные души. И как нелепо спасали. Вот, например, русский святой Иринарх Борисоглебский. В самое тяжелое для страны «смутное» время внутренних усобиц и внешних вторжений этот «святой» спасался, укрывшись в своей келье, приковав себя железной цепью к стулу, с оковами на руках и ногах, с железным обручем на поясе весом в целый пуд и весь обвешанный 142 медными крестами[1]. Трудно поверить, что такой суровый режим затворничества наш угодник мог выдержать в течение целых 38 лет.

Но, спрашивается, кому и для чего, собственно говоря, мог быть «угодным» такой бесцельный и противообщественный подвиг себялюбца. Мужик-то был здоровеннейший, коли выдержал такой режим. А между тем он не только сам десятки лет прожил праздным тунеядцем, на цепи, но еще и других вынуждал себя кормить, поить, убирать нечистоты.

После таких святых угодников невольно захотелось освежить свои мозги острой политической сатирой. И отдыха ради я взялся за Салтыкова-Щедрина. Затем принялся за Глеба Успенского и, лишь насладившись его блестящей публицистикой, снова вернулся к менее приятным предметам. Я имею в виду прежде всего так называемую критическую философию вообще и гносеологию в частности. Не имея никакой склонности к этим предметам, я должен был все же ими заняться уже потому, что в те годы все более агрессивные нападения на марксизм велись именно с этих философских позиций. Философский фронт становился одним из серьезных участков общего идеологического фронта великой борьбы классов той эпохи. И, чтобы не оказаться слабее врага и на этом участке, каждый из нас, пользуясь тюремным досугом, запасался и философским оружием. В частности, мне удалось прочесть в «Предварилке» помимо таких *общих* курсов по философии, как «Очерк истории греческой философии» Целлера и «Истории новой философии» Куно-Фишера, по логике — книги Милля и Джевонса, по психологии — В. Вундта, и целый ряд других более специальных монографий. Прочел я прежде всего «Историю материализма» Ланге (2 тома), читал сочинения Огюста Конта и Г. Спенсера, основательно проштудировал Канта, прочел ряд работ Шопенгауэра, Виндельбанда, Паульсена, Риля, Риккерта, Шуппе, Шуберт-Зольдерна, Авенариуса, Маха, почти всего Ницше, а из русских философов — Лесевича, Челпанова, всего Вл. Соловьева (6 томов), известную книгу Струве — Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии» и многие другие.

[1] «Жития святых Русской церкви». СПб., 1860, стр. 360.

Всего за год я прочел не менее 300 томов и притом с обильными выписками в ряде тетрадей, некоторые из которых и до сих пор у меня бережно сохраняются. Специалистом ни в одной из указанных областей науки я не стал, конечно. Выбор книг для чтения был, понятно, ограничен. Но все же тюремный университет, думается, дал мне за год не меньше, чем всякий иной мог бы дать и за четыре года. Перелистывая ныне свои старые, сильно пожелтевшие от времени «философские» тетради 1901 г., я снова переживаю тогдашние боевые настроения против всех видов метафизики и всех сортов «идеализма». В своих выписках из книг этого направления я прямо охотился за слабейшими в них местами, ошибками и противоречиями. Сильнейшим умом из представителей этого направления обладал все же старик Кант. И ему я уделял особое внимание, прочтя из него все, что только нашлось в тюремной библиотеке. Вот почему я с особенным удовольствием выписал у Канта объяснение высокой «популярности», которой пользуется у философов *трансцендентальный* идеализм, или, что то же, *метафизика*, «возвышающаяся», по Канту, над опытом.

«...Эмпиризм не имеет ни малейшей популярности»,— пишет Кант. А вот идеализм популярен. «Ибо и обыкновенный человек находится здесь в том же положении, в каком и самый умнейший муж. Так же точно *ничего не понимая*, как и всякий другой, он может бесконечно больше *умничать* об этих вопросах, хотя и не в такой школьной форме, как другие. Ибо он вращается здесь около идей, относительно которых можно быть весьма красноречивым именно потому, что о *них ничего неизвестно;* тогда как относительно исследований природы он должен быть нем и сознаваться в своем неведении» [1].

Это компетентное признание Канта, знавшего толк в метафизике, бьет не в бровь, а в глаз всех сторонников вненаучных систем философии, пытающихся «возвыситься» над опытом. Бьет оно прямо в глаз и самого Канта со всем его *умопостигаемым* миром «вещей в себе», пребывающих, по его мысли, *за пределами* всякого возможного опыта, со всеми его «априорными» идеями и суждениями и такими утверждаемыми им «постулатами разума», как бог, бессмертие души и прочие религиозные атрибуты его метафизической системы.

Между прочим, возможность чисто априорных суждений, постигаемых независимо от опыта, путем непосредственной интуиции и тем не менее вполне достоверных, Кант подтверждал наличием геометрических аксиом, не требующих доказательств. Связывая геометрические аксиомы со своими представлениями о пространстве, по которым формы *времени* и *пространства* — это «чистые интуиции», возникающие по некоторым «врожденным и постоянным законам» из самой «природы ума», Кант категорически отвергал концепции, которые «низводят геометрию с высоты ее достоверности до степени эмпирических наук. Ведь если все свойства пространства,— рассуждал Кант,— познаются путем опыта из внешних отношений, то аксиомам геометрии принадлежит только та сравнительная общность, которая получается путем индукции... и возможно, что со временем, как это бывает в эмпирических науках, будет открыто пространство с другими первоначальными свойствами, какое-нибудь двухмерное или даже одномерное, прямолинейное». Эти строки были написаны в докторской диссертации Канта в 1770 г. И, конечно, сам Кант рассматривал свой аргумент как убедительнейшее сведение к *абсурду* взглядов противника. Ведь аксиомы геометрии *всем* казались до очевидности непререкаемыми. Но вот прошло всего несколько десятилетий, и гениальный русский геометр Лобачевский, а за ним и ряд других показали, что привычное нам «Эвклидово пространство» — это только ма-

---

[1] И. Кант. Критика чистого разума. СПб., 1867, стр. 386—387.

ленький уголок Вселенной, в котором его «аксиомы» применимы с достаточным *приближением* к истине. Эмпирическое их происхождение стало очевидным. И абсурдными нам представляются уже гносеологические позиции Канта с его ничем не оправданной верой в непогрешимость своих «чистых интуиций».

Подводя итоги своим весьма усердным в ту пору занятиям философией, я пришел, должен признаться, к весьма скептическим заключениям о возможностях этой «царственной» науки. Философских систем, взаимоисключающих друг друга своими противоречиями, очень много именно потому, что их творцы весьма красноречиво лжемудрствуют, вращаясь вокруг умозрительных идей, о которых *ничего неизвестно* и о которых поэтому можно, по выражению Канта, бесконечно «умничать». Все положительные знания о мире мы заимствуем из конкретных эмпирических наук, основывающихся на опыте и наблюдении. О методах познания трактует наука логики. Этих методов, как известно, всего два — дедукция и индукция. Дедукция представляется нам более строгим методом познания. Но вся его строгость базируется лишь на том, что он вовсе не расширяет круга наших знаний. В самом деле, в силлогизме: «Все люди — двуноги, Иванов — человек, значит, и Иванов — двуног» — вывод логически безупречен, но он не содержит в себе ничего *нового* по сравнению с исходным тезисом, или большой посылкой. А если этот основной тезис, полученный в результате эмпирического обобщения наблюдений, допускает исключения, то и Иванов может оказаться, скажем, с одной лишь ногой или совсем без ног. Индукция, восходящая от частных наблюдений к обобщению их в те или иные общие закономерности, расширяет сферу познаний о мире, но ее выводы обладают лишь относительной достоверностью.

Что же может прибавить к этому умозрительная философия? Свои «чистые интуиции» и «постулаты разума» о всемогущем боге и загробном воздаянии в качестве еще одного метода познания неведомых науке «абсолютных» истин? Но ведь все «чистые интуиции» и прочие «априорные» идеи философов на поверку всегда оказываются лишь хуже или лучше подмеченными обобщениями человеческого опыта. А пресловутые «постулаты» и прочие «необдуманные ссылки на сверхъестественное», по словам самого Канта, составляют «увертку ленивого разума». Мы не знаем абсолютных и неизменных истин уже потому, что все течет и меняется в нашем мире. Но зато мы не знаем и никаких границ расширению наших познаний о нем, кроме разве тех, какие представляет собой тоже не знающее пределов человеческое невежество. Никакая философская «теория познания» не может поставить перед нами никаких иных, вполне достоверных его границ — вроде кантовских «вещей в себе» или иных агностических жупелов,— ибо сама эта теория, созидаясь по необходимости на базе относительных методов познания, не сможет претендовать на абсолютную значимость своих построений. Точно так же скептик, ставящий под вопрос самую возможность достоверного знания, тем самым уже заранее лишает себя возможности сказать что-либо достоверное на эту тему. И любой гносеолог, претендующий на большее, уподобляется барону Мюнхаузену, пытавшемуся вытащить самого себя за волосы из болота.

Для чего это делал в свое время Кант, общеизвестно. Ограничивая область знания, он, по собственному признанию, хотел оградить от научной критики область веры. Генрих Гейне по этому поводу рисует такую картину. После того как Кант в «Критике чистого разума» поразил насмерть деизм, за трагедией развивается фарс. За великим критическим философом стоит его старый слуга Лампе, который несет дождевой зонтик, утирает слезы и выступивший от страха пот! Тогда И. Кант сжалился и показал, что он не только великий философ, но и добрый че-

ловек; полудобродушно, полуиронически он говорит: «Старому Лампе нельзя обойтись без бога, иначе бедняга не может быть счастлив,— ну так пусть практический разум будет ручательством существования бога». В таком поведении философа невозможно было бы отрицать *благих* намерений. Однако, говоря его же словами, «нет ничего хуже, если с благими целями будут соединяться *ложь* и *обман*»[1].

Конечно, и ложь представляет собой сильное оружие в лагере реакции, хотя она и не способна кого-либо осчастливить. Но передовое человечество всегда предпочитало истину потому, что она реально повышает его шансы в борьбе за существование с природой и силами реакции отживающих классов. Вот почему идеологи передового класса даже в теории познания не могут становиться на шаткий путь философских дедукций из пустых абстракций, на котором изолированный исследователь, ограничиваясь «самоанализом», так часто весь необъятный мир замыкает в своем маленьком «я», выписывая его с большой буквы. Чтобы, преодолевая наивный реализм, избежать этой опасности, надо строить свою теорию познания, не впадая в бесплодную игру понятиями, на той единственной научной базе, какую обеспечивают конкретные индуктивные науки о природе и человеке, включая сюда опытную психологию и физиологию, ибо только опыт и наблюдение существенно расширяют сферу наших положительных знаний. Как видно из сохранившихся моих записей в тюремных тетрадках, размышляя о задачах и возможностях такой *научной* теории познания, я исходил из таких примерно соображений.

Известно еще со времени Протагора, что человек является мерой всех вещей. Но известно также, что это весьма несовершенная мера вещей и к тому же еще изменчивая от времени к времени и от одного человека к другому. Диапазон охвата явлений его измерительной аппаратурой — глазами, ушами и прочими чувствами — весьма узок, точность измерений низка. Его ощущения субъективны и представляют собой лишь условные знаки или шифрованные депеши из внешнего мира. К тому же эти сигналы из внешнего мира, отражая его бытие, изменяются по своей интенсивности не пропорционально росту внешних раздражителей, а с огромным отставанием от этого роста — как логарифмы раздражения (закон Вебера — Фехнера). В результате всех этих дефектов своей организации человек способен обычно давать лишь качественные оценки познаваемого, например, холодно, тепло, теплее или неверно, верно, вернее, тогда как точные науки требуют количественных определений — числом и мерою.

Все эти дефекты познающего субъекта выявлены, однако, не путем философских дедукций и гносеологического самоанализа понятий, а путем наблюдений и экспериментов индуктивных наук. Те же науки и устраняют все выявленные ими дефекты. На помощь глазу приходят телескопы и микроскопы, на помощь уху — микрофоны, радиотелефоны И хотя в последнем счете мерой всех вещей остается тот же человек, но, вооруженный всеми чудесами науки и техники, он, не ограничиваясь качественными субъективными оценками, прекрасно расшифровывает сигналы внешнего мира и дает все более полноценную сумму качественно-количественных знаний о нем.

Человеческий разум обладает неограниченными познавательными возможностями наблюдений, суждений и логических умозаключений, образующих в своей совокупности всю систему теоретических наук и прикладных знаний человечества о Вселенной. Однако в сфере чисто логической деятельности человеческого ума его сложнейшие функции ныне нередко выполняет «электронный мозг» кибернетики, т. е. заведомо без-

[1] И. Кант. Критика чистого разума, стр. 560.

жизненный механизм. Правда, и сам этот механизм является продуктом человеческого разума, но тем замечательнее, что этот мертвый механизм уже ныне решает, подчас с непревзойденной скоростью, столь сложные логические и математические задачи, которые доныне были не под силу и лучшим из человеческих умов.

Функции живого человеческого организма не ограничиваются, однако, одной лишь умственной сферой его деятельности. В безбрежном мире его сознания мы встречаемся и с неиссякаемой гаммой противоречивых ощущений и эмоций, таких, например, как гнев и страх, радость и печаль, симпатии и антипатии, так или иначе воздействующие на поведение людей на всех путях и перепутьях добра и зла. Здесь же, в сфере сознания, нас возбуждает весь красочный спектр эстетических восприятий от высших ступеней восхищения красотами до крайних граней отвращения всем наиболее неприглядным в жизни или природе. А за пределами сознания человека сохраняется еще широчайшая область его подсознательных переживаний, в том числе и самых мощных социальных и индивидуальных инстинктов, направленных на сохранение рода и личное самосохранение индивида. Все эти инстинкты и другие полезные рефлексы живого организма в итоге многовековой его эволюции и совершенствования действуют автоматически, без всяких раздумий. Но назвать их на этом основании неразумными не приходится, поскольку они сохраняют здоровье и жизнь человека. И даже в тех случаях, когда, следуя им, человек инстинктивно бросается в огонь или в воду и, рассудку вопреки, безрасчетно рискуя собственной жизнью, спасает других людей, в таких случаях сказывается высшая мудрость человеческого рода. Ведь там, где все решают мгновения, нет времени для расчетов. И социальные инстинкты в этом отношении превосходят возможности логических функций рассудка.

Вот почему, говоря лишь о таких логических функциях человеческого мозга, в которых его могут с успехом заменять и счетно-электронные устройства машин, мы с известным правом относим их к области малого Разума. И противопоставляем ему большой Разум, обнимающий собою гораздо более широкую область психических функций всего человеческого организма, не исключая и подсознательных его акций и реакций, наряду со всеми мыслительными, эмоционально-этическими и эстетическими переживаниями, регулирующими наше поведение по законам истины, добра и красоты.

В те уже далекие годы моих тюремных размышлений мы еще ничего не знали о чудесах кибернетики. Но и теперь, когда иные математики уже мечтают о создании электронных машин, которые превзойдут своим разумом человека, я могу представить себе все достижения электронного мозга лишь в объеме малого, сухого и холодного, ибо лишенного всех эмоций, логического Разума. Решая свои задачи, он не загорится творческим вдохновением, с полным равнодушием машины принимая и положительный и отрицательный ответы на стоящие перед ним проблемы. Он не вспыхнет гневом перед лицом самой гнусной подлости, не восхитит его и любая красота. Не отвлечет его в сторону от заданных формул и готовность на жертвы во имя любых идеалов и самой прекрасной далекой мечты. Ведь строгой логике противопоказаны всякие ведущие влечения симпатий и антипатий, которым на каждом шагу подчиняет нас большой Разум нашего бытия. Но именно поэтому ограниченный малый Разум даже самой совершенной логической машины никогда не превзойдет всех сокровищ большого коллективного Разума живых людей.

Конечно, не все еще в нашем мире разумно. И правда на каждом шагу сталкивается с заблуждениями и ложью, добро — со злом и красота с уродством в самых разных сочетаниях. Но правда сильнее лжи, добро лучше зла и красота привлекательнее уродства. И уже это есте-

ственное их превосходство гарантирует им в конечном счете вполне закономерную победу в любых соревнованиях.

И теперь, однако, наши положительные знания далеко не равноценны по своей достоверности и точности с точки зрения приближения их к абсолютной истине. В каждом из них элементы истины сочетаются с известными допусками ошибки, или, что то же, не обнаруженной еще лжи. Если расположить все знания о мире в их эволюции во времени от представлений дикаря до современных астрономических учений о внегалактических границах Вселенной, то станет яснее, в какой огромной мере расширился их объем, а вместе с тем и сумма знаний о мире за счет соответствующего сокращения доли нашего невежества в данной области. Разумеется, и в представлениях дикаря была доля истины, и только с появлением системы Птолемея выявилось, в какой мере они были ложными. Точно так же Коперник выявил ложность системы Птолемея, а современность вносит поправки в систему Коперника. Это показывает всю относительность понятий лжи и истины. А теория вероятности позволяет нам нередко статистическими методами выявить и степень достоверности того или иного суждения, принимаемого за истину. Но так же, как истина и ложь соотносительны, могут различаться по степеням и наши представления о добре и зле или о красоте и безобразии.

Человек как мера всех вещей стремится в своих оценочных суждениях и волевых устремлениях познать и освоить не только истину, но и красоту и общественное благо, хотя эти его устремления лежат в весьма различных плоскостях и направлениях. В области научного мышления мы творчески стремимся к возможно полному познанию истины, в области художественного творчества, т. е. в искусстве,— к наиболее совершенной красоте, в области социального творчества и морального поведения — к высшим идеалам добра, причем ни одно из этих направлений не исключает и другие. И чтобы изобразить весь мир наших творческих исканий и достижений во всех указанных направлениях, его надо представить себе в системе скрещенных осей координат роста наук, искусств и социального прогресса, где в одном направлении растут элементы истины, красоты и добра, а в другом им противостоит вся сумма заблуждений, уродств и общественных зол. В моих тюремных записях такая схема координат изображена графически в следующем виде:

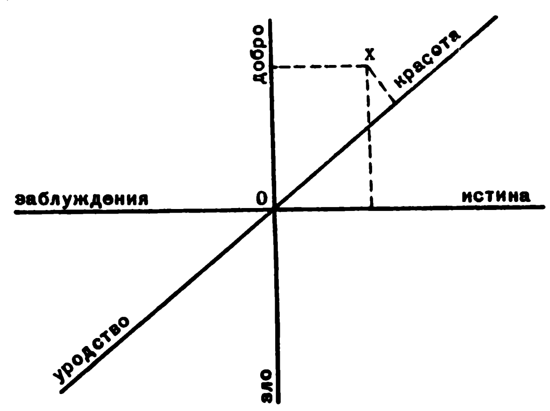


Схема векторов истины, добра и красоты

Приведенная схема наглядно показывает, что из восьми отсеков, на которые расчленяется осями координат и их плоскостями весь мир наших идеологических оценок, только в одном возможно гармоническое

сочетание всех лучших наших достижений. Таким образом совсем нередки и такие сочетания их, когда сама истина и доброта воплощаются перед нами в уродливом обличии Квазимодо, а самые глубинные пороки и ложь приобретают внешний блеск и красоту.

Ветер времени неизменно приближает нас к идеалам истины, добра и красоты. Но все эти понятия весьма относительны, а в классовом обществе и противоречивы. Нет худа без добра, как подсказывает нам опыт. И нет истины без той или иной доли заблуждений, отсеиваемых все новыми открытиями человеческого разума. Вместе с тем далеко не всякая истина совмещает в себе признаки добра и красоты. Бывает правда злая, страшная и отвратная. В классовом обществе законы развития, открытые научным социализмом, даже смертоносны для буржуазии, отнюдь не теряя от этого всех признаков объективной истины. Красота тоже может быть и лживой в красноречии продажного адвоката и даже предательской в некоторых своих притязаниях. «Чтобы быть красивой, нужно страдать»,— гласит французская поговорка. Китаянки высших кругов ради «красоты» мужественно калечили с детства свои ножки, хотя в том, в чем одни еще усматривают красоту, другие видят только печальное и злое уродство. И, наконец, добро сочетается подчас не только с уродством в образе Квазимодо, но и с заведомой неправдой. Неизлечимо больных из любви к ним обманывают, уверяя, что они вот-вот выздоровеют. Рабов и нищих утешали маревом «будущей» загробной жизни и загробного воздаяния за все их мучения и унижения в жизни настоящей. Конечно, такая «ложь во спасение» представляет собой весьма условное «добро», даже если его творят путем обмана тем, кому, по правде, уже нет иного спасения. Но, хотя в столь эфемерных «благах», как загробная жизнь с прекрасными гуриями или мимолетное опьянение гашишем, за которое приходится расплачиваться долгим и тяжелым похмельем, находят себе утешение и радость лишь слабейшие или вовсе «нищие» духом, для *них* это все же желанное «благо».

Желанными для всех нас является не только добро, но также истина и красота. Но красоту мы все непосредственно лишь *воспринимаем,* истину же *познаем,* а благо *творим.* Восприятие — это наиболее пассивное проявление нашей жизнедеятельности, хотя и оно требует известных затрат нервной энергии, вызывая под воздействием, скажем, красоты или уродства соответствующую им разрядку — притяжение или отталкивание. Познание требует не только пассивных восприятий внешнего мира. Оно добывается наблюдением и *опытом,* что предполагает более активную деятельность с затратами и не только нервной, но и физической энергии. И, наконец, *творчество* в любой области — художественной, научной, хозяйственной или социальной, говоря вообще, созидание любых благ, не исключая и сферы морального «добра» и «зла», является наиболее *активным* проявлением человеческой жизнедеятельности и труда, требующих наибольших затрат наиболее ценной энергии. Созидая новую красоту или добывая новую истину, мы тем самым творим и новые блага, но потребные для этого затраты энергии в данном случае несравненно больше, чем для пассивного восприятия уже созданной красоты или для освоения уже добытой истины. К сожалению, только в области наиболее осязательных, хозяйственных благ мы научились соизмерять объективной меркой их *стоимость* — по овеществленным в них затратам общественного труда, т. е. нашей человеческой энергии. Да и тут «редукция», т. е. приведение качественных различий разнородных видов труда и энергетических затрат человека к какой-либо единой *количественной* мере, решенная грубо эмпирически на практике, не имеет еще строго научного обоснования. Еще труднее соизмерить объективным эквивалентом разные степени красоты или

добра в тех или иных социальных его проявлениях, ибо в крайне разнородной социальной среде классового общества и все его расценки столь же разнородны и субъективны.

И это понятно. Если в области познания мы находим надежный критерий истины в той мере, в какой она подтверждается повседневной нашей практикой или научным экспериментом, то в области эстетических и моральных оценок не найдены еще столь же объективные и общеобязательные критерии добра и красоты.

Примитивная мораль готтентота, по которой «добро» — это если я обокрал соседа, а «зло» — это если *он* меня обокрадет, не может удовлетворить культурное человечество своим слишком узким эгоцентризмом. Можно бы его значительно расширить, подчинив личные свои интересы благу своей семьи, своего народа или даже своей расы. Но и в этом случае мы не слишком далеко уходим от морали готтентота, ибо, судя объективно, нет никаких оснований, почему бы благо одного лица или коллектива следовало предпочесть благу других, таких же лиц или коллективов. «Нет худа без добра»,— утешает народная мудрость. Это меткое наблюдение не отражает, однако, обратной стороны медали: нет ведь и добра без худа. Но именно поэтому в классовом обществе чистой утопией явилось бы стремление к идеалу добра *вообще,* скажем, в виде общего блага *всего* человечества в целом, поскольку в этом обществе любое «благо» для одних кругов неизбежно обращается для других — и прежде всего для тех или иных цветных рас, малых наций и угнетенных классов — своей злейшей изнанкой. Лишь в таком, свободном от антагонистических противоречий обществе, как СССР, легко отрешиться от национальной и расовой ограниченности эгоцентризма. Но в те годы, из глубины «Предварилки» этот идеал общежития маячил передо мной еще слишком далекой путеводной звездочкой.

Еще больше субъективной ограниченности и эгоцентризма — в наших суждениях о красоте. «О вкусах не спорят»,— утверждает пословица, подчеркивая этим крайний субъективизм эстетических оценок. Но и в этом субъективизме открываются свои объективные закономерности. Мало изучена, но вполне закономерна прежде всего связь всего прекрасного с человеческим трудом и его результатами. Труд не только творит красоту. Но и в самом труде, в его вольном и гармоническом, как песня, ритме, если только этот труд не перенапряжен и успешен,— неиссякаемая красота. Из труда же рождается и радость и песня. И эта связь так понятна трудящимся. У Глеба Успенского в его замечательных очерках, живо описующих «власть земли», или, говоря точнее, власть земледельческого труда над всей психикой крестьянина, находим такую картинку.

Осенний вечер в деревне после трудового дня. В вечерней прохладе, на завалинке, Успенский беседует со стариком-крестьянином. На деревне грянул звонкий девичий хор. Старик поднял голову и, слушая песню, сказал:

— Ишь, горло дерут! ...Урожай ноне... бог послал.

Хор зазвенел еще звончей и громче.

— И картофь, должно, господь уродил ноне,— прибавил старик в объяснение слишком звонкого пения.

Не всегда, конечно, тесная связь между материально-трудовой базой общества и его эстетическими надстройками прослеживается столь же непосредственно во всем многообразии вкусов и стилей таких надстроек. Но и это многообразие субъективных вкусов подчиняется определенным объективным закономерностям. Нетрудно заметить, например, что эстетические суждения людей одного и того же круга и воспитания гораздо более сходны между собой, чем суждения и оценки в той

же области людей далеких и чуждых друг другу социальных кругов и классов. Уже Чернышевский показал, в какой мере представления о красоте и вкусы разных социальных кругов обусловлены классовыми условиями их бытия. Аристократическому, праздному быту и вкусам свойственны, например, такие признаки женской красоты, как миниатюрные ручки и ножки, тонкий стан — «в рюмочку», прозрачная бледность нежных ланит и томный взор. А если красавицы этого круга в результате быта еще недостаточно томны, бледны и анемичны на вкус своей среды, то они и сами очень усердно принимают касторку и пудрят щеки, затискивают свои талии в узкие корсеты, зажимают ножки в теснейшие башмачки сказочной Сандрильоны и вообще претерпевают любые пытки в стремлении приблизиться к идеалу красоты своего круга. Совсем не таков, однако, идеал простонародной красоты рабочего и крестьянина. В этой среде хилой барской красоте явно предпочитают красоту здорового и сильного тела с густым загаром и естественным румянцем во всю щеку, с крепким станом и вполне работоспособными крепкими руками и ногами.

Какой из этих идеалов красоты окажется жизнеспособнее с ликвидацией классовых противоречий и упадочных классов в грядущей мировой республике труда, теперь уже нетрудно предвидеть. На красочных праздниках советских физкультурников мы видели немало образчиков этой жизнеспособнейшей красоты. Но у нас еще нет и теперь вполне разработанной *классовой* теории этики и эстетики. А между тем, только отправляясь от нее, можно найти объективные критерии добра и красоты и для *бесклассового* общества. И пока что за отсутствием таких критериев и точных измерителей, подобных термометрам для измерения температур, наши суждения о добре и красоте неизмеримо более субъективны и спорны, чем в области науки.

Воспроизводя здесь по памяти эти плоды тогдашних моих тюремных размышлений, я чувствую теперь, что в них было много незрелого. Но мне трудно было бы вычеркнуть их из пережитого. Без них в очертании тюремных будней моих современников оказался бы существенный и ничем не оправданный пробел.

Конечно, в моих тюремных размышлениях было много спорного, в чем я не раз убеждался впоследствии при более полном ознакомлении с высказываниями классиков марксизма-ленинизма на те же темы. И все же мне не жаль тюремных досугов, потраченных на эти размышления даже в ущерб прочтению многих книг. Дело в том, что только в моменты передышек от их поглощения, критически преодолевая и стряхивая с себя тяжелый гипноз одолевающих мозг *чужих концепций, можно* по-настоящему и самому научиться вполне самостоятельно, творчески мыслить. А в этой именно способности я и усматривал для себя лучшее оружие для предстоящей за стенами тюрьмы новой борьбы.

В погоне за знаниями мы не забывали, однако, что тюрьма является не только домом учебы, но и школой борьбы. И, не упуская ни одного случая для протеста против тюремщиков, мы отстаивали свои гражданские права и человеческое достоинство как могли. Опытные тюремные администраторы, зная готовность революционеров защищать свои права даже ценой жизни, избегали слишком острых конфликтов и громких скандалов в тюрьме, ибо частые «скандалы» не всегда благоприятствовали и их собственной служебной карьере. Но все же конфликты в крайне нервной тюремной обстановке назревали иной раз совершенно стихийно и по маловажным поводам. Например, кто-либо из особо рьяных надзирателей потащит кого-нибудь из нас за перестукивание в карцер. Узнав об этом, вся тюрьма подымает неимоверный стук, требуя, чтобы всех стучавших, если это преступление, тащили туда же. Но карцеров не хватает. И протестантов вместо карцера лишают огульно

свиданий и передач. Это волнует не только самих заключенных, но и близких им людей на воле. В прокуратуру направляются сотни жалоб и протестов с требованиями расследовать действия тюремной администрации. В тюрьме появляется прокурорский надзор, с которым мы вступаем в горячие словесные схватки по разным поводам. А таких поводов всегда находилось немало. Выплывали попутно на свет божий и разные грешки тюремной администрации по части так называемых безгрешных ее доходов, скажем за счет питания заключенных червивым мясом и гнилыми овощами. И вообще заваривалась каша.

Из личного опыта в этой области, впрочем, вспоминаю немного. Первым поводом для протеста с моей стороны явилось слишком медленное прохождение нашего «дела» по инстанциям. Только за охранным отделением оно числилось несколько месяцев. А между тем в этой инстанции никому не разрешались свидания, и вообще требовался сугубо суровый одиночный режим. Воспользовавшись первым же посещением тюрьмы прокуратурой, обходившей наши одиночки с опросом «претензий» заключенных, я заявил протест в такой примерно форме:

— Вот несколько месяцев я сижу здесь, как и многие другие, лишенный свободы без предъявления каких-либо обвинений и без допроса, что является, как вам известно, вопиющим беззаконием даже с точки зрения российского законодательства. И если вы действительно стоите на страже закона, то ваш служебный долг немедленно нас освободить, предав суду виновников противозаконного содержания нас здесь под стражей вне всяких установленных для этого сроков.

Соблюдая хотя бы декорум законности, блюстители закона ничего не могли возразить на это. Старший из посетителей только недовольно морщился, а младший поспешил меня «успокоить»:

— Не беспокойтесь, пожалуйста. В ближайшие дни Ваше дело будет передано из охранного отделения в жандармское управление и Вас немедленно допросят.

На большее я, впрочем, и не рассчитывал. Через несколько дней наше дело действительно перешло из охранки в следующую стадию жандармского дознания. И я, по-видимому, один из первых прикатил в карете в сопровождении двух церберов на допрос в жандармское управление. «Коль студент катит в карете, ефто значит — под арест», вспоминалась мне популярная российская частушка. И я тотчас же решил расширить это житейское наблюдение новым вариантом:

Коль студент катит в карете,
Значит едет на допрос,
Приготовившись в ответе
Натянуть жандармам нос.

На этот раз в отличие от той глубокой зимней ночи, когда меня впервые, засадив в карету, тащили в тюрьму, сияло солнце и весна была уже в полном разгаре. Много бодрее было и на душе в предчувствии очередной схватки с врагом. И, радостно приветствуя сквозь завешанные стекла кареты любимый город, которого я так давно не видел из тюремного колодца, я весело насвистывал перед носом церберов боевой мотив «Варшавянки». Очутившись перед лицом бравого жандармского ротмистра, я надеялся, наконец, ознакомиться с материалами обвинения по своему делу. Но ротмистр и сам еще, по-видимому, не успел ознакомиться с ними как следует. Перед ним лежало обстоятельное досье агентурных сведений, полученных из охранки, и он то и дело в него заглядывал. Пригласив меня весьма любезно присесть, он предложил папиросу и как будто слегка огорчился моим отказом. Затем, заполнив лежавший перед ним формуляр обычными

анкетными обо мне сведениями, снова углубился в изучение своего досье.

Не знаю, входило ли это в расчеты жандармского Шерлока Холмса, но, сидя у того же стола визави ротмистра, я тоже мог кое-что извлечь из того же досье. В частности, я узрел зашифрованную кем-то из нашей братии запись адресов — с подстрочной их *расшифровкой*. Адреса, как я успел сообразить, были дешевой добычей охранки, так как это были только адреса проходных дворов, в которых никто из революционеров не проживал. Но раскрытие нашего шифра и само по себе было ударом. И, может быть, именно в расчете на этот удар бравый ротмистр столь откровенно и раскрывал перед моими глазами свои карты.

Извлекая тем временем из досье одну фотографию за другой, ротмистр внимательно их рассматривал с лица и с изнанки, где написаны были фамилии арестованных, и, показывая некоторые из них, как бы мимоходом спрашивал меня:

— Вы не узнаете это лицо?

Лица были достаточно знакомы, хотя тюремные фотографы изрядно их исказили. Но я неизменно отвечал: «*Затрудняюсь* узнать» или «*не могу* признать, хотя подобное лицо я уже видел в стенах Дома предварительного заключения».

— А не лучше ли было бы Вам вместо «не могу» сказать «*не хочу* признать...»? — попытался было съязвить ротмистр.

— А не лучше ли было бы Вам,— ответил я ему в тон,— не простирая своей любознательности слишком далеко, предоставить мне самому формулировать свои мысли?

Наконец, мне показана была еще одна фотография. На меня смотрело какое-то искаженное гримасой зубной боли, с большим флюсом на правой щеке идиотское лицо. Я никогда не видел такого. Но именно поэтому, чувствуя какой-то подвох, я на всякий случай заметил:

— Вот это как будто очень знакомое лицо, только не могу вспомнить, где я его видел.

С лукавой улыбкой ротмистр повернул перед моим лицом это фото изнанкой, и я прочел собственную фамилию. Только тут я вспомнил, что, отнюдь не желая содействовать розыскным задачам охранки, я нарочно, засунув язык за щеку, изобразил на своем лице эту идиотскую гримасу во время съемки. Вероятно, и другие заключенные перед объективом тюремного фотографа пользовались аналогичными приемами. И потому совсем не случайно многие симпатичнейшие революционеры на полицейских фото — en face и в профиль, с казенной печатью — выглядят столь мрачными каторжниками. Но в моем случае несходство снимка с оригиналом было исключительное, и, пользуясь этим, я только заметил жандарму:

— Вот видите сами, чего стоит Ваша агентура и ее работа, когда в ее показаниях даже на фото сам себя не узнаешь. Однако,— добавил я тут же, заметив вошедшего в кабинет представителя прокуратуры, уже знакомого мне по недавней встрече в тюрьме,— однако не пора ли нам от приватной беседы перейти к официальной программе сегодняшней нашей встречи? Вы обязаны по закону предъявить мне обвинение, по которому я подвергнут лишению свободы. Благоволите же выполнить и без того сильно просроченный служебный Ваш долг.

— Не по моей вине, не по моей вине,— затараторил было ротмистр, взирая на прокурора, а затем, обратившись ко мне, заявил сугубо официальным тоном:

— Вы обвиняетесь в принадлежности к преступному сообществу, именующемуся «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», и в опасной противоправительственной деятельности в рядах этого сообщества.

— А нельзя ли поконкретнее? Чем именно подтверждается моя принадлежность к этому сообществу и в каких именно фактах выразилась моя деятельность в нем? Вот что Вы должны бы мне сказать, если Вы уже успели ознакомиться с перелистываемым Вами досье и если там действительно имеются такие факты.

— О, насчет фактов не извольте беспокоиться,— встрепенулся развязный ротмистр,— их больше, чем требуется для того, чтобы упечь Вас на каторгу... И поверьте, у Вас остается единственное средство смягчить угрожающую Вам тяжкую участь. Это — раскаяние и чистосердечное признание во всех Ваших преступных деяниях.

— Весьма признателен Вам за Ваши заботы о моей участи, хотя я не просил Вас о них,— был мой ответ.— Обещаю Вам, что если судьба поменяет нас ролями, то и я позабочусь о Вашей участи в том же стиле. Чистосердечно признаться я могу только в одном, что ничего предосудительного в своей деятельности я не усматриваю и потому готов и впредь продолжать ее в том же направлении. Раскаиваться мне, стало быть, не в чем. И так как наш обмен мнениями на сей счет можно считать окончательно исчерпанным, то благоволите отправить меня обратно в свою камеру.

— Прекрасно, отправляйтесь, я Вас не задерживаю...— расшаркался с преувеличенной галантностью жандарм.— Вам предоставлено будет достаточно досуга для размышлений на предложенную мною тему,— злорадствовал он.— Если пожелаете, вернемся к ней и в другой раз.

— Спасибо на добром слове,— ответил я, правильно расценивая его угрозу длительной отсидкой.— Не премину использовать весь свой досуг наилучшим образом. Прощайте!

Это была первая и последняя с ним встреча. Улик по делу, по-видимому, было маловато, чтобы добиться сурового приговора, но, затягивая дознание, можно было заставить нас отсидеть в тюрьме и без приговора неопределенно длительный срок. И ротмистр избрал против меня именно этот метод воздействия. Проходил месяц за месяцем. Нас не беспокоили допросами, но и не направляли в ссылку. Правда, тюремный режим несколько улучшился. Разрешены были свидания. У меня не было в столице родных. Но товарищи всегда в таких случаях находили революционно настроенных курсисток, готовых объявить себя вашей «невестой» и, добившись под этим флагом свиданий, регулярно навещать вас раза два в неделю. Нашлась и для меня добрая душа на роль такой фиктивной невесты в лице милой медички Анны Ивановны Гудковой. Большое ей спасибо за это. Свидания давались через решетку и в присутствии соглядатая. Но все же мы видели перед собой одухотворенные сочувствующие глаза и лица, получали от них и живые ароматные цветы, и бодрящие весточки с воли. Все это было очень приятно, но тюрьма оставалась тюрьмой. И, когда миновал уже целый год сиденья в тюрьме, наше терпение стало истощаться. Мы знали, что в Шлиссельбурге революционеры отсиживали и по 30 лет, не имея другого выбора. Однако из нужды не следует делать добродетели. Наше положение было иное. Нас торопили на волю зовы борьбы, и мы готовы были на многое, чтобы покончить с неволей. Кто-то предложил объявить голодовку с требованием немедленного освобождения или высылки до объявления приговора. Такие высылки практиковались нередко. Дела, подобные нашему, разрешались обычно в три-четыре месяца. И мы имели некоторые шансы на успех протеста против чрезмерного затягивания ротмистром весьма элементарного дознания.

Сказано — сделано. Я перед этим как раз прочитал книгу Гамсуна «Голод», и мне, кстати, хотелось на собственном опыте проверить наблюдения этого писателя. Мы вызвали начальника тюрьмы и объявили

голодовку. Зная заранее, что испытание предстоит очень серьезное и что никто из тюремных заправил не забеспокоится, до тех пор пока кто-нибудь из нас не окажется на краю гибели, я решил ускорить дело отказом не только от пищи, но и от хотя бы одного глотка воды на все время голодовки. Никаких мучений голода, вопреки ярким описаниям их у Гамсуна, я не испытывал. Пососало только слегка под ложечкой в первый день голодовки, а затем, кроме возрастающей слабости, я ничего не мог отметить в своем сознании.

По закону Вебера — Фехнера наши ощущения возрастают пропорционально *логарифму* раздражения. Очевидно, этот закон применим и к ощущению голода. Воздерживаясь от пищи в течение известного времени, мы испытываем первое ощущение голода только часа через четыре после насыщения. Чтобы усилить это легчайшее ощущение только *вдвое,* нужно, стало быть, увеличить раздражение *вчетверо,* до 16 часов голодания, для следующего удвоения чувства голода потребуется уже 16^2— 256 часов, т. е. свыше 10 суток, и т. д. Приращения ощущения голода, таким образом, с каждым часов ослабевая, уже на вторые сутки — подобно движению часовой стрелки — становятся неприметными, да и самое чувство голода с утомлением соответствующих нервных центров и передающих путей все более *притупляется.*

Нужно сказать, что и много позже, в 1919 г., когда население Петрограда, питаясь осьмушкой фунта хлеба в сутки, подверглось массовой дистрофии, я не раз видел, как люди падали без единого стона на мостовую и не вставали или мирно засыпали в постелях и не просыпались. Царь-голод милостив к своим жертвам. Но зато я уже на пятые сутки голодовки был похож на заживо засушенную египетскую мумию и лежал без движения в постели. Это произвело некоторый эффект. Забе́гали врачи и тюремщики. Объявили, что нас направляют на высылку, и, действительно, человек пять, наиболее истощенных, в тот же день перевезли в Пересыльную тюрьму. Но, как только мы здесь по совету врача прекратили голодовку, чтобы подкрепиться для этапного путешествия, через неделю выяснилось, что нас просто-напросто обманули, ибо никаких директив о нашей дальнейшей судьбе начальник Пересыльной тюрьмы не имеет. Пришлось снова возобновить голодовку, в результате которой я уже за *трое* суток вернулся к такому же состоянию, в каком в «Предварилке» оказался после пяти.

Тогда меня срочно перевезли в тюремную больницу Выборгской тюрьмы, пригрозив в случае продолжения голодовки применить искусственное питание. А я обещал, что в случае малейшего насилия я, не прибегая к голодовке, попросту вскрою себе вены. И, конечно, я готов был сделать это в любой момент. Такой исход, однако, не входил, по-видимому, в расчеты тюремщиков. У всех еще на памяти был громкий «скандал» в связи со смертью Ветровой и вызванная ею демонстрация. И по моему адресу вышло «милостивое» решение — выслать до приговора в Вологодскую губернию.

Я лежал в общей палате вместе с полдюжиной выздоравливающих уголовных. При них невозможно было бы учинить надо мной какое-либо насилие без огласки и последующего скандала. Но тем больший эффект произвела в этой среде моя маленькая победа. Теперь, поправляясь от голодания в ожидании высылки, я пользовался у уголовных полным доверием и авторитетом. И они охотно развлекали меня своими рассказами.

Были тут среди них и рядовой босяк — «стрелок» из так называемых спиридонов-солнцеворотов, и воры разных квалификаций, и совсем уже высококвалифицированный мастер «аферы». Затесался меж них как-то влипший по пьяному делу и рабочий-мастеровой. Воры учили меня блатному языку, доверяя все секреты своей профессии. Я пытался

понемножку просвещать их насчет политики. И все были довольны друг другом.

Просвещенный насчет разных воровских специальностей — стрелков, ширмушников (по карманной части), домушников (из дому) и «купцов» — аферистов более высокой марки, я попутно узнал, что «ширмами» именуются внешние боковые карманы, за «скулой» — внутренние, пистоны — это жилетные кармашки, «купить боченки» — значит стащить часы, цепочка зовется «паутинкой», кошелек — «шмелем», возглас «два с боку» — берегись, полиция! и т. д.

Снабжали меня соседи по камере и полезными медицинскими рецептами. Босяк Спиридонович объяснил секрет, как он умудряется даже лютой зимой, в трескучий мороз *босиком* вытанцовывать у жалостливых барынек пятачок на косушку.

— Дак что ж поделаешь,— жаловался он,— коли в обувках-то их ничем не проймешь. И полушки Христа ради на хлеб не подадут. А вот босиком на морозе попрыгаешь, так и на хлеб и на косушку с жалости отвалят... Косушкой-то телеса в шубе на рыбьем меху согреешь, да и на горчицу еще останется...

— На какую еще горчицу?

— А знамо, на какую... для смазки ног, чтоб не мерзли. Это секрет нехитрый... с горчицей-то ногам жарчее, чем в сапогах. Только вот ревматизму с ней скоро наживешь,— объяснил босяк, поглаживая изуродованные суставным ревматизмом конечности.

— А почему вашу братью «солнцеворотами» прозывают?

— Да ведь как же...— отвечал босяк.— Каждый человек по-своему должон кормиться. Кто — рукомеслом, кто — головой, а мы вот, по-босяцки,— больше ногами. В столице нам и христовым именем промышлять не дозволяется... в два счета обратают — и по этапу на высылку, как и вашего брата за политику, только в «места, не столь отдаленные», скажем в Лодейное Поле. А нашему брату там делать нечего. Вот, глядишь, через неделю пешим ходом, как солнышко с зимы на лето,— и заворотишь снова в два счета в столицу. Там тебя сразу сцапают и снова по этапу — в Вытегру. А мы оттуда, опять-таки без промедления, пешеходом обратно. И так и маячишь вокруг столицы. В «Пересыльной» кормят, на этапах — тоже, да еще кажинный раз казенные сапожишки и прочее обмундирование дают. Продашь их, хоть и за грош, а все же на обратную дорогу хлебцем запасешься. Так вот и кормимся — *ногами.*

В отличие от босяка гораздо более просвещенный «аферист» из Одессы кормился, судя по его рассказам, исключительно *головой.* Свою профессию он считал «чистой» и даже благородной, так как никогда не покушался на скудное достояние честных людей. И действительно, его «аферы» по самому их замыслу могли привлекать и настигать только наиболее жадных и наименее брезгливых корыстолюбцев из числа охотников на чужое добро. Это была тонкая психологическая наука. И одессит в качестве профессора новой для меня дисциплины преподал нам целую серию испытанных им блестящих «афер» — с фальшивыми кредитками, с «золотым» песочком, с «драгоценными» камнями, с мнимым кладом, с «потерей» кошелька в виде приманки и т. д. В качестве примера приведу лишь одну. Наметив себе подходящую жертву, аферист предлагал ей выгодную сделку: «купить» через его посредничество по пятачку за рубль большую серию прекрасно сфабрикованных кредиток. В качестве образца подсовывалась настоящая кредитка. Покупатель клевал на удочку. Ему назначалось время и место для сделки, и в последний момент, получив деньги и подсунув ему вместо кредиток сверток цветных бумажек, аферист поднимал ложную тревогу: «спасайтесь, полиция!..», и все разбегались. Обману-

гый таким образом не смел кому-либо пожаловаться. И впрямь, кому пожалуешься, что не удалось смошенничать? Таким образом, безошибочно спекулируя на человеческой жадности и тому подобных пороках, наш «аферист», выступая в роли карающей Немезиды хищничества, в то же время основательно штрафовал эти пороки в свою пользу и неплохо «кормился» приносимой ими золотой рентой.

Правда, все те «полезнейшие» достижения блатной криминальной науки, которыми здесь напоследок снабдила меня тюрьма, к счастью, не пригодились в жизни. Но послушать о них было занятно. Занятнее всего, однако, показался мне красочный рассказ рабочего-торфяника о том, как он совершенно для себя неожиданно попал в нашу тюремную компанию. Вот этот рассказ почти в стенографической точности: торфяники гуляют. Попадают в лапы полиции. Их немилосердно избивают. Трещат скулы и ребра. «Почем забиваешь гвозди-то?» — осведомляется с юмором висельника наш герой. Затем он теряет сознание и вновь приходит в себя уж на кладбище, в чьей-то могиле — «под памятником». Удивляется. «Вот тебе фунт!.. да никак я уж умер»... Лезет в карман и нащупывает кисет с табаком. «Эге! — соображает вслух,— значит, жив еще, коли кисет тут». Отправляется в другой карман — за спичками. Не находит, но не унывает. «Нет, должно быть, жив еще. Коли б спички были, так и закурил бы ведь». Рассветает. Наш герой вылезает из ямы, в которую ночью попал в беспамятстве, и идет разыскивать своих друзей. «Не видал, где тут наши торфяники?» — спрашивает у городового. «Да вот они здесь гуляют»,— указывает на кутузку коварный городовой. «Здеся наши, что ль?» — вламывается он туда без разговоров. «Здесь, здесь, тебя только недоставало»...— хлопают его по загривку и гостеприимно припирают. А назавтра, недосчитавшись нескольких ребер по вытрезвлении, он уже оказался в тюремной больнице. «Вот и вся недолга!» — закончил он свою эпопею.

В таком «избранном» обществе я весело провел, оправляясь от голодовки, свои последние дни в тюремной больнице. 22 февраля 1902 г. я уехал уже в Вологду, препровождаемый туда «в одиночном порядке» (с провожатым) выжидать запоздавший приговор.

9. ОТ ВОЛОГДЫ ДО ПАРИЖА

В Вологде я нашел весьма многолюдную колонию политических ссыльных. Там был блестящий партийный трибун Анатолий Васильевич Луначарский, один из организаторов и участников первого съезда РСДРП — П. Л. Тучапский, видный большевик И. А. Саммер. Отбывали ссылку историк декабристов П. Е. Щеголев, известный философ и экономист А. А. Богданов (Малиновский), философ-идеалист Н. А. Бердяев, а также будущий лидер эсеров Савинков. Интересную фигуру представлял собой также будущий писатель А. И. Ремезов. Целый выводок крупных статистиков из бывших и сущих ссыльных ютился и в вологодской земской статистике, во главе которой стоял П. П. Румянцев. Его ближайшими помощниками были С. А. Суворов, П. И. Фомин, О. А. Квиткин, Я. Бляхер, Я. В. Принцев и др.

Нуждаясь в заработке, и я с первых же дней пребывания в Вологде нашел работу счетчика в статистическом бюро у Румянцева.

Быстро перезнакомившись с товарищами по ссылке, я охотно в свободные часы искал их общества, с интересом слушал горячие дебаты, то и дело возникавшие по разным поводам в этой среде, и сам изредка принимал в них участие. У Веры Глебовны Успенской почти всегда можно было встретить П. Е. Щеголева, Ремезова и еще двух-трех членов колонии. Часто обсуждались тут литературные новинки

А. М. Горького, Л. Андреева и других художников слова. Иногда вспыхивали и философские схватки с Бердяевым, все глубже сползавшим с позиций марксизма в пучины «неометафизики». В этих спорах, нашедших отражение и в тогдашней печати[1], талантливый Бердяев нередко полемизировал с блеском и подъемом, но его красивое нервное лицо все чаще искажалось при этом пугающими гримасами тика. За него становилось жутко и больно. И спор угасал сам собою. Не раз к нам приезжали гости со свежими столичными и заграничными новостями. Плотно закупоренный на целых тринадцать месяцев как в консервной банке в стенах тюрьмы, я не знал и многих давно уже устаревших новостей. Так, например, я только слышал в тюрьме о выходе в свет еще с декабря 1900 г. первых номеров ленинской «Искры» и журнала «Заря» (с 1901 г.), но не видел еще ни одного номера этих замечательных изданий. Об издании в январе 1901 г. «Революционной России» — органа вновь образованной «Партии социалистов-революционеров» — я до выхода из тюрьмы и не слыхивал. А здесь, в Вологде, мы не только получали все подобные издания, но и авансом узнавали о подготовляемых к выпуску новых. Например, об «Освобождении» П. Струве — заграничном органе русских либералов,— появившемся впервые не раньше июня 1902 г., в Вологде было известно уже в апреле.

Особое внимание Савинкова, еще по старой памяти называвшего себя социал-демократом, привлекали вести о возрождающихся в революционных кругах России террористических настроениях. Промышленный кризис 900-х годов не только оплодотворил массовое рабочее движение новыми формами *политической* борьбы. Вместе с тем, обостряя политические настроения и радикальной интеллигенции, он толкал отдельных, наиболее оторванных от масс ее представителей и на такие острые формы политической борьбы, как индивидуальный террор. Таким индивидуальным актом был, несомненно, и выстрел П. В. Карповича 14 февраля 1901 г. в министра народного просвещения Боголепова, сдававшего студентов целыми сотнями в солдаты, и, повидимому, также выстрел С. В. Балмашева 2 апреля 1902 г. в министра внутренних дел Сипягина. И Карпович и 20-летний юноша Балмашев были сами участниками студенческих волнений и жертвами последовавших за ними репрессий. Эти акты возмездия за поруганные права и человеческое достоинство многих были встречены с огромным сочувствием не только в рядах студенчества, но и в широких кругах так называемого либерального общества. Но это была неорганизованная борьба. И Савинков в суждениях об этих актах в узком кругу собеседников все решительнее склонялся к мысли о необходимости и своевременности организационного оформления данной формы борьбы. Очень характерно, кстати сказать, что активное сочувствие террору Савинков (впоследствии ярый контрреволюционер) в ту пору совмещал с одновременным преклонением перед учением Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием, которое он трактовал как высочайшую мораль будущего.

С этой его позицией я никак не мог согласиться. Рано или поздно, думалось мне, мы ведь упраздним-таки действующую ныне систему господствующего насилия. И тогда при отсутствии такого зла мораль непротивления ему станет беспредметной. Мораль Толстого в своем требовании не противопоставлять злой силе равное ей зло в виде ответного насилия предполагала господствовавшую тогда систему общественных отношений. Это не мораль будущего, а мораль навеки прими-

---

[1] См. коллективный сборник «Проблемы идеализма» и такой же коллективный ответ на него в «Очерках реалистического мировоззрения».

рившегося со своей участью безропотного раба. И восхвалять эту рабью мораль революционеру не пристало. Что же касается террора, то, отнюдь и от него не зарекаясь принципиально, я все же не склонен был особенно переоценивать его роль в революционном движении. Прежде всего мне было ясно, что при самой высокой оценке индивидуальных актов, подобных героическим выступлениям Карповича и Балмашева, они в арсенале средств борьбы *партии пролетариата* не могут идти ни в какое сравнение с такими гораздо более ей свойственными и действенными методами борьбы классов, как, скажем, всеобщая стачка, завершающаяся вооруженными восстаниями. А между тем, признав за террором хотя бы серьезное подсобное значение, его пришлось бы серьезно организовать, создав наряду с общими массовыми организациями партии и специальные боевые ячейки террористов. Рискуя головой, и уже поэтому окруженные ореолом героизма, они, несомненно, отвлекали бы от *важнейшей,* хотя и менее показной, работы в массах не малые и, может быть, даже лучшие силы.

Но допустим, что и такое отвлечение окупилось бы результатами. Меня смущало другое. Я сильно сомневался, приемлемо ли вообще для демократической партии такое своеобразное разделение труда, по которому избранная кучка «героев» в повседневных боях жертвует своими головами, в то время как рядовая «толпа» их соратников, загруженная мирной работой, восхищенно приемлет эти жертвы. Правда, такая концепция вполне гармонировала с представлениями народнической «субъективной социологии» о роли «героев и толпы». Но мне она казалась оскорбительной для демократических чувств всего рядового состава партии. А вместе с тем лично я и по моральным основаниям едва ли смог бы спокойно отдаться «мирной» работе, зная, что рядом со мной мои товарищи по партии, занимая гораздо более опасные боевые позиции, повседневно рискуют не только свободой, но и собственной головой. Это было бы, на мой взгляд, не по-товарищески. Между тем подобные настроения явно угрожали бы основным задачам массовой партийной работы.

Презрев все эти опасности и отдавшись вскоре целиком террористической деятельности в роли основного режиссера всех «подвигов» боевой организации партии эсеров, Савинков наткнулся еще на одну и, может быть, самую горькую опасность, став слепой игрушкой вместе со всей своей организацией в руках подлейшего авантюриста-провокатора. В наших вологодских беседах, впрочем, эта опасность не предусматривалась. Хотя поводом для этого и могло бы послужить одно дело, всех нас близко коснувшееся.

В Вологду прибыл в качестве ссыльного некто Рума, бывший член Московской партийной организации, заподозренный товарищами в предательстве и провокации. Некоторые сведения мог о нем дать ссыльный Русанов, тоже бывший член той же организации. Но его показания были весьма неопределенны. Сам Рума настаивал на товарищеском разборе своего дела, для чего в конце концов колония выделила специальную комиссию, включив в число ее членов и меня. Из показаний самого Рума выяснилась такая картина его грехопадения. Начальник московской охранки Зубатов, очень широко пользовавшийся системой провокации, предлагал чуть ли не поголовно всем арестованным революционерам включиться в его агентуру. Такое предложение получил и Рума. На категорический отказ Зубатов ответил предложением «подумать» и заверением, что он не потребует от Рума никаких сведений о лицах и вообще ничего компрометирующего кого-либо из его товарищей по работе, ему нужна информация лишь об «идейных» течениях и настроениях в рабочей среде организации. По словам Рума, он после долгих колебаний признал эти условия для себя приемлемы-

ми в надежде, что и он от Зубатова сумеет выудить информацию, полезную для рабочего движения. В дни «Народной воли» бывали примеры самоотверженной службы революции мнимых агентов полиции, подобных Клеточникову. Но Клеточников взял на себя эту роль с ведома партии. Рума, находясь в условиях строгой изоляции, принял свое решение на собственный страх и риск. Получив этой ценой свободу и даже грошовую денежную мзду авансом, от которой не посмел отказаться, чтобы не возбудить подозрений Зубатова, Рума после нескольких бесплодных с ним свиданий понял, однако, свою ошибку и порвал всякие сношения с охранкой. А Зубатов в отместку, выслав его в Вологду, позаботился и о том, чтобы обеспечить за ним репутацию провокатора.

Трудно было нам проверить точность этих, по-видимому, весьма чистосердечных признаний Рума, хотя они были вполне правдоподобны и чрезвычайно поучительны. Осудив совершенно непозволительные при любых условиях действия Рума и потребовав от него безусловного отказа от какого-либо дальнейшего участия в революционной деятельности, мы вместе с тем пришли к выводу, что лучшим противоядием против подобных трюков охранки была бы тактика общего отказа заключенных от всяких показаний и собеседований с жандармами и даже отказа от поездок к ним на допросы. И нужно сказать, что эта тактика с дальнейшим подъемом движения действительно становилась все более распространенной.

По сравнению с Усть-Сысольском, куда я должен был отбыть по получении приговора, Вологда была весьма оживленным культурным центром. Интересные люди и встречи незаметно отвлекали меня здесь от помыслов о завтрашнем дне и планов серьезной работы. Порядочно отвлекали от них и мои повседневные, притом довольно нудные, упражнения в счете на арифмометре и тому подобных приборах, хотя эта практика и пригодилась впоследствии. По вечерам я навещал кого-либо из ссыльных и мы обменивались мнениями о злобах дня. Иной раз они знакомили меня с вологодскими старожилами, среди которых попадались еще даже богатырского склада женщины, хаживавшие не раз с рогатиной в одиночку на медведя. Иногда я внимал жалобам чудаковатого Ремезова на Максима Горького, не одобрившего художественных опытов этого декадента. А сам Ремезов тем временем с неподражаемым каллиграфическим искусством отображал на изготовляемых им тут же визитных карточках индивидуальный «характер» своих слушателей. Карточки получались очень изящные, а характер в своеобразном начертании имен и фамилий каждого из нас — порой весьма причудливым и оригинальным. Помнится, что мой «характер» был изображен чрезвычайно прямолинейно-остроугольными чертами.

Много чаще, однако, я проводил вечера дома за коллективным чтением новинок литературы, которые нам обычно доставляла очень славная девушка, переводчица польской литературы, Броновицкая, или на реке — в благоприобретенном мною ялике с провоцирующим наименованием на борту — «Красотка». Когда я катал на нем вечерком юных девушек и со встречных лодок наш ялик приветствовали возгласами: «Красотка, красотка!..», мои девушки, неизменно принимая эти возгласы на свой счет, краснели, как мак, и конфузились до слез. Обычный наш спутник в таких прогулках старый холостяк Яша Принцев указывал иногда девицам на подводившую их надпись на борту ялика и бойко запевал на популярный мотив из оперы «Снегурочка»:

— Девки глупые, с ума вы, што ль, сбрели!..

А девушки, оправившись от смущения, отвечали ему в отместку другим, не менее популярным напевом:

Понапрасну, Яша, ходишь,
Понапрасну ножки бьешь.
Ничего ты не получишь —
Дураком домой пойдешь.

Одним словом, житье наше в Вологде было привольное. Но я совсем не собирался долго здесь засиживаться. Списавшись с товарищами, я только ждал присылки обещанного паспорта, адресов и явок, чтобы немедленно испариться из этих привольных палестин и вернуться к прежней подпольной работе. Ждать, однако, пришлось долгонько. Только в конце июня меня навестили здесь долгожданные земляки. Сначала Ваня Щеглов, доставивший нужные адреса и явки, но, увы, без паспорта, а затем еще более желанная гостья — Соня Голощапова, та самая, которой мне никак не удавалось когда-то сказать толком «милая!..», но с которой меня уже много лет связывали незримые цепи взаимного тяготения, неизмеримо более сильного, чем тяготение небесных тел по закону Ньютона, хотя и вполне земного. На этот раз мы поняли друг друга и без слов. И хотя она через пару дней покинула меня еще раз, но только затем, чтобы скоро стать уже неразлучным спутником моих скитаний на всю жизнь.

С отъездом этих друзей мне уже нечего было делать в Вологде. Откланявшись кому надлежало перед отъездом, захватив с собой для подпольной печати нелегальную брошюру Малиновского[1] и еще кое-что, я уже 8 июня 1902 г. без всяких приключений бесследно улетучился из Вологды. По «приговору», которого я так и не дождался, мне надлежало отбыть здесь, как выяснилось позже, всего 3 года. Приговор — легкий. Но мне никогда не пришлось жалеть о том, что я сократил его на пять шестых.

Добравшись из Вологды в Петербург, я был полон надежд сразу войти в работу. Но меня ожидало большое разочарование. Большинство данных адресов после очередного провала оказалось недействительными. Снабдить меня паспортом и здесь никто не мог, а без паспорта в столице невозможно было прожить и трех дней. Мне посоветовали уехать на время за границу, где и поучиться можно было многому, да и паспорт надежный для подпольной работы раздобыть было легче. Иного выбора не было. Путешествие представлялось к тому же весьма заманчивым. Неведомое всегда заманчивее изведанного. Манила и сама заграница и возможность встреч с такими вождями движения, как Плеханов, Ленин и др. Деньжонок на дорогу за полгода службы в статистике я сэкономил немного. И потому, получив необходимые инструкции и кое-какие партийные поручения за границу, я без особых раздумий отправился в путь.

Маршрут за отсутствием связей на западной границе пришлось избрать весьма необычный — через Архангельск. По дороге ко мне присоединился примерно по тем же соображениям еще один беглец из ссылки — наш земляк Е. М. Тарасов. Прибыв в Архангельск, мы узнали, что ближайший пароход в Норвегию отправится только через неделю и что за отсутствием паспорта нам всего безопаснее провести эту неделю, съездив на «богомолье» в Соловецкий монастырь. И мы воспользовались этим советом. У монахов было два собственных парохода — «Зосима» и «Савватий» — и огромное монастырское хозяйство на острове, требующее много рабочих рук. Пароходы регулярно доставляли в Соловки сотни богомольцев, которых там охотно кормили и поили без всякой прописки в монастырской гостинице, довольствуясь лишь добровольными их даяньями в монастырскую кружку, да еще

[1] Опубликована за границей под названием «Рядовой. Солдатская памятка».

тем, что наиболее молодые из богомольцев неизменно получали от святых отцов на исповеди одно и то же «послушание»: потрудиться, глядя по грехам в течение того или иного срока — разумеется, тоже безвозмездно — в монастырском хозяйстве. Не чувствуя за собой особых прегрешений, мы с Евгением, однако, не пошли к святым отцам за «послушанием» и провели в этой тихой обители несколько дней отдыха в самом лирическом безделии. Мы бесцельно бродили по пустынным берегам острова, любуясь по утрам его волшебно-туманными очертаниями. Днем мы неоднократно купались в Белом море в причудливом окружении узорчато-призрачных медуз или кормили на берегу прямо из рук до наглости здесь смелых и без меры прожорливых морских чаек. Было любо смотреть, с какой грацией, ловкостью и молниеносной быстротой эти крикливые прожоры подхватывали в любом направлении брошенный им кусок хлеба. Мой Евгений подолгу молчаливо мечтал в единении с дикой природой острова, а я, изловив какого-нибудь обленившегося монаха, пытался познать, чем живет и дышит этот оригинальный хозяйственный коллектив. Так незаметно пролетела неделя, и мы снова очутились в Архангельске.

Выехать отсюда за границу не только без заграничного, но и вообще без всякого паспорта оказалось проще пареной репы. Мы сели на пароход, заплатив за проезд до Печенги, последнего порта в границах русских владений. А в Печенге, не сходя с парохода, взяли билеты до Варде в Норвегию. Решительно никто не поинтересовался нашими паспортами. Погода нам благоприятствовала. Солнце сияло. И мы с Евгением в качестве самых дешевых, палубных пассажиров получили редкую возможность даже в 12 часов ночи — без всякого искусственного освещения, пользуясь только солнечным светом — коротать время на высоте Нордкапа хоть на всю ночь за шахматами. В Варде, малюсеньком городишке, насквозь провонявшем тухлой рыбой, мы пересели на другой пароход, направлявшийся в Гамбург. Наш пароход, огибая всю Норвегию, заходил во все крупные порты, пробираясь по живописнейшим шхерам и фиордам. Заходя в Тромсе, Тронхейм, Берген, мы с интересом наблюдали своеобразную архитектуру этих городов с живейшими следами средневековья. Голубое небо, отраженное в зеркале вод глубоких фиордов, изумрудная зелень берегов с белой пеной прибоя на сером фоне окружающих скалистых громад. И все это играет на солнце всей гаммой своих красок. Нас поражала несвойственная среднерусскому «левитановскому» пейзажу яркость этих красок. В немецком море, однако, погода резко ухудшилась, и нас сильно потрепало не только бортовой, но и килевой качкой. В Гамбурге мы пересели с парохода на поезд и, доехав до Штутгарта, сделали здесь первую остановку.

В Штутгарт нам была дана явка в так называемый заграничный «Красный Крест», опекавший беглецов из России. Представителем его в Штутгарте оказалась неожиданно для нас жена Петра Струве, который недавно поселился здесь в качестве редактора издававшегося у Дитца «Освобождения». Внезапное превращение недавнего автора партийного манифеста РСДРП в литературного барда пошлого российского либерализма не могло обеспечить особой привлекательности наших с ним встреч. Но избегать их тоже не было особых оснований, тем более, что П. Б. Струве не прочь был использовать наши услуги для приведения в порядок своей большой библиотеки, а наша тощая касса не позволяла нам отказываться даже от самого скудного заработка. Работа была нелегкая. Нужно было распаковать прочно сбитые гвоздями деревянные ящики с книгами, перетащить несколько тысяч томов из подвала в квартиру и разместить их там по указанной системе на полках. Работы хватило бы и на месяц, но, стремясь с ней поскорее

разделаться и уехать отсюда, мы вдвоем с Е. Тарасовым, трудясь с раннего утра до позднего вечера, как ишаки, справились с ней за неделю. Уплатил нам наш именитый соотечественник за работу по самой скромной *поденной* расценке чернорабочего. Но мы и не ждали большего и даже радовались, что ему ни разу не пришло в голову за эту неделю пригласить нас в порядке русского хлебосольства к столу или попоить хотя бы чашкой чаю. За границей это не принято. Ночевали мы в общежитии приютившего нас за гроши рабочего ферейна, кормились, ни у кого не одолжаясь, в дешевой харчевне. И это вполне нас устраивало.

Из Штутгарта мы отправились в один из крупнейших центров русской политической эмиграции — Женеву. Побывали там у Г. В. Плеханова. Запаслись новинками революционной печати. Но сразу выяснили, что больше делать нам здесь нечего. Партийных организаторов, с которыми можно бы договориться о возвращении в Россию на работу, мы здесь не нашли. Их надлежало искать в Лондоне или в Париже. Заработка нашему брату здесь тоже не предвиделось. И без нас тут голодных русских эмигрантов было слишком достаточно. Радужные представления о благах политической свободы демократии Запада начали быстро тускнеть и блекнуть. Приятно было, конечно, чувствовать себя свободными от назойливой полицейской опеки, но даже эта свобода в сочетании с безработицей и голодом теряла всю свою заманчивость. Нас порадовали было, что в Женеве даже сам шеф полиции — социал-демократ. Но мне лично показалось почему-то чудовищным такое совмещение профессий, хотя оно вполне отвечало духу швейцарской демократии мелких лавочников.

Учитывая нашу потребность в заработке, нам посоветовали сразу же перебраться в Париж. Однако, прибыв в столицу величайшей из буржуазных революций с ее лозунгами *свободы, равенства* и *братства,* я увидел здесь, к своему крайнему изумлению, эти вдохновляющие лозунги начертанными на стенах всех тюрем, казарм и полицейских *участков.* И должен признаться, что это сочетание показалось мне не менее отвратительным, чем швейцарские социал-демократы в ролях полицей-президентов.

Найти заработок в Париже мне удалось, впрочем, с первых же дней. Один из русских эмигрантов — Ю. Невзоров (Стеклов) порекомендовал меня в качестве наборщика во французскую типографию — для набора торговых реклам на славянских языках. Невзоров, сам выполнявший раньше эту работу в той же типографии, уверил, что это дело нехитрое. И действительно, я в несколько дней овладел новой профессией настолько, что мог прокормиться собственным заработком на сдельной работе, а через месяц-два зарабатывал уже 7—8 франков в день, не отставая от профессиональных наборщиков-французов. Набирал я одно и то же на русском, польском, чешском, сербском и болгарском языках, сам же выполняя роль корректора своего набора, и если не стал все же заправским славяноведом, то виню в этом лишь крайнюю бездарность и скудоумие рекламных текстов, подлежавших набору. Пришлось мне однажды принять участие и в одной забастовке рабочих данной типографии, в результате которой я заслужил лестную репутацию «воинствующего социалиста». Короткий рабочий день и нередкие перерывы в работе за отсутствием заказов позволяли мне заниматься и своими делами за пределами типографии.

Уже с первых дней пребывания в Париже я обежал немало его достопримечательностей. Обошел великолепные Большие Бульвары, Елисейские поля, Булонский лес, закончив этот первый беглый обзор видом Парижа с птичьего полета, или, говоря точнее, с высот воздушной башни Эйфеля на Марсовом поле. Подивился не раз мрачной

фантазии средневековья перед изумительной готикой Собора парижской богоматери, из освященных стен которого так и выпирают во все стороны скульптурные образы греховных химер и устрашающих демонов, как будто именно в этом святилище нашедших для себя наиболее надежный приют и убежище. На площади Бастилии и в Пантеоне моим воображением овладевали величавые тени Дантона, Робеспьера, Марата, перед Стеной коммунаров на кладбище Пер-Ляшез я низко склонял голову, отдавая честь их светлой памяти. В Лувре, воздавая должное классическому искусству, я подолгу простаивал перед шедеврами резца и кисти. Особенно внимательно присматривался к безукоризненным формам Венеры Милосской, вспоминая замечательный очерк Гл. Успенского «Выпрямила». Но должен признаться, что холодные черты богини красоты не затронули глубин моего сердца. И, в частности, сокровища новейшего европейского искусства в Люксембургском музее доставили мне гораздо больше эстетических эмоций. Всем этим удовольствиям, впрочем, удавалось отдавать лишь немногие часы между делом, ибо на первом плане у меня были другие интересы.

Я много читал по истории революционного движения, посещал все политические митинги и доклады, прослушал, в частности, целый цикл лекций В. И. Ленина по аграрному вопросу в «Вольной русской школе», организованной в Париже М. М. Ковалевским, перезнакомился с большинством проживавших здесь эмигрантов и пополнял свои книжные знания по истории революционного движения в России путем личного общения с его старейшими деятелями. Здесь было тогда немало представителей старшего поколения времен «Народной воли». Например, Н. С. Русанов, А. И. Рубанович, из более молодых М. Р. Гоц, известный разоблачитель провокаторов, а впоследствии ярый контрреволюционер В. Л. Бурцев, лидер эсеров В. М. Чернов и многие другие. Из видных социал-демократов, помимо В. И. Ленина, который уже тогда на целую голову был выше всех других лидеров партии, я впервые познакомился здесь также с его соратниками по «Искре» Л. Мартовым (Ю. О. Цедербаумом) и Старовером (А. Н. Потресовым). Прослушал я не один доклад молодого тогда краснобая Троцкого (Л. Д. Бронштейна) и даже видел его на сцене в роли вора Васьки Пепла в известной пьесе М. Горького «На дне». Он весьма развязно произносил свою реплику о чести и совести.

— А куда они — честь, совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни совести...

Сапоги на нем были надеты хоть куда — бутылками. Но сыграл он свою роль вора, правду сказать, совсем бесталанно.

Нередко встречался я также в Париже с лидерами «Рабочего дела» — В. Н. Кричевским, Мартыновым (А. С. Пикером), В. Н. Иваньшиным, с членами группы «Борьба» Д. Гольдендахом (Рязановым), Ю. М. Невзоровым-Стекловым и Э. Л. Гуревичем (Смирновым), с редакторами журналов «Жизнь» — В. А. Поссе и «Свободы» — Л. Надеждиным (Е. О. Зеленским) и многими другими.

Завязал я также знакомства и кое с кем из молодых русских анархистов. С ними мне приходилось много спорить, но это были горячие революционеры и душевные люди, и с ними приятно было встречаться, даже не разделяя тех или иных их взглядов. Один из них — Н. И. Музиль — был, кстати, моим соучеником по Скопинскому реальному училищу. Припоминаю также симпатичную девушку М. Гольдсмит и уже раньше знакомого мне по студенческой забастовке 1899 г. бывшего горняка Н. Романова. Последний, между прочим, выкинул однажды такую штуку, явившись на товарищеский вечер-маскарад в оригинальном костюме, обвешанном номерами «Искры», во фригийском колпаке с заголовком «Искра» и такой примерно надписью:

— Я *против* Революционной России, *против* Рабочего Дела и Рабочей Мысли, *против* Борьбы и Свободы и вообще *против* Жизни и Освобождения.

Поскольку тогдашняя «Искра», действительно, в резко полемическом тоне выступала против всех перечисленных Романовым групп и течений, его острый каламбур нашел, конечно, широкий отклик и шумный успех у представителей этих течений. Правда, сторонники «Искры» зло отшучивались, заявляя, что автор каламбура в качестве последовательного глашатая «безначального анархизма» уже по своей должности вынужден обходиться *без царя в голове*, вот почему он и не мог обойтись без малоумных надписей на своем дурацком колпаке. Но, говоря без шуток, Романову нельзя было отказать в остроумии.

Поселившись конспирации ради под фамилией Днепровича в одной из глухих улиц Латинского квартала, невдалеке от Сорбонны, я снял там по дешевке целую квартирку, которая, впрочем, скоро вся заполнилась прибывающими в Париж земляками. Прибыла ко мне в качестве приятного сюрприза из Скопина и юная подруга моей жизни предприимчивая Соня. Приехал также к нам на учебу из Рязани общий наш приятель и большой оригинал Костя Шиловский. Его голова всегда была переполнена какими-либо творческими идеями из области физики и очередными изобретениями, вытекавшими из них. Мысля себя революционером, он и свои «изобретения» мечтал посвятить задачам революции. Иной раз его замыслы принимали при этом и вполне практический характер в этой области. Так, например, однажды, задумав наладить *массовый* транспорт социал-демократической литературы в селедочных бочках через Архангельск, он сам организовал первый опыт такой контрабанды. Все шло как по маслу. Но в последний момент, когда Костя явился получить свой груз, поднятая из трюма высоко над палубой проклятая бочка случайно сорвалась, грохнулась вниз, разбилась, вместо селедок из нее посыпались связки «Искры» и прочей нелегальщины. Костю, конечно, сцапали и засадили в Архангельскую тюрьму. Пользуясь, однако, своим личным обаянием, а также, кстати сказать, большими симпатиями романтической дщери начальника тюрьмы, он получил здесь ряд невероятных льгот и, улучив удобный момент, прыгнул среди белого дня за ограду тюрьмы и скрылся. Через несколько минут его преследовала целая свора тюремных церберов, готовых пристрелить его, как собаку. Добежав до ближайшего озера в чахлом кустарнике, Костя, однако, успел принять меры. Приготовив тростинку камыша для дыхания, он с приближением врага, по образцу древних славян, скрылся под водой и, дыша сквозь тростинку, переждал облаву, а затем бесследно исчез из Архангельска, благополучно вернувшись за границу. Здесь по воле судьбы и туберкулеза легких он и застрял на всю жизнь после описанной эпопеи. Отдавшись затем под руководством великого Ланжевена всецело науке, этот былой мечтатель и фантазер стал и сам незаурядным ее представителем. А в прошлом это был надежный друг, с которым легко жилось.

Питались мы в русской студенческой столовой на улице Сен-Жак, запивая дешевые обеды еще более дешевым французским вином по 30 сантимов, т. е. по 12 копеек за литр. Вращались почти всегда только в русской эмигрантской среде. Книги читали — тоже русские, предпочитая всем сокровищам Национальной библиотеки Парижа скромные собрания русской библиотеки имени И. С. Тургенева. И думали, конечно, проживая в «прекрасной» Франции, только о своей незадачливой родине и о скорейшем возвращении в Россию. Правда, каждый из нас считал своим долгом принять участие в общем марше всего пролетарского Парижа в день Коммуны на кладбище Пер-Ляшез. Не

упускали мы случая и послушать могучего народного трибуна Жореса на очередном рабочем митинге, подобно тому как проездом через Берлин мы слушали там Бебеля и Клару Цеткин. Охотно включались мы, осыпаемые градом конфетти и серпантина, и в красочные уличные карнавалы Парижа, полные «общей радости, цветов и веселья». Но во всех случаях мы все же чувствовали себя чужими в этой стране.

Парижане живут очень открыто. Они пьют и едят за столиками кафе, выдвинутыми прямо на улицу. Тут же, на улице, они вечерком танцуют или поют, окружив какого-нибудь странствующего музыканта. Музыкант любезно раздает за пару су всем желающим ноты и текст какой-нибудь очередной новинки, ее тут же, под аккомпанемент его старой скрипки, быстро разучивают... И, глядишь, через несколько минут уже вся улица уверенно и беспечно распевает:

— Viens poupoule, viens poupoule, viens!..[1]

На несколько дней или часов такая новая песенка — до тех пор пока ее не сменит другая, не менее пустячная — становится *модной*, и ее напевает весь Париж. Парижане очень музыкальны. Меня всегда поражало присущее им чувство ритма и живость коллективных реакций на всякое внешнее воздействие. Сидите вы, например, в театре. Все тихо и мрачно вокруг. Но вот включается свет... и весь театр вдруг сразу, как бы единой грудью, испускает общий вздох облегчения: «А-а-х!» Точно так же в знак одобрения здешняя публика аплодирует в театре не врассыпную, как у нас, а в общем дружном ритме: раз-два, раз-два-три, раз-два, раз-два-три. Если на манифестации по колонне передается какой-нибудь лозунг, то опять-таки вся колонна подхватывает его в том же бодром ритме. Этот общий ритм борьбы и труда можно бы, вероятно, проследить и поглубже, но, наблюдая парижскую жизнь лишь мимоходом, со стороны, мы замечали только то, что само бросалось в глаза. Плохо владея французским языком, я и не пытался проникнуть в эту жизнь по-настоящему. Даже в театр я почти не заглядывал. А когда однажды заглянул на инсценировку «Воскресения» Л. Н. Толстого, исполненную в стиле сентиментальной мелодрамы «под развесистой клюквой», то и вовсе потерял вкус к повторению подобных опытов. Одно лишь я усвоил прочно, что Париж Жана Жореса и префекта полиции Лепина — это два совершенно различных Парижа и, чтобы ознакомиться с последним, не стоило слишком далеко удаляться из царской России.

Ажаны Лепина в своих изящных пелеринках и голубых кепи, избивая рабочих на парижских манифестациях, действовали, по моим наблюдениям, ничуть не уступая в этом отношении русской полиции. Да и честь им в рабочей среде была не лучшая. Рабочие нередко честили ажанов в глаза самыми оскорбительными для французского уха кличками: Ле-шамо̀!.. Ля-ваш!.. (т. е. верблюд!.. корова!..), отчего такие верблюды сразу же превращались в тигров, а коровы — в пантер, готовых живьем растерзать свои жертвы. Был я, между прочим, свидетелем и такого случая. После одной из манифестаций, на которой сильно попало от ажанов и кое-кому из русских ее участников, мы стояли группой перед открытой дверью в своей столовой на Сен-Жак. Мимо проходили поодиночке победоносные ажаны, тоже возвращаясь домой с манифестации. Стоявший рядом юный анархист, не утерпев, бросил одному заветное словечко: «Ля-ваш!..» Ажан даже скрипнул зубами, услышав это слово, схватил товарища за руку и вытащил его через порог на улицу. Анархисту угрожало избиение, а может быть, и высылка из Франции. Но мы, схватив его за другую

---

[1] Приди, куколка, приди, куколка, приди!

руку, моментально втащили обратно вместе с дюжим ажаном. И тогда последний сразу спраздновал труса и, выпустив руку обидчика, вылетел пробкой от шампанского за дверь. Некоторые пытались объяснить столь поспешное отступление этого стража «порядка» тем, что он боялся нарушить закон о неприкосновенности жилища без соответствующего мандата. Гораздо вернее, однако, что наши лица отнюдь не гарантировали ему его собственной неприкосновенности в этом жилище, независимо от всяких мандатов, и что он как раз вовремя учел это обстоятельство.

10. С НАПУТСТВИЕМ ИЛЬИЧА

Париж Лепина не привлекал нас нисколько, и мы давно готовились его покинуть. В эту «подготовку» я включил, между прочим, ближайшее ознакомление с техникой «печати» от гектографа и мимеографа до примитивного типографского станка, что очень могло нам пригодиться в русском подполье. Малыми средствами я завел у себя на квартире все необходимое для миниатюрной подпольной типографии и с помощью Сони, практики ради, перевел, набрал и напечатал одну агитационную брошюру В. Либкнехта.

Сложнее было дело с идеологической подготовкой нашей работы в России. За границей шла подготовительная работа ко второму съезду партии. Повсюду горячо обсуждались выявившиеся внутрипартийные программные и тактические разногласия различных течений. Нужно было разобраться в них и самоопределиться. Примкнув в основном к позициям ленинской «Искры», я все же не мог отказаться и от некоторых *особых* мнений по ряду вопросов. Так, например, мне казался совершенно неприемлемым опубликованный в «Искре» проект аграрной программы партии. Требование возврата крестьянам отобранных у них помещиками еще в 1861 г. «отрезков» земли, на мой взгляд, ни в коем случае не могло удовлетворить нужду русской деревни в условиях крайне возросшего в ней за 40 лет малоземелья. А между тем, чтобы обеспечить необходимую поддержку деревней пролетарской революции, мы не могли игнорировать ее наиболее острых нужд. Особую позицию по сравнению с большинством других партийцев я занимал и в некоторых вопросах партийной стратегии и тактики, а в том числе и по вопросу об оценке индивидуального террора.

В вологодских дискуссиях с Савинковым я придерживался скептических оценок террора. Никак не мог я сойтись во взглядах на террор и с таким горячим его сторонником, как талантливый публицист Л. Надеждин. Но еще труднее было принять концепции таких его крайних противников, как, скажем, тогдашний Рязанов или Поссе, абсолютно отвергавших его совместимость с принципами пролетарской тактики и допустимость в революционном движении, как будто даже по моральным основаниям. Отнюдь не испытывая особой склонности к названному методу борьбы и совсем не переоценивая его устрашающей роли, ибо запугать им можно было лишь отдельных беспринципных трусов и негодяев, а на нашем пути стоял целый принципиально враждебный *класс*, я все же чувствовал, что, стремясь к диктатуре пролетариата, нельзя навязывать ему на все времена и сроки чересчур вегетарианские принципы его боевой тактики. На войне — как на войне. Надо быть готовым к решающим генеральным сражениям, но нельзя зарекаться и от аванпостных стычек патрулей. И в борьбе классов не все исчерпывается одними лишь массовыми его выступлениями. И здесь революционным актом мы признаем не только генеральную стачку и вооруженное восстание, но и выпуск подготовляющей их прокламации, и ликвидацию опасного врага-провокатора, и

даже индивидуальный побег революционера из тюрьмы. «Вот недавно,— писал я в одном из тогдашних своих выступлений, в 1903 г.,— из Киевской тюрьмы совершили блестящий побег одиннадцать «искровцев», чтобы сеять в стране семена революции. Это не массовое выступление, не правда ли? Но неужели, чтобы признать подобный акт революционным, нужно было бы потребовать, чтобы в бегство обратилась сразу вся партия или весь рабочий класс»... Вышучивая в таком стиле буквоедов «ортодоксии», подобных Рязанову, я далеко не был уверен в том, что мои взгляды по данному вопросу не будут признаны еретическими и гораздо более авторитетными товарищами. Однако весной того же 1903 г. мне пришлось еще раз побывать в Швейцарии. При первой же встрече с Г. В. Плехановым я исповедал перед ним, как на духу, все свои «ереси» в данной области. И был приятно изумлен. Вопреки опасениям старик отнюдь не стал меня журить по данному поводу, заметив вскользь, что и его взгляды на террор не слишком отличаются от моих.

В ленинской «Искре» наряду с очень резкими статьями против авантюристического терроризма эсеров можно было встретить и другого рода высказывания. Например, в № 22 «Искры» за 1902 г. по поводу выстрела рабочего Леккерта в генерал-губернатора фон Валя — за высеченных им в Виленской тюрьме участников первомайской демонстрации — была помещена следующая *редакционная* заметка: «Вполне достойным и при данных условиях неизбежным ответом явилось произведенное 5 мая покушение на жизнь фон Валя. Радостное чувство сознания, что беспримерное правительственное преступление не осталось безнаказанным, омрачается у нас только сожалением, что покушение не вполне удачно». Эта заметка вполне гармонировала и с моими тогдашними воззрениями на террор. Правда, как видно из писем В. И. Ленина, эта заметка появилась лишь в результате компромисса, т. е. взаимной уступки одной части редакции «Искры» другой, после целой «баталии» между В. И. Лениным и В. И. Засулич[1]. Тем не менее заметка эта убеждала меня, что по данному вопросу у меня нашлись бы единомышленники даже в тогдашней редакции «Искры».

Передо мной оставался все же очень долго не разрешенным основной вопрос. Могу ли я оставаться в рядах сторонников «Искры» и взять на себя обязательство отстаивать ее взгляды в предсъездовской кампании по возвращении в Россию, не изжив до конца даже таких программных с ней расхождений, как по вопросу об «отрезках»? Разрешился этот вопрос вполне удовлетворительно лишь при последней моей встрече с В. И. Лениным в Париже перед отъездом на родину. С Владимиром Ильичем мне случалось встречаться по разным поводам и раньше. Между прочим, поддерживая связь с Питером, куда я собирался вернуться, я нередко получал оттуда письма о тамошней распре искровцев с «экономистами» (Токарев — «Вышибало» и К⁰), дошедшей до полного раскола. Владимир Ильич очень интересовался этим делом, и я не раз делился с ним своими сведениями. Но на этот раз дело шло о специальном напутствии Ильича нескольким товарищам, возвращающимся на родину для подпольной работы. Встреча состоялась в квартире одного из киевлян — Б. Гольдберга (Мальцмана), куда Владимир Ильич обещал забежать часам к шести и, дейст-

---

[1] Кстати сказать, Вера Ивановна Засулич и сама когда-то, в 1878 г., реагировала на применение розог к заключенному в тюрьму землевольцу Боголюбову выстрелом в грудь виновнику этого подлого акта, градоначальнику Трепову, и была оправдана даже судом присяжных. Она не могла не выразить своего сочувствия героическому выстрелу Леккерта, за который он заплатил своей молодой жизнью. Впрочем, и Ленин отдавал ему должное, и не случайно Леккерту еще при жизни Ленина был воздвигнут в 1922 г. памятник в Минске.

вительно, зашел ровно в шесть. Умело направляя беседу беглыми вопросами и меткими замечаниями, Ильич быстро разговорил оробевшую вначале аудиторию. Каждый из нас спешил поделиться с ним всеми своими опасениями и надеждами в связи с предстоящей ему работой. Ильич ласково подбадривал слишком робких, остерегал бравирующих предстоящими опасностями. Изредка он прерывал наши излияния вопросом: «А что Вы скажете (или сделаете), если Вам представится такой-то конкретный случай»... и незаметно экзаменовал нас мимоходом по тем или иным самонужнейшим вопросам программы и тактики партии, тут же без всякого подчеркивания выправляя замеченные ошибки. И таким образом за какие-нибудь полтора-два часа Ильич не только совершенно незаметно заставил нас выложить перед ним всю свою подноготную, но и успел попутно кое-кому из нас вправить мозги по ряду вопросов и притом самым безобидным образом. Моя жена, Соня, самая юная из собеседниц, вся красная от смущения, честно призналась Ильичу:

— И в программе, и в тактике партии я чувствую себя еще очень неуверенно. Одно лишь знаю твердо, что интересы пролетариата мне дороже всего и что им я не изменю никогда...

— Вот и отлично,— поддержал ее, улыбаясь, Ильич.— В этом самое главное... Все же остальное со временем приложится, конечно...

А в ответ на мои сомнения по поводу злосчастных «отрезков» он довольно спокойно заметил примерно следующее:

— Если Вы не разделяете этого пункта нашей программы, никто не поручит Вам выступать в его защиту. Хороша лишь защита по убеждению, а не по принуждению. Не искренняя, а стало быть, и лживая защита наших взглядов могла бы лишь повредить им в глазах всех честных людей. Программа наша к тому же еще не утверждена съездом. И, стало быть, в предсъездовской дискуссии Вы вправе ее оспаривать в любых пунктах. А вот, когда ее уже утвердит съезд, Вам придется *безоговорочно* подчиниться его решениям, отказавшись от всяких дальнейших дискуссий.

Доброе слово, как и вся незабываемая зарядка, полученная нами за этот вечер, очень пригодилась каждому из нас. Они укрепили наши слабые силы для нелегкой партийной работы на долгие годы. Разрешались и все мои сомнения по поводу злополучных «отрезков». Необходимость партийной дисциплины я никогда не оспаривал. Тогда я еще очень мало знал Ильича, но уже понимал, что ему можно во всем довериться. С тех пор было немало новых поучительных встреч с Ильичем и на страницах печати, и на партийных съездах, а затем и на хозяйственной работе в Госплане Союза, в первый же состав которого я был включен по личной инициативе Владимира Ильича. Он многому научил нас.

В неуклонном направлении к коммунизму мы движемся вперед вот уже свыше сорока лет без Владимира Ильича, но по твердо намеченному им пути. Выросло и созрело с тех пор в творческом труде и мужественной борьбе под его знаменем целое поколение новых людей, не знавшее Ильича. С каждым годом остается все меньше его современников, испытавших счастье быть в рядах его соратников, воочию его видеть и лично слышать. Самое его имя давно уже овеяно легендой. Но чем дальше в прошлое уходят от нас незабываемые дни первых лет революции, тем величественнее, ярче и теплее оживает в моей памяти светлый образ легендарного вождя пролетариата, глубочайшего мыслителя, великого революционера и, что особенно памятно, человека редкостных душевных качеств. Гений Ленина, несомненно, принадлежит всему миру, но прежде всего он наш родной, неповторимый, народный гений.

Это ему мы обязаны организацией необычайной по своей идейной сплоченности и принципиальности революционной рабочей партии нового типа — нашей Коммунистической партии, которая на развалинах царского деспотизма воздвигла здание первой в мире, наиболее свободолюбивой и самой последовательной советской демократии. Он был создателем Красной Армии — армии освобожденных рабочих и крестьян, без которой во вражеском окружении были бы обречены на гибель любые достижения трудящихся. По его плану в нашей стране, впервые в истории, уже построено социалистическое общество. А ныне — по его же замыслам — наша страна стала первым застрельщиком в борьбе за мир во всем мире, и по его же предначертаниям у нас уже успешно строится материально-технический фундамент коммунизма.

Трудно назвать какую-либо из современных больших проблем, о которых мы не имели бы ясных предвидений и предуказаний в богатейшем идейном наследии Владимира Ильича. Возьмем хотя бы обращения Советского правительства к главам государств всего мира с инициативой о решении территориальных споров без войн и применения силы. Разве это не является прямым продолжением той миролюбивой политики нашей партии, которая завещана ей еще Лениным? И новая Программа партии, в которую вслед за «электрификацией всей страны» включается уже и «плюс химизация» ее в столь же широких масштабах? Разве это не прямое продолжение Ленинского плана? Так В. И. Ленин и сегодня вдохновляет выпестованную им партию, указывает нам кратчайшие пути, ведущие к коммунизму.

Ленин был великим ясновидцем. Он не только на другой же день после завершения первой мировой войны предвидел неизбежность новой разбойничьей военной агрессии на юную Советскую республику труда, но уже тогда предсказал и ту великую победу, которой советский народ добьется четверть века спустя в решающей схватке с фашизмом. «Никогда,— говорил Ленин еще в 1919 г.,— не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда» [1]. Но он ясно видел и другое. Он знал, что дореволюционная Россия была «невероятно, невиданно отсталой страной, нищей и полудикой». Он понимал, что сама история поставила перед нами неумолимо дилемму: погибнуть или устремиться на всех парах вперед! И, чтобы в кратчайший срок ликвидировать столь опасную отсталость, вся страна, по зову Ленина, устремилась вперед по новому пути — самой передовой техники и самых высоких темпов роста, доступных лишь в плановом социалистическом хозяйстве.

Общеизвестны творческие достижения В. И. Ленина в области научной теории. Но у него теория никогда не отрывалась от революционной практики. Будучи глашатаем великой доктрины, сам Ленин никогда не был доктринером. Его идеалы рисовались ему не в виде абстрактных догматических схем и засушенных книжных теорий. Он видел их в действии, в процессе становления по всей окружающей нас реальной действительности. Представление о социализме, как о чем-то далеком и еще проблематичном, по Ленину, было чистейшим доктринерством. «А социализм,— писал Ленин еще в сентябре 1917 г., — теперь смотрит на нас через все окна современного капитализма, социализм вырисовывается непосредственно, *практически*, из каждой

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 315.

крупной меры, составляющей шаг вперед на базе этого новейшего капитализма»[1].

Кое-кто на Западе, например англичанин Герберт Уэллс, сам большой фантазер в своих представлениях о будущем, пытался и Ленина рассматривать лишь в качестве «кремлевского мечтателя» с несбыточными утопиями. И Владимир Ильич действительно не прочь был помечтать. Но это был мечтатель особого рода. Он никогда не грезил утопиями. Всегда трезво считаясь с фактами, он признавал неотвратимым и в марте 1918 г. Брестский мирный договор с немцами. Но и здесь сказалась его прозорливость, поскольку всего через несколько месяцев, с капитуляцией Германии, потерял силу и этот, односторонне навязанный нам международный договор. А вместе с тем, всегда верный своим принципам, Ленин ставил перед собой только достаточно созревшие исторические задачи. Правда, они были так грандиозны, что со стороны казались всем западным мудрецам неправдоподобными и незаслуживающими внимания «мечтами». Ленин же не только мечтал, но и упорно боролся за реализацию этих задач и умело претворял их в действительность.

Это было непонятной загадкой для буржуазного Запада. Вспомним хотя бы некоторые отклики Запада на Великую Октябрьскую революцию в царской России. Уже в середине ноября 1917 г. буржуазная пресса Запада оповещала своих читателей, что большевики продержатся не больше 8—10 дней. Умники из солидного «Таймса» в Лондоне поясняли к тому же, говоря о большевиках, что «хотя они сильны, у них не хватит ума управлять страной». Просвещенный глава буржуазной Чехословакии Т. Г. Масарик недоумевал: «Как можно иметь в России научный социализм, когда жители ее не умеют ни читать, ни писать?» И все западные авторитеты — нефтяные короли, и победоносные маршалы, и хитроумные дипломаты во главе с неподражаемым Уинстоном Черчиллем — неустанно, из года в год, предрекали, что с Советами в России вот-вот будет кончено. Но проходили все сроки, умолкали неудавшиеся пророки, а Советский Союз становился все крепче. И прозорливый кремлевский мечтатель уже поднял на щит тот «Великий почин», в котором в одну из суббот у нас впервые обозначились *зримые ростки коммунизма*.

Великий Ленин, к сожалению, слишком рано был вынужден из-за болезни выпустить руль государственного управления, всего через пять лет после организации Советской власти. За эти годы, однако, силы внутренней контрреволюции и внешней интервенции были уже разбиты наголову, создан Госплан и начата плодотворная работа по восстановлению разрушенного войной и блокадой народного хозяйства. Все неизведанные потенции нового хозяйственного строя, однако, были впереди. И потеря в такой момент столь испытанного и надежного кормчего, как В. И. Ленин, казалась всем нам, его соратникам и ученикам, особо чувствительной и тревожной.

От нас ушел великий богатырь духа. В широких народных массах его давно уже признали самым дорогим и близким народным героем и не случайно присвоили ему интимно ласковую кличку Ильич. Это обращение как-то сближает его и с другим легендарным любимцем народа из сонма старших богатырей русской земли — величавым былинным Ильей. И тот и другой — каждый для своей эпохи — воплощают в себе яркие образы нашей народной мощи и тех сказочно неограниченных возможностей, какими столь богата наша Родина. Вот почему с безвременным уходом Ильича, силы и здоровье которого мы так мало берегли в свое время, невольно возникала тревога: най-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 193.

дется ли достойный ему преемник? В душу вкрадывались тысячи сомнений. И в заботах о дальнейших судьбах страны хотелось сказать ей с горечью словами самого былинного Ильи:

Все твои богатыри-то, значит, молодежь!
Вот без старого Ильи-то как ты проживешь?

Тревога была оправданной. «Старик», как уже смолоду именовали в партии Ильича ближайшие его соратники, действительно был незаменим. Однако что же делать, если такие старики не повторяются в нашем мире ни разу и за тысячу лет. Но Владимир Ильич не даром трудился целых 30 лет, не покладая рук, над организацией воспитанной им великой Коммунистической партии. И эта Партия, несмотря на ошибки отдельных ее членов, даже такие тяжелые и обидные, как недостойный «культ личности», смогла преодолеть и выправить их, не отвлекаясь от своих основных общих задач. Лучшим подтверждением этой истины может служить вся история наших хозяйственных и культурных достижений за все 50 лет Советской власти.

Достаточно напомнить, что за первые же годы работы Госплана в мирных условиях еще при Ильиче, начиная с 1921 г., валовая продукция СССР поднялась от своего минимума всего за три года на 150%. А за весь период после революции она к началу 1964 г. превзошла свой уровень 1913 г. более чем в 52 раза, в то время, как даже в самой передовой стране Запада, США, этот уровень за то же время возрос всего раз в 6, а в старейшей стране капитализма, Англии, еще меньше — всего раза в два с небольшим. Вспомним, что царская Россия в индустриальном развитии была вчетверо более отсталой по сравнению с тогдашней Англией. А ныне вот, судя по продукции и всему народному доходу за последние годы, наоборот, уже Англия раза в четыре с лишним отстала от СССР. И мудрецам из «Таймса» пора бы уж задуматься, у кого же собственно «не хватает ума», чтобы разумно управлять своей страной? Еще показательнее победное проникновение идей Ильича далеко за рубежи СССР. Лагерь социализма становится шире и влиятельнее во всем мире. И «мечтания» Ильича становятся все более прочным, фундаментальным фактом нашей действительности.

Глубокий и яркий ум Ленина сочетался с горячим сердцем. Он был всей душой за всех трудящихся и уделял много внимания и заботы каждому из своих сотрудников. Скромнейший из скромных, Владимир Ильич не терпел мишуры и лести, презирал ложь. Он готов был сделать все для своих друзей и ничего для себя. В Центральном музее В. И. Ленина можно видеть старый, потертый, весь в узлах шнурок от карманных часов вождя народов. Будучи главой государства, этот бессребреник не удосужился за всю свою жизнь завести себе даже солидной цепочки для часов. Среди государственных трудов и забот, отнимавших у него массу времени, Ленин находил время и для своих друзей-детишек, которые всегда могли рассчитывать на его привет и ласку.

Владимир Ильич обладал неоценимым даром не только видеть дальше всех окружающих и убеждать их простой, но неотразимой логикой своей речи. Он умел еще и слушать других, как никто иной. Он внимательно выслушивал рядового рабочего, солдата, крестьянина и за их не всегда складными излияниями чутко улавливал и воспринимал затаеннейшие запросы их ума и сердца.

Мне посчастливилось работать по прямым заданиям Владимира Ильича на плановом фронте. Из писем В. И. Ленина Г. М. Кржижановскому видно, сколько внимания с первых же дней создания Госплана Ленин уделял текущим задачам планирования и конкретному

их разрешению по каждому частному заданию. Состав Госплана, по сравнению с нынешним, был чрезвычайно скромен — всего 35 членов,— а задачи в связи с тяжким неурожаем 1921 г. в новой для всех нас области планирования — небывало трудные. Но Владимир Ильич на каждом шагу помогал нам, первым плановикам, и своим мудрым советом, и конкретными каждому из нас заданиями, и своей трогательной о каждом заботой. И это окрыляло всех нас на преодоление любых трудностей.

Помню, что одним из первых поручений мне лично по работе в Госплане было составление первого в условиях нэпа продовольственного плана на 1921/22 г. Отмена крайне тяжелой для крестьян продразверстки обязывала резко снизить заменяющие ее нормы обложения продналогом. А жестокий неурожай в Заволжье требовал даже повышенного обложения урожая всех прочих районов страны. К тому же и урожайная статистика времен продразверстки, когда утайка населением сборов на десятки процентов искажала результаты любых плановых расчетов, была слишком ненадежной опорой в планировании. Тем не менее ряд очень конкретных указаний Ильича позволил Госплану успешно разрешить эту задачу. Уже в сентябре 1921 г. правительством был утвержден по моему докладу план хлебозаготовок, который, снизив задание по продналогу до 232 млн. пуд. против 347 млн. пуд., собранных по продразверстке 1920/21 г., восполнил впервые это задание планом закупок по товарообмену в урожайных районах. Общие масштабы возможных заготовок, включая продналог, определились в этом плане в пределах от 340 до 440 млн. пуд. Фактически было заготовлено, включая закупки из урожая 1921 г., 400 млн. пуд., т. е. даже больше продразверстки 1920 г. По сравнению с нынешними масштабами хлебозаготовок до 3,5 млрд. пуд. наш успех за счет скудных ресурсов голодного 1921 г. можно считать более чем скромным. Но нынешние масштабы наших плановых возможностей вообще неизмеримо возросли по сравнению с начальным этапом деятельности Госплана.

Помню еще лично мне как экономисту Госплана В. И. Ленин поручил постоянное наблюдение за эффективностью денежной эмиссии в качестве бюджетного ресурса тогдашней экономики. Эмиссия в больших дозах с падающей валютой препятствовала решению задач хозрасчета и рационального планирования, но в условиях 1921/22 г. без нее невозможно было сверстать бездефицитный бюджет. Прозорливый Владимир Ильич уже предвидел и иные опасности эмиссионного хозяйства. И действительно, выполняя весьма ответственное поручение В. И. Ленина, я в начале 1923 г. был вынужден сигнализировать Госплану о том, что «песенка бюджетной эмиссии спета». Обесценивая растущие государственные доходы, падающая валюта уже к концу 1922 г. привела к тому, что чистый «доход» от эмиссии за декабрь не превышал 9 млн. товарных руб., а потери от обесценения всех других доходов достигали 11 млн. руб. Это означало, что откладывать дальше вполне уже назревшую денежную реформу по бюджетным соображениям нет никаких разумных оснований.

Требования, которые В. И. Ленин предъявлял к Госплану и отдельным его членам, всегда были очень серьезны. Но выполняли мы их тем охотнее, что очень высоко ценили ту надежную помощь и моральную поддержку, на которую всегда могли рассчитывать. Он умел ценить труд. Трогательна была та забота о людях, какую проявлял Владимир Ильич, несмотря на всю исполинскую государственную работу. В одном из писем Ленина в Госплан упомянута и моя фамилия. Моя семья в те годы ютилась впятером в одной комнате. Не знаю, откуда об этом стало известно Ильичу. Но тем более поразило и тро-

нуло меня его неожиданное распоряжение о предоставлении мне целой квартиры. А между тем это было лишь одним из очень многих и самых обычных для этого неповторимого человека проявлений его всегдашней заботы о людях.

Из всех встреч с Владимиром Ильичем всего крепче запечатлелась в моем сердце последняя, в январские траурные дни 1924 г. На улицах крепчал мороз. На площадях тускло горели костры. А по улицам и площадям, днем и ночью, тянулись нескончаемым потоком в Колонный зал Дома Союзов с прощальным приветом к своему Ильичу миллионы простых сердец. Это были невиданные в мировой истории проводы. Уста Ильича уже онемели. Он не держал больше своих мудрых речей. Но глубина горькой потери была понятна всем и без лишних слов. В Колонном зале торжественно звучали лишь приглушенные, но волнующие душу траурные аккорды Шопена. У изголовья Ильича, на последней печальной вахте, сменялись его верные друзья и соратники по общей борьбе за рабочее дело и всенародное счастье. А мимо вождя неудержимо продвигался нескончаемый людской поток. Любимый вождь продолжал привлекать к себе все умы и сердца. В течение пяти суток ежедневно сотни тысяч рабочих с женами и детишками на руках проходили мимо него с суровыми лицами и трауром в груди.

Нужно было видеть эти потоки людей, проникнуться их сдержанным, но неудержимым волнением! Нужно было видеть их скупые слезы и слушать шепот, которым отец-рабочий, подняв высоко над ложем Ильича своего трехлетнего сына, внушал ему:

— Смотри, сынок, и запомни: вот наш родной отец, учитель и защитник!

Тот, кто видел эту картину, не забудет ее во век. Она позволяет глубже почувствовать, каким прирожденным вождем народа был и навсегда останется в народном сознании великий Ленин.

Светлое имя и яркий образ, гениальные предвидения и мудрые заветы, и весь жизненный путь Ильича столь тесно связаны с борьбой за коммунизм, что они и впредь будут жить в наших сердцах в нераздельном единстве:

— Ленин и коммунизм!

11. СНОВА ПОД ЗАМКОМ

Получив напутствие Ильича, надежный паспорт, адреса и всякие партийные поручения и инструкции, я уже через несколько дней, перекрасив волосы перекисью водорода в рыжий цвет, совершенно неузнаваемый, приближался к русской границе. Е. Тарасов немного раньше (с румынским паспортом некоего Попеску) отбыл в Питер другим путем. Соня, располагая заграничным паспортом, ехала самостоятельно, а меня переправили через границу в местечке Ширвинде контрабандисты. Ночью перешел я здесь с провожатым вброд пограничную речушку и утром по родной стороне отправился в дальнейшую дорогу. Обидно было только, что контрабандисты не позволили мне перенести с собой через границу захваченную мною из Парижа нелегальную библиотечку. Они обещали доставить мне ее сами и, конечно, надули.

Через пару дней, за два месяца до второго съезда РСДРП, я был уже среди старых друзей в С.-Петербурге.

В субботу, 31 мая 1903 г., я должен был встретиться с товарищем по организации — Е. Тарасовым, который по возвращении из Парижа проживал в Питере нелегально. Я зашел в один из так называемых львовских домов на 10-й линии Васильевского острова, нашел нужную лестницу и квартиру, но какое-то предчувствие недоброго заставило меня насторожиться. Со мной были важные адреса и явки.

Я быстро засунул их на всякий случай в щель под лестницей и только после этого позвонил в квартиру. Предосторожность была не лишней. Оказалось, что Тарасов уже несколько дней в тюрьме, а на его квартире дежурит полицейская засада. Меня, конечно, сразу схватили, обыскали и, хотя ничего подозрительного не нашли, отобрали паспорт на имя Рыбина и отправили немедленно в часть, а затем в охранку, где через глазок камеры меня демонстрировали, по-видимому, всем шпикам и дворникам столицы. Целых три дня глазок этот то приоткрывался, то закрывался и снова открывался — с утра до вечера. Но никто из этих соглядатаев меня, как видно, не признал. И 3 июня меня доставили, наконец, в одиночную тюрьму, т. е. в «Кресты». Здесь меня знали все надзиратели. Терять мне было нечего, и поэтому, когда по ордеру охранки меня назвали мещанином Рыбиным для записи в список тюремных сидельцев, я вломился в амбицию и запротестовал:

— Помилуйте, какой я Рыбин. Если у Вас ордер на арест Рыбина, то его и сажайте. Моя фамилия, как Вам хорошо известно, не Рыбин, а Петрашкевич. И поскольку у Вас никакого ордера на лишение меня свободы и заключение здесь не имеется, то я требую немедленного освобождения.

После минутного замешательства затрещали телефонные звонки, прибежал начальник тюрьмы и, получив какую-то инструкцию по телефону, весьма резонно меня «успокоил»:

— Не беспокойтесь, пожалуйста, ошибка в ордере будет немедленно исправлена...

Время было горячее, боевое. Волны революционного движения в стране поднимались все выше. За волной студенческих протестов катились, нарастая, все более грозные волны рабочего и крестьянского движения. Тщетно царские сатрапы, пренебрежительно именуя эти волны надвигающейся революции «беспорядками», старались подавить их жестокими репрессиями. Это лишь подливало в огонь масло. Отдельные «беспорядки», все учащаясь и обостряясь, перерастали уже в «беспорядок» сплошной и перманентный. И этот нарастающий «беспорядок» становился нормальным порядком для пережившего себя абсолютизма. В 1901 г. политические демонстрации вошли в нормальный обиход рабочего движения. В 1901 г. таких демонстраций в разных городах было не менее 10, а в 1902 г. — уже 20. За 1903 г. я еще до своего ареста, всего за пять месяцев, насчитал их не менее дюжины (в Ростове, Костроме, Златоусте, Варшаве, Белостоке, Ковно, Бердичеве, Поневеже, Томске, Баку, Тифлисе, Батуми). Рабочие выступали здесь с красными знаменами и лозунгами: «Долой самодержавие!..» Их разгоняли нагайками и пулями. Вслед за рабочими поднялись в 1902 г. на юге и крестьяне, выкуривая огнем помещиков из деревни. Крестьян рассаживали по тюрьмам и подвергали массовым истязаниям. Особое рвение в борьбе с «крамолой» проявляли при этом чужеродные палачи — фон Плеве и фон Вали, но не отставали от них и «истинно русские» выродки — помпадуры оболенские и богдановичи.

Очутившись в такое время под замком, мы не могли сохранять душевное равновесие. Каждая весточка с воли будоражила наши нервы до высшего их напряжения. Ни серьезное, ни самое легкое чтение в такие минуты не шло на ум и не могло нас отвлечь от неудержимого желания поскорей обменяться волнующей вестью с товарищами по несчастью. Иные вести просачивались к нам сквозь толстые стены тюрьмы с большим запозданием. Но когда они все же доходили до нас и перед нами то и дело раскрывались жуткие картины, подобные беспощадному массовому расстрелу златоустовских рабочих генералом Богдановичем (март 1903 г.) или кровавому еврейскому погрому, организованному агентами фон Плеве в Кишиневе (апрель 1903 г.), то

невольно сжимались сердце — от боли и кулаки — от вскипающего гнева. И когда эти черные вести сменялись другими, более радостными и бодрящими, например, об успехах майских демонстраций рабочих по всей стране или о том, что палач Богданович получил заслуженное им возмездие от рабочего-революционера Дулебова (6 мая 1903 г.), то, очевидно, и у наших врагов чесались руки сорвать свою злобу по этому поводу, обрушив ее хотя бы на головы своих пленников. А в подходящих для этого «поводах» — при желании спровоцировать и организовать очередной большой или маленький погромчик — недостатка не было.

Когда меня доставили в «Кресты», я почувствовал здесь резкое ослабление привычного по прежнему опыту тюремного режима. Все окна тюрьмы были весь день настежь открыты. И мы могли не только вдыхать свежий воздух полной грудью, но и свободно переговариваться сквозь оконные железные решетки с обитателями соседних одиночек. Более того, по вечерам у тех же решеток регулярно заслушивались и мирно обсуждались, как в парламенте, чьи-нибудь заранее подготовленные выступления на разные темы. А когда к нам за эти решетки проникала очередная весточка с воли о новых революционных событиях, то вся тюрьма взволнованно жужжала у окон, как взбудораженный улей. Все это было несомненным нарушением тюремной дисциплины. Ведь тюрьма не парламент. Но если раньше даже за традиционное перестукивание нам то и дело грозили карцером, лишением книг и свиданий и тому подобными карами, то теперь даже превращение царской тюрьмы в свободный парламент как будто ни с чьей стороны не встречало никаких препятствий. Такой «либерализм» ближайших агентов погромщика Плеве наводил на размышления. Нас явно провоцировали. Нет сомнения, что нас подслушивали. Ничего, однако, приятного для себя или особо вредного для нас они услышать здесь не могли. Наши настроения, которых мы не считали нужным здесь скрывать, и подавно не могли доставить радости нашим врагам. Но это, вероятно, лишь ускорило назревавшую развязку.

В памятный для меня день, 11 июня, обнаружилась, наконец, изнанка загадочного «либерализма» наших тюремщиков. В мою камеру уже без всякого видимого повода ворвалась вдруг банда полупьяных надзирателей и, скрутив мне руки назад, поволокла по всем лестницам вниз, в тюремный подвал, где аранжировано было по велению свыше грандиозное избиение всех политических. Их стаскивали сюда всех одного за другим, и, скрутив назад руки, в связанном виде, нещадно избивали беззащитных. Били долго, упорно, систематически, сначала кулаками по голове, по лицу и вообще по чем попало, а затем сбитых с ног добивали уже лежачих своими сапогами, тоже по чем попало — до полного беспамятства. Ужасные вопли и стоны избиваемых, казалось, только еще сильнее опьяняли и без того подпоенных бандитов, и они вовсю над нами куражились. Мне лично, может быть, досталось меньше других, ибо, начав с меня первого, надзиратели не вошли еще в раж и к тому же торопились приняться за следующих. Во всяком случае, отбиваясь от них чем мог, я не чувствовал сгоряча ни боли, ни страха и, стиснув зубы, кажется, ни разу не крикнул. Но тем мучительнее мне было слышать, когда я очнулся от обморока связанным на полу, стоны избиваемых товарищей, которым я никак не мог прийти на помощь. Вдруг среди стонов и воплей, несущихся со всех сторон, я услышал рядом с собой совсем уж неистовый вопль, захлебывающийся от страха и переходящий в какой-то заячий, трепетный визг.

— Стойте, стойте!.. Я хочу креститься... Священника мне, священника!..

Это был, несомненно, еврей. И у меня мелькнуло в голове:

— Ну и удачный же момент избрал этот приятель для приобщения к высокому учению о всепрощении и любви!..

Не знаю, что с ним стало дальше. Он смолк внезапно. То ли его вовремя угомонил спасительный удар по черепу, приведший его в беспамятство. То ли, признав этого новообращенного уже вполне созревшим не только для отречения от веры своих отцов, но и для предательства своих товарищей по делу революции, его уволокли сразу же на исповедь, если не к попу, то в охранку. Во всяком случае, такого потрясающего смертельного страха, какой звучал в его воплях, я никогда больше не слыхал. Это был кошмарный животный страх, в котором мне почудились отзвуки всех ужасов недавнего кишиневского погрома.

— Так вот чем это пахнет!..— сообразил я, вспомнив о Кишиневе. Это отвлекло меня от собственных переживаний. И я сразу же почувствовал большое облегчение, как только смолкли душераздирающие вопли новообращенного «христианина».

Я знавал среди российских революционеров из евреев немало самых мужественных и глубоко преданных революции товарищей, способных на любой подвиг и даже мученичество. Их было в нашей среде во всяком случае гораздо больше, чем жалких трусов и подлых предателей той же национальности. А между тем, говоря объективно, последних могло бы быть и больше. Ведь такие рычаги «воспитания» еврейства в царской России, как полнейшее бесправие, повседневное издевательство и периодические погромы, были рассчитаны именно на подавление в нем всех человеческих чувств, кроме панического страха и низкого пресмыкательства. Трусы всех национальностей одинаково жалки, а порой и отвратительны. Но роль палачей всегда казалась мне все же позорнее роли даже самых слабонервных из их жертв.

Общеизвестно, что многострадальный еврейский народ в поразительном многообразии и диапазоне своих дарований и характеров — от Христа до Иуды и от Маркса до Азефа — давал миру людей самой различной ценности. Отвергая всякие расовые теории, я отдавал себе, однако, отчет, что и в самом лучшем хозяйстве наряду с ценнейшими продуктами попадается и брак и совсем негодные отходы. И все же мне было горько и стыдно за своего соседа, столь малодушно дрогнувшего перед врагом. Стыдно не за иудея, ибо перед человечеством нет эллина и иудея, а за *человека,* поправшего по-заячьи свое человеческое достоинство перед недостойным врагом.

После бойни меня швырнули в темный карцер — на хлеб и воду, где весь в кровоподтеках и шишках, с повышенной температурой я провалялся целую неделю, по-спартански, на холодном цементном полу. Ни врача, ни прокурора, несмотря на наши настойчивые требования, к нам, конечно, не допустили. Я, впрочем, мог утешиться хоть тем, что все мои ребра были пока еще целы, да и других серьезных увечий не обнаружилось. И еще, пожалуй, тем, что наша индивидуальная ценность в результате экзекуции значительно возросла, ибо за битого, как известно, двух небитых дают... А если не возросла ценность, то возрос по крайней мере наш горький опыт. Преподанный нам предметный урок лишний раз показал, с каким гнусным врагом мы имеем дело и как важно истребить его с корнем. Получавшие такие уроки не склонны были останавливаться на полдороге. Правда, уже вскоре после дикой расправы с нами погиб от руки эсеров ближайший ее виновник, начальник тюрьмы, а затем, 15 июля 1904 г., им удалось ликвидировать и главного погромных дел шефа, министра внутренних дел Плеве. Но этого было слишком мало, ибо дело шло не о нашем личном отмщении, а о ликвидации того строя, который непрерывно воспроизводил все новых тюремщиков и погромщиков. И революционный пролетариат

России во главе с коммунистическим его авангардом, как известно, разрешил и эту задачу.

По освобождении из карцера, который понадобился, очевидно, для других кандидатов, и исчезновении всех синяков и шишек 17 июля 1903 г. меня перевели на Шпалерную, в «Предварилку». Здесь снова была к нашим услугам большая библиотека. Но обострившаяся атмосфера борьбы в гораздо меньшей степени располагала к мирным занятиям учебой, чем два года тому назад, когда многие из нас в качестве неисправимых оптимистов даже эту тюрьму готовы были рассматривать как своеобразный дом отдыха или читальню. Теперь яснее чувствовалось, что по своему прямому назначению это совсем не дом отдыха, а царский застенок, из которого совсем не трудно прямиком угодить и на виселицу. В ожидании вызова на допрос и нового испытания нервов я на этот раз твердо решил держаться простейшей тактики — прямого *отказа* от всяких показаний и ответов на какие-либо вопросы жандарма. Всякая иная тактика — уклончивых ответов и полуправды или сплошного «отрицания» всего вами содеянного — не удовлетворяла, как я давно в этом убедился, своему назначению.

В вопросах революционной тактики и стратегии меня с юности привлекала высокая принципиальность и последовательность истинных революционеров в отказе их от всяких компромиссов и оппортунистических решений. Располагая в стенах тюрьмы неограниченным досугом, я много думал на эту тему и не один раз снова к ней возвращался. Оглядываясь назад на пройденный мною жизненный путь, я теперь ясно вижу, что никогда я не был тонким политиком, и боюсь, что едва ли даже сумел бы различить ту демаркационную грань, которая отделяет самую тонкую политику от весьма грубого политиканства. Может быть, именно поэтому я с большим недоумением воспринимал заявления даже столь авторитетных вождей, как Бебель и Плеханов, из которых вытекало, что во имя дела можно пойти на соглашательство «даже с чертом и его бабушкой», или, говоря иначе, что «благо революции — это высший закон», способный оправдать любую тактику.

Однако, не падая ниц перед авторитетами, я готов был взять под обстрел, признав дискутабельным и этот самый «высший» критерий общественного поведения. Мне все *самому* хотелось осмыслить и обо всем «сметь свое суждение иметь». И хотя на этом пути я допустил в своей жизни немало ошибок, но это были *мои* ошибки. И я сам должен был их исправить.

Благо революции — и для меня «высший закон», думалось мне. Но может ли эта высокая цель оправдать любые направленные к ней средства. Именно так когда-то думали, по-видимому, ближайшие соратники Плеханова — Дейч и Стефанович, выпуская в Чигиринском уезде *подложные* царские грамоты, чтобы поднять ими крестьян на восстание. Мне лично, однако, такая трактовка плехановского тезиса всегда казалась совершенно неприемлемой. И не только по чувству органического отвращения к слишком неразборчивым в «средствах» проводникам принципа — «цель оправдывает средства» — из ордена Иисуса, но и по соображениям совершенно иного порядка. На мой взгляд, ползучий принцип поведения отцов иезуитов не только крайне непривлекателен, но и нерационален, независимо от того, какую высокую «цель» мы не подставляли бы конкретно в его абстрактную формулу. И прежде всего потому, что не всякое средство, направленное к данной цели, действительно к ней приводит. Средства прежде всего должны быть строго сообразованы с целью. Они не могут вести к ней, если находятся во внутренней с ней дисгармонии, в корне ей чужеродны, т. е. *противоречат* ей или сами по себе оскорбляют ее и отрицают.

«Средства,— как это прекрасно формулировал Ф. Лассаль,— должны быть насквозь проникнуты целью».

Даже такие, казалось бы сильные, средства, как инквизиционные костры и застенки, не достигли своей цели — укрепления веры, ибо костры устрашают, а не убеждают. Истребляя неверующих, костры не угрожали источникам неверия, а даже, наоборот, питали их, возбуждая новый дух протеста новыми фактами кричащего противоречия между учением церкви о божественном милосердии и поведением ее кровожадных служителей. Нельзя достигнуть и другой цели — блага революции — такими средствами, как, скажем, фальшивые революционные организации Нечаева или подложные царские грамоты Стефановича. Революционная партия сильна прежде всего *доверием масс,* а его нельзя надолго завоевать обманом и демагогией. Ложь и обман не могут служить благу революции уже потому, что именно на них еще держится тот отживший порядок, который подлежит разрушению и который именно поэтому нужно бить прежде всего путем разоблачения спасающей его лжи, т. е. орудием *правды.*

Правда — это наше лучшее оружие, сила и знамя в революционной борьбе, знамя передового, революционного класса эпохи, поскольку эта правда всегда сильнее любой лжи классов, обреченных уже историей на поражение. Обман перед лицом своего народа, своего класса, партии и всех соратников по борьбе — это для нас непростительное дело не только с точки зрения прописной морали, но и с точки зрения того самого высшего закона, каким для нас является благо революции. Перед лицом врага требования от нас этого закона далеко не всегда совпадают с директивами прописной морали. Представьте себе, что какой-либо революционер, попав в лапы жандармов, выболтает всю правду о себе и своих соратниках по партии. В этих условиях он оказался бы не столько правдолюбцем, сколько трусом, изменником делу революции и предателем своих лучших друзей. Вот такая «правда» показалась бы нам всем позорнее даже всякой лжи. Однако лгать даже перед лицом врага крайне неприятно. Да и чаще всего к тому же опасно. Говорить правду легче всего. Она безыскусственна. А хитроумное искусство лжи требует большого навыка или специальных талантов. А потому в состязании оружием лжи специалист в данной области — жандарм-ищейка всегда окажется сильнее не искушенного в этом деле рабочего-революционера.

И не только рабочего. Попадали впросак не раз в таких состязаниях на допросах и гораздо более к ним подготовленные революционеры-интеллигенты. Вспоминаю рассказ небезызвестного философа — Любови Исааковны Аксельрод о ее тактике на допросах в 80-х годах прошлого века. По ее словам, будучи арестованной, она «подтверждала» жандармерии свое знакомство «только» с теми товарищами, которые уже до нее были арестованы, и «отрицала» его в отношении всех оставшихся на свободе — во избежании излишней их компрометации. Легко сообразить, даже не будучи философом, к чему должна была привести столь «хитроумная» тактика. Следуя ей, все ранее арестованные товарищи, очевидно, как раз наперекор показаниям Аксельрод, отрицали свое знакомство с нею, а арестованные позже подтверждали его, создавая таким образом сплошной клубок противоречий, изобличающих всех членов данной организации.

Прямые пути всегда короче и надежнее кривых и потому скорее приводят к цели. Именно поэтому наша партия рекомендовала своим членам отказ от всяких показаний на допросах. Это избавляло нас от всякой лжи. И я с полным удовлетворением выполнил эту директиву при первом же вызове в жандармское управление. Нам стало много легче

дышать на допросах. И они с тех пор все чаще исчерпывались такой лишь примерно лапидарной беседой.

— Ваша фамилия, имя и отчество?..— вопрошает жандарм.

— Итак, Вам неизвестно даже, кого именно Вы арестовали...— заключает вопрошаемый.

— Будете ли Вы отвечать на предлагаемые Вам вопросы или нет?..— злится жандарм в предвидении дальнейших реплик.

— Не собираюсь.

— Значит, Вы *отказываетесь* давать показания.

— Я не обязывался помогать Вам в Вашем ремесле...— следует спокойный ответ.

— В таком случае зафиксируйте ваш отказ на бумаге и распишитесь...— пытается еще жандарм поймать новичка хоть на эту примитивную удочку.

— А разве Вам даже в *этом* не поверят, если Вы сами сие запишете?..— отвечает вопросом допрашиваемый.

— Довольно!..— заключает сердито жандарм неудавшийся эксперимент, отправляет арестованного в одиночку и больше не беспокоит до конца «дознания» и «приговора», сочиняемых на базе одних лишь «агентурных» сведений, которым и сами жандармы не вполне доверяют.

Кстати сказать, по «агентурным» донесениям о моем пребывании в Париже охранка сообщала, как я узнал позже, будто бы я «предлагал организовать в Париже (!) особый социал-демократический кружок, в программу (?) которого был бы включен террор (!?)»[1]. Сообщение это, целиком лживое и к тому же весьма малограмотно сфабрикованное, едва ли могло внушить к себе чье-либо доверие. Но за отсутствием других и оно служило целям обвинения.

Продолжая свои тюремные размышления о революционной тактике и стратегии и сопоставляя их с известными мне фактами о поведении социалистических партий и их вождей на Западе, я чувствовал, однако, что международная практика в этой области довольно далека от моей теории. Весьма далеко идущие соглашательские их комбинации «с чертом и его бабушкой» из вражеского буржуазного лагеря сочетались при этом с тем более резкой дифференциацией и непримиримой враждебностью разных течений в собственном лагере революционных сил передового класса. Даже в рамках единой социал-демократии, по моим наблюдениям и в Париже, и в российском подполье, такая межфракционная рознь и усобица достигали иной раз самых уродливых проявлений. Мне очень трудно было понять, почему столь широкая подчас терпимость и покладистость иных политиков к разным чужеродным «чертовым бабушкам» нередко совмещается с сектантской узостью и крайней нетерпимостью к малейшим разномыслиям в собственном идеологическом окружении. Мне казалось, что «принципиальная» беспринципность их на одном полюсе отнюдь не окупается беспринципной «принципиальностью» на другом. Фракционная *борьба* представлялась мне крайне вредной, а *разномыслия* — в пределах прочного *единства действий* против общего врага и твердой партийной дисциплины — наоборот, казались мне даже весьма полезными для растущей партии. Идея *единого фронта* всех классовых сил, способных объединиться против общего врага, уже тогда казалась мне увлекательной. И я поэтому был противником всех фракционных распрей.

Тем временем, пока я, сидя под замком, предавался размышлениям о тактике борьбы, на воле она продолжалась своим чередом. Промышленный кризис рассасывался. И на юге России широко развернулось

---

[1] См. «Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях за 1902 г.». Ростов-на-Дону, 1906, стр. 132.

стачечное движение. Стачки эти, охватившие почти одновременно в первых числах июля Баку, Тифлис, Батум, Одессу, Киев, Екатеринослав, Елизаветград, Николаев, проходили под руководством местных социал-демократических комитетов очень дружно и организованно. Начались они в Баку, охватив не только все промыслы, но и электростанцию, конку, даже телефонисток, и сопровождались многотысячными собраниями под открытым небом в присутствии полиции, не смевшей воспрепятствовать движению. А затем по сочувствию оно перекинулось и в другие города.

Это была замечательная демонстрация классовой солидарности. Но вместе с тем это яркое политическое движение было решительным ударом и по «зубатовщине», пытавшейся обуздать и выхолостить революционное рабочее движение России, уложив его в прокрустово ложе убогого полицейского «социализма» — с разрешения начальства. Июльские стачки показали, что игра зубатовцев в социализм — это игра с огнем, который гораздо легче раздуть, чем потушить. Попробовал, между прочим, поиграть в эту игру один из агентов Зубатова — охранник Шаевич в Одессе, объявив здесь на одном небольшом заводе забастовку для пробы сил своей «независимой» организации. И вдруг вслед за этим заводом забастовали железнодорожные мастерские, порт, трамвай, булочники, и забастовка стала всеобщей. Это совсем уже не входило в расчеты охранки. Перепуганный Шаевич забил отбой. Созвав собрание забастовщиков, на которое явилось несколько тысяч рабочих, Шаевич пытался ликвидировать движение, явно принимавшее политический характер. Наболтав с три короба о губительности революционных путей борьбы, Шаевич поставил перед собранием вопрос ребром: или встать на работу, обратившись с изложением своих нужд к правительству, или, примкнув к социал-демократам, бесплодно биться лбом о каменную стену.

— Каким же путем решите вы этот вопрос?..— закончил свою речь Шаевич и получил единодушный громовой ответ: «Лбом!..»

Этот ответ прикончил и Шаевича и всю зубатовщину, доказав полное банкротство полицейского «социализма» в русских условиях. Шаевич был арестован и выслан в места отдаленные, а его шеф Зубатов был сдан в архив, в отставку, и давно уже забыт навсегда. А прикончившая эту гнилую слякоть историческая массовая забастовка 1903 г., ставшая у нас первым опытом и генеральной репетицией великих всеобщих забастовок пятого и семнадцатого революционных лет, останется в нашей памяти на всю жизнь. Можно себе поэтому представить, с какой радостью и гордостью за наш рабочий класс мы переживали тогда под замком первые известия о его мощных усилиях.

В дни таких настроений моим соседом по камере оказался оригинальный тип внепартийного революционера-одиночки — юноша по фамилии Уфимцев. В интересах антирелигиозной пропаганды действием он решил взорвать в часовне монастыря «чудотворную» икону божией матери и выполнил это решение как умел — с помощью динамита. Но монахи перехитрили юношу. У них в киоте хранилась не подлинная икона, а дешевая ее копия. После взрыва они убрали осколки разбитой копии и подменили ее подлинной иконой в драгоценных ризах, затеплив перед ней свечу, и с колокольным звоном объявили о новом чуде: даже динамит, разрушивший все вокруг, не повредил, мол, владычице — вот она, целехонькая! Эффект получился, конечно, изрядный, хотя и совсем не тот, на который рассчитывал виновник взрыва. Леонид Андреев использовал этот сюжет для одной из своих пьес и вывел нашего героя под именем Саввы Тропинина. Но одержимый манией величия, андреевский анархист Савва представлял собой очень мало сходства со своим прототипом. Мой сосед был много скромнее, про-

ще и лучше своего литературного двойника. И все же я находил его замысел — будить спящее сознание людей гулкими взрывами динамита — чересчур механистическим. В Уфимцеве я угадывал богатые задатки одаренного техника-изобретателя, но не психолога. Динамит в революционном движении — это типичное оружие одиночек. Его сила должна возместить их слабость. Однако динамит, подобно фейерверку, обеспечивает лишь чисто внешний театральный эффект. Сотрясая воздух, он не достигает глубин человеческого сознания. И, внимая успехам мощного рабочего движения на воле, я думал:

— Насколько же сконцентрированная воля большого коллектива, даже разряжаясь в архипассивной тактике скрещенных на груди рук, доходчивее по своему воздействию на психику людей и эффективнее самых сильных детонаций динамита.

Тюремные будни я проводил чаще всего за чтением. Иногда писал что приходило в голову. Но в голову приходило здесь как раз все такое, о чем в тюрьме приходилось писать лишь намеками и экивоками. Получалось туманно, слишком искусственно и нескладно. Одну из таких проб пера в полубеллетристической форме, посвященную памяти покойного друга и соратника по подполью — Алеши Сафонова, я переслал как-то на отзыв по внутритюремной нашей почте знакомому мне еще по Парижу соседу. Это был Е. О. Зеленский (Л. Надеждин), блестящий публицист и пылкий революционер, не усидевший за границей, несмотря на свой туберкулез, и уже снова попавший в тюрьму. Зеленский не одобрил моих писаний. И хотя забракованный им мой очерк удостоился все же печати («Перед рассветом» — журнал «Правда», май 1905 г.), мой критик был, конечно, прав. И я впоследствии никогда уже не пытался писать в том же стиле. Тем не менее именно в связи с этим очерком получил тогда свое начало мой литературный псевдоним. Полиции из моей фамилии Струмилло-Петрашкевич известна была по документам только вторая половина. И, изменив слегка первую, я, не посягая на чье-либо чужое добро, обрел вполне пригодную форму для своих писаний.

Вскоре после моего вызова на допрос в жандармское управление моей жене, приехавшей в Питер, удалось получить разрешение на свидания со мной. Курьезно, что жена должна была добиваться их как моя невеста, поскольку для признания женой требовалось совершение церковного обряда. Эти свидания, принося бодрящие весточки с воли, очень поднимали мое настроение, которое после жестокой трепки нервов в «Крестах» заметно падало в заточении. Однако 16 сентября и жена моя оказалась арестованной и заключенной в той же, что и я, тюрьме, на Шпалерной. А между тем время текло, за месяцем месяц, в тщетном ожидании приговора, и терпение мое истощалось. С прекращением свиданий барометр моего настроения падал все ниже. Хотелось любой ценой вырваться на волю, чтобы снова включиться в общий бурный поток тогдашних событий. Однако побег из «Предварилки» был немыслим. Тюремная голодовка для ускорения высылки тоже не сулила желанных результатов. К тому же я боялся, что на этот раз мои нервы не выдержат длительного напряжения. И я решил испытать новое, правда более рискованное, средство. В качестве такого средства к освобождению я замыслил покушение на самоубийство. Задумано — сделано. В тот же вечер, перед ночным обходом, когда новый дежурный надзиратель, вступив с 12 часов ночи на смену прежнему, заглядывает через глазок в каждую камеру, я должен был уже висеть в петле. Если меня *вовремя* вынут из этой петли, соображал я, то более чем вероятно, что это сильно сократит мое пребывание в тюрьме, а если запоздают... ну что ж, это сразу и навсегда освободит меня от нее.

Эксперимент этот казался мне тем интереснее, что смерть от удушения, по слухам, считалась самой легкой, а мне, кстати, представлялся случай проверить это на собственном опыте. Но вот наступил и урочный час. Электричество у нас гасили рано, но у меня была свеча. Скрутив из полотенца жгут, я быстро сделал из него петлю, закрепив другой его конец под потолком над кроватью за вентилятор. Затем, погасив свечу, я поднялся на железный поручень койки, вытянулся на цыпочках и минут за десять до двенадцати просунул голову в петлю, собираясь выжидать в таком положении еще минут пяток, прежде чем оттолкнуться от поручня и свободно повиснуть над кроватью. Но тут меня поджидала жуткая неожиданность. Мне совсем не понадобилось ни от чего отталкиваться. Самого легкого и совсем даже нечувствительного давления петли на сонные артерии оказалось достаточным, чтобы я, потеряв сознание и опустившись уже всем своим грузом в петлю, сразу же совершенно безболезненно погрузился в небытие.

Опираясь на собственный опыт, могу засвидетельствовать, что для тех, кто не в шутку торопится к праотцам, петля, пожалуй, и впрямь открывает самый легкий и верный путь. Но тем, кто хотел бы только поиграть в жмурки со своей смертью, не советую шутить с петлей. Это слишком рискованная азартная игра. И все же на сей раз я выиграл эту игру.

Не знаю, сколько времени я пребывал в состоянии нирваны — вне времени и пространства. Меня очень долго не могли привести в чувство. Но, когда я, наконец, пришел в себя, с острым ощущением нашатырного спирта в носу и в горле, вокруг меня хлопотала уже целая куча людей с врачом и начальником тюрьмы во главе.

— Ну, ему-таки повезло,— заметил врач начальнику, услышав мой непроизвольный кашель и чихание, вызванные неумеренными дозами нашатырного спирта,— а я уж и не чаял вернуть его из потустороннего мира.

Не такая уж большая радость была снова возвращаться в мир тюремщиков, из которого я так стремился поскорее выбраться. И я в первую минуту готов уже был сказать это им прямо в лицо. Но, увы, голос мой мне еще совсем не повиновался. А тюремщики, довольные уже тем, что все обошлось пока без большого скандала, какого можно бы ожидать по случаю самоубийства в нервной атмосфере тюрьмы, скоро оставили меня в покое. Но у них оставалось еще опасение рецидива. И это, очевидно, возымело свое действие. Как только я вполне оправился, мне очень любезно разрешили свидание с женой. А еще через несколько дней я узнал, что приговор по моему делу уже состоялся 14 января 1904 г. и что на днях нас обоих, с женой, отправят в Пересыльную тюрьму для препровождения по этапу на место ссылки. Правда, приговор был нешуточный — десять лет ссылки в Восточную Сибирь, куда-нибудь на полюс холода, в Верхоянск или на Колыму. Но все же там ждала меня хоть относительная свобода. А между тем мой товарищ по тому же обвинению, Е. Тарасов, получил одновременно со мной 2 года тюрьмы и 8 лет ссылки, что, очевидно, ожидало и меня, если бы меня перед тем не вынули из петли. Высидеть еще целых два года под замком и еще в такие волнующие времена! Брр... Это было бы, пожалуй, свыше моих сил. И я гордился своей удачей. Она стоила риска.

* * *

В субботу, 30 января, мы были уже в Пересыльной тюрьме. Но три дня тому назад в Порт-Артуре японцы без объявления войны потопили несколько русских броненосцев. Это означало, конечно, начало тя-

желой для нас войны на Востоке. Но вместе с тем оно означало и прекращение всех ссыльных этапов на Восток. Вскоре выяснилось, что вместо Восточной Сибири мне предстоит отправиться гораздо ближе — в Олонецкую губернию, куда вместе со мной высылалась и жена. Но отправка нас и по этому маршруту задерживалась надолго по случаю мобилизации. Будучи прапорщиком запаса, формально подлежал призыву в армию и я. Однако пустить нашего брата в армию было рискованно. И меня уведомили, что «высочайшим» приказом я перечислен из запаса в отставку.

Захватнические интересы царской камарильи на реке Ялу и японских захватчиков в Корее, из-за которых заварилась эта война, были совершенно чужды русскому народу. От более чем вероятного поражения бездарной царской клики в этой войне где-то там на краю света, за много тысяч километров от коренной России, русский народ мог гораздо больше выиграть, чем проиграть. В такой ситуации патриотизм россиян подвергался тяжелым испытаниям. Каждая новая победа японцев, конечно, больно ранила русские сердца, болеющие за напрасно гибнущих где-то своих отцов и братьев, но в то время, означая собой поражение царизма, она ободряла нас надеждой на близкую гибель этого бесславного и позорящего нас режима. Такая война не могла быть популярной. И, в частности, я отнюдь не был огорчен своей отставкой. Сражаться за престиж давно уж обанкротившегося режима, которому я и сам готов был сломать шею, у меня не было ни нужды, ни охоты.

Длительная задержка в Пересыльной тюрьме очередной отправки по этапу позволила мне сделать здесь на досуге новые наблюдения и завязать новые знакомства. Между прочим, познакомился я здесь и с некоторыми еще совсем новыми для меня типами «политиков». Одним из таких политиков оказался совсем неграмотный «богомолец» 63 лет, Иван Васильев, бродивший много лет по монастырям и святым угодникам и угодивший все же в Киевскую тюрьму, а оттуда на три года под надзор полиции в Гдовский уезд, на родину. В ожидании отправки туда по этапу бодрый еще старичок очень охотно рассказывал нам о своих злоключениях.

«Приставили» его куда следует стражники, или, как он выражался, «собаки-разбойники», будто бы смешавшие его с каким-то другим богомольцем, который-де ходил по деревням и «воспроведывал», что по весне будут земли от всех отбирать и поровну нарезать. Был у Васильева и документ — солдатская отставка, «да, вишь, им собакам-разбойникам мало, им целую охапку подавай». Жандармов он разносил на допросах, если верить его рассказам, напропалую.

— Зачем же ты, старичок, бродил там? — спрашивают его.

— А затем и бродил — по святым угодникам ходил.

— Ну, а насчет земли-то, что говорил?

— Ничего не говорил.

— Ну, а свидетели и стражники говорят другое.

— Да им, собакам-разбойникам, разве можно верить? Кому вы верите?.. Богу или дьяволу? Или вы уж и самого бы Христа забрали, коли бы его вам теперь стражники приставили?

Посидев месяцев пять в общей камере среди разных студентов и «интелентов», старичина здорово набрался бунтовского духу и рассказывал о всех своих мытарствах так сердито, что его и впрямь можно было сопричислить к сонму самородных крамольников. Свое собственное и благоприобретенное учение, проникшись к нам доверием, он излагал в таком примерно стиле:

— Бог не где-нибудь над нами, а тут, в груди... А попы — грабители. Их не будет... И церквей не будет. Всех ослобонят, а насчет земли

не будет так, как теперь,— одно поле ржи, другое овса — у всякого свое. А будет все *общее*. И работать будут только четыре часа в день.

Этот оригинальный «богомолец», с богом в собственной груди и крамольной проповедью на устах, бродивший по всей стране, не получил никакой политической шлифовки. Но ведь и такие самодельные дрожжи заваривали в народной гуще крепкое пиво к великому празднику обновления всего социально-политического уклада нашей страны. Совсем в другом вкусе и стиле был другой «политик», встретившийся нам здесь, на распутье, хотя и он был характернейшим продуктом своего времени.

Это был полицейский пристав города Тифлиса Тер-Грикуров, блистательно подвизавшийся целых 25 лет на своем посту и попавший все же за некий «ложный донос на политической подкладке» в почетную категорию «политических» ссыльных. Очень словоохотливый, этот фрукт весьма откровенно рассказывал нам о своих подвигах, горько жалуясь на явную несправедливость к нему жестокой судьбы. Еще недавно ему неизменно поручалась организация охраны при проезде через Тифлис всех высоких особ. Он же сопровождал их на охоту и, выполняя самые деликатные их поручения по «клубничной» части, всегда получал от них «благодарность» и деньгами и орденами. Для уловления «вредных» элементов в его распоряжении имелась целая свора агентов и соответствующие кредиты, не подлежащие отчетности. Что собой представляла эта агентура, видно из следующего. Когда жандармскому полковнику — начальнику охранки понадобилась «интеллигентная» агентша, Тер-Грикуров немедленно предоставил ему из своего резерва одну проститутку. Были у него заслуги и покрупнее. Еще в начале своей карьеры, во время армянских погромов в Турции, когда с Кавказа собрался туда отряд русских армян, чтобы с оружием в руках дать отпор убийцам, Тер-Грикуров, прикинувшись сочувствующим им патриотом, предал весь этот отряд армянской молодежи на границе в руки русской жандармерии. Тем самым он заслужил, конечно, не только часть той признательности, которую Оттоманская порта выразила по этому поводу русскому правительству, но и соответствующую репутацию в глазах этого последнего. Тер-Грикуров, по собственному признанию, «грэмел» чуть ли не по всему Кавказу в качестве «образцового» пристава и, кстати сказать, в качестве первейшего вора и взяточника в Тифлисе. И вот этот заслуженный вор и предатель обвиняется в политическом преступлении и получает четыре года Восточной Сибири!..

Как же ему было не возроптать на свою злую участь. И он, действительно, роптал. Он твердил, что «значит нэт бога», коли ему за все его дела вместо награды рок преподнес одни лишь тернии «политического» преступника. Прохвост и не подозревал, что именно в этом легче всего можно было бы усмотреть «перст» божий. Впрочем, на бога роптал наш лихой пристав напрасно, ибо он сам ковал свою судьбу. Дело было так. Чтобы выдвинуться повыше, Грикуров еще весной 1903 г. сам сочинил с помощью одного из своих агентов мнимое «покушение» на какую-то особу и сам же донес по начальству о своем открытии, что вот, скажем, сегодня ночью при проезде «особы» по такой-то улице на нее будет совершено нападение. Поднялась тревога, начались массовые аресты поднадзорных. Но шутка сорвалась. Охранка не пожелала делиться с общей полицией своей привилегией сочинять и «раскрывать» подобные покушения. И вот арестованные с перепугу поднадзорные были выпущены, а их место занял наш пристав со своим помощником. Дело было уголовное, но весьма скандальное. И, чтобы завершить его шито-крыто, под него была скроена «полити-

ческая подкладка». Таким образом, лихой пристав за лихое дело обрел и лихую участь.

Бахвалясь своими «заслугами», Грикуров, между прочим, рассказал и такой характерный для той эпохи случай. На Кавказе проживал один из великих князей царствовавшей фамилии, сосланный туда за брак с простой смертной, в жилах которой не текло ни капли царской крови. В разлуке с нею опальный князь решил поразвлечься с приглянувшейся ему красавицей гимназисткой, дочкой какого-то весьма видного сановника. Были пущены в ход все пружины. Нашлась на сей предмет и сводница — акушерка, использовавшая для такого случая и все свое коварство, и обман, и даже профессиональные свои познания. И девушка очутилась у князька. Но дело этим не кончилось. Угрызения совести, боязнь скандала или простой каприз был тут причиной, но князек, не долго думая, приказал попу венчать себя с девушкой и стал законным супругом двух жен зараз. Тут уж по жалобе первой жены в дело вмешались «высшие сферы». И, чтобы затушить громкий скандал, бедная гимназистка, ставшая вдруг «особой», была похищена у мужа. Тот в свою очередь успел ее выкрасть и вернуть к себе. Тогда ее увезли уже подальше, в Тифлис, и, не решаясь, с одной стороны, засадить такую «особу» без специальных директив в тюрьму, а с другой стороны, страшась нового увоза великим князем, его жену поместили под домашний арест... к Тер-Грикурову. Здесь она под надежным присмотром пристава прожила несколько месяцев, пока и ее, а вместе с ней и всю ее семью безвинно и бессудно не сослали на житье в Вятскую губернию. Эта картинка с натуры, годная в качестве фабулы для большого бульварного романа, вместе с тем не худо отражает те нравы и повадки беспардонного произвола тогдашних «сфер», для окончательной ликвидации которых у нас потребовалось целых три революции.

Интереснее всего, однако, нам было послушать отзывы такого полицей-спеца, как этот опальный Шерлок Холмс, о рабочем движении в Тифлисе. Он был, по-видимому, прямо потрясен этим движением.

В Тифлисе нет ни одного рабочего, сообщал он с таинственным выражением лица и каким-то сокровенным ужасом, нет ни одного, который бы не занимался «этим»..

— А демонстрации частенько бывают там?

— О, очень часто. Всегда их ожидаешь. Хоронят, например, какого-нибудь рабочего... Ну, смотришь, конечно. Так нет, где там усмотришь! Они ведь хитрые... Сначала никого нет, а дойдешь до какого-нибудь перекрестка, как вдруг сразу со всех сторон и нахлынут... С палками, с «кынджаламы»... Выкинут «эти флаги» и давай петь песни. Тут уже берегись — убьют. Бежать надо. А когда все, весь город, бросят работу, как прошлым летом было, так словно уже и революция начинается... Со-овсем ничего с ними не поделаешь!

При всем омерзении, какое внушал к себе этот тип, такие компетентные признания врага о наших силах *приятно* было слушать даже из его лживых уст, ибо страх его не лгал. Если враг, даже преувеличивая наши силы,— у страха глаза ведь велики,— бежать норовит с поля битвы,— это очень приятно. А в оценке движения 1903 г. на Кавказе и преувеличений не чувствовалось. Там действительно была дружная и чистая работа.

Из Пересыльной тюрьмы мы тронулись в дорогу только 3 марта 1904 г. На следующий день мы прибыли уже в московскую пересыльную тюрьму — «Бутырки», где снова надолго застряли. Жену мою направили в Полицейскую башню, меня — в Часовую. В отличие от других отделений тюрьмы — для осужденных с тяжелым каторжным режимом — и в этих башнях, смахивающих на феодальные замки, режим

был весьма либеральный. В Часовой башне вместе со мной помещалось человек 18 политических. Почти все они были из рабочих, все — социал-демократы. Дверь нашей камеры весь день была открыта, и мы могли свободно гулять одни на дворе, обнесенном высокой и зубчатой каменной стеной. Обслуживал всю башню один-единственный надзиратель, добродушный старичок Петр Акимыч, по прозванию Филозо́ф. Присвоено ему это звание было, по-видимому, за то, что ко всем нашим выходкам и проделкам видавший виды старик относился чрезвычайно спокойно — по-философски. Мы могли что угодно и сколько угодно петь, плясать или даже на голове ходить — его это отнюдь не беспокоило. Акимыч умел и любил играть в шахматы и к тем немногим из нас, кто его обыгрывал, относился с особым почтением. В частности, мне после двух-трех полученных им матов наш «философ» сам любезно предложил, если нужно, передать жене записку в другую башню и обратный ответ. И не раз он вполне успешно выполнял такие поручения, хотя записки были, разумеется, совсем невинные. Вообще жилось здесь неплохо. Но все же, с нетерпением ожидая дальнейшего продвижения к цели, мы очень охотно покинули в пятницу, 26 марта, Москву, направляясь в Олонецкую губернию.

Маршрут этот, однако, оказался очень сложным и путаным. Сначала из Москвы мы двинулись по железной дороге с остановками в каждой тюрьме по нескольку дней через Рыбинск и Ярославль в Вологду, а затем по случаю весенней распутицы обратно через Ярославль в Рыбинск. Оттуда водным путем на пароходе «Великий князь Владимир» по Волге и Шексне, а затем на «Маруське» по каналу нас доставили в Белозерскую тюрьму, далее пешим этапом (225 километров) — в Вытегорскую и далее с одним городовым или урядником водой через Вознесенье и по Свири до Лодейного Поля, а затем на лошадях через Олонец на место жительства, в село Виэл-Ярви (Ведлозеро тож). Всего на путь от «Предварилки» до места назначения потребовалось (с 30 января до 21 мая 1904 г.) свыше трех месяцев, хотя весь этот путь по прямой линии не превышал и 300 верст. При этом пришлось перебывать в целом десятке тюрем, не считая всех этапных клоповников. Само собой, что на всем этом пути у нас было немало любопытных встреч и наблюдений. Некоторые из них, наиболее характерные для тогдашних предреволюционных порядков и настроений, думается мне, покажутся небезынтересными и нынешнему поколению, выросшему в совершенно иной обстановке.

Это было время, когда царский режим, как режим самых диких архаизмов и феодальных пережитков, хотя и казался еще очень прочным, но на деле трещал уже по всем швам. В народных низах он не пользовался уже никаким кредитом. И это подтверждали на каждом шагу даже те солдатики, наши конвоиры, которые в отсутствие офицеров неизменно обнаруживали явное нам *сочувствие,* хотя мы были заведомыми врагами того режима, который видел в них свою надежнейшую опору. О настроениях крестьян и рабочих и говорить много не стоило бы. Даже совсем не задетые пропагандой крестьяне по любому поводу выявляли весьма радикальные ожидания. Так, например, еще в «Бутырках» нам рассказали такой случай. В церквах оглашался какой-то очередной царский указ. В одной из них, в селе Кумино, Рязанской губернии, прослушав указ, мужичок спрашивает соседку, заскорузлую помещицу:

— Выходит, стало быть, землю нам дадут по манифесту?

— Что ты, дурак! Там сказано только, чтобы вы по всем своим делам обращались к земскому...— пояснила помещица.

Еще решительнее высказался по тому же поводу другой крестьянин, адресуясь к своей барыньке:

— Ну, таперича отбираем вашу землю. Манифест читали.

— А нас-то куда же?..— ужаснулась та.

— Э, мало ли осин в лесу... На всех хватит!..— успокоил он собеседницу по-своему.

Немало таких же «несознательных» землеробов оказалось и в рядах наших попутчиков в ссылку. Но можно было надеяться, что из ссылки они возвратятся при нашем содействии уже более сознательными. Так, например, вместе с нами шел по этапу с юга совсем еще сырой землероб Максим Васильевич Юрченко. В своей деревне полуграмотный Максим служил стражником, его избрали, однако, односельчане ходоком по своим земельным тяжбам в город. Там напуганное недавними беспорядками крестьян начальство сочло его столь опасным, что сразу засадило этого мирского ходатая в тюрьму, а затем — очевидно, для дальнейшего просвещения в политграмоте — направило на три года в Олонецкую губернию. В Вологодской тюрьме мы наткнулись на целую партию его земляков, таких же, как и он, землеробов. Это были административно высланные по «приговорам» сельских обществ. Была ведь и такая диковинная категория. Максим сразу определил их природу.

— А, это вас «контора» высылает?

— Та вона ж,— подтвердили земляки.

— Терещенко с Ваненко?

— Та их самых...

Названным предпринимателям на юге принадлежали целые сотни сахарных и винокуренных заводов и обслуживающих эти заводы плантаций. Все население вокруг них было в такой экономической зависимости от этих плантаторов, что в атмосфере общего произвола и бесправия они без всякого стеснения угоняли в ссылку через свои конторы всех неугодных им лиц, ибо сельские общества не смели ни в чем им перечить. Легко себе представить, однако, и то, какую благодарную почву такой произвол создавал для нашей агитации в соответствующей среде.

Своеобразный тип «политического преступника» представлял собой и еще один из наших попутчиков на север — дряхлый, полуслепой старик 70 лет, Григорий Азанов. Старика угнали в ссылку на три года с Узянского завода на Урале. Завод принадлежал фирме «Вогау и К°» и давно уже работал только для проформы в одну домну, да и то такую, что «кузницы лучше бывают». Сто человек работало, а полторы тысячи гуляло. Контора Вогау гораздо больше интересовалась крестьянскими росчистями, чем своим заводом. И, пользуясь крайней запутанностью посессионных взаимоотношений с крестьянами еще со времен крепостного права, она храбро повела атаку на чужие росчисти. Земский начальник сразу же привлек узянцев к суду за «самовольное сенокошение» на их собственных росчистях, и пошла писать губерния. Однако тяжба затягивалась. Тогда контора пустила в ход новый козырь. На заводе появились какие-то сомнительные «царские грамотки». На дороге нашли какие-то провокационные «афишки», в которых, по словам Азанова, значилось: «Узянцы, собирайтесь, мы готовы!»

Кто сочинил эти нелепые афишки, неизвестно. По соображениям Азанова,— скорее всего сама контора. Но это был июнь бурного 1903 г. Прикатили жандармы. Собирался прикатить и сам губернатор с двумя сотнями казаков — «русскую христианскую кровь пролить», но узянцы встречали начальство с хлебом-солью, *на коленях*. И казаки не понадобились. А жандармы при содействии конторы все же нашли виновников. Ими оказались в качестве заведомых «скандальщиков» и наиболее упорных тяжебщиков пятеро стариков от 50 до 75 лет и в их числе наш попутчик. Тяжба узянцев после этого, конечно, заглохла. Но наглядный урок политграмоты едва ли прошел бесследно.

В Рыбинской тюрьме при первом ее посещении не обошлось без приключений. Нас поместили в женской камере. Женщин, даже с грудными детьми, переселили в пустовавший карцер — без нар и всякой иной мебели. Узнав об этом, мы запротестовали. Нельзя же, мол, людей без всякой причины сажать в карцер. Разозлившееся начальство обещало и протестанта посадить туда же, обратившись к нему грубо на «ты». Мы не остались в долгу. Произошла «размолвка» с забавным продолжением на ближайшей поверке. Мы уже ждали его и были готовы ко многому. Нас было всего семеро, но все здоровые ребята, как на подбор. Особенно хороши были трое литовцев — С. М. Валюкевич, А. М. Квашис и Ф. В. Эйдукевич — крепкие, как молодые медведи. Не плохи были и остальные. Мог постоять за себя даже юный толстовец И. П. Попов, несмотря на свою теорию непротивления. Было решено не давать себя в обиду. Вечером на поверку ввалился начальник тюрьмы с тремя надзирателями и раздалось обычное:

— Встать, смирно!

Никто из нас и ухом не повел.

— Взять его в карцер!.. — скомандовал начальник, указывая на ближайшего к себе толстовца Попова.

Надзиратели схватили его за руки. Но тут уж мы зашевелились. Двинул плечом Валюкевич. Опустился, как молот, на руку другого надзирателя кулак Квашиса. Надзиратели отпрянули.

— Вызвать весь надзор!..— опять скомандовал начальник.

Но у дверей на страже уже стояла тройка наших литовцев, и приблизиться к двери не решился ни один из тюремщиков. Впрочем, тюрьма была маленькая и весь надзор состоял из девяти человек, из которых на дежурстве состояло одновременно не больше трех, и, стало быть, все они уже были здесь налицо. Видя, что взять нас на испуг не удалось, и не желая большого скандала, начальник быстро переменил свою тактику.

— Ну, не ожидал я от вас этого! — начал он вдруг изумляться...— Разве так ведут себя верноподданные?

— Кто это верноподданные? — возмутился кто-то из нас.— Разве нас за верноподданность доставили в ваш клоповник?

— Ах, вот что?..— еще больше «изумился» начальник.— В таком случае очень сожалею... Извините, что я имел честь с вами разговаривать,— с нарочитой иронией раскланялся он с нами и... благородно удалился.

Мы ему не препятствовали. Кстати сказать, в дальнейшем он вел себя с нами вполне корректно. И мы ему отвечали тем же. А при вторичном посещении нами его богоугодного заведения, на обратном пути из Вологды, он оказал нам даже небольшую услугу. Дело в том, что из Ярославля в Рыбинск вместе с нами прибыл некий цыган, Чепи́ль, будто бы высланный за крестьянские беспорядки из Полтавской губернии. Он не внушал нам особого доверия, но мы все же поверили ему. В Рыбинске нам сообщили, что Чепиль — уголовный, высланный за грабеж, и хотели посадить его с уголовными. Мы, однако, усомнились в этой информации и, отстояв Чепиля, оставили его в своей камере. Не заподозрили мы его даже тогда, когда наш толстовец пожаловался, что у него стащили кошелек из кармана. И, конечно, никому не позволили бы его обыскивать. Однако начальник тюрьмы, вызвав его под каким-то выдуманным предлогом в контору, велел обыскать, нашел украденный кошелек и с торжеством самолично вернул его пострадавшему. К нашему крайнему смущению, мы уже не могли больше отстаивать честь этого «мнимого политика».

Пользуясь всяким удобным поводом, мы не упускали случая поагитировать и своих конвоиров, и постороннюю публику повсюду, где

только это удавалось. Помнится, например, такая беседа. Ехали мы на «Маруське» в каюте второго класса по каналу в Белозерск. Народу в каюте было много. И кто-то из нас сразу же начал разговор на злобу дня:

— Говорят, опять большой заем нам понадобился...

— Не-ет, не слыхать. Зачем нам занимать. У нас своих хватит...— сразу поддается на удочку толсторожий рыжий пассажир с елейным выражением лица и медлительными ухватками.

— Как нет?..— подхватывает другой политик.— Заем в целых 300 миллионов. Видно, дела-то наши не блестящи... Разве Вы не читаете газет?

— Не читал я, не знаю...— возражает рыжий.— А только дела наши вполне даже отличны.

— Так ли это? — снова поддевает политик.— А что же это все жалуются в газетах, что и флот у японцев сильнее, и артиллерия образцовая, и солдаты сознательней...

— У японцев и флот, и пушки, и солдат с рассуждением,— невозмутимо возражает рыжий.— А у нас свой православный бог. Нам и рассуждениев этих не надо. Яко с нами бог! Разумейте, языци, и покоряйтеся!..— закончил он торжественным тоном.

— То-то в надежде на бога наши, должно быть, и потопили свои суда в Порт-Артуре и побросали свои пушки под Тюренченом... К чему нам пушки, коли с нами бог...— язвил рыжего застрельщик разговора

— А языци, как на грех, не разумеют этого, дурни, и не покоряются...— подхватил другой.

Публика помалкивала, но улыбалась. Рыжий насупился и, не видя себе ни в ком поддержки, заявил с притворной скромностью:

— Не-ет, я не могу с вами разговаривать. Не могу, не-ет...

— А не можешь, так нечего было и начинать,— пробурчал из угла недовольный голос какой-то чуйки.

Разговор продолжался некоторое время без него. Мы указывали на печальные экономические последствия войны. Государственный долг растет, налоги тоже, бюджет уже сокращен на 134 миллиона, в том числе и за счет сумм, ассигнованных на продовольствие и семена голодающим крестьянам в ряде районов, пострадавших от неурожая. Говорили, что крестьянам придется, видно, не только кровью своих сыновей, но и собственным голодом расплачиваться за какую-то неведомую им Маньчжурию. Рыжий не стерпел и снова ввязался в разговор:

— Ну, уж голода у нас еще никогда не бывало и не будет...

— Позвольте,— сразу же перебило его несколько голосов из публики.— Как это не бывало? А 91-й год?.. Да и теперь чуть ли не через два-три года то в одной, то в другой губернии недоедают.

— Не-ет...— упрямо тянул рыжий, частично сдавая, однако, свои позиции.— В нашей губернии этого не бывало. У нас благодаря богу хлеба всем хватает.

— Ну, положим, Тихон Макарыч,— раздался вдруг несмелый голос из публики.— У Вас, оно, конешно, как Вы управитель и все такое прочее, хватает. А у крестьян даже очень часто не хватает.

Разговор смолк на минуту. Вспомнив о Париже, я стал напевать потихоньку подмывающий веселой энергией мотив «Карманьолы» с ее угрожающим припевом:

Oh, ça ira, ça ira, ça ira...
Tous les bourgeois à la lanterne!

---

[1] «О, к тому идет, идет, идет...
Всех толстосумов на фонарь!»

Тихону Макарычу понравился мотив. И он не удержался от похвалы дружественной нации. Веселый-де народ эти французы. Но, когда наш толстовец любезно поспешил перевести ему на русский язык смысл этого припева, огорошенный неожиданностью Тихон Макарыч развел руками.

— Как же это так?.. «Всех толстосумов на фонарь»... Да за что же? За то, что они добились своего, может быть, великим трудом и пóтом? Уж не поделиться ли им своим добром со всяким лежебокой из нищей братии? — все более возмущался рыжий.

— Стало быть, все бедняки — лежебоки? — подзадорил его один из нас.

— Совершенно так...— оживился рыжий.— Трудом всякий добьется всего. Кийждо приемлет мзду свою по своим трудам. Только лежебокам и пьяницам ничего не дается.

Тут уже не стерпел один из пассажиров, потомственный землероб, и со страстью и злобой стал рассказывать, как он «лентяйничал» в деревне с семи лет в поте лица своего и чего добился за полвека трудовой жизни впроголодь..

— Э, да что с ним говорить! — снова возвысила из угла свой голос чуйка.— Он ведь, как родился, сразу же попал на все готовое, на чужое. Его отец-то священствует у нас, мирским добром кормится.

Настроение всей аудитории явно склонялось в нашу сторону. Рыжий попович, однако, долго еще не сдавался, заладив снова на все наши реплики свое тягучее:

— Не-ет, не-ет... Не могу я с вами разговаривать...

Но тут уже и наш старший конвоир, давно недружелюбно поглядывавший на поповича, окончательно вышел из себя и цыкнул на него:

— Довольно уж. Коль не можешь говорить, так и замолчи. Нечего трепаться.

Беседа затихла, ибо «Маруська» подходила уже к пристани. Поднявшись вместе с другими на палубу, сконфуженный Тихон Макарыч поймал за пуговицу нашего толстовца и усиленно старался убедить его, что он тоже много читал «всяких» книжек, и даже господина Льва Николаевича «Воскресение» читал, как он там о суде рассуждает, и все такое понимать может.

— Ну что же? — спросил его толстовец.— Разве неправду он пишет?

— Нет, правда-то оно все правда. Да только какое ему дело до этого? С него ведь не спросят,— ответил «все понимающий» читатель Толстого.

Таков был этот не особо приглядный тип, списанный мною с натуры, без всякой ретуши. Он был, конечно, ярым защитником господствующего режима. Но его фальшивая защита лишь облегчала наше нападение. И поистине плохи были шансы того режима, у которого уже не хватало *лучших* защитников.

Из Белозерска в Вытегру нам предстоял последний совместный переход всей компании под воинским конвоем, ибо после Вытегры наши пути разошлись уже в разные стороны. Наш конвой и здесь, как и на всем почти пути, шел без офицера, и мы с ним ладили наилучшим образом. Погода на всем нашем пути с 4 по 15 мая была превосходная. И этот последний период нашего этапного путешествия был, пожалуй, для нас всех самым приятным, ибо мы уже почти не чувствовали себя под замком. Утром 4 мая мы все уже были готовы к походу. Для нашего багажа и продовольствия с нами шла пароконная подвода, на которой могли при желании разместиться и все «политики», хотя большинство из нас предпочитало пешую прогулку. Конвой и уголовные шли пешком. Во дворе тюрьмы весь казенный церемониал соблюдался со всей строгостью. На уголовных звенели кандалы. Раз-

далась команда: За-ря-жай! Затем последовало грозное предупреждение:

— Слу-шай! Кто будет бежать, в того будем стрелять!

Но, как только мы вышли за околицу, послышалась новая команда.

— Стой! Разряжай! Кандалы долой!

И моментально все винтовки, а также и кандальные цепи оказались уже на телеге, под нашей охраной. А освобожденные от лишней тяжелой обузы конвойные и конвоируемые весело и легко шагали уже с шутками и прибаутками вне всяких уставных регул и предписаний.

Конечно, никто из нас не собирался подводить такой добротный конвой побегом с дороги. Тем более, что с места ссылки это можно было сделать легче. Но поведение конвоя нам было очень понятно. Уж больно не по душе любому простолюдину, даже в солдатской шкуре, была у нас всякая казенщина, со всеми ее вяжущими узами и шаблонами. Не вмещается, видно, эта душа в их слишком тесные для нее габариты. Но зато, думалось нам, каких только чудес она не натворит в грядущем, вылезая из всех сдерживающих ее нормативов, свободная от всякого внешнего принуждения, раскованная от всех тормозящих волю штампов, рогаток и прокрустовых лож!.. А впрочем 1917 год уже показал нам некоторые возможности таких, раскованных революцией солдатских душ.

По вечерам и на дневках наш конвой предоставлял нам самый широкий простор самодеятельности. Мы свободно растекались по всему селению, пели революционные песни, агитировали. Наш толстовец И. П. Попов пытался даже спропагандировать какого-то попа. Батюшка, казалось, все усваивал от своего учителя на лету, с полуслова. Но на поверку вышло, что он только собирал материал для доноса на нас и наш конвой — в надежде получить за это через благочинного крест или хоть камилавку. Уголовным предоставлялось меньше свободы из опасения, что они напьются и накуралесят. Но без скандалов с ними все же не обходилось.

Помню, например, такой случай. Шли в нашей партии в числе других два уголовных попутчика типа горьковских босяков — Бобров и Ломашев. Бобров, еще очень молодой и симпатичный красавец из так называемых спиридонов-солнцеворотов, крепко дружил с Ломашевым, по прозванию «Кабацкая тряпка». Но вот однажды на дневке является к нам Бобров в надетых на руки за спиной кандалах, весь в синяках, с разорванной рубахой и в самом растерзанном виде. Оказалось, что его лучший друг — «Кабацкая тряпка» стащил у него его костюм, в котором Бобров собирался щегольнуть у себя на родине, в Вытегре, и пропил его. Обиднее всего, однако, показалась Боброву не сама кража, а то, что приятель даже не угостил его добытой таким образом водкой. Друзья подрались, конечно, и конвой для успокоения на обоих надел кандалы. Впрочем, явившись к нам, Бобров уже забыл свою обиду и самым добродушным образом демонстрировал нам, как легко он может даже без ключа снять и снова надеть на себя эти тюремные браслетки хоть десять раз подряд.

Проделывал он этот труднейший номер артистически. И казалось, что такого артиста никакие оковы не смогли бы удержать в неволе. Тем легче было сбежать каждому из нас от нашего конвоя на дневке или в дороге. Но подводить хороший конвой побегами в дороге не позволяет даже воровская этика. Это понимали и мы, и конвой. И это взаимопонимание вполне заменяло нам тот неписаный «общественный договор», без которого не мыслится никакое общежитие.

15 мая нас всех преблагополучно доставили, наконец, в Вытегорскую тюрьму. Через три дня, распрощавшись со всеми попутчиками и друзьями, я с женой отправился дальше с одним лишь провожатым.

А еще через три дня мы были уже у себя «дома» в Ведлозере. Здесь уже некому было держать нас под замком, и мы почувствовали себя свободными, как птицы, вырвавшиеся из клетки.

12. ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ

Место нашей ссылки, карельский поселок Виэл-Ярви у озера того же наименования отстоял от уездного центра — Олонца верст на 60 и от ближайшего почтового отделения — верст на 30. Место было дикое и глухое, хотя по-своему и очень живописное. Лесная глушь с перелесками вокруг большого озера, дальний берег которого скрывался в туманах, гранитные скалы, полуобросшие мхом, звонкие ручьи, срывающиеся с этих скал журчащими каскадами... Весь этот северный дикий ландшафт: и вечно белесый небосвод, и такое прохладное здесь лето, и томительно белые ночи, и даже смолистый свежий воздух, наполняющий грудь,— все полно было легкой поэтической грусти... Часто хмурилось здешнее небо. И всегда хмурились — без проблеска улыбки среди суровой природы — угрюмые лица здешних людей. По внешнему облику и одежде местные карелы ничем не отличались от привычных нам мужичков средне-русской полосы. Но характер, язык и нравы этих ближайших сородичей финнов были совсем иные. Они не знали крепостного права и помещиков. И потому ни пред кем не ломали шапок. Не знали они также ни воровства, ни обмана. А потому их дома обходились без замков и запоров. Но чужды были им и великорусская добродушная хитринка, и украинский незлобивый юмор. Нравы были как раз подстать дикой и суровой природе. Еще по дороге к месту ссылки нам рассказали в одной деревне о том, как двое приятелей в пьяном задоре «в шутку» перепилили третьего надвое... Столь невеселые шутки могут прийтись по вкусу только очень непритязательным юмористам. Можно себе представить, однако, на что способен такой народ под сердитую руку, если даже его «шутки» столь смертоносны.

Осмотревшись на новом месте, мы скоро поняли, что, удалившись от столицы всего километров на триста, мы отошли вместе с тем и в глубь времен по меньшей мере лет на триста. Судя по всему, здесь протекал еще XVI или XVII век. Достаточно сказать, что здесь еще безраздельно господствовала *подсечно-огневая* система земледелия. Земли было до черта, а пашни — на грош, ибо ее приходилось отвоевывать у леса слишком архаическими средствами. Еще зимой приходилось подрубать и валить весь лес на облюбованной делянке. Затем ранней весной его поджигали, но он упорно отказывался гореть. Приходилось сваленные бревна вперемежку с кустарником сгребать в костры, и передвигая их вручную от края до края, обжигать таким образом всю делянку. Возвращались люди с этой работы все черные от дыма и копоти, густо замешанной обильным соленым потом. Это был воистину адский труд. А затем эту делянку нужно было еще кое-как всковырять сохой, пробираясь с ней меж обогорелых пней, цепляясь за корни и на каждом шагу натыкаясь на камни. Посев зерна и уборка его вручную, серпом, уже не составляли такого труда. Но в общем весь урожай с крохотной делянки являлся обычно лишь подсобной статьей пищевого баланса семьи. А основными его статьями оставались молочные и рыбные ресурсы в виде целых закромов сушеных «мальков», а также тот подножный корм, который обильно произрастал здесь повсюду: брусника, черника, земляника, куманика, морошка и клюква, ежевика и лесная малина, грибы и орехи. Особо лакомым блюдом была ароматная царица ягод — куманика, наиболее обильным — брусника. Богаче всего этот подножный корм был здесь, конечно, летом. Но кое-кому из нашей братии ссыльных, получавших на все и про все казенное пособие в полтора целковых на месяц,

приходилось подкармливаться им и зимой, добывая себе из-под снега спасительные запасы клюквы.

Благодаря обилию леса у всех крестьян были просторные дворы и избы, а также бани, в которых жители обоего пола всегда мылись совместно. Но зато во всем поселке не было еще ни одной телеги. А когда нас впервые доставили сюда из города на телеге, то все ребятишки бежали за нами, показывая пальцами на колеса, с изумленными возгласами: «Качовай, качовай!..» (смотри, мол, смотри, вот какая диковина!) Сами карелы возили свою кладь зимой на санках, а летом — на волокушах, т. е. на паре длинных оглоблей, куда на одном конце впрягалась лошадь, а на другом, с двумя перекладинами, размещалась кладь, передвигаемая волоком по земле. Колес не требовалось за полным почти отсутствием проезжих колесных дорог. К тому же в условиях глубоко натурального хозяйства здешним крестьянам и выезжать-то за пределы околицы почти не приходилось. Только поп с дьячком и просвирней на лодке по озеру или верхом на лошадках периодически совершали объезд всех селений своего прихода «за ругой», собирая посильные даяния своих прихожан зерном, мальками, сушеными грибами и прочей снедью и возвращаясь домой с громоздкими вьюками добычи. Грузная просвирня в седле держалась при этом не хуже древних былинных палениц или амазонок. Да и вообще весь быт был полон отпечатков прочно законсервированной наивной седой старины.

Когда меня с женой доставили сюда, выяснилось, что местные жители никакого представления о политических ссыльных не имели. Засылались в эти палестины до войны только уголовные элементы. Поэтому просвирня, относившая себя к местной аристократии и выполнявшая роль наиболее осведомленной местной газеты, при первой же с нами встрече поспешила нас порадовать, что в соседнем приходе тоже проживает наш собрат — того же поля ягода.

— Там тоже ссылочный живет... Церковь он обокрал, что ли? — тотчас же объяснила она его специальность.

С большим пиететом отнесся к нам специально приставленный для надзора, на случай побега, десятский. Заглянув к нам и в окно и в дверь, он с особенным вниманием оценил наше скромное достояние: одеяло с подушкой, корзинку с бельем и книгами и большую настольную керосиновую лампу. Эта лампа, чуть ли не единственная на все селение, довольствовавшееся коптилками, а то и лучиной, возбуждала всеобщее восхищение. Ее не раз выпрашивали у нас впоследствии на вечерок по случаю свадебных и тому подобных торжественных празднеств. Лампа окончательно пленила сердце простодушного десятского.

— Разве от такого добра убежишь? — решил наш страж, оперируя в качестве тонкого «психолога» методом самонаблюдения. И в качестве последовательного мыслителя он очень кстати для нас сразу же отказался от всякого иного, более обременительного наблюдения за нашими частыми отлучками из дому и поселка.

Исчезнуть совсем из сферы воздействия этого психолога в таких условиях ничего не стоило. Но удирать снова за границу уже не было охоты, а для подпольной работы требовались надежные паспорта, в ожидании которых я решился заняться на свободе литературной работой. Паспорта пришлось ждать очень долго. И за это время я успел не только написать свою первую книжку — «Богатство и труд», но и благополучно выпустить ее в свет в начале 1905 г., что было много труднее. Помогли этому крупные события. Прежде всего революционное брожение в стране в связи с поражениями царизма в русско-японской войне все усиливалось, захватывая уже не только народные низы, но и либеральные верхушки общества. И когда Егор Сазонов 15 июля 1904 г. поразил своей бомбой опору реакции — самого шефа полиции фон Плеве, в дворцовых кругах

началось смятение. Возлагать дальше все надежды на одну лишь полицию, которая не смогла сохранить даже собственных своих шефов, было слишком рискованно. Решено было привлечь на свою сторону хотя бы так называемую либеральную оппозицию. И вот на место Плеве был призван к власти Святополк-Мирский, открывший новую эру «либеральной весны». Эта эра ознаменовалась, между прочим, некоторым смягчением цензуры, а также частичной амнистией по случаю рождения «наследника престола», никогда его, впрочем, не унаследовавшего. Лично мне эта «весна» позволила перебраться из Виэл-Ярви в Олонец, т. е. в значительно более благоприятные условия труда и быта. А жена вскоре получила здесь и полное освобождение от надзора.

Прежде всего мы могли уже свободно объясняться со всеми на общедоступном русском языке, ибо в городе преобладало русское население. В Виэл-Ярви это было гораздо труднее. Взрослое население там вовсе не знало русского языка, а школьники, побывавшие в русской школе, основательно его коверкали. Они сообщали, например, что у кого-то «сертучок сломался», или пели: «Мама чою, мама чою, палавина кафею!»... И все это сходило за русский язык. В Олонце все говорили по-русски. Но сверх того мы нашли здесь ряд товарищей по ссылке, с которыми нас сближал общий язык не только знакомых слов, но и созвучных убеждений. В Олонецкой губернии было немного политических, но в 1904 г. среди них находились столь известные впоследствии люди, как М. И. Калинин и А. Д. Цюрупа. Тогда трудно было еще себе представить, что из опального провинциального агронома Цюрупы выработается вскоре образцовый председатель союзного Госплана или что скромный путиловский токарь Калинин, с которым я впервые познакомился еще на пути в ссылку, возглавит на много лет в качестве президента первое в мире социалистическое государство. Но последующие многократные встречи с этими заслуженными большевиками убедили меня, что это было вполне закономерное их продвижение в Стране Советов. В самом Олонце я застал всего трех товарищей по ссылке. Один из них, покойный Б. Б. Веселовский, бывший московский студент, а затем крупный ученый, экономист и историк земства, работал тогда в Олонце над первой своей книгой о борьбе классовых интересов в недрах дворянских земских учреждений [1]. Тут же обретались еще рабочий-сапожник Андрей Александрович Готовицкий, высланный из Соколова, Седлецкой губернии, и уже упомянутый выше землероб с Украины Максим Васильевич Юрченко. Кроме того, часто навещал нас живший неподалеку от Олонца рабочий Иван Сафоныч Пучков.

Поселились мы с Соней вместе с семьей милейшего Готовицкого в одной квартире и прожили дружной коммуной без малейших недоразумений вплоть до моего побега из ссылки. Жизнерадостный Андрей Александрович частенько рассказывал нам, сидя за работой, какие-нибудь любопытнейшие истории из своей жизни, то и дело призывая жену или сына Чесю, лет десяти, в свидетели полной точности своих воспоминаний. У него почти всегда находился, хоть и грошовый, заработок по починке обуви. Я тоже не отказывался ни от какой платной работы, когда она подвертывалась. В Виэл-Ярви я кое-что подработал статистическими подсчетами числа рождений, смертей и браков по церковным приходским книгам, ибо в этом деле у меня не нашлось конкурентов. В Олонце поработал весной на сплаве, выкатывая из речки и складывая в штабеля тяжелые и скользкие бревна. В этой работе у меня оказалось уже немало более опытных конкурентов. Но силенок и здоровья у меня хватало. И кажется, что я ни от кого не отстал в этом трудном для меня соревновании и даже не схватил насморка, хотя с раннего утра до позд-

[1] Б. Б. Веселовский. К вопросу о классовых интересах в земстве. СПб., 1905.

него вечера приходилось торчать в холодной весенней воде. Впрочем, подобные случаи платной работы подвертывались нечасто. И потому у меня хватало времени и для творческой работы над своей рукописью. Кое-что мы все же зарабатывали с Андреем. Кое-что присылали и жене из дому. И в общем мы никогда не голодали в нашей маленькой коммуне. Гораздо хуже пришлось Максиму, прожившему целую зиму в деревне. За отсутствием работы и недостатком хлеба он подкармливался там лишь большими запасами на лоне природы даровой подснежной клюквы. Несмотря на высокую ее витаминозность, отощал Максим на таком подножном корму до последней степени.

Прибыв из деревни в Олонец, Максим Юрченко стал очень частым гостем в нашей коммуне. Хотя по календарю все еще числился 1904 год, но затянувшаяся до осени либеральная «весна» Святополк-Мирского, сильнее взбудоражив общественные настроения вместо ожидавшегося успокоения, явно отцветала в преддверии грядущего, еще более бурного девятьсот пятого года. Максим жадно прислушивался к нашим беседам и все более ободряющим вестям из столицы. Однако бывшему стражнику даже тюрьма и ссылка не вправили как следует его патриархальные мозги. Потрясение нами в этих беседах всех привычных ему земных авторитетов приводило его поначалу в священный трепет. Но собственный опыт общения с властями предержащими от урядника до губернатора все же облегчал ему восприятие принципов демократии. Легче усваивал он идеал социально-экономического переустройства, необходимость которого ему подтверждал совсем свежий опыт собственного пустого брюха и кислые воспоминания о подснежной клюкве. Но Максим еще весь был во власти религиозных представлений темной деревни. Евангелие и псалтырь, хотя он и не читал их никогда, были для него уже потому непререкаемой святыней, что их читал дьячок в церкви с амвона. Можно себе представить поэтому весь святотатственный ужас и негодование этого бородатого дитяти природы, когда при нем однажды прочел кто-то из нас известное стихотворение Генриха Гейне — «Ткачи». Когда чтение дошло до последней строфы, где, кляня свою судьбу и всех ее виновников, ткачи шлют свое проклятие:

Проклятие богу тройное мы шлем!
Мы ткем, неустанно мы ткем...

наш Максим вдруг побледнел, как полотно. Его всего затрясло мелкой дрожью. Он схватил свою шапку в охапку и молча пулей вылетел в дверь. Мы сначала не поняли, в чем дело. Думали, что он заболел. Тем более, что его долго никто из нас не видел. Наконец, он вернулся все же к нам, в нашу коммуну, единственное место, где его всегда встречали с дружеским участием, и рассказал нам о своих переживаниях. В первый момент услышанное им проклятие показалось ему столь чудовищным кощунством, что он готов был в аффекте убить чтеца. И, несомненно, простодушный Максим натворил бы больших бед, подвернись ему тогда под руку топор или иное смертоносное орудие. Выбежав от нас, он сгоряча ушагал далеко за город и лишь там, на свежем воздухе, несколько опомнился и начал размышлять. На кого же он так осердился? На чтеца? Да ведь он читал чужой стих. На поэта? Но разве он не правдиво передал нам страданья ткачей? На ткачей? Но разве у рабочего мало оснований возроптать на безвинно гнетущую его тяжкую долю? Нет. Максим не мог обратить свой гнев против ткачей. И ему захотелось сразу же вернуться обратно в нашу компанию.

— Так что же ты не вернулся, леший! — набросились мы на него.

— Стыдно было своей глупости,— каялся Максим.— Боялся, что засмеете меня.

Но мы и не думали смеяться. А я лично воспринял этот случай как поучительный урок нашему брату — пропагандисту. Урок — как *не надо* вести антирелигиозную пропаганду. Урок — как осторожно и чутко следует подходить к чужим верованиям и даже предрассудкам. Урок — как неразумно и неделикатно начинать в этом деле с оскорбления религиозного чувства верующей души.

Тем временем газеты приносили нам известия о новых и все более тяжелых поражениях царизма на реке Ялу, под Ляояном, у Шахэ. Роняя престиж бездарного правительства, эти поражения рождали дух протеста даже в наиболее умеренных кругах оппозиции. Даже «верноподданнейшие» земцы, которым еще десять лет назад царь бросил прямо в лицо оскорбление, обозвав их либеральные мечтания бессмысленными, теперь, в ноябре 1904 г., после Шахэ, решились уже и на *подпольный* съезд и все смелее сотрясали воздух крамольными речами на бесчисленных банкетах с обильными возлияниями. А после предательской капитуляции Стесселя в Порт-Артуре, прозвучавшей по всей стране как самая звонкая пощечина самодержавию, против него двинулись в бой и гораздо более мощные революционные ополчения. 7 января 1905 г. в С.-Петербурге началась историческая всеобщая забастовка, в которой уже на второй день приняло участие около 120 000 рабочих, а через несколько дней по всей стране это число приближалось уже к половине миллиона.

Не моя задача описывать драматические события, сопровождавшие это мощное движение. Мне не посчастливилось быть их свидетелем и участником. К тому же они хорошо всем известны. Но в ссылке, получая издалека лишь самые скудные о них весточки, мы переживали их, вероятно, еще острее, чем многие из непосредственных свидетелей и очевидцев, ибо издалека эти события раскрывались перед нами в гораздо более широкой перспективе. А вести эти были одна другой ярче и многозначительнее. Вот, например, дошли до нас отдельные строки пламенно скорбной петиции питерских рабочих к царю.

«Настал предел терпению,— писали они ему решительно.— Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук... У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу».

Эту петицию собиралась нести к царскому дворцу стотысячная колонна рабочих во главе с попом, церковными хоругвями и иконами. Но разве эти мирные аксессуары могли успокоить темную совесть самодержца, перед которым уже реяли памятные тени 89-го и 93-го годов во Франции? Ведь Зимний дворец был не крепче Бастилии, разрушенной безоружным народом. Русские рабочие в тот момент еще не окончательно изверились в царе. Формально они еще обращались к нему с мольбой, как к «отцу». В этой мольбе, однако, уже таилась хоть и недосказанная, но страшная угроза. От отца ждали, что он «повелит» удовлетворить нужды рабочих, добровольно отказавшись от всех прерогатив самовластия. Это было наивно, конечно. Но вслед за тем ему писали:

«...А не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу,— мы *умрем* здесь, на этой площади, перед твоим дворцом».

От отца не ждут напрасной смерти покорливые дети. А тем, от кого можно ее ждать, не оказывают особого доверия и не отдают своей жизни без борьбы. Вместе с тем, зная ближе характер этого «отца», нетрудно было предугадать и его отеческий ответ на такую «мольбу». И мы с трепетом ожидали развязки.

Этим ответом было Кровавое воскресенье — 9 января. Жалкий монарх струсил и, укрывшись от своих верноподданных, потопил в их крови последние крохи обманутого их к себе доверия. Святополк-Мирского с его обманчивой «весной» и «доверием» поспешно убрали, прикрывшись

откровенным палачом Треповым, девизом которого, как известно, было *«патронов не жалеть»* для народа. И их не жалели 9 января. Царская гвардия, так и не понюхавшая в эту войну японского пороха, поскольку ее приберегали для службы на более опасном царю внутреннем фронте, на этот раз оправдала его надежды, одержав над своими безоружными братьями блестящую победу. И о ней сразу же пошли по рукам сложенные кем-то сатирические строки:

Вот, наконец, сошел на наши флаги
Победный луч удачи боевой.
Там, в Порт-Артуре, отдали мы шпаги,
Зато на Невском, полные отваги,
Мы ринулись — и выиграли бой.

Вместе с потрясающими известиями о событиях 9 января до нас дошли и нелегальные фотооткрытки с портретами и воззванием отца Гапона, в котором этот вчера еще верноподданнейший, а ныне уже архикрамольный поп, входя в свою новую роль «революционера на час», истерически взывал к своей новообретаемой пастве:

— Бомбы! Динамит!.. *Все* разрешаю!

От великого до смешного — только один шаг. И этот шальной поп явно его перешагнул. Сам ставший игрушкой переросших все его ожидания событий, этот раздутый ими мыльный пузырь все еще мыслил себя властителем дум своей недавней паствы, в то время как он давно уже бесславно лопнул в ее глазах. Поэтому сей запятнанный кровью обманутых им жертв авантюрист не мог претендовать теперь на внимание какой-либо старой или новой паствы. И, пытаясь в припадке мании величия все еще от своего имени что-то кому-то властно «разрешать», этот развенчанный пастырь, естественно, вызывал у нас только кривые улыбки. Но совсем иные, радостные чувства вызывали у нас все новые вести о ширящейся по всей стране в ответ на царские расстрелы всеобщей забастовке...

Возникла в глухую январскую ночь
В сердцах, не дождавшихся чуда,
Шепнула: «Отбросьте терпение прочь —
Терпенье и вера не в силах помочь,
Не ждите чудес ниоткуда»...
И клич этот громко, как звучный упрек,
До чутких сердец достигает.
Смолкают машины, смолкает станок,
И север, и запад, и юг, и восток
Могучими «здесь» отвечают.
То — гром переклички гремит над страной,
То — смотр всенародной дружины.
Все дальше, все шире катится волной:
«Мы здесь!» — «Мы готовы!» — И близится бой,
И стелется дым по равнине.

Эти вдохновенные строки Е. Тарасова, опубликованные еще в том же 1905 году, вполне созвучны тогдашним нашим настроениям. Волнующий гром пролетарской переклички в наших ушах звучал мощнее и грознее тысяч динамитных бомб. В нем слышались нам и отходная издыхающему деспотизму, и победный гимн близящемуся освобождению.

А между тем удары по царизму в этом памятном 1905 году так и сыпались со всех сторон. Еще в самый разгар всеобщей забастовки, 4 февраля, пал от руки революционера И. П. Каляева вдохновитель расстрелов рабочих в Кровавое воскресенье великий князь Сергей Александрович. В начале марта царизм потерпел новое поражение — под Мукде-

ном. Еще большим для него поражением был разгром русского флота в мае у Цусимы. В. И. Ленин оценил его как полный военный крах самодержавия [1]. Совершенно сказочное впечатление какой-то феерии произвело на нас потемкинское восстание черноморцев 14—24 июня, в результате которого русская революция впервые обрела свой собственный краснознаменный броненосный флот. Бесплодное ожидание в такое время давно обещанного паспорта для побега стало для меня уже нестерпимым. И я с риском провала уже в мае пятого года снова появился в столице.

О фракционных разногласиях между большевиками и меньшевиками, возникших в нашей партии на втором съезде в связи с различной трактовкой 1-го параграфа партийного устава, я знал только понаслышке. Вполне разделяя при этом взгляд большинства, что для члена партии обязательно активное участие в работе одной из ее организаций, а «сочувствующих» лишь задачам партии так и надлежит именовать сочувствующими, я отнюдь, однако, не хотел раскола партии в столь ответственной революционной ситуации.

Мне казалось, что тактика единого фронта в условиях пятого года целесообразнее любых фракционных делений и распрей. Первым, кого я встретил в Питере, был Л. М. Хинчук, именовавшийся тогда Иван Иванычем. Он предложил мне роль организатора Василеостровского района. Раздобыв себе паспорт, я принялся за работу. Вся партийная работа строилась теперь совсем по-иному, чем пять лет тому назад. Вместо мельчайших пропагандистских кружков 1900 г. с их кустарной обработкой чуть ли не каждого рабочего в отдельности теперь мы устраивали большие «массовки» с сотнями рабочих где-нибудь в лесу, за городом и там обсуждали текущие программные и тактические злобы дня.

Место массовки в интересах конспирации заранее никому, кроме организаторов ее, не было известно. Указывалось только место встречи с первым патрулем, скажем в 100 шагах севернее станции Удельная, а также опознавательные знаки патруля, пароль и отзыв. Первый патруль направлял товарищей ко второму. И только второй или третий патруль направлял всех к месту общей встречи. Обычно эти лесные встречи приурочивались к праздничным дням и протекали в самой поэтической обстановке. Лесные просторы, вековые сосны и необычайно свежий ароматный воздух после спертой и душной атмосферы тесных рабочих каморок, а вместе с тем большие и подымающие проблемы, ради которых осуществлялись эти многолюдные прогулки и встречи,— все это заставляло сильнее биться наши сердца и смелее стремиться к желанной свободе. На одной из таких массовок, между прочим, был обсужден и царский манифест 6 августа о так называемой булыгинской законосовещательной Думе. Это был двойной для нас праздник. И потому, что манифест, несмотря на всю ублюдочность своих уступок народу, означал еще одно поражение абсолютизма, и потому, что на редкость единодушное решение нашей массовки, без каких-либо фракционных расхождений, бойкотировать мертворожденную этим манифестом Думу предвещало и следующее, еще большее поражение самодержавия.

Одна, а затем и другая из наших лесных массовок, несмотря на все предосторожности, были все же выслежены полицией. И нам по тревоге наших сторожевых постов пришлось спешно рассыпаться по лесу. Это была явная за нами охота. Предположив, что кто-то из нас водит за собой шпиков, мы решили организовать следующую массовку по-новому. На этот раз мы выбрали для нее место на взморье, далеко от берега, в камышах, куда добраться можно было только на яликах. А шпикам, после того как мы в условленный час разобрали на пристани все ялики,

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 252.

предоставлялось преследовать своих подшефных вплавь. Разумеется, ни один из них на столь рискованную операцию не был способен. Наши ялики, один за другим отчаливая от пристани, разбрелись по всему заливу, а затем спокойно направились в условленное место. Дело было к вечеру, и нам в лицо дул с моря легкий бриз. Пришлось налечь на весла. И наши взоры ласкал уж алый закат, когда, наконец, добравшись до места и укрывшись в камышах, мы открыли это своеобразное политическое собрание. Казалось бы, что здесь нас не ожидает никакой сюрприз. Но вдруг мы ясно услышали, что к камышам причаливает еще одна многоголосая флотилия. Примолкнув и прислушиваясь, мы готовы были уже к самой неприятной для нас встрече в этой камышовой западне. Ведь разбежаться здесь по воде «яко по суху» у нас не было никакой возможности. Но тревога оказалась совершенно напрасной. С подплывшей флотилии ясно раздавались возгласы:

— В борьбе обретешь ты право свое!

Это были шумливые социалисты-революционеры. И мы на их партийный лозунг уже весело и дружно ответили своим:

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Оказалось, что не нам одним пришла счастливая мысль соединить полезное с приятным в такой поэтической прогулке на взморье. Яликов они тоже нашли себе достаточно на другой пристани. А в камышах оказалось достаточно места и для двух политических собраний. И, таким образом, сделав свое дело, мы на этот раз уже без дальнейших приключений разъехались по домам.

Как выяснилось, однако, позже, от шпиков нам было много легче избавиться, чем от провокаторов. В нашу организацию втесался провокатор Доброскок, по прозванию «Золотые очки», и нам давно грозил провал. Это не шпики, а провокаторы наводили полицию на след наших лесных массовок. Но в лесу труднее было нас изловить, чем в квартире. И вот в 20-х числах августа на одном из организационных собраний, в небольшой рабочей квартирке, среди белого дня нас застигла-таки полиция. Собрание проходило в небольшом двухэтажном домике. Окна нашей квартиры выходили во двор. И, пока полиция ломилась в дверь, несколько человек из нас успело, выпрыгнув из окна, благополучно разбежаться в разные стороны. Но мне лично не повезло. Правда, я успел-таки выбраться через забор на соседнюю линию, добраться до ближайшего извозчика и, быстро миновав на нем все линии, вовсе убраться с Васильевского острова через Николаевский мост. Но тут, за мостом, когда, покинув извозчика, я готов был окончательно исчезнуть от слежки в проходном дворе, меня неожиданно схватили сзади дюжие руки, а перед моим носом вынырнул торжествующий шпик.

— Ах, попалась птичка! — злорадствовал этот гнусный субъект, предвкушая знатную награду за свой удачный поиск.

Но я взял себя крепко в руки и даже не плюнул в рожу этой гадине. Слишком много чести было бы оказать ей даже такое внимание... Очутившись снова, в третий раз, под замком в одиночной камере Выборгской тюрьмы, я почувствовал себя в привычной обстановке, как хозяин, вернувшийся с дачи на собственную зимнюю квартиру, хотя на этот раз мне и пришлось зазимовать в ней. Меня беспокоило только одно: сколько еще товарищей влопается, нарвавшись на полицейскую засаду в том же помещении, откуда я столь неудачно выбрался. Кстати сказать, одной из первых попала в эту засаду как раз моя жена. Забеспокоившись моим долгим отсутствием, она в тот же вечер побежала обо мне справляться в ту самую квартиру, где поджидали в засаде свою добычу жандармы и откуда она попала прямым трактом на Шпалерную, в «Предварилку». О собственном своем провале я и не думал. Были ведь на свете события поважнее.

Пусть, думалось мне, за врага ратуют целые сотни разных шпиков-доброскоков. На них далеко не ускачешь. За наше дело поднимаются ведь целые сотни тысяч бойцов из народа. И хотя я имел при этом в виду пройденный этап январской всеобщей забастовки, но в это время зрел уже новый, более высокий «девятый вал» рабочего движения того же года. Началось это великое дело, как потом рассказывали, с сущих пустяков, а именно: с экономического требования московских наборщиков оплачивать им в наборе не только буквы, но и знаки препинания. Однако в тогдашней атмосфере бесславно проигранной войны и бездарных маневров с никчемной булыгинской Думой и лишняя запятая могла сыграть роль искры в пороховом погребе. К забастовке наборщиков присоединились рабочие других предприятий. К экономическим требованиям прибавились политические. О запятых уже все забыли. А всеобщая забастовка все разрасталась. Вслед за фабриками забастовали железные дороги, телеграф и телефон. Вслед за рабочими потянулись и чиновники, инженеры, адвокаты. Прекратился выход всех газет. Остановился трамвай. Погас повсюду электрический свет. Еще 12 октября опора трона — Трепов пытался остановить стихию своим приказом: «Патронов не жалеть! Холостых залпов не давать!» А через три дня, 15 октября, у него осталось уже «одно упование на милость божию», и он уже сам рекомендовал царю объявить «прусскую конституцию». Наряду с растерявшимся царским правительством внезапно вырос властный Совет рабочих депутатов. И, таким образом, едва запнувшись о запятую, вчерашнее «самодержавие» явно теряло голову, с которой неудержимо валилась изъеденная молью державная шапка Мономаха.

Сидя в тюрьме под семью замками, мы не представляли себе, конечно, всего величия этого движения.

Мы не сразу узнали о забастовке. Но все подозрительнее перешептывались надзиратели, и все заметнее отворачивались от нас при встречах воровские взоры тюремного начальства. И скоро все объяснилось.

— Взгляните в окно,— простучал мне вдруг сосед по камере.— Как будто не дымят вокруг все фабричные трубы.

И действительно, многочисленные на Выборгской стороне заводские трубы вокруг нашей тюрьмы вздымались кверху, затаив дыхание и в немом протесте обращая свои выеденные дымом пустые глазницы к пустым небесам.

— Эге! — сообразили мы.— Так вот чем озабочены наши тюремщики!

Меж тем события шли своим чередом. И соседи по камерам выстукивали друг другу:

— Прислушайтесь к тишине за окном! Ни громыхания конок и трамваев, ни пароходных гудков на Неве. Замерло все уличное движение...

Мы прислушивались... И жуткая в большом городе тишина все красноречивее внушала нам, что забастовка становится всеобщей. Затем до нас дошло новое известие: сегодня в тюремную больницу не поступило ни капли молока. Но это лишение означало, что забастовали уже и все пригородные железные дороги. И его радостно приветствовали вместе с нами все пострадавшие. Наконец, замигав тревожно, погас и свет. Вокруг нас воцарилась густая тьма, которую тщетно пытались рассеять зажженные кой-где тусклые свечи. И снова еще радостнее приветствовали мы эту многообещающую тьму, за тяжелой завесой которой к нам незримо приближалась желанная свобода. В парадоксальной светобоязни мы страшились только преждевременного прорыва этой тьмы. Но она держалась стойко. И, чем темнее от этого становились тревожные лица тюремщиков, тем ярче даже во тьме светились наши глаза и лица. И вот пришел день 17 октября. В знак своей капитуляции перед дружным натиском миллионов грозно скрещенных на груди рук царское правительство разразилось, наконец, лживым манифестом о «свободах». Ему не-

обходима была хотя бы кратковременная передышка. И оно ее получило. С разрешения Совета рабочих депутатов снова вспыхнул везде яркий электрический свет, завертелись станки, и жалкое правительство получило, наконец, возможность опубликовать в газетах продиктованный ему хитроумным Витте и собственным крайним испугом манифест. Вопреки всем традициям струсившие тюремщики, объятые смутной тревогой, не предстоит ли вскоре им и самим поменяться с нами местами, поспешили сразу же доставить его своим пленникам. И мы жадно читали его, пахнувший свежей типографской краской, на тощих листках паршивой официозной газетки, стараясь вычитать между строк — что же именно произошло за стенами тюрьмы и как складывается там ныне соотношение борющихся сил?

Чувствовалось сразу, что победа была неполная, что предстоит тяжелая борьба. Но все же это была победа. И не хотелось омрачать ее малодушным скептицизмом. Какие-то темные силы тормозили наше освобождение, хотя многочисленные толпы манифестантов готовы были штурмовать стены наших тюрем. Но все же 22 октября, через пять дней после манифеста, это освобождение состоялось. У ворот тюрьмы меня ожидала жена, только что выпущенная из «Предварилки». Яркая радость встречи не затемнялась тем, что, оказавшись подобно бездомным бродягам без крова, мы совершенно не знали, куда деваться. Это было, однако, предусмотрено встречавшими нас товарищами. И никто из бездомных не оказался в тот день без крова. В частности, мне с женой было предложено гостеприимство весьма популярного защитника по политическим процессам Г. Д. Сидамонова-Эристова. Мы с ним никогда до того не встречались, но оказанное нам гостеприимство в его роскошной квартире было выше всяких похвал. В тот же достопамятный вечер мы с Соней попали на очередное заседание Совета рабочих депутатов в Соляном Городке, где встретили среди его членов много старых друзей и товарищей. Между прочим, здесь был и Л. Д. Троцкий, которого я еще до своего ареста в августе 1905 г. раза два встретил в Питере. Теперь он выступал здесь от фракции меньшевиков под фамилией Яновского.

Совету предстояло решить труднейшую задачу. С прекращением всеобщей забастовки, дезорганизовавшей весь правительственный аппарат, царские сатрапы уже оправлялись от паники. Располагая военной силой, они снова не прочь были спровоцировать рабочих на выступление, чтобы потопить его в крови. На второй день после манифеста, 18 октября, эскадрон кавалерии изрубил у Технологического института толпу мирных манифестантов, в числе которых был ранен и известный профессор, ныне покойный, академик Е. В. Тарле. Число таких жертв новой «конституции» с каждым днем умножалось. Департамент полиции организовал целую серию погромов. И вот, когда Совет рабочих депутатов назначил на 23 октября траурное шествие, посвященное первым жертвам «конституции», Трепов решил превратить его во всеобщее избиение манифестантов. Совету нужно было либо принять этот вызов, либо признать свое бессилие и отступить перед этим знаменосцем контрреволюции. И Совет отступил, отменив назначенное на завтра шествие. Но выступавший по этому поводу Троцкий прикрыл это отступление такой словесной бравадой, что в Совете не поднялось ни одной руки против предложенной им резолюции, звучавшей вопреки ее прямому смыслу победными бубнами и фанфарами.

«Петербургский пролетариат,— гласила резолюция,— даст царскому правительству последнее сражение не в тот день, который изберет Трепов, а тогда, когда это будет выгодно вооруженному и организованному пролетариату».

Это была очень красивая речь и звучная резолюция, которой бурно аплодировал весь Совет. Но в моих ушах она звучала явной фальшью.

Мне было больно за Совет, вынужденный, хотя бы косвенно, признать перед лицом врага, что представляемый им пролетариат еще безоружен и неорганизован. И мне стыдно стало за оратора, который столь победоносно плясал и играл перед врагом по такому поводу. Не было сомнений, что Трепов и теперь готов был повторить свой январский кровавый опыт, обратив и воскресенье, 23 октября, в новое Кровавое воскресенье. Но в октябре 1905 г. мы были уже неизмеримо сильнее, чем в январе. И возглавлял движение уже не бесноватый поп-одиночка, а авторитетнейший Совет рабочих депутатов, за которым стояли 300 000 рабочих столицы и воля которого была для них законом. Я допускал, конечно, что лидеры Совета не считали все же свои силы достаточными, чтобы на угрозы уличными расстрелами ответить тысячами баррикад и новой всеобщей забастовкой. Но в таком случае не следовало бы еще вчера призывать рабочих на улицу только для того, чтобы уже сегодня — под аккомпанемент трескучих фраз и гулких аплодисментов, но с явным конфузом для движения — отменить этот свой легкомысленный призыв. И, возвращаясь с этого памятного для меня собрания Совета, опечаленный его решением, я думал про себя:

— Нет, вожди без дара предвидения хотя бы на три дня вперед — это не вожди.

Борьба продолжалась с переменным успехом. Но в общем движение шло уже явно под гору. Заметную трещину в нем вызвал уже сам манифест, отколовший от лагеря революции все буржуазно-оппозиционные круги, готовые принять и «прусскую» конституцию.

Хуже, однако, было то, что и в лагере революции не наблюдалось необходимого единства. Даже партия пролетариата еще с весны 1905 г., после третьего съезда РСДРП, формально расколовшись надвое, выступала повсюду с раздвоенной тактикой и стратегией. Опасность подобного раздвоения в столь ответственный момент острее всего, пожалуй, чувствовалась нашим братом — рядовым партийцем, повседневно вращавшимся в рабочей среде.

И мудрый Ленин, прибывший в Петроград 7 или 8 ноября, уже 10 ноября, призывая всех партийцев к объединению, писал в № 9 «Новой жизни»: «Ни для кого не тайна, что громадное большинство рабочих социал-демократов крайне недовольно партийным расколом и требует объединения» [1]. А в № 20 той же газеты сообщалось, что «низы партии объединяются, не заботясь о том, идут ли на это верхи».

К сожалению, желанного объединения так-таки и не было достигнуто в те решающие месяцы борьбы и даже на декабрьское вооруженное восстание большевикам пришлось рискнуть одним — без мощной поддержки всего пролетариата. Все это, разумеется, не могло содействовать успехам революции.

Нет нужды вспоминать здесь все слишком известные удачи и поражения этого бурного года. Вначале удалось, как известно, отвоевать у царизма явочным порядком очень широкую свободу печати, слова, собраний. Многие из нас стали мечтать о полной легализации партии. Но скоро пришлось отказаться от этих иллюзий. Реакция постепенно ликвидировала почти все завоевания революции. Дважды была повторена попытка отразить удары реакции новыми призывами рабочих масс к всеобщей забастовке. Но каждый раз — с меньшим эффектом. К первой из них, начатой в ноябре, с требованием отмены военно-полевой расправы над кронштадтскими матросами, не примкнули даже рабочие второй столицы — Москвы. Следующий призыв к всеобщей забастовке, от 4 декабря, в ответ на арест Петербургского Совета рабочих депутатов (3 декабря) оказался еще менее удачным. На этот раз Москва не получила

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 91.

должной поддержки из С.-Петербурга. Не забастовала и Николаевская дорога, пропустив из Питера в Москву Семеновский полк, который и разгромил Московское вооруженное восстание. Всякое оружие может притупиться, если к нему прибегают слишком часто. А всеобщая забастовка, требующая подъема на борьбу миллионных масс, оказалась и вовсе слишком тяжеловесным орудием для повседневного им пользования.

С тяжелым сердцем слушал я рассказы участника московских событий Е. Тарасова о трагическом конце баррикадных боев в Москве. Гневом и печалью звучали его стихи:

Смолкли залпы запоздалые,
Смолк орудий гром.
Чуть дымятся лужи алые,
Спят кругом борцы усталые —
Спят нездешним сном.

Сжимались кулаки. Хотелось вместе с поэтом послать этим борцам последний привет и суровый обет:

Спите, братья и товарищи!
Близок судный час —
На неслыханном пожарище
Мы помянем вас!

Обещанные поэтом поминки мы честно справили всего через 12 лет после декабрьского поражения.

Вокруг нас свирепствовала опьяненная своими победами реакция. Распоясавшись вовсю, она рассыпалась по всей стране карательными отрядами, военно-полевыми судами, расстрелами и черносотенными погромами. В Питере вслед за удушением левой прессы начались массовые аресты только что «амнистированных» подпольщиков. Многие из нас, избегая ареста, только днем забегали к себе на квартиру, спасаясь на ночевки к менее известным охранке товарищам. Делал это и я. Но однажды, забежав днем к себе, я узнал от хозяйки, что этой ночью меня навестили жандармы, все перерыли, по-видимому, ничего не нашли и ушли, «забыв» у меня на столе какую-то бумажку. Бумажка оказалась ордером на мой арест, независимо от результатов обыска. Увы, никаких других документов после выхода из тюрьмы у меня не было. Я поэтому бережно спрятал в карман оставленный мне ордер и задумался. Проживать в столице по такому удостоверению личности было неудобно. Единственным уголком в стране, где даже такой документ мог бы еще служить этой цели, была вовсе еще не задетая реакцией Финляндия. И я решил на время убраться туда. Все же это было лучше «Крестов» или «Предварилки». Правда, в чужой стране было бы слишком трудно жить без дела. Но у меня были литературные заказы на несколько агитационных брошюр. И мне не грозило безделье.

Денька через два, устроив все дела, мы с женой снова распрощались с любимым Питером и, гонимые отсюда реакцией, с ордером об аресте вместо паспорта отправились на этот раз в добровольную ссылку — в Финляндию.

13. СТОКГОЛЬМ И ЛОНДОН

В Финляндии мы прожили всего несколько зимних месяцев — на даче, близ станции Оллила, а затем в Выборге. Незнание языка не позволило мне ближе познакомиться с этим маленьким, но стойко ох-

раняющим свою свободу народом. По-видимому, с этими хмурыми и малообщительными людьми нелегко завязать приятельские взаимоотношения. К врагам они были суровы и беспощадны. С друзьями — сдержанны. Но зато друзья могли на них вполне положиться. А к русским революционерам в те времена относились по-дружески не только финские рабочие, но и широкие круги финской интеллигенции. И потому «ордер» царской охранки на мой арест, служивший мне здесь единственным удостоверением личности, оказался сам по себе достаточной мне рекомендацией даже в глазах местного ленсмана, т. е. представителя финской народной милиции. В частности, ленсман в Оллиле остерегал меня против русских шпиков, появившихся в поселке, описав все их приметы, и вообще оказывал нам массу внимания. Однако засиживаться в Финляндии все же отнюдь не входило в мои намерения. И, как только заказанные брошюры были мною закончены, в марте 1906 г. я направил свои стопы обратно в Россию.

Здесь в это время приближались события, на которые многими возлагались очень большие и, как показало время, сильно преувеличенные надежды. В стране эти надежды связывались с предстоящими с 20 марта выборами в первую Государственную думу. А в партии шла усиленная подготовка к выборам на очередной, четвертый по счету партийный съезд, призванный объединить столь несвоевременно расколовшуюся на части партию. К этому объединению теперь призывали со всех сторон, однако на практике оно никак не вытанцовывалось. Между тем тактические разногласия все умножались и обострялись. Революционное брожение в стране, несмотря на усиление реакции, оставалось все же на высоком уровне. Особенно остро тянулась к земле ничем не удовлетворенная в этом отношении, но уже вся взбаламученная деревня. Наша же явно устаревшая аграрная программа все еще не шла дальше требования возврата пресловутых «отрезков» 1861 г., с которыми нам, конечно, нечего было делать в деревне 1906 г. В предвыборной думской кампании позиция партии, взятой в целом, была еще менее завидной. Бойкот законосовещательной булыгинской Думы, проведенный в момент общего подъема движения, увенчался блестящим успехом. И перед страной встал вопрос об отношении уже к новой, законодательной Думе. Она была тоже весьма ублюдочной, но движение шло на убыль. И страна готова была принять и такую Думу. Однако в нашей партии и по этому вопросу, как и по многим другим, не было единства мнений. Меньшевики звали избирателей на выборы, а большевики призывали их к бойкоту этих выборов. Таким образом, партия в целом ликвидировала левой рукой то, чего добивалась правой. А рядовой рабочий социал-демократ, не зная, за кем пойти, вынужден был сам, на собственный страх и риск, ориентироваться в сложнейшей политической обстановке.

Такая позиция казалась мне абсолютно нетерпимой. Иметь две разные партии, представляющие один и тот же рабочий класс, я считал совершенно непозволительной роскошью. Значит, необходимо было немедленно воссоединить разрывающуюся на части партию, ликвидировав в ней навсегда всякую возможность фракционных делений и фракционного духа. Однако уже в процессе подготовки к «Объединительному» съезду чувствовалось, что какие-то центробежные силы автоматически отталкивают друг от друга эти разбегающиеся течения. И, может быть, уже тогда следовало отказаться от надежды найти синдетикон, каким можно было бы еще склеить рассыпающиеся черепки этой вдребезги разбитой вазы. Но я все еще был полон надежд на лучший исход.

Отправившись на работу в Ростов-на-Дону, я скоро увидел, что мои примиренческие позиции нашли здесь широкий отклик в рабочей

среде. И когда пришло время выбирать делегата на съезд, то выбранным оказался я.

Посылка делегатов на Стокгольмский съезд впервые в истории нашей все еще подпольной партии происходила на демократических началах. В выборах принимали участие все члены партии. И от каждых 300 членов можно было избрать одного делегата. Ростовская организация имела право на посылку одного лишь делегата. Выборы тайным голосованием происходили, как помню, после доклада о задачах съезда и его обсуждения в очень оригинальном помещении — в рубке рыболовного суденышка на Дону,— т. е. за пределами досягаемости самых прытких шпиков. В своем докладе собранию я коснулся всех вопросов, подлежавших дискуссии на съезде, докладывая по каждому из них и свою точку зрения. Но особенно подробно пришлось остановиться при этом на аграрном вопросе, в котором я, отвергая национализацию и муниципализацию, защищал идею передачи конфискованных земель деревенской бедноте. В сохранившемся и доныне моем докладе 1906 г. «К пересмотру нашей аграрной программы» я предлагал отстаивать в Учредительном собрании следующие два пункта:

а) передачу без выкупа в дополнительный надел наиболее малоземельным крестьянам всех тех земель, которые до сих пор служили орудием их хозяйственного закабаления;

б) передачу всех прочих земель, т. е. главным образом леса и немногих капиталистически обрабатываемых крупных экономий, в распоряжение демократических областных самоуправлений для эксплуатации их в *общенародных* интересах и на условиях, лучше всего обеспечивающих нужды сельскохозяйственных наемных рабочих

При этом в докладе делались две весьма существенные оговорки. Во-первых, что социал-демократия, вообще говоря, «не может зарекаться при известных условиях и от национализации», но «в данной исторической обстановке» мною их не усматривалось. И, во-вторых, что предложенные аграрные установки, вытекающие из условий момента, должны быть выражены в форме тактической «резолюции о поддержке революционных стремлений крестьянства», а не в форме нашей постоянной социал-демократической программы.

Никакой политической мудрости во всей этой концепции, конечно, не было. Национализация земли действительно не имела никаких шансов в условиях 1906 г. Но не больше их было тогда и для черного передела. Однако политик должен видеть и немного дальше своего носа. Усмотрел же мудрый Ленин возможность национализации в 1906 г., хотя она осуществилась только после 1917 г. Однако ошибался в те годы не я один. И мой доклад встретил полное одобрение слушавшей его аудитории.

Получив мандат на партийный съезд, я двинулся из Ростова в Питер, откуда нас переправили в столицу Финляндии Гельсингфорс. Здесь для делегатов был зафрахтован специальный пароход, на котором мы и отправились в Стокгольм. Не обошлось, однако, в этой дороге и без приключений. Пароход наш оказался очень опрятным и уютным. Погода была чудесная, тихая. Выбравшись из шхер в открытое море, мы долго безмятежно любовались розовым закатом вдали, над морскими пучинами. А затем, когда стемнело, спустились вниз, в кают-компанию, где в предсъездовской дискуссии сразу же зазвучали мятежные фракционные страсти. Чтобы их умерить, оказалось, однако, совершенно достаточно направить беседу в русло наиболее дискуссионной аграрной проблемы. В пределах этой проблемы чуть ли не каждый из собеседников занимал особую позицию и отстаивал свое собственное ее решение. Но именно поэтому дискуссия по аграрной программе никак уже не укладывалась в общеизвестные фракционные шаблоны и, возбуждая острый интерес к себе, отнюдь не возбуждала того особого полемиче-

ского азарта, который всегда так разгорался в пылу фракционной борьбы. Однако в самый разгар этой интереснейшей для меня дискуссии ее прервал вдруг потрясающий сильный удар в корпус судна. Свет погас. Пароход вздрогнул и остановился. Застопорилась машина. Повалились на пол вещи и люди. И на момент воцарилась жуткая тишина. Это наш пароход напоролся на подводный риф.

Через несколько минут, когда снова загорелся свет и мы все поднялись на ноги, потирая ушибленные места и шишки, мы заметили, что пароход кренится на бок и на корму. Скоро через пробоину наполнились водой трюмные помещения, и вода стала заполнять каюты. Пароход все больше кренился и погружался. Озабоченный капитан прибежал нас «успокоить», что им поданы радиосигналы о спасении, что корабль, по-видимому, прочно застрял и если до утра не поднимется ветер и волнение не сбросит нас с этой каменной вилки, то пароход не перевернется до подхода вызванной по радио скорой помощи. Успокоение было весьма посредственное. Но честный финн не вводил нас в заблуждение. И его хмурое лицо обещало нам еще меньше, чем скупые слова. Тем не менее нужно было чем-нибудь заняться. Спать было уже негде, ибо вода в каютах достигала коек. Да и не хотелось спать. Естественнее всего было поэтому, не теряя времени, возобновить прерванную аварией дискуссию по аграрной программе. Я предложил собравшимся наверху, в опустевшей капитанской рубке, товарищам изложить им со своей стороны еще одну концепцию — полного отрицания какой-либо аграрной программы социал-демократии с заменой ее соответствующей тактической резолюцией. Предложение было принято. Некоторые из делегатов, готовых уже горячо поспорить со мной на заявленную тему, изготовились на всякий случай и к приему холодной морской ванны, прихватив себе каждый по спасательному кругу. Среди них стоял в полном вооружении, весь в пробковой броне, готовый к отпору и морским волнам и суровым критикам своей программы сам автор пресловутой «муниципализации», будущий советский академик Петр Павлович Маслов. Сидеть было не на чем. Но мы отнеслись к этому стоически. Дискуссия становилась все интереснее. Забыты были и спасательные круги, и угрожающая нам зыбкая пучина. Казалось даже, что, чем ниже оседает на корму и в бок наше утлое судно, тем глубже, наперекор всем стихиям, захватывает эту аудиторию увлекательный диспут.

Угрюмые финны пароходной команды, проходя мимо, останавливались и поглядывали на нас с едва скрываемым любопытством и явным недоумением. Они заведомо чего-то недопонимали. Не часто ведь встретишь на море пассажиров такого рода, которые вместо нормальной в подобных случаях паники ведут себя столь оригинально, как будто они у себя дома — на железобетонном фундаменте.

— Чудной это народ — русские революционеры.

Для нас, впрочем, не было ничего необычного в таком препровождении времени, как горячие дебаты на столь животрепещущую тему. К тому же благодаря им эта тревожная для других ночь промелькнула для нас совершенно незаметно. Не заметили мы даже того, что всю эту ночь провели в спорах, стоя, как у всенощной, на ногах. А мне, кстати сказать, удалось из этих «стоиков» поневоле завоевать в пользу своей концепции за эту ночь не менее двух десятков. На съезде, где мне дали по регламенту всего 10 минут для защиты этой концепции, я не смог, конечно, исчерпать даже малой доли своей аргументации.

К утру поднялся свежий ветер. Наш пароход угрожающе заскрипел и застонал на своем каменном вертеле. Но к нам уже подходил на выручку другой пароход из Гельсингфорса. Нас быстро переправили на него в шлюпках. И через несколько часов мы вполне благополучно при-

были в Стокгольм, где 10 апреля 1906 г. открылся, наконец, долгожданный «Объединительный» съезд РСДРП.

На нем собралось до полутораста делегатов с решающим или совещательным правом голоса. Среди них из стариков присутствовали такие уважаемые люди, как Г. В. Плеханов и П. Б. Аксельрод. На съезде был и признанный вождь большевиков В. И. Ленин. Многие из делегатов, например А. В. Луначарский, П. П. Румянцев, С. А. Суворов, П. Л. Тучапский, О. А. Квиткин, были мне знакомы по Вологде. Все они оказались в рядах большевиков. Со многими я встретился впервые только на съезде или по дороге в Стокгольм. Из них назову лишь имена Ф. Э. Дзержинского, К. Е. Ворошилова, И. В. Сталина, М. В. Фрунзе, Л. Б. Красина, будущего академика Ем. Ярославского (М. И. Губельмана) и М. Н. Лядова (Мандельштама). Меньшевики, которые оказались на этот раз в большинстве, были представлены на съезде Даном (Ф. И. Гурвич), Мартыновым, Иорданским и др. Мартов и Троцкий отсутствовали. К меньшевикам тяготели и бундовцы — Либер и Абрамович. Что касается меня, то я в те годы не связывал себя фракционной дисциплиной ни с одним из борющихся течений, пытаясь самостоятельно разобраться в каждом из обсуждавшихся вопросов и тогда только голосовать с Лениным или с Плехановым или даже одному против всех.

Атмосфера на «Объединительном» съезде с самого начала создалась далеко не миролюбивая. Фракционная рознь проявлялась во всем. Фракционные страсти разгорались не только при обсуждении принципиальных разногласий, но даже по самым случайным поводам, по вопросам к порядку дня и регламента и притом с требованием для решения таких вопросов многочисленных поименных голосований, с занесением в протокол даже случайных реплик с мест противников и всякими иными полемическими приемами. В сущности большинство тактических разногласий в партии было связано с различной оценкой момента по самому важному вопросу: в гору или под гору идет массовое революционное движение? Теперь, задним числом, этот вопрос решается гораздо проще. Стоит лишь взглянуть на диаграмму стачечного движения в городах и аграрного — в деревне, чтобы увидеть, каким великолепным взлетом оно отметило пятый год и как катастрофически падало в последующие годы реакции[1]. Если число забастовщиков пятого года принять за 100, то в шестом оно не достигало 40, а в седьмом упало до 26, в восьмом — до 6, в девятом — до 2 процентов, а в десятом — до одной шестидесятой уровня пятого года. Но в те времена это было еще не ясно. Однако бесспорным остается одно — позиции большевиков и тогда были все время значительно радикальнее меньшевистских.

Тактика большевиков еще несколько месяцев тому назад энергично ориентировала страну на вооруженное восстание и партизанские выступления. Однако страна с тех пор двигалась не влево, а вправо. С этим приходилось считаться. И на съезде в апреле 1906 г. большевики занимают в этих вопросах уже не столь решительные позиции, как в декабре или в январе. Весьма характерно, что отвергнутую съездом резолюцию большевиков, в которой восстание провозглашалось главной формой борьбы, не поддержал—едва ли случайно—в поименном голосовании сам Ленин. Резолюция меньшевиков по тому же вопросу, в которой «основной задачей партии в настоящий момент» признается расширение агитации, принята в целом большинством 55 против 17, хотя одних большевиков на съезде насчитывалось не менее 46. А резолюция о партизанских действиях, их осуждающая, и вовсе принята была без прений по согласованию обеих фракций. Это были весьма показательные

[1] Диаграммы см. в БСЭ, 1926, т. 1, стр. 480 и след.

голосования. Они означали определенный сдвиг в настроениях даже многих большевиков. А в выступлениях отдельных меньшевиков звучали в оценке текущего момента еще более скептические нотки. Так, например, один из меньшевиков — В. Ломтатидзе, делегат героической Гурии, где еще недавно так высоко вздымалась волна революционного подъема, на съезде возражал большевикам:

— Вы утверждаете, что революционная энергия поднялась. Из чего вы это заключаете? Не из того ли, что крестьянство выдает карательным отрядам оружие и агитаторов? Не из того ли, что подавленный геройской непосильной борьбой пролетариат и слышать не хочет пока о каком-либо серьезном выступлении?

Отрицать подобные факты никто из нас не мог. Это отодвигало момент ожидаемого всеми нового подъема на неопределенный срок. А вместе с тем это толкало к изменению тактической линии всей партии в центральном для данного съезда вопросе — об отношении к Государственной думе. Этому вопросу в прениях съезда уделено было по меньшей мере втрое больше места и полемической энергии фракционных ораторов, чем даже вопросу о восстании. А между тем в решении и этого вопроса обнаружилось в последнем счете полное примирение противоположностей в единстве огромного большинства съезда. Государственной думе предстояло собраться уже 27 апреля, а мы еще в середине апреля только обсуждали на съезде, пойти ли нам в эту Думу или не пойти. Вопрос был трудный, конечно. До тех пор пока у нас теплились надежды на Учредительное собрание, никто из нас не собирался в Думу. И потому большевики, бундовцы, поляки и латыши бойкотировали выборы в нее с первых же ступеней, а меньшевики, участвуя в агитационных целях на первых ступенях выборов временно откладывали этот бойкот до последней их стадии. Но теперь, с усилением реакции, и овладение думской трибуной для социал-демократической агитации в стране представлялось гораздо более заманчивым. Осложнялось дело тем, что большевики благодаря бойкоту не имели надежных шансов пройти в Думу, а доверить представительство в ней от всей партии случайной группе меньшевиков представлялось весьма рискованной операцией. К тому же отказ от бойкота подставлял под удар, как это казалось многим, и репутацию бойкотистов в рабочих низах. Но мудрый Ленин пренебрег всеми этими опасениями. И, когда в конце ожесточенных прений одна из предложенных мною поправок к резолюции меньшевиков о выборах в Думу показалась ему достаточно приемлемой, он спокойно присоединился к ней в поименном голосовании.

Поправка Струмилина, предложенная в заключительном пункте резолюции, гласила: «Поэтому всюду, где еще предстоят выборы и где РСДРП может выставлять своих кандидатов, не вступая в блоки с другими партиями, она должна стремиться провести своих кандидатов в Думу». Смысл этой поправки, поддержанной и наиболее заинтересованными в ней кавказцами, где еще предстояли выборы, сводился к тому, что нам в данной обстановке гораздо важнее обеспечить качество и дисциплинированность наших кандидатов, чем количество завоеванных мандатов. Этот пункт был принят большинством 77 голосов против 11 при 16 воздержавшихся. Совершенно рекордный результат для всех фракционных голосований «Объединительного» съезда. Но важнее всего, что в числе голосовавших за участие в выборах был сам Ленин и 16 других увлеченных им большевиков. Таким образом, Ленин пошел в данном случае даже против большинства членов собственной фракции. Но никому из них не пришлось пожалеть об этом. Участвуя в Думе, большевики не только не потеряли доверия рабочих масс, но усилили в этой среде свои позиции, и через год, на Лондонском съезде, они снова представляли не меньшинство, а большинство своей партии.

Самые широкие дебаты развернулись на съезде по вопросу об аграрной программе партии. По этому вопросу заслушано было целых пять докладов — Ленина, Суворова (Борисова) и Румянцева (Шмидта) от большевиков и Плеханова с Масловым от меньшевиков. Но точек зрения по этому вопросу было еще больше, чем докладчиков, и прения никак не укладывались в русло фракционных группировок. Прежде всего съезду пришлось решить вопрос, нужна ли нам вообще какая-либо аграрная программа? Поставив перед съездом этот вопрос, я отстаивал здесь следующую концепцию.

«С.-д. партия должна бы вовсе исключить из своей общей программы какие бы то ни было конкретные требования «в защиту мелких собственников» (см. проект т. Маслова), потому что подобные требования никоим образом не могут быть спаяны неразрывной логической спайкой *с постоянными* классовыми интересами пролетариата, из которых выводятся все остальные требования нашей программы. Это не значит, конечно, что с.-д. должны оставаться без руля и без ветрил в данном вопросе. Наоборот, в качестве вывода из нашей общей программы, в качестве отдельного ее применения к требованиям данного революционного периода мы можем и должны вынести вполне определенные тактические резолюции по аграрному вопросу — но не больше. Особая «аграрная программа» на сей предмет вовсе не требуется».

Мне казалось, что каждый класс должен иметь собственную партию и программу действий. Объединять противоречивые интересы разных классов на длительный срок в единой программе было бы чистейшей утопией. А для временных соглашений с крестьянством о взаимной поддержке нашлись бы и другие формы обязательств, помимо программных. Опыт с неудачной программой «отрезков», которую уже через несколько лет после утверждения пришлось отменить, как явно не соответствующую требованиям момента, как будто подтверждал мою мысль. Не более удачной оказалась и надуманная в 1906 г. аграрная программа муниципализации, навсегда отброшенная историей в числе многих других несбывшихся никчемностей. Неплохо, если из программы выпадают осуществленные требования. Добившись 8-часового рабочего дня, вполне закономерно поставить перед собой задачу, скажем, 6-часового рабочего дня. Но к чему засорять программу такими требованиями, которые уже назавтра могут отпасть, не потому что они отвоеваны, а потому что в новых условиях у нас нет оснований за них драться. Из всех «аграрных» программ, обсуждавшихся тогда в Стокгольме, только одной ленинской национализации не угрожала подобная опасность. Да и то лишь потому, что национализация земли входила и в программу-максимум партии пролетариата, требовавшей обобществления всех средств производства, и отнюдь не вытекала из специфических интересов российского крестьянства того времени.

Как и следовало, однако, ожидать, мое предложение, против которого ополчились сторонники всех многочисленных на съезде программ, провалилось с треском. Против него голосовали и Ленин, и меньшевики, отвергнув его 83 голосами против 21. Впрочем, будучи человеком скромным, я и не ожидал лучшего. Очевидно, я предложил большую ересь. Но все же вовлечь в такую ересь целых два десятка политически зрелых мужей, включая сюда 14 большевиков и в том числе столь известных, как М. В. Фрунзе, М. Н. Лядов и другие,— это был уже успех. Он доказывал, что и на этом съезде возможны внефракционные голосования. Впрочем, по аграрному вопросу их как раз и в дальнейшем было немало.

Потерпев это первое поражение, я решил было голосовать за наиболее для меня принципиально приемлемую из программ — программу Ленина с теми тактическими поправками, какие предлагались всеми

«разделистами». В его выступлении мне особенно понравилось прямое признание ошибок, «какие вызвали мы своей ошибочной отрезочной программой». Способность открыто и без всяких уверток признавать свои ошибки — это редчайшее, но зато и ценнейшее качество великих вождей человечества. Мне такие люди всегда казались более надежными, чем те, которые предпочитают репутацию своей непогрешимости. На мой взгляд не так страшны те ошибки, какие вовремя признаются и исправляются, как те, которые во имя престижа непогрешимости упорно замалчиваются и, как секретная болезнь, продолжают разрушать жизнеспособный организм. Я начинал твердо верить в Ильича. Но оказалось, что его программа национализации не пользуется достаточной поддержкой в собственной фракции большевиков. О ней много говорили. Ее без особого успеха пытался разгромить Плеханов. Но Ленин, отбив все словесные атаки, не поставил ее все же на голосование.

Не желая разбивать голоса съезда по трем руслам (национализация, муниципализация или раздел), Ленин снял свой проект и, считая, что муниципализация «ошибочна и вредна», а раздел только «ошибочен, но не вреден», решил поддержать «разделистов». Они, несомненно, составляли большинство среди большевиков, но немало их нашлось бы и среди меньшевиков. Особенно крепко стояли за раздел делегаты Кавказа: и большевики — во главе с И. В. Сталиным, и меньшевики — во главе с Костровым (Жордания). Разделисты, несомненно, заголосовали бы, выступив единым фронтом, бездарную муниципализацию Маслова. Но тут опять вступила в игру фракционность. Плеханов, Дан и Костров, поспешив на помощь Маслову, наскоро пришили к его муниципализации свой разделистский хвост и потребовали голосовать одновременно в этом ублюдочном синтезе на все вкусы и за раздел, и за муниципализацию. Этот ловкий маневр, разделивший «разделистов» на два фракционных лагеря, сделал свое дело. Однако даже при этом условии за программу Маслова проголосовало только 52 голоса против 44 при 14 воздержавшихся, т. е. только 47 процентов всех голосовавших. Но за проект «раздела», внесенный Борисовым (Суворовым) и поддержанный Лениным, высказалось еще меньше — 41 голос против 57,— и, таким образом, меньшевики «победили». Должен сказать, что в обоих этих голосованиях я лично голосовал с Лениным, против Маслова и Кострова, а когда мне удалось, наконец, получить слово для поправки к четвертому пункту принятой за основу программы муниципализации Маслова (Джона), то я постарался дать этой поправке и всей программе в целом вполне заслуженную оценку.

«Этот пункт,— обратился я к съезду,— был центральным в проекте тов. Маслова. Но искусные руки тт. Дана и Плеханова так основательно его выпотрошили, что теперь он по существу превратился, без сомнения, даже для последовательных масловцев в выеденное яйцо. От «крупных областных» самоуправлений не осталось и воспоминания; что же касается муниципального «владения» землями, то о нем теперь как о несбывшейся золотой мечте тов. Маслова-теоретика напоминает с укором тов. Джону-политику лишь коварное словечко «распоряжение». Впрочем, последовательных масловцев среди нас очень немного. И тов. Джон, конечно, не принадлежит к их числу, и едва ли многие из них станут оплакивать преждевременно погибшую муниципализацию. Что же касается всех остальных членов съезда, то для них выпотрошенно-выеденное яйцо муниципализации даже предпочтительнее масловской муниципализации, как вещь совершенно безвредная. Правда, безвредность программы лишь в редких случаях может сойти за ее достоинство,— именно лишь в тех случаях, когда она должна примирить весьма различные взгляды. Но принятая нами программа с ее бесплатным приложением в виде резолюции о разделе, несомненно, и есть такая компромиссная программа. На это я прошу обратить особенное внимание. Конечно, я, как и многие другие, не считаю это большим достоинством и в первом голосовании подал свой голос против компромисса. При перебаллотировке, когда компромисс оказался уже неизбежным, я голосовал, правда, в обратном смысле, желая создать абсолютное большинство в пользу приложенной к проекту резолюции. Но в такое ложное положение поставлены и другие сторонники частичного передела. Голосовать за программу и ре-

золюцию отдельно нам не было предоставлено возможности. Мы были поставлены в положение тех подписчиков «Нивы», которые вынуждены платить за вороха никуда не годной печатной бумаги, чтобы получить *«бесплатно»* Щедрина. Мы были вынуждены голосовать за программу тов. Джона, чтобы в виде бесплатного приложения получить резолюцию тов. Плеханова. Но это в сторону.

Какой же смысл заключается в принятом нами 4-м пункте проекта Джона? Муниципалитеты «распоряжаются» конфискованной землей, но в чьих интересах? Чьей собственностью она признается? — Неизвестно. Может быть, общенародной, может быть, крестьянской, только во всяком случае, не муниципальной, ибо тогда речь шла бы о владении, а не о распоряжении. Кастрированный 4-й пункт заключает в себе и мужские и женские черты: и раздел, и национализацию. До каких же пор муниципалитеты распоряжаются землей? Очевидно, до тех пор, пока не распорядятся ею, или до Учредительного собрания, которое так или иначе закрепит результаты аграрной революции. Если это так, то надо ясно сказать, что мы *в распоряжение* муниципалитета землю передаем лишь *ближайшим образом*, а затем она либо перейдет во *владение* муниципалитетов, либо во владение нации, либо во владение крестьян».

В этом кратком выступлении, набросанном мною наспех, в пятиминутном перерыве,— за прекращением прений в форме письменного заявления,— я хотел лишь сказать съезду, что принятый им проект вовсе еще не решает поставленной перед ним задачи, оставляя партию без всякой ориентировки и на будущее, в Учредительном собрании. Нет нужды говорить, что оно не встретило одобрения в лагере меньшевиков. Тем приятнее мне было со временем прочесть о нем отзыв Владимира Ильича. Ленин писал: «Самую резкую критику «кастрированной» масловской программы дал на съезде один товарищ-меньшевик (Струмилин), сторонник частичного раздела. Он прочитал письменное заявление, в котором замечательно метко и беспощадно указывал — может быть, даже вернее сказать, бичевал — внутреннюю противоречивость получившейся программы. К сожалению, я не сделал себе отметок с выдержками из его прочитанной речи» [1].

Мне еще не раз на этом съезде пришлось голосовать вместе с Лениным, против меньшевиков. В частности, вместе с Лениным голосовал я и за включение в партию организации Бунда, против чего отчаянно, но на сей раз тщетно противоборствовала фракция меньшевиков на «Объединительном» съезде. С каждым днем наблюдая Ленина в этих повседневных боях, я проникался все большим уважением к этому великому вождю и обаятельному человеку. Большевики меня считали меньшевиком, меньшевики обвиняли в большевистских устремлениях, ибо я уклонялся от посещения фракционных собраний тех и других. Должен признаться, что если, собираясь на съезд, я все еще склонялся скорее к меньшевикам, чем к большевикам, то к концу съезда у меня уже назревало обратное тяготение.

Всего на съезде в Стокгольме мы пробыли с 10 по 25 апреля (старого стиля) — две недели. Для заседаний съезда нам были предоставлены шведскими товарищами прекрасные залы огромного шестиэтажного «Народного дома». Я с почтением взирал на это культурное достояние шведских рабочих, несмотря на весьма шаблонное его оформление, и мечтал о иных, гораздо более величественных и прекрасных дворцах культуры, которые воздвигнет у себя наш победоносный российский пролетариат.

Целых две недели, столь насыщенных острой политической дискуссией, могли бы утомить хоть кого одной перманентной политикой. В больших дозах одна лишь сгущенная политика, несмотря на свою остроту, приедается, на мой вкус, даже скорее, чем самое сладкое сгущенное молоко. Но мне посчастливилось и в этом отношении. Моим сожителем по комнате в Стокгольме оказался старый знакомый по Вологде — А. В. Луначарский. В свободные от занятий съезда часы мы с ним усердно фланировали по городу, осматривая незаурядные красоты этой древней сто-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 31.

лицы викингов и тем самым освежая свои мозги от перегрузки съездовскими переживаниями.

Анатолий Васильевич, как и я грешный, не был особенно тонким политиком. Но он был очень образованным человеком с тонко развитым художественным вкусом и богатым творческим воображением. Припоминаю, как в день 200-летия Академии наук он поразил многих академиков своим знанием древних и новых языков. Начав свое блестящее приветствие на древнегреческом языке, он перешел на латынь, затем продолжил его на итальянском, французском, немецком и английском, закончив эту юбилейную речь на языке Пушкина и Горького. Но в 1906 г. он поразил меня в роли совершенно несравненного чичероне по музейным сокровищам и картинным галереям Стокгольма. Он чувствовал себя здесь, как дома, и, будучи впервые в Стокгольме, мог рассказать о каждой останавливающей нас картине и ее мастере столько подробностей, сколько мы не знаем часто даже о ближайших своих соотечественниках. Мне случалось бывать в музеях за границей и с Г. В. Плехановым. Это был тоже незаурядный знаток и ценитель искусства. Но и он бледнел в этом отношении перед А. В. Луначарским. В качестве полного профана в искусстве я только мог просто с радостью воспринимать всякую новую красоту. Но Анатолий Васильевич своими тонкими оценками каждого произведения искусства, своими меткими суждениями о приемах и особенностях каждого мастера, а главное своим увлечением красотой нередко заставлял меня забывать о картинах и мастерах, ибо я в нем самом усматривал предмет, еще более достойный удивления и восхищения. Много позже об этом советском большевике-академике рассказывали, что в октябре 1917 г. уже в качестве члена нового, революционного правительства, он будто бы подал в отставку, уязвленный случайным большевистским снарядом, угодившим в купол Василия Блаженного. Даже в дни революции он не мог стерпеть такого неуважения к произведениям бессмертного искусства. Если это и неверно, то хорошо придумано.

25 апреля мы, наконец, покинули Стокгольм. А на другой день русскую реакцию возглавил новый столп и опора царской власти — министр внутренних дел Столыпин.

Вернувшись из Стокгольма в Ростов, я сделал там в организации доклад о съезде и достигнутом на нем объединении всех социал-демократических течений и национальных организаций, включая Бунд, поляков, литовцев и латышей. Это достижение весьма порадовало всех наших партийцев. Порадовались мы все также и успехам РСДРП на выборах в Государственную думу, в которой благодаря отмене бойкота удалось образовать социал-демократическую фракцию, открыто выступившую с нашей программой перед всей страной. Большим успехом можно было считать и общие результаты выборов в Думу, которая наперекор всем усилиям реакции оказалась гораздо левее даже самых оптимистических наших ожиданий. Но даже этот успех оказался иллюзорным, ибо за Думой не стояло никакой реальной силы, кроме разве силы «общественного мнения», бессильно спасовавшей перед одной лишь угрозой царских штыков. Реакция оказалась сильнее. Первая Дума, просуществовав всего 72 дня, с 27 апреля до 7 июля 1906 г., была разогнана Столыпиным. Призыв ЦК РСДРП ответить на этот разгон всеобщей забастовкой не встретил в стране надлежащей поддержки. Попытки военных восстаний в Свеаборге, Кронштадте и других местах были разгромлены. Военные суды пытались уже окончательно удушить революцию своей веревочной петлей так называемых столыпинских галстуков. Однако это тоже оказалось иллюзией.

Правительству нужен был до зарезу иностранный заем. Но его было очень мудрено получить после проигранной войны, без всяких конституционных гарантий. Французские банкиры еще не забыли прошлогоднего

предупреждения Совета рабочих депутатов, что революционная народная власть не станет расплачиваться за царские долги. И правительство, разогнав одну Думу, вынуждено было собирать вторую.

Теперь всем было ясно, что революция катится под гору. И потому никто даже не заикался о бойкоте новых выборов, в итоге которых получился довольно парадоксальный результат. Вторая Дума, несмотря на усиление в стране реакции и правительственного террора, оказалась даже левее первой. Особенно сильно возросло за счет беспартийных и умеренной «кадетской» оппозиции крайнее левое крыло Думы. Число кадетов сократилось почти вдвое, число народников, включая 37 эсеров, возросло на 67 процентов, а число делегатов рабочей социал-демократической партии поднялось даже с 18 до 65 человек, на 260 процентов, т. е. больше чем в три с половиной раза. Мы все, участники этой кампании, могли бы гордиться такими результатами. Но нас по-прежнему и после «Объединительного» съезда еще горше раздирала все та же фракционная распря. Особенно обострила эту распрю агитация меньшевиков за ликвидаторскую идею легального «рабочего съезда», призванного прийти на смену нашей подпольной социал-демократической партии.

Идея выбраться, наконец, из подполья была очень заманчивой, несмотря на всю свою утопичность в условиях самодержавия. Но мы уже получили один предметный урок в декабре 1905 г. после первой же попытки кое-где легализовать наши партийные ячейки явочным порядком. Мы завели у себя и партийные билеты, и прочие атрибуты партийной гласности. И все это пошло прахом, умножив лишь число потерь в наших партийных кадрах. Но в идее рабочего съезда и базирующейся на нем «широкой рабочей партии» скрывалась и другая, более вредная тенденция пожертвовать во имя этой «широты» глубиной социал-политических воззрений авангарда пролетарских масс и, растворив его в этих массах, разменять и наш конечный идеал революционного социализма на медные пятаки повседневных достижений.

В широко открытые двери такой «партии» в тогдашних условиях прежде всего устремились бы целые толпы шпиков и всякой иной полицейской швали и потянули бы ее на путь зубатовщины и аполитизма. Допустим, однако, что здоровые инстинкты пролетариата толкнули бы его под знамя социал-демократии. Но откуда бы такая широкая масса сразу усвоила те качества высокой сознательности, стойкости и принципиальности, которыми должен обладать ведущий авангард класса и которые в рядах нашей партии воспитывались между молотом и наковальней годами подпольной борьбы, тюремного заточения и ссылками? Палач Столыпин, издеваясь над думскими эсерами, которые беспомощно метались между кадетами и эсдеками, как-то сказал им в похвалу, что «думские социал-революционеры лишь по созвучию имен причисляют себя к социал-революционным партиям». Вот точно так же лишь по созвучию слов оппортунистическое порождение «рабочего съезда» могло бы сойти за рабочую партию. Роль авангарда была бы ей непосильной, и в лучшем случае она плелась бы лишь в хвосте событий.

Такой оппортунизм мне был совсем уж не по душе. И, хотя я по-прежнему работал в меньшевистских организациях, я, не будучи фракционером, всегда и везде отвергал эти ликвидаторские концепции меньшевизма.

Большевики повели энергичнейшую агитацию за скорейший созыв нового партийного съезда, добились соответствующего решения партконференции и уже в марте 1907 г. ехали на этот съезд снова за границу. Выборы и на этот раз протекали на весьма демократических началах, только на сей раз посылалось по одному делегату на каждых 500 избирателей. К этому времени я находился на Мариупольском металлургическом заводе, куда мне пришлось спасаться после массовых провалов в Росто-

ве-на-Дону. Меня здесь многие знали не только по личным выступлениям, но и по печатным моим брошюрам. И избранный весьма дружно здешними рабочими на съезд, я с мандатом местного комитета партии в кармане отправился снова в дальнюю дорогу.

На этот раз нас отправили тоже через Финляндию — морем в Швецию, а затем, по железной дороге через Мальме в Копенгаген, где и предполагалось провести съезд. Город показался мне очень красивым, и помещения для съезда датские товарищи предоставили нам прекрасные. Но воспользоваться ими нам все же не пришлось.

Тотчас же по приезде в столицу Дании мы заметили усиленную за собой слежку местных Шерлоков Холмсов, а может быть, и импортированных на сей случай специально из России. Очевидно, датский двор, подаривший русскому двору свою принцессу в царицы, окружил теперь и нас своим непрошеным вниманием в интересах все той же русской дворцовой камарильи. А хваленая западная «демократия» этой страны не прочь была за наш счет угодить зараз и своему и чужому двору. Это совсем не входило в наши планы. Мы прокляли в душе всех шпиков и их высоких покровителей, подивились гению Шекспира, давно уж прозревшего, что «в царстве датском что-то гнило», и поспешили убраться отсюда в Лондон, так как шведская и норвежская «демократия» тоже отказала нашему съезду в гостеприимстве. И только в пути мы убедились, что и за нашим рубежом помимо официальной «демократии» имеется еще и подлинная, рабочая демократия.

О предстоящем нашем проезде из Копенгагена узнали местные рабочие организации. И вот на всем пути по этой цветущей плодородием своих нив стране, на каждой почти остановке нас торжественно встречали, приветствовали и провожали с красными знаменами, сомодельными оркестрами и боевыми песнями местные отряды профессиональных союзов и других организаций. В чужой стране, не зная языка, мы, однако, и без слов улавливали смысл этих теплых братских приветствий, ибо это был язык международной солидарности пролетариата. Сразу же были забыты нами копенгагенские Шерлоки Холмсы. И трудно передать, как волнующе радостно звучал в наших ушах этот столь родной нам на далекой чужбине пролетарский язык.

В Лондоне нас встретили не столь уж радостно, хотя и вполне корректно. Всем делегатам съезда предложено было поселиться в одном из ночлежных домов в Уайт-Чепеле. Для Уайт-Чепеля это была весьма приличная ночлежка, с отдельными каморками для каждого жильца, постелью и даже бельем, весьма, впрочем, подозрительной чистоты и свежести. Неопрятные фанерные перегородки, не достигающие даже потолка в этом жалком убежище безработных и густо запятнанные посмертными следами насекомых простыни свидетельствовали, что и здесь, на родине Дарвина, «борьба за существование» протекает еще в самых примитивных формах. Но, располагая бюджетом всего в 2 шиллинга на делегата в сутки, мы не могли рассчитывать в стране капитала не более гостеприимный прием. Зато для заседаний съезда нам удалось нанять гораздо более приличное помещение в одной из лондонских церквей — Бротербууд-черч. Таким образом, в этом оригинальном доме божием шесть дней в неделю триста безбожников, обратив амвон в революционую трибуну, пропагандировали свое учение о свержении всех земных и небесных авторитетов и о яростной борьбе против всяческой эксплуатации человека человеком. И лишь на седьмой день снова звучала здесь проповедь всепрощения, смирения и мольбы верующих о загробном воздаянии всем труждающимся и обремененным. Такое разделение труда с верующими в их собственной обители вполне нас устраивало. А церковники, подправляя свой бюджет нашей мздой, тоже, по-видимому, были вполне довольны, рассматривая свой бизнес за счет безбожников как богоугодное деяние.

Ограничиваясь лишь наиболее запечатленными личными переживаниями, я не берусь, конечно, воспроизвести полную картину этого съезда. Тем более, что это гораздо лучше сделано в свое время многими другими. Остановлюсь лишь на тех моментах, к которым я имел касательство.

Открылся съезд 30 апреля и закончился 19 мая 1907 г. Всего на съезде было представлено 138 организаций и свыше 150 000 членов партии. Из 336 делегатов 302 имели решающий голос, в том числе не менее 92 большевиков и 85 меньшевиков, не включая сюда бундовцев, поляков и латышей. Фракцию большевиков представляли Ленин, Ворошилов, Сталин, Ногин, Дубровинский, Гольденберг, Шаумян, Линдов и многие другие. Из будущих академиков присутствовали М. Н. Покровский, Ем. Ярославский, Ф. А. Ротштейн. В числе гостей — А. М. Горький с М. Ф. Андреевой. Меньшевиков возглавляли: Плеханов, Аксельрод, Дейч, Мартов, Дан, Потресов, Мартынов и др. Как выяснилось позже, на съезде оказались и провокаторы (Черномазов и Житомирский). Началось, конечно, дело с приветствий. Их было очень много. Но в моей памяти из них запечатлелось только два — Макдональда и Розы Люксембург.

Приветствуя съезд, тогдашний лидер английских лейбористов и будущий предатель интересов рабочего класса, сэр Макдональд, между прочим, заявил:

«Я рад, что вы могли приехать сюда для устройства своего конгресса в нашей стране.

Но не думайте, что мы всего достигли; нет! И здесь, в свободной Англии, есть такое же рабство наемного труда, как и в вашей стране, как и в других континентальных странах».

Сколько наивного фанфаронства звучало в этих словах: «не думайте, что мы всего достигли!..» За каких дикарей он нас принимал? Как будто, проживая в Уайт-Чепеле — этом беспримерном очаге нищеты, грязи и порока,— можно было это подумать! Не думал ли этого сам Макдональд, когда, сбросив уже с себя личину социалиста, он в 30-х годах в рядах консерваторов так ратовал против Советского Союза, далеко уже опередившего старую Англию.

Наиболее интересным и содержательным из всех приветствий было большое выступление Розы Люксембург от имени германской социал-демократии. А в этом выступлении наиболее для нас ценным мне показалось признание того большого вклада, какой уже внесла русская революция в сокровищницу всего международного движения путем «расширения и обогащения пролетарской тактики» методами политической забастовки. «До 1905 г. в рядах германской социал-демократии,— говорила она,— господствовало по отношению ко всеобщей забастовке совершенно отрицательное отношение, она считалась исключительно анархистским лозунгом и, значит, реакционной, вредной утопией». Но русский опыт показал другое, и Иенский партейтаг 1905 года зафиксировал это в своих решениях. Германский пролетариат, внимая урокам российской революции, «поспешил отдать дань ее опыту, присоединяя к прежним формам своей борьбы новый тактический лозунг, рассчитанный уже не на парламентский способ действия, а на непосредственное выступление самых широких пролетарских масс».

С тех пор многое изменилось. В авангарде мирового движения стал рабочий класс нашей страны. Но первые его успехи в создании новых методов борьбы и социальных форм, получившие общее признание, относятся к 1905 г., когда и наше поколение, будучи много моложе, гордилось своим в них участием.

В деловой части съезда острая фракционная борьба прежде всего завязалась вокруг отчетов ЦК и думской фракции в связи с отношением социал-демократии к буржуазным партиям вообще и Государственной

думе в частности. Но в конце концов после жестокой критики меньшевистских позиций по первым двух пунктам дело обошлось без большого кровопролития. Благодаря поддержке так называемого «центра», т. е. бундовцев и латышей, по отчету ЦК принимается формула простого перехода без всякой резолюции 143 голосами против 91 большевика. А по отчету фракции проходит формула доверия всеми голосами против одного. Зато по отношению к буржуазным партиям и Государственной думе прошли резолюции большевиков и притом с перевесом голосов в пятьдесят. Однако центральный бой был дан меньшевикам по вопросу о «рабочем съезде». Защитник «широкой рабочей партии» П. Б. Аксельрод подлил масла в огонь в своем докладе следующим заявлением:

«Я утверждаю, что партия наша является по происхождению своему и до сих пор еще остается революционной организацией не рабочего класса, а мелкобуржуазной интеллигенции...»

Это заявление в связи с дальнейшим утверждением Аксельрода, что рабочие в нашей партии играют роль плебеев, а интеллигенция — роль опекающих плебейские низы партийцев, явилось прямым вызовом большинству съезда. Действительно, интеллигентов в нашей партийной среде было когда-то немало, но все же они составляли ничтожное меньшинство в партии, насчитывавшей уже свыше 150 000 членов. Даже на съезде в Лондоне насчитывалось 116 рабочих физического труда, в то время как лиц «либеральных» профессий и «литераторов» там оказалось 106, из них лиц с высшим образованием — всего 52. А главное, среди наших рабочих, прошедших школу подполья, было немало таких видных революционеров, как М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов и многие другие. Они знали подлинную цену собственной партии. Они не чувствовали себя в партии под чьей-либо опекой. И когда им предложили сдать ее в архив во имя беспартийного «рабочего съезда», то оказалось, что из 114 голосовавших рабочих только 25 человек проголосовало за этот ликвидаторский съезд, а все остальные 89 голосовали против. В общем за резолюцию большевиков, признавшую агитацию ликвидаторов за рабочий съезд вредной, проголосовало 165 делегатов против 94. И я очень рад, что в этом голосовании я вместе с Лениным и большинством рабочих проголосовал в защиту партии.

«Мы патриоты партии,— говорили эти рабочие,— мы любим свою партию, и мы не дадим дискредитировать ее усталым интеллигентам».

Не будучи фракционером, я, однако, не раз голосовал и на этом съезде с «центром» против всех тех предложений большевиков, которые, как мне казалось, угрожают снова расколоть с таким трудом сколоченную партию. Приятнее всего мне было поэтому голосовать за такие решения, которые объединяли весь съезд или огромное его большинство. К числу таких решений я отношу, между прочим, и резолюцию против так называемых «партизанских выступлений», дискредитирующих партию, за которую голосовало 170 делегатов против 35 при 52 воздержавшихся. По-прежнему, не посещая фракционных собраний на съезде, я не получал ниоткуда и фракционных директив, считаясь только с общепартийными решениями. Это освобождало меня от голосований по чужой указке, но влекло за собой тягостное чувство своей отчужденности от ярых сторонников той и другой фракции. Ярость фракционных страстей достигала порой таких степеней и выражений, что их следы пришлось потом тщательно удалять из протоколов. Но все же и сюда проскочило словечко «негодяй», брошенное кем-то в пылу фракционной перебранки по адресу одного из делегатов — Алексинского. Этот случайный человек в партии своим дальнейшим ренегатским поведением, впрочем, вполне оправдал такую оценку. Однако люди этого типа, сознательно обостряя мельчайшие разногласия и поднимая их каждый раз на самую что ни на есть «принципиальную» высоту, здорово отравляли ат-

мосферу съезда. И, спускаясь с этих «высот» на бренную землю по выходе на улицу из стен приютившей нас «братской церкви», я не раз чувствовал душевное облегчение.

Воскресные передышки от съезда мы проводили на улицах Лондона. В этой столице, где находили себе приют и убежище такие большие люди, как Маркс и Энгельс, Герцен и Кропоткин, Кошут и Мадзини, было что посмотреть. Многие из нас прежде всего посетили могилу Маркса, воздавая этим долг его бессмертным идеям. Затем нас, конечно, потянуло в Британский музей. Но что можно было унести из этой сокровищницы человеческой мысли, заглянув в нее всего лишь на несколько часов. Я узрел там, правда, извлеченную из пирамид мумию египетского фараона Рамзеса, жившего свыше 3000 лет тому назад. Но это было слишком уже несовременное зрелище. И я решил обратиться к современности. То поднимаясь на омнибус, то ныряя в подземные недра метро, я изъездил весь город — от жутких трущоб в доках Ист-Энда до аристократических клубов на улицах Пэл-Мэл и Гей-Маркет. Побывал я и в Национальной галерее на Трафальгар-сквере, побродил по парадным Стрэнду, Риджентс-стрит и Пикадилли с их универсальными магазинами, забрел в Грин-парк к Букингемскому дворцу, полюбовался ажурной готикой Вестминстерского аббатства, покрутил носом у Скотланд-Ярда, учуяв и здесь знакомый тлетворный дух российской охранки, заглянул и в деловой Сити, где у Чипсайда возвышаются важнейшие храмы современного бога Маммоны — Английский банк и Лондонская биржа, пробрался по Сити-род, Олд-стрит и Хикни-род на городские рынки и впервые познал здесь за шесть пенсов тонкий вкус заморского ананаса. Наконец, набрел как-то у Лондонского моста на древний Тоуэр и подивился, как это свободолюбивые англичане до сих пор не разрушили этой своей Бастилии.

У каждого народа, конечно, свой стиль и характер. Но едва ли кто охотнее англичан культивирует у себя сочетание самых устаревших традиций и анахронизмов с наиболее передовыми идеями современности. Немало поучительных в этом отношении наблюдений можно было сделать в лондонском Гайд-парке в любой праздничный день. Мы не раз побывали в этом чудесном парке. Особенно интересны были наши туда прогулки с А. М. Горьким, который, будучи чудесным собеседником, оживлял по дороге всю компанию своими меткими замечаниями и рассказами. Но в Гайд-парке и он умолкал, наблюдая здешние нравы. Тысячи людей здесь свободно митингуют под открытым небом, другие поют, третьи молятся, четвертые танцуют. Вдоль дорожек располагается ряд импровизированных трибун с плакатами, на которых обозначена тема выступлений. Ораторы собирают вокруг себя кучки слушателей и начинают их обрабатывать. Консерваторы и либералы, социалисты и анархисты, миссионеры и атеисты — все здесь «свободно» соревнуются между собой в словесных состязаниях. Присутствуют кой-где и полисмены. Но их задача следить лишь за тем, чтобы ни одному из ораторов никто не помешал мирно закончить выступление. С олимпийским спокойствием они прогуливаются по парку, молчаливо внушая всем слушателям один завет:

— Не любо — не слушай, а врать не мешай!

По сравнению с царской Россией, где нам как раз даже правду высказывать мешали, здешняя трактовка свободы слова показалась мне было весьма забавной. Но, превращаясь в свободу вранья, она предоставляла слишком большие преимущества в соревновании для вралей, а из вралей — для тех, кто располагает средствами самого крупного производства лжи. Стало быть, подумал я, не мы ей позавидуем. Да и в современной Англии, пожалуй, не всякий благородный мистер Пиквик сумел бы противостоять организованному напору свободной лжи.

Перед отъездом на родину нам встретилось еще одно испытание. В середине съезда хозяйственная комиссия обнаружила угрожающий де-

фицит в нашем финансовом положении. Отчасти в этом была повинна датская полиция, вынудившая наш переезд в Лондон, а отчасти и мы сами затяжкой прений в связи с фракционным их ожесточением. Достаточно сказать, что лишь на утверждение порядка дня съезда у нас ушло шесть заседаний. К концу съезда уже пришлось комкать прения. И все же денег на обратную дорогу в Россию не хватало. Собственных фондов, конечно, ни у кого не нашлось. К счастью, после многих мытарств и волнений с помощью Горького удалось заключить заем у некоего местного мыловара[1]. Он оказался большим любителем автографов, потребовав, чтобы на заемном письме расписались все делегаты съезда. Заем датирован 17 (30) мая 1907 г. Кредитоспособность подпольной партии была невелика, и наш любитель автографов рисковал всей суммой нашего долга в 1700 фунтов стерлингов, или 17 000 рублей золотом. Однако наша Октябрьская революция не подвела его все-таки, и выручивший нас мыловар после прекращения блокады получил всю свою сумму сполна. Через два дня после этого займа закрылся съезд. А еще через несколько дней мы были уже у себя на родине.

14. АЛЬМА-МАТЕР

Вернувшись из Лондона, я снова окунулся было в подполье. Но в условиях растущей реакции возможности подпольной работы резко сократились. Прежде всего частые провалы вынуждали меня все чаще менять место работы, лишаясь возможности постоянного заработка. Правда, профессионалы-революционеры, занятые только партийной деятельностью, вправе были существовать за счет партийных ресурсов. Но я лично всегда избегал истощать их своей особой, а теперь и подавно не решался отягощать и без того крайне отощавшей кассы рабочих организаций и потому остро ощущал потребность перейти от кочевого быта к более оседлому существованию. К тому же побуждал и изменившийся характер партийной работы. Заниматься по-прежнему кустарной работой пропагандиста в кружке с десятком рабочих не было ни нужды, ни охоты, ибо вся страна была у нас буквально наводнена миллионами экземпляров легально выпущенной брошюрной социал-демократической литературы. Агитировать на массовках, пользуясь текущими злобами дня, тоже не стоило труда при наличии ежедневной рабочей прессы, выполнявшей всю агитационную и организационную работу и много лучше и в гораздо более широком масштабе. Огромную роль в этом деле выполняла и наша социал-демократическая фракция в Государственной думе. Все эти позиции, завоеванные нами в пятом году, правда, подвергались теперь жесточайшему обстрелу реакции, но их уже нельзя было совсем отнять у народа, вкусившего цену свободы.

Как известно, и вторая Дума просуществовала всего три с небольшим месяца (с 20 февраля по 3 июня 1907 г.). Разогнав ее, Столыпин угнал кстати на каторгу и депутатов социал-демократической фракции, чтобы рассеять в стране всякие иллюзии о депутатской неприкосновенности избранников народа. Но за второй Думой последовали третья и четвертая. И хотя, изменив самым беспардонным образом избирательный закон, Столыпину удалось сократить в ней левое крыло в несколько раз, но ни избавиться от социал-демократов в Думе, ни запугать их каторгой оказалось все же невозможным. Таким образом, думская трибуна оставалась за нами. То же было и с печатью. Правда, все левые брошюры подвергались конфискации, а левые газеты запрещению, но это лишь содействовало их распространению. Издательство

---

[1] Мистер Фелкс был в то же время основателем особой христианско-социалистической секты и Братской церкви на Саусгейт-род, в которой заседал наш съезд.

революционной литературы оказалось настолько рентабельным, что за него взялись крупные капиталисты — Парамонов, Мешков и другие и, поставив это дело широко, всегда ухитрялись уберечь от конфискации и распродать до 90 процентов многочисленных тиражей. Рабочие газеты издавались на гроши, но и их расхватывали не хуже. Вместо одной закрытой газеты возникала другая, вместо одного арестованного «редактора» появлялся другой зитцредактор, заранее готовый к той же участи. И левая пресса тоже оказалась неистребимой. Во всяком случае она пережила даже своего злейшего гонителя — Столыпина, павшего 1 сентября 1911 г. по иронии судьбы — вопреки всем добрым традициям — не от руки революционера, а от отравленной пули собственного агента охранки — Богрова. А после его бесславной кончины рабочая пресса и вовсе окрепла.

Победа контрреволюции была, конечно, временной. Но хуже всего было то, что она сопровождалась общественной реакцией и какой-то усталой апатией даже наиболее прогрессивных кругов интеллигенции. Необычайно расширилась вдруг аудитория таких мистиков и мракобесов, как Мережковский, З. Гиппиус, Бердяев и прочие. Студенческая молодежь стала зачитываться порнографией Арцыбашева. Над его героем Саниным в Петербургском университете был учинен примерный суд. Студент-большевик Крыленко выступал в роли обвинителя, студент-меньшевик Канторович — в роли защитника. «Присяжные» вынесли оправдательный вердикт. Но, не говоря уже о студенчестве, и в среде партийной интеллигенции начались явная растерянность и идейный разброд. Меньшевики на почве безвременья разбились на «партийцев», «примиренцев» и открытых ликвидаторов партии. От большевиков-ленинцев откололись «отзовисты», «ультиматисты» и «богостроители». Все такие раскольники из божественных и небожественных «отзовистов» в лучшем случае выражали, по словам Ленина, идеологию политического индифферентизма, с одной стороны, и анархических блужданий — с другой. И по существу они ничем иным, кроме «левой» фразеологии, не отличались от раскольников, правого, ликвидаторского уклона в партии.

Разбредаясь сами все врозь и растаскивая партию на части, эти размагниченные интеллигенты во взаимной распре не только мешали жить один другому, но и ослабляли общую силу отпора реакции. В рабочей среде давление политической реакции подкреплялось еще действием экономического кризиса 1907 г. и последующей депрессии. Все это предвещало неизбежное затишье и в низовом рабочем движении.

Чтобы все же использовать в меру сил все свои возможности, я решил вернуться в столицу, где легко было найти заработок, совмещая его в той или иной мере и с партийной работой. У меня не было документов. Но я решил рискнуть добыть их самым простым образом. Приехав к себе в Скопин, где я кончал среднюю школу, я вытребовал себе из Реального училища дубликат аттестата. Затем, заявив о потере паспорта, получил в местной полиции и новый паспорт. Значит, смекнул я, меня не разыскивает охранка. С 1905 г., когда в пылу массовых арестов и за мной охотились, прошло много времени. Обо мне могли уже и забыть. Тогда я решил подать свой аттестат в Питерский политехникум на экономическое отделение, куда я мог поступить по конкурсу аттестатов без экзамена. Это создавало для меня и легальное положение в столице и позволяло, кстати, завершить свое экономическое образование. В том, что я сумею совместить учебу и с заработком, и с партийной нагрузкой, я не сомневался. И действительно, мне удалось это сделать. В институте я скоро получил стипендию. Кое-что подрабатывал и литературой. Кроме того, близкая нам семья одной из сестер Сони — Нади (большой), жившая далеко, в Уральской степи,

поручила нам с женой воспитание своих детей, учившихся в Питере, приняв на себя и значительную часть наших расходов. Дети были хорошие, и, полюбив их сердечно, нам нетрудно было выполнять свои опекунские над ними обязанности. Жена начала учебу на Бестужевских курсах. А я в числе других литераторов включился и в партийную работу по обслуживанию социал-демократической фракции третьей Государственной думы.

Мои литературные дебюты, совпавшие с революционным подъемом 1905 г., подарили меня неожиданным успехом. Выпущенная в 1905 г. моя первая книжка — «Богатство и труд» полностью разошлась через полгода и в 1906 г. была пущена в продажу вторым изданием. В том же году мне удалось издать брошюру «Слово к крестьянской бедноте» и указатель «Что читать социал-демократу?». А в 1907 г. я написал, вернувшись из Лондона, и выпустил в издательстве «Донская речь» еще две брошюры: «Община и земельный вопрос» и «В защиту свободы совести». Для дебютанта это был, конечно, большой успех. Я понимал, однако, что этим успехом я обязан гораздо более революции, чем собственным своим скромным заслугам. И все же он окрылил меня надеждой, что и я в свою очередь смогу послужить революции своим пером и головой с бо́льшим успехом, чем на каком-либо ином поприще. Во мне теплилась искорка публициста. Но, не будучи зазнайкой, я понимал, что кроме этой искорки для службы революции головой требуется много знаний, гораздо больше, чем я мог их попутно нахватать в своих тюремных университетах. И я готов был для этого учиться дальше, учиться хоть всю свою жизнь. А для начала надо было попытаться одолеть хотя бы курс Политехникума. Кстати сказать, литературный заработок помог мне на первый случай и перебраться на учебу в столицу.

Само собой разумеется, что в стенах института я не собирался целиком замкнуться в одну лишь школьную учебу. Обслуживая по партийной линии социал-демократическую думскую фракцию, я отдавал ей немало времени, помогая очередным выступлениям наших депутатов, подготовляя им необходимые для этого законопроекты, объяснительные записки и речи. В частности, помню свои работы по законопроекту о 8-часовом рабочем дне и по земельному законодательству.

Мы не рассчитывали на проведение в жизнь своих законопроектов через столыпинскую Думу. Но тем более принципиально, без всякого соглашательства с другими партиями, мы их могли обосновывать и защищать в агитационных целях перед лицом всей страны. Наши депутаты, в большинстве своем от станка или от сохи, не могли бы сами справиться с этой задачей. Тем охотнее приходили мы им на помощь своим трудом и знаниями. К тому же это отнюдь не отвлекало меня от учебы. Чтобы составить объяснительную записку к законопроекту или дать иную компетентную консультацию другим, нужно ведь было и самому погрузиться в книжное море. А всякий ценный улов в нем можно было использовать попутно и в печати и в стенах института. Так, например, моя записка о 8-часовом рабочем дне, подкрепленная большим статистическим материалом, пригодилась не только для думской фракции, но и для зачета у Л. Н. Маресса в просеминаре по статистике.

Выкраивал я немало времени и для чисто литературной работы. В первые два года своего нового студенчества я написал и выпустил в свет целую книгу, посвященную борьбе с ударившейся в годы реакции в мистику и воспарившей в облаках мелкобуржуазной интеллигенцией [1]. В ее рядах бок о бок с такими матерыми идеологами мистиче-

---

[1] С. Струмилин. Аристократия духа и профаны. Два идеала. СПб., 1910.

ского мракобесия, как Мережковский и его друзья, стали все чаще появляться недавние перебежчики из радикального лагеря, бывшие «марксисты» Бердяевы, Булгаковы и К⁰. И все они, рядясь в павлиньи перья ницшеанской аристократии духа и поднимаясь в стратосферу пустых абстракций, обливали с этих заоблачных высот своим высокомерным презрением наши «низменные» демократические идеалы.

Как и многие другие партийцы, я не мог пройти равнодушно мимо такого поругания своих идеалов. А кроме того, мне и самому захотелось поглубже раскрыть эти идеалы «профанов», продумав их для себя самого до конца. И, горячо взявшись за дело, я со всем увлечением и страстью написал тогда этот свой боевой памфлет, бичующий идеологию «аристократии духа» во имя идеалов пролетариата. Возможно, что строгий критик и в этой книжице, написанной кровью сердца, нашел бы для себя немало пищи. Но ее предпочли замолчать враги. Не откликнулись на нее никак и друзья. И я очень об этом сожалею, ибо эта книга — одно из самых любимых моих детищ. Чтобы оживить в памяти тогдашние настроения нашего поколения, приведу все же несколько выдержек из этой всеми забытой книги юного оптимизма. Вокруг нас бушевала реакция. И с уст деклассированных мандаринов духа в эту вальпургиеву ночь реакции, или, выражаясь стихом Валерия Брюсова, «в час, когда бесстыдству учит — темнота и нагота», все откровеннее срывались признанья:

Одно нам осталось — сближаться, сливаться,
Слипаться устами, как гроздьям висеть...

Но, растеряв прежние идеалы, господа Бердяевы и прочие неофиты нового эротико-мистического вероучения пытались обесценить и наш идеал уже тем, что, будучи вполне достижимым, он угрожает нам жалкой судьбой «последних людей» Заратустры: некуда уже будет дальше идти, нечего желать, не за что бороться. Исчезнут манящие дали неизведанного, исчезнут живые источники волшебных грез. Бесцветно потечет изо дня в день размеренная сонная жизнь — жизнь без страсти и борьбы, без мук, тоски и порывов вдохновенья, без идеала. «Мы нашли счастье,— говорят последние люди и моргают».

«Предвижу я тебя, земли последний сын!» — пережевывает в стихах ту же ницшеанскую тему Валерий Брюсов:

Предчувствовал я жизнь замкнутых поколений,
Их души, *сжатые познаньем,* их мечты...

«Идеал не может мыслиться достигнутым,— подхватывал на свой лад модную мыслишку Штаммлера наш оригинальный теософ С. Булгаков,— движение к нему бесконечно, а следовательно, *в этом смысле* и социальный вопрос в пределах истории окончательно *неразрешим*» [1].

«Осуществленный, или что то же (?) *осуществимый* идеал,— глубокомысленно вторил ему почтенный экономист г. Туган-Барановский,— потерял бы всю свою красоту, всю свою особую и чарующую притягательную силу. Идеал недостижим, ибо в противном случае это не был бы идеал, а простое эмпирическое понятие» [2].

«Пусть идеал никогда не осуществляется в этом мире. Печалиться и сетовать об этом нечего...»,— заявлял лидер эсеров Виктор Чернов. «Как будто идеальное,— восклицал он,— в каком-то застывшем (?) и неподвижном (?) мире всяческого совершенства, а не в самой жизни,

---

[1] С. Булгаков. От марксизма к идеализму. СПб., 1904, стр. 307.
[2] М. И. Туган-Барановский. Очерки из новейшей истории политической экономии. СПб., 1903, стр. 91.

движении вперед, борьбе за высшие формы индивидуальной и социальной жизни» [1].

И в подкрепление этой бернштейнианской антитезы, «цели» — «движению», Чернов апеллировал к Лессингу. Вспомните, дескать, Лессинга, который даже самому богу — на случай, если бы тот вздумал одарить его полной истиной,— предусмотрительно готовил примерно такой «горделивый» ответ:

— Оставьте при себе вашу истину, чтоб ей пусто было. Я человек маленький. С меня хватит и одного приближения к ней.

И вот, на все подобные поучения мандаринов духа мне рисовался такой простой ответ:

Шутники! — ответил бы на это пролетарий.— Вы говорите, что счастье в борьбе. Но разве можно бороться без цели победить? Вы утверждаете, что счастье в бурном стремлении,— и предлагаете нам топтаться на месте. Оно, конечно, и бег на месте может служить праздным — для моциона. Но нам не до моциона. Мы не аргонавты, гоняющиеся с жиру за призраками счастья. Нет, к идеалу нас гонят реальнейшие скорпионы социального гнета. Мы бежим сквозь строй бед от несчастья. И вдруг нам говорят: «Остановитесь, безумцы! Ибо, когда вы добежите до цели, вам уже некуда будет бежать...» Ну, не шутка ли это?..

Цель, указующая лишь направление, в котором следует молитвенно воздевать руки, и притом воздевать платонически, без всякой надежды обнять ее когда-либо,— это не идеал, а идол. Но мы не идолопоклонники. Для нас идеал — это вырастающая из условий времени социальная задача, которая взывает к человечеству подобно древнему сфинксу:

— Разреши меня, или я тебя пожру!

Помимо названной книги мне удалось за время учебы в институте опубликовать ряд статей и рецензий и в редактировавшемся мною студенческом «Голосе политехника» и в других изданиях. В борьбе с разными проявлениями реакции и в институте и вне его приходилось, впрочем, иной раз подавать свой голос и по-иному, вне печати. Помню, например, нашумевшее дело по клеветническому обвинению еврея Бейлиса в ритуальном убийстве христианского младенца. Несмотря на все старания черносотенной прокуратуры, суд присяжных оправдал Бейлиса. Но меня возмутило, что в числе защитников Бейлиса выступил на этот раз и лидер религиозно-философского общества Д. С. Мережковский, сам еще совсем недавно безнаказанно сеявший подобную же клевету против русских сектантов. И я с группой друзей обратился к нему через печать с таким открытым письмом:

«Милостивый государь!

Прочитав о Вашем энергичном выступлении в религиозно-философском обществе против кровавого навета на евреев и вполне разделяя справедливое негодование этого общества по поводу «бесстыдной легенды о ритуальных убийствах», мы не можем удержаться от недоуменного вопроса по Вашему адресу:

— Являетесь ли Вы противником кровавых наветов вообще или только в некоторых частных случаях?

Дело в том, что мы еще очень живо помним одну яркую картину сектантского радения из Вашего исторического романа «Петр и Алексей», ту самую картину, которая заканчивается весьма недвусмысленным покушением на ритуальное убийство младенца, чтобы «кровью живой причаститься»...

Бросив кровавое обвинение в ритуальном убийстве по адресу одной из христианских сект, Вы до сих пор, насколько нам известно, не дали

---

[1] В. Чернов. Субъективный метод в социологии.— «Русское богатство», 1901, № 8, стр. 247—249.

себе труда ни подтвердить его документально, ни открыто и честно отказаться от него, как от легкомысленного, а в наших российских условиях религиозной свободы даже прямо преступного шага. Приходится думать поэтому, что в отношении сектантов Вы и без особых доказательств считаете возможным со спокойной совестью поддерживать своим авторитетом эту ритуальную легенду просто потому, что она представляется Вам вполне правдоподобной. Но ведь обвинение без доказательств и есть навет. И если при всем том Вы, религиозный человек и христианин, не замечаете никакого кощунства в *своих* кровавых наветах на сектантов, то, скажите, откуда Вы черпаете силы для того пафоса, с которым Вы обрушиваетесь против векового навета на евреев?

Объясните ли Вы нам когда-нибудь эту загадку?»

Как и следовало ожидать, либеральная пресса не опубликовала нашего открытого письма, ибо адресат его предпочел постыдно отмолчаться. Да и что, впрочем, мог он сказать в свое оправдание?

Иначе разрешился для меня другой конфликт с силами реакции, разыгравшийся после смерти Л. Н. Толстого, 7 ноября 1910 г. У всех был еще на памяти его резкий протест — «Не могу молчать», вызванный в 1908 г. столыпинской реакцией. За манифестацией на похоронах Л. Н. Толстого последовали новые репрессии, а в ответ на них — новая вспышка студенческих волнений. Начались сходки, призывы к забастовке. На одной из таких сходок в Политехникуме, где мне пришлось быть председателем, я, выступив против забастовки, предложил резолюцию в пользу более целесообразной в данный момент формы протеста, а именно: в форме общегражданской уличной демонстрации. Не знаю, прошла ли бы эта резолюция при нормальном течении сходки. Но тут произошла такая, весьма характерная для тех времен сценка.

В самый разгар прений в обширной чертежной института туда вдруг врывается полицейский пристав с нарядом городовых и зычно вопит:

— Прошу немедленно разойтись!..[1]

Сходка грозно шумит, как разгневанный пчелиный улей.

Председатель: Спокойнее, товарищи! Внимание. Я этому оратору (жест в сторону пристава) слова не давал. (К оратору на трибуне.) Продолжайте!..

Оратор: Ввиду полной ясности вопроса, внесенного справа (жест в сторону пристава), нам остается только проголосовать предложенную сходке резолюцию.

Председатель: Голосую. Кто за? (Лес рук поднимается.) Кто против? (Лес рук опускается.) Итак, резолюция принята. Повестка дня исчерпана. И, закрывая общестуденческую сходку, мы можем теперь предоставить это помещение для очередного выступления столичных городовых.

Пожалуйста, господа. Ваша очередь.

Занавес.

Правда, после этой сценки меня-таки вышибли по распоряжению охранки из института. Но демонстрации протеста, к которым я призывал сходку, все же состоялись в Петербурге 11 и 12 ноября 1910 г., и в них приняло участие не менее 10 000 человек.

Однако за исключением бурных приключений такого рода, наше мирное житие в Сосновке, вдали от города и всех его соблазнов, протекало главным образом в усердной и весьма плодотворной учебе, которой в числе других и я отдавал максимум своего времени и труда.

---

[1] Этот пристав Шалфеев, прославившийся своей энергией в усмирении студенческих волнений в Сосновке, был убит в первые же дни Февральской революции 1917 года.

И если многие питомцы высшей школы лишь по традиции именуют ее ласковыми словами «альма-матер», то для меня в Сосновке она явилась действительно «нежной матерью», впервые приобщив ко всем радостям полнокровной общественной науки.

* * *

Еще до того как я вступил в 1908 г. впервые в светлый храм экономической науки в Сосновке, воздвигнутый С. Ю. Витте на потребу русской буржуазии, я изрядно вкусил от общественных наук, отнюдь не отрывая теории от практики. Свыше десятка лет усердно изучал марксистскую науку, внедряя ее там, где в ней особенно нуждались. В связи с этим мне удалось, конечно, «прослушать» курс не в одном из наиболее доступных в дореволюционной России и к тому же совершенно бесплатных тюремных университетов. Пополнял я не раз свое образование и в богатых впечатлениями «путешествиях» по родным краям — по этапу, изучал волей-неволей естественные богатства нашего Севера, выгружая из воды сплавной лес. Побывал даже, как это полагается для завершения образования, и в заграничных поездках — в Париже, Стокгольме и Лондоне. Случалось в подпольном быту переживать всяческие передряги. Я не говорю уже о тяжелом опыте тюремных коллективных голодовок и зверских избиений в тюремных подвалах. Все эти житейские «университеты» ничуть не насытили мою жажду знаний. И, как только после революции 1905 г. представилась возможность снова по-настоящему, систематически поучиться, я охотно ею воспользовался.

Среди тогдашней профессуры в Политехникуме было немало крупнейших ученых и блестящих лекторов, хотя, к сожалению, оба эти качества далеко не всегда совмещались в одних и тех же лицах. Особой популярностью среди студентов экономического отделения пользовались тогда М. М. Ковалевский, А. А. Чупров, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, Д. М. Петрушевский, М. А. Дьяконов, Н. И. Кареев, В. Б. Ельяшевич и некоторые другие. Их весьма умеренные политические воззрения мало удовлетворяли тогдашнее в своей массе левое студенчество. Но научиться у них можно было многому. И за одно это все, кто хотел учиться, ценили их по достоинству.

Менее всего при этом меня лично удовлетворяли их лекционные часы. Сидя у себя дома, я прочитывал обычно на ту же тему вдвое больше и усваивал прочитанное много лучше. В науках, где не требуется лабораторный эксперимент, лекции, на мой взгляд, дают гораздо меньше книги. Сидя на лекциях, студент невольно из активного субъекта познания превращается в пассивный объект чьей-то «обработки», подобный пустому меху, в который усилиями лекторов усердно накачивается целый ворох более или менее удобоваримых знаний. Да и ученый в роли лектора используется лишь в малой степени. Академические лекции вообще, по меткому замечанию Ф. Меринга, стали анахронизмом с тех пор, как было изобретено искусство книгопечатания. И мне просто бывает обидно за тех ученых, которых в наш век ротационных машин и радиопередач используют в роли не то рядовых дикторов, не то усовершенствованных граммофонов, повторяющих перед полупустой аудиторией давно опубликованные истины.

Призвание ученого иное. Он должен творчески обогащать науку. Но научное творчество не так легко дается, чтобы можно было ежечасно ронять его плоды на ходу перед изумленной аудиторией — экспромт за экспромтом — на каждой лекции. Новые достижения в науке требуют немалого труда и тщательной проверки в публичной дискуссии, которую, разумеется, не может заменить собой студенческая ауди-

тория. Если же новое научное достижение уже нашло свое оформление в виде публичного доклада или книги, то с ним всегда гораздо приятнее и полезнее познакомиться в оригинале, чем в вольном пересказе с кафедры.

Наиболее блестящим лектором из нашей профессуры был, пожалуй, М. М. Ковалевский, пересыпавший свои лекции воспоминаниями о личных встречах с величайшими людьми Европы, историческими анекдотами, веселыми остротами и тому подобными отступлениями. Нам импонировало, когда из его уст звучало: мой друг, Карл Маркс. Уснуть на его лекциях не умудрился бы самый сонливый слушатель. Аудитория вместе с добродушным Максимом Максимовичем час-другой весело развлекалась, но, к сожалению, лучше всего запоминалось на этих лекциях наиболее в них яркое — анекдоты.

Другую крайность в качестве лектора представлял П. Б. Струве. Несмотря на его неуклонное сползание слева направо в политике, многие ценили его как ученого. Но незаурядный стилист в своих литературных выступлениях, он совсем не оправдывал наших ожиданий в качестве лектора. На лекциях он почти в каждой фразе спотыкался, запинался, мычал, стонал, как будто разрешаясь в родовых муках новым словом в науке. Но, увы, беременность эта чаще всего оказывалась мнимой. Вымученные слова содержали на поверку обычно весьма подержанные истины. И вспотевший от напряженного внимания вместе с лектором слушатель выходил из аудитории усталый и разочарованный.

Производительнее других использовал свои лекционные часы Александр Александрович Чупров. Он вовсе не читал нам никакого курса статистики. Для усвоения необходимого студентам минимума экзаменационных требований по этому курсу он рекомендовал им прочесть давно уже опубликованный учебник своего отца А. И. Чупрова. А на своих лекциях Александр Александрович знакомил студентов с текущими итогами своей творческой работы, продвигавшей вперед статистическую науку. Это были скорее научные доклады, чем лекции. Их невозможно было еще нигде прочесть, ибо они только подготовлялись к печати. Блестящий лектор и неутомимый исследователь, А. А. Чупров, каждый год продвигаясь вперед, не повторял ежегодно пройденного в прошлые годы, а всегда предлагал слушателям новые разделы своей исследовательской работы. Его имя в те годы еще не пользовалось мировой известностью. Не требовалось его слушать и ради экзаменационных зачетов. И все же на его лекциях аудитория всегда была гораздо полнее, чем на многих других. Его творческие выступления, увлекая наиболее пытливых слушателей на избранный им путь, не пропали даром. Проверяя в аудитории и семинаре интерес и доходчивость своих новых идей, он попутно создал целую школу своих учеников и талантливых последователей, из которых многие давно уже сами пользуются заслуженной известностью. И, верные своему учителю, они утверждают: лекции должны быть *школой мышления и исследовательского* труда, а не справочной энциклопедией, включающей весь мусор экзаменационных требований.

Хороши были лекции М. А. Дьяконова по истории русского права, в которых он учил слушателей думать и соображать, а не запоминать, и подавал сырой материал источников права в таком виде, что когда дело приближалось к подведению выводов, у слушателей эти выводы складывались уже как их собственные, а не навязанные со стороны. И ими уже вовсе не требовалось обременять глубины своей памяти.

Были у нас крупные ученые, как, например, всеми уважаемый шеф важнейшей на отделении кафедры политической экономии А. С. Посников, которые и вовсе не затрудняли ни себя, ни слушателей чтением какого-либо лекционного курса. Строгий в своих требованиях к сту-

дентам, которых он заставлял изучать всех классиков из *первых* рук, а не в чужом пересказе, он беспощадно гонял с экзамена тех, кто пытался обойти эти требования. А. С. Посников был строг и к самому себе. Обремененный годами и заботами, он уже не мог отдаваться самостоятельной исследовательской работе, а занимать студентов с кафедры пересказом чужих мыслей было бы недостойным тех высоких требований, какие он предъявлял к другим. И он был, на мой взгляд, совершенно прав. Нужно читать либо такие лекции, с какими к нам выходил на кафедру А. А. Чупров, либо не появляться на ней вовсе, следуя честной манере А. С. Посникова.

Заранее предвижу возражения некоторых читателей:

— Это явно неосуществимое требование. Вы максималист. Откуда бы мы взяли столько лекторов, подобных Чупрову, чтобы обеспечить ими все существующие кафедры? И какой у нас выход, если мы сами посещение лекций объявляем обязательным для всех студентов?

Говоря честно, я мог бы предложить только два выхода. Либо вовсе отменить эту обязательность, либо склониться, скрепя сердце, к такому минимализму требований в этом отношении, живые примеры которого мы тоже наблюдали уже в свое время.

Отмечу и такой тип лекций, наименее затруднявший и лектора, и аудиторию. Взобравшись на кафедру, такой, например, почтенный и заслуженный ученый, как профессор Ю. С. Гамбаров, попросту раскрывал перед собой фолиант своих лекций по гражданскому праву и вычитывал из него с чувством, толком и расстановкой очередные страницы. А где-нибудь повыше, в амфитеатре громадной аудитории, рассчитанной на 500 слушателей, мирно дремали два-три «дежурных» студента. Профессор был уважаемый, лекции его высоко расценивались специалистами, и чтец он был изрядный. Однако мы и сами были грамотными. Но, чтобы не срывать зря лекций, к нему аккуратно в порядке очереди, наряжалась пара обязательных слушателей. Дежурство было не обременительное. И лектор, и слушатели понимали друг друга, не затрачивая на поддержание лекционной системы больше того, чего она стоила.

К последнему типу лекторов в сущности примыкало большинство профессуры, повторяющей в лекциях из года в год одни и те же мысли и факты в соответствии с утвержденной официальными инстанциями программой курса. Варьировалось в лучшем случае лишь словесное оформление этих отштампованных по обязательной для всех программе и уже поэтому отнюдь не новых истин. И потому лекции, кроме вступительных, на которых аудитория впервые знакомилась и с лектором, и с предметом новой науки, посещались очень слабо. Регулярно слушали у нас все предметы, по анкете 1909 г., всего 2,7 процента студентов, некоторых профессоров в разное время слушало до 57 процентов, а до 30 процентов студентов, и при этом отнюдь не худших, и вовсе не посещало лекций. Иные из профессоров, например, почтеннейший правовед А. Г. Гусаков, в борьбе с уклоняющимися от посещения запрещали издавать свои лекции. Их вышучивали студенты в «Голосе политехника» в таком стиле:

«...Как...— рассуждают, очевидно, эти просвещенные педагоги,— вы хотите наши лекции печатать? И дернуло же этого Гутенберга с его изобретением... Этак, пожалуй, и последнюю пару регулярных слушателей потеряешь... Нет, нельзя печатать, мы против книгопечатания!»

И все же в общем даже такие запрещенные к печати лекции, несмотря на особый интерес ко всему запретному, посещались негусто.

Гораздо больше интереса представляли для нас встречи с теми же учеными на практических занятиях — в лабораториях, семинарах и просеминарах, где студенты должны были сами проявлять активность, а

профессор лишь умело направлял ее и корректировал. Здесь уже студент мог спрашивать профессора и переспрашивать, черпая полным ковшом из глубин его научного опыта, мог делиться с ним своими сомнениями, памятуя, что сомнение — это начало всякого знания, мог при случае даже поспорить с ним, отстаивая свои еще не окрепшие концепции. А главное, здесь каждый убеждался на опыте, что знание, пассивно усвоенное памятью, без умения применить его на практике — это мертвый балласт в наших плаваниях по житейскому морю. Разбирая в просеминаре, скажем, какой-нибудь сложный юридический казус, студенту мало знать все относящиеся сюда нормы права. Он должен еще суметь применить их к данному конкретному случаю, сделав все вытекающие из них выводы. Или, получив все элементы для статистической таблицы, студент учится не только тому, как ее грамотно построить, но и как грамотно прочесть, т. е. путем внимательного анализа рядов извлечь из нее искомые экономические закономерности. А в семинарах студент проделывает, представляя их на суд товарищей, первые опыты самостоятельной научно-исследовательской работы.

Лекционная система отнимала у нас формально много учебных часов, а потому на обязательные практические занятия и семинары оставалось мало времени. Но мы восполняли этот дефект организацией по инициативе заинтересованных групп студентов с участием приглашенных ими профессоров целого ряда *необязательных* научных кружков и семинаров, которые посещались еще усерднее обязательных. И нередко даже косноязычный лектор оказывался вдруг наиболее интересным руководителем семинара. Только здесь проявлялись лучшие качества наших ученых и студентов. Только здесь мы могли оценить друг друга в полной мере. И только здесь оказывалась возможной действительная проверка знаний студентов. Одна лекционная система даже с неизбежным к ней дополнением в виде экзаменационной сессии не может надежно служить этой цели.

Экзаменаторы у нас бывали очень требовательные и суровые, вроде А. С. Посникова, к которому на экзамен по теории политэкономии шли со священным трепетом даже наиболее обстрелянные в экзаменационном огне студенты. Он требовал от каждого проштудировать в оригиналах основные труды А. Смита, Рикардо, Родбертуса, Гильфердинга, Менгера, Бём-Баверка и других, общим объемом свыше 10 000 страниц, и беспощадно гонял с экзамена студентов при первом же неудачном ответе. Осилить такую бездну премудрости успевали, конечно, не многие. Но успеть выявить все пробелы в знаниях каждого студента за 20—30 минут на экзамене по такой обширной программе было еще мудренее. И в общем экзамен превращался в лотерею-аллегри, в которой в конце концов все выигрывали. Понимая это, некоторые из наших профессоров сознательно упрощали неизбежную экзаменационную процедуру до предела. Веселее всего это выходило у М. М. Ковалевского, который экзаменовал студентов залпом, сразу человек по 20. Усадив их всех перед собой в ряд, он предлагал первому из них какой-либо вопрос и при малейшей его заминке сразу же перебрасывал этот вопрос, как мячик, следующим: «А Вы что скажете?.. А Ваше мнение?.. А Ваше?.. Вы тоже затрудняетесь?.. А Вы?.. И Вы, тоже?..» Быстро пробегая таким образом со своим вопросом по всей шеренге экзаменующихся до получения, наконец, от кого-либо удовлетворительного ответа, почтенный профессор задавал в том же порядке другой вопрос, третий и т. д. В какие-нибудь полчаса, не снижая темпов своего блиц-экзамена, он успевал выявить пределы познаний и невежества всей аудитории и, вздохнув с облегчением, требовал наши зачетные книжки, чтобы скрепить в них своим автографом обычно всем подряд удовлетворительные отметки.

Всего надежнее проверялись знания студентов в порядке их самостоятельных работ и выступлений в семинарах и просеминарах института. Так, например, в просеминарах экономической географии и по статистике каждый студент должен был представить значительные письменные работы, выполнение которых было невозможно без знания предмета и использования целого ряда статистических переписей и других первоисточников. В частности, мною по экономгеографии дано было хозяйственное описание Скопинского уезда Рязанской губернии, для чего пришлось перерыть не один десяток первоисточников сельскохозяйственной и промышленной статистики. Уездов в России было столько, что одной этой темы хватало на всех студентов. В статистический просеминар я представил работу о влиянии сокращения рабочего дня на производительность труда[1]. Выбор тем для этого просеминара был особенно широк и свободен. Знакомясь с подобными работами, руководитель кафедры получал еще до экзамена отчетливое представление об уровне знаний каждого студента. И потому, скажем, А. А. Чупров на экзамене по статистике почти не интересовался вопросами обязательной программы знаний по данному предмету, а чаще всего задавал студенту такие, казалось бы, вовсе не идущие к делу вопросы:

— Скажите, пожалуйста, что Вы еще читали, кроме учебника, по статистике, логике или иным близким темам и что именно показалось Вам особенно интересным?

И нужно сказать, что ответы на такие вопросы позволяли обычно экзаменатору гораздо глубже оценить уровень развития и диапазон интересов студентов, чем даже весьма удовлетворительные ответы в пределах казенной программы любого хорошо натасканного зубрилы-мученика.

Нужно ли говорить, что научная самодеятельность студентов в семинарах и без всякого специального контроля и отметок в матрикулах давала им гораздо больше, чем мог добиться самый требовательный экзаменатор.

В порядке самодеятельности создавалось у нас немало организаций и помимо чисто учебных кружков и семинаров. Так, например, в мое время у нас в Политехникуме функционировали философский кружок, литературный, драматический, музыкальный, архитектурно-художественный, кружок спортсменов, воздухопавательный, парусного спорта, шахматный и др. В частности, я немало времени отдавал последнему. И в этой области мы следили за литературой, не отрывая практики от теории. Некоторые из членов таких кружков еще на студенческой скамье достигали высокой квалификации, как, например, среди технологов — маэстро Левенфиш, среди электриков — маэстро Фрейман. Неплохо играли и политехники. В частности, в 1910 г. они принимали весьма видное участие в массовом состязании соединенного студенчества против Петербургского шахматного собрания, в котором наголову разбили ветеранов этого шахматного клуба.

Более широкую общественность Политехникума с 1906 по 1908 г. представлял Совет старост, в котором всего сильнее были представлены социал-демократы, но достаточное число мест принадлежало также эсерам и кадетам. В 1908 г., однако, этот представительный студенческий орган уже угас. И у студенчества помимо землячеств сохранилась одна легальная хозяйственная организация — касса взаимопомощи, избираемая всеми курсами всех отделений. Это была очень влиятельная и мощная организация. При ее содействии распределялись все сту-

---

[1] См. мою работу «К вопросу о нормировке рабочего дня в России». «Познание России», 1909, № 3.

денческие стипендии и пособия. Она организовала по всем курсам запись, обработку и издание лекций всех профессоров института. Ею же были организованы лавочки, снабжавшие студенчество книгами и всеми другими учебными пособиями. Она же ведала до 1908 г. студенческой столовой. Она организовала студенческую библиотеку и издавала студенческий орган «Голос политехника». Очень поучительно, что благодаря четкой организации дела и крупным оборотам касса взаимопомощи могла не только прилично оплачивать труд всех своих служащих-студентов, но и расширять за счет прибылей масштабы ссуд и пособий студенческой бедноте [1].

О составе студенчества Политехникума того времени можно судить по результатам анкеты 1909 г., организованной тоже кассой взаимопомощи. На долю детей буржуазии и помещиков из числа опрошенных приходилось 35%, на долю трудовой интеллигенции — 55 и на долю детей рабочих и крестьян — всего 10%. По своим политическим симпатиям примыкали к анархистам 3%, к социал-демократам — 23, к народникам — 16,8, к кадетам — 15,5, к мирнообновленцам и прогрессистам — 2,2, к октябристам — 2,2, к правым — 2,8%. Остальные назвались беспартийными (28,2%) или уклонились от ответа (2,1%). В отношении к религии 48,3% студентов определенно заявили себя атеистами, 22,8 — колебались, 23,4 объявили себя верующими и только 5,5%, несмотря на анонимность анкеты, уклонились от ответа. Религиозный радикализм разных групп студенчества теснейшим образом сочетался с политическим, а степень этого последнего определялась, конечно, той социальной средой, из которой они рекрутировались. В цифрах эта связь лучше всего иллюстрируется данными нашей анкеты о месячном бюджете политехников различных групп. В самом деле, анархисты расходовали в месяц на круг по 31 рублю, радикалы — по 33 рубля 40 копеек, беспартийные — по 37 рублей 70 копеек, прогрессисты — по 40 рублей 10 копеек, октябристы — по 44 рубля 80 копеек и правые — по 48 рублей 90 копеек. Таким образом, политический радикализм этих групп убывал в обратной пропорции к содержанию их кошельков, полностью подтверждая известный тезис — бытие определяет сознание.

По отношению к учебе, как, впрочем, и в других отношениях, наибольшую активность проявляло левое студенчество. Его рядами густо заполнялись учебные кабинеты и институтская библиотека. Оно же заполняло все научные кружки, выступало в прениях, поставляя в то же время лучших докладчиков в семинарах и лучших составителей лекций для издательства. Правое студенчество не проявляло такого же интереса к науке, гораздо больше интересуясь дипломами. Кое-кто из его рядов побогаче заказывал себе не только рядовые чертежи, но и дипломные проекты, так что студенческая беднота двигала науку и за себя и за своих заказчиков. Но менее всех, пожалуй, отдавали своего времени науке крайние правые, мобилизованные Пуришкевичем в стенах так называемого «Академического клуба». Прикрываясь флагом приверженности к науке, эта банда бездельников, получая обильные субсидии, грязнила лишь стены академических клозетов своими шовинистическими лозунгами. Полную активность, по долгу службы, она проявляла во время студенческих волнений, усердно провоцируя студенчество на столкновения с полицией и содействуя сыску «вожаков» движения для изъятия их из стен высшей школы.

В конце 1910 г. после трагической кончины Л. Н. Толстого, взволновавшей все студенчество, мне пришлось покинуть институт. Выбро-

---

[1] О значении этого студенческого органа говорит и то, что в его составе охранка содержала даже специального агента-провокатора (некий Зябелло), о чем, к сожалению, студенты узнали только после 1917 г.

шенный за организацию студенческих сходок, я только через несколько лет смог наскоро его закончить со званием кандидата экономических наук. А возможность дальнейшей сколько-нибудь плодотворной научной работы для меня открылась лишь после Великой Октябрьской революции 1917 г. Тем не менее памятные годы студенческой жизни в Сосновке с ее радостями и заботами, горячими спорами в кружках и упорной работой в семинарах в тесном общении с живым студенческим коллективом и уважаемой профессурой оставили во мне глубокий и неизгладимый след.

Сосновка, конечно, не Афины. Но когда античные философы в интимных беседах с учениками посвящали их в глубины своей науки, создавая вместе с ними целые философские школы,— это тоже были своеобразные семинары древности. И в наш век в Сосновке, в ее лабораториях и семинарах, с не меньшим успехом выковывались кадры будущих ученых, с благодарностью поминающих и доныне имена лучших своих учителей и свою «нежную мать» — свой славный Политехникум.

15. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

Диплом об окончании Политехнического института я получил после апробации моей кандидатской диссертации о «Договоре займа в древнерусском праве» — только весной 1914 г., т. е. перед самой войной. Однако окончил я институт, несмотря на годичный перерыв в занятиях после изгнания из его стен, вместе со всеми другими однокурсниками приема 1908 г.— еще весной 1912 г. Правду сказать, это были трудные для меня годы. Изгнанный из института, я, конечно, потерял и стипендию. Эту потерю сразу же нужно было возместить какой-либо платной работой. На первый случай пришлось взять на себя роль газетного хроникера. Бегая по вечерам на все заседания разных научных обществ, я внимательно слушал там доклады на самые разнообразные специальные темы, а затем усердно строчил о них максимально сжатые отчеты в газетную хронику, по 30—40 строк, и получал за них обычный «гонорар» — по пятачку за строчку. Нужно заметить, что иные доклады в таких хроникерских из них извлечениях, в которых поневоле выжимается вся вода, выглядят даже гораздо содержательнее и ценнее, чем в собственном многоглаголании автора. Во всяком случае мои выжимки вполне удовлетворяли весьма требовательных докладчиков. И вскоре один из них выразил это удовлетворение в самой реальной и осязательной для меня форме. Вызвав меня к себе, он предложил мне постоянную у себя работу за 75 целковых в месяц. Это было втрое больше потерянной стипендии и материально вполне меня устраивало.

Льняной комитет, который я призван был отныне обслуживать, состоял при департаменте земледелия, но председателем его был депутат Государственной думы октябрист Зубчанинов, рассматривавший свой комитет как вполне независимое от департамента общественное учреждение, заинтересованное в развитии русского льноводства. Он очень много говорил о необходимости артельной организации льноводов в особые «сплотчины» для повышения стандартного качества льняного волокна и рыночных на него цен. Его «сердечному попечению» о нуждах льноводов, казалось, не было предела. Однако ни на одном из созываемых им заседаний и совещаний Льняного комитета я ни разу ни одного живого льновода не видывал. А вот организация фабрикантов-льнозаводчиков там всегда была хорошо представлена. И, как было ясно из поведения ее присяжных адвокатов вроде барона Нольде, эта особая «сплотчина» в повышении крестьянских цен на льняное сырье совсем не была заинтересована. Депутату наиболее льноводной Тверской губернии все же необходимо было в чем-либо проявить себя перед своими избирателями.

Понимал это не худо и ученый секретарь Льняного и Хлопкового комитета Н. И. Малаховский, человек культурный и деловой. Но, тяготея в большей мере к хлопку, чем ко льну, он сразу же решил приспособить меня к льняным делам, чтобы в возможно более полной мере освободить от них и себя и нашего общего думского шефа.

Зубчанинову была подсказана идея издания комитетом «Льняного листка» для бесплатной рассылки в льноводные волости и создания там сети собственных корреспондентов из заинтересованных крестьян-льноводов. Осведомляя через этот «Листок» льноводов о динамике рыночных цен, привозов на рынки и запасов льна, а также о видах на урожай и сборах льняного волокна, можно было, конечно, кое-что сделать для неорганизованной массы льноводов русской деревни. Зубчанинову нравилось уже то, что его имя в качестве редактора нового издания будет красоваться в бесплатной рекламе на всем пространстве 27 льноводных губерний. И дело пошло в ход. Правда, сам «редактор» «Листка» ни разу даже в глаза не видал их до выхода в свет и рассылки. Но тем больше хлопот выпадало на мою долю — в качестве единственного составителя, корректора и фактического редактора этого издания. Мне же пришлось организовать сеть корреспондентов и наладить статистику льняного дела [1]. Учитывая высокую товарность льняного волокна — в 1912 г. свыше 90 процентов,— я использовал впервые в нашей статистической практике балансовый метод проверки данных об урожаях этого волокна итогами его вывоза и потребления в стране. Необходимые для этого сведения об отправках волокна с каждой станции, переработке на русских фабриках и вывозе за границу доставлялись комитету по моему требованию ежемесячно. И точность этих отчетных сведений превышала точность тогдашних данных урожайной статистики. Мой метод вполне себя оправдал. Но обработка и сводка всех собираемых для этого данных, переписка с целой сетью корреспондентов и еженедельный выпуск «Льняного листка» — все это лежало на мне и возлагало на меня при таком «совмещении профессий» за 75 рублей нагрузку, какую не взял бы на себя мой ближайший шеф и за свой оклад в 250 целковых.

Зато возвращаясь домой после утомительного рабочего дня, я временами наслаждался на редкость полноценным отдыхом. Чаще всего меня при первой же возможности окружала веселой стайкой детвора — воспитанники наши Коля, Шура, Петя и Руся — и тащила к широкому уютному дивану под лампой с криками:

— Читать, читать, дядя Стася, читать!.. Тетя Соня, тетя Соня, где наша книга?..

Я располагался с удобством на диване, детишки моментально стаскивали с меня ботинки, подпихивали под голову лишнюю подушку и сами все устраивались вокруг меня в художественном беспорядке все на том же семейном диване. Жена подсовывала мне очередную книжку, уже раскрытую на нужной странице, и литературный вечер открывался. Читали мы тут и отрывки из «Войны и мира» Толстого и «Детство» Максима Горького, читали «Капитанскую дочку» Пушкина и «Детство Темы» Гарина. Вперемежку читали и Жюля Верна «Таинственный остров», и «Джунгли» Киплинга, «Следопыта» Ф. Купера и «Тома Сойера» М. Твена или «Без семьи» Гектора Мало. И все это воспринималось с таким упоением и радостью, к которой уже не способны читатели зрелого возраста, но которую нельзя не разделить, наблюдая ее у детей.

В процессе чтения некоторых из наиболее устаревших авторов мне случалось, грешным делом, опускать незаметно для своей юной аудито-

[1] См. мою брошюру «Задачи и план организации текущей статистики льна». СПб., 1913, а также составленный мной первый выпуск издания «Виды на урожай : 10 августа 1913 г. по 20 губерниям и общий ожидаемый коммерческий сбор льняного волокна в России». СПб., 1913.

рии несозвучные ей выражения или даже целые строки с привкусом ханжества, юдофобства или иной разновидности человеконенавистничества. Надеюсь, что репутация этих авторов отнюдь не пострадала в глазах моей аудитории от таких купюр. Совсем по-иному вела себя моя жена, когда ей приходилось сменять меня в роли чтеца нашей детворы. Обладая прирожденным даром слова и художественного рассказа, незабвенная «тетя Соня», когда ее не удовлетворяло то или иное место читаемой книги, без всякой паузы, экспромтом заменяла и восполняла авторский текст своим собственным литературным текстом. Обычно такие вдохновенные отсебятины, иной раз весьма значительного размера, были так хороши и уместны по ходу авторского рассказа, что дети даже не замечали Сониных проделок. Но иногда, увлеченная своей импровизацией, она забывала о книге. И тогда кто-нибудь из детей ловил ее на месте преступления:

— Тетя Соня! тетя Соня...— опять ты вычитываешь все мимо книги.

Но тут же кто-нибудь другой, выхватывая из рук Сони забытую книгу, перебивал недовольного критика:

— Ну что же, что мимо... Рассказывай, тетя Соня, рассказывай!.. Без книги еще интереснее будет.

И Соня никогда не заставляла себя долго упрашивать. Без книги, лицом к лицу с детворой, в глазах которой, как в зеркале, отражались все ее душевные движения, Соня и сама настраивалась на соответствующий им лад и еще полнее, чем за книгой, овладевала своей аудиторией, увлекая ее за собой в любом направлении. Завидная память и широкое знакомство с лучшими произведениями мировой художественной литературы позволяли ей быстро находить наиболее гармонирующие настроению момента темы. Она могла целыми страницами почти буквально цитировать любимых авторов. Но она предпочитала вплетать то и дело в чужой рассказ собственные импровизации, подходящие иллюстрации из нашего революционного прошлого или даже отдельные эпизоды из переживаний самих юных слушателей. Иногда она создавала на редкость живые и трогательные композиции из детской жизни по романам Диккенса или автобиографическим страничкам из произведений Анатоля Франса. Но вот по капризу рассказчика герой рассказов, какой-нибудь столичный мальчуган Джонни, с тонкой нервной организацией и богатым воображением, попадает из шумного города в открытую голую степь, где вокруг, до самого горизонта, ни одной кочки, ни единого кустика. Его и влечет и пугает этот волнующий простор. Джонни замедляет шаги, останавливается, оглядывается вокруг. И вдруг ему становится так жутко в этой бескрайней пустыне. Он чувствует себя здесь таким маленьким, одиноким, забитым, покинутым... С диким ревом Джонни обращается в позорное бегство к своим далеко уже опередившим его друзьям.

— Чего ж ты так сдрейфил?..— удивляются те.

— А вдруг из-за куста собака?..— лепечет растерявшийся Джонни.

Сакраментальная фраза о мифическом кусте в голой степи и собаке слишком хорошо известна детворе. Буквально такой же случай совсем недавно имел место с одним из слушателей этого рассказа. И подлинный автор этой фразы, ставшей притчей во языцех, второклассник Шура, услышав ее из уст Сони, с укором глядит на нее, насупившись. Его губы уже дрожат от волнения в ожидании очередного взрыва насмешек. Но случай у Сони подан в совершенно новом свете. Герой ее рассказа завоевал симпатии всех детей, и даже его забавный испуг не смешит их больше, а только трогает. Он так понятен им теперь, что отныне никому из них и в голову не придет дразнить Шуру этой злополучной «из-за куста собакой». А тетя Соня тем временем, как будто ничего не случилось, продолжает свой рассказ о приключениях Джонни, все прочнее

закрепляя за ним симпатии своей благодарной аудитории. Интимная задушевность рассказчицы, ее проникновенные интонации, художественная простота и особая музыкальная тональность голоса лишь усиливали неотразимое обаяние таких рассказов. И очарованные детишки готовы были ее слушать хоть всю ночь. Но наступал урочный час. Их укладывали спать. Они видели светлые сны и бодро встречали утро. А для нас вступал в свои права утомительный трудовой день с целой вереницей неотложных дел, за которыми лишь где-то далеко в тумане маячила перспектива отдыха с детворой на памятном «литературном» диване.

С возвратом к учебе в начале 1912 г. я не рискнул бросить свою службу, посвящая только вечера подготовке к экзаменам. И потому мои чтения детворе становились все реже. Не без натуги мне удалось всего за шесть месяцев при ежедневной работе в Льняном комитете подготовиться и сдать все экзамены за целых два старших курса. И лишь счастливой случайностью могу объяснить факт, что по всем предметам за все четыре курса института в моей зачетной книжке оказались только высшие отметки — «весьма». Лекции за эти последние полгода мне уже вовсе не пришлось посещать, но вечерние семинары я посещал. И даже сам представил в семинар П. Струве и В. Дена научный доклад на тему «Лен в народном хозяйстве России». Доклад этот, сохранившийся в моем архиве и доныне, во всяком случае показывает, что и помимо возни с «Льняными листками» я отдавал проблемам льняного дела немало времени и труда. Однако в условиях царизма это не могло иметь существенного значения. Меня ценили на службе и по окончании мною института пытались продвинуть вперед в качестве уже готового «специалиста» по льняному делу. Но моя биография и солидный тюремный стаж отнюдь не содействовали такому продвижению. Выяснилось, что я состою под негласным надзором и что высшей маркой либерализма при четвертой Государственной думе было то, что меня еще здесь терпели в скромной роли вольнонаемного «статистика». Кстати сказать, и для меня эта роль казалась терпимой лишь потому, что она вовсе не сталкивала меня с бюрократическими сферами, куда я совсем не стремился.

Все свободное время вне службы я по окончании института посвящал научным занятиям. Жили мы тогда на Зверинской улице, и работать мне приходилось зверски, чтобы хоть урывками, каждый свободный часок, по вечерам продвигать вперед свою диссертационную тему. Но, попадая в древнее здание Академической библиотеки, я каждый раз снова чувствовал себя в этом тихом храме науки полноценным человеком и, с головой погружаясь в глубину веков эпохи «Русской Правды», неизменно отрешался в этом книжном море от всех суетных забот, тревог и невзгод истекшего дня. Увлеченному своей темой о древнерусском праве, мне и вся окружающая обстановка представлялась под стать моей теме,— в том же древнем стиле. Древние дубовые столы и стулья Петровской эпохи. Убеленные сединами ученые — академики в древних рамах на стенах, а иные и рядом за книгой. Древний служитель, переживший десяток поколений славных академиков, но по-прежнему интимно именующий только по имени-отчеству всех этих близких ему покойников. Тяжелые фолианты «Словаря древнерусского языка» академика И. И. Срезневского передо мной, только что доставленные все тем же древним служителем.

— Вот-с, едва дотащил труды Измаила Иваныча, извольте-с получить...— говорит он мне вполголоса, разгибая старую спину.

Все здесь дышало стариной и тихим монастырским уютом. Но, углубляясь в эту старину, я отнюдь не стремился в келью под елью. Отправляясь от своих юридических концепций, подкрепляя их данными фольклора и былинного эпоса и подводя под эти хрупкие надстройки эволюционирующую экономическую базу, я стремился лишь протянуть

прочную нить от прошлого к настоящему, воздавая тем самым полноценную дань живой современности. Чреватая неожиданностями современность предъявила к нам, однако, другие требования.

* * *

Всему приходит конец. Закончилась и моя диссертация. Однако свыкнуться с новым для меня ученым званием я так и не успел. Где-то на Балканах грянул одинокий выстрел сербского студента, развязавший мировую войну. Собственно говоря, в качестве отставного прапорщика я мобилизации не подлежал. Встать на оборону черносотенной монархии, явно готовящей себе позорный провал, у меня не было никакой охоты. Но и уйти в сторону в качестве пассивного наблюдателя событий, скрывшись от призыва в такой ответственный для революционного пролетариата момент, мне казалось совершенно невозможным. Нужно было или уходить в подполье или, влившись в ряды армии и разделяя до конца ее судьбы, революционизировать ее изнутри. Второй путь был опаснее. Но спасать свою шкуру, когда миллионы твоих братьев поневоле рискуют ею каждый день и час, тоже было не сладко. И решив, после недолгих размышлений, не уклоняться от общего жребия, с первым же призывом в ополчение резервов второго разряда я очутился в рядах 140-й Новгородской пехотной дружины. Некоторые из близких мне людей рассматривали этот шаг как дон-кихотство. Но я никогда не сожалел о содеянном.

В рядах формировавшейся в селе Медведь дружины я увидел весьма почтенных годами бородачей. Вся молодежь, отмобилизованная в первые же дни войны, была уже на фронте или в запасных батальонах. Вступившие в дружины ополченцев рядовые отцы-бородачи имели пока совсем не презентабельный и не боевой вид. Никто из них раньше не проходил военного обучения. Каждого из них в свое время по какой-либо причине забраковали. Теперь, однако, и этот человеческий брак мог бы сгодиться. Пушечного мяса требовалось очень много. Ведь костлявая старуха-смерть в современной дальнобойной войне не слишком разборчива и совсем не прихотлива. Но всякое пушечное мясо должно хоть с внешней, показной стороны иметь воинский вид. Наши бородачи его не имели. В расчете на военное обмундирование они пришли в часть в самой худой своей одежонке и негодных опорках. Царские интенданты не припасли достаточно обмундирования и для фронтовых частей. Бородачей нужно было поскорее, до встречи с врагом, обучить хотя бы стрельбе и рытью окопов. А у интендантства не было для нас ни шанцевого инструмента, ни винтовок. И все, что оно могло нам предложить на вооружение,— это были лишь медные кресты вместо кокард на головные уборы с традиционной надписью: «За веру, царя и отечество!».

Кресты искони считались у нас сильнейшим оружием против всякой потусторонней чертовщины. Против воображаемого «врага» нетрудно ведь выступить и с одним лишь крестом над пустым лбом. Но против реального врага, вооруженного современными пулеметами, гранатами и шрапнелью, это архаическое украшение феодальной эпохи не могло представить никакой защиты. Нам предлагалось для обучения ратников использовать вместо отсутствующих винтовок простые палки. Для игры в солдатики это было бы неплохо, пожалуй. Но ведь мы готовили их не для игры. Правда, по пословице — на грех и из палки выстрелишь. Но обучать стрельбе из палок — это был бы не грех, а заведомо преступное издевательство над обучаемыми. И нам поневоле пришлось ограничить все обучение наших бородачей одной лишь никчемной для войны шагистикой да пустой казенной «словесностью». Однако бородачи — не дети. Оторванные от семьи и работы в грозный час войны, чтобы защи-

щать родину, с пустыми руками, они не могли не учуять во всей окружающей их неразберихе чьей-то там, на верхах, непроходимой тупости, если не прямой измены. В их сознании с каждым днем накапливалось все больше опасных взрывчатых материалов. И мне казалось, что нужно было лишь, уловив подходящий момент, подложить в этот пороховой погреб искру, чтобы вызвать страшную детонацию в самом основании, на котором так долго и прочно держался у нас царский трон. Однако этого момента пришлось ждать еще свыше двух томительных и тяжелых лет войны.

Командный состав ополченческих частей тоже был очень незавидный. До мозга костей штатские прапорщики из вчерашних агрономов, статистиков или лесоводов, призванные обучать других военному делу, сами крайне нуждались в таком обучении. Некоторые из них отбывали воинскую повинность уже 20—30 лет тому назад и поэтому даже в глаза не видели современной магазинной винтовки; некоторые, как, например, я, обучались в артиллерии или кавалерии и потому вообще не знали пехотной службы. Правда, были среди нас и бывшие кадровые офицеры. Война широко открыла двери для возврата в армию даже всех давно изгнанных из нее безнадежных пропойц, битых шулеров и проворовавшихся интендантов. Но это был уже не «брак», а просто человеческие отходы и отбросы. Один из таких «кадровых» алкоголиков нашей дружины при абсолютном запрете продажи спиртных напитков, хронически накачиваясь одеколоном, денатуратом и древесным спиртом, отправился на моих глазах к праотцам еще задолго до нашего прибытия на фронт. Но это был еще лучший из кадровиков. Чему же могли обучить худшие? Не обошлось, конечно, среди них и без разных Михельсов, Фéнье и прочих немцев, не успевших еще переменить фамилий на русские, но уже готовых сразиться «за веру, царя и отечество». Патриоты они были, конечно, отменные. Неясно было только одно. В чем их «вера» и где, собственно, их подлинное отечество? Наиболее симпатичным из кадровиков мне казался командир дружины, блаженный богомолец подполковник Соловьев. Да и тот походил скорее на «скорбного главой» игумена монастыря, чем на командира боевой части.

Сильнее других из командного состава дружины запечатлелся в моей памяти один прапорщик немецкого происхождения, типичный представитель тогдашней буржуазии, только не той, которая еще растет, а той, которая, загнивая, клонится уже к упадку. Он был очень высокого мнения о культурности своих соотечественников и своей собственной. В качестве обладателя очень крупного состояния он считал себя достаточно независимым, чтобы разыгрывать роль «квасного» русского патриота. Русскому квасу он определенно предпочитал баварское пиво и свой национальный рейнвейн, даже если в нем «Рейна» было много больше, чем «вейна». Не зная ничего о русской живописи, музыке и литературе, он с высокомернейшим презрением третировал всю нашу культуру.

— Помилуйте,— выдвигал он при каждом удобном случае сильнейший свой аргумент.— У этих азиатов вы даже в городах приличных уборных не найдете. Грязь, вонь... не ватерклозеты, а столчаки какие-то, на которые, зажимая нос, приходится влезать «орлами».

Клозеты были его слабостью. И выше их в своих суждениях о культуре он не поднимался. Зато любо было послушать, с каким подъемом он описывал удобства своей столичной квартиры, в которой было целых семь отдельных уборных — для каждого члена семьи и прислуги особая, а для самого хозяина — такая шикарная уборная-люкс, в которой, восседая на троне, можно было не только безмятежно выкурить гаванскую сигару, но даже принять не слишком прихотливого гостя... Большой чревоугодник, он, по-видимому, давно страдал колитом. И в связи с этим вся его житейская философия сводилась, по собственному его при-

знанию, к единственной высшей цели: обеспечить себе на каждый день действие желудка и приятный «легкий стул». С этой повседневной заботой о важнейшей злобе дня он просыпался, заказывал себе подходящее меню на завтрак, обед и ужин, тщательно отбирал соответствующие марки белых или красных вин, прогуливался пешком или на лошади для моциона, читал только способствующую пищеварению литературу, смаковал свой «приятный стул», закуривая его «гаванной», принимал ту или иную ванну и снова засыпал в ближайшей дислокации от своей уборной. Ничто другое не казалось ему достойным внимания. Сделать целью своей жизни не стремление к тем или иным общественным идеалам, не служение родине, науке, искусству, а просто-напросто самый прозаический «приятный стул» — это во всяком случае оригинальная «культурная» идея. Разумеется, алтарем этой «культуры» мог служить только клозет. Можно, однако, себе представить, каким подвигам мог бы научить свою команду жрец этого культа, удаленный от всех своих семи столичных «алтарей», в селе Медведь Новгородской губернии.

Тем не менее обучение бородачей шло своим чередом. Мало-помалу наскребли для них обмундирование, снабдили японскими винтовками Арисака с тесаком вместо прославленного Суворовым русского трехгранного штыка. И бородачи приобрели более или менее воинственный вид. Правда, за недостатком патронов даже для фронта с первых же месяцев войны нашу дружину вовсе не обучали стрельбе, утешаясь несколько устаревшим лозунгом: «пуля — дура, штык — молодец!». Но ни молодецких штыков, ни даже дурных пуль на нашу долю явно не хватало. Отправить нас на фронт, возлагая все надежды на одни лишь японские тесаки, едва ли пригодные даже для традиционного харакири, да на российскую смекалку, было бы слишком большим головотяпством. И нас еще всю зиму 1914/15 г. только перебрасывали с места на место на охрану железных дорог и других объектов возможных диверсий. Побывали мы на линии между Малой Вишерой и Бологое, несли караульную службу в столице, охраняли финские железные дороги от Рихимяки до Таммерфорса. Наконец, здесь из нескольких дружин был сочинен новый, 432-й Ямбургский пехотный полк, и весной 1915 г. нас в этом новом составе с пополнениями молодежью из запасных батальонов двинули на фронт.

Вероятно, на такие полки вообще не возлагалось слишком больших упований. И потому нас двинули сначала на весьма спокойный край Северного фронта — вдоль многоводного рубежа Западной Двины. Однако, задержав наш полк на несколько недель в глубоком тылу, у города Валка, его вдруг, по чьему-то капризу, перебросили сразу за реку, близ Риги. И в первый же день не нюхавшие ни разу пороха бородачи были брошены в атаку на сильно укрепленную вражескую горку. Атака была предпринята без малейшей артиллерийской подготовки — в расчете ли на захват врага врасплох или из-за экономии скудных у нас запасов снарядов, сказать не решаюсь. Но, бросая людей среди белого дня на сильно укрепленную позицию врага, за восемью линиями проволочных заграждений, наши стратеги едва ли могли рассчитывать на внезапность такого нападения. И конфуз получился невероятный. Неприятель подпустил наш первый батальон к своим заграждениям без выстрела. И только здесь обдал ураганным шквалом ружейного, пулеметного и артиллерийского огня. Действие такого шквала на вовсе не обстрелянных еще свежих людей сможет постигнуть тот, кто его испытал. Достаточно сказать, что бородачи, которых не вооружили даже ножницами для резки колючей проволоки, сразу врассыпную обратились в паническое бегство. Когда в командном штабе узнали, что из этой горе-атаки вернулось в свои окопы с прапорщиком Бельским из батальона в 900 штыков всего человек 30, то, ужаснувшись потерями, лишились всякого

вкуса к повторению подобных атак. Но общий конфуз возрос, когда к концу того же дня выяснилось, что действительные потери батальона не превысили и трех десятков, но зато число беглецов с поля битвы оказалось раз в 30 выше.

Выводы не заставили себя долго ждать. Бесславный дебют нашего новоявленного полка на военном поприще не был, конечно, случайностью. Такие провалы на первом же серьезном испытании вполне закономерно вытекали из всей системы военной подготовки и организации старой царской армии. Но бесталанное командование, всеми своими действиями обеспечившее этот провал, предпочитало, конечно, всю вину за него свалить на рядовых исполнителей своей дурацкой диспозиции. Таких первоклассных бегунов-кроссменов, скалили зубы штабные острословы, следует приберечь для международных состязаний на призы в беге с препятствиями, а не для боевых атак. И наш полк немедленно был отправлен обратно, за Двину, на самый безопасный участок неподвижного фронта позиционной войны. Отшагав за день по нарочитому приказу километров 60 утомительнейшего пешего перехода, наши злосчастные бойцы должны были в ту же ночь, без всякого отдыха, сменить в окопах какую-то кадровую часть. В такой срочности не было никакой нужды. Было, вероятно, лишь желание озлившегося штаба насолить кому-то за свою неудачу у не взятой голыми руками неприятельской горки. Но, если б враг дознался об этом приказе, он наделал бы еще больше хлопот его немудрым авторам. Дело в том, что, свалившись в окопы после 60-километрового марша, наши бойцы, не исключая и часовых, которых некому было проверять, проспали всю ночь от крайней усталости мертвым сном. При желании наши окопы можно было бы захватить без единого выстрела, а заодно отрезать и весь рижский участок фронта со всем оскандалившимся его генералитетом. Хорошо только, что и немцы проспали эту возможность.

Так началась новая, окопная эра службы 432-го полка. Продолжалась она долго, во всяком случае больше года. И никаких ярких событий за это время в нашем быту не произошло. С одного берега Двины мы высматривали неприятеля через перископы из глубоких окопов. С другого берега то же самое делал он. Если кто-нибудь неосторожно высовывался, его подстреливали. Разделяла наши пехотные окопы одна лишь река. И для прицельной стрельбы не требовалось даже снайперов. Иногда заваривалась и артиллерийская перестрелка. Наши легкие батареи, стоявшие за нами километрах в шести, стреляли метко, но не простреливали тяжелых перекрытий окопов. Кроме того, из экономии снарядов им разрешалось в сутки не свыше пяти выстрелов, а враг на каждый из них отвечал целой очередью, столь же, впрочем, безрезультатной. Хуже стало, когда он подвез тяжелые орудия и начал пересылать нам по воздуху свои груженые «чемоданы» величиной с порядочного поросенка. Восьмидюймовые снаряды легко пробивали наши окопы и зарывали в землю их защитников. Однако ко всему можно привыкнуть. Привыкли вскоре наши бойцы и к свисту пуль и к вою «чемоданов». И вот, когда подошла осень и все некрытые переходы между окопами стали заполняться вязкой глинистой грязью, бойцы начали выползать из таких грязных ходов, чтобы, щадя обувь, перебежать по верху в нужный окоп. Их обстреливали при этом неоднократно, нескольких ранили, одного убили. Но это не останавливало остальных. Рискнуть лишний раз жизнью для них уже стало легче, чем лишний раз вычистить грязные сапоги. И это были те же бородачи, которые недавно так бесславно разбежались от первого обстрела за Ригой.

Описывать долгие окопные будни не стоит. Они были только тем хороши, что позволяли все чаще запросто сталкиваться с рядовыми бойцами своей роты не в качестве их командира, а гораздо ближе и интим-

нее, в качестве сотоварища и сожителя в зарытых в землю блиндажах и ходах сообщения. Ко мне все чаще забегали бойцы со всеми своими нуждами. Я писал многим из них письма домой, читал наиболее интересные газетные вести. Завязывались непринужденные беседы о войне, об изобличенных предателях, вроде военного министра Сухомлинова, Мясоедова и других, о грязном старце Распутине и его роли при дворе, о думских Пуришкевичах и прочей черной сотне. Яркого агитационного материала тогдашняя русская действительность доставляла повседневно сверх всякой меры. Нужно лишь было с должной осторожностью умело его использовать. Но ведь для этого именно я и пошел на войну.

Правда, на фронте, да еще перед столь неискушенной аудиторией, как вчерашние хлеборобы, нельзя было ясно сказать все, что так легко высказывалось в рабочем подпольном кружке в столице. На память невольно приходит такой случай из прежних моих опытов агитации в деревне. Однажды в рязанской деревне я доверил одному из своих приятелей, бородачу-землеробу Андрею, свою антирелигиозную брошюру «В защиту свободы совести» для прочтения. Прочитав ее, мой простодушный Андрей пришел в такой телячий восторг, что тотчас же побежал с ней к местному худосочному батюшке, отцу Матвею, убежденный, что с таким сильным оружием, как ссылки на подлинные тексты «священного писания», нетрудно будет и самого попа склонить к безбожью. Послюнявив персты и перелистав ими ряд страниц моей брошюры, дошлый попик сразу же учуял изрядную поживу — по меньшей мере нагрудный крест, а то и бархатную камилавку. Дело было в самый разгар столыпинской реакции. Сделав самое умильное лицо и похвалив книжицу, лукавый отец Матвей задержал ее «для прочтения» и как бы мимоходом ласково спросил бородача:

— А кто же это снабдил тебя, Андрей, такой книгой от писания?

И, вызнав без труда все, что ему требовалось, тщедушный попик помчался в тот же день к архиерею с доносом, а кстати и за камилавкой, которую он почти ощущал в сладкой мечте на своей зябкой плеши.

В тот раз мне удалось все же избежать всяких последствий этого доноса, вовремя исчезнув из тех мест. Но в окопах дело могло бы принять и для меня и для моей аудитории гораздо худший оборот. И потому в наших беседах многое оставалось недосказанным. Мне казалось, однако, что если недосказанное будет самостоятельно додумано солдатами, то в качестве собственного домысла оно так основательно застрянет в их крепких головах, что его оттуда и пушкой на вышибешь. Чужому человеку можно ведь и не поверить, но собственному разуму нельзя противиться. Задумываться же нашим окопным жителям на досуге было о чем. И они крепко задумывались. Каждая новая наша военная неудача, а их было немало, каждый шаг назад от своих границ, а они были уже далеко от нас, переживались болезненно остро и рождали новые критические домыслы. Чаще всего критическую мысль наших бойцов будило изобилие немецких имен в командовании русских армий

Даже если бы эти генералы были во много раз надежнее и талантливее, все же поручать им отстаивать честь и судьбы России против Германии было бы величайшей бестактностью. Но ведь с их именами связаны были одни лишь неудачи в этой войне. Они не только сами терпели поражения, но и подводили других. Геройское продвижение в Восточную Пруссию Самсонова закончилось горькой неудачей только потому, что его предательски оставил без поддержки и прикрытия его ближайший сосед Ренненкампф. Блестящий прорыв Брусилова не привел к полному разгрому германского фронта уже потому, что этого не хотели его соседи Эверт и Сиверс.

— Ворон ворону глаз не выклюет!.. объясняли это мои бородачи сначала «промежду собой», а затем и в моем присутствии.

— А чего же на этих воронов смотрит ставка главковерха? — естественно возникал тут же чей-нибудь недоуменный вопрос, за которым, как из рога изобилия, сыпались и другие, все более острые домыслы и вопросы.

— А правда ли, что и в ставку царя всегда сопровождают немцы, барон Фредерикс и граф Граббе?

— А правда ли, что и наша царица — чистокровная немецкая принцесса?

— А правда ли, что и сам-то наш царь — ближний сродственник Вильгельму?..

Мне в таких случаях оставалось лишь ограничивать это слишком однобокое внимание моей солдатни к немцам. Приходилось толкать мысль в другую сторону. Нетрудно было намекнуть, что и русские помещики сухомлиновы и мясоедовы не лучше немецких баронов, что немало у нас врагов и в собственной стране, которые изо дня в день, невзирая ни на военные, ни на любые иные невзгоды, привычно высасывают трудовые соки из рабочих и крестьян, что чужие шакалы уйдут, а свои пауки останутся... Но гораздо труднее было проверить, в какой мере такие недосказанные мысли доходят по назначению, усваиваются и перевариваются в собственные выводы. Однако моя возраставшая в роте популярность обратила на себя чье-то «благосклонное» внимание, и меня «на всякий случай» перевели из 6-й роты в 12-ю, под более бдительное око кадрового батальонного командира капитана Никитского. Из этого тощего «кадрового» старичины давно сыпался мелкий песочек. При его виде мне всегда приходил на память визированный им еще до фронта курьезный акт о пожарной опасности, обнаруженной в «казенной квартире, от щели в дымоходе, в которой,— как значилось в акте,— помещался капитан Никитский». Его действительно можно было бы при нужде упрятать и в щель. Но о его бдительности не приходилось думать. Ведь он едва ли усматривал даже под собственной левой ноздрей весьма неприглядный соус из нюхательного табака с какой-то подозрительной подливкой. И я мог и в новой роте делать свое дело не хуже, чем в старой. Но попутно с уходом из 6-й роты обнаружилось и другое.

Расстался я с ней при сдаче новому командиру весьма официально. Но тем больше был тронут, когда через пару дней, 15 марта вечерком, ко мне совершенно неожиданно забежали в новую роту мои бывшие соратники из старой и торжественно вручили свое коллективное ко мне обращение. Составленный ими документ, уцелевший у меня и по сей день, был озаглавлен «Прощальная речь». Речь эта была чрезвычайно благосклонна к своему бывшему командиру, который, дескать, «всегда входил в наши нужды и делил с нами горе и радость, но вне службы он был для нас братом и отцом, поэтому,— заканчивалась эта солдатская «речь»,— пожелаемте мы ему от всей команды всего наилучшего в его жизни и *достигнуть той цели, к которой направлен Ваш путь,* и быть таким же любимым на новом Вашем поприще, как любили и мы Вас».

Зная, как легко командиру завоевать доверие и признание простого русского солдата даже за то, что не задираешь перед ним своего командирского носа и обращаешься с ним по-человечески, а не по-хамски, я ничуть не переоценил бы значения этой солдатской памятки, если бы не подчеркнутые в ней слова о достижении желаемой мне цели.

Очевидно, и до нее, до этой цели, додумалась-таки солдатская братва, и ей-то прежде всего в моем лице и выражала свое сочувствие. Этому я не мог, конечно, не порадоваться. Правда, что те семена революционного духа, какие я мог бы заронить в одной или двух ротах многомиллионной армии, были ничтожной величиной. Но таких сеятелей здесь было совсем немало, ибо это давно была не армия, а вооруженный народ. И в командном ее составе преобладали такие же, как я,

прапорщики, т. е. в основной своей массе весьма демократическая интеллигенция. А в рядовом ее составе таилось во много раз больше видавших виды рабочих и крестьян, прошедших боевую школу 1905 года. Только их сочувствием и содействием объяснял я впоследствии крайне легкий успех Февральской, а затем и Великой Октябрьской революции.

Но все это было еще впереди. А пока за Двиной мы по-прежнему мирно сидели в окопах. Долгое затишье на нашем фронте содействовало развитию мирных развлечений и все более миролюбивых взаимоотношений враждебных лагерей. У немцев по вечерам заводили граммофон, у нас с перехватом заливалась двухрядная тульская гармоника. Немцы, чтобы лучше угостить нас своей музыкой, выволокли свой граммофон на окоп. А наш гармонист и сам выскочил со своей гармошкой на окоп и даже сплясал там трепака под свою собственную музыку. Немцы дружно ему похлопали, тоже выскочив из окопа, чтобы лучше поглазеть на веселое зрелище. А затем такой обмен вечерними концертами, без единого выстрела с обеих сторон, стал входить уже и в обычай. Ходить за водой из окопа в тыл было далеко, а река была хоть и под обстрелом, но тут же, под рукой. И вот кто-то из наших бородачей в час обычного вечернего концерта, захватив ведерко и подняв его, как знамя, высоко над головой, спустился вниз к реке, зачерпнул воды и спокойно вернулся обратно. Немцы, заметив это, и с своей стороны стали по молчаливому уговору безнаказанно повторять ту же практику. Говорят, впрочем, что и дикие звери соблюдают перемирие у водопоя. Зимой, когда Двина замерзла, по соседству с нами установился еще один вид мирного общения. На одном из островков на Двине, под разрушенным домом, наши разведчики нащупали целехонький погреб с картошкой и стали туда за ней похаживать по ночам. Но чуть ли не во второй же или третий раз нашли там приколотую на виду записку:

«Иван! Запирай плотнее погреб!.. Мороз. Замерзайт картофельн...» — предостерегал хозяйственный немец, очевидно, тоже возымевший виды на тот же погреб.

Русские Иваны, решив, что этот немец «свой в доску», затеяли с ним дружескую переписку, наладили даже товарообмен русского табачка на немецкую гороховую колбасу, а напоследок закончили эти международные переговоры такой дипломатической нотой:

«Послушай, Герман! Из-за чего мы воюем! Пущай Вильгельм с Николаем сами дерутся, коли есть охота. Ну их к ляду! А мы без них, чай, проживем, неплохо и без драки».

Какой ответ Германа последовал бы на это самодельное предложение мира без аннексий и контрибуций, мне неведомо. Вернее всего, что «нота» Иванов попала в другие руки и перепугала немецкое командование угрозой окопных братаний своих фрицев с большевиками. Приняты были «меры», и мирной идиллии на нашем участке фронта пришел конец. В ближайший же вечер, когда в ответ на обычный вызов граммофоном из-за Двины наш весельчак и общий любимец гармонист поднялся со своей гармошкой на окоп, чтобы принять участие в очередном концерте, его встретил и сразил предательский выстрел немецкого снайпера. Нет слов, чтобы передать, как освирепели наши солдаты за один лишь этот выстрел. Они готовы были ответить на него тысячами выстрелов и тысячью смертей. Так одной лишь мелкой подлостью разжигается целый шквал национальной вражды и предельного озлобления.

Страшась проникновения к себе сквозь линию фронта «опасных» идей братания, германское командование через несколько дней погнало на том же участке своих засидевшихся солдат в прямую атаку на наши окопы. Не чувствовалось к ней ни серьезной подготовки, ни серьезных наступательных задач врага. Это была скорее всего простая разведка боем, чтобы прощупать наши артиллерийские резервы, добыть в чужом

окопе «языка» и затем спокойно вернуться в свои собственные, обжитые окопы. Но ни одна из этих задач не была достигнута. И даже в свои окопы вернулись немногие. Высыпав утром из своих окопов, они было дружно двинулись цепями к нашим. Как только неприятель заметно продвинулся вперед, наша артиллерия окончательно отрезала его заградительным огнем от его же собственных окопов, а из наших стали хлестать беглым ружейным огнем и поливать пулеметными очередями. Враг залег. Но на короткой дистанции ясным днем ему некуда было укрыться. На лежащих сверху обрушилась целая лава рвущейся шрапнели, а тех, кто пытался бежать, косили пулеметы. Избиение было жестокое.

Недавний предательский выстрел сделал свое дело.

Вскоре командование потребовало добыть «языка». Учтя вражеский печальный опыт, мы решили организовать это дело по-своему. Охотников вызвалось слишком много. Из них отобрали лучших и усилили ими нашу полковую команду разведчиков. Поиск был намечен из окопов моей роты в ночь под немецкое рождество. С вечера у них было очень шумно, они веселились, забавлялись беспорядочной стрельбой, пускали ракеты. Ракеты были совсем нам некстати. Кто-то по их поводу острил:

— Вишь ты, какой любезный. Сам в ожидании нашего праздничного визита салютует и освещает дорогу, чтобы дорогие гости не сбились с пути.

Но вскоре все стихло и за Двиной. Часам к четырем утра раздведчики в белых халатах двинулись по льду через реку и быстро скрылись из глаз. А я со своей ротой, в полной готовности, ждал момента, чтобы поддержкой и прикрытием довершить успех разведки. Минуты ожидания казались часами. Но вдруг на том берегу полную тишину взорвали гулкие разрывы гранат, выстрелы и отчаянные, по-заячьи жалкие человеческие вопли. У меня дрогнуло сердце. Чьи это вопли? А вдруг это наши нарвались на засаду? Я готов был ринуться со своими бородачами на выручку товарищам. Но там снова все стихло. А через несколько минут они и сами вернулись из налета с добычей. Оказалось, что в первой линии немецких окопов не оставалось на ночь никого, кроме часовых с пулеметами. Да и часовые проспали наших разведчиков, за что и поплатились жизнью. А одного часового взяли живьем и вместе с его пулеметом приволокли в качестве трофея ко мне в роту. Наши вернулись из поиска без малейших потерь. «Язык» имел чрезвычайно жалкий вид. Он весь дрожал мелкой лихорадочной дрожью. Казалось, что он ждал неминуемой смерти. Но ему поднесли тут для куражу только кружку горячего чаю и отправили дальше, в штаб, откуда его давно вызванивало по телефону нетерпеливое начальство.

Случалось мне не раз подвергаться в ту войну смертельной опасности. Весной 1916 г., когда наш полк снова передвинули на маневренный простор, за Двину, попадал я не раз под обстрел и в лесу в разведке, и в чистом поле под ураганным огнем, в ночной атаке на врага, но ни разу, пожалуй, не переживал более глубоких волнений, чем в ту глухую рождественскую ночь, когда я заслышал страшные предсмертные вопли из вражеского окопа. Личная опасность, казалось мне, как-то менее волнует, чем страх за других, близких вам людей. Я отнюдь не обладал при этом каким-либо особым личным бесстрашием. Я не был рожден для войны. И, будучи глубоко штатским по духу человеком, я только, может быть, не хуже других преодолевал свой страх за себя. Преодолевать его за других, когда больше всего страшит гнетущая неизвестность грозящей им опасности, гораздо труднее. Я не избегал, правда, ни одной из угрожающих нам всем опасностей. На миру ведь и смерть красна. Но не искал я и никаких личных воинских подвигов, считая более важными иные свои задачи. И если тем не менее на нашем тишайшем фронте я в своем батальоне один из первых все же получил боевое отличие «за

храбрость» в виде красного темляка на саблю или так называемой «клюквы», а затем был представлен и к «Станиславу с мечами», то это не стоило мне больших трудов. Во всяком случае, должен честно признаться, что хоть от врага и не бегал, но ни единого, хотя бы самого ледащего немца, за всю войну мне убить не пришлось.

Этим признанием я хочу только сказать, что мне ни разу не случилось испытать рукопашный бой. В современных войнах убивают издалека сложными и дорогими машинами. И пехотный офицер со своей жалкой саблей и револьвером, даже поднимая свою часть в атаку, обычно лишь подставляет себя на убой невидимому врагу, а не убивает его. Но не это страшно. Войны бывают разные, и по-разному приходится их расценивать. Все они, однако, страшнее всего не тем, что щедро сеют смерть, а тем, что, пробуждая в людях давно уже в них уснувшие звериные инстинкты, калечат их живые человеческие души. Они становятся хуже зверей, ибо и звери не убивают себе подобных. Они разучиваются ценить и самое ценное в человеческом обществе — свою и чужую жизнь. «Судьба — индейка, а жизнь — копейка!» Вот чему учит война. И вот почему как ее неизбежное наследие, всегда так расцветает послевоенный разгул, хулиганство и бандитизм.

Мне не пришлось участвовать в рукопашных боях, где люди особенно быстро звереют, беспощадно истребляя друг друга. Но, зная свой с юности драчливый нрав и взрывчатый темперамент, не сомневаюсь, что в рукопашной схватке и я, озверев, стал бы, так же как и другие, неистово драться и кусаться, бешено истребляя лютых недругов. Только вряд ли после боя, опомнившись от его опьянения, я смог бы особо гордиться такими волчьими доблестями и собачьими мертвыми хватками.

По счастью, мне не дано было испить до дна «всех прелестей» этой войны. В августе 1916 г. меня вдруг вызвали в штаб полка и сообщили, что по вызову из Петрограда я должен срочно отправиться в столицу. Я отправился по месту нового назначения. И уже не вернулся в свой полк. На том и закончилась для меня эта война.

16. ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ

Вернувшись в столицу, я узнал, что откомандирован сюда для работы в недавно организованном «Особом совещании по топливу», или так называемом «Осотопе». Мировая война властно требовала гораздо больше целеустремленной организованности, чем ей мог дать рассыпной строй частных предпринимателей, способных обеспечить лишь анархию общественного производства. Но анархия и без того отсталой российской экономики в тылу была чревата и все более угрожающим ослаблением фронта. С этим не могла примириться даже «кадетская» общественность. Царское правительство явно не справлялось со своими задачами, теряя последний престиж даже в глазах своих преданнейших холопов — «октябристов» и отбрасывая в «оппозицию» даже крайне правых. «Крамола» начала вить гнездо и в собственной царской семье, готовой во имя спасения династии поступиться такой безделицей, как ее и без того потерявший голову глава фамилии. В воздухе определенно запахло дворцовым переворотом. Оказавшись в столь блестящей изоляции, Николай решился, наконец, хотя и с большим опозданием против своих союзников, на образование ряда содействующих успеху войны общественных организаций и учреждений. Среди них с участием «общественности» были организованы «особые совещания» по обороне, по топливу, по металлу, по продовольствию и по перевозкам.

По всем этим линиям экономика страны находилась в величайшем напряжении, и нужны были крайние усилия для ее упорядочения в интересах затягивающейся тяжелой войны. Новые «совещания» призваны

были наладить учет, контроль и распределение убывающих ресурсов страны. Это были только самые первые, крайне элементарные и бессистемные опыты регулирования всего народного хозяйства в целом. Но и в них уже мерещился царю угнетающий его кошмар социализма. А капиталисты мирились с ними, скрепя сердце, лишь в расчете на все окупающие военные сверхприбыли. Все эти «совещания», как эмбрионы плановых органов, были весьма несовершенны. Кроме того, их было слишком много для согласованной работы. А у семи нянек, по пословице, дитя без глаза. Но все же они вносили известный порядок, обеспечивая всем необходимым хотя бы важнейшие предприятия, работающие на оборону. И я лично, попав в Осотоп, с большим интересом и пользой, для себя по крайней мере, проходил этот приготовительный класс планирования, весьма пригодившийся мне после революции для последующей моей многолетней работы в Госплане СССР.

Назначение мое в Осотоп было для меня совершенно неожиданным. Однако, поработав там немного, я понял, что душой этого учреждения был, если не де-юре, так де-факто, хорошо мне известный талантливый экономист С. В. Бернштейн-Коган. Окончив с отличием Политехникум на несколько лет раньше меня, он уже пользовался в 1916 г. широкой известностью в экономических кругах столицы. И, когда ему пришлось организовать аппарат Осотопа, для которого потребовалось немало экономистов, он вспомнил среди других и обо мне. Петроградский Политехникум был тогда крупнейшим рассадником экономистов в России, и не удивительно, что в Осотопе оказался целый выводок наших политехников и притом таких видных, как тот же Бернштейн-Коган, В. П. Тимошенко, покойный Д. А. Волжин и др. Мы все хорошо знали друг друга и по достоинству без ошибки расценивали каждого при распределении работы. В частности, мне сразу пришлось занять в Осотопе должность заместителя начальника статистического отдела, попав под начало профессора Л. Н. Яснопольского, впоследствии действительного члена Украинской Академии наук. Но вскоре он ушел от нас, получив новое назначение, и мне пришлось взять на себя руководство всей работой этого большого отдела.

Склонность к статистике у меня обнаружилась с давних пор. Еще в 1897 г., будучи студентом-электриком 1-го курса, я, сочинив опросный лист, провел у себя и разработал анкету о социально-бытовом укладе жизни студентов института. Затем в 1900 г. принял активное участие в переписи населения столицы. В 1902 г. работал счетчиком в Вологодском статистическом бюро. В 1904 г., в Олонецкой ссылке, занимался демографической разработкой смертей и рождений по приходским книгам села Виэл-Ярви. В Политехникуме снова организовал анкетное обследование студенческого быта в 1909 г. В Льняном комитете с 1911 г. до начала войны двигал статистику льняного дела. Правда, в Осотопе мне предстояла гораздо более широкая и ответственная руководящая работа. Но тем интереснее было продвигать ее вперед. У меня были прекрасные помощники, из которых назову лишь известного своими большими печатными трудами А. Г. Рашина. Нам посчастливилось даже свой счетный персонал чуть ли не полностью укомплектовать молодежью с законченным высшим образованием. Энергии и инициативы для постановки и разработки интересных обследований у нас было сколько угодно. Все работали с увлечением. А при таких условиях нетрудно справиться и с большими задачами. И, как мне сдается, я справлялся с ними не худо. Во всяком случае в «Известиях Особого совещания по топливу» и других его публикациях можно и теперь обнаружить немало следов продуктивной работы всего нашего дружного статистического коллектива.

Обслуживая и другие отделы Осотопа своей продукцией, я был в курсе всех его начинаний, видел слабые его стороны, но чувствовал и все

возрастающие возможности этого органа, сосредоточивающего в своих руках жесткий контроль над всей энергетикой великой страны. Обреченному всем ходом войны на гибель царизму он уже не мог ничем помочь, но после революции он мог стать одним из сильнейших рычагов воздействия на экономику обновленной России. В отличие от обычных старорежимных учреждений в Осотопе не было ни одного бюрократа, ни единого чинуши. Весь персонал его был вольнонаемный, без полицейской апробации его благонадежности. Все отделы возглавлялись передовыми инженерами и экономистами, с большой прослойкой убежденных социалистов и в рядовом составе отделов. А у меня в статистике спокойно работал под чужим именем и вовсе нелегальный товарищ, большевик-подпольщик, настоящей фамилии которого я в интересах конспирации даже не спрашивал. Такое учреждение после революции, как мне казалось, и перестраивать не потребуется. И, работая в нем, после переброски с боевого фронта на хозяйственный я чувствовал себя в своей стихии. В обстановке близящейся революции я мог здесь оказаться во всяком разе полезнее ей, чем в любой иной роли.

Возвращаясь после трудового дня домой, я набрасывался, конечно, прежде всего на газеты, а наша детвора в свою очередь набрасывалась на меня, теребя меня и увлекая к заветному дивану, на котором протекали наши довоенные «литературные» вечера. Моя жена, которая недавно закончила Бестужевские курсы и теперь работала под моей командой в Осотопе, им сочувствовала. В качестве новоявленного статистика она не уступала другим в сообразительности, точности подсчетов и работоспособности, но ее гораздо сильнее влекло к изящной литературе. И, когда я задерживался частенько на службе, Соня, прибежав домой, сама подгоняла детишек скорее кончать уроки, чтобы с моим возвращением домой можно было сразу же организовать веселую со мной встречу за чтением. Устоять против их дружного натиска было невозможно. Я пробегал мельком газету, и мы каждый раз снова с какой-нибудь интересной книжкой все устраивались на нашем «литературном» диване, отвлекаясь от всех злоб дня и накапливая силы для дальнейшей работы.

Иногда вечерком забегала к нам с Выборгской стороны сестра Сони медичка Лида, призванная врачом в один из пехотных полков столицы. Иной раз появлялся товарищ по Олонецкой ссылке, И. С. Пучков, попавший в качестве опытного рабочего-механика в «Броневой батальон», или еще кто-нибудь из партийцев. И тогда, отослав детей спать, мы уже всецело отдавались текущим злобам дня. При этом все сходились на том, что и в армии и особенно в рабочей среде революционные настроения в связи с положением на фронте и продовольственными затруднениями все нарастают и что назревает серьезнейший кризис. Наконец, в феврале в Петрограде началось грандиозное забастовочное движение, перераставшее во всеобщую политическую стачку всероссийского масштаба. На улицах происходили кровавые стычки рабочих с жандармами и казаками. Царизм был готов на все: и на роспуск фрондирующей Думы и на пролитие целых морей рабочей крови. А обескровленные арестами и рассыпанные войной по всем фронтам партийные силы казались слабее в этот момент, чем когда-либо, и как будто ни в чем себя организованно не проявляли. Может быть, именно поэтому всеми желанная и так долго жданная в те времена победа революции пришла все же для огромного большинства ее ждавших каким-то свалившимся прямо с неба неожиданным сюрпризом.

Победа над царизмом досталась на этот раз слишком легко. Никто не ждал, что его былая мощь так глубоко исчерпана. В памятный день 27 февраля 1917 г. мы с Соней, как и всегда, были в Осотопе, заканчивая срочную работу и не подозревая того, что уже свершилось за его

стенами. Вдруг врывается к нам взволнованная, красная, как пион, Лида и кричит Соне: «Да разве вы не знаете, что делается на улицах!» Бросив все, мы устремляемся с Мытнинской набережной за ней. Улицы — пусты. На Дворцовом мосту — ни души. У Зимнего Дворца — только военная охрана из юнкеров.

— Ага!..— соображаем мы.— Неужели в Питере помимо юнкеров нет уж ни одной «надежной» воинской части?

Бежим дальше. Миллионная пуста. Не видно народу и на Марсовом Поле. Но вот у Летнего сада первая встреча. С Литейного нам навстречу шагает конопатый мальчуган, лет десяти. Без шапки, в рваной кацавейке, но в портупее через плечо, с полицейской шашкой, болтающейся за ним по земле. Он гордо задрал свой нос кверху и громко шмыгает им, то и дело втягивая обратно нечто непроизвольно ускользающее оттуда. И в то же время, подхватив обеими руками портупею и косясь влево, он не спускает восхищенного взора с подхваченного им где-то боевого оружия.

— Эй, малец!..— кричим мы ему вслед.— Где добыл оружие?

— На Литейном,— отвечает он важно.— Там мы целую полицейскую часть уж разоружили...— прибавляет он затем с еще большей важностью, напирая на слово «мы».

Эта красочная встреча сказала мне все, что я хотел знать. И мое сердце забилось в груди от несказанной радости, как большой набатный колокол. Сопливого мальчугана, первого вестника этой захватывающей радости, мне захотелось вдруг расцеловать прямо в его задорно задранный кверху «пятачок». Но мальчуган был далеко. И нам с Соней осталось лишь крепко-крепко по-братски обнять и расцеловать друг друга. Как на крыльях, нас понесло дальше, к Литейному. Здесь все гуще стекались со всех сторон и двигались вперед, как и мы, взволнованные простые люди, и мы влились в их общий шумливый поток. Поток этот инстинктивно стремился к Шпалерной и затем по Шпалерной к Таврическому дворцу — этому думскому центру политической жизни страны. Еще по дороге к этому мнимому центру революции мы узнали важнейшие итоги того исторического дня. На Шпалерной мы сами воочию увидели пылающую русскую Бастилию, столь знакомую нам «Предварилку». Его величество народ на этот раз сам «амнистировал» всех заключенных. Попутно узнали, что и в других местах повсюду разбиты все узилища, разоружена полиция, в огне охранка. Народ выковыривал из-под чердаков поодиночке заблаговременно размещенных там городовых с пулеметами. Казалось, что охранники предусмотрели все для спасения царизма. Но стоило одному Волынскому полку пальнуть разочек-другой вместо рабочих по полиции, чтобы вся эта охранная «средиземая эскадра» в панике рассеялась, спасая свои собственные животы и разбегаясь, как крысы, с терпящего аварию корабля.

Невольно приходили на память устаревшие вдруг строки поэта об овеянном печалью безнадежности народе-узнике:

Он скован был. Металл его цепей
Давно истлел,
И в прах рассыпался б, когда б сильней
Рвануть он смел.
Но помнил он, как некогда была
Та цепь крепка,
Как разорвать ни разу не могла
Ее рука.
И снова цепь свою рвануть сильней
Он уж не смел.
А крепкий некогда металл цепей
Давно истлел.

— Нет, наш народ, полный великих дерзаний, не таков,— думалось мне.— И он натворит немало чудесных дел. Но царская цепочка-то действительно была с изрядной гнильцой.

Последнее соображение вызвало во мне смутное беспокойство. Нетрудно ведь свалить гнилое дерево, но гораздо труднее построить новый дом. Хватит ли у нас для этого доброй воли и творческого искусства? Найдется ли у трудящихся масс достаточно организационного опыта и действенной самодеятельности? И где они найдут в своей среде надежных передовиков, чтобы сразу же вокруг них сплотиться для закрепления победы и дальнейших успехов революции? Однако с приближением к Таврическому саду и эти тревожные сомнения стали быстро рассеиваться. Сюда уже стекались вооруженные группы рабочих и делегаций от военных частей, готовых к защите завоеваний революции. Перед дворцом расположилась с винтовками в козлах пехотная часть. В саду стояла готовая к бою артиллерийская батарея. Но самой надежной защитой этой почти бескровной революции было то, что у павшего царского режима в стране не было ни прежнего авторитета, ни сочувствия, ни тем более охоты проливать за него кровь в неравной борьбе против всего народа.

Государственная Дума была распущена царским указом. Но правооктябристская Дума все равно теперь никого уж не устроила бы. И народные силы революции стягивались сюда вовсе не ради прекрасных глаз массивного Родзянко и хитроумного Милюкова, а прежде всего для того, чтобы найти здесь и мощно подпереть рабочих депутатов. Вместе с тем не прошел даром для трудящихся и самобытный их организационный опыт 1905 г. С первого же дня революции на фабриках и заводах, а затем и во всех военных частях столицы в порядке заразительного самотека пролетарской самодеятельности начались выборы депутатов в свой собственный организационный центр. И еще раньше, чем сформировалось первое, весьма эфемерное буржуазное кратковременное правительство с Родзянко и Милюковым, за его спиной уже вырос мощный Совет рабочих и солдатских депутатов. Началась эра пресловутого «двоевластия», но сразу чувствовалось, что в этом соревновании новая резиденция Совдепа — Смольный институт благородных девиц, а не величественный старый Таврический дворец становится доминирующим притягательным центром не только для столицы, но и для всей страны.

Было бы излишним повторять слишком всем известные события того бурного времени. Скажу лишь, что в моем окружении они сменяли друг друга с молниеносной быстротой, захватывая нас всех в свой бешеный водоворот. Революция организовывала свои силы не по дням, а по часам. И, чтобы идти с ней в ногу, нужно было везде вовремя поспевать. На другой день революции вместо исчезнувшей полиции на улицах появилась организованная рабочими народная милиция с красными повязками на левой руке. Им то и дело передавали выловленных рабочими шпиков, жандармов и тому подобные охвостья старого режима. У Троицкого моста два дюжих молодца с красными повязками тащили, подхватив под руки, какого-то бравого жандармского ротмистра. Впрочем, теперь вид у него был совсем не бравый. По-видимому, он «бузил» во время ареста, потому что под левым глазом у него сиял огромный синяк, из разбитого носа текла кровь, и вообще он весь как-то обмяк от страха.

— Куда вы его волокете? — поинтересовался я.

— А вот сюда, недалече...— показали они мне на ворота Петропавловской крепости.

И действительно, в эту крепость, где еще недавно так прочно припирали нашу братию, теперь революционный гарнизон в опустевшие казематы сажал наших бывших тюремщиков и палачей. Это было

приятно. Не без удовлетворения я вскоре услышал и об аресте известного охранника Статковского, того самого, который 17 лет назад руководил первым у меня обыском, забрал у меня немало книг без всякой описи и отправил меня в тюрьму. Будучи организатором района, в котором проживал Статковский, я на этот раз распорядился конфисковать его библиотеку, обратив ее в общественное достояние нашей партийной организации. Библиотека оказалась весьма богатой, с большим количеством секретных жандармских изданий и немалым числом книг, награбленных у нашей братии, подвергавшейся его обыскам. Несколько месяцев спустя по милости слишком покладистой юстиции Временного правительства этот матерый деятель охранки в числе многих других оказался снова на воле и даже имел наглость потребовать у нас обратно «свою» библиотеку. Это было, однако, слишком большое нахальство, ибо на многих из присвоенных им книг еще сохранились автографы настоящих их владельцев. Мы предложили Статковскому обратиться в суд. И он бесследно исчез с нашего горизонта.

Первые дни революции были очень суматошные. Забывая о статистике, я бегал с группой товарищей целые дни, организуя самодеятельность граждан на Петроградской стороне. Мы созывали собрания, провели на них выборы в местный районный комитет, подобрали из местной рабочей молодежи подходящих людей в народную милицию. В комитет стали приходить граждане за консультацией, с жалобами, с заявлениями на скрывающихся переодетых агентов полиции, которых мы сразу же решили взять на учет путем регистрации в комитете во избежание всяких неприятностей с их стороны.

В связи с этим в первые дни в районе можно было услышать истошные вопли какого-нибудь гражданина:

— Миллионер, милли-онер!.. Вот он, наш бывший околоточный. Тащи его, подлеца, на регистрацию!

Новое слово «милиционер» не сразу далось всем прежним «обывателям», ставшим вдруг гражданами. Но бравые милиционеры первого призыва, не смущаясь забавным недоразумением, обращавшим их в «миллионеров», выполняли свои новые обязанности четко и смело, по-пролетарски.

Забегая по утрам к себе в Осотоп, я с удовлетворением убеждался, что это учреждение определенно тяготеет к Смольному, а не к таврическому правительственному центру. Не в пример другим учреждениям мы сразу же выбрали и послали в Совет рабочих депутатов своего представителя экономиста Тимошенко. И хотя ему дали там, как представителю служащих, только совещательный голос, мы весьма гордились этой связью с пролетарским центром столицы. Но и этот центр не мог игнорировать таких вопросов, как нормальное снабжение заводов топливом, металлом и продовольствием, осуществляемое «особыми совещаниями», и для решения подобных вопросов организовал специальный Экономический отдел Совета рабочих депутатов, куда был кооптирован ряд партийных экономистов, а в их числе и аз грешный. Но и Таврический дворец не прочь был овладеть теми же «совещаниями». И чуть ли не на третий день к нам в Осотоп заявился представитель Временного правительства с явным намерением очаровать и завербовать нас в свой лагерь. Его миссия, однако, оказалась очень трудной, ибо он не мог нам толком ответить даже на такой простой вопрос:

— За республику или монархию ратует пославшее его к нам правительство?

— Этот вопрос...— замялся «представитель» на минуту, но затем, решив дипломатически увильнуть от определенного ответа, закончил:

— У нас этот вопрос еще дебатируется...

— Как дебатируется!..— взъелся тут на него единственный, вероятно, в нашей среде монархист Паевский.— А как же вы предложите нам поступить с присягой, которую мы все, как и ваше правительство, принесли на верность монарху и монархии?.. Или обязательность выполнения присяги у вас тоже еще только дебатируется?

Вообразив, что он попал в самое злое осиное гнездо ярых монархистов, прижатый к стене, представитель Родзянки окончательно растерялся. Пробормотав что-то на тему о том, что Временное правительство не узурпатор власти, так как оно пришло к ней в качестве вполне лояльного ее правопреемника, и разоблачив, таким образом, до конца двурушническую позицию этой новой власти, он немедленно же под смешки всей аудитории удалился из Осотопа восвояси.

Выступление Паевского нас всех позабавило. Но мы все же сочли долгом ему разъяснить, что от вынужденной присяги царю нас всех и уже навсегда освободила революция, а тем, кто ее приносил добровольно, по убеждению, теперь, когда сам монарх «признал за благо» отречься от трона, не мешало бы, следуя этому благому примеру, тоже заблаговременно «отречься» от своих должностей в учреждениях, принявших революцию, и удалиться на покой — сажать капусту.

— Ну, это еще посмотрим, что скажет армия?..— пробурчал, не сдаваясь, наш противник.— Для армии присяга побольше значит, чем для разных безбожников и маловеров.

В этот момент за окнами, патрулируя новый, революционный порядок, чрезвычайно кстати проходил попарно, громыхая своим тяжелым вооружением в башнях, целый броневой дивизион. И на каждом броневике совсем еще свежей и яркой краской были начертаны одни и те же столь понятные тогда нам всем буквы: «РСДРП». Я и раньше знал от своего приятеля И. С. Пучкова, что в этом батальоне, набранном по преимуществу из рабочих-металлистов, немало большевиков. Но сегодня, всего за несколько дней, весь батальон встал с открытым забралом под революционное знамя рабочей партии большевиков. Это показалось мне одним из чудес нашей революции, апофеозом ее начальных дней и предвестником еще чудеснейших грядущих ее побед. Великолепная и незабываемая картина!..

— Вы хотите знать, что скажет армия?..— Заметил тут кто-то из нас Паевскому.— Посмотрите в окно! Она уже кое-что сказала. Она не бюллетенями, а броневиками голосует за демократию и социализм.

События развивались ускоренным темпом. В апреле в Россию вернулся из эмиграции В. И. Ленин. И в первой же своей речи у Финляндского вокзала с большевистского броневика предложил своей партии новый курс — на социализм. Это было для многих крайне неожиданно, ибо противоречило общепринятой марксистской догме о невозможности построения социализма в одной стране и тем более в такой отсталой, как тогдашняя Россия. Наиболее «просвещенные» догматики, которых особенно много было среди меньшевиков, на память цитировали Маркса и уверяли, что столь еретическое отклонение от догмы является опаснейшим авантюризмом. Однако мне лично казалось, что крайне заманчивый план Ленина при складывающихся условиях далеко не так уж безнадежен. Не оспаривая никаких догм, но не будучи доктринером, я все же не мог отказаться от мысли:

— А что если все же рискнуть и попробовать? Ведь должна же какая-либо одна страна опередить на этом пути другие? Россия действительно во многом отстает от других стран. Во многом, но не во всем. И как раз не в том, что всего нужнее для победы пролетариата. В какой еще иной стране можно найти столь же сплоченный, организованный и революционный пролетариат, как у нас? Где вы еще найдете такие же мощные организации трудящихся, как наши Советы рабочих,

солдатских и крестьянских депутатов, за которыми стоит весь вооруженный народ и перед которыми не раз бессильно пасовала власть буржуазного правительства? Где вы еще найдете такую рабочую партию, у которой состоят на вооружении целые гарнизоны войск с артиллерией, броневиками и пулеметами. И где, наконец, вы еще найдете более дальновидных, смелых и решительных вождей пролетарской революции, чем Ленин. Нужно лишь добиться единого фронта всех боевых сил пролетариата, и победа будет не за горами. А победа социализма не явится ли надежнейшей предпосылкой ликвидации нашей отсталости и во всех остальных отношениях?

Припоминаю, что эти мои идеи отнюдь не пользовались успехом. Доктринеры от меньшевизма безапелляционно усматривали в них политический «авантюризм». А большевики упрекали меня за «соглашательство». Я по-прежнему поддерживал близкий контакт в надежде на образование единого фронта с теми и другими, нередко выступал в качестве агитатора на рабочих собраниях в цирке «Модерн», на Путиловском и других заводах, был избран депутатом сначала районной думы Петроградской стороны, а затем и общегородской столичной думы, которую возглавлял Михаил Иванович Калинин, много работал снова в Осотопе, будучи избран в его руководящее бюро, опубликовал ряд небольших работ — брошюр и статей. Но все это далеко еще не удовлетворяло меня, ибо вокруг меня жизнь шла своим путем, мимо всех моих лучших чаяний и надежд. Классовая борьба в стране развертывалась все шире. Но рознь между большевиками и меньшевиками не сглаживалась, а обострялась. Чтобы резче отмежеваться от меньшевиков, упрямо блокировавшихся с буржуазией, большевики отказались даже от своего старого имени социал-демократов, приняв новое, никогда еще не запятнанное оппортунизмом имя — партия *коммунистов* — РКП(б). А тем временем социалисты Церетелли и Керенский вкупе и влюбе с капиталистами Коноваловыми и Рябушинскими, всегда готовыми «костлявой рукой голода» задушить рабочее движение, обливали мерзкой клеветой, травили и всемерно преследовали великого Ленина в тщетной надежде обезглавить таким образом назревающую «опасность» новой, уже социальной революции.

Я никогда не считал себя меньшевиком, хотя и организационные и личные связи сближали меня тогда с меньшевиками гораздо теснее, чем с большевиками. Я не мог поэтому быть слишком строгим судьей меньшевистских лидеров, невольно прощая им многие ошибки и заблуждения. Но на этот раз мне было не только больно, но и стыдно за них. Я не находил никакого оправдания такой их «политике». Никакие звонкие фразы о «высшем благе революции», во имя которого дозволительно блокироваться даже с чертом и его бабушкой, не могли сбить меня с толку. С буржуазным чертякой в эти дни можно было блокироваться только *против* пролетарской революции. И, конечно, ждать *для нее* каких-либо благ от союза с чертовыми бабушками господ Рябушинских было бы только смешно и наивно. «Политику», сдобренную такими сомнительными «принципами», да еще с добавкой несомненно грязной клеветы, я рассматривал как недостойное социалистов политиканство и расценивал его уже не как случайную ошибку, а как заведомое преступление против идеалов пролетариата. Противоестественный союз лидеров меньшевистского социализма с чертовыми бабушками буржуазии, направленный своим острием против движения, возглавляемого партией коммунистов, я переживал крайне болезненно. Углубляя раскол пролетарских сил в такой критический момент, перед самыми решительными классовыми боями, этот предательский «союз», как мне казалось, обрекает их на неизбежное поражение. Но, к счастью, и на этот раз я заблуждался.

Руководимые здоровым классовым инстинктом, рабочие массы все дружнее шли за знаменем гонимой партии коммунистов. Потянулись в ее ряды и все наиболее левые элементы социал-демократов-интернационалистов, в особенности из рабочей среды. И, несмотря на все гонения и клеветнический вой буржуазной прессы против большевиков, политическое их влияние в стране все возрастало. Одержав блестящую победу на выборах в Петроградскую городскую думу, большевики завоевали вскоре прочное большинство и в городском Совете рабочих и солдатских депутатов. В столичном гарнизоне их влияние было исключительно. И если дерзкая авантюра генерала Корнилова, вздумавшего с одной своей «дикой» дивизией восстановить монархию в России, потерпела крушение, то это произошло только благодаря энергии поднятых большевиками полков и рабочих отрядов столицы. Наконец, за выдвинутый большевиками лозунг «Вся власть Советам!» высказалась вся Россия в лице собравшегося в октябре Всероссийского съезда Советов. И в ночь на 25 октября 1917 г. уже вся наша страна по воле народа, реализованной коммунистами, стала советской.

В отличие от Февральской революции, вспыхнувшей как-то стихийно и победившей самотеком, без всякой предварительной организационной ее подготовки, Великая Октябрьская революция готовилась большевиками долго и тщательно. И хотя ее не удалось законспирировать до последнего часа, она началась все же вполне организованно в заранее намеченный срок, протекала планомерно, в полном соответствии с глубоко продуманной диспозицией своих вождей и со всеми требованиями революционной стратегии и тактики. И увенчалась она, как известно, несмотря на гораздо бо́льшие объективные трудности, неизмеримо более глубокой исторической победой. Это были два резко отличных типа революции. И если первую можно было бы сравнить со стихийным взрывом перегретого парового котла, лишенного бездумным хозяином каких-либо предохранительных клапанов, то вторую следовало бы уподобить взрыву динамита, сознательно заложенного под самые устои вражеской крепости опытной инженерской рукой. Меньшевики, которые признавали только первый тип революции, предъявлявший к ним наименьшие требования, неоднократно обвиняли большевиков в бланкизме и пристрастии к заговорщической революционной тактике. Но они очень плохо понимали активную тактику и стратегию партии Ленина.

Типичный заговор — это всегда очень узкая и в своей основе антидемократическая конспирация людей, *не верящих в народ* даже в том случае, если они конспирируют в интересах народа. Для них народ — это лишь «толпа», над которой возвышаются «герои» заговора. Они и планируют и осуществляют свои «перевороты» без народа, а чаще всего и против народа. Поэтому всякий такой заговор является политической авантюрой, ибо даже в случае удачи он лишь сменяет одного узурпатора народной власти другим. Не таков был гениальный замысел Ленина. Исторический самотек событий не удовлетворяет настоящего революционера уже потому, что своим призванием он считает активное *ускорение* назревающих революций, а не пассивную регистрацию их в исторической летописи, после того как они сами, как перезрелый плод, падалью валятся к вашим ногам.

Февральская буржуазная революция, запоздавшая с ликвидацией последних пережитков феодализма более чем на полвека, была, несомненно, весьма уже перезрелым плодом истории. Но она создала такой революционный накал атмосферы, в котором дни и недели считались за годы.

Трезво учитывая благоприятную обстановку, вожди коммунизма, однако, не стремились к преждевременному захвату власти, т. е. прежде того, как при их содействии она могла бы уже стать воистину все-

народной, рабоче-крестьянской Советской властью. Под водительством Ленина его партия за какие-нибудь полгода провела действительно поразительную по своему эффекту идейную, организационную и техническую подготовку Октябрьской революции. Но это не был заговор. Это было великое всенародное движение. Заговор — это горсточка сектантов и авантюристов, а «заговор» всего народа... И против кого же?.. Против самого себя? — Это ни с чем не сообразное понятие. Можно лишь отдать справедливость организаторам этой революции, сказав, что вся заключительная операция по захвату власти и аресту всего совета министров Временного правительства, кроме одного лишь заблаговременно сбежавшего Керенского, была разыграна артистически, как по нотам. Но нужно сказать, что и в этой краткой прелюдии к великой советской эпопее в оркестре большевиков звучали и морские орудия с «Авроры» и мощный хор военных и рабочих батальонов столицы, а в лагере министров-капиталистов в решительную минуту оказался один лишь без выстрела бурно разбежавшийся женский батальон.

Нетрудно было в этих условиях коммунистам одерживать свои первые победы в Октябре. Но неизмеримо труднее было закрепить их за пролетариатом и полностью реализовать все их плоды. И в этом отношении приходится отметить второе, еще более принципиальное отличие Октябрьской революции от Февральской, чем выше отмеченное. Февральская революция, направленная лишь против давно уже подгнивших политических устоев царизма, не затронувшая серьезно ничьих глубинных, классовых интересов, была встречена всей страной с невиданным еще единодушным сочувствием и могла рассчитывать на самую широкую общественную поддержку. Другое дело Октябрьская социалистическая революция, направленная против всех эксплуатирующих классов. Она с их стороны была встречена с зубовным скрежетом. Это было, однако, понятно и никому не казалось неожиданным. Много труднее было тем, кто, как я, с энтузиазмом и гордостью приветствовал новую победу пролетариата; много труднее было нам понять и переварить в эти дни гнусное поведение всей почти российской интеллигенции, столь охотно носившей ярлык социалистической.

В то время как крупная буржуазия, временно притаившаяся с перепугу, только готовилась заварить контрреволюцию, мелкобуржуазная интеллигенция, которой в сущности и терять-то нечего было от прихода к власти коммунистов, уже не только скрипела зубами, изрыгая повсюду хулу на коммунистов, но и всемерно пыталась *свергнуть* рабочую власть своим активным саботажем. В дни, когда вся страна и без того изнемогала от бедствий непосильной ей мировой войны, экономической разрухи и растущего голода, а новая рабочая власть с небывалой еще энергией стремилась вытащить этот тяжелый воз из засасывающего его все глубже болота, бывшие социалисты всех мастей делали все, что могли, чтобы и эту власть вместе с возом поскорее утопить в том же болоте. Во всех министерствах, в Государственном банке, в службах связи и даже в тех учреждениях, которые снабжали страну хлебом и топливом и регулировали разваливающийся транспорт, эти горе-социалисты подстрекали всех служащих к забастовкам и прямому саботажу приказов рабочего правительства.

В условиях военного времени это было, конечно, прямой изменой и предательством интересов всего народа. Но вот в бастующих учреждениях появились большевистские комиссары и стали без лишних уговоров заменять интеллигентных саботажников рядовыми рабочими от станка. Саботажники уходили, свысока поглядывая на своих незамысловатых сменщиков, с гордой уверенностью, что за ними — «незаменимыми» саботажниками — большевики не замедлят прислать своих послов с просьбой вернуться на работу, а они еще долго будут кобенить-

ся. Ведь им обещали застрельщики саботажа — «социалисты» выплатить полностью жалованье за все время забастовки из каких-то только им известных источников. Никаких послов саботажники от большевиков, однако, так и не дождались.

Рабочим от станка трудно было, конечно, сразу справиться со всеми возложенными на них вдруг новыми обязанностями. Но они по крайней мере не могли предать свое рабочее правительство. И когда, овладев банками, это правительство уполномочило их выдавать деньги по всем чекам и аккредитивам только с визой большевиков на определенные лишь общественные нужды, то неведомый доселе источник финансирования саботажа вдруг иссяк. А бывшие саботажники и сами, не дожидаясь больше никаких послов, пришли наниматься к коммунистам. Таким образом, партия Ленина справилась и с саботажем «социалистической» интеллигенции, как позднее она справлялась и с гораздо более опасными внешними вторжениями, интервенцией и блокадой со стороны так называемой Антанты и всей белобандитской внутренней контрреволюцией.

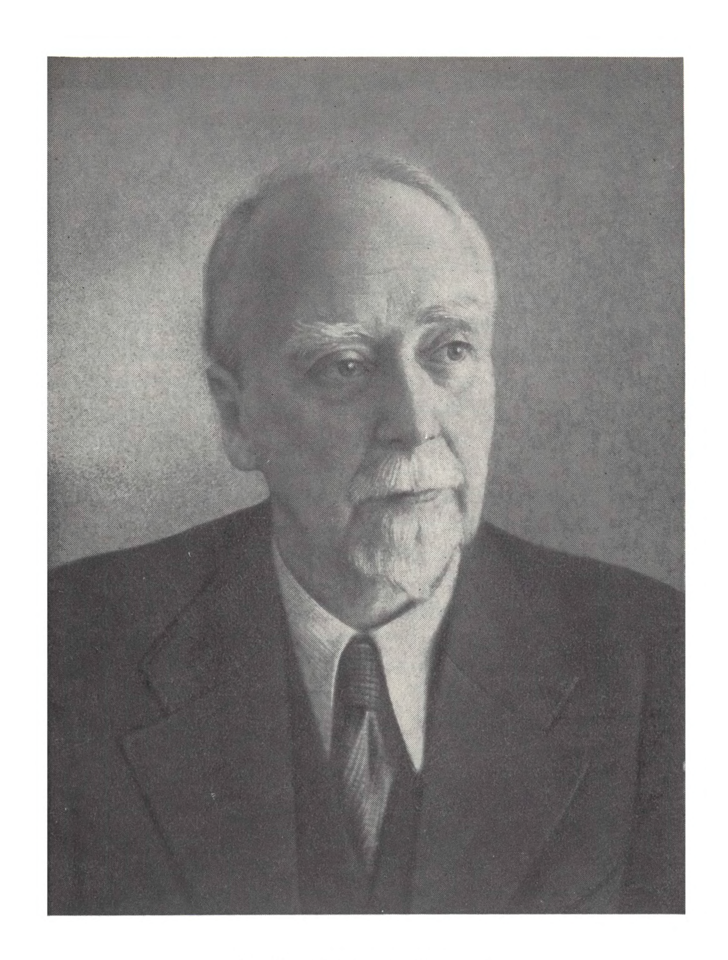
Когда, уже после Октября, я увидел и среди меньшевиков организаторов саботажа, не брезгавших даже какими-то темными источниками, чтобы финансировать эту предательскую, братоубийственную, беспринципную борьбу против своего класса, я окончательно убедился, что мне с ними не по пути.

Мне было уже 40 лет. И многое было пережито за эти долгие годы. Но только теперь, в эти первые дни после Октября, я почувствовал, в какой опасности находится мое новое, социалистическое Отечество. Наступала новая эра нашей жизни. И я впервые осознал себя коммунистом.

Отпали последние догматические сомнения и колебания по вопросу, можно ли построить социализм в одной стране. Эта постройка была уже начата. И ее любой ценой необходимо было довершить и сохранить, до тех пор пока весь мир, убежденный нашим опытом, не станет социалистическим, а затем и коммунистическим. Бороться за это до конца — вот достойнейшая задача советских коммунистов. Вот что стало с тех дней и моей задачей. И хотя я вовсе не спешил с каким-либо внешним оформлением этого твердого внутреннего решения, оно определило собой всю мою дальнейшую жизнь.

ГЛЕБ МАКСИМИЛИАНОВИЧ КРЖИЖАНОВСКИЙ — УЧЕНЫЙ-РЕВОЛЮЦИОНЕР*

* *Публикуется впервые.*



Г. М. Кржижановский

Память о Глебе Максимилиановиче Кржижановском дорога всем, кому посчастливилось жить и работать на одной с ним ниве общественной деятельности, повседневно соприкасаясь с ним, пользуясь его чутким вниманием и дружеским руководством. Я был на пять лет моложе Глеба Максимилиановича. Учились мы в студенческие годы в одной и той же северной столице, но он был уже инженером, когда я стал студентом. Начал я свою партийную работу тоже в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», в числе славных организаторов которого состоял Глеб Максимилианович, но он к тому времени был уже в Сибири. Начав впервые отбывать свой тюремный стаж в той же самой «Предварилке» на Шпалерной улице, откуда уже лет пять тому назад отбыл Глеб Максимилианович, я следы его пребывания здесь находил лишь в тех книжках тюремной библиотеки, которые мы оба, по-видимому, с одинаковым усердием штудировали.

Лишь когда пробил час революции и потребовалась регулярная плановая работа, я, включившись в работу Госплана с 1921 г. под руководством Глеба Максимилиановича, смог, наконец, ближе узнать и оценить этого блестящего организатора и обаятельнейшего из людей нашей революционной эпохи. До 1930 г. в Госплане, а с 1931 г.— в Академии наук я был одним из ближайших свидетелей его творческой, общественной и научной работы. Нередко в дружеских беседах вспоминал он и о событиях своей ранней молодости. Чувствую, что мне не по силам было бы создать сколько-нибудь полноценное жизнеописание этого многогранного человека. Но хотелось бы внести и свою скромную лепту в труд будущих биографов Глеба Максимилиановича. По сохранившимся записям и живым еще воспоминаниям передо мной встает во весь рост яркий образ этого ученого-революционера и Героя Социалистического Труда.

1. ДЕТСКИЕ И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ В САМАРЕ

Глеб Максимилианович Кржижановский родился 24 января 1872 г. Он рос на широком волжском приволье в условиях, типичных для трудовой русской интеллигенции того времени. Глеб Максимилианович насчитывает в своих жилах «пять кровей»: русскую, польскую, немецкую и татарско-турецкую. Целый интернационал!

Его дед, декабрист, был сослан в Тобольск, где и умер. Его отец, Максимилиан Николаевич, человек весьма одаренный и своеобразный, получив высшее математическое образование в Казани, не располагал никакими средствами к существованию. Любившая его девушка, дочь

оренбургского аптекаря с поэтическим именем Эльвиры[1], не принесла ему тоже никаких богатств, кроме своих не знающих устали рук и нежного сердца. И когда они соединили свои судьбы в предосудительном по тому времени гражданском браке и прибыли на жительство в Самару, то лучшим утешением молодой хозяйке со стороны ее жизнерадостного супруга была древняя притча о птицах небесных, которые, как известно, за отсутствием родовых и благоприобретенных угодий, не сеют и не жнут, а все же и гнезда вьют, и сыты порою бывают. Максимилиан Николаевич, красавец и мастер на все руки, не желал плясать под чужую дудку в лямке чиновника тогдашних казенных палат и канцелярий. Переквалифицировавшись наскоро из математика в юриста, он занялся в Самаре адвокатурой. Удачно распутывая самые жульнические проделки местных воротил, выручая из беды честных людей, он таким образом завоевал признание широкой, хотя и небогатой клиентуры и всегда имел много дел и скромный заработок.

Однако труды и волнения не проходят бесследно. Для М. Н. Кржижановского они завершились скоротечной чехоткой, которая уже в несколько месяцев свела его в могилу. В то время Глебу Максимилиановичу было всего четыре года, а его младшей сестрице Тоне — около года. И рано овдовевшей их матери пришлось целиком взвалить на себя тяжелую ношу: не получая существенной помощи со стороны, она стала брать к себе в качестве нахлебников иногородних учеников за грошовую с них плату. Она прилагала все усилия, чтобы не только прокормить, но и дать образование своим детям. Это были тяжелые годы...

К счастью, учение уже с самых ранних лет очень легко давалось юному Глебу Максимилиановичу. Уже к пяти годам он незаметно для себя научился читать. И одной из первых его книг в эту пору памятной войны 1877 г. с Турцией за освобождение балканских славян, был не букварь, а учебник русской истории Иловайского. Он восторгался описаниями боевых картин и богатырских подвигов русских людей на поле Куликовом. А так как его собственная пылкая душа жаждала подвигов, подобных тем, какие творились и на Куликовом поле, и на Балканах, то он не мог оставаться в бездействии. Вооружившись деревянной саблей, юный герой с самозабвением крушил ею вокруг себя налево и направо густые заросли чертополоха на своем дворе, и ему казалось, что он разит здесь насмерть монгольские и турецкие орды, т. е. самых лютых врагов своей Родины. Пятилетним ребенком он мог назвать уже всех русских генералов, отличившихся в боях с турками. Таким образом, уже с тех пор, почувствовав себя «самым квасным русским патриотом»,— как он сам выразился, вспоминая эти годы,— этот резвый и жизнерадостный ребенок впервые столкнулся с политикой. Но он еще очень долго оставался ребенком и, пожалуй, всю свою славную жизнь чем-нибудь увлекался. Менялись только объекты его увлечений и дерзновений.

Увлекался он с малых лет красавицей Волгой, часами и днями пропадая где-нибудь на плоту у берега с удочкой в руках и прислушиваясь к тихому плеску волн или внимая собственным еще очень невнятным грезам. Будучи завзятым рыболовом, он однажды чуть было не стал жертвой этого своего увлечения. На удочку Глеба как-то попался большущий подлещик. Но дрогнуло от восторга сердце и трепетная рука счастливого рыболова. Подлещик выскользнул из рук и плеснулся в Волгу, а за ним вслед в охотничьем азарте, очертя голову, метнулся с плота в реку и ошалевший мальчонка. Место было глубокое, а мальчик не умел еще плавать. Поймать леща за хвост голыми руками в волжских глубинах ему не удалось, конечно. Большой удачей было

[1] Эльвира Эрнестовна Розенберг.

и то, что, нахлебавшись вволю взмученной им водицы, он все же кое-как выбрался из омута, не став добычей волжских рыб и раков. Но свой пылкий темперамент он выявил уже при этой оказии в достаточной мере.

Темперамент юного Глеба подводил его не раз и позже, в школьные годы. Мальчишки всегда и везде драчливы. А в Самаре того времени не вышли еще из моды и традиционные кулачные бои «стенка на стенку». Для юного Глеба спорт этого рода всегда был тяжелым испытанием. «Я был маленьким и слабым,— вспоминает о той драчливой поре Глеб Максимилианович,— и всегда мне попадало». В первый же день своего появления в училище восьмилетний Глеб как новичок был окружен толпой школьников, и один из них, будучи много сильнее этого миниатюрного и робкого с виду мальчика, сразу же огорошил его:

— Выходи на левую руку!..

Глеб чувствовал, что будет побит, ибо имел в этом отношении уже достаточный опыт. Однако отступать было не в его правилах. Он принял бой и действительно был основательно избит. Но мужеством сразу же завоевал симпатии многих. И с тех пор его взяли под свою защиту старшие заводилы в этой школе. Конечно, на этом не кончились все его злоключения. Он еще не раз приходил домой с синяками и ссадинами, невольно причиняя обожаемой им матери много горя и слез. Однажды какой-то хулиганистый оболтус, озлившись отчаянным сопротивлением Глеба, так его обработал не только кулаками, но и черенком перочинного ножа по лицу, что он вернулся домой весь в синяках.

Увлечение подобными подвигами было известной закалкой характера и оказалось совсем не плохой школой мужества для юного Глеба.

Среди всех увлечений молодого Глеба Максимилиановича особое место занимали книги. В самом юном возрасте, отдав дань таким авторам, как Майн Рид, Фенимор Купер, Жюль Верн и другие, он решил было, что самая лучшая книга на свете — «Таинственный остров» Жюль Верна. Но вскоре убедился, что на свете есть и много других еще более увлекательных книг. Убедиться ему в этом очень помогли прежде всего Пушкин и Лермонтов. Будучи и сам в душе поэтом, он наслаждался их стихами, заучивая наизусть и сам пробовал им подражать в своих юношеских опытах поэтического творчества. При этом в начале Лермонтов с его демоническими образами и героическими характерами был созвучнее его личным переживаниям, чем солнечная поэзия Пушкина. Лишь много позже, вполне созрев сам, он оценил по достоинству и исключительную поэзию Пушкина, и прелесть его непревзойденной еще прозы.

В школьные годы, под влиянием литературных вкусов матери, юный Глеб зачитывался — сначала в переводах, а потом и в подлинниках — лучшими произведениями величайших немецких поэтов Гёте и Шиллера и постиг очарование напевной лирики, приправленной тонким юмором, злоязычного Генриха Гейне. Затем его крепко и надолго пленила Некрасовская муза мести и печали. И эту печаль глубоко переживал впечатлительный мальчик.

На берегах Волги кто не певал волнующие строфы Некрасова:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..

Юный волжанин Глеб, распевая те же песни Некрасова под тихий струнный звон своей гитары, полностью отдавался этим чувствам. И они не раз, по собственному его признанию, исторгали у него невольно набегавшие, непрошеные слезы.

Увлекаясь поэзией, юный Глеб глотал без особого разбора и все, что только ему попадалось из художественной прозы, русской и зарубежной. Его особенно пленял романтик Виктор Гюго, и он упивался его романами: «Собор парижской богоматери», «Девяносто третий год» и др. Из немцев наиболее сильное впечатление на него произвел «Один в поле не воин» Шпильгагена. Читая и перечитывая этот роман, воспевший под именем Лео одного из самых блестящих вождей рабочего движения Бисмарковской Германии, Фридриха Лассаля, Глеб заучил его весь чуть ли не наизусть. Но, конечно, больше всего радости и волнующих переживаний доставила Глебу русская литература — Толстой и Достоевский, несравненный Чехов и др. Особую нежность юный Глеб Максимилианович питал к В. Г. Короленко с его дивным талантом и чуткой душой поэта и гражданина.

«От Короленко я сходил с ума. Его «Лес шумит» я знал наизусть»,— вспоминал об этом Глеб Максимилианович много лет спустя.

Однажды, будучи уже в ссылке, Глеб Максимилианович, следуя примеру Короленко, решил испытать и свои силы в художественной прозе. Написав рассказ, он послал его из Сибири на отзыв Короленко. Но не в этой области скрывалось его истинное призвание. Короленко ответил, что у автора рассказа, несомненно, есть дарование и он может заражать читателя своим настроением, но посоветовал ему испытать свои силы... в публицистике.

Глеб Максимилианович еще с детства читал с такой быстротой, что ему даже «стыдно» было, по его словам, столь часто беспокоить библиотекарей, прибегая к ним чуть ли не каждый день. Им могло показаться, что он все возвращаемые в библиотеку книги сдает непрочитанными. Но в действительности содержание всех книг, побывавших в руках Глеба, благодаря его незаурядной памяти запечатлевалось точно и прочно, как на чувствительной фотопленке. И это не могло не сказаться на его школьной учебе.

Он очень успешно учился и в городском училище, где пробыл два года, а затем, с 1882 г., и в Самарском реальном училище, которое он окончил блестяще. Среди товарищей Глеба по реальному училищу было немало юношей очень одаренных в том или ином отношении, но юный Глеб своей начитанностью и жадным интересом ко всему выделялся даже среди лучших из них. Если учитель немецкого языка, глубокий знаток литературы, Иван Федорович Иерг, вызвав Глеба к доске, предлагал ему прочесть какой-нибудь заданный классу отрывок из «широкого как море» Гёте, то Глеб, увлекаясь, готов был продекламировать наизусть и целую поэму. И декламировал так, что ему внимал весь класс и не решался прервать очарованный учитель. Если классу задавали решить трудную задачу, то раньше всех с ней справлялся, конечно, Глеб, особенно любивший решать задачи по физике и приложению алгебры к геометрии. И, если другие, изучая естествознание, довольствовались чертежами или картинкой в учебнике, то Глеб, занявшись ботаникой, собрал целый гербарий местной флоры для городской библиотеки.

В реальном училище в те времена помимо разных наук обучали детей так же ремеслам (столярному, переплетному и др.). И Глеб Максимилианович с особенным удовлетворением вспоминает о своих занятиях ручным трудом в школьные годы. «Каждому из ребят,— говорит он,— уже в детстве хотелось сделать что-нибудь полезное». Вот почему политехнизация школьного обучения, за которую всегда горячо ратовал Глеб Максимилианович, идет лишь навстречу этой естественной потребности ребенка. Но, конечно, в советской школе она мыслилась им много шире и глубже. Любая школьная наука должна излагаться так, чтобы даже ребенку стала ясна ее связь с повседневной практикой

и трудовым опытом близких ему людей, чтобы он и всю свою учебу осознавал как полезное для себя и других дело. Каждая задача или конкретный пример из арифметики, физики или химии должны отвечать на понятные ученикам вопросы, вытекающие из повседневной трудовой практики их отцов и братьев. А с другой стороны, в трудовом обучении каждый школяр, в соответствии с современной техникой, должен не только ознакомиться с устройством наиболее употребительных у нас машин и орудий — например, токарного станка, тракторного двигателя, электромотора,— но и приобрести хотя бы минимальный опыт и в управлении такими ходовыми машинами, как трактор, автомобиль, электровоз.

Только такое обучение, в котором наука и труд, осваиваясь в столь тесной взаимосвязи, подкрепляют друг друга, поможет, по мысли Глеба Максимилиановича, скорее изжить тот гнусный, по выражению Ленина, отрыв теории от практики, какой является у нас одним из вреднейших пережитков капиталистических условий производства и буржуазного мышления.

Опираясь позднее на собственный трудовой опыт (сначала в роли машиниста на паровозе, а затем — монтера на электростанции), Глеб Максимилианович вспоминает то особое состояние душевного подъема, когда человек, впервые овладев сложной машиной, радостно почувствует, как она послушно подчиняется любому движению его руки и, приводя в действие мощные силы природы, заставляет их служить человеку. По мысли Глеба Максимилиановича, советский человек уже со школьной скамьи должен накапливать трудовой опыт управления машинами.

Сам юный Глеб в дореволюционной старой школе не мог приобрести радостного трудового опыта. Но с горьким трудом, ради куска хлеба, ему и в те времена пришлось познакомиться. «С тринадцати лет,— сообщает в своей краткой автобиографии Глеб Максимилианович,— я уже был некоторой «опорой» семьи, ибо давал уроки своим сверстникам, и мои 15—20 рублей месячного заработка играли большую роль в нашем семейном бюджете» [1].

Питаясь лишь подцензурной литературой да казенными учебниками, юный Глеб мог бы надолго сохранить свои наивные детские представления, по которым бог и царь оставались единственными действующими пружинами истории и не подлежащими критике объектами преклонения. Но наблюдения пытливого ума и влияние более зрелых людей уже в 4—5-м классе определили крутой перелом в мировоззрении Кржижановского. Этому перелому во многом содействовали и его школьные учителя, среди которых он особенно выделяет поклонника Гёте И. Ф. Иерга, учителя физики и естествоведения Павла Александровича Ососкова и Василия Николаевича Николаева, преподававшего русский язык и литературу.

П. А. Ососков, верный демократическим традициям 60-х годов и убежденный дарвинист, на своих уроках очень тонко показывал абсурдность библейских легенд, подрывая авторитет казенных учебников не только ветхозаветной, но и гражданской истории. Он усердно повторял своим слушателям: «Читайте лучше широко открытую перед нами и кристально чистую, ибо в ней нет лжи, книгу природы».

Его призывам следовали, конечно, и Глеб, и другие ученики. Из правдивой книги природы легко было, например, убедиться, что библейский Иона никак не мог попасть в чрево кита, через узкое горло

[1] См. «Описание фонда Кржижановского Г. М.», любовно составленное сотрудником музея Г. И. Окуловой (Музей революции СССР), стр. 2. Воспоминания Глеба Максимилиановича, цитируемые без ссылок на источник, воспроизводятся мною по записям личных бесед с ним.

которого не проскочил бы и кролик. Она подсказала бы также, что, если бы призыву Иисуса Навина: «Стой солнце и не движься луна!» действительно последовали хоть на мгновение эти массивные тела, то по законам природы это вызвало бы ужасную катастрофу; в результате внезапной остановки и превращения энергии движения в тепловую испарились бы сразу, к ужасу Навина, и луна и солнце, и застыла бы в вечной ночи вся жизнь на земле.

Учитель русского языка В. Н. Николаев плохо справлялся с малышами, и на его уроках они могли ходить хоть на голове. Но зато в старших классах, на очень интересных уроках литературы, его охотно слушали и высоко ценили. Еще выше оценил его юный Глеб после такого памятного случая. В одном из своих классных сочинений Глеб упомянул между прочим о «героическом» подвиге Шарлотты Корде, убившей Марата. Возвращая ему тетрадь в классе, учитель обошел полным молчанием его романтическое заблуждение, но, встретив его вскоре затем одного, заметил:

— Послушай, Глеб! Вот ты пытаешься опоэтизировать в числе других — с чужих слов, конечно,— и Шарлотту Корде как борца за свободу. Но не следует доверять чужим суждениям. Нужно самому поглубже вдумываться в исторические факты. А факты свидетельствуют, что Марат был другом народа, не дававшим пощады лишь его врагам. Смерть Марата оплакивал народ, а радовались ей реакционеры и враги революции. Значит, тот, кто убил Марата, был лишь слепым орудием врагов народа.

Этот урок глубоко запал в душу Глеба, все симпатии которого и без того уже были целиком на стороне народа. Каторжный труд волжских бурлаков, беззаветная удаль и горькая нищета, тяжкие хозяйские обиды и буйные взрывы босяцкого гнева, вызывали его сочувствие и были ему близки и понятны.

С благодарностью вспоминал Глеб Максимилианович в числе своих учителей и рано угасшего от чахотки одаренного художника Егорова, обучавшего самарских реалистов рисованию. Егоров возлагал, по-видимому, на Глеба некоторые надежды. Вспоминая об этом, Глеб Максимилианович с присущим ему юмором как-то признался:

— Пока мы рисовали только орнаменты или какую-нибудь рыжую корову на зеленом лугу, я получал пятерки. Но вот Егоров поставил передо мной Аполлона. Увы, я не выдержал этой марки. И мне пришлось опять обратиться к своей корове.

Во всяком случае, Глеб научился у него если не рисовать, то видеть мир глазами художника и наслаждаться подлинной красотой окружающей его природы.

Следует еще упомянуть математика Владимира Александровича Ломана, не только обучавшего реалистов математике, но и снабжавшего их сочинениями Чернышевского, Герцена, Лассаля, что было очень смело для того времени.

Помимо книг и учителей формированию его общественных воззрений еще в школьные годы содействовали и некоторые его самарские знакомства. «Среднее и Нижнее Поволжье,— по свидетельству многих источников,— было с 70-х годов обетованной землей народников»[1]. И это вытекало уже из условий аграрной истории и экономики этого края, в степных просторах которого еще жили воспоминания о Разине и Пугачеве. Огромные массивы земли все еще привлекали со всех сторон массы безземельных переселенцев, которым, по выражению самарского губернатора, «дома терять было нечего» и которые «по духу, как

[1] М. И. Семенов (М. Блан). Революционная Самара 80—90-х годов. Куйбышев, 1940, стр. 10.

нельзя более подходили к сподвижникам Пугачева и Степана Разина, нашедших себе приют в этих же степных пространствах» [1]. Здесь возникали народнические поселения 70-х годов, пытавшиеся поднять деревню на борьбу с царизмом. И Самарское поселение было одним из наиболее крупных. Здесь побывали виднейшие деятели «Земли и Воли» — П. И. Войнаральский, А. И. Иванчин-Писарев, А. Квятковский, А. К. Соловьев, Адриан Михайлов, Вера Фигнер... Здесь же, в Самарской губернии, было арестовано в 70-е годы 132 пропагандиста этого движения [2].

Это было, впрочем, вполне естественно, ибо там, где народники ожидали найти на селе идиллическое общинное равенство и братство, шло полным ходом резкое расслоение деревни, с растущим кулацким процветанием Колупаевых и Разуваевых за счет необузданной ростовщической эксплуатации деревенской бедноты, т. е. развивался капитализм. Опереться на Разуваевых в борьбе за социализм было, разумеется, утопией. Но, почувствовав это, большинство народников сразу же впадало в другую крайность, решив собственными лишь силами революционного авангарда «Народной воли», без народа, вступить в единоборство со всеми силами царизма. И тем самым этот героический авангард без армии осужден был на гибель. Однако и после этого последыши народничества еще долго сохраняли местами свои пропагандистские очаги.

«В Поволжье, в том числе в Самаре, позиции народников были особенно сильными. До приезда В. И. Ленина Самара являлась одним из крупнейших объектов народнической пропаганды» [3]. Во второй половине 80-х годов народовольческое движение повсюду уже было разгромлено, его лучшие представители, уцелевшие от казни, томились в казематах Шлиссельбургской крепости или погибали на каторжных работах в далекой Сибири. Эволюционировала сильно в эти годы и идеология революционного народничества, перерождаясь уже в сильно потускневшее «легальное» народничество 90-х годов. Облетели цветы, догорели огни... Но кое-где, в том числе и в Самаре, еще теплились очаги незатухающих революционных традиций. С людьми такого кружка, по-видимому, и соприкоснулся юный Глеб Максимилианович. Его не посвящали ни в какие конспирации, а может быть, их и не было вовсе. Но о богах, царях и эксплуатации народа он скоро наслушался здесь столько горькой и уничтожающей правды, что его наивные иллюзии разлетелись.

Наблюдения пытливого мальчика в городе и деревне лишь довершали неприглядную картину окружающих его общественных отношений.

— «На летнее время,— пишет он в своей автобиографии,— мать бросала свою квартирку, наши «нахлебники» школьники разъезжались и, чтобы сэкономить средства, мы тоже собирали свои скудные пожитки и перебирались в какую-нибудь волжскую деревню. Скоро нашим излюбленным местопребыванием стало село Царевщина Ставропольского уезда. Таким образом, мне (по сословному признаку — самарскому мещанину) с раннего детства пришлось познакомиться с жизнью бедняцких низов самарского мещанства и с «дикими нравами» купеческих сынков, наводнявших тогдашнюю среднюю школу и повествовавших о деяниях своих отцов, и с бытом и жизнью волжского крестьянства» [4].

---

[1] Г. Н. Рутберг. Возникновение социал-демократической организации в Самаре (1901—1904 гг.). Куйбышев, 1952, стр. 20, 39.

[2] Там же, стр. 40.

[3] Там же, стр. 39.

[4] «Архив Музея революции СССР», фонд Г. М. Кржижановского. «Автобиография», стр. 1—2.

Безвременье 80-х годов не открывало еще просветов из безвыходного тупика бедняцкой жизни низов и диких нравов тогдашней верхушки, но тем тягостнее было с ними мириться.

— «И скоро,— пишет Глеб Максимилианович,— перед моим умственным взором четко обрисовались два мира — эксплуататоров и эксплуатируемых. Тогдашние самарские воротилы, все эти Курилины, Шихобаловы, Субботины, Дунаевы, Аржановы, зажиревшие купцы-бандиты, отцы-губернаторы с их полицейской сворой, «удельное ведомство» царя-батюшки с собаками — окружными надзирателями, тогдашние «предводители» дворянства с лощеными прожившимися бездельниками дворянчиками, «смиренномудрые» батюшки, внушавшие нам, что весь смысл пятой заповеди — повиновение властям предержащим, и весь хвост прихлебателей этой компании,— с одной стороны; горемычная городская беднота, перебивающаяся со дня на день неведомыми путями, моя матушка, вечно дрожавшая за судьбу завтрашнего дня, беспризорная городская молодежь, жертва тогдашнего дикого времени, задавленные непосильным трудом и нищенской платой рабочие, бурлаки и босяки матушки-Волги, вконец обездоленный крестьянский мир, находившийся под тройным прессом царя-феодала, помещика и кулака, с другой стороны...

И загорелось мое юное сердце тревогой и ненавистью» [1].

Глеб Максимилианович всегда был и остался завзятым пропагандистом. Новыми светлыми идеями, своими или заимствованными, он всегда рад был поделиться со своими окружающими, не особо заботясь о возможных последствиях своего откровения. Щедро одарять своим доверием всякого нового человека, до тех пор, пока он хоть раз сам не нарушит его, было всегда в обычае Глеба Максимилиановича и вытекало из его неиссякаемой веры в человека. Сразу же попав в деревню, куда его семья ежегодно выезжала на лето, он энергично стал пропагандировать крестьянам новое для них учение. И последствия... не замедлили обнаружиться.

В селе Царевщина, где в обрамлении изумительного волжского пейзажа раздавались мятежные речи 15-летнего энтузиаста «против царя и бога», нашлись среди других и кулацкие уши. Этого было совершенно достаточно для жандармского доноса самарскому губернатору об антигосударственных и антирелигиозных выступлениях этого «страшного» преступника в деревне. К счастью, тогдашний самарский губернатор, Свербеев, был довольно простодушным человеком, часто посещал местные школы и даже лично знал Глеба. Возможно также, что он был в контрах с местным жандармским начальством. К тому же сумбурные обвинения жандармского полковника слишком мало вязались с образцовой школьной репутацией и даже внешним обликом этого миниатюрного мальчугана. Свербеев вызвал его к себе, посмотрел, улыбнулся и, ограничившись «отеческим внушением», отпустил с миром [2].

Этот опыт все же не прошел бесследно для юного Глеба, несколько умерив его пыл и внушая более осторожный выбор аудитории для пропагандистских выступлений. Во всяком случае до конца школьной учебы в Самаре местные жандармы не беспокоили его больше своим вниманием.

Знакомство с народнической идеологией не сделало его народником, хотя ему очень импонировали энтузиазм массового движения в народ 70-х годов и героика борьбы с царизмом самоотверженной кучки наро-

---

[1] «Архив Музея революции СССР», фонд Г. М. Кржижановского. «Автобиография», стр. 2—3.

[2] По отзывам старожилов Самары о Свербееве: «Этот полоумный старик только по внешности был добродушен, в действительности же был злым, мстительным царским сатрапом» (М. И. Семенов. Указ. соч., стр. 18).

довольцев последующих лет. Но он не успел до своего отъезда из Самары, осенью 1889 г., приобщиться и к марксизму, хотя как раз в этом году туда прибыл организатор первого марксистского кружка в Самаре 19-летний В. И. Ленин.

Впрочем, этот кружок возник уже после отъезда Г. М. Кржижановского из Самары. По жандармским донесениям, высланный из Казани бывший студент В. И. Ульянов (Ленин) выбыл оттуда 10 мая 1889 г. и прибыл в с. Алексаевку Самарской губернии 13 мая того же года, где он и проживал каждое лето в семье Елизаровых, находясь под негласным надзором полиции, до 27 августа 1893 г., когда он выехал уже в С.-Петербург[1]. Таким образом, в Самаре он мог начать свою деятельность не раньше осени 1889 г., когда Глеб Максимилианович был уже в Петербурге, и в Самаре они не могли встретиться. По записи самого Ленина в анкете делегата X съезда РКП(б), его работа в Самаре, в «начальных кружках социал-демократии», относится к 1892—1893 гг.[2] Значит, первый марксистский кружок возник здесь еще до выезда Ленина из Самары, в марте 1894 г., причем при арестах были найдены целый склад революционных изданий и тюк листовок, гектографированных и рукописных, размножавшихся членами кружка. Значит, кружок занимался уже не только пропагандой, но и агитацией[3]. Глеб Максимилианович до своего отъезда из Самары не знал об этом кружке. Не слыхал он ничего в те годы и о Марксе. Впрочем, однажды один из нахлебников его матери[4], призадумавшись о чем-то, вдруг спросил Глеба:

— А ты слыхал о Марксе?

— Нет, не слыхал... А что? — откликнулся любознательный юноша.

— Вот он, говорят, все материальными интересами объяснил!..— с оттенком нескрываемой почтительности досказал свою мысль вопрошавший.

Это было, однако, уже под самый конец школьного обучения Глеба в Самаре. И он стремился в Петербург, где он надеялся найти ответ на все, что его волновало.

2. СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ В ПЕТЕРБУРГЕ (1889—1894)

Окончив реальное училище в Самаре, 17-летний Глеб Максимилианович лишь с аттестатом зрелости и сотней рублей в кармане мчится в чужедальние края, чтобы там, вдали от родных и друзей, встать перед лицом еще неведомых испытаний столь заманчивой столичной жизни Серьезнейшим испытанием юноши, только что вступившего на стезю вполне самостоятельной жизни, оказались уже вступительные конкурсные экзамены в Технологический институт, куда он устремился. За 100 вакансий здесь боролись 500 абитуриентов. Много треволнений пришлось пережить юноше, пока, наконец, он не прочел в списке, вывешенном на стене, принятых в Институт две фамилии: 1) Кржижановский, 2) Фортунато... Только двум этим счастливцам из 500 фортуна помогла получить высшую оценку — 25 баллов из 25 возможных! Испытание было выдержано с честью. Затем, учитывая тощее содержание своего кошель-

---

[1] Н. Г. Рутберг. Указ. соч., стр. 49, 55, 63. В Самару он переехал из деревни на зиму впервые 11(23) октября 1889 г.

[2] Там же, стр. 63.

[3] В числе членов кружка были А. П. Попов (Скляренко), письмоводитель земского начальника, впоследствии делегат Лондонского съезда партии, бывший студент Т. И. Семенов и его брат, бывший ученик Самарского реального училища, М. И. Семенов, мастер Воткинского завода В. Вахрушев, бывший студент И. Х. Лалаянц, супруги Буяновы, фельдшерица Поморцева, С. Моршанская и др. (там же, стр. 50—66).

[4] Железнодорожник В. И. Соколов.

ка и отсутствие надежд на пополнение его из Самары, юному студенту пришлось сразу же засесть за учебники, чтобы скорее завоевать крайне необходимую ему стипендию. И, хотя на младших курсах стипендий было очень мало, а претендентов на их получение в десятки раз больше, ему все же удалось получить уже к концу первого полугодия желанную стипендию.

Не отставая и впредь от других в занятиях, он быстро вошел в курс и всех иных, бытовых и общественных интересов студенчества. В быту студенчества особенно много мытарств было сопряжено с квартирным вопросом. Не потому, конечно, что в столице недоставало хороших и удобных комнат, а потому, что студенческий бюджет не позволял ими воспользоваться. И Глеб Максимилианович даже полвека спустя с отвращением вспоминает, вновь переживая, тот омерзительный букет запахов — жареной трески, кошек и отхожих мест,— какой встречал всех уже у входа, на лестницах и в коридорах квартир, обитаемых студенческой беднотой того времени.

Первое обиталище в столице за семь рублей в месяц Глеб Максимилианович вдвоем со своим земляком Ильиным обрел вблизи института, в просторном дворе для извозчиков. В глубине его стоял «препаршивый флигелек» с вонючей лестницей, куда выходил ряд весьма неопрятных уборных. Студенты поселились в маленькой комнатке. Дверь из нее выходила в коридор, в котором за легкой занавеской, рядом с ними проживала, как скоро выяснилось, швея, не стеснявшаяся в выборе своих гостей. И пьяные гости за их дверью, и страшная грязь во всей квартире, в которой жильцов могли и «вши заесть», не окупались даже дешевизной этого жилища. И его вскоре пришлось сменить на другое. Студенты поселились на седьмом этаже, в разных комнатках, среди многих других жильцов. Грязи здесь было меньше. Но зато у новой хозяйки оказался целый выводок беспокойных детишек, настолько разнокалиберных и разномастных, что даже их собственная мамаша затруднялась объяснить это многообразие своих чад и, разводя руками, признавалась, что она и сама уже не знает, кто из них от какого отца. Ребята поднимали невообразимый гвалт, мешая занятиям студентов. Но, когда к этому прибавилось еще другое, сожитель по квартире оказался сыщиком, который все чаще стал любезно навещать Глеба, Глеб не выдержал и сбежал на другую квартиру.

На этот раз юный студент занял комнатку в очень уютной квартире. Да и хозяйка была весьма соблазнительной молодой женщиной. На беду и студент показался ей заслуживающим внимания. И она ежедневно, как только он возвращался с лекций, стала забегать в его комнатку и развлекать весьма легкомысленными разговорами. Выяснилось при этом, что красотка является содержанкой одного богатого, но весьма препротивного старичка, наставить рога которому многие в подобной же обстановке сочли бы своим священнейшим долгом. Но юный Глеб был совершенно чужд подобным соблазнам. Он был слишком деликатен, чтобы грубо оттолкнуть от себя молодую женщину, объяснившись с ней начистоту. Сначала это даже удивило ее, а затем она, может быть, почувствовала и некоторое уважение к своему жильцу и оставила его в покое.

Впрочем в столичной жизни случались и не такие еще оказии. Однажды в поисках заработка наш студент забрел, по газетному объявлению, в одну богатую, прекрасно обставленную квартиру. Встречает его томная дама и заявляет, что она хотела бы пригласить его учителем к своей дочери, но сначала должна познакомить его с нею, так как может пригласить его лишь при условии, что он ей понравится. Это условие смутило скромного юношу. Но все же знакомство состоялось. Войдя в комнату, он узрел на диване ленивую юную деву с романом в руках,

которая даже не привстала, чтобы приветствовать своего будущего наставника. Разборчивой барышне с романтическими наклонностями, по-видимому, нелегко было понравиться. Но юный технолог даже на вкус этой капризной барышни выглядел неплохо и тотчас же был приглашен в качестве учителя. С первых же уроков, однако, выяснилось, что единственной наукой, которой желала бы заняться его ученица, была «наука страсти нежной». А это совсем не понравилось уже ее учителю. И, несмотря на большую нужду в заработке, наш юный педагог уже после первых же уроков сбежал от своей многообещающей ученицы [1].

Уже в этих первых житейских испытаниях юноше пришлось соприкоснуться со всякой грязью и нечистыми соблазнами. Но какая-то внутренняя чистота и врожденное целомудрие не покидали его. И никакая грязь к нему не приставала.

Злоключения Глеба Максимилиановича окончились лишь с того момента, когда он, получив на третьем курсе большую по тому времени стипендию (50 рублей в месяц), выписал к себе в Питер мать и сестру и зажил в родной семье. Сестра его Антонина поступила на курсы. И к сестре и к брату часто заглядывали товарищи, завязывались тесные дружеские связи. Можно было теперь и у себя с друзьями иной раз крепко, по русскому обычаю — до петухов, пофилософствовать и поспорить на самые злободневные темы, а иной раз попеть и повеселиться. Глеб Максимилианович не забывал о своей гитаре. Он прихватил ее с собой в Петербург. «Гитару я прекрасно чувствовал,— вспоминает эти годы Глеб Максимилианович,— меня и сейчас приводит в восторг своей игрой на гитаре Иванов-Крамской».

Но тогда у Глеба появился на этом поприще сильный соперник в лице товарища по институту и прекрасного гитариста Василия Васильевича Старкова. Из-за пылкого темперамента и громовых ноток его баритона в разгаре горячих споров Владимир Ильич впоследствии не раз называл его в шутку «наш Мираба̀». Но в кругу близких друзей он проявлял необычайную душевную чуткость и нежность ко всему прекрасному. С глубоким чувством он сам запевал свою любимую «Така ж ийи доля, о боже ж мий милый». Артистически аккомпанировал на своей гитаре и другим певцам. Организовал дружный хор... Его дружба с Глебом Максимилиановичем возрастала с каждым днем и годом. Эту дружбу скрепили затем и более нежные чувства, которые возникли у Старкова к сестре Глеба, красавице Антонине. Тщетно предостерегал юный Глеб своего друга против увлечения этой крайне своенравной особой: «Смотри, брат Вася! Берегись! Ведь это черт в юбке». Вася однако не устрашился столь очаровательного черта, добился от нее взаимности и никогда не имел поводов раскаяться в своем выборе.

Среди профессуры Технологического института было много крупных ученых: физик Боргман, химик Бельштейн, механики Щукин и «мудрый, как Архимед» старик Евневич, математик Марков и другие, которые, по воспоминаниям Глеба Максимилиановича, очень много давали студентам и пользовались заслуженным уважением и любовью в студенческой среде. Выдающийся знаток органической химии, немец Бельштейн, конкурировал в свое время даже с Д. И. Менделеевым на выборах в Академию наук, которая, как известно, избрав ныне уже полузабытого Бельштейна, забаллотировала бессмертного Менделеева. Но особенным уважением среди студентов пользовался прославленный конструктор самых мощных по тому времени паровозов, профессор Щукин. «Талантлив предельно, лектор изумительный. На его вступительные лек-

[1] Эти бытовые эпизоды, записанные с его слов, Г. М. вычеркнул впоследствии из моей тетрадки, как «незаслуживающие внимания», но и в этом сказалась одна из лучших черт характера Глеба, это исключительная личная его скромность.

ции ежегодно ломились студенты всех курсов, не вмещаясь в стенах самых больших аудиторий»... — вспоминал о нем Глеб Максимилианович. В противоположность этому блестящему оратору один из основоположников начертательной геометрии, профессор Макаров, был предельно скуп на слова, предпочитая им более содержательный язык начертаний. Так, вызовет этот замечательный старик к доске студента, изобразит на ней в чертеже свое задание, скажет: «Решайте!» и уходит. А вернувшись, взглянет на доску и, если студент вздумает объяснять свое решение, только промолвит: «Не надо!..» и на этом разговор исчерпывается. Лучших своих студентов он прекрасно помнил. И даже на выпускных экзаменах, когда Глеб, вынув билет, открыл было уже свой рот для ответа, Макаров остановил его в своей обычной лаконической манере:

— Не надо. Спрашивать не буду. Ставлю пять.

Как водится в ученой среде, не обходилось в ней и без странных чудачеств. Так, например, профессор Крупский, широко образованный и талантливый химик, очень долго бойкотировал в своей лаборатории студента по фамилии Ященко. А когда его, наконец, спросили, чем объясняется такое его отношение к этому студенту, Крупский ответил:

— Я 20 лет преподаю в Технологическом институте, но ни разу еще не встречал, чтобы студент, фамилия которого начинается на «я», был путным человеком.

Заметным минусом специального образования в тогдашнем Технологическом институте было полное отсутствие широкого преподавания общественных наук. Впрочем в тогдашних условиях официальная наука в этой области и вообще не располагала ничем иным, кроме жалкой апологетики уже отживающих общественных отношений. Юный Глеб успешно сдавал все обязательные предметы. «Но разум мой,— пишет он,— больше рвался к другой, не только казенной учебе» [1].

Впрочем этот пробел в образовании можно было восполнить и без профессуры. В распоряжении студентов была неплохая своя библиотечка, пополняемая из поколения в поколение, с явным преобладанием в ней социально-экономической и главным образом запрещенной политической литературы. Здесь, конечно, можно было найти и «Колокол» Герцена, и «Исторические письма» Лаврова, и «Подпольную Россию» Степняка-Кравчинского и много других зарубежных или запрещенных цензурой русских изданий. Она хранилась на руках у пользующихся доверием студентов, законспирированная от недремлющего ока власть предержащих. Но ею пользовался довольно широкий круг студентов, и большинство книг всегда находилось на руках у читателей. А потому, чтобы получить ходовые книжки, приходилось записываться на них в очередь и ждать иной раз немало времени, когда она придет.

Глеб Максимилианович, вступив в давно уже основанное Самарское студенческое землячество, довольно быстро нашел пути ко всем запретным сокровищам студенческой библиотеки своего института. С жадностью набросившись на них, он готов был проглотить их все подряд, без разбора. «Вот чудак какой-то записывается в очередь сразу на все книги библиотеки...» — заметил уже тогда студент Леонид Красин, будущий друг и блестящий соратник Глеба. Сам Глеб объяснял это тем, что у него в то время в голове был еще изрядный «сумбур» и в таком состоянии он не знал, с чего начать: «для бедной Тани все были жребии равны». Но все же его запись «в очередь», чуть ли не на всю наличную политическую литературу зараз, помогла,— правда, без всякой системы,— уже к концу первого курса ознакомиться с очень многими произведе-

---

[1] «Архив Музея революции СССР», фонд Г. М. Кржижановского. «Автобиография», стр. 3.

ниями. В свете новых идей перед ним по-новому предстала и вся окружающая его действительность. И уже к концу первого курса 18-летний юноша подводит такой итог своим исканиям: «Весь первый год довольно беспомощного метания по разнообразным студенческим кружкам привел меня лишь к одному выводу — вне революционных путей нет выхода для честной перед собственным сознанием жизни»[1].

Однако этот вывод, отражающий лишь революционные настроения и моральный облик Глеба, был только первой ступенькой в его политическом развитии. В книгах студенческой библиотеки технологов того времени господствовала еще народническая мысль и идеалистическая идеология в духе «Критически мыслящих личностей» П. Л. Лаврова и «Героев и толпы» Н. К. Михайловского. В «надежный фарватер» своих исканий, по его собственному выражению, Глеб Максимилианович попал только в следующем, 1891 г., когда он стал усердно штудировать «Капитал» Карла Маркса.

Первое «благотворное влияние» в этом направлении оказал на Глеба, по его словам, его товарищ по курсу, технолог Федор Алексеевич Кондратьев. А когда они оба уже «дорвались до Маркса» и, читая вместе «Капитал», перечитывали и обсуждали все труднейшие его места, Глеб заметил, что его приятель как-то по-другому, чем он сам, очень своеобразно и более целеустремленно, ближе к повседневной практике, истолковывал отвлеченнейшие идеи первых глав «Капитала». Этому содействовала, по-видимому, и своеобразная биография Феди Кондратьева. Выходец из рабочей среды потомственных иваново-вознесенских ткачей, он прекрасно знал рабочий быт и условия труда своих собратий по классу. Для него даже самые сухие абстракции теории, разоблачающей хитрую механику классовой эксплуатации на практике, не казались туманными или чужими. Оживая в знакомых с детства конкретных образах этой суровой житейской практики его отцов и братьев, они воспринимались Федей особенно глубоко и прочно. В студенческой среде того времени такие выходцы из рабочих низов были еще очень редкими птицами. Они привлекали к себе внимание. В частности Федя очень скоро был замечен студентами из социал-демократической Брусневской организации и вступил в самое близкое с ней общение. Арестованный вскоре за участие в политической демонстрации на похоронах известного публициста Н. В. Шелгунова (12 апреля 1891 г.), он был выслан на родину и выбыл из студенческой среды, но еще активнее проявил себя в революционном рабочем движении[2].

Одолев «Капитал» Маркса, Глеб Максимилианович загорелся желанием применить на практике свои новые теоретические возможности. Подвернувшийся случай ускорил это. Несмотря на то, что в Технологическом институте всегда преобладал демократический состав студенчества, а, стало быть, и демократические традиции, обучалось в нем немало и весьма ретроградных генеральских сынков. И вот однажды в студенческой столовой Глеб, среди других объявлений, прочел весьма наглое обращение к польским студентам, подписанное целой группой таких белоподкладочников, с требованием не забывать, что они находятся на русской земле и что им никто не позволит здесь оскорблять своей польской речью русские уши. Глубоко возмущенный столь грубым проявлением великодержавного шовинизма со стороны этих молодчиков, Глеб немедленно набросал от себя контробращение, адресованное уже

---

[1] Там же, стр. 3.

[2] Уже в 1892 г. мы встречаем его в качестве талантливого организатора рабочих социал-демократических кружков в Иванове, в которых он, пользуясь огромным авторитетом, читал лекции о социализме. Из этих кружков с 1895 г. вырос широко известный Иваново-Вознесенский рабочий союз (В. Невский. Очерки по истории Российской Коммунистической партии, т. 1, изд. 2-е. Л., 1925, стр. 464—467, 469—474).

всему студенчеству, с резким протестом против выходки шовинистов и предложением собраться для обсуждения и осуждения подобных, позорящих русское студенчество явлений.

На собравшейся сходке Глеб выступил с пылкой речью, в которой еще более резко осудил авторов шовинистического выпада против польского языка — языка Мицкевича, музыке которого так чутко внимал и великий Пушкин,— и заклеймил их позором в качестве достойных эпигонов Муравьева-вешателя. Успех его речи был потрясающим. Он привлек к себе внимание не только вездесущих шпиков, но и членов революционного кружка марксистов. В 1891 г. он получил свой первый кружок рабочих и стал признанным пропагандистом.

Технологический институт в Петербурге был издавна рассадником пропагандистов в социал-демократические рабочие кружки столицы. Уже в первой, неуверенной еще попытке создать «Партию русских социал-демократов», предпринятой болгариным Благоевым, видное в ней участие в 1884—1887 гг. принадлежало студентам-технологам. После ареста и высылки Д. Н. Благоева в Болгарию, в 1885 г., один из технологов, П. П. Андреев, оказался даже во главе всей организации [1]. Еще большее участие студентам того же института принадлежало после разгрома благоевской группы в новой, Брусневской, организации, возникшей в 1889 г. В нее к 1891 г. входило до 50-ти рабочих кружков в разных районах столицы, и для обслуживания их пропагандистами требовалось немало хорошо подготовленных марксистов [2]. К этому времени в интеллигентском центре насчитывалось около 15 студентов, в том числе 9 технологов [3]. Но уже весной 1891 г., окончив институт, выбыли из Питера Михаил Иванович Бруснев и другие пятикурсники, и на смену им пришли другие, в том числе С. Т. Радченко, В. В. Старков и П. К. Запорожец. В эту же боевую бригаду пропагандистов марксизма включился и Глеб Максимилианович Кржижановский.

Однако Брусневская организация не ограничивала своей деятельности одной лишь пропагандой. В ее рабочих кружках наряду с новичками было уже много и вполне сознательных политически подготовленных рабочих. И, когда потребовалось организовать маевку (1891 г.), то на ней в качестве ораторов выступили с большим успехом уже сами рабочие [4]. Это было первое организованное празднование международного праздника русскими рабочими, где они в своих действительно замечательных и много раз переизданных речах «показали свою политическую зрелость, и понимание задач рабочего движения, и необыкновенное понимание задач момента, и вполне практический подход к делу» [5].

Помимо этой маевки и нескольких других широких рабочих собраний, например массовки за Волковым кладбищем, брусневцам удалось еще раз собрать маевку в 1892 г. Они же издавали и листки, рукописную газету. А зимой 1890/91 г. организация приняла участие в двух стачках, у Торнтона и в порту, оказывая денежную помощь забастовщи-

---

[1] Кроме П. П. Андреева, в числе арестованных в 1887 г. членов этой организации оказались студенты технологи И. И. Гильгенберг, И. М. Магат, А. М. Редько и др.

[2] М. О. Ольминский. «О воспоминаниях Н. Д. Богданова». «От группы Благоева к «Союзу борьбы» 1886—1894». Госиздат, Донское отделение, 1921, стр. 44.

[3] М. И. Бруснев, братья Красины — Леонид и Герман, В. Н. Иванов и пять студентов поляков: Баньковский, Бурачевский, Косинский, Лелевель и Цивинский (В. Невский. Указ. соч., стр. 300).

[4] На маевке 1891 г. в Екатерингофском парке присутствовало до сотни рабочих, а из интеллигентов — М. И. Бруснев, В. Цивинский и В. В. Святловский. С речами выступали только рабочие: слесарь Н. Д. Богданов (рожд. 1870 г.), ткач Ф. А. Афанасьев (рожд. 1895 г., убит черной сотней в 1905 г.), В. И. Прошин и кузнец Е. А. Климанов (1866—1919) (О. Невский. Указ. соч., стр. 306).

[5] Там же.

кам и распространяя прокламации[1]. Вместе с тем организация сумела установить довольно прочные связи с другими рабочими центрами страны: Москвой, Нижним, Тулой, Харьковом, Киевом, Варшавой, Ригой, Ревелем и даже с заграницей, откуда получила транспорт литературы. Этому между прочим содействовала сама полиция, высылая рабочих, заподозренных в сочувствии «политике», из столицы на родину, во все углы страны. Наконец, в апреле 1891 г. организация решилась и на публичную манифестацию в уличном шествии за гробом популярного в рабочей среде писателя-публициста Н. В. Шелгунова.

Участие в похоронах — с венком от рабочих и лентой с надписью: «Указателю пути к свободе и братству»,— где впереди тысячной толпы шло до сотни рабочих социал-демократической организации, заставило говорить о себе весь Петербург. Во главе манифестации шли братья Красины и другие члены организации, в том числе и Г. М. Кржижановский с своим другом Федей Кондратьевым. Венок от рабочих нес токарь Сергей Фунтиков, его окружали члены организации: ткач Петр Андреевич Морозов, слесарь Константин Максимович Норинский, токарь Гавриил Александрович Мефодиев, рабочий Балтийского завода Владимир Фомин и др. Шествие не обошлось, конечно, без жарких стычек с полицией и арестов. Подверглись в частности аресту и высылке из столицы студенты братья Леонид и Герман Красины и Ф. А. Кондратьев, рабочий Г. Мефодиев и др. Г. М. Кржижановский не попал в их число, отделавшись лишь бурными переживаниями, ибо это было первое его боевое крещение в борьбе за рабочее дело рука об руку с самими рабочими.

Понятно, что столь заметное, с всероссийским охватом, развитие деятельности Бруcневской социал-демократической организации в рабочей среде не могло долго оставаться незамеченным органами царской охранки. При ее содействии в организацию затесался гнусный провокатор, зубной врач Н. Михайлов, нашлись в ней и предатели — рабочий Н. Руделев, бывший «народоволец» М. Егупов. С их помощью уже с начала 1892 г. начались аресты в Петербурге, Москве, Харькове, Туле, Нижнем, Варшаве и Риге. Большое число рабочих и студентов были приговорены к тюрьме и ссылке, например Леонид Красин получил 3 года ссылки в Вологодскую губернию, а сам М. И. Бруснев — 4 года одиночного заключения и 10 лет ссылки в Верхоянск Якутской губернии. Созданная ими организация была обезглавлена и, казалось бы, к 1893 г. разгромлена. Но проделанная работа не осталась бесплодной. Кой-где оставшиеся на воле рабочие и после арестов 1892 г. продолжали собираться в кружках с участием уцелевших интеллигентов — Г. М. Кржижановского, В. В. Старкова и др. Весной 1893 г. устроили даже маевку в лодках на взморье, за Крестовским островом[2]. А с осени 1893 г. из распыленных остатков разгромленной охранкой организации Бруснева уже сплачивалось крепкой рукой В. И. Ленина основное ядро новой, еще более славной пролетарской организации.

Много позже вспоминая эти годы, Глеб Максимилианович писал: «Уже в 1891 году я был деятельным участником студенческого подполья тех времен, яростным читателем нелегальных студенческих библиотек, неистовым почитателем Маркса и робким пропагандистом среди небольшого круга петербургских рабочих. Наш тогдашний революционный центр был очень малочислен, он состоял по преимуществу из студентов Технологического института, считавших себя, при своей малой опыт-

---

[1] Торнтоновцам прокламации написал студент университета В. С. Голубев, а рабочим порта — Л. Б. Красин.

[2] А. Фишер. В России и в Англии. Наблюдения и воспоминания петербургского рабочего (1890—1921 гг.). М., 1922, стр. 22.

ности, и зрелыми революционерами и уже весьма недурными конспираторами. Но уже первые встречи с юным Владимиром Ильичем Ульяновым показали нам совершенно явственно наш подлинный масштаб и в революционной и в духовной зрелости...

В лице 23-летнего Владимира Ильича мы имели перед собой учителя и законченного мастера, тогда как мы в своих духовных исканиях были лишь учениками и подмастерьями» [1].

В. И. Ленин приехал в Петербург 31 августа 1893 г. и сразу же связался с уцелевшими участниками Брусневской группы технологов. В эту группу так называемых стариков входили: С. И. Радченко, по кличке «хохол», Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, Г. Б. Красин, А. Л. Малченко, П. К. Запорожец, учительница Н. К. Крупская, курсистка З. П. Невзорова, Л. Н. Баранская (Радченко) и др. Но, несмотря на свою молодость, В. И. Ленин в свои 23 года оказался много мудрее даже самых старых из этих «стариков» и сразу же был признан непререкаемым авторитетом в их среде. Первое же серьезное выступление В. И. Ленина в их кружке «По поводу так называемого вопроса о рынках» [2], в котором Ленин, отвечая на заслушанный реферат Германа Красина, подверг его дружеской, но, по существу, убийственной критике, произвел огромное впечатление на всех членов кружка. И действительно, перечитывая даже ныне этот знаменитый реферат 1893 г., невольно изумляешься, с какой глубиной этот совсем еще юный марксист овладел теорией и схемами воспроизводства Маркса, смело развивая и обогащая их собственными оригинальными идеями, и как умело, выправляя частные ошибки Красина, он обрушил острие этой теории против важнейшего порока всей народнической идеологии.

Борьба с этой идеологией в те годы была основной злобой дня. Сердито выступая против марксистов в легальной печати, народники утверждали, что капитализм, разоряя деревню, сокращает внутренний рынок, что в связи с этим в России капитализм развиваться не может, а из этого вытекало, что и пролетариат не сможет стать здесь решающей силой в борьбе за социализм, вопреки всем чаяниям марксистов. А В. И. Ленин в своем реферате убедительнейшим образом показал, что капитализм, разрушая натуральное хозяйство деревни и расслаивая ее на хозяйственных мужичков на одном полюсе и разоряемую бедноту на другом, сам создает необходимый ему рынок, что «капитализм и обеднение массы не только не исключают, а, напротив, взаимно обусловливают друг друга», «что капитализм уже в настоящее время является основным фоном хозяйственной жизни России» и что таким образом нелепый спор о судьбах капитализма в России уже решен самой жизнью [3]. Всех членов кружка, слушавших этот реферат, В. И. Ленин поразил своим умением применять марксизм к наиболее острым тогда вопросам российской действительности. Но особенно сильное впечатление произвел Владимир Ильич на впервые здесь встретившегося с ним Глеба Максимилиановича.

«Оглядываясь назад,— писал он в 1937 г. о своих первых встречах с Лениным,— я вижу, какими неопытными кустарями мы были в те, теперь уже далекие времена...» Только в 1893 г., с приездом в Петербург В. И. Ленина «сразу нам стало ясно, что мы лишь овладевали мощным орудием научной теории социализма, а он им уже мастерски владел. Вот лишь когда положено было истинное начало той организации «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», историческая роль которого известна... Это он, Владимир Ильич, сразу поставил всю нашу ра-

---

[1] «Комсомольская правда», 15 марта 1955 г.
[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 67—122.
[3] Там же, стр. 105.

боту на новые рельсы: от пропаганды к агитации, от связи с верхушкой пролетариата — к боевой смычке с массами» [1]. Познакомившись с Лениным ближе, Глеб не замедлил оценить в нем несравненные качества прирожденного вождя, которому можно довериться на всю жизнь.

«И вот уже по-другому звучит наш коллективный голос перед петербургским пролетариатом, нарастают наши революционные связи и за пределами тогдашнего Питера. Конечно, и наш доленинский эксперимент марксистской пропаганды среди столичных рабочих сам по себе уже учил нас многому. Вопреки тяжким условиям тогдашнего фабричного труда и жизни на убогих питерских окраинах передовики столичного пролетариата не могли не поражать нас своей исключительной напористой тягой к знанию, своей особой восприимчивостью к революционной науке Маркса, своей товарищеской самоотверженностью. Но переход быстрый и решительный от единиц к массам, от пропаганды к агитации, образование первых ячеек организации «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», этого «зачатка революционной партии» (Ленин) — все это могло бы пойти по-иному, не будь в нашей среде Ленина тех юных лет»,— писал Глеб Максимилианович [2].

С особенной теплотой подчеркивал он в характере Ильича одну черту — его правдолюбие — как «нечто особо его роднящее с великой стихией русского народа» в лице великого правдолюбца Льва Николаевича Толстого. И Глеб Максимилианович не случайно напоминает собственные слова Толстого о наиболее любимом герое своих повестей.

«Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен,— правда».

«Какой это громадный человечище»,— говаривал о нем Владимир Ильич, которому тоже столь свойственны были с юности черты непримиримой враждебности ко всему, что шло вразрез с подлинной правдой.

«Не случайно,— добавляет к этому Глеб Максимилианович,— и центральный орган нашей партии носит краткое и вразумительное наименование: Правда».

И, конечно, совсем не случайно, добавим мы от себя, Глеба Максимилиановича сблизила с правдолюбцем Лениным не только общая их работа, но и личные дружеские отношения — на всю жизнь. Глебу Максимилиановичу при этом не раз случалось, по его признанию, не соглашаться с Владимиром Ильичем и спорить с ним по каким-нибудь частным вопросам текущей политики. Но не было случая,— вспоминает он об этом,— чтобы мне потом не было стыдно. И я говорил ему:

— Владимир Ильич! С вами бесполезно спорить.

— Почему? — спрашивал Ильич, улыбаясь лукаво.

— Потому что Вы обязательно окажетесь правы.

Вокруг Ильича быстро сплотился дружный коллектив всех «стариков», и снова оживилась, все расширяясь, заглохшая было на время после провала брусневцев партийная работа в рабочих кружках и на заводах столицы. В частности, Глеб Максимилианович занимался агитацией и пропагандой среди рабочих металлистов на заводах Александровском, Семянникова, среди текстильщиков — у Торнтона и на других заводах за Шлиссельбургской заставой. И в его кружках перебывали такие известные вожаки рабочего движения, как И. В. Бабушкин (1873—1906 гг.), В. А. Шелгунов (род. в 1867 г.) и др.

Как известно, слесарь Семянниковского завода Бабушкин, которого близко знал В. И. Ленин, назвавший его «гордостью» партии, был звер-

---

[1] «Архив Музея революции СССР», фонд Г. М. Кржижановского. «Автобиография», стр. 4, 5.

[2] «Комсомольская правда», 15 марта 1955 г.

ски расстрелян в 1906 г. карательной экспедицией в Сибири[1]. Столь же крупным деятелем, дожившим в числе старейших ленинцев-большевиков до наших дней, был металлист Шелгунов[2]. «В. А. Шелгунов был положительно самый выдающийся из всех рабочих, каких я когда-либо знал»,— писал о нем еще в 1902 г. К. М. Тахтарев. «Он отдавался всецело служению общему делу рабочего движения, не упуская из виду ни малейшей мелочи фабричной жизни... В то же время вы могли увидеть его и в университете на защите какой-либо интересной диссертации, и в аудитории высших женских курсов на публичных лекциях»[3].

Наряду с этими замечательными представителями рабочей интеллигенции школу марксизма в кружках Г. М. Кржижановского, который подвизался за Невской заставой под именем Григория Ивановича, прошло и много других выдающихся рабочих-революционеров. В их числе был ткач П. А. Морозов, начитанный рабочий и поэт, всей душой преданный революции, токарь Н. Г. Полетаев (1872—1930) — впоследствии член Третьей Государственной думы — большевик, токарь А. М. Фишер (1871—1935), работавший потом, в 1920 г., в Коминтерне[4], токарь С. Фунтиков, человек прямой, решительный, чуждый условностей и компромиссов с совестью. «С первого же вступления в партию,— писал о нем другой рабочий, К. М. Норинский,— узнав, что существуют взносы в рабочую кассу, он передал кассиру нашего кружка все скопленные долгими годами деньги — 200 руб.»[5] В рабочих кружках организации немало средств расходовалось на книги. Например, у слесаря Н. Д. Богданова, выступавшего оратором на первой маевке 1891 г., при аресте в ноябре того же года оказалась, между прочим, большая библиотека — до 800 томов книг — «совершенно неподходящих для рабочего», как ему сказали в охранке. Некоторые из таких рабочих до знакомства с социал-демократами побывали уже в народнических кружках, но только школа марксизма сделала из них вожаков рабочего движения. И они сами создавали кружки, организовывали маевки и массовки, сочиняли листовки и уж других приобщали к марксизму[6].

Рабочей партии в 1893 г. в России еще не было. Но она уже создавалась такими людьми, как В. И. Ленин и его ближайшие соратники, подготовлявшие основные пролетарские ее кадры. И недаром партийный стаж Глеба Максимилиановича, так же, как это значилось и в партийном билете самого В. И. Ленина, исчислялся уже с 1893 г.

В Петербурге в эти годы кроме Ленинской группы «стариков»-технологов в рабочем движении принимали участие и несколько других социал-демократических групп. В их числе была группа, назвавшаяся «Петербургской группой Освобождения» (Мартов, Дан и др.), затем группа студентов-медиков во главе с К. М. Тахтаревым, известная под именем «обезьян», и группа «молодых» или «петухов», по преимуществу юных технологов во главе с И. В. Чернышевым (В. Ф. Ленгник, Богатырев и др.). Все эти группы связывались с остатками Брусневской, а ча-

---

[1] См. «Ленин, Владимир Ильич. Краткий очерк жизни и деятельности». М., 1942, стр. 26 и «Воспоминания И. В. Бабушкина (1893—1900 гг.)». Л., 1925.

[2] В. А. Шелгунов. Воспоминания о петербургском рабочем движении первой половины 90-х годов. «Творчество», 1920, № 7—10, стр. 7—9.

[3] В. Невский. Указ. соч., стр. 410.

[4] А. Фишер. В России и в Англии. Наблюдения и воспоминания петербургского рабочего (1890—1921 гг.). М., 1922.

[5] К. Норинский. Мои воспоминания. «От группы Благоева к «Союзу борьбы» (1866—1894 гг.)», 1921, стр. 13.

[6] «В то время,— вспоминает Норинский о событиях 1893 г.,— появился листок Ивана Кейзера «Братцы-товарищи» и ряд других». К. Норинский. Дополнения к воспоминаниям, «От группы Благоева к Союзу борьбы», стр. 49. Рабочий И. И. Кейзер был расстрелян белыми в 1920 г.

стью и народовольческой организаций в рабочей среде и лишь мешали и друг другу, и общему успеху. Объединение их становилось первостепенной организационной задачей. Но для решения ее в. тогдашних условиях потребовалось много времени. Для успешного решения организационных задач требовалось прежде всего обеспечить идеологическое единство всех социал-демократических сил, выковав его в борьбе с народнической идеологией и буржуазными идеями так называемого легального марксизма. Этой главной задаче и посвящал в 1893—1894 гг. все свое внимание В. И. Ленин.

Тем временем, весной 1894 г., Глеб Максимилианович блестяще закончил Технологический институт с занесением его имени на мраморную доску и получил звание инженера, химика-технолога.

«Передо мной таким образом,— писал он,— развертывалась возможность дальнейшего движения по «ученой» линии. Но пути ученого скрестились с путями революционера» [1]. И Глеб Максимилианович, вдохновляемый примером Владимира Ильича, пошел по его пути.

3. ГОДЫ СТРАНСТВИЙ И ПОДПОЛЬНОЙ БОРЬБЫ (1894—1917)

По окончании института Глебу Максимилиановичу пришлось прежде всего направиться в Нижний Новгород на временную работу для изучения крестьянских кустарных промыслов [2]. В качестве химика и технолога он не мог бы почувствовать к ним особого интереса, но, в связи с борьбой против народнической идеализации так называемого «народного» производства, кустарных артелей и тому подобных утопических рецептов спасения от всех зол капитализма, для марксиста того времени условия труда кустарей представляли интерес немаловажный. Однако наряду с местными мелкими светелками кустарей ножевого, гвоздарного и тому подобных промыслов в той же Нижегородской губернии вырастали уже такие гиганты капиталистической индустрии, как Сормовский завод и др. Соревноваться какому-нибудь ручному гвоздарю или «шпикарю», весь «струмент» которого составляли молоток да ведерко, с машинной продукцией таких заводов было, конечно, не под силу. Заводской пролетарий, обогащая своих хозяев, все же и на свою долю вырабатывал в те годы хоть 5—6 рублей в неделю, а якобы вполне «самостоятельному» шпикарю за его каторжную работу по 14 часов в сутки приходилось зачастую довольствоваться заработком в каких-нибудь 75 копеек за целую неделю. Прокормить семью на такие заработки было немыслимо. И исследователям промыслов доводилось не раз слышать красочные рассказы о том или ином из таких шпикарей, который, зарыв с отчаяния в землю свои жалкие молоток с ведерком, вбил над ними осиновый кол и, с клятвой никогда уж больше к ним не обращаться, уходил в поисках лучшей доли на завод, в кабалу наемного рабства.

Этот осиновый кол, вбиваемый с проклятием самой жизнью как символический памятник останкам нежизнеспособного мелкого производства, служил живым укором идеологам «народного» производства. И социал-демократы недаром интересовались кустарным производством. Но еще большее их внимание привлекали к себе очаги крупного производства, куда и без зова легальных «марксистов» стекались «на выучку к капитализму» толпы новоявленных пролетариев из кустарей и прочей

---

[1] «Архив Музея революции СССР», фонд Г. М. Кржижановского. «Автобиография», стр. 5—6.

[2] Это исследование проводилось местным земством, в статистическом бюро которого работали наряду с народником Н. Ф. Анненским П. Н. Скворцов, П. П. Румянцев и другие статистики-марксисты.

деревенской бедноты и где, «выварившись в фабричном котле», они становились особо восприимчивыми к семенам социалистического учения.

Одним из таких очагов был и Нижний Новгород. Первый марксистский кружок, организованный П. Н. Скворцовым, возник здесь не позже 1891 г. В дальнейшем он установил связи с рабочими местных заводов и объединил большое число известных впоследствии революционеров[1]. Сюда же наезжал проездом и В. И. Ленин: осенью 1893 г. и в январе 1894 г.— с рефератом о книге «Судьбы капитализма в России». К приезду сюда Глеба Максимилиановича социал-демократическая деятельность Нижегородской организации сильно расширилась, и он не замедлил тоже активно в нее включиться. Ничего нового, однако, по сравнению с его революционной работой в Питере здешняя его подпольная деятельность, в которой он был уже далеко не новичком, ему не принесла.

Зато в личной его жизни здесь, в Нижнем Новгороде, произошло событие, которое никогда не изгладилось из его памяти. Впрочем, никакого «события», объективно говоря, вовсе и не было. И все же Глеб Максимилианович назвал один из вечеров, проведенных им в Нижнем у сестер Невзоровых,— «роковым». Уроженки Нижнего Новгорода, сестры Невзоровы — Зинаида, Августа и Софья были молоды, хороши собой, веселы, смелы и энергичны. Как только они подросли, уехали в далекую столицу, деля свое время между высокими интересами науки на женских курсах и еще более захватывающей работой в революционном подполье. Их мудрено было не полюбить. Только глаза разбегались: которую? Особенно хороша была красавица Августа. Старшая, Зинаида, была попроще. Но чего стоила только одна ее богатейшая коса до пояса!..

Глеб Максимилианович, не раз встречавшийся с сестрами уже в Питере, все же не оценил там все их достоинства. Революционеры никогда не были аскетами. Да и молодой Глеб не собирался в анахореты-отшельники. Но за учебой, рабочими кружками и заботами о соблюдении всех требований конспирации, у него как-то не хватало времени заметить еще что-либо, выходящее за рамки столь же деловых отношений. И лишь теперь, встретившись с сестрами в домашней обстановке, он вдруг по-новому их увидел. И коса Зины, и ее легкая воздушная походка и женственный ее облик настолько захватили его внимание, что он больше уже ничего не видел. Просидев в таком состоянии целый вечер, он ни одним словом не выразил своих чувств. Но иногда глаза выдают их красноречивее, чем уста. И, хотя он сам не знал еще, что с ним случилось, наблюдавшая его в обществе трех сестер соседка не замедлила ему доверительно шепнуть:

— Вот эта, косатая, больно хороша... На ней женись!

Надо думать, что и сама Зинаида Павловна прочла в его глазах не меньше этой сторонней наблюдательницы и не отвергла его слишком суровым взором. Во всяком случае и ей надолго запомнился этот вечер.

Запомнился Глебу и еще столь же волнующий вечер в обществе «косатой» Зины, целый год спустя после первого, «рокового». Хотя и на этот раз, говоря объективно, ничего особенного как будто не случилось. Просто Зинаида Павловна пригласила его как-то между делом проехать на концерт, в Павловск. И они оба, захватив еще с собой подругу Зины, целый вечер молчаливо наслаждались волшебной музыкой Тангейзера. С особой силой прозвучал в их ушах торжественный «свадебный марш» в исполнении большого симфонического оркестра. Все даже

---

[1] П. Н. Скворцов, М. Г. Григорьев, М. А. Сильвин, А. А. Ванеев, И. П. Гольденберг, С. И. Мицкевич, Н. А. Вигдорчик, три сестры Невзоровы и многие другие (В. Невский. Указ. соч., стр. 342, 344).

молчаливая природа окружающего парка казалось им в этот тихий вечер созвучным певучим аккордам скрипок и их собственным переживаниям. Правда, недогадливый Глеб и тут еще не осознал, почему, собственно, ему было так приятно в этот вечер. Но подруга Зинаиды Павловны уже на другой день заметила смущенной Зине:

— Да ведь этот молодой человек чертовски влюблен в тебя, Зина!

И только после того, как 17 июня 1896 г. Зинаида Павловна впервые попала в лапы жандармов и была заключена в крепость, Глеб Максимилианович, по его словам, впервые почувствовал, как она ему дорога. А когда он признался в этом своем чувстве Владимиру Ильичу, тот лишь подкрепил его своей оценкой Зины и советом:

— Замечательный человек!.. Женись!..

Забегая вперед, скажем, что последовать этому совету Глеб Максимилианович смог лишь года два спустя, когда Н. К. Крупская вместе с З. П. Невзоровой приехали в Сибирь навестить здесь своих добрых друзей. Да и тут не обошлось без вмешательства жандармов. Обе девушки смогли получить разрешение на проезд в места ссылки В. И. Ленина и Г. М. Кржижановского, только назвавшись их невестами. А местные жандармы, заподозрив фиктивность этого их звания, потребовали от них либо незамедлительного вступления в брак, либо возвращения обратно за пределы подведомственного им района. Однако, надеясь таким образом учинить очередную пакость своим врагам, жандармы на этот раз сильно просчитались. Их вмешательство только ускорило естественный ход событий. Вынужденные этим вмешательством взаимные объяснения молодых людей, обнаружив их сокровенные чувства, показали, что им незачем расставаться. Связанная общим делом и взаимными симпатиями с Владимиром Ильичем с 1894 г. Надежда Константиновна стала с этого момента, как известно, еще более близким другом и верным его соратником в революционной борьбе до конца жизни. Столь же прочный союз, на всю жизнь, связал наконец здесь и Зинаиду Павловну с Глебом Максимилиановичем.

В 1894 г. Глеб Максимилианович едва ли еще предвидел такую развязку романтического узла, завязанного им в «роковой» вечер у сестер Невзоровых. Увлеченный своей работой в Нижнем, он отдавался ей всецело до января 1895 г., когда по вызову Ильича он снова вернулся в Питер, где его ожидала еще более интересная революционная работа. Здесь в качестве химика он поступает сначала лаборантом по кафедре «технологии органических веществ» в Технологический институт, но вскоре перебирается поближе к району своей подпольной работы в лабораторию Александровского литейного завода. В качестве ближайшего помощника по лаборатории он пригласил рабочего-партийца И. В. Бабушкина, и вдвоем они обосновали здесь нечто вроде подпольного штаба своего района. По штату Бабушкин числился сторожем, на деле же в рабочие часы он выполнял роль лаборанта, а в остальные служил живою связью со всеми рабочими кружками Невского района организации.

Вся организация создаваемого «Союза борьбы» к началу 1895 г. подразделялась на три района: 1) Заречный, обнимавший заводы Васильевского острова, Петербургской и Выборгской сторон с Охтой, 2) Шлиссельбургский, за Невской заставой и 3) Нарвско-Московский, включая Путиловский и другие заводы за Нарвской заставой. В общегородской центр, кроме В. И. Ленина, входили из Заречного района М. А. Сильвин и А. А. Ванеев, от Невского — Г. М. Кржижановский и от Нарвско-Московского — Ю. О. Мартов [1]. Помимо общего идейного руководства и иде-

[1] В районный комитет за Невской заставой входили, кроме Г. М. Кржижановского, инженер-технолог А. Л. Малченко, Я. М. Ляховский, Н. К. Крупская. Ее подруга З. П. Невзорова, окончившая Бестужевские курсы, вернувшись из Нижнего, работала в Заречном районе (В. Невский. Указ. соч., стр. 408).

ологической борьбы с народниками и легальными марксистами в таких работах, как «Что такое друзья народа?» и «Отражение марксизма в буржуазной литературе», сам В. И. Ленин посещал и рабочие кружки, писал прокламации и участвовал в их распространении. Поставив своей задачей теснее связать марксизм с массовым рабочим движением, он уверенно направлял собственным примером работу всей организации в это новое русло.

Расширяя рамки этого поворота от пропаганды к агитации и повседневному руководству рабочим движением за пределы столицы, Ленин уже в начале 1895 г. организует совещание с участием представителей социал-демократических групп Питера, Москвы, Киева и Вильны и здесь 18—19 февраля дает первый бой так называемому «экономизму» [1]. Затем вскоре, в конце апреля, Владимир Ильич направляется за границу для установления связи с группой «Освобождения Труда» и ознакомления с западноевропейским рабочим движением. Вернувшись в сентябре из-за границы, он посещает Вильно, Москву и Орехово-Зуево, налаживая связи и с этими очагами будущей партии. Все это время, с апреля по сентябрь 1895 г., Глеб Максимилианович — до возвращения в Питер Владимира Ильича,— успешно продвигал местную работу на своем посту. С возвращением Ильича работа по созданию мощного «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» в столице ведется еще шире и энергичнее, организуются стачки, распространяются прокламации. Однако и охранка не дремала. Ей удалось протащить и в новую организацию нескольких провокаторов (псевдорабочий Царьков и др.). И в ночь с 8 на 9 декабря 1895 г. вся верхушка созданного здесь «Союза борьбы» оказалась под арестом в Доме предварительного заключения, даже раньше, чем вышла первая листовка с полным наименованием этой славной ленинской организации. Но она все же оказалась достаточно жизнеспособной, чтобы, несмотря на все полицейские провокации и провалы, донести заложенные в ней семена пролетарской борьбы до буйных всходов 1905 и 1917 г.

Как известно, арестованные по делу «Союза борьбы» в декабре В. И. Ленин, Г. М. Кржижановский и другие их товарищи после 14 месяцев заключения в «Предварилке», на Шпалерной, получили, наконец, в начале 1897 г. приговор — три года ссылки под гласный надзор в разные селения Восточной Сибири. Но и в тюрьме, наладив сношения с оставшимися на воле, они не сидели без дела. Напомним лишь о летней забастовке 1896 г. 30 000 питерских ткачей и о повторной их стачке в январе 1897 г.— при деятельном в них участии «Союза борьбы», не исключая и тех его членов, которые считались охранкой надежно запрятанными под замком. А ведь в результате этих первых массовых стачек в России царское правительство вынуждено было издать первый закон об ограничении рабочего дня всех фабрично-заводских рабочих в России.

Не теряли своей связи с широким рабочим движением Владимир Ильич и его соратники и в далекой сибирской ссылке, где Ленин уже полностью продумал план организации партии вокруг прочно поставленного печатного центрального органа партии, каким и стала издававшаяся за границей ленинская газета «Искра». Нам нет нужды подробно останавливаться на всех моментах этого строительства партии. Они широко известны. Отметим лишь, что вместе с Лениным в этом строительстве приняли активнейшее участие чуть ли не все его соратники по работе в «Союзе борьбы» и ссыльной жизни в Восточной Сибири 1897—1900 гг., несмотря на дальние расстояния. А в их числе на первом месте пришлось бы назвать ближайшего его соратника Г. М. Кржижановского

[1] Э. А. Корольчук. Ленинский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». «Вопросы истории», 1956, № 1, стр. 14.

По воспоминаниям Глеба Максимилиановича уже в условиях тюремного режима, в «Предварилке», для него самым «неоценимым, спасительным и подкрепляющим средством была дружба с Владимиром Ильичем», который уже здесь сумел наладить переписку с товарищами. В одном из своих сонетов, посвященных Ильичу, он так, весьма точно. отображает тогдашний режим «Предварилки».

Три шага вширь и пять в длину —
Очерчен так всей камеры мирок.
Окошко вздернуто предельно в вышину,
В двери, над форткой запертой, глазок.
Листок железа — стол стенной,
Стул откладной, такая же кровать...
В белесом потолке порой ночной
Малютка лампочка начнет мерцать.
Здесь вашей воли нет, ее сломить
Наметил враг. Он на расправу крут.
Вас будут одиночеством томить,
Не все, не все его перенесут...
Но вот письмо, твой бодр привет.
Условным шифром шлю ответ [1].

В литературном наследии Глеба Максимилиановича насчитывается 34 сонета, посвященных Владимиру Ильичу. И очень жаль, что это наследие все еще не опубликовано. Вспоминаю созданные им еще в юности революционные песни на мотив Варшавянки, «Беснуйтесь, тираны!» и др.

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами —
Нас еще судьбы безвестные ждут!..

Трудно забыть, с каким волнением и душевным подъемом подхватывались эти песенные строки нашей дореволюционной молодежью. Юный поэт, даже не разбираясь еще во всем многообразии «полей тяготения» и «волн» разного рода, как видно, знал все же, на какую «волну» всего созвучнее настраиваются человеческие сердца. Муза более зрелых лет, к сожалению, еще ждет своего исследователя.

На место ссылки — село Тесь Минусинского округа — Глеб Максимилианович, следующий этапным порядком, прибыл только в мае 1897 г., где и поселился с сестрой и матерью. Туда же был направлен и В. В. Старков. Владимир Ильич, ехавший в ссылку за свой счет, с провожатым, получил место назначения по соседству с ними — в село Шушенское того же округа, на Енисее. И между ними сразу же завязалась оживленная переписка и нередкие встречи в течение всех трех лет ссылки в Восточной Сибири. В первое время Глеб Максимилианович с семьей испытывал здесь большую нужду. Но вскоре ему удалось получить платную работу по регулированию реки Минусинки, и финансовый кризис миновал. Осенью 1898 г. Глеб Максимилианович со своей семьей, включая и прибывшую в ссылку Зинаиду Павловну и В. В. Старкова с женой переезжают в Минусинск. И встречи с товарищами по ссылке стали еще чаще.

В России в это время состоялся первый съезд РСДРП и был избран ЦК партии, все члены которого были сразу же арестованы. А между тем в рабочем движении все заметнее намечались уклоны оппортунизма. В Германии их раздувал ревизионист Эдуард Бернштейн. А у нас свои, доморощенные «экономисты» из заграничного «Союза русских со-

[1] «Правда», 14 июня 1959 г.

циал-демократов» или из отечественной «Рабочей мысли». За границей был опубликован «манифест» оппортунизма — под названием «Кредо», т. е. исповедания веры (Е. Д. Кусковой и С. Н. Прокоповича). В «Рабочей мысли» уже писали: «Не надо нам, рабочим, никаких Марксов и Энгельсов». И поучительнее всего, что первый коллективный «Протест» 17 революционных марксистов против этого вредного течения в рабочем движении поступил из далекой Сибири. Его опубликовали ни на час не терявшие связи с этим движением даже здесь, у берегов Енисея, Владимир Ильич и почти все его славные соратники по Питерскому «Союзу борьбы» 1895 г.

Двое из них, Г. М. Кржижановский и Ф. В. Ленгник, еще в годы ссылки получили работу на Сибирской железной дороге. В связи с этим, Глеб Максимилианович, выбравшись из Минусинска, работает сначала слесарем, помощником машиниста и машинистом в Нижнеудинске, а затем помощником начальника депо на станции Тайга, быстро приобретая таким образом вдобавок к диплому инженера-химика новую специальность инженера-железнодорожника. Но, оставаясь всегда прежде всего революционером, этот образованнейший человек еще не раз на своем жизненном пути овладевал все новыми специальностями и профессиями и обращал их на службу революции.

С окончанием ссылки — 29 января (10 февраля) 1900 г. — Владимир Ильич уже в августе того же года оказался за границей, а в декабре вышел первый номер «Искры». Но всю партию, как рассыпанную храмину, нужно было еще собрать воедино, идейно перевооружая в борьбе с язвами «экономизма» и другими уклонами отдельных ее организаций. Для этого необходимо было прежде всего создать в России сильный организационный центр. И он был скоро создан по инициативе Владимира Ильича во главе с Г. М. Кржижановским в Самаре. Глеб Максимилианович с женой еще в октябре 1901 г. побывали в Мюнхене, где издавалась тогда «Искра», и в Цюрихе на съезде «Лиги русской революционной социал-демократии» и, договорившись с Ильичем о задачах «Центрального бюро» русской организации «Искры» в Самаре, вернулись в Россию. В январе 1902 г. они поселились в Самаре. Здесь, при содействии Ф. В. Ленгника, уже служившего на Самаро-Златоустовской железной дороге, Глеб Максимилианович устроился начальником депо той же дороги, получил казенную квартиру за городом. И на этой легальной базе стал развивать широкую партийно-организаторскую работу.

Уже в январе того же года Г. М. и З. П. Кржижановские успели созвать у себя на квартире за городом в Самаре целый «съезд искровцев» с участием в нем, кроме хозяев, Ф. В. Ленгника, М. А. Сильвина, С. И. Радченко, В. П. Арцыбушева, Д. И. и М. И. Ульяновых и др. Съезд избрал бюро из 16 человек, названное Центральным Комитетом «Искры». Возглавлял бюро Глеб Максимилианович. Секретарем была избрана З. П. Кржижановская. Она подробно информировала об этом съезде Ильича, который радостно приветствовал организаторов съезда:

«Ваш почин нас страшно обрадовал. Ура! Именно так! Шире забирайте! И орудуйте самостоятельнее, инициативнее,— вы первые начали так широко, значит, и продолжение будет успешно!» [1].

Однако, как выяснилось позже, письмо о съезде было перехвачено полицией, скопировано и послано по адресу — в ожидании дальнейшей переписки по тому же адресу. И уже в феврале ряд искровцев был арестован. Да и сам Глеб Максимилианович был под негласным надзором. Слежка шпиков за ним становилась все назойливей и заметней. Тем вре-

[1] Ю. Н. Флаксерман. Глеб Максимилианович Кржижановский. М., 1964, стр. 38.

менем главной задачей момента был созыв II партийного съезда, который по существу должен был стать учредительным съездом и вооружить всех членов программой партии. В ноябре 1902 г., именно с целью созыва съезда, в Пскове создан был Организационный Комитет, в который из искровцев вошли Г. М. Кржижановский, Ф. В. Ленгник, П. Н. Лепешинский, И. И. Радченко и В. П. Краснуха. Но уже на другой день после его образования Лепешинский, Радченко и Краснуха были арестованы. Глеб Максимилианович тоже давно уже находился в Самаре под угрозой ареста и вынужден был срочно перебраться в Киев, где в июне 1903 г. устроился на работу в Управление Юго-Западных железных дорог. В Киеве, однако, он оказался вовремя, в центре всех работ по созыву II съезда, и блестяще выполнил все задания Владимира Ильича. Съезд был организован, и большинство делегатов на нем оказались твердыми сторонниками «Искры» [1].

На съезде партии, состоявшемся в Лондоне в июле-августе 1903 г., Г. М. Кржижановский и Ф. В. Ленгник, наиболее потрудившиеся над собиранием партийных сил внутри страны, были заочно избраны в Центральный Комитет партии. Но, как известно, на том же съезде сама партия надолго разбилась на два враждующих течения — большевиков и меньшевиков. Сначала возникшие между ними расхождения не казались многим принципиальными. Однако с каждым днем они становились все глубже и серьезнее. Оппортунизм отколовшегося от партии «меньшинства», против которого поднял борьбу Владимир Ильич, становился все прозрачнее. И хотя в начале этого спора даже такие ближайшие друзья Ильича, как Глеб Максимилианович, пытались примирить его с Мартовым и его соратниками, не всякий идейный разрыв можно было склеить. И очень скоро, признав свои ошибки, Глеб Максимилианович снова оказался в одном строю с Ильичем, в рядах революционного большинства партии.

Октябрьские события 1905 г. застали Глеба Максимилиановича в Киеве. Всем известно, что он возглавил всеобщую забастовку 40 000 железнодорожников Юго-Западных дорог. Но весь драматизм связанных с этим движением событий и доныне не получил еще полного освещения в печати. Останавливая работу транспорта на одном железнодорожном узле за другим, Глеб Максимилианович выступал не только в качестве организатора этой забастовки, но и в роли пылкого оратора, агитатора и пропагандиста. И как выступал! Известно, например, что после его зажигательного выступления в Жмеринке перед многотысячной массой железнодорожников, они несли его на руках от восторга. А в разгар забастовки в Киеве назревали уже грозные события. Охранка срочно подготовляла очередной еврейский погром, а большевики — вооруженное восстание. К Глебу Максимилиановичу явилась делегация от саперного полка и сообщила, что они готовы уже завтра, проходя мимо артиллерийских казарм, поднять и их на восстание. Имелось в виду объединиться с бастующими рабочими и овладеть крепостью.

«Мы решились,— рассказывает об этом Глеб Максимилианович,— всячески помогать им». В помощь восстанию в центре города был уже заготовлен запас бомб в Городской думе. Кстати сказать, взрывчатка для этих бомб готовилась в лаборатории Н. П. Тихвинского, профессора Киевского политехникума, при ближайшем участии Глеба Максимилиановича [2]. Но, увы, пока комитетчики «колебались», обсуждая «моменты

[1] Там же, стр. 42.

[2] О том, как он с Тихвинским, с большим риском, изготовляли такие кустарные бомбы в этой лаборатории из сильно взрывчатых диазоловых соединений, рассказывал сам Глеб Максимилианович. После Московского вооруженного восстания подобные же бомбы испытывались Красиным с Глебом Максимилиановичем в финляндских шхерах: «взрыв был ужасный!».

захвата крепости», пронюхавшая все охранка не теряла времени. Из пушек ненадежной артиллерии были заранее вынуты замки, артиллеристы заблаговременно обезоружены, выступление вооруженных саперов встречено пулеметами, а против рабочей манифестации, двинувшейся с песнями и знаменами к думе, возле которой завязалась главная битва, были брошены в атаку кавалерия и казаки. И после того, как смолк пулемет и проскакали казаки, «весь Крещатик,— по словам уцелевшего, прижавшегося к витрине магазина, Глеба Максимилиановича,— был усеян трупами, зонтиками и галошами». Таким образом, этот первый опыт организованного вооруженного восстания в царской России не увенчался успехом.

Восстание было подавлено. Немедленно в Киеве начались массовые аресты и грандиозный еврейский погром, в течение которого с благословления местных иерархов церкви было разграблено за четыре дня 1500 еврейских квартир и лавок, а убито и ранено свыше 250 ни в чем не повинных людей. Заслуживает внимания, что Киевское вооруженное восстание датируется знаменательной датой 17 октября 1905 г. Как раз в этот день был подписан тот царский манифест о свободах, по поводу которого сразу же весьма метко было сказано:

Царь испугался,
Издал манифест:
Мертвым — свободу,
Живых — под арест!

Киевские события вполне оправдали эту трактовку царского манифеста еще раньше, чем о нем узнали, на другой день после восстания, все киевляне.

Имеется, однако, и несколько иная версия о тех же событиях. В автобиографической «Повести о жизни» К. Паустовского находим о них такие строки:

«В пятом году в Киеве восстал саперный батальон. К нему присоединилась артиллерийская батарея. Саперы прошли с боем через город, отбиваясь от наседавших на них казачьих частей, и остановились за Демиевской заставой.

Оттуда батарея восставших открыла огонь по дворцу генерал-губернатора и по казачьим казармам. Но батарея стреляла редко и плохо, и ни один снаряд не попал ни в дворец, ни в казармы.

В этот день дядя Юзя очень нервничал, без конца курил, бродя по саду, и вполголоса бранился.

— Сопляки! — бормотал он.— Куроцапы, а не артиллеристы! Позор!

Днем он неожиданно ушел из дому, а к вечеру батарея восставших открыла, разметав сначала прямой наводкой наступавших казаков, беглый и меткий огонь по казармам, крепостным фортам и дворцу генерал-губернатора.

Смятение охватило военное командование города. Под прикрытием артиллерийского огня саперы, дело которых было тогда уже явно проиграно, рассеялись в лесах и болотах к западу от Киева» [1].

Едва ли эта версия отвечает всем требованиям социалистического реализма. Она скорее похожа на сложившуюся за много лет народную легенду о революционных событиях пятого года. Но она не лишена все же художественной правды. И если автор даже несколько приукрасил дела тех дней, создав красочный образ своего старого дяди Юзи, можно ли его упрекнуть за это? Были или не были за Демиевской заставой пушки в нужную минуту — это дело факта. Но они могли, а стало быть, и должны были туда прийти. И если они еще не умели стрелять, а сам

[1] К. Паустовский. Собрание сочинений, т. III. М., 1957, стр. 55, 56.

автор был слишком еще молод в те далекие годы, чтобы лично им помочь в этом деле, то для этой цели лучше старого дяди Юзи, ветерана англо-бурской войны и героя многих других необыкновенных приключений во всех частях света,— и придумать было невозможно.

Так или иначе, но бесспорной истиной было лишь то, что в связи с восстанием Глеб Максимилианович, в числе четырех других руководителей движения, объявлен был местной властью вне закона, уволен с работы «по третьему пункту», т. е. без права поступления на все железные дороги по всей стране, и под угрозой немедленной расправы вынужден был сразу же покинуть киевские края, скрывшись в неизвестном направлении. Помогло ему в этом еще и то, что жандармы тем временем вместо него арестовали какого-то, ни в чем не повинного бухгалтера Кшижановского, и пока они разбирались в своей нелепой ошибке, Глеб Максимилианович был уже далеко.

В Петербурге, куда прибыл из Киева после восстания Глеб Максимилианович, было еще относительно свободно. Газеты печатались явочным порядком, без цензуры. И мальчишки-газетчики, продавая их, беззаботно распевали про царского министра:

«Витте скачет, Витте пляшет, Витте песенки поет»... Но скоро и здесь отплясал свою роль Витте, и после поражения Московского вооруженного восстания воцарилась глубокая реакция. Глеб Максимилианович довольно долго проживал в столице нелегально, выполняя поручения партии, перебиваясь случайными заработками, уроками. И ему приходилось здесь довольно туго. Но в 1907 г. ему помог вернувшийся в Россию в качестве представителя немецкой фирмы Сименс-Шукерт Л. Б. Красин. Он устроил Глеба Максимилиановича на работу в «Общество электрического освещения 1886 г.» И с этого момента Г. М. Кржижановский приобретает еще одну новую специальность инженера-энергетика, продвигаясь от рядового монтера в 1897 г. в Питере до строителя первой в России районной электростанции и директора этой станции в Москве к 1917 г. Все это время его партийная работа состояла главным образом в непосредственной связи с центральными органами партии. Его личная квартира служила постоянной явкой для товарищей, приезжавших в Россию от Владимира Ильича. Десятки революционеров работали рука об руку с ним [1].

В революционной деятельности Глеба Максимилиановича было еще немало незабываемых переживаний. В качестве члена Центрального Комитета партии он много лет был участником самых ответственных ее решений. Одновременно он не избегает и личного участия в самых различных больших и малых ее делах. Например, он сам раздобывает пилку и заботливо переправляет ее в тюрьму арестованному Л. Б. Красину, организуя его удачный из нее побег за границу, сам пишет волнующие подпольные прокламации, в качестве химика лично участвует в производстве и испытаниях бомб для вооруженного восстания, в качестве инженера-энергетика прячет у себя в электрической будке под высоким напряжением тока партийную казну.

Ему посчастливилось и в Октябрьской революции принять самое непосредственное, личное участие. Он в эти дни жил в Москве, на Остоженке, возле храма Христа-Спасителя, а над ним, на седьмом этаже с выходом на крышу обосновался с пулеметом юнкерский штаб контрреволюции. Глеб Максимилианович оказался в центре вражеского лагеря. Из революционного штаба ему звонили: «Держитесь! идем к вам на выручку!»... Пионер первого вооруженного восстания в Киеве, он оказался на высоте и в этой последней схватке с царизмом, в Москве. Юнкерский штаб, после жаркой перестрелки, в которой попал под обстрел и Глеб

---

[1] Ю. Н. Флаксерман. Указ. соч., стр. 64.

Максимилианович, был разгромлен. И в составлении первой же прокламации к московским жителям после победы принял авторское участие все тот же Г. М. Кржижановский.

Всего замечательнее однако то, что, несмотря на столь рискованную революционную работу в течение ряда лет, вплоть до 1917 г., Глеб Максимилианович ни разу не подвергся столь обычным в те годы провалам. Отчасти это объясняется, вероятно, его высоким положением в качестве ставленника очень влиятельной компании «Бельгийского общества», а отчасти и тем, что компания весьма предусмотрительно включила в свой счет производства электроэнергии содержание всей шпионско-полицейской оравы, которая должна была контролировать тароватых бельгийцев. И, как рассказывал Глеб Максимилианович, глава этой оравы, местный пристав князь Вадбольский, сам приходил к Глебу Максимилиановичу и предупреждал его, когда кому-либо из служащих компании угрожал обыск или другие неприятности. В последние дни перед Февральской революцией такое предупреждение от него получил и сам Глеб Максимилианович. Вадбольский извинялся, что не в его власти предотвратить эту опасность со стороны всесильной охранки. Но на сей раз нашлись потенции и посильнее охранки. Грянула революция, и опасаться пришлось уже самим охранникам.

4. В ШТАБАХ ПЛАНИРОВАНИЯ И НАУКИ

С победой революции перед Глебом Максимилиановичем открылось широчайшее поле новой народнохозяйственной и общественной деятельности.

В первые же дни Февральской революции мы встречаем его в большевистской организации Московского Совета рабочих депутатов, где он руководил труднейшим для того времени делом электроснабжения. Вместе с тем наряду с общественной деятельностью Глеб Максимилианович не прекращал и своей инженерской работы в области энергетики, где к тому времени завоевал себе уже большой авторитет в инженерно-технических кругах. Не мудрено, что при такой подготовке и революционном стаже Глеба Максимилиановича, он сразу же после Октября был выдвинут Партией на самую ответственную работу по хозяйственному строительству. Правда, в годы гражданской войны и блокады нам трудно было развернуть в этой области сколько-нибудь широкую работу. И потому ни в Высшем Совете Народного Хозяйства, ни в Комитете Государственных Сооружений, где работал Глеб Максимилианович до 1920 г., он не имел еще возможности выявить присущих ему широкого размаха и глубоко перспективного загада. Но с окончанием гражданской войны, по заданию В. И. Ленина, он начинает разрабатывать генеральный план хозяйственного возрождения потрясенной бедствиями мировой и гражданской войны полуразрушенной страны.

Это было нелегкое задание. Достаточно напомнить, что вся продукция нашей промышленности в 1920 г. не достигала и 17% довоенного уровня, а выплавка черного металла, без которого нельзя себе и мыслить индустриального строительства, не превышала и 3% довоенной нормы (1913 г.).

Конечно, для успешного подъема со дна этой глубокой пропасти, которую многие называли уже не кризисом, а хозяйственной катастрофой, у нас были возможности. В наши руки революция передала все преимущества планового социалистического хозяйства. Но это были в то время лишь теоретические, потенциальные преимущества, которые нужно было реализовать. Задача тем более трудная, что ее тогда приходилось решать чужими руками, опираясь почти исключительно на беспар-

тийных ученых и буржуазных специалистов, отнюдь не пылавших энтузиазмом социалистического строительства. Даже лучших из них можно было привлечь к нему всерьез лишь величием новых творческих возможностей в области науки и техники и масштабами строительства, открываемых революцией. На них-то и рассчитывал прежде всего Г. М. Кржижановский в развитии своих идей о широчайшей электрификации России.

Собрав вокруг себя в Комиссии ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России) лучшие научно-технические силы страны и вооружив их идеей об электрификации новой России, он сумел зажечь в них горячий интерес к этой работе и ее высоким техническим замыслам, даже независимо от их социального содержания. За 10 месяцев напряженной работы около 200 ученых и инженеров этот первый в мире план электрификации был закончен. Рассчитанный на 10—15 лет, он проектировал постройку 30 новых районных электростанций мощностью в 1,5 млн. квт. По сравнению с уровнем 1913 г. это увеличивало их мощность почти в 10 раз. Раз в 10 превышалась при этом и вся продукция промышленности от уровня 1920 г. С учетом тогдашней отчаянной разрухи этот план, конечно, был дерзостно смелым.

Скептики не верили в реальность таких заданий и издевательски называли задуманный план электрификации — электрофикцией. Но совсем иначе его расценили люди, способные постигнуть основной замысел плана во всей его глубине. Вот что, например, писал Г. М. Кржижановскому еще в июне 1920 г. один из лучших его друзей Ф. В. Ленгник, после того как Глеб рассказал ему о своей объяснительной записке к тогда еще не завершенному великому плану:

«Глебася, черт этакий! Я всю ночь сегодня не мог спать из-за твоих фантазий... приду к тебе сегодня ночевать, чтобы прочесть твою записку... я во что бы то ни стало должен прочесть твой доклад, так как все равно ни о чем, как о ваших фантазиях, думать не могу. Я чувствую, что всем нам, всей России, надо будет в течение ближайших десятилетий плясать по вашей дудке... под музыку волн российских источников тепла, света и жизни...

А что этим можно завоевать российскую интеллигенцию — это для меня непреложный факт».

Ленгник был уверен, что нужно лишь «открыть цикл публичных собраний по этому вопросу — и через три месяца весь цвет русской — все-таки хорошей и честной, что бы там ни говорить — интеллигенции будет за нас всей душой»[1]. В отношении сроков такой прогноз был, конечно, слишком оптимистическим. Реально стране нужны были не только глубокие замыслы, но и большие свершения. Нужно было на деле оживить все наличные источники энергии тепла и света, чтобы воздвигнуть на самой передовой технической базе здание самой совершенной экономической формации. Но для этого требовались не месяцы, а долгие годы труда.

Однако ж идея сразу же связать воедино, не повторяя задов, этот базис со всеми его социально-экономическими надстройками уже в первых набросках генплана социалистической России, была, несомненно, глубоко революционной и зажигала сердца. А сам Глеб Максимилианович был не только первым, но и наиболее последовательным глашатаем зажигательных идей электрификации до конца своих лет. Уже в первой своей работе «Основные задачи электрификации России», написанной в январе 1920 г., Глеб Максимилианович, напомнив известное изречение «век пара — век буржуазии, век электричества — век социализма», писал о «переоценке всех ценностей».

---

[1] Ю. Н. Флаксерман. Указ. соч., стр. 111.

«Мы подходим к последней грани. За химической молекулой и атомом — первоосновами старой химии — все яснее обрисовывается ион и электрон — основные субстанции электричества; открываются ослепительные перспективы в страну радиоактивных веществ. Химия становится отделом общего учения об электричестве. Электроника подводит нас к внутреннему запасу энергии в атомах. Занимается заря новой цивилизации. ...Завеса дыма и копоти над полем промышленного человеческого труда отходит в прошлое. Впереди — последний предел: сцепление отдельных электропередач в единую электрическую сеть страны, районных станций — в единый электрический механизм.

Таким и только таким образом может быть достигнута предельная по уровню нашей техники экономия в расходе как природных запасов энергии, так и живой силы человеческого труда» [1].

А в одной из последних работ на ту же тему он добавил: «Несомненно, что включение ядерной энергии в нынешний ряд используемых энергий даст новый гигантский толчок к ключам материального изобилия. И к прежней формулировке — «век пара — век капитализма, век электричества — век социализма» приходится прибавить новую формулу: век широкого использования внутриатомной энергии — век развернутого коммунизма.

И размышляя о наших путях к коммунизму, мы лучше ленинской формулы: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» — не придумаем» [2].

Составленный с такими установками план ГОЭЛРО, как известно, удостоился полного одобрения Владимира Ильича, как глубоко научный труд и «вторая программа партии». Одобрила этот план, пронизанный великой ленинской идеей — построения коммунизма на базе электрификации всей страны,— и Партия, и Всероссийский VIII съезд Советов в декабре 1920 г. Но его надо было реализовать. Как показала проверка временем, его задания, несмотря на все трудности, удалось выполнить уже в кратчайший срок, за 10 лет, а еще через 5 лет они были уже вдвое превзойдены. Выполнение этих заданий было возложено прежде всего на организованный в 1921 г. Госплан Союза, первым председателем которого был выдвинут партией Г. М. Кржижановский.

Чтобы встать во главе таких грандиозных работ и довести их до успешного конца — требовались исключительные качества. Излишне говорить, что для этого необходимо было быть во всеоружии современной науки и техники. Не в меньшей мере требовалось и другое: глубокая ненависть к старому загнившему миру капиталистической эксплуатации и столь же глубокая убежденность в возможности и необходимости на его развалинах воздвигнуть новый мир коммунистического братства и свободы. К счастью, в лице Глеба Максимилиановича мы нашли на редкость удачное сочетание этих качеств.

Госплан — это один из форпостов социализма в нашей стране. Ему не присвоено никакой административной власти. Весь авторитет его решений определяется лишь внутренней их убедительностью и целесообразностью с точки зрения всего народного хозяйства в целом. Силу закона плановые построения Госплана получают лишь после одобрения их Правительством, в меру признания за ними такой целесообразности. Приказывать, конечно, гораздо проще, чем аргументировать и убеждать. Но Госплан призван был осуществлять труднейшее. Построить такое учреждение по готовому шаблону было невозможно, ибо мир не знал еще ничего подобного. На службу ему нужно было мобилизовать и

---

[1] Г. М. Кржижановский. Избранное. М., 1957, стр. 39, 41.

[2] Г. М. Кржижановский. Ленин и электрификация, 1958, стр. 25 (машинопись).

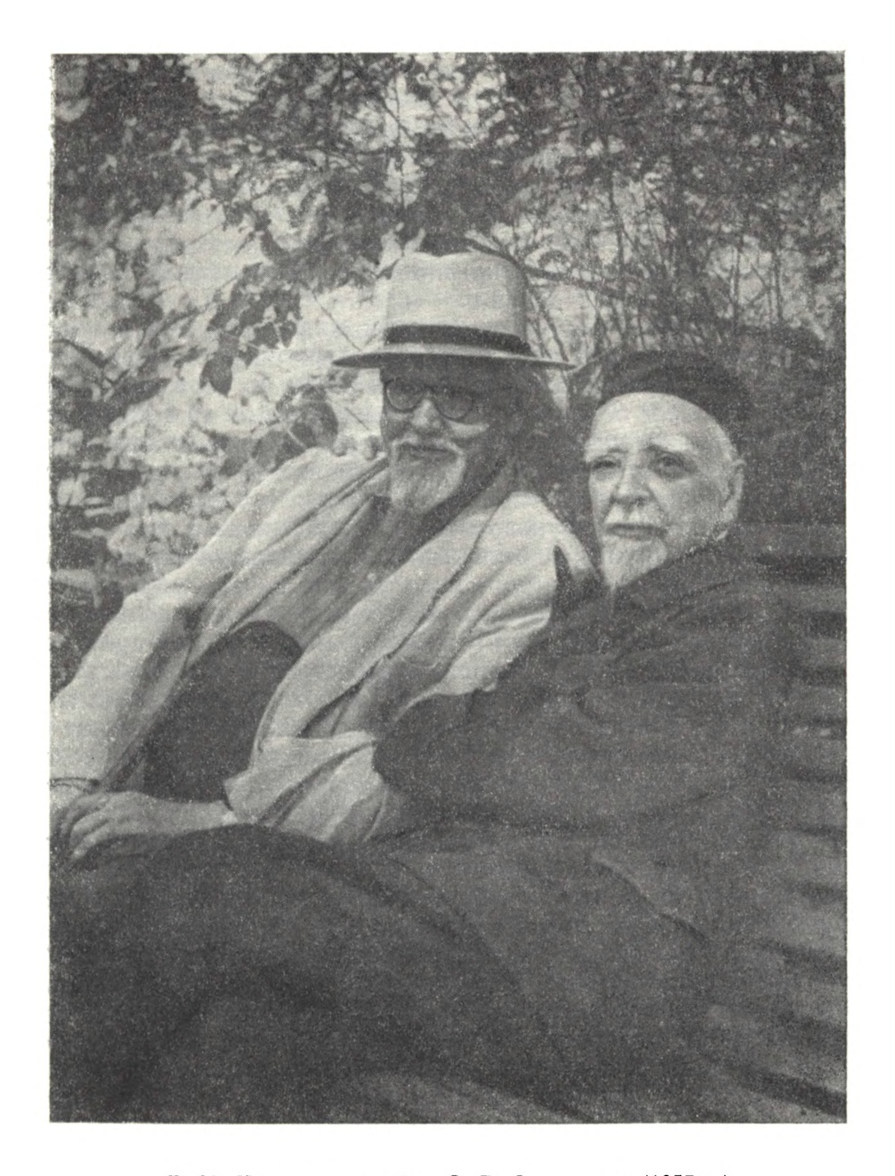
науку, и общественность. Здесь нужно было выработать новые методы высокоакадемической работы, но без всякого «академизма», с актуальнейшими прикладными выводами, без тени бюрократизма.

Для новых задач попутно нужно было воспитать и новые кадры «социальной инженерии», создавая для них на ходу и целый цикл новых плановых дисциплин. Даже при мощной поддержке партии создать такое учреждение и плодотворно руководить им в течение десятка лет — нешуточная задача. Но Глеб Максимилианович, пользуясь на первых порах неустанным дружеским вниманием и активнейшей поддержкой Ильича, справился с этой задачей.

Оглядываясь назад, можно отметить немало промахов и просчетов в работе Госплана. Но тем не менее огромный хозяйственный подъем и оздоровление небывалыми темпами нашей страны с первых же лет плановой работы в СССР остается неоспоримым фактом. И если учесть при этом, что главным штабом планирования все это время был Союзный Госплан, а душою Госплана Г. М. Кржижановский, то станет понятным не только непрерывный рост значения Госплана в стране, но и все возрастающий авторитет его руководителя в кругу плановиков и хозяйственников. Особенно крупным достижением коллективной плановой мысли за первые ее годы в нашей стране явилась так называемая «первая пятилетка» Госплана. Этот народнохозяйственный план, ставший надолго знаменем и программой действий 160-миллионной страны и приковавший к себе внимание всего мира, слишком известен, чтобы излагать здесь его содержание. Недаром слово «пятилетка» стало уже понятным всему культурному миру международным термином. И даже злейшие враги СССР говорили о ней в таких выражениях: «Коммунистические вожди взялись за осуществление плана, который по своему объему и значению превосходит все, что знала история в области великих и смелых предприятий» (Ллойд Джордж). Нам хотелось бы лишь отметить выдающуюся роль Глеба Максимилиановича в этой работе.

Первая пятилетка Госплана является, конечно, продуктом коллективного творчества. Но отнюдь не в стиле старой ведомственно канцелярской стряпни пухлых чиновничьих сборников. По замыслу Глеба Максимилиановича работа с самого начала строилась так, чтобы каждый активный в ней участник чувствовал себя не исполнительным чиновником, а самостоятельным исследователем, ответственным и за общий результат. К обсуждению пятилетки привлекались все лучшие научные и общественные силы страны. Глеб Максимилианович стремился расширить этот круг до таких пределов, чтобы коллективным автором плана великих работ, ответственным за его выполнение, почувствовала себя вся страна. И, как показывает ход выполнения этого плана, страна чувствовала его своим. В плане первой пятилетки, в процессе ее выполнения, выявилось, конечно, немало дефектов, выправленных на ходу, но едва ли можно оспаривать одно: в каждом разделе, почти на каждой странице бьется живая творческая мысль и, сливаясь в высшем единстве общего замысла, все они зовут к борьбе, дышат пафосом социалистического творчества. И в этом также сказался редкий талант Глеба Максимилиановича — организатора коллективной научно-исследовательской работы.

Его способность собрать вокруг себя, спаять единой плановой задачей, заражать своим энтузиазмом, организовать на дружной коллективной работе широкий круг ученых и специалистов весьма пестрого состава — прямо изумительна. Мы знаем, что большинство ученых старого поколения крайние индивидуалисты. Каждый из них работал обычно, как кустарь-одиночка, сознательно изолируясь в своем кабинете и ревниво оберегая все большие и малые секреты своего научного производства до тех пор, пока они прочно не закреплялись за ним соответствующим па-



Г. М. Кржижановский и С. Г. Струмилин (1957 г.)

тентом или публикацией. А между тем современность ставила перед нами такие исследовательские задачи, которые были под силу только огромному коллективу ученых, да и то только при дружной планомерной координации их усилий. Школой такой координации общих усилий научно-исследовательской мысли и стремился всегда сделать Госплан Г. М. Кржижановский. Щедро рассыпая вокруг себя в порядке повседневного руководства коллективной работой огромное количество новых творческих идей, Глеб Максимилианович даже не замечал этой своей расточительности, ибо, обогащаясь в общей работе каждый раз новыми идеями, он никогда не истощал своего запаса. И его пример поднимал весь коллектив на соответствующий уровень.

Только ближайшие сотрудники Глеба Максимилиановича могут по достоинству оценить значение такого руководства в нашей общей рабо-

те. Мы зачастую совершенно утрачивали представление о том, откуда восприняты нами те или иные новые плановые идеи. Они словно носились вокруг нас в воздухе. Вся окружающая атмосфера была насыщена ими, и каждый из нас уже не мог претендовать на свое обособленное «авторское» право на те идеи, которые нами привносились в общий котел коллективной работы, ибо по своему первоисточнику и по их дальнейшей шлифовке, которую они приобретали в процессе внутреннего обращения в Госплане, эти идеи составляли наше общее достояние.

Однако в 1929 г. Глеб Максимилианович был призван к другой, не менее трудной и почетной работе с избранием его действительным членом и вице-президентом Академии наук СССР.

* * *

Академия наук и до 1929 г. объединяла в своих рядах крупнейших представителей русской науки. Достаточно назвать такие имена, как физиолог И. П. Павлов, геохимик В. И. Вернадский, химик Н. С. Курнаков, физик П. П. Лазарев, математик и кораблестроитель А. Н. Крылов и др. Работая каждый в своей области, независимо от всех других и от общего плана строительства новой жизни в стране, они не могли обеспечить того эффекта, какой в условиях строительства, когда сама наука становится производительной силой, был нам так необходим. Академическую науку необходимо было значительно усилить и укрепить, всемерно приблизив к решению практических задач планового социалистического хозяйства. И 1929 г. стал поворотным в такой перестройке советской науки.

Уже в начале года, после новых выборов, число академиков возросло с 35 до 71, более чем вдвое. Это был скачок. При этом было впервые избрано несколько коммунистов, в том числе, кроме Г. М. Кржижановского, И. М. Губкин, Н. И. Бухарин, М. Н. Покровский, Д. Б. Рязанов, и ряд крупнейших беспартийных специалистов, уже ранее привлеченных Глебом Максимилиановичем к работам на хозяйственном фронте. Президенту Академии, старейшему из геологов страны, А. П. Карпинскому (1846—1936 гг.), было уже свыше 80 лет. Фактически этот большой и милейший ученый находился уже на покое. И все заботы по организационной перестройке и укреплению Академии естественно пришлось взять на себя вице-президенту Академии Г. М. Кржижановскому. И в этой новой роли ему еще раз пришлось менять свой основной профиль общественной работы. Из организатора новой экономики в Госплане он становится организатором обновленной науки во всех ее связях с народным хозяйством страны.

Весь десятилетний период своей деятельности в качестве вице-президента (1929—1939 гг.) он стремился превратить Академию наук с ее национальными филиалами и местными базами в единый научный коллектив, сплоченный для решения важнейших научных и народнохозяйственных проблем СССР. Строились новые Институты и Отделения, возникали республиканские Академии. Уже в 1931 г. в системе Академии наук создается новый Энергетический институт, а к 1935 г.— вырастает заново целое Техническое отделение институтов, призванных стать прямым приводом от абстрактных вершин теоретической мысли к очередным задачам социалистического строительства. Включаются на службу тем же задачам и новые в стенах Академии наук социально-экономические науки. Вырастает в ее системе мощный «Совет по изучению производительных сил». И, наконец, в 1934 г. обновленная Академия наук переводится из Ленинграда в Москву, ближе к центру народнохозяйственного планирования СССР.

Немало удалось сделать Глебу Максимилиановичу и в преодолении той замкнутости в работе ученых и разделяющих их барьеров узкой специализации, которые так мешали постановке и решению наиболее широких, комплексных проблем нашего времени. У него был особый талант сплачивать вокруг себя, заражая своим энтузиазмом и направляя на решение комплексных проблем лучших ученых самых различных профилей, стилей и темпераментов. Кстати сказать, комплексные проблемы, возникающие обычно на стыках различных наук и специальностей, чаще всего чреваты и наиболее важными, интересными и плодотворными их решениями, что уже само по себе привлекает и сплачивает коллектив, поднимающий такие проблемы. Как в Госплане, в плановой практике, так и в Академии, в качестве организатора всей многоликой науки Глебу Максимилиановичу приходилось поднимать немало больших синтетических проблем. И вместе с ростом коллективов, привлекаемых им к творческому участию в таких работах, неизменно росли и его личное обаяние, авторитет и популярность в окружающей его среде.

Глеб Максимилианович не принадлежал к числу цеховых ученых узкой специальности. Область его научной компетенции была чрезвычайно широкой. Глубоко образованный марксист, признанный авторитет в области электроэнергетики и испытанный в многолетней практике плановик-экономист, он избрал своей специальностью совершенно новую область исследовательско-творческой деятельности. «Научное строительство жизни» — вот та основная задача, которую он весьма конкретно и определенно выдвинул в одной из своих работ перед научной общественностью СССР (см. сборник «Наука и техника». М., 1928).

Собственные работы Глеба Максимилиановича Кржижановского, однако, трудно рассматривать в отрыве от вдохновляемой им общей работы того или иного коллектива. Вышедшие доныне монументальные три тома его избранных работ в издании Академии наук посвящены преимущественно вопросам электроэнергетики и проблемам планирования. Отражая соответствующий этап жизнедеятельности этого борца за плановое начало, они, несомненно, представляют собой значительный вклад в науку. Но ими далеко не исчерпывается весь цикл его творческих исследований.

Являясь основоположником, лучшим знатоком и наиболее ярким представителем вновь создающейся плановой науки, Глеб Максимилианович имеет уже целую школу последователей. Многие из его работ изданы давно на французском, английском и испанском языках. Блестящий стиль, убедительность аргументации и пафос творчества, которым насыщены почти все его печатные и устные выступления, невольно заражали аудиторию. Правда, в его работах обычно отсутствует внешний аппарат учености — бесчисленные цитаты, утомительные примечания, ссылки и т. п. атрибуты цеховой науки, хотя он внимательнейшим образом следит за всеми новостями в области советской и зарубежной науки и техники. Но тем более в них оригинальных идей и научных достижений. И тем доступнее они той массовой аудитории, без активного участия которой плановая наука никогда не могла бы претвориться в научное строительство новой жизни.

В плановом деле к высшим обобщениям приходится почти всегда идти путем синтеза техники и экономики. Глеб Максимилианович уже в плане электрификации показал нам, что может дать такой синтез, осуществляемый научно и в интересах всего грядущего человечества. В дальнейшей плановой работе эта идея синтеза техники и экономики получает все более широкое и плодотворное развитие. Кооперация инженеров и экономистов в Госплане давно уже привела нас к мысли о целесообразности объединения и оформления целого цикла плановых

дисциплин под общим именем социальной инженерии. И хотя этот термин не привился, но это не меняет сути дела. Социальным инженером, по мысли Глеба Максимилиановича, может быть только такой ученый-экономист и техник, который прежде всего является творцом и борцом за лучшее будущее. И нам думается, что в лице Глеба Максимилиановича мы уже имели весьма яркий прототип именно такого социального инженера — с творческим синтетическим умом и темпераментом борца, не складывающего рук перед любыми препятствиями.

Жизненный опыт этого многогранного человека не знал границ. Он все испытал на своем веку. Поработал он и слесарем, и монтером, и машинистом на паровозах. Будучи инженером-химиком, управлял и железнодорожными линиями, и крупными электростанциями. А когда это потребовалось, творчески возглавил Госплан и с честью перестраивал заново все базы и устои советской науки. Но прежде всего в качестве борца за Революцию, еще до Октября, его можно было увидеть на самых передовых и рискованных участках, например, во главе многотысячной забастовки рабочих или за приготовлением бомб перед вооруженным восстанием.

Поэт и ученый, он испытал на себе все шипы и трудности своего времени. Но не согнулся под ними. В партийной среде ему еще в юности присвоили подпольную кличку *Клэр,* т. е. светлый, ясный, яркий. Таким он оставался и до конца дней. Такой же светлой и яркой останется и наша память о нем.

В уже упомянутой работе Глеба Максимилиановича о «Научном строительстве жизни», мы находим между прочим такие строки:

«Стихия «вещей», лежавшая до сих пор в основе экономики, какое бы бешеное сопротивление она ни оказывала, находится в явном отступлении перед волей человека. Целевые ставки во всех трудовых процессах приобретают характер все более и более непосредственной защиты прав трудящихся на достойное человеческое существование. *От утопии — к науке,* к действительному высвобождению человеческой личности от тяжких материальных пут!»

Вот куда звал нас этот энтузиаст планового дела, вдумчивый ученый, поэт энергетики, обаятельный человек и пылкий, несмотря на свои седины, революционер!

1956—1966 гг.

АРИСТОКРАТИЯ ДУХА И ПРОФАНЫ. ДВА ИДЕАЛА*

●

* СПб., 1910

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Различают три вида аристократии: родовую, финансовую и интеллектуальную. Более или менее откровенное презрение к «черни» в соединении с хуже или лучше обоснованной претензией господствовать над ней — вот наиболее характерный психологический признак аристократии всех этих трех видов. Всякая аристократия представляет собою, конечно, ничтожное меньшинство общества, и требовать себе подчинения громадного большинства во имя своих узкогрупповых или классовых интересов было бы с ее стороны по меньшей мере утопично. Немудрено поэтому, что аристократы всех времен и оттенков предпочитают становиться на сверхклассовую точку зрения и обосновывают свою претензию на власть самыми высокоидеалистическими аргументами — во имя общечеловеческих или даже сверхчеловеческих идеалов.

Самый обычный из этих аристократических аргументов сводится к тому, что народ, или, как они его называют, vulgus, крайне нуждается в благожелательной опеке; что громадное большинство человечества, будучи предоставлено само себе, неизбежно погибло бы, как заблудшее стадо без пастырей. По этой «теории» господа аристократы берут на себя, стало быть, тяжелое бремя власти над презренной толпой «ради ее же собственной пользы». И тут различие между разными видами аристократии проявляется лишь в том, на чем именно каждый из них обосновывает свое право причислять себя к сонму призванных опекать, а не быть опекаемыми.

Одни основывают это право на своем «благородстве», или, говоря точнее, *породистости,* о которой-де можно судить по числу занесенных в родословные книги чистокровных предков претендента. Если чистота породы, соображают они, так высоко ценится даже при выборе скаковых лошадей или каких-нибудь густопсовых кобелей, то почему бы ей не цениться и при избрании народных опекунов? Другие обосновывают то же право на своей «экономической независимости», или, говоря проще, *тугой мошне,* которая, дескать, необходима для того, чтобы иметь время заниматься «чужими делами», и притом заниматься ими бескорыстно и неподкупно. Наконец, третьи достаточный довод в защиту своей претензии опекать профанов видят в превосходстве своего ума и образования.

Таковы простейшие аргументы в защиту принципа власти. Для тех, кому они показались бы недостаточно убедительными, всякая правящая аристократия имеет, конечно, в запасе целый ассортимент более тонких религиозных и метафизических аргументов. Когда же и они теряют свою силу, на сцену выдвигаются для «обуздания» профанов наиболее веские аргументы — из свинца и железа.

Эти излюбленные доводы всякой когда-либо властвовавшей аристократии густопсовой породы или тугой мошны говорят за себя и сами достаточно красноречиво.

Но другое дело аристократы духа. Познакомиться с их аргументацией есть смысл. Ведь это художники и философы. Это цвет современной интеллигенции. Их руки не запятнаны от соприкосновений с властью. Правда, и они выступают решительными противниками последовательной демократии. Правда, и они громят «тарантулов-уравнителей». Но ведь они громят их во имя интересов культуры, красоты... во имя автономной личности. А если это так, то вправе ли мы даже сопоставлять хотя бы на минуту этих рыцарей духа с грубыми феодалами и пошлыми плутократами.

Вправе ли мы это делать — пусть решит сам читатель. Мы же ограничимся лишь соответствующей группировкой и освещением необходимого для этой цели материала. На новизну темы или оригинальность ее обработки мы не особенно претендуем. Пусть лишь настоящий труд послужит нашему читателю предохранительной прививкой против гипноза того очарования, в ореоле которого являлись иным профанам разные мандарины духа с их идеологиями, и мы сочтем себя вполне удовлетворенными.

Аристократия духа не у власти. Она еще едва лишь мечтает о ней. Но как идейный враг демократии, она, и не опираясь на силу штыков, вполне заслуживает нашего внимания. Развенчать ее, этот последний, наиболее эфемерный, а потому и наименее уязвимый оплот реакции — это задача вполне достойная нашего времени, если мы только действительно переживаем эпоху переоценки всех ценностей.

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

АРИСТОКРАТИЯ ДУХА

«Массы заслуживают, по моему мнению, внимания в трех отношениях: во-первых, как расплывчатые копии великих людей на плохой бумаге, сделанные плохим клише, во-вторых, как препятствие для великих, в-третьих, как орудие великих, а в остальном — побрал бы их черт и статистика».

Ф. Ницше

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Воители древнего Рима сражались с людьми, а не с богами. И потому, готовясь к нападению, они обращались к богам своих врагов с почтительной просьбой заблаговременно покинуть арену борьбы, чтобы и им не попало случайно в пылу битвы. Борьбу нашего времени, напротив, следовало бы назвать борьбой богоборческой по преимуществу, то есть борьбой не против людей, а против тех идей-фетишей, вокруг которых они группируются. Выступая, например, на брань против всех земных и небесных авторитетов, современные борцы отнюдь не зрят на лица и направляют свои стрелы не в тех или иных сущих или возможных властителей, а в самый принцип, ими отстаиваемый. Римляне были, по-видимому, очень плохого мнения о богах, если думали, что те могут малодушно покинуть своих поклонников в минуту наибольшей опасности. Мы лучшего мнения о людях и не зовем их оставить без боя, на произвол судьбы, своих старых идолов и фетишей. Но именно поэтому никто не вправе пенять на нас, если стрелы, заостренные нами против идолов, попадут иной раз и в идолопоклонников.

В специальном применении к аристократам духа это значит вот что. Мы, правда, ставим своей задачей развенчать их антидемократический идеал. Но у нас нет ни надобности, ни охоты забрасывать грязью отдельных носителей этого идеала. И все же, поскольку никакой идеал невозможно вполне отделить от его выразителей, мы не можем быть особо мягкими и к сим последним.

Однако к делу. Присмотримся повнимательнее к этому любопытному психологическому типу «рыцарей духа», какими они рисуются нам в жизни и литературе. Выслушаем их самих и взвесим на весах беспристрастной критики все, что они могут противопоставить нашим демократическим идеалам.

Само собой понятно, что нам хотелось бы брать для этой цели не всех разряженных в звездную мантию духовного аристократизма гиен и шакалов, а только подлинных и беспримесных аристократов духа. Но, к сожалению, это более чем трудная задача. Дело в том, что и порода, и капитал, и образование, составляя привилегию только верхушек современного общества, так тесно сплетаются в одних и тех же лицах, что большей частью совсем невозможно сказать, где кончается феодал-барин, где его сменяет плутократ-барин и где начинается духовный аристократ-барин.

Конечно, *теоретически* установить грань между всеми этими видами аристократии возможно. Феодалы и плутократы всех рангов, как бы они ни старались затушевать свою хищническую природу сверхклассовой фразеологией, рано или поздно должны-таки выдать себя своими шкурными вожделениями и классовыми аппетитами. Другое дело аристократы духа, вроде Генриха Гейне или Фридриха Ницше, Генриха Ибсена или Леонида Андреева. Они-то уже не на словах только, а в самом деле целой головой выше той барски-мещанской классовой среды, из которой вышли. Подлинные аристократы духа — это прежде всего личности *деклассированные*. Они слишком тонко организованы, чтобы не задыхаться в том мелком и вонючем болоте, в котором родились. Но вырваться вон из этого переполненного гниющими миазмами болота и переселиться в другую, более здоровую стихию они не могут. У них уже атрофировались жабры, но еще не развились легкие. Они отрываются от дряхлых отживающих классов, но вполне сродниться с теми классами, перед которыми будущее, они бессильны. И потому остаются чуждыми и тем, и другим.

Однако такое серединное положение «ни павы, ни вороны» между двух борющихся стихий крайне неустойчиво. Оно мыслимо лишь теоретически. Фактически же аристократы духа, откачиваясь то вправо, то влево от этой серединной линии, тысячами переходов приближаются то к чисто буржуазной, то к пролетарской идеологии. И притом к буржуазной гораздо чаще и ближе, чем к пролетарской. Барские навыки жить и мыслить оставляют в них, по-видимому, следы неизгладимые. В иных аристократах духа породившее их барски-мещанское болото, казалось бы, не оставило по себе уж ничего, кроме самой жгучей ненависти или гордого презрения ко всему, что только отзывается этим болотом. Ан, глядишь, барские навыки и в них нет-нет да и скажутся в чем-нибудь пренеприятной классовой отрыжкой.

«Оно, пожалуй, барство-то, как оспа! — невольно приходит здесь на память меткий афоризм горьковского Луки со «дна жизни».— И выздоровеет человек, а знаки остаются».

В результате получается такая картина. С одной стороны, витающие высоко «над классами» рыцари духа благодаря целой гамме качаний и переходов оказываются в непосредственной близости с самыми вульгарными рыцарями капитала. С другой же стороны, и эти последние не прочь бывают при случае прикрыть свою духовную наготу хотя бы фиговым листком ницшеанской фразеологии. Так что провести резкую грань между теми и другими далеко не так легко, как кажется с первого взгляда. Послушайте, например, как разговаривает эксплуататор-предприниматель Гольгер в драме Бьернсона «Сверх сил».

«Необходимо,— заявляет этот хищник,— вернуться назад и предоставить власть только тем, кто имеет мужество и гений. Я не знаю, когда кончится борьба, но что я могу с уверенностью сказать вам, это то, что победит *личность, а не масса*». «Нет, милостивые государи, если бы благодаря голосованию или чему-нибудь другому власть оказалась в руках подобного большинства, не знающего что такое порядок, лишенного духа последовательности, привычки к делам, наконец, всех традиций ума и искусства, необходимых для нашей организации, нам оставалось бы сделать только одно. Холодно, решительно мы ответили бы им криком: Пушки вперед!»

Вот как громко и сильно каркает буржуазное воронье, разодевшись в павлиньи перья духовного аристократизма. «Масса» чужда всем традициям ума и искусства. К власти призваны лишь те, за кем мужество и гений... Да, гений и... *и пушки!* Однако мы пройдем пока мимо этого вороньего карканья, чтобы прислушаться к тем же лейтмотивам в ис-

полнении неподдельных павлинов. У них эти лейтмотивы звучат, на наш слух, если и не музыкальнее, то хоть натуральнее.

Начнем хоть с отношения аристократов духа к «черни».

Само собой разумеется, что «пошлая чернь», по их представлению, совершенно неспособна уразуметь те глубокие и возвышенные идеи, носителями которых они себя почитают. В этом они все сходятся. При всем различии своих философских воззрений и при всей разнокалиберности их от Иммануила Канта до Фридриха Ницше и от Владимира Соловьева до Леонида Андреева, все они одинаково искренно презирают «толпу» и брезгливо от нее отворачиваются.

«Философ должен краснеть от одобрения черни!» — восклицает, например, метафизик Кант [1].

«Кто при сношениях с людьми,— поддерживает Канта философский антипод его Ницше,— не меняется в лице, не зеленеет и не бледнеет от омерзения, пресыщения, сострадания, меланхолии, тот, наверно, человек не высшего вкуса...» «Где народ ест и пьет, даже где он поклоняется, там всегда стоит вонь. Не следует ходить туда, где есть плебс, если хочешь дышать чистым воздухом» [2].

Религиозный мистик Владимир Соловьев даже в лице социалистического пролетариата усматривает из своих заоблачных высот «только умственный и нравственный vulgus». А прямой антипод его, андреевский атеист Савва, разражается такой тирадой по адресу всех сочеловеков:

«Уговаривать этих баранов свернуть с их скотской тропы, ловить каждого за рога и отводить в сторону, надеть фрак и читать им лекции? Как будто мало их учили? Как будто для них имеют значение слова, мысли... Нет, сестра, жизнь коротка и тратить ее на диспуты с баранами я не намерен».

Подумать только! Как глубоко надо презирать этот несчастный плебс, чтобы выражать свое презрение к нему в подобных тирадах!.. Правда, в *тоне* этого презрения звучат иной раз очень явственные нотки *барского* высокомерия. Вспомните, например, выражение Ницше: «Где народ... там всегда вонь». Вспомните горделивую фразу Гейне: «Если бы самодержавный народ удостоил меня своим рукопожатием, я вымыл бы после этого руки!» [3]

Но *тон* не делает еще музыки. И в презрении аристократов духа к «черни» можно отгадать нечто гораздо более глубокое, чем простую отрыжку барского воспитания: Царящее ныне повсюду *духовное мещанство* — вот что питает собой гневное презрение духовной аристократии.

II

Мещанство — категория социальная. Но мещанин, кроме своей частной собственности, имеет еще и свой особый психологический облик. И потому социальное господство мещанства в той или другой стране означает собой прежде всего господство в этой стране мещанского образа мыслей и чувств. Мещанская психика носится там в воздухе, как зараза, и все отравляет своим тлетворным дыханием. Ее филистерский отпечаток духовной узости воспринимают при этом в той или иной форме не только пассивные «массы», но и те активные одиночки, которые энергично борются с этой узостью. Но если мещанская психика вообще крайне узка и ограничена, то в странах *мелкого* мещанства, за

[1] Сравните с этим также вольтеровское: «Когда чернь пускается рассуждать — все потеряно».
[2] Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла. М., 1900 (отрывки 26 и 30).
[3] Г. Гейне. Сочинения, т. X. СПб., 1882, стр. 46.

отсутствием резко выраженных классовых антагонизмов и великой борьбы во имя далеких целей, эта психика еще у́же и ограниченнее.

Замурованная, как в свинцовом гробу, в тесных рамках мелкомещанских интересов духовная жизнь этих стран замирает и, в лучшем случае, становится достоянием немногих книжных червей. Что же касается «народа», то он действительно является там таким, каким его рисуют себе аристократы духа, т. е., говоря словами Г. В. Плеханова, «совершенно неразвитой массой, погруженной в умственную спячку и отличающейся от ведущих ее за нос «столпов общества» только более грубыми манерами и менее чистыми жилищами» [1]. Конечно, действие равно противодействию. И на почве наиболее грубого духовного мещанства естественно ждать расцвета и наиболее ярких цветков духовного аристократизма. Вот почему, быть может, такие классические страны мелкой буржуазии, как Швейцария, Скандинавия и царская Россия дали нам Ницше, Ибсена и Андреева.

Этим людям, творящим новые ценности в области духа, естественно, самым дорогим и высоким в жизни представляется идея, мысль. Но мещане опошлили и отравили даже эту для многих наивысшую ценность жизни.

«Мысль! Чистая, несчастная мысль! — восклицает тоном, близким к отчаянию, андреевский Савва. Они развратили ее, научили мошенничать, сделали ее продажной тварью, что отдается за пятак...» Да, даже душу души человеческой они развратили. Как же тут не реагировать на это огненным негодованием такому подлинному аристократу духа, как Alter ego Андреева — Савва.

«Сломать тюрьму, в которую запрятаны идеи, и дать им крылья, и открыть им новый, великий, неведомый простор»,— вот чего жаждет душа Саввы. И одушевленный этой великой целью, он чувствует за собой силу беспощадно казнить всех тюремщиков идеи. «Освободить человека и уничтожить всю эту двуногую болтающую тварь!»,— вот его лозунг. А когда его спрашивают, кто дал ему на это право и власть, Савва гордо бросает свой вызов всему мещанскому миру:

«Кто дал мне право? Вы дали. Кто дал мне власть? Вы дали. И я держу ее крепко,— попробуй, отними! Вы — вашей злостью, вашим безумием, вашим подлым бессилием. Право! Власть! Превратили землю в помойную яму, в бойню, в жилище рабов, грызут друг друга и спрашивают: кто осмелился схватить их за горло! Я! Понимаешь? Я!»

И, конечно, этому аристократическому «я» невольно вторит здесь и наше демократическое — «мы». В ненависти к мещанству во всех его видах современные борцы-профаны не уступят и наиболее ярким аристократам духа. Их цель: «освободить мысль! освободить человека!»... вполне нам близка и понятна. И до тех пор пока они выступают лишь в качестве отрицателей мещанских устоев, мы готовы идти не только рядом, но даже впереди их.

Но дальше наши пути расходятся в диаметрально противоположных направлениях. И не потому что аристократы духа идут, как это представлялось, например, В. Брюсову, слишком далеко для нас [2]. О нет. Напротив, дело в том, что власть мещанской идеологии над аристократическими душами, по-видимому, гораздо сильнее, чем это им самим кажется. И вот как раз в тот момент, когда — с переходом от критической работы молотом к положительному творчеству идеалов — профаны направляются дальше по раз избранному пути, аристократы духа круто поворачивают назад и открывают «попятное движение» к поверженным кумирам.

---

[1] Г. Плеханов. Генрих Ибсен. СПб., 1906, стр. 35—36.

[2] См. В. Брюсов Близким. «Факелы», 1906, № 1.

«Когда преодолена метафизика, тогда необходимо *попятное движение,* т. е. к метафизике же»,— пророчески предвосхищал это настроение еще Ницше[1]. А в недавние дни повального бегства разных бывших людей в лагерь «идеализма» этот попятный лозунг стал уже злободневным. Бессильные идти до конца по тому пути, на который их толкнула история, и чувствуя, как быстро родная им почва выскальзывает у них на этом пути из-под ног, они уже теперь «с тоской *оглядываются»,* по выражению Ницше, «на время несовершенного строя и полуварварского общества, на... *наше время»* и взывают с отчаянием: назад к Канту, назад к Соловьеву, назад к Мещанину!..

Как бы там ни было, однако, *по пути* нам с аристократами духа лишь до первого перекрестка. А там... Профаны пойдут дальше по большой дороге социализма и станут дружно строить *«реальное основание»* той «высшей общественной формы, основной принцип которой,— по выражению Маркса,— есть полное и свободное развитие каждой отдельной личности». А рыцари духа разбредутся тем временем врозь по извилистым тропинкам индивидуализма, заберутся каждый в свою литературную келью под елью и в пику профанам займутся там декламацией на брюсовскую тему:

Ломать я буду с вами, строить — нет!

Аристократы духа — индивидуалисты. И это понятно. Ведь каждый из них страшно *одинок* в той мещанской среде, которая выбрасывает их из своих недр на поверхность. И не подумайте, что они сами ищут одиночества. Трагедия их жизни как раз в том, что это одиночество вынужденное.

«Глубокому человеку друзья необходимы», исповедуется, например, Ницше в одном из писем к своей сестре. Но где ему было их взять? «Только inter pares[2],— восклицает он,— может быть настоящее, совершенное, полное общение! Только *между равными* может быть и совершенная дружба! Inter pares! От этих слов опьянеть можно: столько сулят они утех, надежд, сладости, блаженства человеку, который всегда роковым образом жил один,— человеку «неодинаковому», которому ни разу нигде не удавалось найти себе близкого — в настоящем смысле этого слова, хоть он и старался искать,— по всевозможным дорогам искал...»[3]

В словах «по всевозможным дорогам» есть, конечно, преувеличение. Спуститься в своих поисках за равными вниз, на дно жизни, ему, вероятно, не приходило и в голову. «Славные парни-нивелировщики» казались ему несомненно слишком уж «неотесанными» для этой цели. Их отделяла от него целая социальная пропасть. Найти же себе близких среди людей своего круга Ницше действительно не мог, ибо ведь это были филистеры — Передоновы. Иметь с ними что-либо общее было бы постыдным. Бороться же с этими филистерами аристократу духа невозможно иначе, как резко противопоставив их коллективной пошлости свою автономную индивидуальность. А отсюда остается уж один только шаг до «великого открытия» ибсеновского «врага народа» доктора Штокмана:

«Сильнее всех тот, кто остается один!»

Да. Наиболее сильным борцом в мещанской среде против мещанства будет тот, кто чувствует себя в этой среде наиболее одиноким. Это не-

---

[1] Лихтенберже. Философия Ницше. СПб., 1901, стр. XXI (предисловие Неведомского).

[2] Среди равных.

[3] С этим признанием Ницше стоит сопоставить одно место из его «Несвоевременных размышлений», где он перечисляет «величайшие страдания личности: *отсутствие единства между людьми,* непрочность основных воззрений, *неравенство...».*

сомненно. И потому, аристократ духа, будучи таковым, не может не быть крайним индивидуалистом. Посмотрите, например, на типичного в этом отношении Савву. Развиваемые им нигилистические теории чрезвычайно смахивают на общеизвестное учение анархизма. Но Савва не желает себя признать даже анархистом, лишь бы сохранить за собой право горделиво бросить свое:

«У меня нет товарищей!»

Конечно, за этим исключительным высокомерием Саввы в нем невольно чувствуется что-то надломанное, больное. Вспомните, например, его демоническую угрозу миру «светопреставлением». Дело не в том, конечно, что этот «враг рода человеческого», как его аттестуют мещане, готов их всех смести с лица земли. «Что за беда разорить лживое общество?» сказал уже до него другой «враг народа», доктор Штокман: «Его *надо* стереть с лица земли! Живущих во лжи надо истреблять, как вредных животных!..» Дело, значит, не в содержании и не в резкости даже Саввиных угроз, а в той самооценке, какою они сопровождаются. «Огнем их надо! Огнем!»,— звучат эти угрозы: *«Пусть надолго запомнят день, когда пришел на Землю Савва Тропинин!»*

Так говорят лишь больные манией величия.

В известной дозе эта мания должна, впрочем, составлять неизбежную «профессиональную» болезнь всех аристократов духа. Видеть вокруг себя всегда, говоря слогом Ибсена, только «почтенные лошадиные морды, упрямые ослиные рыла, вислоухие, низколобые собачьи черепа и жирные свиные головы» и не переоценить себя нисколько, не почувствовать себя по меньшей мере сверхчеловеком в такой компании — задача слишком мудреная. Но именно такая компания обычно и окружает аристократов духа. Посмотрите, в самом деле, продуктом какой среды является хоть бы тот же андреевский Савва.

Кто его окружает? Тунеядцы монахи, которые «от сытости плохо спят» и бредят чертовщиной. Монахи, которые, торгуя распивочно и навынос своими святынями, «распродали бы по кусочкам», если бы смогли, даже своего бессмертного бога. Монахи, которые даже свои восторги выражают отвратительным «хрюканьем»... За ними следуют изломленные жизнью калеки-изуверы, полусумасшедшие философы-гробокопатели, пропойцы, убогие, слепцы, уроды. Таков общий фон. А ближе, в собственной семье, кто? Отец — почтенный вампир-трактирщик, брат Тюха — маньяк и пропойца, сестра Липа — блаженная, истеричка. И ни одного светлого пятнышка вокруг, в этой душной атмосфере тупости и мертвечины, сыска и предательства!.. Кроме, разве, беззаботно радостных детских игр.

Такая среда не располагает к смирению и кротости. И не мудрено, что Савва почувствовал себя в ней титаном и заговорил пламенным языком Иеремии. Но выйти из нее неповрежденным даже подлинному титану было бы не под силу. И наш Иеремия мещанства сам признает это словами:

«Я человек отравленный,— от меня ихнею мертвечиною пахнет».

И впрямь пахнет. Мертвящей ограниченностью мещанского кругозора веет уже от основной его мысли, что «динамит сильнее ихнего бога», т. е., что адской машинкой можно взорвать на воздух тысячелетнюю идею. Ему недоступен даже тот уже набивший оскомину трюизм, что механической силой можно подрывать лишь механические же устои, но против идей одинаково бессильны как штыки, так и динамит. И эта ограниченность роковым образом приводит его к поражению. Распространять свои идеи путем проповеди Савва считал ниже своего достоинства. Динамит же не оправдал возлагаемых на него надежд. И вот Савва трагически гибнет, *никем не понятый, никем не поддержанный.*

Конечно, сам Андреев вовсе не ставил своей целью обнаружить банкротство столь близкого ему по духу героя. Это вышло само собой. По замыслу Андреева, его монастырский посад символизирует собой, очевидно, весь современный мир тупого и пошлого паразитизма, в котором нет, дескать, места ни для кого, кроме физических калек да моральных уродов. К *такому* миру обращаться с проповедью, конечно, не стоит. Такой больной действительно не заслуживал бы иного лечения, кроме лечения огнем. И все же Савва неправ.

Картина Андреева полна художественной правды. Но, к счастью, в ней не вся еще правда. Крайне характерно, что в этой символической картине совсем не нашлось места для рабочих. Проходя по мировой кунсткамере, автор любовно нанизывает на свои отравленные булавки всевозможных букашек и таракашек, но слона современности даже не примечает. И это не случайность. Такой своеобразный дальтонизм, эта однобокая слепота присуща, по-видимому, всем аристократам духа. Они не прочь бывают высказать мимоходом сочувствие пролетарию, иной раз даже уделить ему скромный уголок в своем творчестве. Но отвести ему то центральное место в этом творчестве, какое он занимает по праву в жизни, аристократы духа не властны. Уж слишком «серым и обыкновенным» представляется он для этого их аристократическому оку. И в конце концов каждый из них охотно отмахнулся бы от этих серых рабочих, как от докучливых мух, энергичной фразой Ницше:

«Побрал бы их черт и статистика!»

А между тем попробуйте перенести того же Савву из монастырского посада в рабочую слободку, и вы сразу же почувствуете, как нелепа и его фразеология, и его тактика. Повторите, например, имея в виду рабочих, гневную тираду Саввы о «скотах» и «баранах», его отказ «надеть фрак (!) и читать им лекции», его угрозу «огнем»!.. Какой грубой фальшью по отношению к рабочим звучала бы его фраза:

«Как будто *их* мало учили! Как будто для них имеют значение слова, мысли!»

Нет никакого сомнения, что, говоря все это, Савва не мог иметь в виду рабочих. Но не странно ли, что, обращаясь якобы ко всем людям вообще, он имел в виду только мещан? Разве «человек» для этого сына трактирщика начинается лишь с фрачного мещанина, подобно тому, как для поколения феодалов, он начинался — с барона? Мы не думаем этого. Нет, витая в радужных эмпиреях сверхклассовых отвлеченностей, Савва просто не дал себе труда подумать о той серой реальности, какую представляют собой копошащиеся где-то там внизу, в пыли и копоти, строители будущего. И в этом опять-таки нельзя не усмотреть легкого отпечатка барской психики. Отпечатка, который невозможно было бы, конечно, открыть у «мужика» Саввы, если бы тот не унаследовал его от своего духовного отца, Андреева.

III

Однако пойдем дальше. Мы сказали, что аристократы духа — индивидуалисты. *Восстание личности против общества* — вот их знамя. И потому лишь мощные индивидуальности представляют собою известную цену в глазах аристократии духа. Великие личности, герои духа — вот цель. Все остальное только средство.

«Толпа есть только сырой материал, из которого мы, лучшие люди, должны создать народ»,— говорит доктор Штокман. А «народ,— в свою очередь по образному выражению Ницше[1],— есть окольный путь природы, чтобы дойти до шести-семи великих людей», говоря короче, великие люди это и источник, и цель цивилизации.

[1] Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла, стр. 126.

«Счастье масс,— пытается обосновать эту мысль Брандес [1],— не в том, чтобы все обладали некоторыми элементарными сведениями по физиологии, а в том, чтобы один Пастер имел возможность развивать свои гениальные способности... Одно открытие Пастера дороже обучения грамоте тысячи посредственностей»... Слишком очевидно, однако, что Брандес вступает здесь на шаткую почву. Судить о том, в чем «счастье масс», следовало бы предоставить им самим.

Впрочем, и сам Брандес не придает, по-видимому, большой цены этому сомнительному аргументу от утилитаризма, ибо непосредственно вслед за ним выдвигает совершенно исключающие его соображения от эстетики. Кто знает, спрашивает он, не хуже ли было бы, если б не было тех прискорбных условий, благодаря которым явилась Жанна д'Арк? И не пришлось ли бы нам пожалеть о тех болезнетворных бациллах, без которых не было бы и Пастера? «Можем ли мы сказать, что *красота* подобного явления куплена слишком дорогой ценой»!..

Тут уж, очевидно, «счастье масс» не при чем. Но и эстетика Брандеса весьма подозрительна. Конечно, и на зловонном болоте вырастают иногда очень душистые лилии. Но разве их благоухание не теряется в общем зловонии? Попробуйте найти эстета, который ради лилий стал бы жить в болоте. Другое дело, если любоваться болотными лилиями с облаков. С облаков аристократизма действительно трудно понять, что «красота подобного явления куплена слишком дорогой ценой». И Брандес смело делает свой вывод:

«Главною заботою человечества должна быть выработка, развитие и сохранение таких великих личностей».

«Все человечество,— еще решительнее высказывается Ницше,— должно неустанно работать над тем, чтобы воспитать несколько великих личностей, *это его задача и другой задачи у него нет*» [2].

Нам видятся, положим, и другие, более грандиозные, задачи; например: «воспитать» вместо нескольких великих людей — великое человечество. Но, чтобы не быть придирчивым, попробуем согласиться с аристократической постановкой вопроса и только спросим: при каком же строе жизни аристократы духа видят всего больше шансов для успеха в разрешении этой задачи?

Для Брандеса «этот вопрос остается еще открытым». Ясно для него лишь то, что этот искомый строй — *не* демократия. В прошлом, говорит он, «условия, облегчающие развитие талантов, составляли одну из главных забот королей и пап... Эпохи, подобные веку Людовика XIV, создавали условия, делавшие возможным полное (!) их развитие». Слушайте, слушайте! Атмосфера придворного разврата и льстивой лжи, низкопоклонства перед титулованными ничтожествами и заискивания перед их наложницами, или, говоря короче, состояние в королевских *шутах и приживалках* — вот условия, делавшие возможным *полное* развитие аристократических душ!

Увы, увы! Все это было, но прошло. «В настоящее время,— горько жалуется Брандес,— этот принцип (меценатства), бывший достоянием пап и королей, ничем не заменен в республиках, весьма часто покровительствующих посредственности в ущерб талантам». Демократия, видите ли, имеет дерзость утверждать, «что человечество уже более не нуждается в руководителях» и потому относится-де «с пренебрежением к аристократии ума и таланта». Мудрено ли поэтому, заключает Брандес вслед за Генри Мэном, что с ростом демократии во всех странах «все более и более распространяются самые плоские и пошлые способы мыс-

---

[1] Г. Брандес. Великие люди как источник и цель цивилизации. «Научный обозреватель», 1902, № 8 и 9.

[2] Лихтенберже. Указ. соч., стр. 63.

лить и чувствовать, и что в конце концов прогресс, создаваемый только (!) великими личностями, остановится и наступит эпоха застоя».

Плоские и пошлые способы мыслить и чувствовать действительно распространяются. Правда, не с ростом демократии, а с расширением сферы влияния мещанства. Но аристократическая психика не терпит столь «тонких» различий. Она не мирится с демократической идеей равенства и баста! Носители этой идеи, в особенности если они оплодотворяют ее идеей коммунизма, являются в глазах аристократа духа злейшими врагами не только культа гениев, но вместе с тем и всей культуры. Как же ему удержаться тут на высоте беспристрастия.

И действительно, засыпая своих противников целыми тучами ядовитых сарказмов и полемических стрел, аристократы духа обнаруживают обычно гораздо больше остроумия, чем желания понять этих злокозненных «тарантулов-уравнителей».

Послушайте, например, Генриха Гейне, занятого «восстановлением чести покойного царя Прокруста». Как язвительно доказывает он, «что об этом Прокрусте имели до сих пор такое фальшивое представление потому, что он шел впереди своего времени и, живя в героически аристократическом периоде, старался осуществить плебейские идеи наших дней. «Никто не понимал, для чего он укорачивал больших людей и вытягивал маленьких до тех пор, пока они не приходились по мерке его железной кровати равенства...» [1]

Никто не понимал. «Понял» — это лишь Гейне. И не удивительно, что при *таком* понимании демократия будущего рисуется ему отнюдь не в розовых красках. Вот, например, несколько выдержек для образчика.

«Демократия,— по словам Гейне,— ненавидит поэзию». «Демократия бесится на всех, воспевающих любовь... К чему воспевать розу, аристократ! Воспевай демократический картофель, прокармливающий народ!» «Господство демократии влечет за собой конец литературы, вводя свободу и равенство в слоге. Всякому дозволяется писать по своему усмотрению,— язвит Гейне,— но при этом так скверно, как ему угодно. И однако, никто другой не имеет права стать выше его в стилистическом отношении, писать лучше его». «Стань коммунисты во главе правления,— замечает Гейне, по другому поводу,— они в бешеном стремлении к равенству» ниспровергли бы, конечно, и Вандомскую колонну — «этот памятник и символ жажды славы». «По их понятиям ни один человек и ни одно человеческое произведение не должно выходить из общего уровня, и строительному искусству, точно так же как эпической поэзии, грозит погибель» [2].

Как видим, торжество демократии совсем не улыбается эстету Гейне. Мудрено ли поэтому, что его страшит все, способное ускорить это торжество, и прежде всего все «так называемые радикальные средства», т. е. революция. Эти средства, замечает наш неистовый поклонник красоты, «уничтожат разве только общественную коросту, но не внутреннюю гнилость». Все улучшение пойдет при этом в ущерб «последним следам красоты». Вылечившийся филистер встанет с постели в отвратительном госпитальном платье, пепельно-сером костюме равенства и станет жить со дня на день...» «Несвоевременная победа пролетариев,— повторяет Гейне в другом месте,— не может быть продолжительна и должна составить несчастие человечества, потому что эти люди в своем безумном упоении равенством разрушают все прекрасное и возвышенное, и воздвигают особенно бешеное гонение на науку и искусство» [3].

---

[1] Г. Гейне. Сочинения, т. VIII, стр. 123.
[2] Г. Гейне. Сочинения, т. XV, стр. 279 и т. VIII, стр. 207.
[3] Г. Гейне. Сочинения, т. VI, стр. 308—309; см. также т. VIII, стр. 154.

«...С ужасом и трепетом думаю я,— признается Гейне еще в одном месте,— о времени, когда эти разрушители достигнут господства. Своими грубыми руками они беспощадно разобьют все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу; они вырубят мои олеандровые рощи и станут сажать в них картофель; лилии, которые не занимались никакой работой и, однако же, были одеты так великолепно, как царь Соломон, во всем блеске своей роскоши, будут вырваны из почвы,— разве только они захотят взять в руки рабочий инструмент; роз, праздных невест, соловьев постигнет такая же участь; соловьи, эти бесполезные певцы, будут прогнаны,— и ах! из моей «Книги песен» торговец будет делать пакеты и всыпать в них кофе и нюхательный табак для старых баб будущего» [1].

В этом пышном букете едких сарказмов и лирических вздохов мы отметим пока лишь одно в некотором роде «пророческое место» — о Вандомской колонне. Написано оно было в 1841 г., а 30 лет спустя Вандомская колонна действительно рухнула под звуки Марсельезы по манию коммунаров. Но большой проницательности для того, чтобы предвидеть это, вовсе не требовалось. Идея свергнуть бонапартовскую колонну зрела в свободолюбивых головах чуть ли не с самого момента ее постройки. В иных упрямых башках, по свидетельству Лиссагаре, она лет сорок ждала своего осуществления [2]. И уж, конечно, не составляла секрета. Сам Гейне непосредственно вслед за своим «пророчеством» приводит, например, такие слова некоего «республиканца» по поводу проекта мавзолея Наполеону:

«К чему еще строить памятники честолюбивым убийцам народа? На это будут истрачены деньги нуждающегося народа, а мы ведь, все-таки, разобьем его, когда придет время».

Итак дело ясно. То, в чем аристократ Гейне видел только символ славы, имело и свою изнанку. Слава великого честолюбца зиждилась ведь на порабощении народа. И с демократической изнанки Вандомский пьедестал был, стало быть, *символом рабства,* а не славы. Вот почему этот символ разбился в день освобождения и снова вырос в дни реакции.

Какую же мораль можно извлечь из этого исторического инцидента? Подтверждает ли он гейневские прорицания о той «красной опасности», какая, будто бы, угрожает поэзии и искусству со стороны «коммунистов»? Конечно, нет. Коммунары разбили ведь не памятник искусства, а символ рабства. Этот акт выражал, стало быть, не эстетические, а политические чувства народа. И все же это единственный акт, в котором можно бы еще хоть с натяжкой усмотреть *фактическое* подтверждение гейневских прорицаний. Все остальное в них — совершенно произвольный, а потому и не стоящий серьезного разбора, субъективный вздор.

Трудно отрицать его значение в одном лишь смысле. Он служит прекрасным показателем того инстинктивного ужаса и тех «попятных» настроений, какие зарождает в аристократических душах ничем не прикрашенный призрак последовательной, социалистической демократии. В самом деле, каким недоверием к будущему, смешанным с тихой грустью по отживающему и отжившему прошлому, звучат хотя бы следующие уже цитированные строки у Ницше:

«Да,— замечает он в тоне тоскливой иронии,— когда жизнь будет вполне упорядочена, она не будет доставлять никаких мотивов для поэзии, и только отсталые люди станут еще жаждать поэтических вымыслов. Они с тоской будут тогда оглядываться назад, на время несовершенного строя полуварварского общества, на... наше время» [3].

---

[1] Г. Гейне. Сочинения, т. VIII, стр. 11.
[2] П. О. Лиссагаре. История Парижской коммуны. СПб., 1906, стр. 297.
[3] Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое. М., 1901, стр. 234.

Или вот еще образчик:

«Увы! — восклицает ницшевский Заратустра.— Наступает время, когда человек не станет уже родить ни одной звезды. Увы! Наступает время презреннейшего человека, который не может больше презирать самого себя.

Смотрите! Я показываю вам *последнего человека.*

Что такое любовь? Что такое творчество? Что такое тоска? Что такое звезда? — так спрашивает последний человек и моргает.

...Нет больше бедных и богатых: и то и другое слишком обременительно.

Кто хочет управлять? Кто еще повинуется? И то и другое слишком затруднительно.

Ни одного пастыря и одно стадо! Каждый стремится к равенству, все равны: кто чувствует не так, тот добровольно идет в сумасшедший дом.

...Мы нашли счастье,— говорят последние люди и моргают» [1]

IV

Как видим, Ницше не жалеет ни едких слов, ни образов для выражения своих чувств к «тарантулам-уравнителям». Иной раз он не удерживается, несмотря на свой изысканный вкус, даже от довольно вульгарной брани в их адрес. Революция представляется ему «ужасной и, если посмотреть вблизи, совершенно излишней шуткой». Социалистическое же общество для Ницше — это просто-напросто «автономное стадо», а сами социалисты и вовсе «болваны». Столь сильные выражения свидетельствуют, несомненно, о не менее сильном раздражении. Но вызывают его в Ницше не столько сами нивелировщики, сколько их идеал. Сами нивелировщики в глазах Ницше хоть и «неотесанные», но все же «славные парни», а вот их идеал это уже, с его точки зрения, нечто совершенно неудобоваримое [2].

«Социалисты,— говорит Ницше,— стремятся создать для возможно большего числа людей привольное житье. Если б в действительности возможно было достигнуть этой обетованной земли, создать совершенное государство, то этим самым была бы уничтожена возможность развития великого интеллекта, сильного индивида в смысле твердости и энергии. Если б человечество достигло обетованной земли, оно было бы слишком слабо для создания гения. Итак, не следует ли желать, чтобы жизнь сохраняла свой насильственный характер, и чтобы вновь и вновь пробуждались дикие силы и энергия. Теперь горячее сострадательное сердце хочет устранить этот насильственный и дикий характер общества, и самое горячее сердце, какое только можно себе представить, с наибольшей страстностью и добивается именно такого устранения, забывая между тем, что оно свою теплоту, свой огонь, свою жизнь почерпнуло из этого дикого и насильственного строя жизни. Таким образом, выходит, что самое горячее сердце хочет упразднить свою основу, упразднить себя... Мудрец должен противиться таким неумеренным желаниям неразумно добрых людей; для него важно продолжение его типа; по крайней мере, он не будет способствовать утверждению «совершенного государства», потому что в таком государстве имеют место только вялые индивиды» [3].

И вот, выступая под знаменем «мудрой» реакции горячих сердец нивелировщиков, Ницше высказывается за абсолютизм.

«Способность воли», или, говоря точнее, сильные характеры, по мысли Ницше, лучше всего развиваются в России, этом громадном полу-

---

[1] Ф. Ницше. Так говорил Заратустра, стр. 12—13.
[2] Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла, стр. 38, 69, 202, 203.
[3] Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое, стр. 236.

азиатском царстве деспотизма. «Там сила хотеть давно скоплена и нагромождена, там воля ждет в неизвестности, будет ли она отрицать или утверждать...» Лишь введение «парламентского слабоумия», иронизирует Ницше, могло бы ослабить Россию настолько, что она перестала бы быть опасной Европе. Но не этого жаждет аристократическая душа Ницше. Напротив. Он мечтает «о таком увеличении грозности России, благодаря которому Европа должна бы решиться стать столь же грозной, именно, приобрести *одну волю* посредством *единой* властвующей над Европой касты, приобрести волю твердую, наводящую страх, собственную волю, которая могла бы поставлять себе цели за целое тысячелетие...»

«Одним словом,— заключает Ницше,— я желаю, чтобы во всей Европе царило единодушное, как в России, Самодержавие!» [1]

И в этом есть своя аристократическая логика. Ведь высшей ценностью жизни для аристократа духа является великая личность, гений. Но как он создается в жизни? «Природа,— картинно отвечает Ницше,— засаживает гения в тюрьму и в высшей степени разжигает в нем страсть к свободе». Великая страсть выказывает, конечно, и великое упорство в преследовании целей, создает характер. Тюрьма придает ему должный закал. А решение во что бы то ни стало вырваться из тюрьмы направляет его на новые, никем еще не проторенные пути. «Так,— по замечанию Ницше,— возникают гении, самобытность которых прославляется».

А если это так, если мощные индивидуальности и впрямь создаются тюрьмой, то почему бы не обратить в такую тюрьму для воспитания гениев хоть всю Европу? Если абсолютизм действительно выковывает типы той тонкой красоты и героической мощи, примерами которой переполнена история дореволюционной России, то да здравствует абсолютизм!..

Такова аристократическая логика. До оборотной стороны медали ей нет никакого дела. Пусть от мощных рыцарей правды и самоотверженных героев духа в атмосфере абсолютизма остается лишь перегной, на котором пышно цветут Гартинги и Азефы, господ аристократов духа это не касается.

Но забудем и мы об этой изнанке. Попробуем взглянуть на дело только с казовой стороны и спросим — верна ли основная посылка ницшевского силлогизма? Тюрьмы ли воспитывают мощные индивидуальности?

«Я знаю, что клетки зверинцев *укрощают* зверей,— приходится ответить на это словами самого же Ницше,— но чтобы клетки их «улучшали»— вот мысль, которая вызывает у меня хохот!» О, конечно, сильная воля выковывается лишь *в борьбе*. Это для нас бесспорно. Но разве можно назвать борьбой схватку связанного по рукам и ногам узника со своим палачом! А между тем только такие схватки и мыслимы были доныне в той огромной тюрьме «доброго», старого времени, которую идеализировал Ницше.

Нет, эта тюрьма не укрепляет, а расслабляет волю. Нет, она не развивает, а убивает личность. И если мы все же смогли бы указать и у нас десяток-другой богатырей воли, то кто осмелится утверждать, что эти богатыри выросли у нас благодаря удушливой атмосфере тюрьмы, а не вопреки ей. Глубокий знаток русской народной души Глеб Успенский сказал как-то: «Мысль, не пользующаяся правом жизни, должна неизбежно сгнить в уме, обладающем ею, должна пройти все фазисы разложения...» [2]. То же самое можно повторить о «воле» и «личности». Если им не дано пользоваться правами жизни, они неизбежно гниют, проходя все фазисы разложения.

---

[1] Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое, стр. 231.
[2] Г. Успенский. Сочинения, т. IV. СПб., 1884, стр. 177.

И в самом деле. Возьмете ли вы забитого и захудалого мужичка Платона Каратаева, или истого барина Обломова, или отзывчивого к веяниям разночинца Тяпушкина — во всех этих истинно национальных типах старой России вы отыщете при желании все достоинства... Кроме одного. Личной энергии, того, что называют характером, вы в них не найдете. Безличность, бесхарактерность — вот что всегда было у нас едва ли не самой яркой национальной чертой. Да и где, впрочем, было нашим Тяпушкиным упражнять в себе волю, развивать личность?

«Когда тут было думать,— скажем мы словами Г. И. Успенского,— о своих каких-то правах, о достоинстве, о человечности отношений, о чести, когда, что ни «улучшение жизни», то только слышно хрустение костей человеческих, словно кофей в кофейнице размалывают?» Какие уж там личные права и достоинство? Тут уж знай лишь «пихай трубку в карман да полезай в кофейницу, если не удалось бежать во леса, леса дремучие» [1].

Как видите, читатель, слагать гимны этой «кофейнице», в которой вместе с костями размалывались и личность, честь и достоинство человеческие,— даже аристократ Ницше мог лишь по какому-то прискорбному недоразумению. Характерно, однако, что в это недоразумение впадал не один из аристократов духа. Так, например, Ибсен,— тот самый Ибсен, в глазах которого «государство — проклятие личности»,— в одном из своих писем к Брандесу написал следующие строки:

«Лучше всего процветает свобода духа и мысли *при абсолютизме*, это доказано (?) примером Франции, а позже Германии и теперь России» [2].

Впрочем слагать бескорыстные гимны во славу русского абсолютизма это по крайней мере оригинально. Но перепевать их с чужого голоса, как это, например, делал в свое время г. Мережковский,— задача не столь уж почтенная. И все же... и за нее берутся при случае. Как видно, над нашими доморощенными аристократами духа тяготеет некий фатум. Слишком запоздав своим рождением, чтобы быть самобытными в избранном ими роде, эти эпигоны при всем своем отвращении к «избитым шаблонам», увы, даже в экстравагантностях своих лишь рабски копируют «классические образчики». Послушайте, например, с каким усердием, хотя и без соответствующего таланта, перепевают они антидемократические выпады Генриха Гейне и Фридриха Ницше.

«... Последние результаты западной цивилизации,— пишет Владимир Соловьев о социализме etc.,— по своей узости и мелкости могут удовлетворять только такие же узкие и мелкие сердца». Проводником его притязаний, т. е. притязаний социализма, является «только умственный и нравственный vulgus» [3].

«В социалистическом обществе,— вторит ему, скучно пережевывая все те же темы, г. Бердяев,— не мыслится существование пророков и мудрецов, великих учителей жизни, творцов и гениев, царей в царстве духа». «Призвание мыслителя и поэта, мудреца и художника,— горько жалуется он,— не будет лелеяться, творчество не будет цениться особо, и великие книги и картины не сделаются предметом народной гордости и поклонения». Далее г. Бердяев смело утверждает, что «социал-демократический дух не имеет вкуса к свободе совести и вообще к свободе», и приписывает своим противникам такое утверждение: «пусть лучше не будет ни единой личности, ни глубоких вод, ни высоких гор, лишь бы была механическая однородность». И, наконец, на основании всех этих и тому подобных, мы бы сказали, «достоверных лжесвидетельств»

---

[1] Г. Успенский. Сочинения, т. VI, стр. 394.
[2] Г. Ибсен. Полное собрание сочинений. Изд. Скирмунта, т. VIII, стр. 256.
[3] В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. I. СПб., 1901, стр. 256.

г. Бердяев победоносно заключает: «Социал-демократическая религия (?) не уничтожает царства мещанства, а *всех* делает *мещанами*» [1].

Но стоит ли еще умножать здесь цитаты этого рода? Стоит ли повторять обвинения, в которых так мало понимания демократии и так много трепета перед нею. И какого! Жалкого трепета за свое праздное существование. Трепета перед тем рабочим инструментом, который эти ужасные демократы готовы, мол, навязать даже столь прекрасным и в своей праздности аристократическим лилиям.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Вы помните, конечно, читатель, прелестную сказочку-утопию Л. Н. Толстого про «царство дураков». В этом сермяжном царстве Толстой идеализирует первобытный строй натурально-хозяйственной эпохи. Машины и прочие завоевания человеческой культуры там неведомы. Но отсутствуют, мол, и соответствующие потребности. Работают в этом царстве попросту, по-мужицки,— «руками да горбом». Но зато уж все работают, так что «без мозолей на руках» там и за стол не пускают.

Конечно, «старый дьявол» культуры не прочь бы укорениться и в этом «дурацком» Эльдорадо. Но тщетно. Все его искушения и соблазны отскакивают от «дураков», как горох от стенки. Золото? Но оно у «дураков» служит лишь ребятам на потеху. Блага духовной культуры? Но они им чужды и непонятны. Напрасно бедный культурный черт, приняв на себя облик «господина чистого», взбирается на каланчу и «лопочет» оттуда дуракам о преимуществах головной работы. Его не понимают. Лопочет наш черт день и два, выбивается из сил от голода и утомления,— безмозольная работа не кормит ведь в дурацком Эльдорадо,— а толку все нет как нет. Наконец он начинает уже пошатываться от истощения и головой об столбы постукивать. Ага! догадываются тут дураки: вот он когда зачинает головой работать. И вот бедный дьявол, «споткнувшись» обо что-то,— об эту дурацкую догадливость, очевидно,— летит вниз со своей каланчи, торчмя головою.

Таким-то царством дураков представляют себе, как видно, разные господа чистые и социал-демократический идеал. Как далеко это представление от действительности, мы еще увидим. Но факт остается фактом. Бедным изголодавшимся чертом-белоручкой со слабой трясущейся головой — над бездной, должен представлять себя каждый аристократ духа перед лицом грядущей демократии.

«Итак, все кончено, вся жизнь, вся возможность жить!»— выражает, например, это настроение одна из героинь Валерия Брюсова в день победы последней, мировой, революции. «Поколениями, десятками поколений взращена моя душа. Я могу дышать только в роскоши... Мне нужно быть над другими, я задыхаюсь, когда слишком многие рядом. Вся моя жизнь в тех изнеженных, в тех утонченных переживаниях, которые возможны только на высоте! Мы — тепличные цветы человечества, которым погибнуть под ветром и пылью. Я не хочу, я не хочу вашей свободы, вашего равенства! Я буду лучше вашей коварной рабой, чем товарищем в вашем братстве!» [2]

Та же жуткая перспектива живо рисуется, по-видимому, и г. Бердяеву, как только он заговорит о социал-демократах. И действительно,

---

[1] Н. Бердяев. Новое религиозное сознание. СПб., 1907, стр. 73, 88, 97, 98, 99.
[2] В. Брюсов. Земная ось. М., 1907, стр. 70 («Последние мученики»).

кто, как не они, «с педантизмом и изуверством, по негодующему выражению г. Бердяева, наваливают на человека *высшего призвания* бескачественную механику *материального труда, не хотят приютить мудреца и пророка»* [1]. Кто, как не они, грозятся завести у себя «дурацкий» обычай: «у кого мозоли на руках, полезай за стол, а у кого нет, тому объедки». Как! «мудрецу и пророку» угрожать объедками? Это ли не педантизм и изуверство?.. Как же тут не ополчиться против их идеала и не наговорить о нем с перепугу разного мещанского вздора? И аристократы духа ополчаются.

Но как же им рисуется свой собственный социальный идеал?

Социальный идеал — это идеал *общежития,* а духовные аристократы прежде всего индивидуалисты — антиобщественники. И потому в их по большей части заоблачных идеалах весьма мало социальных элементов. Но все же они есть, конечно. Попробуем же собрать эти разбросанные элементы воедино и восстановить по ним цельную картину.

Основной тезис этой картины, повторяющийся в той или другой форме у всех аристократов духа, может быть выражен в следующих двух положениях г. Бердяева:

«Для пользы бескачественной человеческой массы безбожно было бы истребить великие памятники, книги и картины, принести в жертву мыслителей, художников и пророков». «Но жертвы для создания великого храма, великих статуй и картин, великих книг могут быть оправданы» [2].

Переходя от этого слишком абстрактного, а потому и мало вразумительного тезиса к более конкретным штрихам и абрисам, мы сможем уже у Гейне отметить такой довольно характерный афоризм.

«Человечество не может обойтись без того, чтобы им не управляли и не воодушевляли его» [3].

Конечно, и это утверждение в достаточной еще мере абстрактно, но кое на что оно уже указывает. Более вразумительный намек находим мы у Георга Брандеса.

«Толпа,— замечает он среди томных вздохов по веку Людовика XIV,— будучи опасна великому человеку, вместе с тем может быть ему полезна как известная сила, *как орудие его намерений,* клонящихся (?) к ее же собственному благу».

Смелый и прямолинейный Ницше развивает этот неясный намек в следующий жестокий, но зато уже вполне вразумительный, силлогизм.

Смысл человеческого бытия, по Ницше, это «сверхчеловек — молния из темной тучи человека» или, говоря проще, идеализированный аристократ духа. Но где всего пышнее расцветают такие аристократы, как не в атмосфере праздности, когда вся черная работа совершается за них другими, а им остается лишь культивировать свои «высшие способности» и повышать «культуру». А если это так, то вывод напрашивается сам собой.

«Высшая ступень культуры,— формулирует его Ницше,— может быть достигнута только обществом, разделенным на две резко разграниченных касты: на касту рабочих и касту праздных, одаренных способностью к истинной праздности; или, выражаясь сильнее, на касту труда принудительного и труда свободного»... «Рабство,— по Ницше,— составляет одно из существенно необходимых условий культуры» [4]. И этого для него вполне достаточно, чтобы оправдать во имя культуры и кастовый строй и рабство.

---

[1] Н. Бердяев. Указ. соч., стр. 110.
[2] Там же, стр. 98—99 и 111—112.
[3] Г. Гейне. Сочинения, т. VIII, стр. 44.
[4] Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое, стр. 439; Лихтенберже. Указ. соч., стр. 64.

Но, что выгодно отличает Ницше от всех его усердных повторяльщиков, это его полное пренебрежение ко всяким фиговым листкам лицемерия. Оправдывать рабство толпы утверждениями о «ее же собственной пользе» ему и в голову не приходит. Напротив. «Самым существенным в хорошей и здоровой аристократии,— Ницше как раз считает,— то, чтобы она... с чистой совестью принимала жертву бессчетного числа людей, которые *ради нее* должны быть несовершенными людьми и снизойти до степени рабов и орудий» [1]. Это суровый, даже жестокий, но не лживый язык.

«Гений культуры» рисуется Ницше «существом до того пользующимся ложью, насилием и беззастенчивым преследованием своей личной пользы, что его можно бы назвать демонически злым...» «Торжествующую культуру» Ницше уподобляет поэтому «победителю во время триумфального шествия, который, весь в крови своих жертв, тащит в рабство за своей колесницей толпу привязанных к ней побежденных». Но основным его «верованием» остается все же взгляд, что «общество существует не ради общества, а служит только фундаментом и подмостками, по которым избранная порода существ может взбираться и достигать своих высших задач и вообще высшего бытия». И прямой Ницше без всяких уверток и умолчаний заявляет:

«Горести влачащих тяжелое существование тружеников должны еще возрасти, чтобы дать возможность небольшому числу людей-олимпийцев создать прекрасный мир искусства» [2].

Конечно, говоря о своей касте праздных, Ницше имел в виду не нынешнюю финансовую или родовую аристократию. Его Заратустра проповедует *«новую аристократию,* которая будет противником всякой черни и всякого деспотизма...» [3]. Последнее, впрочем, надо понимать, по-видимому, лишь в том смысле, что эта аристократия не признает *над собой* никакой власти, но вовсе не в том, что она и сама откажется от господства над «чернью». Это видно уже из того, что в высшую касту у Ницше зачисляются: правители, блюстители закона, защитники порядка, воины, тогда как роль низшей касты, роль всех тех, «кого слишком много» —die Vielzuvielen,— Заратустра определяет такой недвусмысленной фразой:

«Для вас — вера и подчинение!» [4].

И нужно добавить, что этих несчастных, «кого слишком много», в идеальном строе Ницше ждет не только подчинение, но и эксплуатация. Таков уж, видите ли, закон судьбы. «Пока существует общество, будут существовать и сильные, привилегированные, и великолепие их будет питаться несчастием массы, ради них угнетаемой и эксплуатируемой» [5]. Одним словом, все будет tout comme chez nous.

Ницше проектирует кастовый строй. Но касты у него не замкнутые. «Более тупые и малоспособные семьи и личности из высшей касты низводятся в низшую, и более свободные личности из этой последней получают доступ в высшую касту...» Как это осуществляется, путем ли особых конкурсных экзаменов на чин мандарина духа, или каким иным, неизвестно. Но зато со слов автора достоверно известно, что *«этим* достигается такое состояние, за которым простирается уже только беспредельное море неопределенных желаний» [6].

Такова жалкая, бескрылая утопия Ницше.

---

[1] Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла, стр. 250 (курс. автора).
[2] Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое, стр. 241; Он же. По ту сторону добра и зла, стр. 258; Лихтенберже. Указ. соч., стр. 64.
[3] Ф. Ницше. Так говорил Заратустра, стр. 221.
[4] Лихтенберже. Указ. соч., стр. 186.
[5] Там же, стр. 66.
[6] Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое, стр. 439

И хоть бы возможно было признать за ней аромат свежести, оригинальности. Но и этого нет. «Новая аристократия» Заратустры представляет собой особу столь дряхлого возраста, что невольно родится вопрос: да стоило ли переоценивать все ценности лишь для того, чтобы возвести на трон такие увядшие, двухтысячелетние «прелести»! Ведь отдаленный прообраз ницшевской олигархии мудрых мы находим еще в «Республике» Платона — этого античного предтечи наших современных мандаринов духа из «Проблем идеализма».

II

Напомним, однако, читателю этот классический прообраз всех позднейших аристократических утопий.

Исходя из строго идеалистической метафизики, Платон учил, что душа человека состоит из двух частей: бессмертной — божественного разума и смертной, которая в свою очередь распадается на две части: отвагу и чувственное вожделение. Последние две части, по образному представлению Платона, как два коня, благородный и не благородный, везут колесницу — тело; бессмертный же разум управляет ими за кучера. Рассматривая государство как живой организм, Платон строил его по образцу человека, и потому идеальный государственный строй рисовался ему в таком виде. Промышленное сословие — крестьяне и ремесленники — работает и добывает на всех пропитание. Сословие воинов проявляет свою отвагу в защите государства. А философы управляют обоими низшими сословиями и ведут государство к осуществлению его идеальной цели — добродетели и блаженства граждан.

Обосновывалось все это приблизительно так. Истинная добродетель, рассуждал Платон, основывается на философии. «Поэтому главное условие всякого здорового государства составляет-де господство философии, или, что то же (?), философов». Это господство предполагается, конечно, безусловным, ибо какой авторитет может стать выше царственной философии... — И его можно доверить лишь немногим, ибо «философия не есть дело массы». «Только меньшинство способно к развитию, которое требуется для высших политических функций».

Доступ из низшей касты в высшую у Платона допускается. Но социальная организация каждой из них особая. Высшая каста праздных в соответствии со своим назначением представляет собою нечто в роде особого духовного ордена. Правда, рыцари этого правящего ордена не дают обетов целомудрия и нищенства, но все же, чтобы подрезать корни «вечному врагу государства — частному интересу», семья и частная собственность в их среде упраздняются. На касту трудящихся Платон такого коммунизма не распространял. И это понятно. Они ведь должны были много работать. А в эпоху господства индивидуальных орудий труда и форм производства — лучшего *погонщика в труде,* как частный интерес индивидуального же присвоения, трудно было себе и представить.

Конечно, эти «частные собственники», по плану Платона, тщательно выдаиваются по мере надобности правящим орденом «мудрых». Но выдаиваются они исключительно во имя добродетели и блаженства граждан. Во имя той же цели этот орден наблюдает, чтобы граждане рождались только от самых способных родителей. Не ради чего другого учреждает он и строжайший надзор за искусством, в особенности за музыкой и поэзией. Бедный Гомер! Надзор этот должен был предохранять искусство от антиэтических элементов — некоторые мифы о богах и героях — и устранять его «изнеживающее влияние». Короче, не только вся общественная, но даже личная, интимная жизнь граждан вплоть до случки их по всем правилам «царственной» науки и грубой сорти-

ровки их пищи духовной подлежит в Республике Платона строжайшей регламентации правящей олигархии мудрых.

К некоторым из изложенных пунктов новейшие олигархи духа внесли бы, несомненно, кое-какие поправки. Так, например, борьбу с изнеживающим влиянием искусства нынешние изнеженные эпигоны Платона сочли бы, вероятно, преступлением. Понятно также, что какой-нибудь Гейне, столь едко высмеивавший «демократическую» свободу и равенство в стиле, предпочел бы цензуре этической — эстетическую цензуру слога. Но это уже детали. В общем же аристократические утопии всех эпигонов, как это еще не раз увидит читатель, и доныне повторяют все тот же государственный идеал Платона.

В заключение отметим еще одну черточку этого идеала. После трудов праведных по части насаждения добродетели граждан Платон предоставляет своей аристократии духа разрабатывать — pour la bonne bouche — философию. Для *массы* же, и только для нее, взамен этого оставляется этически очищенная «народная религия».

На последнем пункте стоит остановиться.

Аристократы духа — народ, вообще говоря, слишком умный, чтобы не быть вольнодумцами. Но это отнюдь не мешает им оставлять, а не то и вновь изобретать, разные народные религии для профанов. Для них даже такой богоборец, как Ницше, сохраняет не только подчинение, но и *веру*. Но не подумайте, читатель, что это делается ими ради каких-нибудь низких, своекорыстных побуждений. О, нет! Ведь это не крепостники-феодалы вроде какого-нибудь папа́-Карамазова, который бы и не прочь, пожалуй, упразднить «мистику», «чтобы истина скорее воссияла», да побаивается... Побаивается, кабы и его самого не упразднили тогда вместе со всей «цивилизацией». Что следует разуметь при этом под словом цивилизация, явствует из следующего афоризма того же папа̀-Карамазова.

«Если бы не выдумали Бога... и коньячку бы не было!»

Крепостнику Карамазову легко, конечно, острить по поводу тех крючьев, какими полагается тащить в ад, что если бы их не было, il faudrait les inventer,— их следовало бы выдумать... коньячку ради. Но к лицу ли было бы столь грубое остроумие истинному аристократу духа, который если даже верует немножко, то «по модному верует», огня материального во аде не признавая!.. Нет, если аристократам духа и случается выдумывать адские крючья для профанов, то делают они это не коньячку ради, а исключительно ради добродетели и блаженства этих профанов. И как трогательно, как красиво у них это выходит! Вспомните хоть легенду Достоевского о Великом Инквизиторе.

Слабых профанов гнетет тоска вековечная: «пред кем преклониться?» «Свобода, свободный ум и наука,— уверяет нас этот аристократ духа,— заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к нашим ногам и возопиют к нам о помощи». «Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к нашим ногам и скажут нам: лучше поработите нас, но накормите нас». А мы... продолжает великий иезуит в том же лирическом тоне... «Нам дороги и слабые». *«Мы их обманем»*... «Мы скажем, что послушны Тебе и господствуем во имя Твое». Ведь существует только три силы, «единственные три силы на земле, могущие на веки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, *для их же счастья*, эти три силы: чудо, тайна и авторитет». «Человек ищет не столько Бога, сколько чудес!»

«О!.. вдохновляется тут Великий Инквизитор,— мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся». «Тогда мы дадим им тихое смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы... Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо». *«Мы заставим их работать»*, но «мы разрешим им и грех, они слабы». «Наказание же за эти грехи так и быть возьмем на себя!» «Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей,— все судя по их послушанию,— и они будут нам покоряться с весельем и радостью».

«Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое, и за гробом обрящут лишь смерть. Но *мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесной и вечной»*. «И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч *страдальцев,* взявших на себя проклятие познания добра и зла!»

Вот что значит понимать толк в красоте! Быть страдальцами, несущими на себе проклятие... И притом не коньячку ради, а за грехи всего мира... Разве это не трогательно? Разве это не красиво? А между тем при красоте положения оно к тому же и не слишком обременительно. Ведь, взяв на себя, так и быть, грехи профанов и обеспечив себе за это господство над ними в сей земной жизни, господа «страдальцы» хранят про себя в секрете, что никакой иной жизни «вечной и небесной», где бы они рисковали получить возмездие за эти чужие грехи, нет и не предвидится.

Худший для господ «страдальцев» оборот дело приняло бы, если бы их притянули к ответу уже здесь, и притом не за чужие, а за их собственные грехи против правды и логики. Тут, перед судом профанов, им довольно трудно было бы оправдать свое пристрастие к разного рода «секретам» и «тайнам».

Положим, эти господа всегда пугают, что, если б для профанов не оставалось больше никаких секретов по части загробного воздаяния, они сбросили бы с себя последнюю узду и провозгласили бы — «все позволено!» Но для кого это страшно? Для тех кто хочет держать профанов в узде? Для охранителей коньячковой цивилизации? Для великих и малых инквизиторов духа?.. О, да! это весьма вероятно. Но для самих профанов — нисколько. Против *себя* своей свободой они не злоупотребят, конечно. Мы знаем, что инквизиторы духа не слишком лестного мнения о профанах. Для них это просто «скоты» и «звери». Но ведь даже скоты и звери никогда не поедают себе подобных, хотя их-то уж нисколько не сдерживает узда посмертного возмездия. Нет, господа «страдальцы», нас не смутят ваши лживые фразы о «проклятии» познания добра и зла. Нет, не познание добра и зла, а ваши инквизиторские тайны и секреты — вот что является проклятием профанов!

Помилуйте, воскликнут тут сторонники обуздания профанов. Да ведь они сами ищут «пред кем преклониться...» «Они будут дивиться на нас,— мечтает Великий Инквизитор,— и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились *выносить свободу*, которой они испугались (!), и над ними господствовать,— так ужасно станет им под конец быть свободными!»

И не подумайте, что эта смехотворная тирада представляет собой только плод расстроенного воображения или простое кликушество. Нет. «Это самые глубокие и самые пророческие слова, сказанные

о земной судьбе человечества». Так по крайней мере утверждает г. Бердяев [1].

И мы ему поверим на слово. Нет сомнения, что санкюлоты всех времен и народов только для того и разрушали свои бастилии, только для того и разбивали свои цепи, чтобы доказать нам, как они «боятся» свободы. Да, это очевидно. Они совершенно «не выносят свободы»... своих тюремщиков. А отсюда легко заключить, что и впредь выносить ее они едва ли смогут. И, конечно, чтобы заключить так, не надо быть ни пифией, ни кликушей,— достаточно быть лишь логичным. Не правда ли, г. Бердяев?

Еще курьезнее, однако, чем эта каламбурная свободобоязнь профанов, которую Великий Инквизитор придумал «для их же счастья», другая основная предпосылка его утопии. «Никакая наука,— гласит эта предпосылка,— не даст им (профанам) хлеба, пока они будут оставаться свободными... ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою». Да, никакая наука не даст им хлеба и никто их не накормит — «накормим лишь *мы*, во имя Твое, и *солжем*, что во имя Твое!»

Жалкие люди! Они еще продолжают лгать и обманывать по инерции, хотя им никто уже не верит. Да и как верить. Никогда, никогда не сумеете вы *разделиться* — наивно запугивают они тех самых профанов, на знамени которых четко выписано — «*Общий* труд на *общую* пользу».

Да мы и не собираемся «делиться» — могут ответить господам инквизиторам эти профаны. Но, если, по-вашему, наш труд даже в соединении с наукой не даст нам хлеба, то откуда же возьмете его *вы*, праздные паразиты? Чем же вы тогда «накормите» нас? Вашей ложью?

III

Как бы ни относиться, однако, к аргументации Великого Инквизитора, за ней можно признать одно несомненное достоинство. Она вскрывает нам *ради чего* аристократы духа, даже будучи безбожниками, не прочь сохранить для черни хоть плохонькую народную религию. Этой религии отводится у них вполне определенная полицейская роль обуздательницы профанов. Впрочем, многие аристократы духа и сами весьма откровенно это высказывали. Так, например, еще Аристотель учил в своей «Политике» государей: «Тиран *должен делать вид,* как будто он относится к религии необычайно серьезно, ибо подданные менее чувствуют незаконные действия тирана, если им кажется, что властитель богобоязнен и благочестив; с другой стороны, они нелегко предпринимают что-нибудь против него, так как ведь на его стороне стоят боги».

Другой ментор властителей, Макиавелли, писал в своем «Государе»: «Государь должен обладать хорошими человеческими свойствами, или, еще лучше, *должно казаться*, что он таковыми обладает; *в особенности, он должен казаться проникнутым благочестием и религиозностью.* Если некоторые и поймут действительную сущность его души, то они все же будут молчать, ибо государственное величие охраняет государя, который в силу этой охраны, если требует его выгода, может выставить противоположные стороны. Масса подданных, если он во многих случаях, когда это ему ничего не стоило, показывал богобоязнь, будет считать его за достойного почета человека и тогда, когда он действует против верности и веры и против религии». Напомним еще известное изречение сторонника просвещенного абсолютизма Вольтера. Исходя

[1] Н. Бердяев. Указ. соч., стр. 10.

из убеждения, что «трудно и даже невозможно было бы управлять государством, состоящим из атеистов», этот старый безбожник заявлял своим друзьям без обиняков: «Обратите внимание на католицизм: его нужно уничтожить у порядочных людей (les honnêtes gens), оставив его у сволочи (la canaille)»... Но не все же аристократы духа — вольтерианцы-безбожники. Немало и среди них, хоть «по-модному», а все же искренно верующих. У нас в России за последнее время с легкой руки господ Булгаковых и Бердяевых таких «по-модному» верующих аристократов духа развелось весьма предостаточно. Эти рыцари духа мирятся с цепями религии, как видно, не только для «подлой черни», но и для самих себя. И их приверженность к религии приходится объяснять уже гораздо более сложными мотивами.

Обращаясь к этим мотивам, мы встречаем у Достоевского такую характеристику одного из его героев духа, Версилова: «Это *очень гордый* человек... а многие из очень гордых людей любят верить в Бога, особенно несколько *презирающие людей.* У многих сильных людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность найти кого-нибудь или что-нибудь, перед чем преклониться... Они выбирают Бога, чтоб не преклоняться перед людьми... *преклоняться перед Богом не так обидно.* Из них выходят чрезвычайно горячо верующие, вернее сказать, горячо желающие верить, но желания они принимают за веру».

Это очень метко сказано. Итак, тоска вековечная «пред кем преклониться» особенно характерна для презирающих людей гордецов — аристократов духа. И, приписывая ее профанам, Великий Инквизитор Достоевского просто слишком поспешно обобщил свою собственную субъективную потребность. У современного борца-профана такой потребности может и не быть. С его точки зрения «бог» Великого Инквизитора — это не более, как разукрашенная фантазией *тень человека.* И если уж обидно преклоняться перед человеком, то не обиднее ли гнуть колени перед его тенью? А впрочем это дело вкуса.

Но в характеристике Версилова есть одна более сомнительная черточка. Господа Версиловы несомненно очень горды и презирают людей преизрядно. Они даже добро им творят, «скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза». Если угодно, их можно признать при всем том весьма незаурядными, крупными личностями. Но... но вряд ли их можно назвать *сильными.* Во всяком случае в них недостаточно силы, чтобы чувствовать себя вполне свободными духом и ни пред чем не преклоняться. Вот почему, выбирая меньшее из зол, они избирают наиболее безобидный для *их* гордости предмет поклонения — Бога.

С такой поправкой немногие строки Достоевского объясняют нам уже довольно много. Но не все еще. Это объяснение годится для всех времен, а потому недостаточно для нашего. В нем нет и намека на то, почему именно теперь, в наше время, тип верующего аристократа духа стал чуть ли не господствующим типом в известной среде. Более историчную разгадку этого явления дает нам Гейне в своих «Признаниях» несколько лет спустя после «бешеного» 1848 г.[1] Безбожник Гейне, как известно, к концу своей довольно бурной жизни обратился к философскому деизму «без положительных догматов», т. е., говоря попросту, стал верующим и притом «по-модному» — по тогдашней моде, разумеется.

Как же это случилось?

С тонкой и ядовитой, как острие отравленной иглы, иронией, которая не покидала Гейне даже тогда, когда он острил на свой собственный счет, этот старый безбожник представляет дело приблизительно

[1] Г. Гейне. Сочинения, т. X, стр. 43—47.

в таком виде. Пока безбожие было «сокровенным достоянием аристократии духа», которая еще «незадолго до революции» «богохульствовала за философскими petits soupers», разгоняя наплывом новых идей скуку своего праздного существования,— богохульствовал с ней и наш Гейне. Но когда и «грубый плебс начал толковать о том же на своих грязных сборищах... Когда атеизм начал сильно отзываться пивом, водкой и табаком», тогда, о тогда Гейне брезгливо отвернулся от безбожия.

Кроме этого «эстетического» отвращения, как поясняет сам Гейне, «тут действовал также общий целому свету страх риска»... Гейне увидел, что «атеизм заключил более или менее тайный союз с страшно обнаженным, не прикрытым ни одним виноградным листиком коммунизмом»... Последний пугал его, как мы уже видели, не за содержимое его пустых карманов, конечно. «Нет,— говорит Гейне,— сердце мое сжимается затаенным страхом художника и ученого, которые понимают (?), что победа коммунизма грозит гибелью всей нашей новейшей цивилизации... поэта охватывает *неудержимый ужас* при мысли о том времени, когда настанет царство этого грубого властелина».

Как бы, однако, ни мотивировать этот аристократический ужас перед лицом надвигающейся революции, факт остается фактом. Как только в воздухе запахнет грозой и атеизм из безобидной игрушки феодалов ума превращается в грозное оружие воинствующей демократии,— аристократы духа ужасаются и, забывая о своем былом безбожии, поспешно бегут один за другим с поля битвы в потусторонние, горные страны мистики. За примерами ходить недалеко. Вспомните хоть недавнее бегство целой фаланги типичных аристократов духа из лагеря так называемого легального марксизма в бесплодные пустыни мистического идеализма.

Быть может, впрочем, в ряду причин, толкающих ныне столько аристократических душ в объятия религии, не последнее место занимает еще одна. Чтобы не погрязнуть в засасывающей тине мещанской обыденности, нужно переживать хоть изредка сильнейшие душевные грозы. И «грубые» профаны переживают их, беззаветно отдаваясь вакхическим упоениям социальной борьбы с мещанством. Но дряблые аристократы духа не созданы для такой борьбы. В лучшем случае они вдохновляются ею на миг в моменты наивысшего общественного подъема, чтобы затем еще решительнее забыть о ней в эпоху реакции. И тут-то, чуждые высоким вдохновениям борьбы, они ищут себе компенсации в эротических наркозах хлыстовщины и находят ее в религиозных экстазах на почве полового психоза. Да, да, читатель, психоза, или, говоря точнее,— половой психопатии.

Дело не в том, конечно, что в переживаемую нами ныне вальпургиеву ночь реакции, т. е., выражаясь стихом Валерия Брюсова, «в час, когда бесстыдству учат — темнота и нагота», с аристократических уст смелее чем когда-либо срываются признания:

Одно нам осталось — сближаться, сливаться,
Слипаться устами, как гроздьям висеть [1].

Если бы, однако, господа аристократы духа ограничивались столь естественным в их положении препровождением времени, это бы еще куда ни шло. Но на их языке всему естественному уже a priori придается значение «вульгарного», а «вульгарное» не удовлетворяет, конечно, требованиям аристократического вкуса. И вот, отвернувшись с презрением от «вульгарной Афродиты», они благочестиво подогревают

---

[1] В. Брюсов. Венок. М., 1906, стр. 83.

средневековый культ «Афродиты небесной», которая, впрочем, при ближайшем рассмотрении чрезвычайно смахивает на Афродиту содомскую.

Чтобы не показаться голословными, сошлемся хотя бы на уже цитированную книгу г. Бердяева [1].

«*Средние века,* вновь ставшие нам (т. е. г. Бердяеву) родными и понятными», эта «самая чувственная эпоха», когда даже «божественные отношения на небе получили половую окраску» — вот что вдохновляет нашего автора. «Вопрос о поле и любви,— заявляет он сам,— имеет центральное значение для всего нашего религиозно-философского и религиозно-общественного мировоззрения». Следуя за г. Розановым, который «в половом акте видит трансцендентное общение с иными мирами, слияние с Божеством», г. Бердяев тоже находит, что «пол есть окно в иной мир», и проповедует любовь к Афродите небесной. Эта любовь, как поясняет автор, «не отвлеченно духовная и безплотная, она воплощена, полнокровна, конкретно-чувственна», но... она «сверхприродна» и «не рождает».

Правда, благодаря таким оговоркам бердяевский символ Афродиты небесной невольно вызывает представление о чем-то вроде хлыстовской богородицы, а его конкретно-чувственную и все же нерождающую любовь хочется назвать не сверхприродной, а более привычным термином — противоестественной. Но г. Бердяев чужд предрассудков, и это его ничуть не смущает.

«Ведь с религиозной точки зрения, да и с философской,— поучает он нас,— вся природа противоестественна». А стало быть, «так называемые «противоестественные» формы любви и полового соединения, приводящие в негодование ограниченных моралистов (!), *с высшей точки зрения* нисколько не хуже форм так называемого естественного соединения». И, взобравшись на эту «высшую» точку зрения, наш проповедник смело заключает: «Не «естественно» нужно соединяться полам, по законам природы и рациональной морали, а «сверхъестественно», по божественным законам преображения плоти» [2].

И вот, следуя этой философии, единомышленники г. Бердяева создают особый культ. Культ, в котором, по словам самих его сторонников, «в белизне и лазури Иисусовой вихрем кощунственным протекают пурпуры — пурпуры Содома и Гоморры» [3].

IV

Таков, примерно, символ веры религиозно настроенной части аристократов духа. Каковы же их *общественные* идеалы? Присмотримся к двум-трем образчикам, а чтобы не ходить далеко, начнем хоть со «Свободной теократии» Владимира Соловьева.

«Идеал свободной теократии,— рекламирует нам его г. Булгаков,— и пересмотр, критика и переоценка при свете этого христианского идеала нашей теперешней социальной науки, социальных идеалов и общественной жизни,— вот самое дорогое завещание, которое оставлено нам Владимиром Соловьевым и которое нам надлежит благочестиво исполнить; вот тема для русских социологов, юристов и экономистов, этим, а не ученическим переписыванием и повторением книжек западной науки со всей ее исторической ограниченностью, можно создать самостоятельную научную мысль в России» [4].

Посмотрим, что же нам надлежит благочестиво исполнить.

---

[1] Н. Бердяев. Указ. соч., стр. 156, 166—167, 172, 182 и др.
[2] Там же, стр. 185.
[3] Андрей Белый. Кубок метелей. Четвертая симфония. М., 1908, стр. 141.
[4] См. «параллели» г. Булгакова в сб. «Литературное Дело», 1902.

«...Духовное общество, или церковь,— излагает свою утопию Вл. Соловьев,— в свободном внутреннем союзе с обществом политическим и экономическим образуют один цельный организм — *свободную теократию* или цельное общество»[1].

Как видите, читатель, от первых же строк этой неохристианской утопии веет духом старого язычника Платона. И представление об обществе, как о живом организме, и деление его на три части — все это было уже в платоновской «Республике». Терминология лишь там иная. Но послушаем дальше.

Духовное общество Вл. Соловьева, или, как он говорит в другом месте, «церковная дружина», представляет собою, по замыслу автора, «подвижный и *властный союз* духовных учителей и *руководителей народной жизни*»[2], т. е. платоновскую олигархию мудрых. Это общество дает остальным двум — «государству и земству высшую цель и безусловную норму их деятельности». Читай: ведет к добродетели и блаженству граждан. Причем оно, «подобно божеству, должно все двигать, оставаясь само неподвижным»[3]. Господство за церковной дружиной обеспечивается, таким образом, абсолютное.

Но откуда же выводится и чем оправдывается такое господство в *свободной* теократии? А, вот, слушайте: «Степенью идеальности должна определяться степень *значения и власти* лица. Объем прав должен соответствовать высоте внутреннего достоинства». Теократия же и при наличности властителей остается, дескать, вполне свободной, ибо каждый в ней сам «свободно и естественно подчиняется тем, кто находится на высшей ступени духовного совершенства... подчиняется свободно,— красноречиво убеждает нас Вл. Соловьев,— потому, что цель этого подчинения, т. е. осуществление своего безусловного значения, или достижение идеальной полноты бытия,— эта цель есть собственная цель каждого, кто хочет цели, естественно, хочет и средств»[4].

Какая трогательная идиллия! Она напоминает собою, однако, уже не Платона, а Великого Инквизитора. Вспомните то место, где великий иезуит расписывает, как «мы» убедим профанов, что они «тогда только и станут свободными, когда откажутся от своей свободы *для нас* и нам покорятся». Разница лишь в том, что великий иезуит Достоевского так прямо и говорит: «Мы их обманем». А Владимир Соловьев выдает свой наивный вздор за чистую истину. Но, запасемся терпением и выслушаем его до конца.

«...Истинно полезным, или нормально экономическим,— развивает свою утопию Вл. Соловьев,— может быть признано только такое распределение труда и богатства, которое удовлетворяет, во-первых, абсолютному требованию любви и, во-вторых, формальному требованию справедливости». Но ни любовь, ни справедливость, как это «очевидно» для нашего автора, *«вовсе не требуют равенства материального богатства,* ибо если существует неравенство личного достоинства и значения, то равенство богатства было бы при этом несправедливо, так как богатство есть необходимое средство для полной реализации личного достоинства и значения... Так же несправедливо было бы, если бы лицо, обладающее высшим внутренним достоинством, а потому и высшим значением в нормальном обществе, принуждено было *заниматься физическим трудом наравне с другими.* Очевидно,— заключает Вл. Соловьев,— справедливость требует, чтобы и труд, и богатство

---

[1] В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. I, стр. 262 («Философские начала цельного знания»).

[2] В. С. Соловьев. Национальный вопрос в России. М., 1888, стр. 42.

[3] В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. I, стр. 262.

[4] В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. II, стр. 171—172.

были распределены в обществе соответственно внутреннему достоинству и гражданскому значению его членов» [1].

Итак, внутреннее достоинство человека само за себя отнюдь не вознаграждает, и потому «справедливость требует», чтобы оно точно измерялось и тотчас же оплачивалось наличностью — за каждый вершок достоинства соответственной долей власти и богатства. Вот нравственный идеал честного лавочника!.. Он измеряет все, на совесть, казенным аршином ровно в шестнадцать вершков и накидывает на своих покупателей в виде прибавки к ценам за свою «честность» только по четвертаку на рубль.

«Так вы, стало быть, хотите,— сказал бы по адресу такой справедливости старик Гейне,— чтобы вам дали еще на водку за то, что вы ходили за своей больной матерью и не отравили своего брата!..»

Но любопытнее всего, что вышеизложенный принцип распределения труда и богатства «удовлетворяет», по Соловьеву, не только требованиям его прилавочной справедливости, но и «абсолютному требованию любви». Что же это за любовь такая с девизом: у кого много, тому прибавь, у кого мало, тому убавь? Нет, не такова подлинная любовь. Нет, она, как мать, осыпает своими ласками прежде всего тех, кто всего сильнее в них нуждается. А кто же сильнее нуждается в согревающей ласке любви: преисполненные внутренних достоинств баловни судьбы или забытые духовно ее злосчастные пасынки? И если для развития высших качеств духа необходимы и досуг, и богатство, то кому же прежде всего следует предоставить в них долю участия? Тем кто и без того уже полон «высших качеств духа» или тем «варварам», которые их еще и не нюхали?

Нет сомнения, что *подлинная* любовь разрешила бы этот вопрос в пользу «варваров». Но теократическая любовь Вл. Соловьева решает его иначе. Она утверждает строй, в котором сомнительные «достоинства» немногих мандаринов духа покупаются ценою несомненного отупения всей остальной человеческой массы, и этот строй выдает за *нормальный*. Говоря иначе, эта любовь, выступая якобы во имя человеческого достоинства, освящает своим авторитетом систему *паразитизма и эксплуатации* и является, стало быть, в своих выводах самой недвусмысленной апологией современного мещанства.

Вы еще сомневаетесь, читатель? Так слушайте.

«Таким образом,— резюмирует сам Вл. Соловьев свои выводы,— хотя цивилизованные (читай: капиталистические) формы производства и экономической деятельности вообще, именно — разделение труда, свободная конкуренция и раздвоение труда и капитала *сохраняются* в нормальном экономическом строе, но здесь, благодаря тому, что вся экономическая деятельность и результат ее богатства является не как цель в самой себе, а лишь как средство или материал для полнейшей реализации высшего религиозного начала, все эти формы утрачивают свой острый характер, перестают служить эгоизму некоторых и быть источником бедствий для большинства» [2].

Скажите! Это ли не апология существующего и ныне мещанского строя жизни? И притом не наивнейшая ли это из наивных апологий? Капитализм она «сохраняет» во всей его неприкосновенности, но просит верить, что освященный теократическим елеем это будет уже не капитализм, а некая благоуханная роза без шипов. «Возможность эксплуатации труда капиталом» в этом освященном строе, дескать, радикально устраняется. И устраняется она-де «благодаря тому, что обладателями капитала в нормальном обществе являются лучшие люди,

---

[1] Там же, стр. 176.
[2] Там же, стр. 177.

определяющие свою деятельность нравственным началом и следовательно не могущие злоупотреблять своими преимуществами» [1].

Итак, читатель, вам вовсе не к чему насаждать виноградники. Сохраните лишь в целости все кусты волчьей ягоды. И поверьте, что стоит только легонько покропить этот кустарник святой водицей, как совершится чудо, и на нем произрастут уже не волчьи ягоды, а самый что ни на есть первосортный виноград.

V

Таков «идеал», завещанный Вл. Соловьевым нашим «идеалистам». И нужно сказать, что эти благочестивые наследники оказались вполне достойными своего завещателя. Они не только ровно ничего не утратили из полученного наследства, но даже приумножили его... сугубой елейностью терминологии. В самом деле. Послушайте хотя бы г. Бердяева в качестве апостола того же нового Евангелия «свободной теократии».

Там, где у Вл. Соловьева идет речь о церковной дружине, или духовном обществе, г. Бердяев ставит общество священников. «Теократия,— по его словам,— может быть только обществом священников». Причем это общество или орден не обнимет собою всего человечества, но будет скорее «оазисом среди враждебной пустыни». В своей внутренней организации это общество осуществит — «в политическом отношении — *как бы* анархизм, в экономическом — *как бы* социализм, в мистическом — самодержавие Единого Бога, царствующего над *аристократическими* детьми своими, через Христа обретшими всеобщее богосыновство» [2]. Для той же черни, которая не примет «внутрь себя Христа» и останется, стало быть, вне теократического ордена г. Бердяева, он проектирует иную, более современную организацию.

«Люди, не принявшие внутрь себя Христа, не освободившиеся от внутреннего рабства духа,— по утверждению г. Бердяева,— всегда нуждались и будут нуждаться в государственном принуждении». И потому, заговорив о них, наш автор моментально прячет свой «как бы анархизм» в карман и становится ярым государственником. «Конечно, правительство необходимо,— провозглашает г. Бердяев,— нельзя отдать слабых во власть сильных, нельзя отдать культуру с ее высшими ценностями на растерзание звериных инстинктов хаотической стихии... Нужно высшей мощью защитить слабых, охранить ценности, но миссия эта,— оговаривается наш как бы анархист,— рыцарская... Охрана порядка и спокойствия человеческой жизни и чести может быть вручена только рыцарям, а не подонкам общества, из которых вербует полицию современное государство. Полицию и бюрократию должно заменить новое рыцарство, благородная порода» [3].

И г. Бердяев предвидит уже наступление этой новой эры, этого золотого века, когда сыск и провокация станут рыцарской миссией, и усиленную охрану ценностей в участках и кацеляриях возьмет на себя благородная порода мудрецов и поэтов. «Наступят времена,— пророчески восклицает он,— когда мудрецы и поэты будут править миром» [4].

Такова политическая сторона бердяевского идеала. Социальная — вполне ей соответствует. С «изуверством» социал-демократии, отказывающей в приюте даже тем тунеядцам, которые возомнили бы себя

---

[1] В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. II, стр. 177.
[2] Н. Бердяев. Указ. соч., стр. 207, 232, 220.
[3] Там же, стр. 59—60, 233.
[4] Там же, стр. 61—62.

мудрецами и пророками, наш как бы социалист, конечно, примириться не может. Труд у него никак не совмещается с «высшим призванием». И его *«экономическая справедливость* должна привести не к безличному уравнению... а... к равенству *пропорциональному»* [1]. Говоря иначе, это та самая прилавочная справедливость Вл. Соловьева, которая оценивает все на звонкую монету и, измеряя личное достоинство своих «мудрецов и пророков» вершками, оплачивает его в строжайшей пропорции — рублями.

Об эксплуатации в идеальном строе г. Бердяева и речи быть не может, ибо «богатства» будут достигаться там только «по-божески» [2]. Заметьте себе это, читатель. В тысячелетнем царствии божием, которое проповедует нам ныне г. Бердяев, его идеализированные лавочники не станут уже больше ни обмеривать, ни обвешивать, ибо им вполне гарантируется там возможность наживаться *по-божески*, т. е. возможность безгрешного блаженства «и невинность соблюсти, и капитал приобрести». И, понятно, не мы станем оспаривать их права на такое блаженство. Следуя заповеди «блаженни нищие духом», нужно признать, что г. Бердяев со всеми своими лавочниками несомненно заслуживает блаженства.

Непонятно нам лишь одно. Как у подобных господ хватает мужества говорить о «мещанстве» социал-демократического идеала. Или они и его рисуют себе по образцу и подобию своей «свободной теократии»?

Для полноты картины добавим, что мудрецам и поэтам г. Бердяева, с того момента, как они облекутся в полицейские доспехи и станут править миром, предстоит, по-видимому, не только охранять ценности от звериных инстинктов хаотической стихии, но и... *регулировать деторождение*. Регулировать на этот раз не для улучшения породы, как это предполагалось у Платона, а ради неомальтузианского устранения социального вопроса [3].

Эта регулировка, впрочем, имеется в виду, как кажется, только для профанов, ибо, хотя половая любовь, по г. Бердяеву, вообще «нуждается в религиозном освящении и религиозной организации», избранникам божиим он проповедует идеал «праведного сладострастия», сиречь любви *нерождающей* [4].

Мы не станем гадать здесь о характере этой мистической любви г. Бердяева и ее религиозной организации. Слишком мало для этого вразумительных данных в его книге. Но прочтите соответствующие страницы, ну, хотя бы у Валерия Брюсова в его «Последних мучениках», и вы поймете, каким эротико-религиозным бредом мутятся ныне головы иных представителей так называемой аристократии духа.

Валерий Брюсов рисует нам в названном произведении некий аристократический орден, или религиозную секту, в момент последней, мировой революции. В эту секту входят все лучшие поэты, художники и мыслители. Их храм — величайшее творение архитектуры. Его наполняют прекраснейшие произведения живописи и скульптуры. Но славят «Последние мученики» в этом храме «Слепую тайну» и совершают «великие обряды» перед срамным «символом» Эроса.

«Обнаженные отроки» и жрицы «в золотых сандалиях, с одним золотозмейным поясом вместо одежды», «жгуче-сладкое вино» и «круговая пляска», «исступленные звуки органа», «сближения, сплетения, единения... вскрики, стоны, боль и восторг», «опьянение тысячелико-

---

[1] Там же, стр. 128.
[2] Там же, стр. 115.
[3] Там же, стр. 174, 191—192.
[4] Там же, стр. 160, 184.

стью страсти, когда видишь вокруг все образы, все формы, все возможности служения, все изгибы тел женских, мужских и *детских,* и всю искаженность и исступленность преображенных лиц», «двойное, *тройное, многочленное* объятия»... Таковы атрибуты и формы культа этой новой «святой веры». Вот рельефный образчик религиозной организации любви. Вот оно какое бывает праведное сладострастие!..

Правду сказать, поражает нас в этом культе обнажений и многочленных сплетений не столько извращенность, сколько мелкотравчатость грезящих о нем аристократических душ. Противоестественные склонности не чужды и павианам. Это что за невидаль! Но павианы не метят, по крайней мере, в сверхчеловеки. А ведь господа аристократы духа даже из разряда вырождающихся, несомненно, в них метят. Усвоив себе ницшеанскую фразеологию, они мнят себя необычайно смелыми, и ни на минуту не сомневаются в своем «высшем призвании». И все же, как мы только что видели, даже в грезах своих они не поднимаются выше вульгарнейших образчиков духовного павианства.

Это ли не банкротство! Это ли не нищета духовная!

— «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым!» — гордо бросает вам свой вызов кто-нибудь из вдохновенных певцов «Слепой тайны».

Очень хорошо! Превосходно! — подхватываете вы этот вызов. Но, скажите, в чем собственно намерены вы проявить вашу дерзость, почтеннейший? И «дерзкий» поэт с высоко поднятой головой отвечает вам:

Хочу упиться роскошным телом.
Хочу одежды с тебя сорвать...

И добро бы он так на этом и кончил. Но нет. Пораженный своею собственной дерзостью поэт уже совершенно не знает удержу и вдохновенно заканчивает свою «программу» дерзости еще более звучным аккордом:

Я буду *счастлив.* Я буду молод.
Я буду дерзок. Я так хочу!

Эге! Радостно отзовутся на этот «ницшеанский» клич тысячи филистеров, тоже «дерзко» срывая с себя «одежды» и смело упиваясь «счастьем» по рецепту г. Бальмонта. По этой части и мы вам ни в жисть не уступим!

Да что филистеры! Бедный поэт не перещеголял бы дерзостью в избранном им направлении даже похотливого мандрила, который ведь тоже не прикрывает и единым листиком своих наименее привлекательных, несмотря на яркость окраски, частей тела и наиболее срамных наклонностей.

* * *

Однако вернемся к вопросу. Мы привели несколько образчиков аристократического идеала общежития и думаем этим ограничиться. Эстетической оценке, на наш взгляд, подлежат несомненно даже творения господ Бердяевых, но научной критики они право не заслуживают. Да и как подойти с такой критикой к авторам, которые заранее готовы признать, что их идеи «бездоказательны и не научны» и все же ни мало не смущаются этим, ибо «всего более» верят в свою «интуицию». Разговаривать на языке науки с господами, которые, беспомощно моргая глазами, спрашивают вас с видом последних людей Заратустры: «Доказательна ли истина и что такое эта пресловутая

научная доказательность?»[1] — было бы слишком неблагодарной задачей.

Заметим лишь следующее. Аристократы духа обращаются со своими упованиями к будущему. Но не в будущем лежит их идеальный строй, а в далеком прошлом. Господство левитов в древнееврейской теократии, браминов в Индии, жрецов у египтян — вот образчики той олигархии мудрых, о которой грезят ныне господа Бердяевы. Возможность такого строя обусловливалась сосредоточением всей суммы знаний данной эпохи в замкнутом круге определенной касты, ревниво оберегающей эти знания от любознательности профанов. Но по мере *демократизации знаний,* вынуждаемой современными условиями производства, такая возможность с каждым днем становится все менее и менее вероятной. И пресловутая христианская республика отцов иезуитов в Парагвае (1610—1768 гг.) была, очевидно, уже последним могиканом в исторической семье духовных аристократий.

Кстати, не эту ли теократию мечтают воскресить господа Бердяевы? Напомним в двух словах ее очертания.

Духовное общество отцов иезуитов в качестве представителей божественного разума пользовалось неограниченной властью над подчиненными ему кастами краснокожих воинов и земледельцев Парагвая. На провинившихся отцы духовные накладывали публичную эпитимию. И кроткие дикари добровольно подчинялись ей, хотя зачастую эта эпитимия предписывала не только пост и молитву, но и позорную экзекуцию розгами. В имущественном отношении в этой «свободной теократии» царил полнейший «коммунизм» в том смысле, что весь продукт общественного труда подлежал бесконтрольному ве́дению и распоряжению высшей духовной касты. Мало того, отцы иезуиты предвосхитили, по-видимому, даже бердяевский план религиозной организации половых отношений. По крайней мере, супружеские обязанности выполнялись там не кое-как вразброд, а в строго определенное время, по особому звону церковного колокола.

Здесь то уж правили миром профанов исключительно «мудрецы и пророки» и богатства их создавались только «по-божески». Но, увы, и эта идеальнейшая аристократия духа, по компетентному отзыву Лафарга, представляла собою не более, как «очень остроумную и прибыльную смесь крепостничества и рабства». Или, в лучшем случае, как говорит Каутский, это была «устроенная *для целей эксплуатации* организация капиталистической колониальной политики»[2]. И только.

Подводя итоги, мы вправе будем, думается, заключить настоящий очерк следующим выводом. Как бы высоко порою не поднимались аристократы духа над мещанством, но вполне от него отрешиться они не властны. И такова ирония судьбы, что отвернувшись от мещанства в окружающей их неприглядной действительности, аристократы духа вновь утверждают его в своих идеалах.

---

[1] Н. Бердяев. Указ. соч., стр. 3.

[2] К. Каутский. Из истории общественных течений. СПб., 1905, стр. 328, 357.

ОЧЕРК ВТОРОЙ

ИДЕАЛ «ПРОФАНОВ»

Les grands ne nous paraissent grands
Que parce que nous sommes à genoux.
Levons nous!

Великие только потому кажутся нам
великими, что мы стоим на коленях.
Встанем же во весь рост!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

В настоящем очерке нам предстоит противопоставить упомянутым идеалам аристократии духа наш собственный демократический идеал. Но оговоримся сразу. Выступая против «героев духа» в защиту «толпы», мы отнюдь не берем на себя роли адвокатов *всякой* толпы. Та толпа, например, которая в ибсеновских штокманах видит просто-напросто «врагов народа», не вдохновляет и нас на дифирамбы. Скажем даже больше. Едва ли желчные филиппики Ибсена по адресу «сплоченного большинства» вызывали когда-либо такой энтузиазм и в наиболее аристократических душах, какой они рождают подчас в сердцах самых подлинных представителей пролетарского демоса.

Быть может, это смахивает на парадокс. И все же это несомненный факт. Все те, кому удавалось видеть доктора Штокмана с галерки Художественного театра, находясь в кругу зрителей-рабочих, могли, конечно, воочию убедиться в этом факте. К сожалению, галерка эта недоступна даже и для более привилегированной публики, чем рабочие. И из числа последних проникнуть туда удается лишь редким счастливцам.

Пишущему эти строки частенько приходит на память один из таких счастливцев. Волею случая он чуть ли не прямо с галерки Художественного театра попал в место, гораздо более доступное пролетариям,— в тюрьму. Но и многомесячное одиночное заключение не изгладило в нем впечатления от речей доктора Штокмана. И, перестукиваясь в длинные зимние вечера с соседом, он все делился с ним этим впечатлением и недоумевал: как это он, столь решительный демократ, мог так пылко аплодировать Штокману, этому хулителю сплоченного большинства?

Удивительного, однако, в этом очень мало. Борец-пролетарий не может не чувствовать инстинктивной ненависти и отвращения к той толпе, какую перед ним рисуют Ибсены, Ницше или Андреевы, ибо все они рисуют ее с окружающей их *мещанской* натуры. «Проклятое сплоченное *либеральное* большинство» доктора Штокмана состоит сплошь из мещан, а мещане — классовый враг пролетариата. Как же тут борцу-рабочему не аплодировать какому-нибудь Штокману, Заратустре или Савве Тропинину, когда в извивающемся под их гибкими бичами джентльмене он узнает своего классового врага.

Конечно, самим аристократам духа дело представляется иначе. Бичуя в своей художественной сатире самую что ни на есть конкретно-историческую, а значит и исторически преходящую *мещанскую* толпу, они всегда воображают, что имеют дело с «толпою» вообше, с абстрактной

надысторической толпою. Возьмите хоть Леонида Андреева. Добросовестно изобразив жизнь мещанина, он говорит: вот «жизнь человека». Духовное рабство и пошлость исторического мещанства возводятся им в ранг общечеловеческой пошлости. И над нею смело пишет он свое сверхисторическое: «Так было — так будет!»

Пусть человечество давно уже раскололось на два враждующих лагеря. Пусть против «толпы» погромщиков вырастает уже новая «толпа» — на баррикадах. И пусть эта новая толпа походит на прежнюю не больше, чем день на ночь, или то лицо двуликого Януса, которое обращено к будущему, на то, которое смотрит в прошедшее. «Для меня,— скажет Андреев устами своего улетающего «к звездам» героя,— для меменя *одинаковы все люди»*.

А этот герой!.. Даже будучи *отцом* тех борцов, что гибнут на баррикадах, он не воспылает священным гневом против подлинных убийц детей своих — против мещан — погромщиков. Нет, даже тут он лишь тоскливо взывает ко всему человечеству:

— «Безумцы! Слепцы, на себя (!?) поднимающие руку!»

Все это было бы, пожалуй, трагично и красиво, если б не было так... наивно. Самим борцам дело представляется куда проще.

«В вас посылали бомбы?» — спрашивают их с ужасом.

«Буржуа защищался недурно»,— отвечают они просто.

«Значит, напрасно вся эта кровь, эти тысячи жертв, эта беспримерная борьба?» — с отчаянием восклицают их друзья-неврастеники, узнав о поражении.

— «Как же вы хотите, чтобы буржуа сразу отдал свое владычество над землей?.. Буржуа не дурак...»,— отвечают им побежденные.

Не в том беда. стало быть, что люди — «безумцы», а в том, что «буржуа не дурак». По крайней мере не настолько дурак, чтобы на себя поднимать руки, очищая без боя свои позиции. Да, буржуа не дурак, и посылает он свои бомбы не в себя, конечно, а в своего классового врага — толпу будущего. И посылает он их пока что не без успеха. Но даже в этом лишь полбеды видит решительный враг мещанства.

«Борьба не кончена!» — вот лаконический ответ рабочего Трейча на все ламентации истеричного Лунца в цитируемой пьесе Андреева.

Теперь читатель, надеемся, поймет нас. Не за то упрекаем мы аристократов духа, что они бичуют пошлость и ограниченность современной обывательской толпы, а за то, что они не провидят даже в будущем иной толпы — толпы героической, толпы титанической, толпы равновеликих и равнопрекрасных богов.

Знаем мы эту прокрустову равновеликость! — скептически заметит тут аристократ духа. Это тот самый идеал шигалевщины, который в свое время изобразил нам Достоевский в своих «Бесах»:

«Каждый принадлежит всем, а все каждому... Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям,— не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями — вот шигалевщина!»

«Шигалевщина», скажем мы на это, представляет собою довольно сердитую карикатуру на демократический идеал. Но она бьет мимо цели уже потому, что подлинные демократы вовсе не разделяют ее исходного положения, будто «высокий уровень наук и талантов» доступен лишь немногим избранникам.

Правда, в современном буржуазном обществе таких «избранников» действительно мало, но это результат классового строения этого обще-

ства, а не каких-либо иных причин. Доступ к науке и творчеству открыт в нем лишь привилегированной кучке хозяев жизни. Вся же остальная масса, вынужденная изо дня в день бороться за кусок насущного хлеба, не имеет ни средств, ни времени для развития своих талантов. А между тем кто не знает, какая жгучая жажда знаний и сколько дарований таится в коллективной груди этой трудящейся массы! Вот почему мы и думаем, что с уничтожением классов, когда возможность всестороннего развития всех своих сил и способностей получат в одинаковой мере все люди, не воспользуются ею разве лишь совершенно ненормальные люди — калеки и идиоты, ничтожное меньшинство.

— Да, скажут нам, но вы забываете, что и за вычетом идиотов останется еще от тупицы до гения — дистанция огромного размера. И едва ли вы будете оспаривать, что дюжинных умов и тупиц при всяких социальных условиях будет гораздо больше, чем гениев, ибо гениями *родятся,* а не делаются.

Нет, возразим мы на это. С последним-то мы как раз и не согласны. И, как это ни странно, но в этом пункте мы находим себе поддержку иной раз даже в лагере аристократии духа. Тем, кто под дарованиями и талантами разумеет нечто дающееся *даром* уже от рождения, мы ответим словами Ницше:

«Пожалуйста, не говорите о даровании, о прирожденных талантах! Можно указать на множество великих людей, которые были мало одарены. Они приобрели «величие», стали, так сказать, «гениями» благодаря свойствам, в недостатке которых никто охотно не сознается: у всех у них была активная серьезность *ремесленника*, который сначала *учится строить* в совершенстве части, а затем уже решается приступить к постройке целого...» [1]

О великих умах часто думают, «будто эти умы сверхчеловеческого происхождения и обладают какими-то чудодейственными способностями, при помощи которых они приобретают познания путями, совершенно отличными, чем остальные люди». Но, конечно, это не больше, как «полумистическое суеверие». «*Культ гения,*— скажем мы вместе с Ницше,— *есть отзвук обоготворения деспотов.* Всюду, где является стремление возвысить отдельных людей до степени чего-то сверхчеловеческого, заметна наклонность представлять целые слои народа более грубыми и низкими, чем они на самом деле» [2].

Все это заслуживает, однако, более обстоятельного развития и обоснования. Итак, к делу.

II

Мы прекрасно знаем, какая огромная пропасть отделяет в наше время гения от посредственности. Но пропасть эта социального происхождения. Ее вырыли классовые противоречия. Ее сгладит социальная революция. Вот наш основной тезис.

Что же противополагают ему наши противники?

Они говорят: гением нужно *родиться.*

Какой же смысл следует влагать в это утверждение? Не означает ли оно, что гений можно лишь *унаследовать?*

Но что такое гений? Чем отличается он от посредственности? Да не чем иным, конечно, как своей большей или меньшей *творческой способностью.* Гений всегда идет дальше общепринятых шаблонов и трафаретов, он создает *новые* ценности. Итак, передается ли эта творческая

---

[1] Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое, стр. 163.
[2] Там же, стр. 164 и 461.

способность гениям по наследству, подобно тому, как наследуются фамильные поместья и капиталы или сифилисы и подагра? Нет, ответим мы решительно, не передается. И в подтверждение этого сошлемся на общеизвестный факт. Переберите всех наиболее замечательных гениев, и вы увидите, что у всех у них либо совсем не было потомков, либо эти потомки ровно ничем не выдавались из посредственности.

— Как! возразят нам тут. Вы игнорируете всякое значение векового накопления путем наследования духовных качеств и моральных традиций? Вы отрицаете возможность выработки этим путем высшей *породы* человека? Но вспомните родословие чуть ли не всех наших лучших национальных героев. Разве это кухаркины дети? Нет, с кровью матери всасывали они многовековую культуру и лишь поэтому стали высшими ее представителями.

Послушайте, например, Достоевского.

— «Да, мальчик,— говорит он устами своего героя, аристократа духа Версилова,— повторю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире,— тип всемирного боления за всех. Это тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть (?), я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча человек,— может, более, может, менее — но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу».

Принимая все это за возражение, мы бы так ответили. О версиловской тысяче «высшего» типа всемирного боления можно быть весьма различных мнений. Но даже, ставя эту тысячу очень высоко над остальными ста тридцатью тысячами первенствующего сословия, невольно задаешься вопросом. Да при чем же тут собственно вековое накопление и наследование разных духовных качеств и традиций? Ведь если господа Версиловы и представляют собою высший культурный тип, то представляют они его не потому, что *похожи* на своих сородичей Скотининых и Собакевичей, а потому, что *не похожи* на них.

И в самом деле. Что за навыки и традиции мог бы передать своим детям русский барин? Навыки растлевающей праздности и распутства? Традиции холопства перед сильными и надругательства над слабейшими? Или каковы его феодальные воспоминания? «Крестовый поход на провиантский магазин? Поставки и подряды? Долгая откупная варфоломеевская ночь?»

«Да разве,— замечает по этому поводу Г. И. Успенский,— да разве я скажу об этом хоть одно слово моему сыну?.. Разумеется, никогда ни одного слова ни об одном из моих рыцарских подвигов» [1].

Медаль имеет, правда, и другую сторону.

Верхние слои народа обладают богатствами. А богатство, живописует Ницше, «необходимо ведет к аристократизации расы. Оно дает возможность иметь красивейших женщин, оплачивать лучших учителей, предоставляет людям время для телесных упражнений, а главное, освобождает от отупляющего физического труда. В этом смысле оно доставляет все (!?) условия, чтобы люди через несколько поколений стали благородными и прекрасными и даже приобрели бо́льшую свободу духа, отсутствие жалкой мелочности, копеечной бережливости и унижений перед кормильцами» [2].

Что ж, скажем мы на это. Значения «богатств» для *возможности* широкого развития личности мы отрицать не станем. Напротив даже. Мы для того лишь и стремимся социализировать «богатства», чтобы обеспе-

---

[1] Г. Успенский. Сочинения, т. V, стр. 352.

[2] Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое, стр. 479.

чить этим путем возможность развития всем и каждому. Но тут приходится ввести довольно существенные оговорки.

Богатство способствует развитию. «При этом нужно заметить,— оговаривается уже сам Ницше,— что богатство приводит, приблизительно, к одним и тем же результатам, имеет ли данное лицо возможность тратить триста или тридцать тысяч талеров в год; за известной границей возрастание благоприятствующих развитию обстоятельств становится незаметным». Это серьезная поправка. Но от себя мы внесем другую, еще посущественнее.

Богатство благоприятствует развитию, но далеко *не при всяких социальных условиях.* В частности, оно отнюдь не улучшает расы, если «дает возможность иметь красивейших женщин» уродам и кретинам. Да и вообще, разве богатство вытравило «жалкую мелочность» в душах наших отечественных Плюшкиных и Коробочек? Разве оно «облагородило» Разуваевых и Колупаевых?

Но мы знаем, какие условия создают Разуваевых и Колупаевых. Это те самые условия, что обращают богатство из служебного средства человека в *самоцель,* служить которой приходится уже самому человеку. Или, говоря проще, это *господствующие ныне* условия капиталистического производства и присвоения.

При них-то уж, можно смело сказать, богатство не развивает, а скорее порабощает и развращает личность. А если и при них все же случается, что какой-нибудь Иван Разуваевич уродится не в своего паука-батюшку, и выйдет из него действительно крупный, недюжинный человек, то при чем же тут опять-таки наследование разных «качеств»? Ведь если великий человек выходит иной раз и из очень богатой семьи, то выходит он из нее при указанных условиях *не благодаря* богатству своих предков Разуваевых, а *вопреки* ему.

Как видит читатель, нам вовсе нет надобности отрицать в принципе возможность наследования разных духовных качеств. Мы просто не находим его в тех случаях, когда дело идет о происхождении гения. И не находим уже потому, что гений есть личность в наших социальных условиях исключительная и, стало быть, в том, что ее делает гением, от всех своих сородичей весьма отличная.

А, впрочем, о том, что ни порода, ни богатства предков в создании гения особой роли не играют, говорят нам и нелицеприятные факты. С одной стороны, наиболее «чистокровная» знать и миллиардеры явно вырождаются и все чаще производят на свет лишь жалких кретинов. А с другой,— немало великих людей выходит заведомо из самой что ни на есть демократически-пролетарской среды. Так, например, Лютер был сыном рудокопа, Джемс Гарфильд вышел из дроворубов, Фарадей — из кузнецов, Бебель — из токарей и т. д.

Нам скажут — пусть так. Пусть наследование и не играет роли в создании гения. Но это еще не колеблет нашего тезиса. Ведь бывают же уроды или слепые от рождения, хотя бы уродство это или слепота и вовсе не передались им от предков. Так отчего бы не быть и гениям *от рождения,* независимо от того, кто их рождает.

Да, ответим мы. Слепцы рождаются от зрячих и наоборот. Но слепорожденный уже с пеленок *органически,* т. е. строением всей своей зрительной системы отличается от зрячего. А великие умы? А гении? Разве в отличие от тупиц они уже родятся о двух головах или семи пядей во лбу?

Правда, в зрелом возрасте объем черепной коробки и вес мозга у так называемых великих людей в большинстве случаев бывает выше среднего. И это вполне понятно. Вес мозга у профессиональных ученых и философов возрастает по той же причине, по которой возрастает вес мускулов у профессиональных гимнастов и ярмарочных сила-

чей. Умственная гимнастика растит духовные силы человека точно так же, как мускульная — силы физические. Но из этого можно заключить лишь следующее.

Для того чтобы стать гением, нет никакой нужды уже родиться одаренным чрезмерной силой духа, ибо эту силу легко приобрести упражнением.

Таков вывод, подсказываемый логикой. Но о том, что чрезмерная одаренность отнюдь не составляет *необходимого* условия для развития творческих способностей гения, говорят и непосредственные факты. Известно, например, что емкость черепа у великого Канта едва на 2% превышала соответствующую емкость у среднего немца. Но это не мешало Канту казаться гигантом среди своих современников. Та же емкость у Либиха и многих других столь же крупных ученых была даже много ниже средней величины. А целый ряд гениев, вроде Декарта, Торквато Тассо, Гвирдо Рени, Гофмана, Шумана и других, и вовсе отличался такой малоголовостью, которая сближала их с настоящими идиотами-микроцефалами.

Мало того. Головной аппарат многих великанов мысли не только по величине, но и по строению оставлял желать очень многого. Низкий лоб, сплющенный в доску или вытянутый кувшином череп, сращение швов, черепные склерозы, асимметрия черепа, разные костные гребни, бугры, ямы и трещины и тому подобные признаки «низшей расы», если не положительного уродства, зарегистрированы: у Макиавелли и Канта, у Петрарки, Данте, Байрона, Доницетти, Бишá и многих других рыцарей духа.

Все это факты общеизвестные. Толковать их можно по-разному, но одно бесспорно. Они говорят, что стать творцом и созидать новые ценности можно и не будучи семи пядей во лбу от рождения.

III

Что же, однако, выдвигает гения из толпы, если не его прирожденная одаренность? — спросит нас с недоумением читатель.

Вопрос этот сложен, конечно, и ответить на него сразу не так-то просто. Прежде всего, во устранение недоразумений, заметим, что различной одаренности и вообще разнокалиберности людей мы отнюдь не отрицаем. Природа не любит повторений. Она не создает и двух человек, равных друг другу во всем до тождества. Это факт несомненный. Но, повторяем, для того чтобы создавать новые ценности, вовсе не требуется какой-то исключительной, чудесной одаренности.

«Поразительно сложна,— скажем мы словами Ницше,— деятельность всякого человека, не только гения: но ни один из видов гениальности не представляет чуда» [1]. И, стало быть, даже человек малоодаренный от природы, т. е. «посредственность», *при известных благоприятных внешних условиях может* дорасти до «гения». Вот наше мнение.

Весь вопрос, таким образом, сводится лишь к более точному определению этих внешних условий.

— Это пустой парадокс! — перебьет нас тут нетерпеливый читатель. При чем тут *внешние* условия. Чтобы творить новые ценности, нужно несомненно обладать чрезвычайно тонкой нервной организацией и необычайной изощренностью чувств. Гений видит, слышит и предчувствует целые новые миры там, где другие ровно ничего не видят, не слышат и не чувствуют. А ведь «тупица» потому и называется этим именем, что все органы чувств чересчур тупо отзываются на воздействия внешнего мира. Это его органический недостаток. Какие же внешние силы могут

---

[1] Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое, стр. 162.

сорвать у него с глаз его природную повязку, вытащить невидимый канат из ушей и пересоздать тупицу в чуткого гения?

Действительно, скажем мы на это, впечатлительность гениальных людей в большинстве случаев изумительна. «Каждое дуновение ветерка, малейшее усиление жары или холода превращается для них,— по свидетельству Мантегацца,— в тот засохший розовый лепесток, который не давал заснуть несчастному сибариту». Или, говоря словами поэта,

Un souffle, une ombre, un rien
Leur donne la fièvre.

Но не нужно забывать, что столь редкая впечатлительность, точно так же, как и соответствующие ей исключительные дарования, у большей части великих людей отличается крайней односторонностью.

Одни из них могут похвалиться замечательной тонкостью слуха, другие — необычайной остротой зрения, третьи, как, например, Альфиери или Гофман,— барометрической чуткостью к атмосферным влияниям, четвертые — таким обонянием, как у некоего Урквиция, падавшего в обморок от запаха розы, и т. д. С другой стороны, одни из них обнаруживают изумительные таланты в области музыки, другие — в области живописи, ваяния или зодчества, третьи — в области изящной литературы, четвертые — в области какой-либо точной науки и т. д. Но никогда еще все эти способности и таланты не совмещались сразу в одном и том же лице. Более того. Можно сказать, что чем большие дарования и остроту чувств обнаруживает гений в одной области, тем большей ограниченностью отличается он обычно во всех остальных.

В подтверждение этого достаточно напомнить о той житейской непрактичности и беспомощности, которую обычно проявляют великие люди. Уйдя с головою в свой особый, ими самими созданный мир искусства или науки, эти люди как будто ничего уже больше вокруг себя не видят и не понимают.

Но и помимо этой «житейской» беспомощности великие люди за пределами своей специальности очень часто неспособны усвоить понятий, доступных даже наиболее дюжинным людям. Факт общеизвестен. И читатель при желании найдет к нему сколько угодно иллюстраций в литературе. Напомним хотя бы об известной книге проф. Ломброзо.

«Между тем как в одних вещах,— говорит, например, о себе Фосколо,— я в высшей степени понятлив, относительно других понимание у меня не только хуже, чем у всякого мужчины, но хуже, чем у женщины (?) или ребенка». Или напомним такие характерные в своем роде курьезы: великий стратег Наполеон оказался совершенно не способным оценить гениальную выдумку Фультона — пароход. А не менее великий в области высшей математики Кардан не умел извлекать квадратных корней из чисел.

При этом следует заметить, что духовной односторонности гениальных людей зачастую сопутствуют и весьма существенные физические или физиологические изъяны. Так, гениальный сатирик Свифт был, по собственному признанию, «слабоумным, *глухим* и бессильным». Великий Кардан, который в отзывах своих современников является в одно и то же время и *умнейшим из людей, и глупым, как ребенок,* по собственной характеристике был «*заикой,* хилым, со слабой памятью» и т. д.

Во всех подобных фактах нет, разумеется, ничего странного или необъяснимого. Духовные силы, точно так же, как и физическая энергия каждого, даже наиболее одаренного человека, весьма ограничены. И потому, если их очень много тратится на развитие какой-либо одной способности,— другие поневоле не только не поспевают за ней в своем развитии, но, оставаясь без упражнения, могут иной раз и вовсе атрофироваться.

Это же положение можно повернуть и на иной лад.

Если известный ряд способностей атрофирован у данного лица уже от природы или иных причин и потому не поддается развитию, то тем больший поток духовной энергии направится, производя соответствующие действия, по остальным, еще свободным путям и руслам. Возьмем грубейший пример. Для слепорожденного уже с колыбели закрыта целая огромная область душевной деятельности и развития. Но вместе с тем и в той же огромной мере сокращается у него и расход жизненной энергии по этой области. А между тем общий запас энергии у слепорожденного при прочих равных условиях отнюдь не меньше обычного среднего. Стало быть, в результате невольной экономии по зрительной области у него должен оказаться известный избыток энергии. Куда же девается этот избыток? Очевидно, идет на усиленную жизнедеятельность и развитие других органов чувств и соответствующих им способностей.

И действительно, общеизвестный факт изумительного развития у слепых слуха и осязания вполне подтверждает эту гипотезу.

Но тут мы подходим вплотную к следующему любопытному выводу. Если нет всеобъемлющего по своей разносторонности гения, то едва ли мыслим и всесторонний тупица. В самом деле. Чем тупее чувства и ограниченнее способности данного лица во всех тех областях, в которых мы с ним соприкасаемся, тем больше вероятия, что накопленная им энергия ищет себе выхода на каком-либо ином, еще не замеченном нами пути, где при благоприятных условиях она могла бы вылиться в очень крупное дарование. Говоря иначе, кто знает, не заключается ли и в каждой «тупице» какой-нибудь еще нераскрывшийся гений — гений в потенции!

И пусть нас не пытаются смутить вопросом: почему же «потенциальные» дарования тупиц так никогда и не выходят из состояния потенции? Ибо мы ответим на это: а разве это так бесспорно, что они не выходят из этого состояния? Разве мы не встречаем типичнейших черт тупицы и у признанных гениев?

Но если бы это было даже не так, и если б из «тупиц» действительно никогда не выходило ничего путного в наших жизненных условиях,— мудреного в этом ничего бы не было. И впрямь, что мудреного, если выхода своим духовным силам не находят люди, загнанные внешними условиями в такой глухой социальный тупик, из которого и нет никакого выхода. В таком тупике совсем не хитро оставаться тупицей.

Поясним это, однако, двумя примерами. Пусть бы слепого Гомера заставили учиться живописи или глухого Свифта — музыке. Скажите, не пришлось ли бы их обоих записать в непроходимые тупицы. Или возьмем другой, более близкий в жизни пример. Пусть бы Рихарда Вагнера или Генриха Гейне посадили с детства в мелочную лавочку за прилавок и заставили торговать кислыми щами и баварским квасом. Кто знает, что бы из этого вышло? Быть может, вместо творца музыки будущего тогда вырос бы за прилавком какой-нибудь ординарнейший «гитарист и соблазнитель деревенских дур», а из сладчайшего певца любви и великого поэта-пересмешника вышел бы просто плоский забавник и гороховый шут.

Но что такое весь наш мещанский общественный строй, как не один гигантский воспитательный прилавок, за которым нас учат «переоценивать» лишь чай да кофе!

IV

Да, увы! Современный прометей прикован уже не к скале, а к мещанскому прилавку, и его печень день и ночь терзает не злой коршун, а пятикопеечный интерес. И как терзает!

Какие бы у вас ни были гениальные задатки, и сколько бы вы не скопили в себе энергии для их развития — копеечный интерес поглотит все. Да и как не поглотить. Ведь есть-пить всякому нужно, а манна с небес давно уже к нам не падает. Чтобы не умереть с голоду, современный труженик должен к тому же всю жизнь откармливать целую стаю ненасытных хищников — паразитов капитализма, ибо лишь насытившись по горло его кровью, они и ему швыряют пятачок на корку хлеба. И вот ради этого пятачка сотни миллионов людей затрачивают совершенно бесплодно для ума и сердца такую уйму душевных и физических сил, что больше уже ни на что не хватает.

Мудрено ли, что при таких условиях лишь совершенно исключительное стечение обстоятельств, именуемое «случаем», может выдвинуть то или иное дарование из социальных глубин на поверхность. Но и здесь еще пятачковый интерес по пятам преследует свои жертвы.

Кому знакомы вкусы и нравы мещанского мира, тот легко поймет, почему великие художники и мыслители, отдаваясь своим дарованиям, так часто становятся людьми «не от мира сего». К сожалению, не всем это доступно. Холодную печку не согреешь ведь никакими порывами вдохновения. Да и пустого желудка не заполнишь великими мыслями. И потому «сей» мещанский мир многим и многим очень больно напоминает о своем существовании. Голод и холод толкает их идти на содержание к хозяевам жизни, а стало быть, и угождать их хозяйским вкусам и требованиям. А тут уж один конец. Крупнейшие художественные и научные силы размениваются на пятачковые порнографии, растрачиваются на грошевые апологии мещанства и бесследно гибнут в пучине забвения.

А хозяева жизни?

Их, конечно, не угнетает нужда. Но подлая жизнь воспитала в них прочное убеждение, что на свете нет ничего столь высокого или святого, что не продавалось бы за пятак. И вот в то время как для других погоня за этим пятаком висит над головой тяжелой и страшной, как кошмар, необходимостью, хозяева жизни возвели ее в свой идеал добровольно и уже не за страх, а за совесть живут все тем же пятикопеечным интересом.

Какие же дарования могут у них развиться? Стать каким-нибудь «писакой» или «комедиантом?» Фи! Это ниже их многопятакового достоинства. Промышленный гений? Но ведь и он для них значит не больше, чем география для Митрофанушки. Зачем Митрофанушке география, коли на то существуют извозчики? К чему хозяевам жизни промышленный гений, коли у них есть на то инженеры? Вот дипломатическая или вообще государственная карьера — это еще, пожалуй, господское занятие. Но и ради него не стоит себе особо ломать голову, ибо «на то» есть разные мелкотравчатые личные секретари и ассистенты.

Мы не станем, разумеется, утверждать, что современные господа жизни лишены всяких дарований уже от рождения. Вовсе нет. Очень возможно, что при иных условиях даже из великосветских шаркунов и гурманов выработались бы вместо бездарных дипломатов и бесталанных администраторов — гениальные балетмейстеры и идеальнейшие кухмистеры. И вся беда, стало быть, в том, что социальные условия, закрыв этим шаркунам и гурманам доступ к их истинному призванию, сыграли над ними очень злобную шутку. Дипломатические вольты и пируэты, увы, приходится проделывать головой, а не ногами. Что же тут мудреного, если человек даже с большим характером в ногах и специальной подготовкой к паркету — спотыкается, совершая воздушные па головою.

Или взять администраторов царских времен.

Знатоки и ценители всевозможных окрошек, майонезов, винегретов и сборных солянок по-московски, они и в политике в качестве руководящей государственной идеи исповедуют в лучшем случае эклектическую похлебку из Руссо и Макиавелли или Аракчеева с Маниловым.

Печальная картина!

И печальна она не потому, что обнаруживает отсутствие оргинальных государственных идей у таких администраторов. В этом повинны, конечно, не сами администраторы, а их личные секретари. Печально же то, что по обидной иронии истории так бесплодно гибнут, не находя себе лучшего применения, быть может гениальные кулинарные задатки.

Вернемся, однако, к шигалевщине.

В ее основе, как мы уже указывали, лежит довольно метафизическое заблуждение, будто возвыситься над «посредственностью» всегда и при всяких обстоятельствах могут лишь исключительно одаренные редкие люди. Это, конечно, не более как предрассудок, не имеющий под собой иной почвы, кроме специфического презрения к «черни» аристократов духа. Вспомните вольтеровское: «Разум восторжествует у порядочных людей, сволочь же вовсе не для него создана». Таким образом, шигалевщина, скрывая под демократической фразой своих выводов насквозь аристократическую идеологию посылок, могла бы смутить лишь разве наиболее невинных политических младенцев.

Нам, демократам, не страшны деспотические наклонности «высших способностей», ибо мы знаем, что деспоты вырастают лишь среди рабов или баранов. Мы же боремся за такие условия жизни, где ни тех, ни других уже не будет. Не резать языки Цицеронам и не выкалывать глаза Коперникам, а создать возможность широким массам становиться Цицеронами и Коперниками, сделав «высокий уровень наук и талантов» общедоступным,— вот истинно демократическая задача.

И она вполне осуществима. Гении так велики и редки по сравнению с толпою пигмеев посредственности лишь потому, что эта толпа придавлена тяжелой социальной глыбой и стоит на коленях. Но стоит лишь ей столкнуть с своих плеч эту глыбу, стоит лишь современному Прометею разбить свои социальные цепи и отогнать от себя прочь злого коршуна — заботу о завтрашнем дне, как все человечество выпрямится во весь рост и научится смотреть на своих Коперников не снизу вверх, с преклонением, а прямо в лицо, как равный равному.

— Не увлекайтесь! — остановит нас тут читатель-скептик. Общедоступность высокого уровня наук и искусств отнюдь еще не устранит естественного неравенства и естественной иерархии человеческих душ. Как ни высок средний уровень Альп по сравнению с какой-нибудь низменной равниной, но отдельные горы-великаны все же царственно возвышаются даже над этим уровнем, теряясь в облаках своими снеговыми вершинами.

Еще одно недоразумение!.. скажем мы на это. Люди довольно сильно различаются между собой задатками и наклонностями уже от рождения. Это факт. И притом очень ценный. Ведь будь все люди похожи друг на друга, как червонцы одной чеканки,— им даже при наличии всех доблестей и совершенств было бы убийственно тошно жить друг с другом. Тошно уже потому, что никому из них нечего уже было бы ни дать ни взять у другого. К счастью, этого нет и не будет. Люди всегда будут различаться друг от друга. Только не всегда будут основания превозносить одного над другим по-нынешнему.

Объяснимся. Сравнивать между собою возможно лишь однородные величины. Людей, стало быть, можно сравнивать между собой лишь до тех пор и постольку, поскольку они повторяют друг друга. Но попробуйте решить, кто выше: великий композитор Шуман или великий естество-испытатель Кювье? Нет никакого сомнения, что малоголовый Шуман

был не так богато одарен природой, как великий Кювье, с его гипертрофией мозга. Но каждый из них был творцом *в своей области,* и области эти столь различны, что возможно одно лишь суждение — каждый из них велик в своем роде. Говоря иначе, при всем многоразличии таких людей, они для нас *равноценны.*

Вот такой-то случай оценки и станет, по-нашему, наиболее общим правилом в демократии будущего — в социалистической демократии.

В самом деле... Все то, что слишком часто встречается, низко и ценится. Поэтому *и в себе* каждый человек больше всего ценит то, чего не встречает в других,— свою индивидуальность. И, когда социалистический строй обеспечит ему возможность *всестороннего* развития, каждый станет совершенствовать в себе, естественно, прежде всего то, что для него всего дороже, т. е. опять-таки свои *индивидуальные* особенности. А так как разнообразию этих особенностей, вообще говоря, нет пределов, то в результате такого преимущественного их развития каждый человек представит собою вполне оригинальную, яркую и выпуклую индивидуальность.

Тех, кого теперь, по выражению Ницше, «слишком много», т. е. людей с очень слабо выраженной индивидуальностью, или, говоря проще, людей, повторяющих друг друга и потому по сравнению с прочими никакой особой, ни с чем не сравнимой ценности не представляющих,— таких людей тогда совсем не будет. Но без пьедестала «бескачественной массы» немыслимы, разумеется, и «аристократы духа». Все подразделения подобного рода, стало быть, отпадут. И это понятно, ибо в обществе, каждый член которого представляет собою свою собственную, не повторяющуюся в других ценность, все его члены с *точки зрения полноты целого* в равной мере велики, прекрасны и ценны.

V

Итак, социализм ведет не к механическому выравниванию индивидуальностей по способу пресловутого царя Прокруста, а к наиболее яркому и пышному их расцвету. Вот вывод, на который следовало бы обратить особое внимание всем аристократам духа. Но тут необходима оговорка.

Эпоха социализма будет эпохой расцвета индивидуальностей, но не индивидуализма. Индивидуализм провозглашает: «сильнее всех тот, кто один», и зовет к возможно более резкому обособлению каждой личности в узкой сфере ее индивидуальных чувствованьиц и переживаний. Но не то ожидает нас в социалистическом строе. Там, напротив, каждая индивидуальность, как отдельная струна многозвучной арфы, лишь тогда и проявит всю свою красоту и силу, когда зазвучит *в общем* могучем аккорде.

Ради иллюстрации этой антитезы мы позволим себе заимствовать у Г. И. Успенского следующую картину «безвременья» на фабрике в перерыв работы.

«Живая сила пара еще действует, и на фабрике идет шум и стук; вот здесь пыхтит какой-то здоровенный поршень, хляская масляной поверхностью, пыхтит и неустанно толчется на одном месте; там, вверху, неустанно, неутомимо, неугомонно вертится какое-то маленькое колесцо, вертится ужасно проворно, кажется, бьется из всех сил, до последнего издыхания; а здесь вот до последнего издыхания прыгает какой-то крючок, прыгает на одном месте миллион раз в секунду. Но сколько бы ни вертелось это колесцо, какую бы бесконечнейшую неутомимость не обнаруживал этот поршень, до поту лица измученный своей вековечной обязанностью соваться вниз и вверх, как бы ни изнурялся этот крючок,

без устали долбящий своим железным носом по железу... все эти мучения совершенно бесплодны».

Таково современное индивидуалистическое безвременье.

«Но стоит только,— продолжает Успенский,— надеть приводный ремень, то есть стоит только соединить эластичной нитью это отдельно мучающееся колесцо со всем механическим миром фабрики, со всем машинным «обществом»,— как все приходит в порядок, все получает смысл, все начинает стучать, и долбить, и пыхтеть с известной целью, и на этот раз из пыхтения, и шипения, и долбления уже непременно получится результат — и сукно, и ситец» [1].

Сукно и ситец это «результат», несомненно, очень скромный. Но расширьте масштаб картины. Подставьте на место машинного «общества» жалкой фабрички огромный мир человеческих отношений. И пусть каждое одинокое колесо в нем, без устали вертящееся ныне на оси своего личного интереса, соединится со всеми прочими колесцами эластичной нитью социальной солидарности. Тогда, разумеется, и в результате коллективного творчества этого нового мира получится уже нечто гораздо более грандиозное и привлекательное, чем фабричные сукна и ситцы. Но именно к такому грандиозному коллективному творчеству от современного мучительного и бесплодного «безвременья» и указывает нам дорогу социалистический идеал.

Свободно черпая из общечеловеческой сокровищницы неисчислимые богатства ду́ха, гражданин будущего высшей своей гордостью будет считать — внести и с своей стороны посильную лепту в эту сокровищницу. Но, гармонично сопрягая свои усилия с усилиями других в достижении наиболее общей всем цели — обогащения жизни, каждый пойдет к ней своей собственной дорогой. Он пойдет к ней дорогой своих индивидуальных склонностей и дарований, заботливо культивируя в себе при этом и свой особый, ему одному присущий «стиль». И тогда, как бы ни мала была количественно его лепта по сравнению с вкладами других, более одаренных личностей,— она будет новой, несравнимой с другими ценностью,— она будет велика в своем роде.

Нам скажут: все это прекрасно. Но не выразится ли ваша «индивидуализация» просто-напросто в том, что каждый гражданин будущего, чтобы «не повторять» других, отмежует себе какую-нибудь специальность не шире комариного носа и замкнется в ней на всю жизнь? Оно, конечно, если допустить, что задачей жизни каждый поставит себе детальное изучение какого-нибудь одного микроба и что таких еще неизученных микробов хватит на всех желающих, то индивидуализация получится «идеальная». Стоит ли ее только возводить в *идеал*?

Нет, возразим мы на это. Гражданин будущего меньше всего будет узким и сухим специалистом. Правда, гений человека и вообще не всеобъемлющ. Но односторонность и узость *современного* гения в очень значительной степени зависят от социальных условий его развития. Слишком уж трудно в этих условиях достигнуть чего-либо *крупного* в различных областях сразу, и потому волей-неволей приходится жертвовать многими склонностями ради удовлетворения хотя бы одной из них. Но не то будет при социалистическом строе.

Устранение социального гнета в связи с коренной революцией всей системы воспитания облегчит возможность развития всех наличных способностей каждого до последней степени. В то же время замкнуться в слишком узкой области граждан будущего не допустят ни их широкие общественные интересы, ни их разностороннее предварительное образование. Таким образом, гений будущего будет несравненно многостороннее и шире, чем он мог быть доныне. И все же эта относительная мно-

---

[1] Г. Успенский. Сочинения, т. VIII, стр. 353—354.

госторонность граждан будущего отнюдь не пойдет в ущерб своеобразности их индивидуальностей. Ибо индивидуальный стиль человека определяется не только тем, что именно останавливает его внимание, но и тем углом зрения, под которым он видит все, перед чем останавливается.

Здесь нам предстоит, однако, отразить еще одно возражение. На этот раз — идущее совсем с другой стороны.

— Вы допускаете, скажет нам какой-нибудь ультраматериалист, что природное многоразличие людей сохранится и в будущем строе. Но логично ли это? Ведь люди рождаются разными не случайно, а потому лишь, что слишком уж различны те материальные условия существования, в которых из поколения в поколение росли и развивались их предки. И вот, если исчезнет эта причина, не должны ли исчезнуть и следствия? Мысля материалистически, вы должны признать, что человек всегда в конце концов становится таким, каким его делает внешняя среда.

«Der Mensch ist was er isst» [1].

И в то же время вы стремитесь к такому строю, в котором бы исчезло все многоразличие внешней среды от царского дворца до жалкой хижины. Вы хотите, чтобы все получили возможность жить и развиваться в равных условиях. Прекрасно. Но будьте же логичны, и пеняйте уж на себя, если вместо разностороннего расцвета индивидуальностей вы рано или поздно придете к окончательному сглаживанию их всех под один шаблон.

Разберем это рассуждение. Вся его убедительность покоится на том предвзятом мнении, что материальные условия существования в социалистическом строе будут однообразнее нынешних. Но верно ли такое мнение? Нет, неверно.

Ведь нельзя же рисовать себе социализм в виде какого-то фаланстера или аракчеевской казармы. Пусть действительно погибнет одно различие между дворцом и хижиной. Эта погибель обогатит жизнь миллионами новых различий. На развалинах жалких и однообразных, как оттиски с одного и того же клише, хижин вырастут тысячи сказочно дивных воздушных замков из стекла и железа. И все эти феерические постройки будущего и по величине своей, и по красоте, и по стилю будут столь же многоразличны, как многоразличны вкусы высокоразвитых индивидуальностей. То же самое можно бы повторить об одежде, о пище и прочих слагаемых так называемой внешней среды.

Нет, нивелирует людей нужда, а не социализм. Нужда — вот величайший «нивелировщик» современности. Лишь нужда загоняет ныне сотни миллионов людей, как в хлев, в одни и те же шаблоны. Лишь нужда запирает их в одни и те же каморки. Лишь нужда одевает их в одни и те же грязные рубища. Лишь нужда кормит их одним и тем же мякинным хлебом. Нужда нивелирует, ибо она не оставляет людям выбора. Но пусть лишь социализм освободит эти сотни миллионов от гнета злой ведьмы нужды, и, поверьте, они сумеют *выбирать*. Не вкусы свои станут они тогда приспособлять к условиям жизни, а сами эти условия приспособят к своим вкусам. И это создаст такое многообразие жизни, о котором теперь трудно даже составить себе представление.

Но этим еще не все сказано.

Формула «человек есть то, что он ест» — слишком грубо передает материалистический взгляд на зависимость человека от внешней среды. Дело не в одной еде, конечно. И даже не во всей окружающей об-

[1] «Человек есть то, что он ест».

становке. Обстановка — это большей частью бутафория жизни. Но не бутафория, а главным образом род деятельности человека определяет его характер и индивидуальность. И это понятно, ибо, лишь активно расходуя свой запас энергии в том или ином направлении, мы *развиваем* в себе те или иные свойства и способности. Но деятельность всякого рода может быть либо механической, либо творческой. Первая из них осуществляется привычным образом, по давно и всем известным шаблонам. Она ставит всех в тождественные условия и потому *нивелирует* людей. Вторая — творческая деятельность — есть искание новых путей к новым ценностям. В этих исканиях люди расходятся. Она их индивидуализирует.

Понятно, однако, что на творческий труд ради новых ценностей может быть израсходован лишь тот избыток энергии, который остается за покрытием всех привычных нужд первой необходимости — трудом механическим. Но остается ли такой избыток у современного пролетария? Конечно, нет. Громадное большинство современного человечества обречено всю жизнь тянуть одну и ту же нивелирующую лямку трафаретно-механического труда. И лишь социализм, открыв всем и каждому доступ к труду творческому, двинет этим все человечество по пути индивидуализации.

— Позвольте, позвольте! с живостью возразит нам на это какой-нибудь ницшеанец. Да если все человечество займется творчеством, то кто же возьмет на себя труд механический, без которого не может ведь обойтись и социалистическое общество? Хорошо было эллинам творить свою высокую культуру, когда всю черную работу делали за них их рабы. Но ведь вы отрицаете рабство — это необходимое условие всякой культуры. Будьте же мужественны и во имя равенства отрицайте всякое творчество, отрицайте и плоды его — культуру. Если же вас не соблазняет «дурацкое» царство Л. Н. Толстого, если вы дорожите культурой, то будьте же последовательны и не отвергайте рабства.

Вот не шуточная дилемма! Для тех кто бессилен ее разрешить,— это страшная, роковая дилемма. Ведь ее не утопишь в потоках морального негодования. Но нам она не страшна. Мы принимаем вызов.

Да, скажем мы, толстовский идеал нас не прельщает. Да, мы дорожим культурой. Вы требуете от нас смелой последовательности? Ну что ж. Вы утверждаете, что свободные творцы нуждаются в рабах? Охотно признаем это. Да, рабы нужны. Это верно. И мы будем иметь их. В социалистическом строе их будет даже больше, чем когда-либо. Если в древней Элладе на одного гражданина приходилось по десятку рабов, то при социализме их будет на каждого по тысяче. И каких!.. Творцы будущего умерли бы от гордого презрения к себе самим, если б им пришлось пользоваться помощью рабов, столь жалких и бессильных, как те, которыми созидалось величие Эллады. О, нет. Наши рабы будут мощнее титанов, ибо мы выкуем их из огня и железа!

— Э-э-э! — разочарованно протянет тут ницшеанец. Так вы это про машины?..

Да, про машины. Вся тяжесть привычного, т. е. по существу дела, единообразно-механического труда, может, а следовательно, и должна быть переложена на плечи железных рабов — машины. Растрачивать драгоценную энергию мышц и мозга там, где ее можно заменить гораздо более дешевым паром и электричеством,— было бы чистым безумием. Правда, всегда останется и такая доля механического труда — по присмотру и уходу за железными рабами,— которую придется брать на себя людям. Но с тех пор, как эта в общей сумме ничтожная доля распределится равномерно между всеми членами общества, она составит столь незначительную часть трудового дня, что свободно сойдет за моцион или забаву.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Как жалки причитания господ идеалистов об «изуверстве» социал-демократов, готовых-де навалить бескачественную механику материального труда даже на человека «высшего» призвания,— судить об этом предоставим теперь самому читателю.

Бедный г. Бердяев! Ему и невдомек было, что высшее призвание может обнаружиться *в каждом* человеке. Нет, господа хорошие! Изуверство не там, где вы его ищете. Оно вокруг вас, в жизни. Оно в вашей идее. Свалить весь черный, отупляюще однообразный труд с людей, мнящих себя избранниками, на всех прочих, чуждых этой претензии,— вот изуверство! Вот самая тупая и грубая шигалевщина, ибо она выкалывает глаза и урезывает языки у еще не обнаруживших своего высшего призвание Коперников и Цицеронов.

Разберем, однако, ряд возражений аристократии духа, направленных против профанов и их идеала.

Какое непонимание этого идеала обнаруживают, например, аристократы духа в своих потугах представить демократию врагом поэзии, искусства и вообще всякого духовного прогресса!

Оно, конечно, понятие «духовного прогресса» без дальнейшей конкретизации его содержания — это не более, как пустая абстрактная фраза. В *классовом* обществе очень часто то, что для одних представляется величайшим «прогрессом», для других оказывается вещью совершенно безразличной, если не прямым бедствием. И потому, что мудреного, если мещане в споре со своими антагонистами обменяются иной раз такими примерно репликами:

— «Торжество таких людей, как вы,— затянет свою любимую волынку какой-нибудь «траурный» идеолог отмирающего мещанства,— повело бы за собою крушение культуры».

— «И к черту! — оборвет его в сердцах чей-нибудь озлобленный голос.— *Ваша* культура — другое название для паразитизма и тунеядства. Когда арестант моет мылом голову — вши вопиют, что он разрушает культуру» [1].

И, разумеется, если вспомнить, что понимает под словом «цивилизация» какой-нибудь папа́-Карамазов, то и такой отзыв не покажется слишком резким. Возьмите, однако, культуру даже в лучших ее проявлениях и спросите себя: с какой стороны, розами или шипами, давала она себя знать доныне коллективному профану? Ответ не затруднит вас, конечно. Без сомнения, лишь к столу «избранников» подавались всегда все наиболее изысканные плоды культуры от «Государя» Макиавелли до «Книги песен» Генриха Гейне включительно. Что же касается широких народных масс, то для них поэзии Гейне просто не существует, а политика Макиавелли, увы, дает себя чувствовать только в бичах и скорпионах.

Скажем даже больше. Мы можем вполне принять утверждение К. Маркса, что «...всякий прогресс духа был до сих пор прогрессом в ущерб массе человечества, которая попадала во все более и более бесчеловечное положение» [2]. И все же это отнюдь еще не делает нас врагами духовного прогресса.

Поясним это примером.

Технический прогресс тоже всегда был и до сих пор еще остается прогрессом против массы человечества. Всякое техническое изобрете-

---

[1] А. Луначарский. Марксизм и эстетика. «Правда», сентябрь — октябрь 1905 г.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 92.

ние, всякая новая машина вместо того, чтобы облегчить человеческий труд, становится, наоборот, источником новых бедствий для трудящихся масс. Выбрасывая за борт в жертву голода и смерти одних, машины еще сильнее закрепощают других. Но технический ли прогресс тут повинен? И против него ли нам враждовать и бороться?

Правда, было время, когда малосознательные рабочие в знак протеста против гнетущего их социального ига громили фабрики и разрушали машины. И это вполне естественно, ибо, говоря словами Маркса, «необходимо известное время и известный опыт, чтобы рабочий научился отличать машину от капиталистического ее применения и переносить свои нападки с материальных средств производства на общественную форму их эксплуатации». Но, как показывает история рабочего движения, для этого вовсе не так уж много времени и опыта потребовалось современному пролетарию.

То же самое, примерно, можно повторить и в отношении духовного прогресса. И здесь надо отличать вещественные плоды его от общественной формы пользования ими, хотя это и не сразу всем удается, конечно.

Вспомните, например, Савву Тропинина.

— «Я, дядя, человек,— повествует он о себе,— который однажды родился. Родился и пошел смотреть. Увидел церкви и — каторгу. Увидел университеты и — дома терпимости. Увидел фабрики и — картинные галереи. Увидел дворец и — нору в навозе. Подсчитал так, понимаешь, сколько на одну галерею острогов приходится, и решил: надо уничтожить все... Там их много: Тицианы, Шекспиры, Пушкины, Толстые. Из всего этого мы сделаем хорошенький костерчик и польем его керосином».

Решение, как видите, радикальное. Но радикализм его, увы, очень незрелый. Это, так сказать, радикализм эпохи рабочих бунтов против новых машин. Сложить костерчик из величайших произведений искусства и облить его керосином — дело совсем не хитрое. Большого ума для этого вовсе не требуется. Но, чтобы обосновать такой поступок разумно,— для этого ума требуется, по-видимому, гораздо больше. Больше, по крайней мере, чем мог или хотел уделить своему герою творец его, Л. Андреев. И вот великий отрицатель — Савва, как раз там, где следовало бы обратиться к логике, прибегает к арифметике и «решает»: картинные галереи подлежат уничтожению, так как *по подсчету* их оказалось гораздо меньше, чем острогов.

Такой аргументации едва ли кто позавидует. Ведь «по подсчету» может оказаться, пожалуй, что и отрицателей, подобных Савве, гораздо меньше, чем всем удовлетворенных паразитов разного рода. Но вправе ли мы заключить отсюда, что и Савву следует спалить на одном костре с паразитами?.. И все же Андреев едва ли прегрешил против художественной правды своим «костерчиком». Савва именно должен отрицать искусство, даже наперекор всякой логике.

И не потому, что он нигилист. Апостол всемирного разрушения, Бакунин, был не в меньшей степени нигилистом. Но вспомните его отношение к искусству. В 1848 г., когда революционный Дрезден осадили тогдашние Мины и Риманы, Бакунин предложил вынести на городские стены все сокровища художественной галереи в твердой надежде, что даже эти Мины и Риманы не посмеют стрелять по Рафаэлю. Это было, конечно, очень наивно. Но, скажите, как свято надо чтить искусство, чтобы питать такие по-детски наивные надежды!

Савва в этом отношении совсем другой человек. Нигилизм Саввы не теоретический, а инстинктивный. В его основу легли не философские предпосылки, заимствованные из барской библиотеки просвещенных предков, как у Бакунина, а непосредственное чувство классовой нена-

висти «мужика» ко всему «барскому» — в том числе и к барской культуре. Савва чувствует себя «мужиком», а Рафаэли — *барская* утеха. И этого довольно. В отравленной душе пасынка культуры невольно вспыхивает прежде всего мысль о традиционном костерчике, керосине и тому подобных «своих средствиях».

Из городских элементов чувства Саввы Тропинина всего понятнее люмпен-пролетарским низам населения. «Когда человек прочитает много книг,— резонирует один из хулиганов в «Царе-Голоде»,— он становится умный. А когда он становится умный, он начинает грабить, и с ним ничего не поделаешь. Тогда у него делается особенное лицо, и речь, и платье, а мы остаемся в дураках, и из нас, как насосом, выкачивают жизнь. И я предлагаю уничтожить ихние книги. Я ненавижу книги. Когда мне попадется одна — мне хочется ее бить, плевать ей в рожу, топтать и говорить: сволочь, сволочь!..» Но, несмотря на такие чувства, предложение *«уничтожить ихние книги»* даже здесь, среди хулиганов и нищих, среди карманников, убийц и сутенеров, снимается с очереди одной лаконической репликой:

«Вы глупы, оратор. Они напечатают вновь».

И, если, несмотря на это, во время вызванного Царем-Голодом бунта голодной черни загораются и библиотеки, и музеи — «горит Мурильо! горит Веласкез! Рубенс! Джорджоне!» — то даже для самого Андреева является еще большим вопросом: чему приписать этот святотатственный пожар: ненависти бунтующей черни или «снарядам» господ усмирителей?

Как бы то ни было, возликует тут, пожалуй, какой-нибудь траурный рыцарь духа, но вы сами подтверждаете вашими примерами, какая опасность угрожает культуре со стороны той слепой классовой ненависти, которую вы разжигаете в темных массах вашей демократической проповедью.

Не ликуйте преждевременно! — могли бы мы ответить на это. Пример Саввы ровно ничего не подтверждает уже потому, что по своей психике и идеалам он еще стоит гораздо ближе к «героям духа», чем к «толпе будущего». Савва даже в лучшем случае представляет собою лишь зачаточную стадию в развитии борца-профана. Что же касается вообще «темных масс», то их ненависть угрожает прогрессу лишь постольку, поскольку она действительно слепа. Но «наша проповедь» к тому и направлена, чтобы радикально покончить с этой угрожающей слепотой. Не «разжигать» слепую ненависть, а озарить ее ярким светом классового сознания и направить в надлежащее русло — вот наша задача.

Кстати, об отношении современных профанов к искусству можно судить хотя бы по следующим двум-трем фактам, о которых недавно сообщил в печати А. Бенуа, со слов одного из своих корреспондентов.

Этот корреспондент, деятельный член так называемых рабочих клубов, обращает внимание широкой публики на ту категорию посетителей Эрмитажа, о которой многие, а в том числе и сам г. Бенуа, по собственному признанию, и не подозревали. Дело идет о петербургских рабочих, не затрудняющихся, как оказывается, совершать в редкие минуты отдыха целые паломничества с далеких окраин города (Путиловский, Обуховский заводы и др.) в наши музеи, «чтобы в течение нескольких часов отдохнуть душой перед великими мастерами прошлого и настоящего».

Но предоставим слово самому г. Бенуа и его корреспонденту.

«Читая лекции перед аудиториями, достигающими нередко двухсот человек, он,— корреспондент г. Бенуа,— заметил чрезвычайно живой интерес не только к наукам, но и к искусству. Под впечатлением лекции рабочие стали посещать музеи, однако жаловались, что многое остается для них непонятным».

Автор письма счел своим долгом сделаться путеводителем этих неофитов, и вот уже два с лишним года, как у него не было ни одного свободного праздника, кроме летних месяцев. Каждое воскресенье, с группой в 30—50 человек рабочих он является в Эрмитаж, а иногда и в музей Александра III и там на примерах объясняет своим слушателям историческую последовательность в развитии искусства, соединяя эти объяснения с экскурсиями в бытовую историю различных эпох.

Мой корреспондент настаивает на том, что рабочие ходят в музеи, *любят* их и *хотят* их знать. Что рабочие любят и ценят музеи больше многих интеллигентов, доказывает и следующий факт: во всех трех Думах лишь один раз и один голос поднялся о судьбах наших музеев — и это была речь рабочего костромской губернии Суркова (в одном из ближайших после Пасхи заседаний 1909 г.). Последний говорил о наших художественных коллекциях, об Эрмитаже и т. д. и выдвигал на первый план следующий девиз: *национальные сокровища для народа.* Народ должен иметь возможность видеть то, что собрано и создано его кровными деньгами; это не только его право, это его желание.

Замечу мимоходом, что эта речь сопровождалась криками, смехом и улюлюканьем крайней правой.

«Я хотел бы сказать истинным «хранителям тайны и веры»[1], влюбленным в искусство: не уносить нужно зажженные светы от народа, а нести к нему, чтобы и он их увидел. Изредка приходилось мне слышать в рабочей среде голоса, проповедовавшие разрушение памятников искусства. Но это были исключения. Мало того: посетивши Эрмитаж, даже и эти или многие из этих разрушителей начинали понимать, какую великую ценность представляют памятники искусства». Мой корреспондент твердо уверен, что в дни серьезных уличных смут именно петербургские рабочие отправили бы свою охрану к национальным сокровищам искусства.

(«Речь», 1909, № 276).

«Партия, в столь выдающейся степени цивилизаторская, как социал-демократия, прибавим мы к этому словами Ф. Меринга, имеет все основания тщательно беречь те зародыши цивилизации, которые могут развиться уже на почве буржуазного общества»[2]. И она бережет их. Мы знаем, конечно, что все подобные зародыши в современном обществе отравлены ядом капитализма. Но мы учим *отличать* цену всяких — и технических, и духовных — завоеваний человеческого гения от того *применения,* какое они находят в этом капиталистическом обществе.

В том же направлении действует время и собственный опыт коллективного профана. И вот, в общем и целом, он давно уж борется не против машин и культуры, а против тех господ жизни, которые сумели обратить и то и другое в свою исключительную монополию. Да, можем мы сказать смело. Сознательный демос, шествующий под знаменем социал-демократии, уже научился ценить блага духовной культуры. И ценит он их, как видно, не хуже вас, господа почтенные. Ибо борется он за доступность этих благ *всем и каждому*; во всяком случае не с меньшим упорством, чем вы — за *монопольное* обладание ими.

II

Как-никак, заметит тут доктор Штокман, но вы сами признали, что все высшие блага духовной культуры составляют пока что привилегию меньшинства. И в то же время вы провозглашаете принцип самодержавия народа, т. е. подчинения меньшинства большинству. Логично ли это, однако. «Из каких людей составляется большинство в стране? Из умных, или глупых? Я думаю, все согласятся, что глупые люди составляют страшное, подавляющее большинство на всем земном шаре. Но правильно ли, черт возьми, чтобы глупые управляли умными?»

Преодолеть этот уже весьма древний, еще сократовский, софизм с нашей классовой позиции довольно просто.

Прежде всего ясно, что он грешит смешением ума с выучкой. А это грех не маленький. Правда, «мужик сер,— как гласит об этом народная

---

[1] Перед этой фразой приведены стихи Валерия Брюсова «Грядущие гунны».

[2] Ф. Меринг. История германской социал-демократии. СПб., 1896, т. II, стр. 285

мудрость,— но ум у него не черт съел». Известная выучка, или дрессировка, действительно, монополизирована привилегированным меньшинством. Но природного ума,— по крайней мере настолько, чтобы здраво судить о своих собственных нуждах,— не лишены и самые широкие круги народа.

Независимо от этого, уже в самой постановке вопроса у доктора Штокмана заключается крупнейший дефект. Если уж рассуждать абстрактно, то следовало бы спросить не о том, дуракам ли более пристало управлять умниками, или наоборот, а о том, пристало ли вообще одной части человечества управлять другою? Для нас, например, не может быть и речи о преимуществах господства умников перед господством дураков уже потому, что мы вообще отвергаем всякое классовое господство. А если б нас все ж таки заставили выбирать меньшее из зол, то предпочтение мы отдали бы именно господству глупцов, как такому, от которого всего легче избавиться.

Конечно, нам могут сказать, что целью управления должно быть *не господство, а служение* коллективным нуждам народа. Но признать это, значит признать правительство лишь слугою-исполнителем нужд народа-властелина, а это и есть идея суверенитета народного. Признание за народом-властелином права самому судить о своих нуждах едва ли ведь подлежит спору.

Позвольте, позвольте! — возразит нам тут, пожалуй, кто-нибудь из критически мыслящих «друзей народа». А если народ в своем подавляющем большинстве до того невежествен, что не может стать хорошим судьей даже в собственном деле? Не лежит ли тогда на интеллигентном меньшинстве долг решать о нуждах и судьбах народа не только за себя, но и за все невежественное большинство своих сограждан?

Оставляя пока в стороне вопрос о «долге», мы скажем на это: в современном обществе, ввиду раздирающей его классовой борьбы, нет нужд, общих всему народу. В нем речь может идти, стало быть, лишь о нуждах большинства. Но спрашивается: а что, если интересы интеллигентного меньшинства станут в противоречие с нуждами большинства неинтеллигентного? Поставит ли оно тогда чуждые ему интересы этого большинства выше своих собственных? Всевозможные панамы и лидвалиады доказывают, что сомневаться в этом более чем позволительно.

«Между нашими крепостниками «эпохи великих реформ»,— иллюстрирует эту мысль Г. В. Плеханов,— наверно встречались люди гораздо более просвещенные, чем их «крещеная собственность». Такие люди не думали, конечно, что гром вызывается прогулками по небу пророка Ильи в его колеснице. И если бы речь зашла о причинах грозы, то истина оказалась бы на стороне *меньшинства* — просвещенных крепостников,— а не на стороне *большинства* — непросвещенной крепостной «черни». Ну, а что было бы, если бы речь зашла о крепостном праве? Было бы то, что большинство,— те же непросвещенные крестьяне,— высказалось бы за его отмену, а меньшинство,— те же просвещенные крепостники,— закричали бы, что отменить его — значит потрясти все самые «священные основы». На чьей же стороне была бы тут истина?» [1]

Итак, дело ясно. Конечно, вопросы отвлеченно научного характера не подлежат голосованию. Но этого и не предлагает демократия. Что же касается вопросов социальной политики, то здесь и наиболее высокая «умственность» не служит еще ручательством столь же высокого бескорыстия. И потому в таких вопросах никому не следует предоставлять права решать за других, за большинство.

---

[1] Г. Плеханов. Генрих Ибсен, стр. 16.

Оно, конечно, и решения большинства не всегда можно признать безукоризненными. Но суверенное большинство само *себе навредить может* лишь по ошибке, что легко исправить. Тогда как меньшинство, захватив в свои руки власть решать, способно вредить большинству не только по ошибке, но и вполне сознательно, что уже гораздо опаснее. Вот почему, исходя из интересов широких народных масс, приходится признать, что если и не идеальным, то наиболее целесообразным способом решения общественных вопросов является все же решение их по большинству голосов.

Этот способ надо, впрочем, признать не только целесообразнейшим. В известном смысле его можно признать,— если не исторически, то логически,— и вообще единственно возможным способом.

В самом деле. «Большинство никогда не бывает право!» — утверждает доктор Штокман. «*Меньшинство* всегда право». Его идеалом является, стало быть, строй, в котором силу закона получали бы лишь решения меньшинства. Но возможен ли такой строй? Возможно ли определить без предварительного на каждый случай голосования, что меньшинство высказалось бы именно за то, а не за другое решение? Очевидно, нет. Ни одна, самочинно выделившаяся группа умников не в праве утверждать уже до голосования, что ее мнения суть мнения меньшинства, ибо легко может случиться, что и вне ее найдутся умники, которые предложат еще более разумные решения тех же вопросов и при голосовании останутся в меньшинстве.

Итак, голосования *логически* неизбежны даже в идеальном строе доктора Штокмана. Но что вышло бы при голосованиях там, где заранее известно, что силу закона получает мнение меньшинства? Угадать это нетрудно.

Вышло бы то, что в известном анекдоте о спортсменах, оспаривавших друг у друга приз не за быстрейший, а за наиболее тихий ход своих скакунов: спортсмены никогда не сдвинулись бы с места, если б не догадались пересесть каждый на лошадь своего соперника. Но они «догадались», и тогда каждому из них осталось лишь скакать изо всех сил на чужой лошади, чтоб опередить свою. Нечто подобное произошло бы и в идеальном государстве доктора Штокмана. Подача голоса *за* какое-нибудь решение уменьшала бы там его шансы стать законом. Подача голоса *против* увеличивала бы эти шансы. Понять эту премудрость хватило бы ума у всякого. И вот, все сторонники данного решения голосовали бы «против» него, все противники — «за» него, а в результате законом становилось бы все ж таки мнение большинства.

Здесь своевременно будет, однако, устранить возможность такого недоразумения.

Утверждая самодержавие народа, скажет нам индивидуалист, вы тем самым отвергаете все неотъемлемые права личности. Самодержавный народ, если этого захочет большинство его, сможет как угодно насиловать каждую отдельную личность, лишая ее не только свободы, но и самой жизни. Ибо воля большинства — вот ваш верховный и непререкаемый закон. Вместо старого обветшалого абсолютизма вы вводите таким образом новый, на более прочном фундаменте, но столь же тиранический. Входит ли это, однако, в ваши расчеты.

Конечно, нет! — скажем мы на это. Мы отнюдь не склонны создавать себе из «большинства» какого-то фетиша, в жертву которому приносилось бы все и вся. И недоразумение вызывают, по-видимому, главным образом те еще слишком свежие исторические воспоминания, которые связываются у нас со словом «самодержавие».

Утверждать, подобно Ницше, что «социализм желает всей той полноты государственной власти, какой только достигал деспотизм, и даже превосходит все прошлое, стремясь к совершенному уничтожению лич-

ности»[1],— утверждать нечто подобное — это значит впадать в жесточайшее заблуждение. Ведь уже от современного общества мы добиваемся признания в качестве *минимума* наших желаний не только принципа народовластия, но вместе с тем и неприкосновенности личности и всех прочих индивидуальных свобод.

Правда, мы не верим в магическое действие фразы и не пытаемся упрочить права личности звонким эпитетом «естественные и неотъемлемые». Чуждые пустого формализма, мы не гонимся за теоретическим признанием наших прав естественными. Для нас важнее, чтобы с этими правами считались в жизни. А с этой точки зрения всякое право перестает быть фразой лишь с того момента, как оно *отвоевано,* и «неотъемлемым» его можно считать только до той поры, пока за ним стоит достаточно крупная сила.

Преимущество такой реалистической теории завоеванных прав по сравнению с идеалистической догмой «естественных прав человека» — очевидно. В то время как *идеалисты* обычно лишь *провозглашают* те или другие права естественными и неотъемлемыми, мы за них боремся и «явочным порядком» воплощаем в жизнь. И пусть нам не говорят, что все наши завоевания в этой области пока что очень невелики. Ни народовластие, ни личная свобода не могут быть *вполне* осуществлены в современном обществе уже потому, что *господствующей* силой в нем является не коллективный труд и не индивидуальная талантливость, а мертвый и безличный фетиш — капитал.

Прислужник этого бога современности — государство, появляясь перед нами даже в своих наиболее демократических личинах, по существу остается все же *органом господства буржуазного меньшинства,* и только. Интересы этого меньшинства противоречат как коллективным, так и индивидуальным видам свободы человека. И потому государство предает закланию на алтаре своего бога — всякую свободу. Но государство не вечно. Вместе с его фундаментом — классовым строем общества — рано или поздно должна будет рухнуть и вся государственная надстройка. Это основной вывод из всей нашей теории и практики. И лишь по какому-то странному в своей упорности непониманию противники наши, индивидуалисты, упрямо зовут нас «государственниками».

III

«Государственный социализм» — это идеал Бисмарков и Аракчеевых. И уж, конечно, не марксисты культивируют этот казарменный идеал, хотя, несомненно, их собственный идеал общежития не имеет ничего общего и с той хаотической анархией, какую идеализируют крайние индивидуалисты.

Дело в том, что анархисты-индивидуалисты во имя свободы личности отвергают не только политическую, но и хозяйственную организацию грядущего общества, взятого в целом. Тогда как марксисты чуждую принудительных элементов, но все же единую и планомерную *хозяйственную* организацию общества, напротив, считают не препятствием, а необходимейшей предпосылкой свободного развития личности. Кроме того, анархисты, рассматривая государство как какой-то чисто внешний нарост на общественном организме, который просто-напросто надо отсечь и отбросить с дороги, слишком уж упрощают свою задачу. Мы же думаем иначе. По-нашему, государственный вред есть результат глубокой *внутренней* болезни общества, и если уж нужна операция,

[1] Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое, стр. 473.

то нужна она именно для излечения этой внутренней болезни. Внешний же вред от здорового организма и сам отвалится прочь.

Фридрих Энгельс выразил этот взгляд в следующем классическом отрывке своего «Анти-Дюринга».

«Государство,— говорит этот виднейший теоретик марксизма,— было официальным представителем всего общества, его сосредоточением в видимой корпорации, но оно было таковым лишь постольку, поскольку оно было государством того класса, который для своей эпохи один представлял все общество: в древности оно было государством рабовладельцев — граждан государства, в средние века — феодального дворянства, в наше время — буржуазии. Когда государство наконец-то становится действительно представителем всего общества, тогда оно само себя делает излишним. С того времени, когда не будет ни одного общественного класса, который надо было бы держать в подавлении, с того времени, когда исчезнут вместе с классовым господством, вместе с борьбой за отдельное существование, порождаемой теперешней анархией в производстве, те столкновения и эксцессы, которые проистекают из этой борьбы,— с этого времени нечего будет подавлять, не будет и надобности в особой силе для подавления, в государстве. Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества — взятие во владение средств производства от имени общества,— является в то же время последним самостоятельным актом его как государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения становится тогда в одной области за другой излишним и само собой засыпает. На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. Государство не «отменяется», *оно отмирает*» [1].

«Вместе с государством исчезнут и его представители: министры, парламенты, постоянное войско, полиция и жандармы, суды, присяжные поверенные и прокуроры, тюремные чиновники, таможенное и податное ведомства,— словом, весь политический механизм. Казармы и прочие военные здания, судебные и административные здания, тюрьмы и т. д. приспособятся тогда к другим целям. Десятки тысяч законов, указов и предписаний сделаются ненужной бумагой,— они будут иметь еще одно только историческое значение. Великие и при всем том столь мелочные парламентские сражения, в которых ораторы воображают себе, что их речи управляют и руководят миром, исчезнут, уступив свое место административным коллегиям и делегациям, на обязанности которых будет лежать возможно лучшее устройство производства, распределения, установление размера необходимых запасов, введение и применение целесообразных новшеств в искусстве, образовательном деле, путях сообщения, производственном процессе и т. д.» [2] Вообще, политическая организация общества уступает свое место организации хозяйственной.

Так относятся к вопросу о государстве марксисты.

Ну, а если и в ваших хозяйственных коллегиях и делегациях возникнут вопросы спорные, подобно тому, как они возникают в современных парламентах? — спросит нас читатель-скептик. Как разрешите вы их тогда без ущерба интересам меньшинства?

В ответ на это мы прежде всего укажем, что благодаря устранению классовых антагонизмов в социалистическом строе таких вопросов, в которых сталкивались бы непримиримые интересы разных групп, предполагать в нем не приходится. И потому достигать соглашения в спор-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 291—292.
[2] А. Бебель. Женщина и социализм. М.— Л., 1923, стр. 421.

ных вопросах путем ли объективно научного их разрешения, или путем взаимных уступок — всегда будет возможно.

Но, рассуждая теоретически, возможно, конечно, допустить, что по какому-либо вопросу такого соглашения и не будет достигнуто. И тогда меньшинству придется либо подчиниться большинству, либо выделиться в особую, независимую от целого, хозяйственную ячейку. Логически мыслимы оба исхода. Политика дробления на изолированные ячейки оказалась бы, однако, самоубийственной для социалистического хозяйства. Преодолеть современную анархию производства возможно лишь при единстве плана для всего общественного хозяйства в целом. И потому фактически меньшинству оставался бы в таких случаях один лишь выход — подчинение.

— Итак,— заметит читатель-скептик,— решение большинства сохранять свое обязательное значение в известных случаях и для демократии будущего. А если это так, то где же гарантия, что права меньшинства и свобода личности не будут и тогда приноситься, по-нынешнему, в жертву интересам пресловутого сплоченного большинства?

Вопрос этот вполне законен. Что никакая декларация прав стать такой гарантией против «сплоченного большинства» не может — это очевидно. Ведь если сплоченное большинство вправе провозгласить любую декларацию, то оно же в силе и похерить ее, когда вздумается. Но, к счастью, социалистическое общество и не нуждается ни в каких бумажных гарантиях против сплоченного большинства. И не потому не нуждается, что все люди станут в нем «ангелами», а просто потому, что покушаться в нем на чьи-либо права или свободу и незачем будет, да и некому.

Ведь социалистический строй — это такой строй, в котором интересы всех находятся в полнейшей гармонии с интересами каждого. Каким же образом решение, предпринятое в интересах большинства, могло бы там повредить какой-либо группе лиц или отдельной личности? Большинству социалистического общества *незачем* вредить меньшинству. Это во-первых. А во-вторых, гарантий против «сплоченного большинства» в этом обществе не потребуется уже потому, что в нем *«сплоченного* большинства» и быть не может.

В самом деле. Правящее большинство любого из современных парламентов остается одним и тем же во всех голосованиях, ибо его *сплачивает* единство классовых интересов. Ждать от него серьезной защиты прав враждебного ему меньшинства поэтому не приходится. Но другое дело демократия будущего. Всякая классовая спайка там исчезнет. Постоянное большинство по целому ряду вопросов станет немыслимым. Любой член общества, еще сегодня бывший по какому-либо вопросу в подавляющем большинстве, завтра же по другому вопросу может оказаться в ничтожном меньшинстве. Затягивая мертвой петлей чью-нибудь личную свободу сегодня, он завтра и сам рискует попасть в ту же петлю. «Сегодня я, а завтра ты»... подумает про себя каждый. И никто не рискнет ограничить свободу другого более тесными рамками, чем те, где эта свобода непосредственно граничит со свободой других.

Таким образом, и без формальных гарантий демократия будущего обеспечит за каждой личностью всю ту свободу, на какую она только может претендовать.

А принуждение к труду? — возразит нам тут «идеалист». Разве вынуждая меня в вашем идеальном строе делать то, чего я совсем не желаю, вы не посягаете этим на мою личную свободу. «У кого мозоли — тот садись за стол, а у кого нет — тому объедки»,— вот формула вашей социалистической «свободы». Но разве вы не чувствуете в ней

самого оскорбительного насилия над теми, кто почему-либо питает отвращение к бескачественному механическому труду?

Увы! — скажем мы на это. Все в этом мире относительно. И поскольку нам придется выбирать между вышеуказанной формулой и той, которая гласит: «Всем праздным паразитам — роскошно убранный стол, а труженикам — объедки»,— мы без всяких колебаний предпочтем первую. Но отстаивать ее в качестве какого-то незыблемого требования абсолютной справедливости мы вовсе не стали бы.

Конечно, в эпоху переходную, пока современные господа жизни, сохраняя свое классовое отвращение «ко всякой «черной» работе, не научатся еще отвращению к паразитизму — в эту эпоху, избирая меньшее зло, быть может, придется прибегнуть и к таким педагогическим мерам, как «объедки». Но новые социальные условия живо перевоспитают мещанство, да и труд станет уже не тягостной обязанностью, а наслаждением человека. Ведь весь наименее привлекательный «бескачественный» труд можно будет передать и автоматам. А если это так, то к чему бы еще тогда служили какие бы то ни было меры понуждения к труду?

— Ну, а если и тогда найдутся все же такие чудаки-мизантропы, которые, хотя бы просто из упрямства, не пожелают работать добровольно, да и только?

И пусть себе упрямятся на здоровье! — скажем мы на это. Социалистическое общество во всяком случае будет достаточно богато, чтобы позволить себе такую роскошь, как единичные чудаки всякого рода. И оно ни в коем разе не будет столь мелочным, чтобы обделять в чем-либо таких чудаков или маниаков без крайней нужды.

Но здесь мы подошли вплотную к общим принципам распределения благ в будущем обществе.

IV

— Каковы же эти принципы? — спросит читатель.

Вопрос вполне уместный, ибо в этой области не только у широкой публики, но даже у иных «критически мыслящих» социалистов обнаруживается невообразимая путаница и крайнее убожество мысли. Так, например, принцип распределения: «каждому по его потребностям» — присваивают обычно анархистам, а принцип: «каждому по его труду» — социалистам. И многие, принимая такое распределение принципов за факт, наивно заключают из него о преимуществах более «щедрого» анархизма.

Возникают на этой почве, однако, и более курьезные недоразумения.

Мы имеем здесь в виду «махаевцев» и их строгого критика г. Иванова-Разумника.

Господа «махаевцы» А. Вольский и Е. Лозинский, исходя из плохо понятых положений классовой теории, развили своеобразную точку зрения на интеллигенцию, как на особый класс, принципиально враждебный по своим интересам пролетариату, забывая, что и все рабочие в условиях социализма становятся интеллигенцией. Не щадят они при этом, конечно, и *социалистическую* интеллигенцию, которая-де непременно проведет за нос следующих за ней профанов, заняв и в социалистическом строе привилегированное положение господствующей аристократии духа.

В подтверждение этого махаевцы, между прочим, утверждают, что социалистическая интеллигенция «оправдывает» высшую оплату квалифицированного труда с очевидным намерением «оставить неприкосновенными все доходы белоручек». И вот, в противовес этому злокознен-

ному намерению, они выдвигают принцип: «каждому поровну, независимо от качества труда», усиленно подчеркивая при этом, что «социализм истекшего столетия» отвергает этот будто бы специфически махаевский принцип распределения.

Как же реагирует на это наш глубокомысленный критик махаевщины?

О, конечно, в качестве «критически мыслящей личности» он выступает «в защиту социализма» и доказывает, что махаевщина благодаря своему принципу распределения является «сплошным недоразумением, ходячим противоречием, квадратным кругом и глубокой плоскостью» [1].

И в самом, мол, деле. Что гласит этот принцип? «Равная оценка неравного труда?» Это ли справедливость! «Равная плата инженеру и чернорабочему?» Это ли не утопия! «Каким путем,— спрашивает г. Иванов-Разумник,— махаевщина создаст желание десяток лет изучать сложную специальность для того, чтобы в результате это изучение не принесло *ничего?..*» Нет, решает г. Разумник: «в области экономической равенство не может быть осуществлено»... «В социалистическом обществе заработная плата... будет разной высоты, и высота годового заработка будет прямо пропорциональна квалифицированности рабочей силы индивида» [2].

Возражать ли нам на это? Доказывать ли, что интеллигентный труд уже в самом себе заключает свое воздаяние? Убеждать ли, что к многолетнему изучению той или другой отрасли наук в социалистическом строе могут быть и иные, более сильные стимулы, чем высокие инженерские оклады. Разъяснять ли, что социализм отнюдь не «оправдывает» высшей оплаты квалифицированного труда, а лишь *объясняет* ее, исходя из категорий *капиталистического* хозяйства?.. Или просто-напросто сказать: как жаль, что махаевцы и г. Иванов-Разумник вкупе с ними взялись опровергать и защищать социализм истекшего столетия, не потрудившись хотя бы слегка познакомиться с ним предварительно.

Скажем последнее.

Если бы г. Иванов-Разумник, прежде чем выступать в защиту социализма и открывать «перлы невежества» у махаевцев, прочел, как следует, хоть одну главу о будущем обществе из «Эрфуртской программы», он, наверное, не впал бы в такое «сплошное недоразумение» и такую «глубокую плоскость»... Он узнал бы тогда, между прочим, что все его глубоко плоские аргументы против принципа *равных* доходов при обязательности посильного труда обычно приводятся не «в защиту», а против социализма, и что в социалистическом лагере они давно уже потеряли кредит [3].

С другой стороны, не мешало бы перечитать ту же главу повнимательнее и махаевцам. Они узнали бы оттуда, что социализм истекшего столетия не только не отвергает требуемого ими равенства в распределении, а, напротив, полагает, что такое уравнение является «тенденцией естественного хода развития». Более того, он утверждает, что при известном состоянии производительных сил, «когда люди будут иметь все нужное им в избытке», тогда и формула: «каждому по его потребностям», т. е. та формула, которую пока оспаривают и г. Иванов-Разумник и махаевцы, «очень легко и даже сама собой найдет свое применение в жизни» [4].

---

[1] Иванов-Разумник. Что такое махаевщина? СПб., 1908, стр. 119.

[2] Там же, стр. 112, 114, 117, 118.

[3] К. Каутский. Комментарий к положениям Эрфуртского съезда. СПб., 1905, стр. 119.

[4] Там же, стр. 120 и 117.

Марксисты не декретируют тех или других принципов распределения, руководствуясь их большей или меньшей «щедростью» или «справедливостью». Они лишь предвидят, что с ростом производительных сил общества следует ждать смены различных принципов этого рода в ту, а не другую сторону. И они определенно указывают в какую.

Итак, недоверие махаевцев к социалистической интеллигенции и ее идеалу в данном пункте оказывается по меньшей мере преждевременным. Но если бы это было даже не так, и если бы социалистическая интеллигенция и впрямь была полна самых злокозненных намерений против профанов — это отнюдь не могло бы внушать им никаких опасений. Ведь профаны не пешки и, если бы социалистическая интеллигенция вздумала изменить им когда-либо, они обошлись бы и без нее, конечно.

Смешно думать, что пролетариат, способный даже в настоящих условиях развития стать достаточно крупной и сознательной силой, чтобы свергнуть с себя иго капитализма, позволил кому бы то ни было одурачить себя при *социалистических* условиях развития. И если махаевцы думают нечто подобное, если они полагают, что и при самой широкой доступности духовного развития интеллигенция будет составлять все же какую-то особую касту «избранников», с которой волей-неволей придется считаться непросвещенной черни, то вывод отсюда ясен.

Значит и в душах самих махаевцев живет еще аристократическая закваска недоверия к духовным силам и способностям пролетариата. Говоря иначе, при всей своей враждебности к аристократии духа они и сами заражены ее предрассудками.

Однако мы довольно уж сказали о нашем идеале общежития. Расписывать тонким орнаментом узорчатые башенки храма будущего и расцвечивать яркими красками его зеркальные купола — едва ли входит в задачу нашего поколения. Перед нами стоит пока другая и притом самая грандиозная задача. Нам нужно еще заложить достаточно прочный и широкий фундамент для всех этих расписных башенок и куполов. А для этого нам предстоит более или менее явочным порядком овладеть предварительно всеми производительными силами общества и организовать их на новых, коллективных началах.

Лишь тогда, когда этот фундамент общежития, основной принцип которого есть «полное и свободное развитие каждой отдельной личности», станет достигнутой ступенью развития, своевременно будет потолковать и об орнаментах.

И все же мы не можем закончить настоящий очерк, не устранив еще одного характернейшего недоразумения.

— Допустим, что идеал ваш прекрасен!.. — говорят иные аристократы духа. Но ведь это все же земной, конечный идеал. Придет, стало быть, время, когда последние ваши чаяния воплотятся в жизнь, конечная цель будет достигнута, и что же дальше?

О, это будет самый ужасный, роковой день истории, ибо с этого дня иссякнет всякий смысл человеческого существования. Некуда уж будет дальше идти, нечего желать, не за что бороться. Исчезнут манящие дали неизведанного, исчезнут живые источники волшебных грез. И бесцветно потечет изо дня в день размеренная сонная жизнь — жизнь без страсти и борьбы, без мук, тоски и порывов вдохновения, без идеала. «Последние люди» забудут о том, что такое творчество, что такое стремление, что такое звезда... И бессмысленно моргая, они станут лишь монотонно твердить свое: «Мы нашли счастье».

Такая, примерно, картина рисуется Заратустре.

«Предвижу я тебя земли последний сын!» — пережевывает в стихах ту же ницшеанскую тему Валерий Брюсов:

«Предчувствовал я жизнь замкнутых поколений,
Их души, *сжатые познаньем*, их мечты,
Мечтам былых веков *подвластные, как тени*,
Весь ужас *переставшей пустоты*!» [1]

«Идеал не может мыслиться достигнутым,— подхватывает на свой лад ту же мыслишку наш «оригинальный» теософ, г. Булгаков,— идеал не может мыслиться достигнутым, движение к нему бесконечно, а следовательно, в этом смысле и социальный вопрос в пределах истории окончательно не разрешим» [2].

«Осуществленный, или, что то же (?), *осуществимый* идеал,— глубокомысленно вторит ему почтенный экономист наш, г. Туган-Барановский,— потерял бы всю свою красоту, всю свою особую и чарующую притягательную силу. Идеал недостижим, ибо в противном случае это не был бы идеал, а простое эмпирическое понятие» [3].

Одним словом, весь разноголосый хор аристократии духа тянет здесь одну и ту же ноту.

V

Что же выражает собой эта нота?

Конечно, испуг.

Призрак заполненной пустоты так ужасает аристократов духа, что они, по-видимому, готовы на все, лишь бы только избежать его. Но избежать его всего проще, разумеется, отказом от всяких попыток заполнить эту пустоту, т. е. отказом от всяких конечных целей. Всякая даже отдаленнейшая конкретная цель связывает нас к тому же уже теперь известными обязательствами. Она направляет наши мечты в определенное русло, вводит их в известные пределы. И вот, враждебные даже узам логики поэты декаданса гордо отвергают всякие цели:

«Разве есть предел мечтателям?
Разве цель нам суждена?
Назовем того предателем,
Кто нам скажет — здесь она» [4].

Мечтатели, менее беззаботные по части логики, находят испытанное средство против той же боязни заполненной пустоты в своей домашней аптечке так называемого философского идеализма. Это средство — более или менее откровенная метафизика. Сожмите гносеологически область познания,— гласит эта царственная особа,— и познание не сожмет ваших дум. Скажите себе, что «познаваемое» — это лишь бесплодный скалистый островок, и правьте от него скорее под парусом фантазии в открытое море непознаваемого. Там вам засветят вместо тусклых маяков знания неисчислимые созвездия чудес и мистерий. Там, в этой безграничной пустоте, ваша мысль не натолкнется уж никогда ни на какие логические рифы и эмпирические мели. А чтобы вместе с думами расторгнуть узы и мечтам, замените всякие, конкретно досягаемые, земные цели мистикой, потусторонним идеалом. Он-то уж вас не подведет. С ним-то уж вы не рискуете предстать перед грозным ликом «переставшей пустоты», ибо в нем зияет пустота перманентная.

К таким утешительным выводам ницшеанская карикатура приводит, конечно, людей и без того уже склонных поддаться чарам беззубой

---

[1] В. Брюсов. Пути и перепутья, т. I (поэма «Замкнутые»).
[2] С. Булгаков. От марксизма к идеализму, стр. 307.
[3] М. Туган-Барановский. Очерки из новейшей истории политической экономии. СПб., 1903, стр. 91 (курс. автора).
[4] В. Брюсов. Пути и перепутья, т. I, стр. 151.

обольстительницы метафизики. Но не в них дело. Гораздо любопытнее, что эта карикатура действует, подобно некоему жупелу, даже на иных весьма реалистически настроенных и притом «критически мыслящих» рыцарей духа. «Последние люди» Заратустры произвели на них, по-видимому, столь сильное впечатление, что из боязни остаться когда-нибудь без идеала, они уже заранее спешат отказаться от полного его осуществления.

Прочтите, например, любопытнейшую в этом отношении статью лидера социал-народничества, Виктора Чернова, о «Субъективном методе в социологии» [1].

«Пусть идеал никогда не осуществляется в этом мире. Печалиться и сетовать об этом нечего»... заявляет без всяких обиняков этот автор. Да и что, мол, такое, в самом деле этот идеал. «Как будто идеальное,— восклицает В. Чернов,— в каком-то застывшем и неподвижном мире всяческого совершенства, а не в самой жизни, движении вперед, борьбе за высшие формы индивидуальной и социальной жизни!»

И в подкрепление этой бернштейновской антитезы цели — движению, он апеллирует к Лессингу.

— Вспомните, дескать, Лессинга, который даже самому богу — на случай, если бы тот вздумал одарить его полной истиной,— предупредительно готовил примерно такой «горделивый» ответ: «Оставьте при себе вашу истину, чтоб ей пусто было. Я человек маленький. С меня хватит и одного приближения к ней...»

Как видим, и над Виктором Черновым витают все те же призраки «переставшей пустоты». Но в качестве «критического реалиста» он не может бежать от них в метафизические потусторонности. Вещь в себе, для г. Чернова, это не более, как ставящее границы познанию предельное понятие, или, следуя его собственному выражению, «предельный нуль». И вот, чтобы «спасти» от своего социалистического идеала хоть рожки да ножки, он вносит следующую поправку в его понимание:

Пусть наш идеал и неосуществим в эмпирическом мире, говорит нам г. Чернов, сетовать об этом нечего. «Вовсе не единственный выход спасти этот идеал, перенося его в область лежащего «по ту сторону» человеческого опыта. Достаточно лишь правильно (!) отнестись к идеалу, как к своеобразному предельному понятию, которое только указывает тенденцию, направление движения и которое перестало бы быть указателем пути, если бы целиком воплотилось...»

Итак, вот что значит «правильно» отнестись к идеалу. Это значит, отождествляя его с призрачной вещью в себе, поставить себе идеалом нечто бесконечно приближающееся к нулю — «предельный нуль».

Нужно ли говорить, что *такой* реализм нам совершенно чужд. Метафизическое «нечто» и в ипостаси реалистического «нуля» не вдохновляет нас ни на минуту. Цель, указующая лишь направление, в котором следует молитвенно воздевать руки, и притом воздевать платонически, без всякой надежды обнять ее когда-либо,— это не идеал, а идол. Но мы не идолопоклонники. Для нас идеал — это вырастающая из условий времени социальная задача, которая взывает к человечеству, подобно древнему сфинксу: «Разреши меня, или я тебя пожру!»

В самом деле. Что такое «рабочий вопрос», в широком смысле этого слова, как не такая загадка сфинкса.

Инстинкт самосохранения приводит к тому, что разрешение этого объективно назревающего вопроса становится и субъективной целью целых общественных классов — становится их *идеалом*. Но интересы разных общественных классов в современном обществе диаметрально противоположны. И то, что является идеалом для одних, сулит верную

[1] См. «Русское Богатство», 1901, № 8, стр. 247—249.

гибель другим. Мудрым Эдипом окажется поэтому лишь тот класс, для которого объективно неизбежное решение загадки сфинкса совпадает с субъективно желательным. Для всех же остальных классов даже всякое напоминание об этом неизбежном решении звучит, как грозное memento mori.

А если это так, если каждый наш шаг к достижению тех целей, что диктуются жизнью, приближает час смерти классов, исторически себя переживших, то вполне понятно, почему идеологи этих классов уже самую постановку таких целей клеймят, как предательство. Им-то и впрямь только и остается, что либо выдвигать перед собой заведомо мнимые цели, либо отодвигать действительные в беспредельную бесконечность.

Все это в достаточной мере объясняет испуг отживающих классов перед лицом надвигающегося идеала профанов. Но ведь аристократы духа — это уже *деклассированные* баре и мещане. Им-то уж, казалось бы, незачем связывать свою судьбу с судьбою классов, обреченных историей на гибель. В частности, в людях, подобных В. Чернову, и подавно нельзя заподозрить особых симпатий к этим господствующим ныне классам. Так отчего же и в этой среде каждый раз, когда речь зайдет о «конечных целях», так явственно чувствуется смущение, так отчетливо проявляются черты барской психики?

«Оно, пожалуй, барство-то, как оспа!» — ответим на это уже цитированным афоризмом Горького. «И выздоровеет человек, а знаки остаются».

И в самом деле. Представим себе, что дело идет не о деклассированной интеллигенции, а о кровных борцах-пролетариях, рвущихся к политическому и социальному самоосвобождению. И пусть им скажут: «Безумцы! Что вы делаете? Откажитесь скорее от достижимых идеалов или по меньшей мере не рвитесь так неудержимо к вашей конечной цели, ибо когда вы ее достигнете, вам, увы, не за что уж будет бороться. А между тем узнайте, что счастье можно найти лишь в борьбе, в бурном стремлении к идеалу, но не в обладании им».

— Шутники! — ответил бы на это пролетарий. Вы говорите, что счастье в борьбе. Но разве можно бороться без цели победить? Вы утверждаете, что счастье в бурном стремлении — и предлагаете нам топтаться на месте. Оно, конечно, и бег на месте может служить праздным — для моциона. Но нам не до моциона. Мы не аргонавты, гоняющиеся с жиру за призраками счастья. Нет, к идеалу нас гонят реальнейшие скорпионы социального гнета. Мы бежим сквозь строй бед от несчастья. И вдруг нам говорят: остановитесь, безумцы! Ибо когда вы добежите до цели, вам уж некуда будет бежать... Ну, не шутка ли это?

И действительно, в ушах пролетария такой неисполнимый совет звучал бы горькой шуткой даже тогда, если бы скрытая в нем угроза была вполне реальной. Но дело в том, что и угроза-то эта призрачная. Такой момент, когда бы живые люди перестали желать и стремиться к осуществлению своих желаний, немыслим. Способность желать, т. е. ставить перед собой все новые и новые задачи,— в человеке безгранична. Пусть наша «конечная цель» будет достигнута, пусть все задачи, которые поставила доныне перед нами жизнь, будут разрешены. Но коль скоро вместе с этим жизнь не иссякнет еще в нас, она родит в нас новые потребности. В поле сознания возникнут новые задачи, и ум человека обобщит их в новую конечную цель.

Наш идеал — это лишь ближайший маяк, освещающий наш путь среди бесчисленных шхер в темной ночи. Пока мы ничего больше за ним не видим. Но мы знаем, что это маяк, а не мираж. Это не блуждающий огонек метафизики, не мистическая гнилушка. И мы смело правим на отчетливо мерцающий нам вдали огонек в твердой уверен-

ности, что, когда подойдем к нему поближе, на горизонте вспыхнет перед нами следующий путеводный маяк.

«Последние люди» Заратустры нас не пугают, ибо это не люди, а манекены. Таких людей быть не может. Это бред больного воображения. Свергнув с себя классовое иго, освобожденный пролетарий станет только первым, а не последним *человеком.* Он впервые лишь откроет собою эру человека, и ему некогда будет «моргать». Все каннибальские формы классовой борьбы человека с человеком отойдут тогда, конечно, в доисторическую область преданий. Но тем свободнее станет с этого времени поприще борьбы с природой и взаимного соревнования на этом беспредельном поприще. Тем привольнее развернется перед нами необъятная область познания и безграничная ширь творчества.

Пределов познания, устанавливаемых метафизиками, мы не признаем, а над их бескровными «потусторонними» чудесами и тайнами — смеемся. Метафизики противополагают обычно «познаваемое» «непознаваемому». Но для нас существует лишь *познанное и непознанное.* Познанное, правда, составляет пока лишь скромный культурный оазис среди необозримой и неразведанной дикой тайги непознанного. И эта тайга неотразимо влечет нас к себе жуткой прелестью неразгаданной тайны, а нетерпеливая фантазия населяет ее роями изумительно величественных, дивно прекрасных призраков, леших и русалок. Но чем дальше проникает в эту чащу с топором мысли и светочем знания гений человека, тем сильнее бледнеют в лучах этого светоча все чудесные призраки, а вместо них восхищенному взору открываются еще более дивные и величественные чудеса — чудеса природы. Да, чудеса, ибо действительность всегда была и останется причудливее самой пылкой и необузданной, наиболее причудливой фантазии.

Область познания — безгранична. Значит, и здесь бояться «переставшей пустоты» не приходится. Но, если бы даже это было не так. И если бы кто-нибудь вздумал испугать нас возможностью достигнуть абсолютной истины или полного знания,— мы улыбнулись бы только в ответ.

Конечно, однобокому книжнику-филистеру, живущему одними лишь интересами познавания, такая возможность и впрямь может показаться ужасной. Овладев полной истиной, он потерял бы смысл существования, и ему осталось бы только, скрестив на пустой груди ненужные руки, предаться dolce far niente или удавиться. Но цельный человек, т. е. такой, который живет не только ради познания, но и для творчества, не испугался бы и всеведения. Всеведение сделало бы его всемогущим творцом. И он не уставал бы творить новые миры.

Он пересоздал бы всю Вселенную.

ОЧЕРК ТРЕТИЙ

ДВЕ ЭТИКИ

«Если я действительно являюсь носителем жизни, а противники мои — носителями начала смерти, то победа неизбежно останется за мною».
Ф. Ницше

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Резкому различию *социальных* идеалов аристократии духа и профанов соответствует не менее же резкое различие этих групп в их тактических и этических воззрениях. Вообще аристократы духа и профаны представляют собой два совершенно различных социально-этических типа. И выше мы имели уже немало данных для общей их характеристики. Дополним, однако, еще кое-что в этом отношении и подведем итоги.

В качестве одной из характернейших черт аристократии духа, заслуживающих здесь быть отмеченными в первую голову, назовем их необычайный «радикализм».

Всякие «*так называемые* (!) радикальные средства» вызывают у них лишь великолепную гримасу презрения. «Пустяки все это!» — бросает Генрих Ибсен по адресу всяких «поверхностных» революций.— «Важен лишь бунт человеческого духа!»

«Спасения следует ждать не от революционно-социалистических идеалов,— учит нас г. Бердяев,— а от перехода к новой религиозной вере на *почве глубокого разочарования в существе всякой человеческой революции»*. И в самом деле. Что сулит нам пролетарская революция? «Люди будут счастливы, *вот и все,* что говорят нам!» — возмущается он [1].

Для аристократов духа этого, разумеется, чрезвычайно недостаточно, и они из кожи вон лезут, чтобы доказать всему миру, насколько они радикальнее тех чудаков, которые до сих пор продолжают еще интересоваться такими «пустяками», как революция.

«Теократический социализм,— «запугивает», например, г. Бердяев свою аудиторию,— *гораздо радикальнее,* и для буржуазного мира *страшнее* всякого другого социализма» [2].

Это звучит так радикально, что у робкого человека могут задрожать поджилки, и он с изумлением спросит себя: да чего же это дремлет полиция? Как это она еще терпит так долго этих ультрафиолетовых, то бишь ультрарадикальных бунтовщиков духа!

Но полиция, неукоснительно выполняя все свои прямые обязанности, очень мало беспокоится о бунтарях человеческого духа, обнаруживая этим гораздо больше проницательности, чем за ней признают

---

[1] Н. Бердяев. Новое религиозное сознание, стр. 129 и 85.
[2] Там же, стр. 222.

обыкновенно. Дело в том, что радикализм аристократии духа в полицейском отношении представляет собою очень невинное занятие. Правда, говорят они языком всесветных разрушителей, но всем известно, что это одни только разговоры. Правда, какой-нибудь доктор Штокман или Савва Тропинин доверху начинены экстра-динамитом; но ведь и тот и другой не больше как *литературные* бомбы Ибсенов и Андреевых. Так стоит ли внимать им среди подлинных молний гнева и раскатов грома всенародного Sturm und Drang'a?

В эпохи общественной «бури и натиска», как известно, даже наименее воинственные, запечные обыватели выползают из всех расщелин дряхлого мира и записываются по меньшей мере в «мистические анархисты». Но есть ли резон тревожиться о них полиции, если даже в своей собственной среде они встречают иной раз такую вот, примерно, оценку:

«Декадентская общественность воевала с миром...» — живописует картинку из недавнего прошлого г. Андрей Белый.— «Все они глумились над социал-демократами:

«Мы-то левее вас!»

За чаем бросали словесные бомбы, экспроприируя чужие мысли. Все они забегали влево, пропадали за горизонтом, купаясь в мистике, и восходили, как солнце, справа.

И ватага мистиков росла, все росла, бездельно шатаясь друг к другу и поднимая метель слов» [1].

Аристократы духа — это *литературные* динамитчики. Они не столько паладины духа, сколько рыцари пера и фразы. Их угрозы спалить «огнем» весь мир никого не пугают, ибо огни их бенгальские. К тому же и зажигаются они обычно в таком удалении от всех действительно горючих элементов «массы», а на элементы эти изливается предварительно столько влаги из помойных ушатов аристократического презрения, что никакой опасности пожара буржуазному миру от этих литературных фейерверков, отнюдь, не угрожает.

Скажем даже больше. Напрасно аристократы духа с грозным видом синицы, собирающейся зажечь море, пугают «чистую публику» своими словесными ракетами и фальшфейерами. Эти ультрарадикальные фальшфейеры и ракеты только приятно щекочут нервы господ филистеров. И благодушно, кружку за кружкой попивая под треск аристократических шутих свое пиво, они лишь громко хлопают в ладоши и требуют повторения.

Да и то сказать. Как им не благодушествовать, коли их столь усердно увеселяют.

В самом деле. «Люди будут счастливы, вот и все, что говорят нам!» — негодует г. Бердяев по адресу подлинных социалистов. Перспектива счастья представляется, стало быть, слишком низменной этому «идеалисту». Но вы очень сильно ошибетесь, заключив из этого, что сам он от имени своего как бы социализма развертывает более эфирные дали, более заманчивые перспективы. Нет, в том-то и дело, что для г. Бердяева нет большего зла в социализме, чем какие бы то ни было далекие перспективы. Все то, что зовет в нем к великой борьбе, рождает титанические страсти и сулит восторги победы — все эти зовущие дали, именуемые у г. Бердяева «атеистической религией» социализма, беспощадно им отметаются.

«В окончательное осуществление золотого века социализма» он, конечно, «не верит». Социальная революция — это для него не больше как «нелепость и невозможность», а «страстная ненависть и страстная любовь противоположных сторон, буржуазии и пролетариата» — несом-

---

[1] А. Белый. Кубок метелей. Четвертая симфония, стр. 23.

неннейшее «зло». И вот этой «лжи» социализма классового г. Бердяев противополагает «правду всенародного сверхклассового социализма». «Праведный социализм»,— по определению г. Бердяева,— «есть социализм *либеральный*, протекающий в рамках декларации прав», и его правда формулируется в следующем знаменательном афоризме:

«Социализм есть вопрос кухонный... и потому он не должен вызывать таких безумных страстей!» [1]

Воистину, нам жаль г. Бердяева! Страстную любовь и ненависть почитать злом! Чураться безумных страстей! Да ведь это и есть самое подлинное мещанство. Так думать и чувствовать могут лишь люди с безнадежно импотентной мыслью и кастрированным сердцем. Нет, люди с темпераментом борца, будь это даже идеологи буржуазии, говорят совсем по-иному:

«В гневе чувствую я всю мощь моего бытия,— восклицал еще Лютер,— ненависть, superexaltatio любви». «Для великих проблем нужна и великая любовь»,— добавил бы к этому пламенный Ницше. А мы со своей стороны заметим словами Т. Карлейля, что «люди еще слишком умеренны в ненависти,— слепа она или разумна,— и что хороший ненавистник еще не появлялся на свет» [2].

Нам понятны, конечно, потуги г. Бердяева подрезать крылья у социализма, вынуть из него душу и отправить поскорее на кухню. В ином виде его не переваривает беззубое религиозное сознание нашего автора. И в этом мы даже готовы видеть вместе с ним «глубокую внутреннюю логику». «Только социализм... не полагающий своего последнего пафоса в таких вещах, как обобществление средств производства»,— т. е. только социализм уже препарированный на кухне оппортунизма,— «может быть,— по признанию г. Бердяева,— оправдан религиозно» [3]. Быть может, это и так. Но к чему же тогда с больной головы валить на здоровую? К чему тогда все разговоры гг. Бердяевых о «мещанстве» *того* социализма, который, правда, не ищет себе религиозного оправдания, но зато уж отнюдь не чуждается ни великих страстей, ни далеких целей!..

Нужно, впрочем, отдать должное последовательности г. Бердяева. Выступая апостолом кухонных идеалов, он не только социализм, но и анархизм стремится подать своему читателю в наиболее удобоваримом виде. И, действительно, в pendant к его кухонному как бы социализму у него получается вполне салонный... с позволения сказать, анархизм.

В «слащавые утопии» подлинных анархистов он, конечно, совсем не верит. И их «хулиганскому» анархизму противополагает свой, теократический. При этом оказывается, что и сей «теократический анархизм», подобно бердяевскому «как бы социализму», находится опять-таки «в глубочайшем идейном родстве» и «даже тождествен» *с либерализмом* [4]. Преимущества же этого «теократического» анархизма по сравнению с «хулиганским» сводятся к следующим двум.

Во-первых, «истинный анархизм,— по словам г. Бердяева,— будет вместе с тем и истинным иерархизмом»... А, во-вторых, «здоровый анархизм — и это, очевидно, самое главное,— может развиваться *по ступеням*» [5].

«Тенденция к окончательному безвластию,— успокаивает свою «перепуганную» аудиторию наш как бы анархист,— может постепенно проникать в жизнь». И притом проникать не путем насилия, а такими путями, как «пассивное сопротивление государству», «отказ власти в мо-

[1] Н. Бердяев. Указ. соч., стр. 60, 121, 109, 104, 122.
[2] Т. Карлейль. Исторические и критические опыты. М., 1878, стр. 362.
[3] Н. Бердяев. Указ. соч., стр. 120.
[4] Там же, стр. 60, 136, 150—152.
[5] Там же, стр. 153, 155.

ральном доверии», etc. Ибо «нужно органически воспитать человечество в направлении безвластия, сделаться *достойными* теократии, а не насильственно механически устраивать анархическую свободу» [1]. Говоря короче, нужно заслужить свободу, а не отвоевывать ее. А еще рельефнее выражаются те же тактические воззрения г. Бердяева в следующем его призыве:

«*Не будем ничего делать для будущего времени,* не будем думать о будущем, о вре́менном, будем все делать только для вечности...», ибо «не человеческими силами созиждется теократия...» [2]

Как видим, повар из г. Бердяева вышел бы чудесный. Под соусом из принципов либерализма, в гарнире непротивленства и с приправой теократического елея он даже из «хулиганского анархизма» сумел состряпать до тошноты благонамеренное блюдо. И за такое искусство он, несомненно, вправе вплесть в свой венок славы хоть целую охапку... лаврового листа. Но утверждать, что подобная тошнотворная стряпня для буржуазного мира «страшнее всякого социализма», можно лишь разве мещанским курам на смех, т. е. попросту для увеселения «почтеннейшей публики».

И в самом деле. То-то струхнет мещанский мир, подобно коту Ваське в известной басне, когда г. Бердяев в сознании своего поварского величия прочтет ему проповедь о необходимости сделаться *достойным* теократии, да еще пригрозит ему вдобавок, построже, отказом в моральном доверии!

А, впрочем, где уж ему грозить со строгостью! Г. Бердяев — повар деликатного обращения, повар-идеалист. А такие повара, как известно, даже кота Ваську не решаются назвать иначе, как по имени-отчеству, Василием Котофеичем. К тому же он чужд безумных страстей и во всем наблюдает строжайшую «постепенность». Отказать буржуазному коту сразу в моральном доверии — это значило бы сразу же и проповедь прикончить, ибо всякая проповедь с необходимостью предполагает известное моральное доверие к тому, кому проповедуют. Но для нашего повара это означало бы подрубить под собой тот самый тактический сук, на котором зиждется вся его вера в осуществимость столь страшной для буржуазного кота теократии. И потому он, без сомнения, отказывал бы этому коту в доверии осмотрительно — по ступеням. Сегодня на одну, завтра на другую, и притом с оговорочками, конечно.

— Извините, мол, за беспокойство, но право же я должен вам сегодня отказать еще на одну приступочку в моральном доверии. Не теряю, однако ж, надежды, что вы исправитесь когда-нибудь, Василий Котофеич. А потому займусь пока составлением лекции куренку на тему об «этизации средств борьбы». Боюсь я, видите ли, как бы он, сохрани бог, не пошел дальше «пассивного сопротивления» зубам вашего степенства.

II

Правда, не все аристократы духа уподобляются в этом отношении г. Бердяеву. Бессильная ненависть к миру современного мещанского благополучия вызывала уже не у одного из них злорадный призыв, обращенный к пролетариату:

«Топчи их рай, Атилла!»

Но и тут, как видит читатель, победоносные профаны рисуются им не иначе, как в виде каких-то ужасных гуннов — разрушителей куль-

---

[1] Там же, стр. 151, 153.
[2] Там же, стр. 80 и 226.

туры. И хотя, по свидетельству самих аристократов духа, эти гунны, «невольники воли», «что тучей нависли над миром», «оживят одряхлевшее тело волною пылающей крови»,— но все же *для них* это лишь «орда опьянелая», которая пройдет повсюду «грозой разрушения», зажжет «книги кострами» и станет творить «мерзость во храме».

А мы,— проникновенно поет г. Брюсов:

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры [1].

Мы видели уже однажды, как трудно было г. Брюсову, несмотря на всю его изобретательность, придумать такую ситуацию, в которой грядущая революция угрожала бы культуре и ее носителям. Вспомните его «Последних мучеников». Там у него, действительно, «мудрецы и поэты» становятся жертвой «последней» революции. Но для этого г. Брюсову пришлось изобрести от их имени культ «Слепой тайны» многочисленных объятий и заставить совершать «мерзость во храме» — вплоть до растления невинных детских душ — не гуннов, а именно своих «мудрецов и поэтов».

Таким растлителям беззащитных детей и впрямь покойнее будет перед лицом «грядущих гуннов» убраться со своими «тайнами и верой» куда-нибудь подальше. Но костры из книг и тому подобные ужасы — это уж такие поэтические вольности г. Брюсова, останавливаться на которых здесь совершенно не стоит.

Как бы то ни было, однако факт налицо. В недоверии к пролетарской тактике сходятся аристократы духа всевозможных оттенков. И гг. Бердяевы, сводя в своем требовании «этизации средств борьбы» [2] *тактические* разногласия аристократии духа и профанов к *этическим*, лишь ярче других выражают это общее недоверие. Впрочем, гг. Бердяевы распространяют свое этическое недоверие не только на средства, но и на конечные цели «грядущих гуннов». И в этом, пожалуй, есть своя логика. Средства каждой социальной группы действительно всегда соответствуют в общем ее целям, а тактические воззрения — этическим. И потому идеалы пролетариата, точно так же, как его тактика и этика, вполне гармонируя друг другу, носят очень резко выраженный классовый характер. А с этим наши повара-идеалисты в качестве приверженцев сверхклассовой этики «категорического императива» примириться, конечно, никак не могут.

Напомним читателю хотя бы г. Петра Струве, который еще в те отдаленные времена, когда его по недоразумению считали марксистом, ставил «перед теоретиками нового общества великую идеологическую задачу создать в пролетариате моральное настроение и мировоззрение, стоящее на высоте, во-первых, его политического настроения, во-вторых, его исторического общественного призвания, иначе говоря, вложить ценное моральное содержание в его общественно-политический идеал» [3]. Ту же мысль варьировали, конечно, в свое время и на свой лад и все прочие повара-идеалисты, шествовавшие за г. Струве под общим знаком «критики».

«В его прогрессивные, социально-политические стремления,— заявлял, например, г. Бердяев о пролетариате,— еще нужно внести *идеальное нравственное содержание, которое, конечно, не может быть классовым*» [4].

---

[1] В. Брюсов. Венок, стр. 143 («Грядущие гунны»).
[2] Н. Бердяев. Указ. соч., стр. 63.
[3] Н. Бердяев. Субъективизм и индивидуализм. СПб., 1901, стр. XXII.
[4] Н. Бердяев. Проблемы идеализма, стр. 127.

Задача, таким образом, была поставлена. И гг. «идеалисты», высоко подняв свое «сверхклассовое» знамя вечных моральных истин и естественных прав — знамя «Освобождения»,— очень скоро в исторической практике доказали... метафизичность своего мышления.

Прекрасная Дульцинея, цвета которой утвердил на «освобожденском» щите г. П. Струве, гарцуя на своей метафизической Россинанте, при ближайшем рассмотрении оказалась, увы, вульгарнейшей дщерью трактирщика. Плетущийся за ним на осле коллективный Санчо-Пансо с обликом не то братьев Стаховичей, не то братьев Гучковых без всякого труда подставил в туманные формулы нашего рыцаря из Ламанча свое содержание,— и вот результат этого исторического анекдота налицо.

«Вечных истин» г. Струве уже почти не различишь от классовых идеалов отечественной дщери трактирщика. Его идеальное царство целей вылилось в царство цензовой плутократии. И все естественные права человека преблагополучно сводятся уже в ней к одному «неотъемлемому» праву руководящих партий — праву пенкоснимательства.

Что же сказать о прочих рыцарях печального... то бишь, критического образа? Научились ли они чему-нибудь из этого урока истории? Отказались ли они от своих расплывчатых лозунгов и бессодержательных схем? О, нет. Они и теперь все так же высоко поднимают свои окостеневшие метафизические реликвии и все так же внушительно потрясают ими перед лицом классовой пролетарской идеологии.

Оно, положим, еще Помпонаций доказывал, что влияние реликвий зависит лишь от «воображения верующих, и так же хорошо воспоследовало бы, если бы это были собачьи кости». А чем же, в самом деле, метафизические кости хуже собачьих. Но импонировать эти кости могут лишь тем, кто в них верует. А мы не принадлежим к их числу. И потому гг. рыцари критического образа вызывают с нашей стороны лишь улыбку, когда, побрякивая своими высохшими костями сверхклассовых абстракций, они думают заглушить ими могучий набат классовой воли к свободе.

Нет, не «малый разум» логических абстракций диктует человеку содержание его идеала, а «большой», т. е. его попранные инстинкты, его воля. Идеалы выковываются в борьбе, а не навязываются путем духовно-нравственной проповеди. И никакая проповедь не будет даже услышана, если к ее голосу не сделают восприимчивым ухо слушателей, голод души и тела этих последних.

Но может ли стать, в таком случае, более «ценным» тот или другой идеал только потому, что вы ему присвоите имя общечеловеческого, сверхклассового, абсолютного? Ведь содержание его от этого не изменится. Попираемые классовыми антагонизмами, инстинкты профанов требуют лишь устранения этих антагонизмов и не больше. Но зато они требуют этого властно, во что бы то ни стало. И стань поперек дороги этому требованию не только интересы, но даже самое *существование* паразитствующего класса в целом — профанов это не остановит. А в таком, хотя бы и совершенно гипотетическом, случае классовый характер идеала профанов становится более даже, чем осязательным.

Конечно, очень легко сказать: наш идеал *ныне* близок только одному классу, но *со временем* этот класс станет всем человечеством. И, стало быть, выражая интересы всего будущего человечества, наш классовый идеал в известном смысле и ныне может быть признан общечеловеческим. Но это будет совсем не то, чего от нас хотят гг. повара-идеалисты.

Их этический абсолютизм требует признания во всяком человеке самоцели. Буржуа в этом смысле равноценен пролетарию — оба люди. И если неправ первый, не признавая во втором самоцели, то, во всяком разе, и второй не в праве устранить по пути к своей цели первого.

И с формальной точки зрения это вполне логично. Почему бы, в самом деле, пролетарий счел свою личность более ценной по сравнению с личностью своего классового врага, и, вообще, почему хотя бы целый миллион угнетенных ценнее одного угнетателя? В деле этических норм арифметика не приложима. И с точки зрения категорического императива одна личность не может быть принесена в жертву ради спасения миллиона жизней, точно так же, как и наоборот.

Такова сверхклассовая мораль «идеалистов». И, быть может, мы признали бы за ней все ее достоинства, живи мы в сверхклассовом же обществе. Но этого, к сожалению, нет. Мы живем пока что в классовом строе, в вечном круговороте классовой борьбы и классовой же эксплуатации. И потому волей-неволей нам приходится признать, *для себя,* по *крайней мере,* полную непригодность всякой сверхклассовой морали.

В самом деле. Требования сверхклассового «долга» вполне категоричны. Они гласят: ни одна личность не может быть принесена в жертву хотя бы ради сотни миллионов. И мы ровно ничего не имели бы возразить на это, если б не одно сомнение. Но как же быть, спросим мы гг. поваров-идеалистов, если эта одна личность, как кот уже упомянутой басни, лишь слушает вашу моральную проповедь да ест своего куренка? Неужели стряпать все новые проповеди?

Не должна ли тут ваша сверхклассовая мораль или фарисейски утвердить догмат непротивления слабейших сильнейшим, или прямо и открыто стать на сторону той или другой борющейся общественной силы, т. е. сделаться моралью классовой.

Конечно, с котом-Васькой крыловский повар мог еще справиться, и не особо прегрешая против этических абсолютов. Стоило лишь деликатно вышвырнуть его, взявши за шиворот, из кухни, и вся недолга. Но ведь с тем котом, которому читают свою мораль гг. Бердяевы, так не поступишь, ибо у него одного гораздо больше силы, чем у всех наших этических поваров, взятых зараз. Как же тут быть? Вступить с ним в борьбу не на живот, а на смерть ради спасения куренка — не этично. А совсем не препятствовать ему совершать свою трапезу куренком — тоже как будто неловко с точки зрения «долга».

Чтобы спасти мораль долга в столь затруднительных обстоятельствах есть только одно средство. Это стать утопистом и уверовать в возможность разрешения всех жизненных коллизий мирным путем, без борьбы. Не путем «катаклизмов», а путем «поправок». И гг. «идеалисты» действительно хватаются за эту возможность, как утопающий за соломинку. Так, например, г. Бердяев провозгласил свою теорию «поправок» еще в первой же книге, с которой он выступил перед читающей публикой.

«Эти поправки, создаваемые самим капиталистическим развитием,— возвещал г. Бердяев своим читателям,— до тех пор будут штопать дыры существующего общества, пока вся общественная ткань не сделается сплошь новой...» [1]

Не правда ли какая счастливая мысль! Одним росчерком пера наш автор невозможное делает возможным. Стоило лишь г. Бернштейну призвать нас в удачную минуту: «Назад, к Ланге!», и вот уже робкая мечта этого старого утописта — превратить ради спасения культуры «путь разрушительной революции в путь благодетельных реформ» [2] — стала живой действительностью... в книге г. Бердяева. Скажите же, не прав ли он, отмечая «большое *этическое* значение» [3] своего понимания истории?

---

[1] Н. Бердяев. Субъективизм и индивидуализм, стр. 260.
[2] Ф. А. Ланге. История материализма, т. II. СПб., 1883, стр. 462.
[3] Н. Бердяев. Субъективизм и индивидуализм, стр. 260 (курсив автора).

Правда, это понимание не вполне согласуется с евангельской притчей: «И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого и дыра будет еще хуже». Теперь уже нельзя сказать: «Никто не приставляет», ибо г. Бердяев возвел такой образ действия во всеобщий закон истории, и притча, стало быть, опровергнута. Но тем хуже для притчи. Правда и то, что «откровение» г. Бердяева представляет собой не больше, как легонькое переложеньице или, если угодно, вольный перевод с немецкого. Но и это не важно. Заимствовал ли г. Бердяев свое понимание истории у г. Бернштейна, или у того другого гейневского немца, который,

Шлафрок надевши и спальный колпак,
Штопает дыры всего мироздания,

за ним во всяком случае остается заслуга удачного выбора своих заимствований. Не всякому ведь удается заимствовать вещи столь «большого этического значения», как вера в штопающую силу самого капиталистического развития.

Да, сознаемся, эта вера весьма почтенна. Она позволяет своим адептам без малейшей краски в лице толковать об общечеловеческих идеалах и общечеловеческой морали даже в такие острые моменты внутри общественной борьбы, когда противоречивость всех «общечеловеческих» фикций становится до боли осязательной. Но, к сожалению, или вернее, к счастью, эта вера может быть усвоена лишь морализирующими *свидетелями* жизненной драмы. Участникам же ее она психологически недоступна.

III

Здесь уместно будет, однако, развить несколько подробнее наш взгляд на этическую проблему.

Идеалисты приписывают своей морали долга супранатуральную сущность. «Нравственный закон,— утверждает, например, г. Бердяев,— есть непосредственное откровение абсолютного,— это голос Божий внутри человека, он дан для мира сего, но он не от мира сего»[1]. И потому немудрено, что они твердят нам о вечных и неизменных истинах, об абсолютном добре и тому подобных надысторических фикциях. Но мы, памятуя гераклитовское: «все течет», не верим в абсолюты и ко всякому явлению подходим прежде всего с вопросом о его генезисе.

Нравственное чувство, или, что то же, социальный инстинкт,— несомненный факт. Перерабатывается оно в сознание «долга» — это тоже факт, хотя и не всеобщий. Но эти факты несомненно имеют свою историю. Заглянем же в нее, хотя бы мельком.

«Добро» и «зло» — человеческие оценки. А человек — эта «мера всех вещей», по Протагору,— представляет собою меру крайне изменчивую во времени и в пространстве. Естественно поэтому, что и понятие «добра», соотносительное с тем, для кого оно добро,— должно менять свой смысл для разных социальных групп и в разные эпохи как по форме, так и по содержанию. Для одних, оно мыслится в форме желаемого (мораль воли), для других — в форме должного (мораль долга), не говоря уже о многоразличии того конкретного содержания «добра», какое может мыслиться и в той, и в другой форме. Но нам пока важно отметить только следующее основное различие.

В человеческой деятельности, вообще говоря, различают поступки эгоистические — добро для себя,— и альтруистические — добро для других. В основе первых лежит индивидуальный инстинкт самосохранения,

[1] Н. Бердяев. Проблемы идеализма, стр. 104.

в основе вторых — инстинкты социальные, т. е. такие, которые направлены к сохранению того или иного социального целого, и притом зачастую даже в прямой ущерб самому действующему индивиду. Конечно, инстинкты действуют в человеке за пределами его сознания и определяют его сознательную деятельность лишь, так сказать, в последнем счете. Но это в данном случае не имеет существенного значения.

— Откуда же, однако, взялись в человеке эти инстинкты? — спросит нас читатель. Отвечая на этот сложный вопрос по необходимости кратко, мы скажем: их выковала борьба за существование.

Для того чтобы жить и развиваться, человек должен реагировать на внешние воздействия не только целесообразно, к чему приводит опыт и размышление, но и своевременно. Отличить вредное растение от полезного вы должны не тогда, когда уже отравитесь им, а как только прикоснетесь к нему языком, или даже взглянете на него мельком. «Отвращение» к этому растению должно, стало быть, привиться уже вашему языку и вашему глазу. Точно так же в десяти шагах от тигра некогда уже обдумывать план бегства или защиты. Этот «план» должен быть заранее готовым в ваших ногах и руках.

Иными словами, все ваши чувства и органы должны реагировать, в подобных случаях, уже рефлекторно, т. е. без всякого участия сознания. А такая рефлекторность, или «машинальность» известных действий, достигается, как известно, в результате частого их повторения и вытекающей отсюда привычки. Этим путем возникают все наши привычные акции и реакции, симпатии и антипатии. Привычка же, в свою очередь, все усиливаясь и упрочиваясь в ряде поколений, становится, наконец, наследственной. И тогда ее называют инстинктом.

Само собой разумеется при этом, что особи с наиболее развитым инстинктом самосохранения переживают других в борьбе за существование и передают его по наследству в нисходящие поколения. Особи же, лишенные его, гибнут, не оставляя потомства. Таким образом, этот полезный для жизни инстинкт, зачатков которого пришлось бы искать в истории наших наиболее отдаленных зоологических предков, непрерывно развивается и крепнет в человеке из поколения в поколение. И хотя он очень давно уж не господствует в нас безраздельно, его и поныне все же приходится считать важнейшей пружиной всех человеческих действий.

Перестал вполне удовлетворять своему назначению инстинкт индивидуального самосохранения еще с тех незапамятных времен, когда наши отдаленные предки стали впервые жить обществами. Каждому такому обществу приходилось, конечно, бороться и с природой и с другими враждебными обществами. Но для успеха такой общественной борьбы за существование важнее всего сплоченность и солидарность всех членов общества. И потому, именно инстинкт *индивидуального* самосохранения становится тут уж не только недостаточным, но иной раз, пожалуй, даже гибельным.

Представьте себе, например, что на ваше племя напало другое, а вы, вместо того чтобы оказать ему дружный отпор, трусливо спрячетесь друг за дружку ради личного спасения. Цель эта, конечно, не будет достигнута, ибо в результате все ваше племя трусов погибнет. Племя же, все члены которого сумеют проявить максимум геройства и самоотвержения, наоборот, окажется победителем. А это побудит его и впредь высоко ценить названные качества и, старательно поощряя, культивировать их из поколения в поколение среди своих сочленов. Культивировать до тех пор, пока эти традиционные доблести не войдут в плоть и кровь всего племени, т. е. пока они не достигнут прочности инстинкта. Но тогда уж получится инстинкт социального самосохранения.

Как видим, альтруизм с точки зрения его происхождения можно рассматривать просто как исправленное и дополненное издание эгоизма. На известной ступени развития отстаивать свои интересы *в одиночку* становится слишком затруднительно. Тогда закрепленный в инстинкте опыт многих поколений принуждает каждого связывать свои интересы с однородными интересами многих других и отстаивать эти групповые интересы *сообща*. В идеале, при наличности благоприятных условий, этот унаследованный собирательный опыт расширяет личный эгоизм индивида, распространяя его на целую группу лиц, до пределов эгоизма коллективного. И тогда, вместо двух соперничающих и взаимноослабляющих друг друга инстинктов, получается один, мощный и цельный, который примиряет в высшем единстве интересов солидарного целого и личные и социальные стремления человека.

Творить добро своим ближним составляет не обязанность, а *потребность* эгоиста этого рода. Отождествляя в силу унаследованного инстинкта общественные интересы со своими личными, он и на величайшие подвиги самоотречения идет без малейшей внутренней борьбы, без надрыва. А тем кто вздумал бы усмотреть в этом жертву с его стороны, наш эгоист лишь улыбнется в ответ: вы забываете, скажет он, что враги друзей и братьев моих — это мои враги, и что, расточая в борьбе с ними душу, я следую лишь *влечению своего сердца. Я для себя* это делаю. Моя *воля* — вот мой верховный закон. И если *она* ставит передо мной великие социальные задачи, то что могло бы заставить меня отступить перед ними!.. Я сгину или разрешу их — car tel mon plaisir — ибо я так хочу!

Вот что называем мы моралью воли.

Правда, в известном смысле это пока еще только мораль будущего. Субъективное чувство тождества своих интересов с общечеловеческими вырастает лишь на почве действительной гармонии этих интересов в жизни. Высшего своего развития и всеобщего распространения мораль воли достигнет поэтому лишь в социалистическом строе. Только там объективная гармония личных и социальных интересов всех и каждого получит свое наиболее законченное выражение, только там забота о наиболее полном и ярком расцвете каждой отдельной личности станет первейшей заботой всего человечества.

Полная гармония социальных и индивидуальных инстинктов человека является пока, стало быть, делом будущего. Но в очень *значительной* степени она и теперь уже воплощается в душах современных носителей этого светлого будущего — в душах борцов-пролетариев. И это весьма понятно.

С тех пор, как однородное общество эпохи первобытного коммунизма раскололось на два непримиримо враждебные лагеря поработителей и порабощаемых, социальные инстинкты и тех и других должны были претерпеть весьма существенное изменение. Междуплеменная борьба сменилась классовой борьбой. Вместо племенной потребовалась, стало быть, классовая солидарность. А из нее мало-помалу между молотом и наковальней классовой борьбы выковалась и новая разновидность социального инстинкта — инстинкт классового самосохранения.

При этом однородность интересов внутри каждого класса и напряженность беспощадной борьбы между ними так велика, что и личный и классовый инстинкт в душе, скажем, каждого борца-пролетария без всякого почти труда сливаются в единый голос его целостного и нераздельного «я». Геройского участия в борьбе с общим врагом от него требует в равной мере и классовый и его собственный, личный интерес. И потому, даже погибая, он не знает ни раскаяния, ни сожаления, ни на минуту не чувствует себя «жертвой».

А впрочем, о чем бы ему и сожалеть? Ведь, говоря словами пролетарского манифеста, терять ему в этой борьбе нечего, кроме своих цепей, выиграть же он может целый мир.

Представители воинствующей буржуазии, конечно, в меньшей степени, чем пролетарии, нуждаются во взаимной поддержке; каждый из них и в одиночку представляет собой весьма крупную силу. Социальный инстинкт у них даже в суженных рамках *классовой* солидарности развит, вообще говоря, в очень слабой степени. Но, так как все же этот классовый инстинкт и у буржуа развивается обычно в завидной гармонии с его личными аппетитами, то с формальной точки зрения аналогия его классовой морали, или, если угодно, классового эгоизма, с моралью пролетарской — получается полнейшая. И та и другая с равным правом может быть названа моралью воли.

Господа «идеалисты» с немалым злорадством подчеркивают иной раз эту аналогию, не без ехидства отмечая «тот замечательный и знаменательный факт, что не в книгах, а в жизни и буржуазия и пролетариат Западной Европы *оба* давно уже склонились в пользу морали воли, а не долга», что «пролетариат падает ниц перед идеей воли... в трогательном согласии с буржуазией» и т. д.[1] Но, говоря откровенно, нас очень мало задевает злорадство подобных сближений.

Да и то сказать. Представьте себе, что кто-нибудь отметил бы с ехидством тот «замечательный и знаменательный» факт, что Макиавелли лежит у него на книжной полке в самом «трогательном согласии» с Л. Н. Толстым: оба в совершенно одинаковых коленкоровых, а не бумажных, переплетах. Знаменательный факт этот, может быть, и верен, а цена ехидству сближения все-таки грош. Так и в нашем случае. И буржуа, и пролетарий, *оба* руководствуются в своей общественной деятельности не вечными истинами прописной морали, а своими классовыми интересами, своей волей. Это так. Но ведь воля-то их при этом направлена в диаметрально противоположные стороны. Следуя ей, буржуа примыкает к массовому локауту, а рабочий ко всеобщей стачке; один ратует за перманентное пенкоснимательство, другой — за социальную революцию. В чем же, стало быть, можно открыть здесь трогательное согласие?

Очевидно лишь в коленкоровых переплетах, и только в них.

Таков «знаменательный факт».

IV

Итак и пролетариат, и буржуазия — эти полюсы современного общества — оба склоняются к морали воли. Но между ними имеется еще довольно основательная прослойка мелкого «трудового» мещанства, которое целой гаммой переходов соединяет между собой эти противоположные полюсы. К чему же склоняются эти посредствующие слои мещанства?

О, конечно, к морали долга.

И нетрудно понять почему. Занимая в социальном отношении крайне ублюдочную позицию, представители этих промежуточных слоев общества не в состоянии замкнуть свои личные интересы в рамки резко выраженного классового эгоизма буржуазии или пролетариата. В то же время, не ведя прямой борьбы в острой форме ни с одним из этих классов, они не имеют достаточных стимулов и для внутренней сплоченности с целью обособления в своей собственной среде. Таким образом, унаследованное от предков социальное чувство сохраняет у них в общем и в наше время свою первоначальную форму внеклассового ин-

---

[1] Н. Бердяев. Субъективизм и индивидуализм, стр. LXXI, LXXII.

стинкта. Но у граждан эпохи первобытного коммунизма такой внеклассовый характер социальных чувств был вполне естественным и очень важным приспособлением к условиям существования. А у современных клейнбюргеров в атмосфере вопиющих классовых антагонизмов их внеклассовая мораль по необходимости вырождается в нечто до чрезвычайности жалкое и уродливое.

Мы уже не говорим, что внеклассовый социальный инстинкт в наше время должен, вообще говоря, представлять собою не более, как весьма худосочный пережиток далекого прошлого, ибо современный классовый строй отнюдь не благоприятствует дальнейшему его развитию и процветанию. Это бы еще с полгоря. Горе современного клейнбюргера в том, что его и без того уж худосочный социальный инстинкт находится еще к тому же в вечной и непримиримой распре с гораздо более мощным инстинктом его индивидуального самосохранения.

Социальная трещина, расколовшая наш мир на два враждующих лагеря, как видно, прошла, как раз, через душу трудовика-мещанина. Дисгармония современной жизни, в которой всякое личное благополучие воздвигается за счет чьих-либо страданий, сказалась в душе этого мещанина резкой дисгармонией его личных и социальных стремлений. И вот в этой надтреснутой душе нескончаемо тянется монотонный диалог:

— И я хочу благополучия,— звучит в ней инстинкт личного самосохранения.

— Нет!..— возражает на это социальный инстинкт, представляющий в душе мещанина чуждые ему интересы целого.— Нет, ты должен отказаться от этого эгоистического желания.

— Но я хочу!..— стоит на своем первый голос.

— Но ты должен!..— возражает второй.

И это «я хочу» вперемежку с «ты должен» почти никогда не смолкает в мещанских душах.

Так из душевной раздвоенности клейнбюргера родится его пресловутая мораль долга.

Чаще всего при этом личное «я хочу» мещанина звучит в нем громко и властно, а социальное «ты должен» — слабо и робко, подобно комариному писку. Борьба получается, стало быть, слишком неравная. И хотя попираемый «долг» неукоснительно мстит за все свои поражения неотступными «угрызениями совести», на делах или, точнее, делишках мещанина эти комариные угрызения, обычно, ни мало не отражаются.

Правда, если сравнить рядового клейнбюргера с крупнокалиберным буржуа-хищником, то и грязнейшие делишки первого покажутся ничтожными перед темными делами второго. И все-таки клейнбюргер совестится своих мизерных делишек, а крупный буржуа по поводу своих и ухом даже не ведет. Но попробуйте привести всех этих маленьких дельцов с их «делишками» и больших — с их «делами» к одному знаменателю, и вы увидите, что вся разница между ними сводится к той элементарной разнице, какая наблюдается между совестливой свиньей и свиньей бессовестной.

— Какой же из них отдать предпочтение? — спросит, пожалуй, смущенный читатель.

Это дело вкуса, конечно. Но, на наш взгляд, бессовестная свинья, во всяком случае, имеет то несомненное преимущество, что у ней, по крайней мере, до конца выдержан стиль.

Совестливая свинья — это, так сказать, нормальный тип клейнбюргера с худосочным, социальным и мощным индивидуальным инстинктами. Но возьмем даже лучший случай. Представим себе мещанина, социальный инстинкт которого развит выше среднего и более или менее

уравновешивает его индивидуальный инстинкт. Что может выйти из такого равновесия этих инстинктов при вечном их антагонизме?

Да одно из двух. Либо наш моральнейший из мещан окажется совершенно недееспособным, либо он вечно будет метаться из стороны в сторону, поддаваясь, попеременно, то своим индивидуальным, то социальным стремлениям. А к чему это приводит, можно судить хотя бы по следующему признанию Людвига Берне:

«Мое несчастье,— жалуется он в своих Парижских письмах,— состоит в том, что я родился в среднем сословии, для которого совсем не гожусь. Будь мой отец владетель миллионов или нищий, будь я сыном знатного человека или бродяги, по всей вероятности, я бы достиг чего-нибудь. Но я сделался маятником мещанских стенных часов, качался вправо, качался влево и должен был постоянно возвращаться на середину».

Последнее-то состояние, как кажется, и составляет обычнейший удел всех аристократов духа. «Надклассовое» витание этой своеобразной группы настолько сближает ее с междуклассовыми слоями мещанства, что почти все вышесказанное о развитии душевной дисгармонии и вытекающей отсюда морали долга у «трудового» мещанства можно бы повторить и об аристократах духа. Правда, сопоставлять их приходится не с заурядными, а с наиболее выдающимися в моральном отношении мещанами, но это уже подробность. Существенно же то, что и аристократы духа в общем «склоняются» к морали долга, и притом склоняются к ней «в трогательном согласии» с мещанами.

Нам возразят, что такую пеструю и разнокалиберную группу, как аристократия духа, нельзя подводить под один общий ранжир. Нам тотчас же назовут столь яркие «исключения» из указанного нами правила, как имморалист Ницше, или эстет Гейне. Но мы останемся при своем утверждении. Внешняя пестрота и многообразие жизни отнюдь еще не устраняет возможности и необходимости широких обобщений. А «исключения» зачастую только подтверждают правило. В особенности, если есть основания считать их кажущимися исключениями.

В самом деле. Возьмем хоть того же Ницше. Его сверхчеловек это, несомненно, прежде всего личность мощной и цельной творческой воли, которая не знает над собой никакой узды долга. Несомненно и то, что, отрицая долг, Ницше ратует отнюдь не во имя узкого личного эгоизма. Нет, его проповедь любви «к дальнему» — любви к «стране детей», его призывы отказаться от современного мещанского благополучия во имя лучшего грядущего человечества,— все это несомненнейший альтруизм. Да, это альтруизм, с тою лишь одной особенностью, что отказ от мещанского благополучия, согласно этому альтруизму, является не *обязанностью*, а элементарнейшим требованием *вкуса*, и, стало быть, должен вытекать у человека из его собственных наклонностей, а не из принуждения.

Одним словом, мораль «сверхчеловека» — это мораль, вытекающая из душевной гармонии его социальных и индивидуальных стремлений,— это мораль воли. Но не надо забывать, что сверхчеловек — это лишь идеал Ницше. А ко всякому идеалу потому только и стремятся, что еще не обладают им. Иными словами, мы утверждаем, что Ницше так пылко стремился и тосковал по душевной гармонии именно потому, что ее не было в его собственной душе. «Всем известно,— сошлемся мы тут на свидетельство М. Неведомского,— что Ницше «в жизни являлся до нельзя эффектной противоположностью своему учению... Его мораль — несомненно добыта путем «самовосполнения» или «самоотрицания» [1].

---

[1] Лихтенберже. Философия Ницше (предисловие, стр. LXIV).

Так говорит один из наиболее глубоких знатоков и ценителей Ницше. И это тем важнее, что Неведомский отмечает вышеприведенный факт, несмотря на свою склонность идеализировать Ницше в качестве цельной и гармоничной личности... А впрочем, о душевной раздвоенности Ницше можно заключить и без всяких свидетельств, уже по тем бесчисленным противоречиям, или «качаниям», какими он, уступая то своим социальным, то индивидуальным влечениям, переполнил все свои писания.

В самом деле. В одном месте он издевается над этими «лишними» среди людей, «дурно пахнущими обезьянами», которые стремятся к богатству и власти, и восклицает: «Братья мои, неужели вы хотите задохнуться в чаду их желаний?» А в другом — богатство уже превозносится как условие развития людей «прекрасных и благородных», а «стремление к власти» становится его собственным лозунгом. Государство у него то злейший враг личности, то покровитель. «Там, где оканчивается государство, там начинается человек, который не лишний»... провозглашает, например, Заратустра. Но едва лишь вы освоитесь с этой мыслью, как оказывается, что «государство есть разумное учреждение для защиты индивидов друг от друга», и, ослабив его, «мы ослабим, даже погубим индивида, то есть разрушим основную и первоначальную цель государства»[1].

Но не стоит умножать примеров подобного рода. Мы уж и выше видывали не раз, как Ницше то восстает против «всякого деспотизма», то воспевает русский абсолютизм, то тоскует по обществу «равных», то грезит о кастовом строе. Человеку с такими противоречивыми влечениями естественно было жаждать душевной гармонии. Но обладал он ею только в грезах.

Еще меньше, однако, чем имморалист Ницше, может претендовать на душевную цельность эстет Гейне. Амплитуда колебаний этого «маятника» прямо поразительна.

Откачнувшись еще в юности от веры влево к неверию, он не щадит ничего в своих адских кощунствах. Затем следует большой размах вправо «к старой вере, к личному Богу» и мефистофельский хохот сменяется элегическими вздохами. А затем, вы помните читатель,— уже на смертном одре этот старый грешник снова на призыв к покаянию отвечает лишь кощунственным хрипом:

«Dieu me pardonnera, c'est son métier!»[2]

Не менее разительны его колебания и в политике. Гимны Наполеону I, «лучезарно-мраморные» руки которого «связали многоголовое чудовище анархии», причудливо переплетаются у Гейне с призывами:

«Шуми, греми, не унимайся,
Пока есть деспот хоть один!»[3]

Среди самых язвительных нападок на идею равенства и ее носителей — этих «мрачных разрушителей» коммунистов — у Гейне вдруг срывается признание, что этот «ужасный» коммунизм, несмотря на все, производит на его душу «чарующее впечатление». Затем он заявит вам в вызывающем тоне: «я сторонник монархического принципа и признаю святость королевской власти»... Затем провозгласит своим принципом демократию. Да еще какую! Демократию, чуждую даже «дешевых президентов»; «демократию равнопрекрасных, равносвященных, равноблагодатных богов!»[4] И так далее, все в том же роде.

---

[1] Ф. Ницше. Так говорил Заратустра, стр. 51; он же. Человеческое, слишком человеческое, стр. 479 и 235 и т. д.

[2] «Бог меня простит, это его ремесло».

[3] Г. Гейне. Сочинения, т. I, стр. 203; т. XIV, стр. 268.

[4] Г. Гейне. Сочинения, т. VIII, стр. 11—12; т. X, стр. 99; т. XV, стр. 383.

Вполне понятно, что при такой душевной неустойчивости, если *субъективно* типы, подобные Ницше или Гейне, и могут быть очень далекими от признания морали долга, то *объективно* — от собственного их идеала гармоничной морали воли они стоят еще дальше. В известном смысле их можно еще признать *переходными* ступенями от среднего в социальном и моральном отношениях типа из междуклассовых, или «надклассовых», групп к типам полярным — буржуа или пролетария. Но не больше.

Опровергнуть наше «правило» такие «исключения» не могут.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Перейдем, однако, от «исключений» к среднему, или преобладающему, типу аристократии духа. Обратимся к гг. Бердяевым, Булгаковым и тому подобным сверхклассовым созерцателям жизненной драмы.

Оговоримся впрочем. Называя господ «идеалистов» зрителями жизненной драмы, мы отнюдь не хотим их представить безучастными ее зрителями. Напротив. Отдавая им полную справедливость, мы охотно признаем за ними очень деятельное в ней участие: они очень громко кричат и весьма энергично машут руками. Все сочувствие их при этом, несомненно, на стороне пожираемого куренка, а не глухого к их моральным увещаниям кота. И далее. Эти господа не только не бегут с исторической сцены, чтобы не попасть в свидетели творящейся там уголовщины, но очень охотно сами предлагают занести свои имена в протокол истории. Вообще, это очень деятельные и весьма благородные люди. Все это так. И все же они только благородные свидетели или «почтенная публика», ибо не их же в самом деле терзает своими когтями символический кот.

Что же сказать нам об этой почтеннейшей публике?

Своей «склонности» к морали долга они не только не отрицают, но даже афишируют ее на всех перекрестках. Внутренняя раздвоенность, позволяющая господам «идеалистам» вмещать в себе, по-карамазовски, всевозможные противоположности и вечно колебаться между идеалом Мадонны и идеалом Содомским, эта психическая неустойчивость возводится ими даже в особое достоинство. «Не подлец, а *широк* я!»,— вот формула Достоевского для выражения этой «доблести». И, наоборот, душевная твердость и цельность на языке «идеалистов» именуется узостью и ограниченностью.

Созерцая из своего сверхклассового райка общественную арену борьбы, они поражаются варварской грубости ее форм и громко взывают об этизации средств борьбы и искренно возмущаются «моральной буржуазностью» профанов.

«Как будто,— заметим мы здесь словами Ф. Меринга,— стойкость и упорство этой борьбы, сколько бы вызывающего и неудобного в ней ни было, не есть все-таки суровая и мужественная добродетель, а добровольное подчинение недостойному ярму не есть трусливый и бабий порок» [1].

«Но, нет, человек должен быть иным!» стоят на своем возмущенные «моральной буржуазностью» пролетариата поклонники долга. Причем каждому такому «несчастному ханже», употребляя выражение Ницше,

---

[1] Ф. Меринг. Указ. соч., т. II, стр. 382.

«известно даже каким именно должен быть человек: он малюет на стене собственную физиономию и говорит: «Ecce Homo!» — вот Человек!

Исходя из своего внутреннего опыта и обобщая антисоциальный характер своих личных влечений, они утверждают, что *нравственной* может быть лишь та деятельность, которая совершается «не из склонности, но по долгу», ибо «нравственный закон неизбежно обуздывает каждого человека»[1].

И крайне характерно, что на этом обобщенном самонаблюдении Иммануила Канта сошлись даже столь различные в других отношениях представители «внеклассовой» интеллигенции, как Н. К. Михайловский и г. П. Струве. «Нравственность бесспорно начинается с того момента,— замечает первый из них,— когда человек надевает на свое *я* какую бы то ни было *узду*...» А второй подтверждает, что «нравственность основана на реальном несовпадении по содержанию хотения и долженствования», и заключает, что необузданная мораль воли является, стало быть, ни более ни менее как «упразднением нравственности»[2].

Вывод, как видите, решительный. И в известном смысле весьма последовательный. То психическое явление, которое на языке внутренно раздвоенных аристократов духа и мещан зовется нравственностью, действительно чуждо цельным борцам-профанам. Этим борцам в их общественной деятельности отнюдь не приходится идти наперекор своим личным влечениям. И если признать вместе с Ницше, что все, совершающееся из любви, лежит по ту сторону добра и зла, то борцов-профанов несомненно придется признать упразднителями нравственности — аморалистами.

Чтобы удостоиться морального одобрения гг. «идеалистов», этим профанам воистину пришлось бы разве изобразить в лицах известную эпиграмму Шиллера:

Gewissens scrupel!
Gerne dien ich den Freunden, doch thu'ich es leider mit Neigung
Und so wurmt es mir oft, das ich nicht tugendhaft bin. Entscheidung.
Da ist kein anderer Rath, du musst suchen, sie zu Verachten,
Und mit Abscheu alsdann thun, wie die Pflicht dir gebeut...[3]

В самом деле, что такое «долг» гг. идеалистов? Моральный закон, по Канту, повелевает: «ничего не ожидать от склонностей человека, но все от верховной власти закона и почтительного к нему уважения»... «Уважение к закону связано» при этом у кантианцев *«со страхом»*, а действие морального закона «означает *укрощение* или *усмирение»*. Вообще «закон долга», по их учению, есть прежде всего «закон нравственного *принуждения»*. В сознании людей такой долг является, мол, несомненным «игом», но это иго, *«хотя и неохотно*, они должны все-таки нести». Так гласит практический разум Иммануила Канта[4].

И, если вспомнить, что такими штрихами гг. идеалисты малюют на стене свою собственную моральную физиономию, то придется признать, что малюют они ее весьма правдоподобно:

Zwei Zeelen wohnen, ach, in meiner Brust,
Und eine will sich von der andern trennen![5]

---

[1] И. Кант. Основоположения к метафизике нравов и Критика практического разума. СПб., 1879, стр. 30.

[2] Н. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. II, стр. 390; Н. Бердяев. Субъективизм и индивидуализм, стр. LXX и LXXI.

[3] «Делать добро моим ближним я привык, но только, к несчастью, делаю это охотно, зане я сердечно люблю их. Как же тут быть? Ненавидь их и с чувством враждебным и злобным делай добро, и тогда только будешь морально оправдан».

[4] И. Кант. Критика практического разума, стр. 86, 78, 87, 90.

[5] «Ах! Две души живут в груди моей, и одна хочет оторваться от другой».

Вот тот фаустовский вздох клейнбюргера, из которого, как из морской пены, рождается эта горько-соленая мораль долга... Правда, для человека больного достаточно хороша и наигорчайшая микстура. Хорош в этом смысле и «долг» в качестве противоядия, или, точнее сказать, противовеса антисоциальным влечениям людей с раздвоенной душою. Но высококомическое впечатление производят эти люди, когда, с усилием и неохотой проглатывая свою противную микстуру, они с кисло-сладкой гримасой соблазняют ею и здоровых.

— Это, восклицают они,— такое чудеснейшее универсальное средство, оно так хорошо помогает от всех болезней, что, право же, его следует признать общеобязательным для всего человечества. Это, мол, даже не микстура, а прямо небесная амброзия... И вот, упоив себя достаточной дозой божественных уподоблений, они возводят очи горе, вооружаются тимпанами и кимвалами и молитвенно бряцают на них:

«Долг! о высокое, великое имя! Ты, который не содержишь в себе ничего любимого, что притягивало бы к тебе, а требуешь подчинения...» [1] *и т. д., и т. д.*

Чтобы уразуметь всю соль пафоса подобных гимнов, нужно влезть в шкуру одного из Кантов, или гг. Бердяевых и оглянуться оттуда на своих соседей. В душе каждого из сих последних вы усмотрите тогда целый зверинец хищных индивидуальных инстинктов. Вы почувствуете, что все эти тигры и пантеры соседского эгоизма дико рвутся на волю лишь для того, чтобы растерзать и вас, и все ваше достояние. Но вот на арене появляется страж общественного порядка, именуемый долгом, и, укрощая «звериные инстинкты» ваших ближних, спасает и вас, и ваши «высшие ценности».

Как же тут не воспеть ему хвалы вельми гласы.

Итак «долг» гг. идеалистов призван играть в некотором роде роль особой внутренней полиции. Сама по себе такая внутренняя полиция была бы, пожалуй, и не вполне достаточной гарантией против «звериных инстинктов хаотической стихии» — соседей. Но, как помнит читатель, гг. Бердяевы не брезгают ради спасения своих «высших ценностей» и содействием полиции наружной. Они лишь «идеалистически» оговариваются, что рекрутироваться эта последняя должна не из отбросов общества, Мымрецовых, а из высшей породы — мудрецов и поэтов. Сути дела, однако, такие оговорки не меняют. И эта суть гласит: оно, конечно, неприятно, когда какой-либо грубиян-будочник «тащит и не пущает» *нас*, людей «высшего призвания», но если принять в расчет, что тот же будочник укрощает и обуздывает наших соседей и тем охраняет от них наши «высшие ценности», то почему бы нам и не возопить к нему гласом велиим:

Будочник! О, высокое, великое имя! Ты, который не содержишь в себе ничего любимого, и прочее, и прочее.

Примерно то же можно бы повторить и о долге. Его веления не содержат в себе ничего любимого. Это верно. Но верно это лишь до тех пор, пока веления долга направлены против вас. Когда же им придается «общеобязательное» значение и для всех ваших соседей, тогда... О, тогда совсем другое дело. Тогда и долг приобретает своеобразную охранительную прелесть — прелесть долга, споспешествующего будочнику Мымрецову.

Господа «идеалисты», конечно, не захотят согласиться с такой оценкой их этического учения. Но обратимся к самому основоположнику этого учения, Канту, и спросим: к чему, собственно, сводятся все «категорические веления» его общеобязательного закона долга?

---

[1] И. Кант. Критика практического разума, стр. 92 (курсив Канта).

По Канту, все они сводятся, как известно, к одному-единственному руководящему полуправилу-полувопросу: *«Хочешь ли ты, чтобы твоя максима была всеобщим законом? Если нет, то она никуда не годна»*... Как же понять это руководящее указание? «Очевидно,— поясняет его сам Кант,— что я не могу желать, чтобы, например, ложь или обман были всеобщим законом, так как *иначе мне самому стали бы платить тою же монетой»*.

Итак, вот где зарыта собака. Категорические императивы гг. «идеалистов» основываются на вполне эмпирической предпосылке: *«Долг платежом красен!*.. Вот та «вечная и неизменная» истина «высшей морали», к которой приводит практический разум Канта. И нужно ли говорить, что он приводит к ней в трогательнейшем согласии с коммерческой мудростью всякого лавочника.

«Не делай того другому, чего себе не желаешь!..»,— гласит эта убогая прилавочная мудрость... Не большого требует от нас, однако, и категорический императив гг. «идеалистов».

Мы уподобили роль «долга», в качестве укротителя хищных наклонностей мещанина, полицейской роли будочника. Но, чтобы успешно охранять мещанские ценности, нужно, разумеется, иметь полицию сильную и авторитетную. Недаром же г. Бердяев проектирует рекрутировать своих будочников из той «высшей» породы, которой-де суждено править миром. За каждым «преступлением» полицейских заповедей должно неизбежно следовать соразмерное «наказание», за всяким поруганием «долга» — исполнительный лист и соответствующая понудительная «расплата». Если же исполнительные листы не всегда настигают неисправных должников в этом мире, то *ради сохранности мещанских ценностей* необходимо постулировать иной, потусторонний мир и такого идеального сверхбудочника, от авторитетного ока которого нельзя было бы уже никуда укрыться. Таков один из путей от «этического идеализма» к положительной религии.

Оно, положим, все пути ведут мещанина в стены этого Рима. Но вышеуказанный логический путь приводит туда, по-видимому, всего скорее. И потому, вероятно, его избирают, зачастую, не только вульгарно мещанские, но и утонченно аристократические души.

В самом деле. Возьмите хотя бы этического праотца наших современных калик перехожих от марксизма к идеализму: обратитесь к Канту. Разве его религиозная мысль развивалась по иной схеме?.. Его отправная точка — это взгляд на нравственные законы, как на особые «обязательные постановления», за нарушением которых, неизбежно, должно следовать строжайшее административное возмездие. «Они не имели бы такого (обязательного) значения,— откровенно поясняет эту мысль Кант,— если бы с ними не связывались a priori некоторые последствия, то есть, если бы за ними не следовали *обетования и угрозы»*. «Таким образом,— продолжает наш моралист,— разум принужден или предположить бытие Творца и будущую жизнь, или же смотреть на нравственные законы как на создания воображения...»[1] Но в последнем случае они, разумеется, никого бы не обязывали и ничего не охраняли и «практический разум» нашего философа без всяких колебаний избирает первое.

«Таким образом,— заключает Кант,— нравственный закон... приводит к религии, то есть познанию всех обязанностей как божественных заповедей»... Виновник мира при этом естественно «должен быть *всеведущим,* чтобы знать мое поведение до глубины моего настроения во всех возможных случаях и во всякое время; должен быть *всемогущим,* чтобы воздавать каждому соразмерные результаты; точно так же *вездепрису-*

---

[1] И. Кант. Критика чистого разума. СПб., 1867, стр. 599 (курсив Канта).

щим, вечным и т. д.»[1] Одним словом, виновник мира должен обладать всеми пресекательно предупредительными доблестями образцовой полиции и при том взятыми в превосходной степени. Таков идеал.

Резюмируем сказанное. Мораль долга — это мораль пресечения и предупреждения. В ней нет ничего «любимого». Но она необходима для мещанского благополучия. И потому «нелюбимому» долгу поется слава. Комариное жало этого долга само по себе, однако, представляет обычно слишком слабую защиту мещанских «ценностей». И вот эту анемичную, хромающую мораль подпирают метафизическими костылями. Для неисправных должников наряду с посюсторонним участком созидается и потустороннее долговое отделение — ад. Естественный социальный инстинкт возводится в ранг «сверхчувственной» идеи долга. И за поругание ее грозят уже не комариные уколы совести, а супранатуральные бичи и скорпионы всемогущего и вездеприсущего сверхбудочника.

II

— Все это, может быть, и верно в применении к мещанству...— возразит нам тут читатель.— Но причем же здесь аристократы духа? Причем тут идеалисты? Ведь заботы о личном благополучии им совершенно чужды, и строить свою мораль «коньячку ради» они, конечно, неспособны. Это не эвдемонисты. А если иной раз они и взывают к полицейской охране ценностей от звериных инстинктов толпы, то нельзя же забывать, что имеют они в виду при этом высшие ценности человеческой культуры, а не какие-либо бренные движимости и недвижимости.

Нам известны, скажем мы на это, те гримасы презрения, с которыми обычно говорят о счастье и всех, кто ставит его себе целью, в лагере аристократов духа. Но вспомните их собственный идеал общежития. Разве этот идеал с его кастовой организацией труда и пропорциональной «справедливостью» распределения не проникнут насквозь заботой о максимуме благополучия того типа, какой представляют собой аристократы духа? А если это так, что несомненно, то в чем же качественное различие «высших ценностей» гг. Бердяевых от тех, какие обычно входят в идеал мещанского благополучия. Мы, по крайней мере, такого различия здесь не усматриваем.

Не усматривают его, по-видимому, и некоторые из более чистосердечных «идеалистов». Так, например, родоначальник этой школы в России, Вл. Соловьев, говорит: «Нормальная цель практической деятельности есть достижение блаженства или счастливой жизни. В таком общем виде этот принцип эвдемонизма, без сомнения, верен и, если устранить спор о словах, то его одинаково признают все, самые разнообразные этические учения. Что последняя цель нашей деятельности есть блаженство, это в сущности одинаково допускается всеми, и основное различие в этом пункте состоит лишь в том, что одни полагают блаженство в этой временной жизни, другие полагают его в будущей жизни, в другом абсолютном мире», и т. д.[2]

Основное различие, указанное здесь Вл. Соловьевым, не так уж существенно. Тем более что за грезами об абсолютном блаженстве он сам, как помнит читатель, не забывал и о блаженстве «временном». Его свободная теократия это ведь *земное* царство божие. Хотя, конечно, в виду

---

[1] И. Кант. Критика практического разума, стр. 150, 164. См. также В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. II, стр. 183: «лишь при утвердительном решении вопроса о бытии Божьем, бессмертии и свободе человека можем мы признать возможность осуществления нравственного начала» («Критика отвлеченных начал»).

[2] В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. II, стр. 20.

елейных вкусов своего творца это царство вышло бы гораздо более постным, чем то, о котором звучно пел в свое время безбожник Гейне:

Wir wollen hier, auf Erden schon
Das Himmelreich errichten[1].

На более существенное различие в отношениях к счастью «идеалистов» и «эвдемонистов» намекает Кант. Счастье, по его учению, представляет собой «высшее благо возможного мира», а нравственность — путь к его достижению. И вот в то время как эвдемонисты готовы были бы взять свое счастье с бою, Кант желает лишь почтительнейше заслужить его. «Счастье представляется (ему) как бы связанным в самой строгой пропорции с известной степенью нравственного совершенства». И потому, заключает он, «нравственность не есть собственно учение о том, каким образом нам быть счастливыми, но каким образом мы должны быть *достойными* счастья»[2].

О том что за свои идеалы нет нужды бороться, а стоит лишь сделаться достойными их, чтобы дело было в шляпе,— мы уже слыхивали от гг. идеалистов. Встречали мы уже у них и самую строгую пропорцию о распределении «счастья» в соответствии с моральными достоинствами претендентов. Вспомните хотя бы «экономическую справедливость» в теократиях гг. Вл. Соловьева и Н. Бердяева. И теперь нам нетрудно представить себе того кантовского сверхбудочника, который для того лишь и наделен у него всеведением и всемогуществом, чтобы в «самой строгой пропорции» воздавать всем «соразмерные результаты».

Но как далека эта прилавочная справедливость со счетами в руках и расчетами в сердце от той, евангельской, которая равно оплачивает всех работников без различия, призваны ли они в первый или в последний час!.. Да, здесь-то, в этой прилавочной пропорциональности воздаяния, и обнаруживается — скажем мы еще раз — воистину *трогательное согласие,* но не буржуазии с пролетариатом, а гг. идеалистов с гг. лавочниками.

Вернемся однако к антиэвдемонизму гг. Бердяевых.

Мы не берем на себя защиту эвдемонизма, но не можем не указать на следующую черточку в характере его противников. Счастье — понятие весьма условное, поддающееся всевозможным истолкованиям. Но удивительная вещь. Никто не рисует его себе в более материалистическом виде, чем чистейшие идеалисты. Для них оно всегда заключает в себе нечто животно низменное, недостойное человека. И понятно, что, рисуя себе «счастье» в виде просто-напросто свинской сытости, пресыщенные всеми благами аристократы духа должны питать к этому слову непритворное отвращение.

А между тем бывает счастье и счастье.

«Истинно славно,— смакует, например, у Достоевского папá-Карамазов,— что всегда на свете есть и будут хамы да баре, всегда тогда будет и такая вот поломоечка, и всегда ее господин, а ведь *того только и надо для счастья жизни!»* Так же, примерно, рисуют себе всякое счастье и гг. идеалисты, с тою лишь разницей, разумеется, что они не смакуют его при этом, а брезгливо от него отворачиваются. И, конечно, от такого барски хамского счастья может стошнить не одних лишь гг. идеалистов. Но возьмем другой образчик: «Никогда не доставлял я сам себе такого *счастья,*— пишет Ницше о своем творчестве,—как в самые больные и тяжкие периоды моей жизни»[3]. Итак возможно, стало быть, и не столь топорное счастье, как карамазовское.

---

[1] «Хотим мы здесь уж, на Земле,
Владеть небесным царством».

[2] И. Кант. Критика практического разума, стр. 125, 150, 151.

[3] Лихтенберже. Указ. соч., стр. 105.

И пусть нам не говорят, что ницшеанское понимание счастья брать здесь в расчет не приходится, ибо Ницше — враг эвдемонизма. Да, он враг его. Это верно. Но всякий, кто только способен судить беспристрастно, скажет, что все великие эвдемонисты от Эпикура до Дж. Ст. Милля были гораздо ближе в своем понимании счастья к этому врагу своему, чем к Федору Карамазову вкупе с гг. «идеалистами».

Эвдемонизм, пожалуй, в известном смысле и несостоятелен. Но несостоятельность его заключается не в низменности жизненной цели эвдемонистов — счастья, а в том, что они ошибочно ставят его себе *целью,* тогда как оно может быть лишь *побочным продуктом* творческого стремления к тем или другим целям.

Дело в том, что привлекает нас к себе всегда не отвлеченное понятие счастья, а те или иные конкретные ценности, будь то карамазовская поломоечка или бердяевская теократия. И до тех пор, пока эти ценности не достигнуты, т. е. пока соответственные им потребности еще не утолены, конкретные вещные ценности становятся символами счастья вообще, отождествляются с самим счастьем. Поломоечка — вот счастье!.. грезит один. Теократия — вот блаженство!.. снится другому. Но, конечно, такое отождествление не больше, как своеобразный фетишизм. На самом же деле и наивысшие из возможных ценностей сами по себе не составляют еще счастья, хотя обнаруживается это только после их достижения.

Всякое желание, всякое стремление вытекает из какой-либо неудовлетворенной потребности духа или тела. *Неудовлетворенность* — вот что, стало быть, ставит перед нами цели. Неудовлетворенность — вот что создает ценности, к которым мы стремимся. А если это так, то ясно, что *достижение* цели, устраняющее известную потребность, вместе с тем обесценивает и достигнутую нами «ценность», ибо делает нас совершенно равнодушными к ней.

Пессимисты поспешно заключают отсюда о невозможности счастья вообще. Счастье невозможно, говорят они, ибо человечество обречено, подобно Дон Жуану, на мучительные искания идеала только для того, чтобы, достигнув его, тотчас же в нем разочароваться. И если брать лишь конечные моменты — возникновение идеала и его достижение, то вывод этот, пожалуй, покажется бесспорным. Возникают идеалы действительно из страданий, а достижение их сулит лишь утоление этих страданий, т. е. в лучшем случае — забвение нирванны.

Но ведь нельзя же между голодом и сытостью забывать промежуточный процесс насыщения. От возникновения идеала до его достижения всегда лежит более или менее длинный путь. И, как нас учит непосредственный опыт, на этом творческом пути к идеалу мы способны испытывать несомненнейшие восторги борьбы и упоения победы.

Возможность счастья не составляет, стало быть, для нас вопроса. Но дается оно нам *не с достижением,* а *в достигании* идеала, т. е. в творческом к нему приближении. Содержание идеала может как угодно меняться в зависимости от классовых вкусов и индивидуальных особенностей того или другого лица. С достижением одних конкретных ценностей в его понятие войдут другие. Но самое понятие идеала, или конечной цели, не потеряет, разумеется, никогда своего значения в этом процессе, ибо творческое стремление есть *целесообразная* деятельность, а не бесцельное топтание на месте. Оно неизбежно предполагает цель или цели.

Итак счастье можно обрести лишь в достигании. Достигание же, разумеется, предполагает цель. Но этой целью не может быть счастье, ибо поставить своею целью счастье — это значит достигать достигания, или стремиться к стремлению, в чем не заключается никакого разумного смысла. Эвдемонисты не замечают этого и впадают в ошибку. Но если

нелогично ставить своею целью счастье, то еще нелепее ханжески лицемерно отворачиваться от него, как это делают многие «идеалисты».

Что касается нас, то, прекрасно сознавая, что счастье всего легче достигается как раз тогда, когда о нем меньше всего заботятся, мы отнюдь не ставим его себе целью. Но в том счастье, которое испытывается *попутно* на творческом пути к идеалу, не может быть, на наш взгляд, да и нет ничего позорного или унизительного для человеческого достоинства. Скорее даже наоборот. В таком счастье можно видеть лишь облагораживающие и возвышающие душу элементы. Вот наша точка зрения.

III

Вернемся, однако, к морали долга. Укрощая целый зверинец антисоциальных порывов в раздвоенной душе аристократа духа, «долг-укротитель» и сам изнемогает в этой, почти всегда непосильной борьбе. И вот, в результате, с одной стороны, получается расслабленная воля, с другой,— больная, измученная совесть.

«Больная совесть» — это чрезвычайно любопытное явление. Но оценивать его, разумеется, нам придется не с той точки зрения, с какой его оценивают обычно гг. идеалисты.

Г. Булгаков усматривает, например, в больной совести «самую яркую и характерную черту русской интеллигенции». И, узнавая в ней «свою родную болезнь, составляющую наше национальное отличие», он, конечно, очень «любит и ценит» эту свою родную болячку [1].

И мы, отнюдь, не удивляемся этому. Почему бы в самом деле не быть у гг. Булгаковых *любимой* болезни совести? Бывают же «любимые» мозоли... Посмотрим, однако, в чем же проявляется эта «удивительная», по выражению г. Булгакова, болезнь, и в каком смысле она составляет «наше национальное отличие».

Между требованиями совести и жизнью,— говорит г. Булгаков,— существует, вообще говоря, огромное несоответствие, страшный разлад. «И от этого разлада мы и становимся больны». «Но степень этого несоответствия,— продолжает наш автор,— может быть различна, и в России это несоответствие измеряется разницей в несколько веков, ибо, тогда как интеллигенция идет в своих идеалах в ногу с самой передовой европейской мыслью, наша действительность в иных отношениях на много веков отстала от Европы. Вот почему, нигде в Европе жизнь так глубоко не оскорбляет на каждом шагу, не мучает, не калечит, как в России. И вся эта нравственная скорбь от этого несоответствия в сознании интеллигенции *выражается в чувстве нравственной ответственности перед народом*, к полному и плодотворному соединению с которым мешают тупые, но пока еще не побежденные силы» [2].

Так излагает дело г. Булгаков. И уже из этого изложения ясно, что нашим национальным «отличием» больную совесть можно назвать лишь в том условном смысле, в каком его составляют и «тупые» силы русского общественного строя.

Разлад между требованиями совести и жизнью — это те противоречия, какие возникают из столкновения социального инстинкта с требованиями инстинкта самосохранения в той или другой среде. Но подобными противоречиями богата не только русская жизнь. И потому больная совесть в большей или меньшей степени присуща известным слоям всякой национальности.

Каким же слоям она более всего присуща?

---

[1] С. Булгаков. От марксизма к идеализму, стр. 110—111.
[2] Там же, стр. 111.

У г. Булгакова, как мы видели, речь идет об интеллигенции. Но о какой? «Чувство нравственной ответственности перед народом» — это чувство человека, живущего над народом и при том живущего за его счет. Интеллигенция г. Булгакова это «кающиеся дворяне» и прочие деклассированные должники народа — это аристократия духа. И ей, конечно, как нельзя более приличествуют скорбные вздохи о тех,

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно «нам»
Погружаться в искусства, науки,
Предаваться мечтам и страстям.

У Глеба Успенского имеются чудные страницы, посвященные этим болящим совестью «неплательщикам». Их совесть действительно вечно томится и ноет, как подгнивший, трухлявый зуб со свищом. Подобно «телячьему студню», отзывается она чутким трепетом на всякое чиханье. Но... но жизнь, то бишь с одной стороны «тупые силы», а с другой — «жена, дети», как-то всегда расходится у неплательщиков в своих требованиях с требованиями их болеющей совести. Вы спросите: какой же исход избирают они из этого несоответствия? Да никакого. Они добросовестнейшим образом упекают «по закону» на каторгу какого-нибудь «врага» общественного порядка и потом сами же чуть не ревмя ревут о нем, или либерально стонут о кровавых жертвах коммуны, а через полчаса, развлечения ради, отправляются на пикник «топить кобеля»...

Таково *правило жизни* неплательщиков в изображении Успенского. Правда, у него же вы найдете и исключения из этого правила. Иной, слишком уж замученный совестью, Тяпушкин удавится или самоотверженно бросится «во имя общей гармонии» под колесо размалывающей человеческие кости кофейницы «тупых сил». Но и тут скажется его родство с прочими неплательщиками.

Тяпушкин аскетически отречется от всего личного, покинет на произвол судьбы любимую жену и ребенка и с лозунгом: «нам самим ничего не надо» постарается «пропасть» за что-либо его лично совершенно «не касающееся». Но почему так? Да потому, что от общего дела к своему личному и Тяпушкин, подобно всем прочим неплательщикам, не видит не только дороги, но и тропинки. А при таких условиях ему действительно гораздо легче *умереть* во имя общей гармонии в геройском подвиге самоотвержения, чем жить во имя этой гармонии и отстаивать ее *для себя*.

Нужно сказать, что больная совесть и Глебу Успенскому казалась нашим отечественным явлением. Но он, по крайней мере, не умилялся по поводу этого национального «отличия», подобно г. Булгакову. Нашим «неплательщикам», оплакивавшим перед пикником коммунаров, он противополагал прямолинейных версальцев, расстреливавших этих коммунаров без жалких фраз и каких-либо сомнений. Аскетам же Тяпушкиным он противопоставлял европейских блузников и таких борцов, которым и дома, и для себя, и для семьи нужно то же, что на митинге или в парламенте.

Европейские нравы казались при этом Успенскому чрезвычайно грубыми и даже жестокими. И все же грубым блузникам и жестоким версальцам он без всякого раздумья отдавал предпочтение перед нашими замученными совестью Тяпушкиными и всеми либерально слезливыми любителями пикников. К сожалению, Успенский не дожил до наших дней и не ознакомился с нравами наших отечественных блузников и версальцев 1905 года. В противном случае он увидел бы, что его противопоставление России Европе и в этом отношении уже устарело, и что, стало быть, больная совесть «неплательщиков» представляет собою не столько национальное, сколько социальное «отличие» промежуточных в классо-

вом отношении групп. Но тем менее, конечно, нашел бы он тогда повод для умиления нашими прекраснодушными представителями болящей совести.

Тип гражданина, в душе которого воля обуздывается долгом, а долг парализуется волей, такой тип представляет собою прежде всего *минимум активности и силы.* И уже по одному этому, каким бы «ореолом нравственного мученичества и чистоты» его ни окружали гг. Булгаковы, такой тип не заслуживает иного чувства, кроме чувства жалости.

И как ни пессимистична такая оценка, она отнюдь не субъективна. Вопрос об относительной ценности разных типов морали мы решаем с точки зрения их *жизнеспособности.* А это и есть наиболее объективный из возможных критериев. Мораль долга следует признать мертвенной и мертвящей, ибо нет лучших признаков жизненности, как активность и сила, чего как раз и недостает расслабленным внутренней борьбой адептам морали долга.

IV

Что мораль долга, обуздывая волю, расслабляет ее, в этом едва ли могут быть сомнения. Но, конечно, гг. идеалисты подкрашивают эту горькую истину слащавыми фразами о «*свободном* подчинении воли закону» (И. Кант), о «морали *свободно* выполняемого долга» (П. Струве), и т. п. Нетрудно, однако, заметить, как им приходится злоупотреблять при этом словом «свобода».

Свободными мы чувствуем себя, вообще говоря, лишь постольку, поскольку не наталкиваемся ни на какие препоны к проявлению нашей воли. Но нет большего заблуждения, как мысль, будто такими препонами могут быть лишь преграды материального свойства — железные цепи и каменные стены.

Возьмем привычного раба. Его руки свободны от тленных цепей, но его воля скована цепями нетленными. Она скована сознанием своей *подчиненности* и страхом возмездия со стороны господина. Но не то же ли сознание подчиненности, связанное со страхом возмездия, характеризует собою и всех привычных рабов долга? А если это так, то, очевидно, и эфирнейшая фикция категорического императива ограничивает свободу человека не в ином смысле, чем реальнейшие цепи каторжника.

Конечно, при желании каламбурить можно говорить и о «свободном подчинении». У привычного раба не возникает и мысли о бунте. Он даже на конюшню за привычным воздаянием следует сам, вполне «добровольно», т. е. не дожидаясь, пока его поволокут туда волоком. Одним словом, такой раб подчиняет свою волю закону господина совершенно «свободно». Так «свободно», как будто бы на месте этого господина восседал сам олицетворенный категорический императив. Но скажите, пожалуйста,— кому,— кроме разве самых отчаянных «идеалистов»,— кому придет в голову принимать всерьез и идеализировать такую рабскую свободу!..

В конечном выводе мы утверждаем следующее: всякое лишение свободы всегда есть лишение, и противополагать в этом смысле моральные ограничения свободы физическим нет достаточных оснований, тем более что поскольку свобода есть субъективное состояние сознания, она и вообще может быть ограничена лишь такими же субъективными состояниями сознания, т. е. психологически, а не физически.

Дело в том, что всякое внешнее воздействие, будь то чужая воля или силы природы, не прямо детерминирует нашу волю, а *посредственно,* претворяясь предварительно во внутреннее состояние нашего сознания, т. е., например, в виде субъективного чувства страха, или ожидания награды и т. п.

Таким образом, можно бы сказать, что в конце концов мы всегда поступаем сообразно лишь *нашим* же собственным симпатиям и антипатиям, надеждам и опасениям. Иными словами, мы, мол, сами и притом вполне «самозаконно» определяем нашу деятельность. И однако же в одних случаях эту деятельность сопровождает, как нас учит непосредственный опыт, радостное чувство *свободы*, в других,— гнетущее сознание *принуждения*.

От чего же зависит то и другое? И каков истинный смысл этих понятий?

Чтобы понять это, вспомним, что каждая мышца нашего организма имеет своего «антагониста», т. е. другую мышцу, действующую в противоположном направлении. Так, например, если одна мышца служит для сгибания колен, то другая приспособлена для их разгибания, если одна поднимает руку, то соответствующая опускает ее и т. д.

И вот, если мы имеем дело с гармоничным сознанием и целостной волей, то все ее импульсы направляются в каждый данный момент к одной и той же определенной мышце, усиливая друг друга. Вся энергия мышц затрачивается при этом целиком на преодоление одного лишь внешнего сопротивления, например, веса поднимаемого тела. Все движения совершаются с наименьшей затратой сил по отношению к достигаемому эффекту. Сопротивления преодолеваются легко и быстро. И в результате — радостное ощущение полноты сил, ощущение свободы.

Но представим себе сознание дисгармоничное, в котором каждой надежде противостоит какое-либо опасение, всякому желанию — сомнение, всякому «я хочу» — «ты должен». Чем должна сказаться такая дисгармония сознания в двигательных импульсах? Да, очевидно, тем, что импульсы эти будут направляться одновременно и к тем или иным мышцам, и к их антагонистам. Каждой двигающей мышце придется при этом преодолевать, кроме сопротивления внешней силы, еще более или менее значительное напряжение своего антагониста. И полезный эффект работы будет, стало быть, пропорционален лишь разности напряжений действующих мышц при общей затрате энергии, пропорциональной *сумме* этих напряжений. А это значит, что движения или совсем не последует, или оно будет происходить весьма вяло, сопровождаясь объективно — непроизводительной растратой и упадком сил, а субъективно — ощущением неудовлетворенности и усталости в связи с сознанием внутренней связанности или внешнего принуждения.

Таким образом, вопрос о сравнительной жизнеспособности той или иной морали ставится на твердую почву общего принципа экономии жизненной энергии. И с этой точки зрения гармоничная мораль воли должна неизбежно развиваться и стать единственной моралью будущего не потому, что нам этого хочется, а потому, что она в наибольшей степени удовлетворяет принципу наименьшей траты жизненных сил, и, стало быть, наиболее приспособлена к сохранению вида Homo sapiens, что в сущности и является назначением всякой морали.

Всякая иная мораль, будь то эвдемонизм с его «балансом достижимого счастья», или мораль долга с ее рассудочными «максимами», не удовлетворяет своему назначению с этой общей точки зрения. И не только с ней.

В самом деле. Пусть бы природа вложила в каждого из нас самого Бентама и поставила перед ним задачу в виде утопающего. Эвдемонист, конечно, рано или поздно рассчитал бы с точки зрения своего арифметического идеала «максимального счастья наибольшего числа людей» — следует ли ему рискнуть своей жизнью ради жизни чужой или не следует. Но ввиду сложности задачи — решение ее, наверное, последовало бы скорее поздно, чем рано.

То же самое будет, однако, если место Бентама в нашей душе займет хоть сам Кант. Решая ту же задачу, Кант, правда, будет соображать не о пользе вида, а о том, может ли правило: «спасай утопающего» стать максимой всеобщего законодательства. Но решение от такой замены едва ли ускорится. А, стало быть, утопающему не поздоровится и от категорического императива в той же мере, как и от всякого принципа мещанской добродетели.

Не такова должна быть мораль будущего. Эта мораль будет не рассудочной, а инстинктивной, как любовь матери к своему ребенку. Ее импульсов не задержит и не ослабит никакой рефлекс, ибо они должны быть не только сильными, но и мгновенными.

Конечно, мы знаем, что такая упраздняющая нравственность гг. идеалистов мораль будущего предполагает прежде всего мощную и цельную волю, какая возможна лишь в гармонично настроенных душах. Знаем мы и то, что такие души для полного своего расцвета нуждаются всего сильнее в полной гармонизации жизни, что еще далеко от осуществления. Но это отнюдь не смущает нас. Объективная взаимозависимость между нашим социальным и этическим идеалами лишь роднит и сливает их и субъективно в наших душах. И в качестве борцов за эти наиболее жизненные идеалы мы смело бросаем вызов всем нашим противникам:

«Если мы действительно являемся носителями жизни,— скажем мы словами Ницше,— а противники наши — носителями начала смерти, то победа неизбежно останется за нами!..»

V

В заключение нам хочется еще раз подчеркнуть следующую мысль. Противопоставляя этический идеал аристократии духа идеалу пролетарскому, мы ставим между ними резкую границу. Но это теоретическая лишь грань. В жизни же все резкие грани смягчаются тысячами незаметных нюансов и переходов, «уклонений» и «исключений». Так, например, среди аристократов духа можно указать немало лиц с очень заметным уклоном в сторону морали воли. И, наоборот, поклонники долга найдутся и среди идеологов, формально числящихся в противоположном лагере.

Присматриваясь однако к этим «уклонениям» внимательнее, мы убеждаемся, что они не только не опровергают, но иной раз даже еще ярче оттеняют правильность наших обобщений... С «уклонениями» этого рода из среды аристократов духа мы уже имели дело. Приведем же хоть один образчик и из противоположного лагеря.

Вот перед нами автор, искренно желающий быть самым ярым марксистом. Пишет он специально «о пролетарской этике» [1] и выступает проповедником морали долга. Но вслушайтесь в его идеалистически сверхклассовую фразеологию.

Классовой морали он, по-видимому, вовсе не признает. Знает он лишь более или менее «жестокий классовый эгоизм», из «узких рамок» которого и стремится вывести своего читателя. «Этично, по его определению, то, что жизненно, но жизненно не для меня, не для другого, не для того или другого класса, а для всех, для всего человечества» [2].

Итак, запомним это, для нашего марксиста не существует классовых противоречий, обращающих «жизненное» для буржуазии в мертвящее для пролетариата и обратно. Но последуем дальше.

---

[1] «Пролетарская этика». Под ред. Н. А. Рожкова. М., 1906.
[2] Там же, стр. 28, 29, 34, 38.

Категория *должного* — вот «объективно этический принцип» нашего автора. «Под магическое (!) влияние должного подпадают», по его словам, даже представители самого «антиэтичного» класса — буржуазии. Итак буржуазия в целом — антиэтична. Но и «пролетариат как класс чужд этического смысла», и пролетариат как класс «пропитан буржуазной идеологией». Вообще проводниками «высшего альтруизма», по словам нашего автора, являются пока лишь «исключительные личности», «в массе же, напротив, царствует самый бездушный эгоизм» [1].

Объясняется все это у нашего автора, конечно, чрезвычайно просто. «Безнравственность буржуазии основана-де на том, что она неспособна возвыситься до *истинного понимания* интересов всего человечества» — следовательно на известных логических дефектах буржуазного мышления. Что же касается моральной буржуазности пролетариата, то «вина» за нее возлагается на... социал-демократов. Пролетариату необходимо, дескать, «привить» этическое сознание, а «марксизм на эту сторону мало обращал до сих пор внимания». Взять, мол, хоть Германию. Там «в настоящее время пользуется большим(?) влиянием христианский социализм». А почему? Да по «вине социал-демократов» [2].

И вот, чтобы загладить эту вину, наш автор декретирует «закон социализирующего воздействия личностей»,— правда, не критически мыслящих, а «активно этических», но, судя по всему, термины эти вполне равнозначащи. В качестве же цели социализирующего воздействия этих личностей устанавливается следующее положение: «Для борьбы с буржуазной идеологией, с буржуазной этикой, религией, эстетикой и пр. пролетариату надо создать свою этику, свою эстетику, свою религию...» [3]

Даже религию свою!.. Это для конкуренции с христианским социализмом, что ли?.. Вот что значит стоять на хорошем, торном пути! Эту дорожку у нас проторили еще гг. Струве, Булгаковы и Бердяевы, которые тоже числились когда-то «марксистами». И нужно сказать, что наш автор стоит уже довольно далеко на этом пути, усматривая «даже в борьбе, в отношениях современных классов друг к другу... некоторую смягченность» и приветствуя ее как «большой успех» [4]. Мы его можем поздравить с этим «успехом». Он его несомненно получит в лагере притупляющих классовые противоречия оппортунистов.

Само собой, что при таких взглядах мораль воли для нашего активно-этического автора — китайская грамота. «Для нас, говорит он, важно этическое понимание смысла *жертв*». И важно потому, что «практическое (?) понимание может удовлетворить только там, где нет *самопожертвования*, где нет *отречения*». Человек, мол, «хочет знать, что значат те *противоречия*, которые сеет в его душе жизнь? Что значит, что она зовет его в одно и то же время и к мирному (!) личному счастью, и к бурной общественной борьбе? Куда идти, спрашивает он, и во имя чего? Сердце сознательного человека *полно тревоги;* он всегда «ищет», он всегда стремится к душевной гармонии»... «Посмотрите, с какой стойкостью, с каким *самоотречением* борцы за идею отказываются от семейного счастья, от спокойной (!) и уютной (!) жизни!» [5]

Какова фразеология! Жертвы, самопожертвование, отречение, самоотречение, душевные противоречия, тревога... Все это срисовано, конечно, с натуры. Но только — с мелкобуржуазной натуры. И дело идет, стало быть, не о «сознательном человеке вообще, а об одной лишь особой его разновидности, имя которой — радикальный мещанин Тяпушкин».

---

[1] «Пролетарская этика», стр. 8, 46, 33, 27.
[2] Там же, стр. 35, 12.
[3] Там же, стр. 41, 33.
[4] Там же, стр. 23.
[5] Там же, стр. 10, 24.

И в самом деле. Сознательному *пролетарию* от «спокойной», да еще «уютной» жизни и тому подобных мещанских прелестей отрекаться не приходится уже потому, что ими он вовсе не располагает. Его социальное положение таково, что перед ним нет выбора: или мирное личное счастье, или борьба. Для него «счастье» доступно только в одной форме — в форме общественной борьбы. Лишь в ней может он найти и свое личное бурное счастье. Но как раз поэтому для борца-пролетария не может быть и речи о каких бы то ни было жертвах и самоотречениях.

В его душе не может быть никакой дисгармонии, никаких колебаний. Дисгармония для пролетария существует лишь *вне его*, в самой жизни. И чем меньше сил приходится ему затрачивать на водворение внутренней, душевной гармонии, тем с большей полнотой энергии бросается он в водоворот общественной борьбы со всеми внешними силами, мешающими гармонизации жизни.

Понять это нетрудно. Это азбука для всякого, кто усвоил себе пролетарскую точку зрения. И если наш «марксист», взявшийся писать о пролетарской этике, все-таки не понял этого, то вывод отсюда ясен. Значит ему еще совершенно чужда пролетарская психика. Значит, несмотря на свои социальные симпатии, он в духовном отношении всецело еще витает над пролетариатом, в аристократическом лагере «неплательщиков».

Вот откуда, значит, принесена им эта чуждая душе пролетария тревога и тоска по «спокойной и уютной жизни», которую он с такой наивной категоричностью возводит чуть ли не в особое общечеловеческое достоинство. Но в качестве неплательщика ему, разумеется, было бы гораздо труднее *отрешиться* от мещанской морали «исключительных личностей» — морали долга, чем *встать на ее защиту* против «лишенного этического смысла» и «пропитанного буржуазной идеологией» рабочего класса.

Итак все, стало быть, в порядке вещей. «Исключительная личность» нашего автора отнюдь не представляется загадочной. И уж во всяком разе классовой теории морали с этой стороны ничто не угрожает. Но мы уже чувствуем, как на нас поднимается гроза с другой стороны.

— Как!— негодующе воскликнет тут какой-нибудь «друг народа».— Как, вы отрицаете у пролетария способность к жертвам! Вы хотите представить его сухим и черствым эгоистом, который просто-напросто защищает свои интересы и притом даже без всякого риска, ибо «терять ему нечего, кроме своих цепей». Нет, это гнусная клевета на пролетариат. И я сам-де слышал от своих знакомых рабочих, что они возмущаются этим оскорбительным для них лозунгом Коммунистического манифеста и негодуют на своих обидчиков социал-демократов. Нет, пролетарий, конечно, бедняк. Но тем дороже ему то немногое, что у него еще остается, и тем тяжелее, стало быть, для него терять это немногое. И однако же он не щадит ничего и приносит свою лепту вдовицы на жертвенник идеи с таким же самоотвержением, как и лучшие революционеры из интеллигенции.

Как ни курьезно это обвинение, смеем, однако, уверить читателя, что оно не нами придумано. Вычитали мы его как-то в одной из книжек народолюбивого «Русского богатства», и хотя за приведенную нами редакцию не ручаемся, но за смысл переданного можем вполне поручиться.

Что же нам возразить по существу на подобные обвинения! Это трудная задача, ибо говорим мы с критически мыслящими личностями из «Русского богатства» на разных языках. Поймут ли они нас, если они еще не поняли, что для *сознательного* пролетария нет и не может быть ничего *дорогого* в мире мещанских ценностей?

Калеча пролетариат и физически, и морально, буржуазный мир развивает в душе такого пролетария столь жгучую к себе ненависть, что в конце концов с его стороны возможна лишь одна «жертва». Это отказ от проявления в борьбе своих чувств к мещанскому миру.

«Лишь в качестве бойцов,— может он повторить слова Ницше,— получаем мы право на существование в наше время,— в качестве борцов за грядущий век». «Ибо ведь в конце-то концов все мы страдаем так глубоко и мучительно, что вынести это можно только в крепком бою с мечом в руках»[1].

1908—1910 гг.

---

[1] «Переписка Ницше». «Русское богатство», 1901, III, стр. 84.

БОГ И СВОБОДА.

О ВЕРЕ И НЕВЕРИИ*

●

* *Пг., 1917.*

ОТ АВТОРА

В современном соревновании народов весь мир разделяется на две противоположные системы не только по своему общественно-экономическому строю, но и по господствующим в них наиболее отвлеченным идеям. А среди них нет, пожалуй, более далеких и противоположных по своему значению понятий, чем столь популярные в нашем мире идеи, как бог и свобода. Они исключают друг друга. И вокруг них все чаще разгорается острая идеологическая борьба. Мы знаем, что судьбы социального соревнования экономических систем решаются лишь сравнительными темпами роста свойственных им производительных сил. Но устаревшие идеи много консервативнее материальной базы социального прогресса. И в идеологической борьбе за их изживание нам предстоит еще сломать особенно много стрел и копий.

Идея бога начисто исключает свободу, ибо богу, по учению верующих, должны быть подчинены не только все действия, но и все помыслы людей. Это самый высокий и ничем не ограниченный авторитет, предполагающий беспрекословное, рабское ему подчинение. Как известно, одно из наиболее распространенных, христианское вероучение получило даже свое начало и распространение как раз в античном, рабовладельческом обществе и в самых низах его, в среде самих рабов. Положение их в атмосфере всеобщего бесправия было отчаянным. Все восстания их неизменно кончались поражениями. Вступая в христианскую общину, они и в ней чувствовали себя рабами божиими, высшей добродетелью которых считались покорность и смирение, с единственной надеждой получить за них воздаяние в фантастической загробной жизни.

Конечно, демократический состав ранних христианских общин содействовал воспитанию в их среде и добрых нравов, и братской солидарности, и даже некоторого подобия общинно-коммунистического быта. Но дух рабского смирения и покорности, внушаемый этим вероучением всем его приверженцам, всегда служил делу реакции, противодействуя естественным устремлениям всего человечества к возможно полной свободе. С тех пор утекло много воды. В борьбе за религиозную, гражданскую и политическую свободу прошли и реформация, и целый ряд победоносных революций, но и в нынешней расстановке классовых сил на Западе все столпы церкви — и на папском престоле, и на светских постах — остаются на самом правом фланге буржуазной реакции. Рост производительных сил, науки и техники все расширяет рамки возможностей человека в его борьбе со слепыми силами природы. Неудержимая победа коммунизма обещает нам еще невиданный миром скачок из царства необходимости в царство свободы. Но на стыках между божественными авторитетами и свободой, верой и неверием, заблуждениями и наукой предстоит еще немало острых и горячих споров, ибо они решаются

не принуждением, а убеждением, и потому последнее в них слово скажет Разум.

В нашей литературе есть великолепный образ яркого вольнодумца из народа — былинного героя Васьки Буслаева. Этот новгородский удалец не верил, по свидетельству былины, «ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай». Он бил, не задумываясь, прямо в голову даже олицетворявшего весь авторитет церковной власти «старчище-пилигримище», когда тот становился ему поперек дороги. Он не знал никаких преград и дерзко смеялся над всеми предрассудками своего века, безнаказанно перепрыгивая, наперекор всяким заветам и запретам, через величайшие его «святыни». Но когда этот смельчак, не довольствуясь своим успехом, захотел перепрыгнуть через заветную преграду еще и задом наперед, вслепую, он, по сказанию былины, споткнулся и погиб, став жертвой своей не знавшей удержу буйной удали.

И нам предстоит на нашем пути к полной духовной свободе преодолеть еще не одну преграду и перешагнуть немало мещанских «святынь» разного рода. Но этого не следует делать, если не хотим споткнуться, без яркого светоча знания, вслепую. Вот почему едва ли окажется излишним предлагаемый очерк, в котором мы пытаемся изобразить, что такое бог и что такое свобода, как беспощадно ее преследовали жрецы и святители всех времен и народов и как ее следует отстаивать всем истинным друзьям народа, всем честным борцам за рабочее дело и идеалы коммунизма.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

УРОКИ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОШЛОГО

Передовые рабочие всех стран ставят повсюду в ряду других своих требований и требование полнейшей свободы совести для всех и каждого. Рабочий класс, как класс более всех других испытавший на собственном опыте всю тяжесть ограничений в свободе своих мнений и убеждений в своей борьбе за свободу, отстаивает — везде и для всех — и самую широкую религиозную свободу. А в СССР, где рабочий класс уже давно крепко встал у власти, религиозная свобода — каждому «спасаться» по-своему и верить или не верить в любые догматы церкви так, как это подсказывает ему его собственная свободная совесть,— стала нерушимым законом нашего социалистического государства [1].

У нас уже нет и не может быть гонений за веру, ибо уже нет господствующей церкви, располагавшей властью принуждения к чему-либо насилием и преследования инакомыслящих. Теперь у нас уже ни одна церковь не располагает такой властью. Но власть заманчива. И найдется, конечно, немало духовных пастырей, которые охотно вернули бы себе эту утерянную ими власть при первой же к тому возможности. А потому нам могут оказаться очень полезными уроки прошлого из истории всех церквей. Все пасомые должны знать, как ведут себя их духовные пастыри, когда обретают большую власть над своей темной еще паствой.

Не вредно верующим познакомиться и с вероучениями различных других религий, хотя бы для того, чтобы лучше оценить и усвоить свое собственное. Еще важнее, однако, для них познать, чем вообще отличается всякая вера от подлиного знания, познать, что в сущности область веры кончается как раз там, где начинается область научного знания, и что уже поэтому расширение сферы наших знаний означает неизбежное сужение области веры.

Для признания истиной, что в равнобедренном треугольнике углы при основании равны или что $2 \times 5 = 10$, не требуется «веры», ибо мы это твердо знаем и в любое время можем доказать. Но если бы какой-либо школьник стал утверждать, скажем, что $3 = 1$, то учитель, наверное, назвал бы такое утверждение абсурдом и оценил знания этого школяра баллом не свыше единицы. А вот учителя церкви учат другому. И, например, один из них, Тертуллиан, отнюдь не отрицая явной абсурдности некоторых учений церкви, подобных догмату о троице единосущной ($3 = 1$), утверждал все же: «Верую, потому что абсурд». Но искренне верить в абсурд — трудная задача. И другие святители в подобных же случаях предпочитают иную формулу: «Верую, господи, помоги моему неверию!» Во всяком случае «верить» им приходится лишь в то, что не поддается познанию, что недоказуемо или что даже явно противоречит — как «чудеса» всякого рода — всей сумме наших знаний. Но, всту-

[1] «В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами»,— гласит ст. 124 Конституции СССР.

пая в явные противоречия с наукой, «вера» в абсурды вынуждена ныне отступать перед ней в дебри философского идеализма.

С идеалистами нам не по дороге. А народ надо просвещать. И мы должны ему ясно показать, что такое религиозная свобода. Он должен почувствовать, откуда пошла эта исконная вражда между «верой» и «знанием», кровавыми следами которой затенена вся история. Ему следует воочию убедиться, насколько непримиримо понятия «бог» и «свобода» сталкиваются друг с другом на протяжении веков, развеваясь на знаменах всегда враждебных друг другу лагерей. И тогда доброе старое время паразитов навек останется невозвратным временем.

Посильному уяснению всех этих вопросов и посвящены последующие строки. Пусть же имеющий уши — слушает и не лишенный способности соображать — соображает.

1. О СВОБОДЕ СОВЕСТИ

Передовые рабочие всегда стояли за требование свободы совести не для того, конечно, чтобы освободить людей от подчинения совести, а для того, чтобы освободить самое совесть от подчинения чему бы то ни было вне ее и руководствоваться во всем только совестью, освобожденной даже от религиозного суеверия. Они убеждены, что, чем наша совесть будет свободнее от внешних принуждений какой бы то ни было власти или закона, тем громче и властнее заговорит она внутри нас, а стало быть, тем больше будет правды и любви в человеческих отношениях, тем меньше в них останется лжи и лицемерия. Именно для этого всем и каждому должно быть предоставлено право совершенно свободно мыслить и верить или не верить, т. е. мыслить и верить лишь по указаниям своей совести и рассудка, а не по чьему-либо принуждению. И не только мыслить и верить, но и совершенно безнаказанно высказывать перед лицом всего мира свои верования и убеждения. К завоеванию такого права и направлено требование свободы совести.

Стояли за него и все христиане во времена апостольские, когда им еще самим приходилось терпеть всякие муки и гонения за веру. Тогда христианам был еще близок и понятен глубокий смысл слов их учителя, сказанных им в ответ на удар по лицу во время допроса о вере у первосвященника Каиафы: «Если я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь меня?» (Иоанн, XVIII, 23). Этими простыми словами Иисус как нельзя более ясно выразил мысль, что против правды не могут считаться сильнейшими кулачные аргументы.

Этого светлого взгляда своего учителя не могли, конечно, не разделять и все первоученики его, подвергавшиеся со всех сторон широким гонениям. И они действительно отличались широкой терпимостью к чужим мнениям.

Уже тогда, конечно, возникали разные «ереси», т. е. более или менее важные разномыслия в их собственной среде. Но христиане того времени не пугались этого и не спешили воздвигать костры для своих инакомыслящих братьев. Наоборот, они признавали такие разномыслия вполне естественным и даже в известном смысле желательным явлением. «Подобает бо и ересям в вас быти, да искуснии явлени бывают в вас»,— говорит, например, апостол Павел (1-е Коринфянам, XI, 19). Иначе говоря, разномыслия желательны, потому что они ведут к спорам, а в спорах выделяются более «искусные», даровитые люди, которые лучше других способны уяснить всем наиболее темные места общего вероучения. Когда же эти разномыслия становились слишком глубокими, когда кто-нибудь из членов церкви, т. е. собрания верующих, вел себя совсем уже не по-христиански, тогда его «отлучали» от церкви, т. е. попросту удаляли из своей товарищеской среды.

Гонимые за веру христиане были сторонниками свободы совести. Но дело резко изменилось, когда христианство из гонимой стало господствующей в государстве религией. Это случилось спустя около четырех столетий после основания христианства, когда римское правительство, убедившись в громадной и все возрастающей, несмотря на преследования, силе гонимого учения, решило использовать эту силу в своих интересах и приняло христианскую церковь под свое покровительство. Всякие гонения на христиан, конечно, прекратились. Их наиболее влиятельные пастыри заняли важное положение при императорском дворе в качестве высших царских советников. Но там, окруженные царскими почестями и богатством, они мало-помалу развращались, утрачивая одну за другой все истинно христианские добродетели, и превращались в заурядных чиновников правительства. С течением времени этот союз церкви и государства все укреплялся. Правительство, опираясь на свою военную силу, оказывало неисчислимые услуги духовенству. Духовенство в качестве истолкователя слова божия не оставалось в долгу, укрепляя в народе веру в святость и божественное происхождение светской власти. Одним словом, рука руку мыла.

Конечно, по мере того как учение Христово стали искажать на потребу правительства, приспособляя его в качестве орудия закрепощения народных масс господствующим классам государства, первоначальный свободолюбивый дух этого учения отлетал. Оставались лишь лишенные всякого содержания слова, мертвые буквы. Это было не в интересах угнетаемых мирян, и они не раз пытались отстоять свое духовное понимание христианства. Но это было не очень на руку властному союзу князей церкви и «мироправителей века сего». И потому, ухватившись, как за знамя, за омертвевшие буквы некогда животворного учения, они всей тяжестью своей власти обрушивались на каждого, кто, не падая ниц перед буквой, смело доискивался ее значения и истолковывал его не так, как это было угодно сильным мира сего. Некогда гонимые пастыри церкви теперь сами располагали властью преследования. И вот мертвые буквы учения стали воистину «смертоносными», как их пророчески назвал еще апостол Павел.

2. РЕЛИГИОЗНЫЕ ГОНЕНИЯ НА ЗАПАДЕ

Ни одному языческому идолу, даже наиболее «кровожадным» из них, даже Ваалу или Молоху, не было принесено в жертву столько человеческой крови, сколько ее пролили христианские пастыри в защиту буквы своего учения, пролили во имя того бога, который, по свидетельству писания, есть не что иное, как сама воплощенная любовь... Вспомним хотя бы о тех морях крови, которые с Христовым именем на устах были пролиты во время многочисленных крестовых походов против турок за освобождение Иерусалима. Что это были за войны! Когда в конце концов христианское рыцарство взяло штурмом Иерусалим, то его ярость не знала никаких пределов. Преследуя своих врагов по пятам, опьяненные победой крестоносцы ворвались за ними в мечеть Омара и пролили здесь «столько человеческой крови, что отделенные от корпусов руки и ноги плавали в храме». В храме же Соломона, т. е. на том самом месте, где некогда Иисус, по преданию, выступал с проповедью любви и всепрощения, христианские рыцари в этот день «ходили в крови по колено всаднику и до уздечки лошади». Эта кровавая баня, подготовленная по почину церкви, сулившей устами своих архипастырей райское блаженство всем крестоносцам за их жестокое усердие, предназначалась все же для турок, почитаемых исконными врагами христианства.

Но крестовые походы устраивались по призыву церкви не только против турок. Вспомним хотя бы известный поход XIII в. в южную Францию

против тамошних «еретиков» — альбигойцев. Святые отцы, руководившие этим поголовным истреблением просвещенной и жизнерадостной нации, лишь командовали: «Бейте всех на смерть. Господь знает своих». Или, говоря проще, бейте, не разбирая правых от виноватых. Бог сам сделает на том свете нужную разборку. Здесь уж, по этой команде служителей Христовых и с его именем на устах, шли не против турок. Здесь брат выступал против брата, француз убивал француза, христианин — христианина.

Столь же братоубийственными были войны против гуситов в Чехии XV в. Такими же были и все религиозные войны в Германии времен реформации. А что, как не такое же братоубийственное побоище во славу Божию, представлял собой тот массовый погром «еретиков» во Франции, который известен в истории под именем Варфоломеевской ночи? Мы не станем его описывать. Памятные еврейские погромы в царской России, хотя и в меньшем масштабе, дают вполне достаточное представление о подобных событиях.

Напомним, наконец, читателю о том, что представляла собою так называемая святейшая инквизиция — это высшее судебное учреждение церкви по делам о ересях. Полного своего расцвета это учреждение достигло лишь к концу XV столетия. Однако духовенство еще в середине XII в. владело уже сфабрикованным им на сей предмет подложным указом якобы императора Грациана (жил в IV в.), по которому признавалось вполне законным «принуждать людей к добру, пытать и казнить еретиков и конфисковать их имущество» [1]. На практике же эта теория нередко применялась и гораздо раньше. Какова должна быть эта практика при общей грубости средневековых нравов, можно судить хотя бы по тому, что даже лучшие и кротчайшие люди того времени, вроде французского короля Людовика Святого, в делах веры были кровожаднее диких зверей. Этот «святой» король принимал за правило, что ни один христианин не вправе отвечать на какие бы то ни было возражения против веры иначе, как распарывая живот виновному. Своим подручным монахам инквизиторам этот «святой» без малейших укоров совести позволял заживо замуровывать свои жертвы. Известный ученый Ренан замечает по этому поводу, что даже язычник Диоклетиан не делал ничего подобного.

Мы не станем, однако, распространяться здесь о методах религиозных увещеваний, принятых по отношению к «заблудшимся» у отцов инквизиторов,— увещеваний, обычным припевом которых было напоминание: «А если ты не хочешь этому верить, то смотри на пылающий огонь, в котором поджариваются твои товарищи...» Мы не в силах описать все ужасы утонченных пыток и истязаний, которым святые отцы подвергали так называемых еретиков и иноверцев, прежде чем возвести их на костер и заживо сжечь «ради вящей славы Божией». Достаточно будет привести следующее сравнение. В языческом Риме за время великого гонения христиан при Диоклетиане погибло до 2 тыс. христиан. Но тогда господствующей религией было язычество. Когда же государственной церковью стала христианская, то в одной лишь Испании, этой стране «христианнейших» королей, и при том только за 18 лет, духовник королевы Изабеллы монах Торквемада успел спалить на кострах 18 908 душ да истязал разными другими способами еще 95 603 души. Всего же

---

[1] При этом, решительно отвергающем всякую свободу совести, взгляде, для освящения которого в глазах паствы авторитетом древности в XII в. требовался подлог, римские духовные пастыри неизменно пребывают и поныне. По крайней мере еще в известном папском послании, или «энциклике», от 8 декабря 1864 г. решительнейшим образом осуждается «крайне вредное и безумное мнение, что свобода совести и богослужения есть право каждого человека».

в Испании с 1481 по 1808 г. насчитывают 345 626 жерт инквизиции [1]. А сколько их было в других христианских государствах? Там их не считали.

Не мешает прибавить к этому, что все имущество изобличенных в ересях отбиралось от них и поступало в пользу отцов инквизиции и королевской фамилии. Это в значительной степени объясняет нам столь неимоверное усердие святых отцов и их высоких покровителей в исполнении роли палачей своей паствы. Не малый доход князьям церкви доставляла, впрочем, и предварительная страховка богатых мирян от привлечения их к суду инквизиции. Дело в том, что попасть в лапы этого «почтенного» учреждения было гораздо легче, чем вырваться из них целым и невредимым. Чтобы попасть туда, вовсе не нужно было быть непременно еретиком; для этого достаточно было самого легкого доносика. Святейшая инквизиция тотчас же принималась за исследование «с пристрастием», и, если пациент оказывался с «пушком», найти за ним «вину», чтобы ощипать этот «пушок», было уже полдела. Не мудрено поэтому, что во избежание таких неприятностей каждый зажиточный мирянин спешил застраховать себя от инквизиции, как иные страхуются от огня, покупкой у высших духовных властей по вольным ценам, так называемой диспенсации, или, говоря иначе, свидетельства о религиозной благонадежности.

Весьма распространенной также была беззастенчивая торговля церкви индульгенциями, т. е. свидетельствами о прощении грехов нескупящимся грешникам. От продажи индульгенций святые отцы в средние века извлекали огромные доходы. За отпущение любого греха достаточно было лишь уплатить святой церкви небольшую мзду по твердо установленной таксе. Например, убийство рядового мирянина возмещалось по таксе уплатой всего 5 гроссов [2]. За эту же цену отпускался грех любодеяния с сестрой и даже с матерью. За убийство отца или матери плата повышалась всего до 6 гроссов. За ту же сходную плату в 6 гроссов мирянину разрешались на выбор: скоромная еда в великий пост или тайное ростовщичество, или явный грабеж и поджигательство, или клятвопреступление, или растление девушек, или содомский грех, или даже прелюбодеяние в церкви. Священикам разрешался содомский грех при этом только за 7 гроссов, а монахам — за 8. За убийство священника или монаха такса повышалась до 9 гроссов. Можно было получить отпущение грехов и оптом, авансом за несколько лет или даже на право безнаказанно грешить пожизненно. И такая «вечная» диспенсация на одно лицо расценивалась в 16 гроссов, а на брачную пару — в 18. Уплатив эту мзду, грешник мог уже безбоязненно совершать любые злодеяния, ибо святая церковь авансом гарантировала ему их безусловное всепрощение и райское блаженство с супругой в загробной жизни.

Можно себе представить моральный уровень святителей, всем авторитетом церкви освящавших такую практику. Они сами толкали своих сограждан на злейшие дела. Их таксы как будто приглашали всех желающих: «Не угодно ли вам изнасиловать вашу юную сестрицу? Цена 1 р. 50 к. Или, может быть, вы предпочитаете зарезать вашу старенькую матушку? Пожалуйста, даешь 1 р. 80 к. на бочку!..»

3. РЕЛИГИЯ И НАУКА

Святые отцы, бравшие на себя роль судей сердец человеческих, весьма мало были к этому способны. До чего они были невежественны, можно судить хотя бы по такому примеру. В 1601 г. отцы инквизиции

[1] С. Г. Лозинский. История инквизиции в Испании, т. III. СПб., 1914, стр. 140.

[2] Гросс = 0,1 дуката. Дукатом называлась золотая монета весом 3,44 г. В России дукат под именем «червонца» чеканился до 1885 г. и расценивался в 3 руб. золотом; значит, гросс не превышал 30 коп. золотом.

предали суду в Лиссабоне одну обученную фокусам лошадь. Они признали ее одержимой бесом, осудили и торжественно предали это еретическое животное аутодафе, т. е. сожжению на костре. Впрочем, невежественно было, за редким исключением, все духовенство. Но это вовсе не мешало ему быть чрезвычайно изобретательным и дальновидным, чуть только дело касалось того, как сохранить за собой влияние на народные массы и извлекать из них доходы. «Для того чтобы произвести впечатление на народ,— писал еще в IV в. св. Григорий Богослов блаженному Иерониму,— нужна только болтовня; чем меньше народ понимает, тем больше он изумляется и преклоняется». В этих словах заключается очень мудрый рецепт. И вот духовенство, следуя этому рецепту, прежде всего поставило своей задачей, чтобы народ возможно меньше понимал.

В противовес утверждению всех друзей человечества, что знание — сила, святые отцы выдвинули свое, по которому неведение — мать благочестия, и воздвигли гонение на науку. Так, когда в 1543 г. вышло в свет знаменитое сочинение Коперника, в котором он впервые доказал общеизвестную ныне истину, что земной шар вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли, как это кажется с первого взгляда, то церковь немедленно осудила это его учение как ложное и «совершенно противное священному писанию». Сочинение стало надолго запрещенным и недоступным читателям[1]. Сам Коперник не попал за него в лапы инквизиции только потому, что успел заблаговременно умереть естественной смертью. Но его последователь, великий ученый Галилей, не был так счастлив. Этого 75-летнего старца отцы инквизиции заставили под угрозой пыток признать «ересью» ясную для него как день научную истину и торжественно, на коленях, отречься от нее. Затем, несмотря на отречение, старик Галилей был брошен в тюрьму, где протомился целых десять лет, вплоть до самой смерти. Но и тут, даже после смерти, святые отцы пытались еще нанести ему оскорбление, запретив похоронить на кладбище его останки.

Галилей не был, конечно, исключением. Подобных ему мучеников науки, павших жертвою инквизиции, было весьма много и до него, и после. Например, в 1600 г. геройски кончил на костре свою жизнь знаменитый Джордано Бруно, не пожелавший в угоду церкви отказаться от своих научных взглядов. Та же участь постигла в 1629 г. философа Ванини и многие другие лучшие умы своего времени. Святые отцы были беспощадны в своих преследованиях науки. Они не останавливались ни перед чем. Некий ученый Де Доминис попытался впервые объяснить явление радуги игрой солнечных лучей в капельках влаги, рассеянных после дождя в воздухе. В этом объяснении тотчас же была усмотрена «ересь». Де Доминиса заманили обещанием архиепископства в Рим и, ничтоже сумняшеся, засадили в тюрьму св. Ангела. Но тут наш ученый почему-то умер раньше, чем это входило в расчеты его судей. Это их нимало не смутило. «Преступник» предстал перед судом инквизиции в гробу, и, так как не нуждавшийся уже ни в каких оправданиях, бедняга совсем не оправдывался, то его очень легко было обвинить в ереси и вместе с целой кучей столь же еретических книг бросить в огонь.

Уничтожая свободу научной критики и научного исследования, чтобы тем легче удерживать народ в темноте, духовенство изобретало в то же время массу всевозможных обрядов и таинств для успешной стрижки паствы. Святым отцам нужно было, чтобы, запуганные адом, миряне вынуждены были всю жизнь, от колыбели до могилы, прибегать к ним

[1] У нас в России это учение еще в 1757 г., по свидетельству Милюкова, считалось «сумнительным» в цензурном отношении.

за помощью для совершения разных треб и обрядов, без которых давно уже нельзя ни родиться, ни умереть христианину. Они знали, конечно, что, прибегая за помощью к своему духовному отцу, мирянин не посмеет явиться к нему с пустыми руками, без обильных приношений. И они не ошиблись. Мирянин крепко боялся черта и ада. Ему не приходила еще тогда в голову столь обычная несколько позже, в эпоху реформации, мысль: да уж не малюют ли попы столь страшно черта «ради своего пропитания»? Темный мирянин не задумывался о том, что ни Христос, ни его апостолы никогда никаких обеден, панихид и молебнов не служивали и что, стало быть, все это просто поповская выдумка. Он в простоте сердечной исполнял все, что от него требовалось, и набивал своими трудовыми грошами поповские карманы. Для тех же, кто способен был над всем этим задуматься, всегда была наготове святейшая инквизиция со всеми ее прелестями.

Наряду со всевозможными молебнами и панихидами духовенство имело, однако, и еще один не менее важный козырь по части того, как заставить народ «изумляться, преклоняться» и являться к своим пастырям с обильными приношениями. Таким козырем являлись разные «чудотворные» иконы, мощи и тому подобные святыни, в изобилии фабрикуемые по церквям и монастырям ради привлечения богомольцев. Беззастенчивость этой фабрикации доходила до того, что мощи некоторых из особо чтимых святых обретались зачастую одновременно в нескольких монастырях. Таким образом, по общему подсчету, у каждого из этих святых могло бы оказаться по нескольку голов, по дюжине-другой рук и ног и т. д. Да и то ли еще бывало. В качестве священных реликвий верующим предъявляли «перо из крыла архангела Гавриила» и «вздох Иосифа-плотника». В нескольких монастырях было по терновому венцу спасителя; в 11 монастырях хранилось по копью, прободавшему его бок; крестоносцы вели выгодный торг молоком богоматери, а один из иерусалимских монастырей мог предоставить зрителю даже подлинный палец самого святого духа!..

Вы изумитесь, читатель. Вы скажете, что у духа не может быть пальцев, вы скажете, что все это было бесстыднейшим по своей кощунственной наглости обманом. Но что же поделаешь? «Народ непременно хочет, чтобы его обманывали»,— заявлял еще в начале V в. один из отцов церкви — епископ Синерий. Как же, дескать, его не обманывать. Так рассуждали, должно быть, и владельцы «подлинного» пальца святого духа. На самом деле народ, конечно, «хочет», чтобы его обманывали не больше, чем караси «любят», чтобы их поджаривали в сметане. Но горе в том, что значительная масса народа всегда была, да и теперь еще местами остается в такой темноте, что легко поддается каким угодно обманам. Ведь еще на нашей памяти на Руси можно было встретить какого-нибудь бывалого странничка, который торговал по глухим деревушкам пузырьками «тьмы египетской». И даже с успехом торговал, несмотря на то или, вернее, благодаря тому, что русская деревня и без того уж поистине во тьме египетской пребывала.

Мы не станем здесь указывать на те несметные богатства, какие скопились благодаря вышеописанной политике в руках монастырей и высшего духовенства. Мы отказываемся рисовать и ту переполненную роскошью и развратом жизнь, какою зажило, несмотря на свои обеты нищенства и целомудрия, это духовенство. Нам важно подчеркнуть здесь лишь следующее обстоятельство. С тех пор как христианство стало государственной религией, оно потеряло свою нравственную чистоту, обратившись в нечистых руках разжиревшего духовенства в простое орудие наживы и господства. Понятно, что при таких условиях святые отцы никак не могли допустить свободы религиозной критики, которая, восстанавливая первоначальную чистоту Христова учения, вырвала бы у них

из рук это орудие господства. Отсюда-то и истекает прежде всего та страшная религиозная нетерпимость, примеры которой мы выше приводили.

Конечно, мы имеем здесь в виду главным образом нетерпимость высшего духовенства. Религиозная нетерпимость монаха-простолюдина или какого-нибудь захудалого попа деревенского должна быть в значительной мере объяснена их полнейшим невежеством и дурно направленной ревностью о вере. Высшее духовенство не имеет за собой и такого оправдания: оно вовсе не так уже невежественно и далеко не так религиозно. Даже более того. В душе эти святейшие отцы почти всегда ни во что не верят, хотя они, понятно, вовсе не так откровенны, чтобы открыто перед всеми признаться в этом. Тем знаменательнее поэтому становится следующее откровенное признание одного из архипастырей римских, Юлия II (жил в 1475—1513 гг.). После одного из особо обильных сборов в набожной Германии этот святейший отец заметил своему приближенному епископу: «Что, брат, а ведь басня об Иисусе Христе — прибыльная штука!»

4. АПОСТОЛЬСКИЙ ПЕРИОД РУССКОЙ ЦЕРКВИ

Почти все вышеприведенные факты заимствованы нами из опыта Западной Европы, и у иного читателя легко может возникнуть мысль, что у нас, «на святой Руси», ничего подобного нет и не было. Не было у нас, дескать, ни инквизиции, ни иных прочих посягательств на чью-либо свободу совести. Духовенство наше соблюдает, дескать, в чистоте все заветы Христовы. А если это так, то какое нам дело до «гнилого» Запада — он нам не указ. Незачем, дескать, и порох тратить в защиту свободы совести.

— Вот в том-то и горе,— приходится ответить такому читателю,— что все это не так. И у нас на Руси была инквизиция, хотя она и не называлась этим словом. И у нас не было свободы совести. И у нас учение Христово искажалось духовенством в угоду сильным не меньше, чем на Западе. Но пусть говорят за себя сами факты.

Заглянем же в историю русской церкви.

Наши предки были язычниками. Они поклонялись богу грома Перуну, богу солнца и плодородия Яриле, богу скота Велесу и др. Как же они стали христианами? Их убедили в превосходстве христианства словом божиим, словом любви? Так, что ли? Вовсе нет. По рассказу летописца, русский князь Владимир, знаменитый своими пирами и женолюбием, был напуган греческими монахами картиной страшного суда и крестился. Крестилась с ним и его наемная дружина. Затем под конвоем этой дружины (в 988 г.) загнали, как стадо баранов, в реку и оптом крестили там всех остальных киевлян. А затем уже князь послал своих воевод с той же дружиной благовествовать новую веру и по всей остальной Руси среди своих подданных. Деяния этих апостолов князя Владимира были очень не сложны. «Путята крести мечом, а Добрыня огнем»,— кратко сообщает летопись. И вот Русь стала христианской. Наши предки, восприняв огненное Добрынино крещение, стали вместо Перуна поклоняться Илье-пророку, повелителю громов, вместо Велеса — св. Власию — покровителю скота, вместо праздника Ярилы стали праздновать Ивана-Купалу и т. д. все в том же роде. К перемене имен они в конце концов могли привыкнуть. Все же остальное осталось без перемены. Только женолюбивый и винолюбивый князь Владимир стал с тех пор называться «святым и равноапостольным».

Таково было начало. Не так успешно было продолжение. Несмотря на апостольское содействие огня и меча, христианство распространялось на Руси чрезвычайно туго. Даже к именам новых богов не скоро могли

привыкнуть наши предки. И местами еще в XIII в., будучи уже по имени христианами, они поклонялись «Мокоше и Перуну, Роду с Роженицей, огневи, камени, рекам, брегиням и древам». Не вывелись еще тогда и волхвы, т. е. жрецы этих богов. Их нередко беспощадно сжигали, но в то же время верили в их якобы волшебную силу и боялись их. В одном обличении XIII в. читаем: «Вы еще держитесь языческих обычаев, верите волхвованию и сожигаете невинных людей и делаете виновным в убийстве все общество, весь город. Из каких книг, из какого писания узнали вы, что от волхвований бывает голод на земле и опять волхвованием умножается хлеб? Если сему верите, то почему сожигаете волхвов?.. Вот ныне три года не родится хлеб не только на Руси, но и в земле латинской — волхвы это сделали?..» Эти суеверия были так живучи, что еще в начале XV в. псковитяне сожгли живьем 12 несчастных старух, порешив, что это ведьмы и колдуньи и что они пускают в народ болезни.

5. ПЕРВАЯ ЕРЕСЬ

Таким образом, первый, так сказать «апостольский», период русской церкви, период борьбы ее с язычеством, очень затянулся. Но не успел он еще вполне закончиться, как из самых недр русской церкви вырос новый «внутренний» враг. И костры, на которых раньше жгли лишь языческих волхвов и кудесников, понадобились для другой цели. В XIV в. возникла первая значительная на Руси ересь — «стригольников». Достойно внимания, что уже эта первая у нас секта выросла на почве недовольства нехристианскими нравами русского духовенства. Обличая пастырей духовных в том, что они «пьяницы, едят и пьют с пьяницами и дерут с живых и мертвых», псковские и новгородские стригольники открыто порвали все сношения с недостойной, по их взглядам, церковью. Сами стригольники, по словам летописи, подавали в своей религиозной общине пример строгой подвижнической жизни и нестяжания, «изучали словеса книжные и сладко говорили к народу». Это пришлось не по вкусу духовенству. В его среде немедленно возникла мысль поступить со своими обличителями, как «франки в Испании», т. е. применить к ним приемы инквизиции. И действительно, хотя до костров на первый раз не дошло, но стригольников признали еретиками, после чего одних из них утопили в Волхове, других заточили по тюрьмам, третьи успели скрыться «за пределы досягаемости» — в Ливонию и Швецию... Православие торжествовало победу.

Таковы были первые шаги инквизиции на русской почве. Но прежде чем следить за дальнейшими ее шагами, посмотрим правы ли были стригольники, обличая нравы русского духовенства, или нет?

Каковы же эти нравы были в действительности?

6. НРАВЫ ДУХОВЕНСТВА

«Прегордые, лютые и вселукавые мнихи,— рисует нам их князь Курбский,— о том лишь и заботились, как бы выманить имение монастырям или богатство многое и жить в сладострастиях скверных, как свиньи питаясь, не говоря уж — в кале валяясь». Людям богатым эти святые отцы упорно советовали не отдавать своих имений сродникам, хотя бы и убогим, но завещать их монастырям, за что им, дескать, святые «умолят у бога царствие небесное». Когда советы не помогали, пускались в ход и угрозы, не обходилось иной раз даже без подлогов в завещаниях. А в результате в руках монастырей оказывались несметные богатства. Грозный царь Иван перед Собором 1580 г. говорил духовенству: «Вы, устрашая совесть лучших подданных, захватили в свои владения третью часть земель в государстве». И это не было преувеличением.

Что же делали святые отцы с своими богатствами? Употребляли их на добрые дела? Вовсе нет. Они, по словам Максима Грека, занимались ростовщичеством, причем задолжавших крестьян морили непрерывными монастырскими работами или продавали в рабство. Даже бояре, попадавшие в их паучьи тенета, жаловались, что «и в царях редко встретишь такое свирепство», как в этих иноках, «сребролюбцах ненасытных».

Стяжание составляло как бы высший смысл и ценность их жизни. Ради него строители монастырей нередко устраивали у себя даже разбойничьи притоны. Вообще ради стяжания тогдашние пастыри духовные способны были на все и, по образному слову современника, всеми мерами «уловляше овцы в снедь своего зверообразного глощения». Но если цель монашеской жизни составляло стяжание, то постоянной усладой ее несомненно были непробудное пьянство и разврат. Пьянство составляло общий недуг всего духовенства. Царские грамоты того времени жалуются, что «от хмельного питья церкви без пенья». Митрополиты упрашивают, чтобы пьяные попы не валялись по улицам. И все духовенство оптом обличается современниками «в злобе безмерного сатанинского упивания». Разврат составлял столь же обычное явление монастырской жизни. В общем современники рисуют такую картину. Иноки «украшают себе кельи, как чертоги царские, и везде у них все лучшее и завидное все, и покоят себя пьянством и брашном». Отцы духовные «возлюбят пьянство, блуд, нечистоту, свирепство и немилосердство... Угождают мамоне, а не душе своей... Сверх казны монастырской еще крадут и себе в собину, собирают золота и серебра и мир слезят». В монастырях,— говорил Иоанн Грозный на Стоглавом соборе (в 1551 г.),— иные постригаются ради покоя телесного, чтобы постоянно бражничать, и по селам ездят для удовольствия, прохлады для; в кельи жонки и девки приходят, монахи, монахини и миряне живут вместе».

До чего эти нравы прочно сложились к этому времени, до чего они въелись в плоть и кровь тогдашнего духовенства, видно из таких фактов. Когда старец Феодорит запретил было монахам основанной им Троицкой на Коле обители приобретать имущество и держать женщин, то иноки, по словам Курбского, «сложились с диаволом и возneиствовали; взяли старца святого и били нещадно, из монастыря его выволокли и из страны той, как врага, выгнали». Такой же случай был однажды и в Троице-Сергиевском монастыре. Когда игумен вздумал «превратить чернецов на божий путь, на молитву, пост и воздержание, вышел мятеж многий». Монахи чуть не убили игумена. Как видно, «прегордые, лютые и вселукавые мнихи» слишком уж привыкли и приспособились к своему укладу жизни, чтобы позволить кому-нибудь изменить его против их воли. Таковы были нравы.

7. ЦЕРКОВНАЯ СВЯТОСТЬ

Конечно, эти содомские нравы нельзя приписать сплошь всему русскому духовенству. Встречались и среди него счастливые исключения. Бывали и подвижники. Но какие? Вчитываясь в жития святых русской церкви, невольно приходишь к печальным заключениям. Едва ли не самым типичным из этих подвижников следует признать, несмотря на его малоизвестность, «преподобного» Иринарха Борисоглебского[1]. Чем же он заслужил свою славу святого? Не тем ли, что всю жизнь посвятил служению ближним? Не тем ли, что, следуя евангельскому завету, душу свою положил за други своя? О нет, не этим. Он спасал только себя, только свою душу.

---

[1] Умер в 1616 г.

«Не слушает игумена, ходит бос и носит рубище и железа» — вот краткая, но почти исчерпывающая картина всего жития этого подвижника. Прибавить к этому необходимо лишь одну черту — святой жил «затворником». В самое тяжелое для своей родины смутное время, когда ее терзали и внутренние неурядицы, и неприятельские нашествия, этот «святой» безвыходно укрывался в своей келье. Приковав себя железной цепью за шею к стулу, с оковами на руках, с пудовым обручем на поясе, весь обвешанный увесистыми крестами, целых 38 лет просидел он в одиночестве добровольным затворником вдали от житейских бурь и невзгод за глухими каменными стенами своего монастыря...

Вот образец нашей церковной святости. Вокруг нее кипит полная сумятицы, воплей и стонов напряженная жизнь, а она, вместо того чтобы озарить эту сумятицу светочем знания и идеала, вместо того чтобы деятельно вмешаться в эту сумятицу жизни со знаменем борьбы против всего, что ее наполняет страданием,— она, эта святость, бежит от человеческого горя и слез в одинокие кельи, в глухие леса, в далекие пустыни, бежит и «спасается» там отшельничеством, затворничеством, столпничеством. Она бежит туда для того, чтобы никакие вопли и стоны жизни не отвлекали ее внимания от самосозерцания и не мешали ей шествовать торной тропой в одиночку к «блаженству». До других ей нет никакого дела.

Правда, мы знаем примеры и иной святости. Бывали на Руси и иные подвижники-революционеры вроде упомянутых выше стригольников. Эти не прятались от жизни. Они не желали спасаться в одиночку. Наоборот, они стремились попасть в самую гущу жизни, бесстрашно обличали властную неправду, и сладко говорили народу о лучшей жизни, и гордо шли за свои убеждения на пытки и казни. Но за то наша церковь и причисляла их к сонму еретиков и вольнодумцев, а не к лику святых. Они не подходили к идеалу церковной святости ни с какой стороны.

Но менее всего им свойственны были те христианские добродетели, какие напоминают собою добродетели овечьи.

Какие же это такие добродетели, спросит нас читатель?

Наш русский святой Тихон Задонский, который вообще был очень склонен «примечать» в овцах все христианские добродетели, а в христианах — овечьи, так их живописует: «Прежде всего в христианах, как и в овцах, примечается простота: когда едину овцу волк режет, не бегут прочь, но все на тое смотрят». Такова первая добродетель. Затем и в тех и в других примечается смирение: «Когда стригут их — молчат, и когда бьют— молчат». Такова вторая добродетель. Затем следует покорливость: и те и другие «пастухам своим послушны». Это третья добродетель. За ними следует еще целый ряд других. Так, например, и у христиан, и у овец «примечается мир и согласие, ибо и в малой хлевине много их помещается». И те и другие, «когда едят, не дерутся между собою». И те и другие «весьма алчны, только одни к сену, другие же к благочестию». И так далее все в том же роде. Так что, заключает святой, «когда хощеши во ограде небесной быть, надобно тебе быть неотменно овцею Христовою» [1].

«Спасибо на добром слове...— ответят на такую слащаво-приторную проповедь овечьего смирения подвижники нового времени — рабочие-революционеры.— Только надо сказать вам, что нас, рабочих, очень мало соблазняют все ваши хлевы и ограды. Мы не так «смирны», чтобы молча позволить себя стричь кому бы то ни было, и мы вовсе не так уж «просты», чтобы стоять лишь, вытаращив глаза по-овечьи, и смотреть, когда одного из наших братьев режут ваши волки-грабители из прибалтийских баронов Врангелей или иных каких хищников. Мы знаем, что если се-

[1] См. «Творения», т. IV. Изд. 5. М., 1889, стр. 36.

годня они безнаказанно зарежут одного, то завтра же примутся и за других. Нет, нам нужны не овечьи добродетели, а крепкий боевой союз всех тружеников для взаимной защиты против всех волков, хотя бы и в овечьих шкурах... И тогда мы разрушим все стесняющие нас ограды и разобьем все сковывающие нашу свободу железные цепи...»

8. ЦЕРКОВЬ И ВЛАСТЬ

Для более полной характеристики духовенства Московской Руси необходимо упомянуть еще о его глубоком невежестве. Невежество это было на Руси общим явлением для всех классов общества и доходило до того, что знание молитв «Отче наш» и «Богородица» почиталось «очень высокой наукой», годной только для царей да патриарха, а не для простых мужиков. «Приведут ко мне посвящать в попы мужика,— жалуется архиепископ Геннадий,— я приказываю ему читать апостол, а он и ступить не умеет. Приказываю дать ему псалтырь, а он и по той еле бредет. Я отказываю, а на меня жалоба: земля, господине, такова: не можно найти, кто бы горазд был в грамоте».

Земля действительно была темная. Но почему?

Старались ли просветить ее хоть сколько-нибудь ее отцы духовные? Увы, совсем наоборот. Духовные власти, по словам современника, иностранца Флетчера, «будучи сами невеждами во всем, они стараются всеми средствами воспрепятствовать распространению просвещения, как бы опасаясь, чтобы не обнаружилось их собственное невежество и нечестие. По этой причине они уверили царей, что всякий успех в образовании может произвести переворот в государстве и, следовательно, должен быть опасным для их власти» [1].

Цари, конечно, вполне разделяли эти опасения. Интересы церкви и государства в деле народного просвещения настолько совпадают, что цари и без всяких настояний духовенства особого рвения в этом деле никогда не проявили бы. Впрочем, интересы этих учреждений, одинаково стремящихся к возможно полному господству над массами, совпадают не только в деле затемнения народного сознания, они вообще очень близки. Вот почему теснейший союз духовных и светских властей представляет собою столь обычное повсюду явление.

У нас, на Руси, этот союз был теснее, чем где-либо. Задачей духовенства в этом союзе было прежде всего возвеличить выше облака ходячего и освятить в глазах народа авторитет царской власти. Для этого пускались в оборот слова писания о том, что «несть власти, аще не от бога», и тому подобные. Шла в ход и отсебятина. «Воля государя — божья воля»,— твердили в народе.— «Он, словно ключник или дворецкий у господа бога, творит то, что бог велит». «Царь убо естеством подобен (только «подобен») есть человекам, властью же подобен вышнему богу»,— уверял знаменитый игумен волоцкий Иосиф Санин. «Вы сами боги и сыновья всевышнего»,— обращались к царям, хватая еще выше, его достойные сподвижники. «Вы сами боги...» Это звучит гордо. Народ должен был «чувствовать» это и благоговеть перед своими коронованными богами [2].

---

[1] Д. Флетчер. О государстве русском... СПб., 1906, стр. 120.

[2] Любопытно, что в своем стремлении оправдать бьющее в глаза общественное неравенство русской жизни святые отцы изобрели даже особую теорию. По этой теории, изложенной в так называемой «Голубиной книге», хотя и весь мир — народ произошел от Адамия, но «цари пошли от святой главы от Адамовой», «князья, бояре — от святых мощей Адамовых», а «крестьяне православные — от свята колена от Адамова», потому, дескать, и честь им разная. Теория не новая. Индийские жрецы-брамины уже несколько тысяч лет уверяют, что они, брамины, произошли из головы бога Брамы, тогда как воины произошли только из его рук, купцы — из туловища, рабочие же и крестьяне — из ног.

Святые отцы преусердно кадили фимиам властям предержащим, затуманивая сознание порабощаемого народа, но зато и от них требовали себе немало услуг. И притом властно требовали. «Наше дело, государь великий, вам напоминать,— внушали святые отцы «самим богам и сыновьям всевышнего»,— а ваше дело — нас послушать». В особенности же настойчиво добивались они от царей повиновения, когда дело шло о расправе с какими-нибудь вольнодумцами-нестяжателями, обличавшими духовенство в нехристианских нравах и требовавшими отобрания всех неправедных монастырских стяжаний. Право своего «святительского суда» над подобными еретиками святые отцы основывали по примеру Запада на сфабрикованных ими подложных церковных уставах якобы св. Владимира и Ярослава Мудрого. Но для приведения приговоров в исполнение требовалось содействие властей предержащих — требовалось их повиновение. И пастыри духовные тонкой лестью или угрозами ада умели его добиваться. По крайней мере игумен волоцкий Иосиф Санин очень уверенно заявлял царю Василию III, что «благочестивые цари» всегда святым отцам «повиновались и еретиков и отступников проклинать повелевали».

9. ЕРЕСИ И „БОГОНАУЧЕННОЕ КОВАРСТВО"

Случалось это действительно не редко. Вслед за стригольниками на русской почве выросла в XV в. новая крупная ересь — «жидовствующих». Новые вольнодумцы, подобно стригольникам, прежде всего обрушились с проповедью обличения на пастырей духовных, которых они называли не иначе, как людоедами, винопийцами и друзьями грешников. Этого одного было вполне достаточно, чтобы признать жидовствующих злейшими еретиками. И иосифляне немедленно подняли тревогу. В 1490 г. по их настояниям был созван церковный Собор для суда над еретиками. Покровительствующий Иосифу Санину архиепископ новгородский и «святой» русской церкви Геннадий[1] писал, что Собор для того и созван, чтобы «еретиков казнити, жечи да вешати». Геннадий вообще был решительным сторонником инквизиции и образцом того, как следует поступать с еретиками, считал короля Фердинанда Испанского. Однако Собор не последовал совету Геннадия. Дело в том, что проповедь жидовствующих о необходимости отобрать монастырские богатства была очень наруку тем, кто рассчитывал поживиться при таком отобрании. Поэтому жидовствующие имели сочувствующих даже при дворе. Их трудно было судить Собору. Конечно, новая ересь была проклята Собором, виновные заточены по тюрьмам, но казнить их, жечь и вешать святые отцы еще не решились.

Преподобный отец Иосиф не удовлетворился, однако, таким приговором. Он доказывал, что еретиков не токмо «осуждати велено, но и казнити и в заточение посылати, точию смерти предати епископам не повелено есть». Исполнять смертные приговоры — это уж, дескать, дело царей благочестивых. Государь должен еретиков «мечом посещи, а богатство их на расхищение предати»,— твердили царю Ивану III иосифляне, а если он не делает этого, то «слугу из себя сатане сотворяет». Агитация в этом духе продолжалась до тех пор, пока застращанный царь, убоявшись, наконец, сотворить из себя слугу сатане, не созвал в 1504 г. нового Собора для суда над жидовствующими. Этот Собор дал лучшие результаты. В Москве и Новгороде запылал ряд костров. Что же касается главнейших виновников, то после позорной для них процессии, когда их провезли верхом на лошадях, лицом к хвосту, с венцами из сена и соломы на головах, эти венцы подожгли

---

[1] Празднуется 4 декабря.

и несчастные сектанты погибли мучительной смертью. Главный же виновник этой расправы преподобный Иосиф заслужил своей ревностью славу святого и чудотворца русской церкви[1].

Любопытно, что наши отцы церкви уже в ту отдаленную эпоху не брезгали для изобличения еретиков даже такими приемами сыска, какие приличествуют, казалось бы, лишь новейшей русской жандармерии. Преподобный Иосиф Санин учил своих сподвижников самим притворяться еретиками, чтобы, добившись их доверия и выведав таким образом все их сокровенные помышления, предавать несчастных. Такие иудины приемы исследования преподобный отец называл «богопремудростным и богонаученным коварством». Теперь их называют проще — провокацией.

10. ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

Все это были, однако, только цветочки религиозной нетерпимости на русской почве. Лишь к концу XVII в. после того как при патриархе Никоне произошел великий раскол русской церкви, созрели ягодки нашей инквизиции. Раскол этот, как известно, возник по поводу исправления старых богослужебных книг от разных описок и опечаток. Заспорили о том, правильнее ли писать Иисус или Исус, два или три раза следует повторять «аллилуйя», двумя или тремя перстами совершать крестное знамение и т. д. все в том же роде. Дело шло, стало быть, воистину лишь о мертвых буквах учения. И, однако, эти воистину мертвые буквы оказались для многих тысяч наших предков смертоносными буквами. Из-за них русские люди при Никоне ломали друг другу ребра, резали языки и рвали ноздри, бросали в деревянные клети и, завалив там соломой, сжигали.

В 1681 г. сожгли, впрочем, только нескольких наиболее влиятельных расколоучителей. Но через три года (7 апреля 1684 г.) царевна Софья издала указ, грозивший «срубом», т. е. костром, и конфискацией имущества уже всем нераскаянным приверженцам старой веры без всякого разбора. И тогда преследования за веру приняли такой ужасный характер, что для целой массы гонимых они казались знамением близкой кончины мира. Все, что угодно, даже самоубийство, казалось этим несчастным лучшей участью, чем попасть в лапы церкви и правительства. Они разбегались по самым глухим углам России, а когда их и там настигали правительственные отряды, гонимые приверженцы старой веры запирались в ужасе у себя в домах и сами поджигали их. Они верили, что милостивый господь, «ради немощи» их, вменит им в мученичество и эту «более легкую» добровольную смерть... Мы не знаем, сколько раскольников погибло на правительственных срубах, но число избежавших этой казни посредством самосожжения достигает за 5—6 лет после указа 1684 г. почти 16 тыс. душ.

— Неужели, однако,— спросит читатель,— неужели православное духовенство в союзе с правительством так ревниво в делах веры, что даже ради единой буквы писания готовы пролить целые потоки человеческой крови?

Конечно, нет. Ведь до Никона в течение целых столетий были в ходу и «сугубая аллилуйя», и «двуперстное знамение», и много других столь же «еретических» отступлений от православия, однако ни правительство, ни духовенство никакой порчи веры в этом не усматривали. Или возьмем другой пример. Когда однажды, в более близкое к нам время, до сведения духовной консистории дошло известие, что некий Голохвостиков фабрикует святые мощи из бараньих костей, то консистория

[1] Празднуется 9 сентября.

и не подумала вмешаться в это дело. Разоблачать подобную историю, которая могла подорвать веру во всякие мощи и лишить, таким образом, духовенство значительных доходов, вовсе не входило в расчеты духовных пастырей. Так и в делах посерьезнее, чем спор о единой букве писания, наше духовенство умеет быть терпимым, когда этого требуют его интересы.

Но не так обстояло дело с расколом. Раскольники не тем страшны были православию, что выкинули букву «и» из слова «Иисус» и крестились не тремя, а двумя пальцами. Страшны они были своими смелыми обличениями и светской и духовной власти в неправде. Страшны они были тем, что привлекали на свою сторону этими обличениями все недовольные элементы страны, всех угнетаемых и обираемых. В этом споре столкнулись в конце концов лицом к лицу два класса — порабощаемых и поработителей, простолюдинов и высших сановников церкви и государства. Недаром господа помещики называли старообрядцев «мужиковской раскольничьей сектой». В первое время это было действительно почти сплошь «мужичье». И какое. Это было то самое мужичье, которое ходило за Стенькой Разиным добывать себе «волю и равность». Это было то мужичье, представители которого говорили важным сановникам: «По вашему, кто царь, кто енарал, кто ваше высокоблагородие, а по нашему, все — равные братья». Это было то мужичье, которое отказывалось молиться за царей неправедных, утверждая в своих книгах, что «вообще цари, вельможи, архиереи и учители — наши грабители и мучители». Что ж мудреного, что эти цари, вельможи и архиереи находили это мужичье весьма для себя зловредным и не миловали его.

11. ВЕРОТЕРПИМОСТЬ XVIII в.

С течением времени, однако, по мере того как у православия и самодержавия оказывались враги посерьезнее раскольников, последние отходили на второй план, перестав казаться столь зловредными. Уже Петр Великий, узнав в 1702 г. о строгих нравах раскольничьей жизни на Выгу, решил: «Если они подлинно таковы, то, по мне, пусть веруют чему хотят, и когда уже нельзя их обратить от суеверия рассудком, то, конечно, не пособит ни огонь, ни меч, а мучениками за глупость быть,— ни они той чести не достойны, ни государство пользы иметь не будет». И вот для «пользы государства» Петр обложил раскольников двойными налогами и стал использовать на тяжких государственных работах. Не брезгал он и такими приемами борьбы с расколом, как опубликованное по его приказу епископом Питиримом подложное «соборное деяние» против раскольников[1], но срубы все же отставил.

В отношении западноевропейских вероучений царь Петр, постоянно нуждавшийся в услугах иноземцев, оказался еще более терпимым. «Каждому христианину предоставляется на его ответственность самому пещись о блаженстве своей души»,— торжественно заявлялось в царском указе. Это было крупным шагом вперед, если вспомнить, что еще в 1689 г. два иноземных миссионера Квирин Кульман и Нордерман были без всяких церемоний признаны у нас еретиками и сожжены в срубе. Петровский указ, казалось, открывал новую эру. Некоторые наивные москвичи вообразили, что после такого указа в России должна быть полнейшая свобода совести. «Ныне-де у нас на Москве,— говорили они,— слава богу, повольно всякому, кто какую веру себе изберет, такую и верует». Кое-кто из них попытал даже на деле испытать эту новую свободу, отстав от православия в лютеранство. Но скоро им

[1] Андреев. Раскол и его значение. 1870, стр. 348.

пришлось горько раскаяться в этом. Духовные власти сразу закопошились и уже в 1714 г. добились соборного осуждения всего этого кружка русских протестантов. Их заставили, угрожая срубом, торжественно отречься от своих религиозных взглядов и всенародно прокляли их в Успенском соборе. Когда же самый смелый из них, цирюльник Фома Иванов, взял свое отречение обратно, он не избег горящего сруба на Красной площади.

Не всем, стало быть, царь Петр предоставлял самим пещись о блаженстве своих душ. Это право дано было только иностранцам, русские же подданные оставались по-прежнему при своем праве на сруб и пытки. Царь Петр не только не уничтожил инквизицию после своего указа о веротерпимости, но даже упрочил ее новыми вспомогательными учреждениями. Роль высшего инквизиционного по делам о вере учреждения играла основанная в Москве еще до Петра так называемая Славяно-греко-латинская духовная академия. «Московская академия,— рисует нам ее историк С. М. Соловьев,— это цитадель, которую хотела устроить для себя православная церковь при необходимом столкновении своем с иноверным Западом, это не училище только — это страшный инквизиционный трибунал (суд). Произнесут блюстители (так назывались начальники академии) с учителями слова: виновен в неправославии — и костер запылает для преступника». Но религиозные «ереси» и «преступления» стали принимать к этому времени все чаще не столько противоцерковный оттенок, сколько противогосударственный, и Петр наряду с академией воздвиг новое учреждение религиозно-политической инквизиции. Мы говорим о петровском Тайном Преображенском приказе, позднее Петром же переименованном в Розыскных дел тайную канцелярию.

12. РУССКИЙ ИНКВИЗИЦИОННЫЙ ЗАСТЕНОК

Главным шефом этого учреждения было светское лицо — князь Ромодановский. «Сей князь, по словам его современника, был характера партикулярного (светского); собою видом, как монстра (чудовище), нравом — злой тиран... пьян во вся дни; но его величеству верный так был, как никто другой. И того ради... (царь) оному во всех деликатных делах поверил и вручал все свое государство». Впрочем, в «деликатнейших» делах (религиозного характера), столь обычных по тому времени в Тайной канцелярии, этому «партикулярному» палачу не по плечу, должно быть, было разыгрывать роль «великого инквизитора», и в помощь ему для этой цели назначен был палач духовного звания. Этот сподвижник князя Ромодановского был сам многопрославленный в истории русской церкви Феофан Прокопович, который, по замечанию бытописателя того века князя Щербатова, «не устыдился быть судьей Тайной канцелярии, быв архипастырем церкви божией».

Под руководством этих генерал-инквизиторов и производились все допросы в застенках Тайной канцелярии; под их же диктовку готовились все приговоры недомученным жертвам этих застенков. Допросы производились «с пристрастием», т. е. с применением пыток, и при том таких пыток, что более слабые люди под одной лишь угрозой их готовы были взвести на себя какие угодно преступления.

В «Обряде, како обвиненный пытается», который сохранял свою силу до 1801 г., перечисляются такие виды пыток: вздергивание на «дыбу» или «виску» с выкручиванием рук; жестокий «кнут», несколькими ударами которого можно было при желании запороть человека до смерти; горящие веники для прожигания спины пытаемого, тиски с винтами для зажимания пальцев рук и ног до тех пор, пока пытаемый,

как говорится в «Обряде», или повинится, или не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать. Применялись и более затейливые приемы. «Обряд» рекомендует, например, такую пытку: «Наложа на голову веревку и просунув (деревянный) кляп, вертят (им) так, что оный (т. е. пытаемый) изумленным бывает; потом простригают на голове волосы до тела, и на то место льют холодную воду только что почти по капле, от чего также в изумление приходит»[1]. Таковы были пытки. Как видит читатель, рыцари русского инквизиционного застенка при такой «изумительной» изобретательности едва ли бы ударили лицом в грязь перед своими иноземными сотоварищами.

По каким же поводам применялись все эти пытки? Какие дела разбирались в Тайной канцелярии? Приведем несколько примеров. Вот, например, мужичок-работник Максим Антонов. В «шумном» виде он как-то «необычно» поклонился царю Петру на параде. Его немедленно хватают, подвергают пытке, находят виновным и приговаривают за то, что «к высокой особе его царского величества подходил необычно... послать в Сибирь и быть ему там при работах государевых до его смерти неотлучно». А вот перед судом Тайной канцелярии выступают кликуши. Это нервнобольные женщины, но их темная деревня считает «порченными». Они и сами верят в эту «порчу», думая, что их мучит злой дух, и под влиянием этого суеверия чаще всего подвергаются обычным у них припадкам истерии («выкликают») в церкви, во время «херувимской». Как же отнеслись к этим больным просвещенные судьи — инквизиторы? Они подвергли их пыткам, признали «притворщицами» и приговорили к ссылке в каторжные работы на «прядильный двор». А то вот некий иеромонах имел видение. Он видел какую-то странную комету с мечами, головой, буквой «П» и т. д. После расстрижения и пыток Тайная канцелярия милостиво заточила его в Соловецкий монастырь. Не так легко выпутался из когтей этой канцелярии другой монах — Левин. Его в 1722 г. за проповедь пришествия антихриста, который в его описании очень походил на Петра, сожгли в Москве живым. Немного легче пришлось и некоему Орешникову за богохульство в невменяемом состоянии. После нещадных пыток ему вынесли такой приговор: «Вместо жжения живого государь всемилостивейше повелеть соизволил... отсечь голову».

Царю Петру следовало бы быть более чем милостивым к таким преступлениям. Ведь всему миру известно, что он сам очень часто, напиваясь до положения риз, забавлялся вкупе со своими собутыльниками устройством шутовских, якобы религиозных, шествий и соборов, во время которых вся эта пьяная компания, переодетая высшими духовными пастырями, всенародно глумилась над всем, что этот народ привык почитать как святыню. Председателем этих «всешутейших соборов», кощунственно изображавшем на них патриарха, являлся не кто иной, как известный уже нам шеф Преображенского застенка и Тайной канцелярии «князь-папа» Ромодановский.

К лицу ли этому обер-палачу и кощуннику была роль судьи религиозной совести русских граждан и прилично ли было царю Петру «всемилостивейше» отсекать головы богохульникам — об этом пусть судит сам читатель.

Чтобы не утомлять читателя, мы ограничились очень немногими примерами из практики Тайной канцелярии. Тем уместнее будет поэтому подчеркнуть, что женщины среди жертв этого учреждения были далеко не случайным или редким явлением. Оговоренных, пытанных и сеченных дам и девиц по одному делу царевича Алексея — тоже запы-

---

[1] «Изумление» здесь означало лишение ума, безумие.

танного в застенке — было 26, не считая служанок, монашенок и прочей мелкоты. И пытали их без всякого снисхождения к полу. Так, камер-фрейлине царевны Марфы, Жуковой, на двух пытках дали 30 ударов кнута, тогда как даже мужчинам обычно давали не больше пяти, десяти ударов. Желябужский пишет по поводу этого дела: «Брали из девичья монастыря барынь и девок и стариц в Преображенской (приказ), и здесь они распрашиваны и по распросам пытаны и на виске Жукова дочь, девка родила...» В 1716 г. Петр Великий, правда, постановил не пытать беременных женщин, но и эта скромная «милость» распространялась только на уголовных убийц и воровок. В делах политических право применения пытки ничем не было ограничено. Таковы были нравы русского инквизиционного застенка.

Жутко даже делается при мысли, как мало соответствовали эти жестокие нравы и приговоры инквизиционного суда тем горе-преступлениям, против которых они были направлены. Кого там карали? Кликуш, полупомешанных монахов, пьяных. И за что? За болезненные припадки, за видения, за проповеди, за ругательства, за слова, слова и слова. Только однажды в истории этой эпохи мы наталкиваемся на «преступное действие». И то какое. В 1720 г. в той самой стороне Летнего сада, где было каракозовское покушение 4 апреля 1866 г., какой-то раскольник совершил «покушение» на Петра Великого, которое выразилось в том, что, увидев Петра, несчастный выронил «превеликий нож» и, пав на колени, во всем признался: «Ты мне никакого зла не сделал,— сказал он Петру на его вопрос: «За что?» — но сделал нашей братии и нашей вере».

13. ЦЕРКОВЬ И СЕКТАНТЫ

В послепетровское время характер религиозных гонений в России стал, постоянно смягчаясь, иным, чем во времена допетровские. Правда, при императрице Анне гонения на раскольников по поводу их немоления за царей на время даже усилились и вызвали в их среде целый ряд новых самосожжений. При той же царице в 1738 г. в Петербурге сожжены были на костре еврей Лейба Борухов и капитан-лейтенант Возницын за то, что первый из них обратил второго «посредством разговоров» в еврейство. Но с течением времени такие факты становились уже большой редкостью. В обычай же стали входить вместо костров и срубов каторга, тюрьмы, ссылки и тому подобные способы убирать подальше с глаз неудобных, с точки зрения правительства и духовенства, людей.

Так, в конце XVIII в. был бит кнутом и сослан в Камчатку известный сектант Селиванов. Император Павел вернул было его на время оттуда, засадив в дом умалишенных, но потом, при Александре I, его снова упекли, на этот раз в суздальскую монастырскую тюрьму. Там Селиванов и умер. Другого сектанта — Шилова после наказания плетьми заключили сначала в Динаминдскую крепость, затем Павел перевел его в казематы Шлиссельбурга, где он и протомился до смерти.

Но довольно примеров. У нас не хватило бы ни сил, ни времени для подробной картины хотя бы тех только религиозных гонений, какие имели у нас место за одно последнее столетие. Мы не станем здесь описывать, как православное духовенство в союзе с самодержавным правительством душило свободную мысль, как эти союзники разрушали при содействии воинских отрядов раскольничьи скиты и молельни, как они огнем и мечом обращали в православие сотни тысяч униатов, как они разоряли, ссылая в Закавказье и отдаленнейшие места Сибири, десятки тысяч молокан и прочих сектантов, как они еще в конце XIX в., все-

го за два-три десятка лет до революции, отнимали у несчастных матерей — духоборок их малолетних детей, как они отлучили от церкви совесть русского народа в лице великого Льва Толстого. Все это слишком известно, все это слишком памятно... Ну, а еще позже, уже в XX в. — до Великой Октябрьской революции 1917 г., спросим мы? Разве сильно изменилась картина?

Конечно, в сравнении с прежним религиозные гонения последних лет царизма очень смягчились. Дело в том, что всякое народное движение в ереси, раскол или сектантство, несмотря на внешнюю религиозную оболочку споров о догматах или обрядах, в своей основе имело у нас всегда не эти споры. Чувством нравственного протеста против общественных зол и неправды, чувством негодования против всех виновников этой неправды — вот чем питалось у нас всякое такое движение. Иногда это проявлялось очень ярко. Вся «ересь» осужденного духовным Собором 1554 г. Матвея Башкина состояла, например, в едином вопросе: «Отчего слова спасителя не применяются к жизни?» Тут ясно до очевидности, что не о догматах или обрядах, а единственно о правде жизни хлопотал этот «еретик». Да и во всех прочих случаях, даже в знаменитом великом расколе русской церкви из-за опечаток в старых книгах, речь шла, если взглянуть поглубже, вовсе не об этих опечатках. Подкладкой спора, как мы уже указывали, было все же искание общественной правды и классовая вражда порабощаемого «мужичья» против своих властных угнетателей. Но церковь и государство всегда стояли на страже интересов господствующих классов, пользуясь для их защиты с одинаковою ревностью и словом божьим, и силою оружия. Вспомним, как даже крепостное право оправдывалось и освящалось у нас в свое время евангельскими текстами и как беспощадно подавлялись оружием всякие попытки закрепощенных крестьян разбить свои рабские цепи [1]. Не мудрено поэтому, что и духовные и светские власти рассматривали у нас всякое новое вероучение прежде всего с точки зрения его политического значения. Чем оно им кажется опаснее с этой точки зрения, тем сильнее они его преследуют. И, наоборот, чем безразличнее становится для них какое-нибудь вероучение с политической точки зрения, тем терпимее они к нему относятся.

В свое время, например, русские раскольники казались правительству более опасными врагами, чем магометане-татары или инородцы-язычники, и русских жгли в срубах, а татар с инородцами не трогали. Но скоро стали возникать новые, более «опасные» вероучения. В то же время из среды раскольников вместо прежнего непримиримого «мужичья» в качестве столпов раскола стали все чаще выдвигаться разные Ковылины и тому подобные представители крупного купечества. С этими людьми, которые так мило подносили кому следует «барашков в бумажках» и пироги с золотою начинкой, легко было поладить [2]. Они перестали казаться опасными, и вся тяжесть преследований была перенесена на «более вредные» — сектантские вероучения.

---

[1] При одной из таких попыток, еще при Павле Петровиче, в имении графа Аракcина при усмирении было убито 20 и ранено 70 крестьян. Дома убитых были истреблены огнем до основания, а трупы лишены христианского погребения и зарыты с надписью: «Тут лежат преступники против бога, государя и помещика, справедливо наказанные огнем и мечом по закону божию и государеву». Это было давно. В XX в. идет борьба против нового рабства. Но и в XX в. карательные отряды царских генералов точно так же жгли и расстреливали крестьян, борющихся за землю, а попы подбирали евангельские тексты в оправдание смертной казни для все новых и новых «преступников» против «бога, государя и помещика».

[2] Напомним читателю хотя бы о том пироге с 1 тыс. золотых империалов (около 15 тыс. руб.), который беспоповцы с Ковылиным во главе поднесли при Александре I обер-полицмейстеру Воейкову.

14. „ОСОБО ВРЕДНЫЕ С КТЫ“

Такою «особо вредною» сектой комитет министров признал, между прочим, секту штундистов, которые, дескать, по сведениям полиции и духовного ведомства, отвергая все церковные обряды и таинства, не только не признают никаких властей и восстают против присяги и военной службы, уподобляя верных защитников престола и отечества разбойникам, но и проповедуют социалистические принципы, как, например, общее равенство, раздел имущества и т. п.[1] Не признают властей... Проповедуют социалистические принципы... Вот в чем самый гвоздь вредности штунды! И штундистов, несмотря на их крайнее миролюбие и незлобивость, гнули в бараний рог до тех пор, пока на русской почве в лице рабочего движения не вырос новый, еще более опасный враг самодержавия — настоящие борцы, подлинные социалисты. Тогда уж поневоле всю энергию сыска, всю тяжесть преследований пришлось направить в эту сторону, и религиозная прижимка пообмякла. Пообмякла, но не исчезла.

Это хорошо подтверждается следующими цифрами уголовной статистики царской России в отношении числа лиц, осужденных окружными судами и судебными палатами за 1874—1913 гг. по религиозным и политическим мотивам. В числе религиозных правонарушений здесь учтены нарушения церковного благочиния и постановлений церкви, совращение и отступление от веры, богохуление и кощунство, так называемые изуверные учения и тому подобные. В числе политических деяний подытожены участие в «противозаконных обществах», выступления против «особы государя» и членов царской фамилии и вообще все, что трактовалось как «измена» или «бунт против верховной власти». Особо подсчитаны нами и рабочие, осужденные за участие в стачках против эксплуатирующих их труд фабрикантов и заводчиков, поскольку «верховная власть», взяв их под свою защиту, рассматривала и мирных стачечников в качестве явных заговорщиков и бунтовщиков. Конечно, в сведения о числе осужденных по суду вошла лишь очень малая доля лиц, подвергшихся репрессиям по религиозным и политическим мотивам, так как царская власть предпочитала расправляться со своими противниками без суда, в административном порядке. Не вошли в них и все жертвы военных и прочих исключительных судов и инстанций. Но для динамических сопоставлений во времени весьма показательны и эти вполне достоверные итоги официальной статистики.

Приведем данные о числе лиц, осужденных по следующим делам[2]

Годы	За религию	За политику	За стачки	Всего
1874—1883	1 575	1 681	13	3 269
1884—1893	4 878	9 909	270	15 057
1894—1903	4 671	13 475	202	18 348
1904—1913	8 000	88 495	1 748	98 243
За 40 лет	19 124	113 560	2 233	134 917

Сопоставляя число жертв религиозных и политических преследований в царской России за последние 40 лет перед первой мировой вой-

[1] Живи наши министры в апостольский век христианства, когда все верующие считались братьями и «имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деяния, II, 44—45), они, наверное, самих апостолов признали бы «особо вредными» сектантами, штундистами и даже, пожалуй, по своему безграмотству — «социалистами». Они ведь не знали того, что социалисты стоят вовсе не за раздел имущества, а за общие орудия труда и общий труд на общую пользу.

[2] См. «Свод статистических сведений по делам уголовным» по отдельным годам.

ной, мы убеждаемся, как быстро начинает расти число лиц, осужденных за политику. Еще в 70-е годы число пострадавших борцов и против господствующей церкви, и против самого освященного ею самодержавия почти равно. Но уже за следующее десятилетие число осужденных борцов за свободу против царей земных вдвое превышало число протестантов против церкви и утверждаемых ею небесных авторитетов. За следующие десятилетия, в 90-е годы, число борцов против царизма уже почти втрое, а в 900-е годы — уже в 11 с лишком раз превысило число лиц, осужденных за антирелигиозные деяния. А в общих итогах за весь период число осужденных по делам религии выросло с 1874—1883 гг. все же раз в пять, значительно опережая рост населения. Но число жертв в политической борьбе против царизма за тот же период выросло в 53 раза, а в стачечной борьбе рабочих еще больше — примерно в 134 раза.

Правда, к суду за стачки привлекались лишь так называемые зачинщики и вожаки рабочих, но этих вожаков поддерживали активно такие широкие массы, которые уже не вмещались ни в какие тюрьмы. Достаточно напомнить, что за один лишь 1905 г. в забастовочном движении приняло участие в царской России свыше 2,8 млн. рабочих и громадное большинство их выступало с грозными политическими требованиями. Понятно, что в условиях такой катастрофически растущей опасности для устоев царизма менее опасное для него сектантство и другие вероучения все меньше привлекали к себе его внимание.

В самом деле. Перед нами последнее дореволюционное издание справочной книги для противосектантских миссионеров («Миссионерский календарь» В. М. Скворцова на 1902 г.). В ней, конечно, рассеяны в изобилии предписания святейшего Синода отцам-миссионерам «вести собеседования» с раскольниками и сектантами, знать их «вожаков и руководителей», иметь «неослабное и бдительное наблюдение», «зорко следить» и обо всем «обстоятельно доносить» по начальству «для принятия зависящих со стороны сего начальства мер» [1]. Тут же приведен свод действующих — о расколе и сектантстве — постановлений светской власти, дабы святые отцы знали, когда и о чем им надлежит «доносить». Что же мы в них читаем? «Раскольник, дозволивший себе публично проповедовать свое лжеучение православным или склонять и привлекать их в свою ересь», даже в том случае, если его проповедь не будет иметь никакого успеха, подвергается лишению некоторых прав и тюремному заключению не менее 8 месяцев. За успех наказание повышается. «Виновные как в распространении существующих уже между отпавшими от православной церкви ересей и расколов, так и в заведении каких-либо новых повреждающих веру сект подвергаются за сии преступления (!) лишению всех прав и ссылке на поселение». Такова у нас по действовавшим в XX в. законам свобода религиозной проповеди!

Не лучше обстояло дело и со свободой исповедания. Мягче всего относится закон к раскольникам. Но и им даже запрещено было строить церкви, заводить монастыри или скиты, печатать и продавать их «старопечатные» богослужебные книги, употреблять вне дома церковные облачения, совершать религиозные шествия с пением, крестами и хоругвями. Запрещены были вообще всякие «публичные оказательства» ересей и раскола. Что же касается сект «более вредных», вроде штундистов, то им запрещались даже «всякие общественные молитвенные собрания», даже у себя дома, т. е. без всякого публичного оказательства, они не

---

[1] «Особливое пастырское попечение» вменяется святейшим Синодом иметь «о работающих на фабриках, заводах и промышленных заведениях православных людях»... Это говорится в циркуляре Синода «об основаниях к признанию сект особенно вредными». Как видно, рабочие, даже будучи православными, являлись в глазах святых отцов наиболее вредной сектой.

вправе были собираться для молитвы. Но это еще не все. Сюда же надо отнести такие преследования за веру, как лишение скопцов права получать паспорта для отлучек из их постоянного места жительства, как лишение иудеев права удаляться за черту отведенной им оседлости и т. д. Все эти ограничения свободы и прочие гонения за веру не мешали, однако, правительству собирать с преследуемых налоги не только на общегосударственные нужды, но и на содержание православного духовенства, выполнявшего по отношению к ним роль особой жандармерии в рясах, и вообще на все расходы духовного ведомства, направленные на искоренение ересей и раскола [1]. Евреи же сверх этих обычных налогов платили еще один специально для них придуманный — «коробочный сбор». Таким образом, всех тех, чью религиозную совесть гнули и насиловали, заставляли еще оплачивать содержание их палачей.

Могут сказать, что все эти и тому подобные религиозные стеснения падали всей своей тяжестью лишь на незначительное иноверческое меньшинство российских граждан. Но это не верно. Отсутствие свободы совести со всеми его последствиями распространялось и на православное большинство их, т. е. и на всех членов господствующей в России церкви. Конечно, у них было предостаточно церквей и монастырей, они могли собираться для молитвы, им не воспрещалось выступать публично с проповедью православия... Но в одном отношении их религиозная совесть насиловалась еще хуже, чем совесть иудеев и язычников. Иудей или язычник на случай, если он разочаруется в своей вере, вправе был отказаться от нее и избрать себе новую, лучшую веру. Православный же не имел такого права. Он не вправе был стать католиком, лютеранином или буддистом, хотя бы его совесть повелительно влекла к одной из этих религий. Всю жизнь такой православный должен был лицемерить, выполняя обряды, которым не придавал уже никакого значения, но не смея в этом сознаться только потому, что, будучи еще неразумным младенцем, имел несчастие попасть в лоно господствующей церкви, не терпящей отпадений.

Такова наша дореволюционная «свобода совести».

15. ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ 1917 г.

Только пролетарская революция 1917 г. сделала решительный шаг к фактическому проведению в жизнь свободы совести. Теперь только действительно всякому предоставлено у нас право чему угодно верить или вовсе ничему не верить и свободно проповедовать свою веру или неверие, не подвергаясь за это никаким преследованиям.

Уже 23 января 1918 г. за подписью Ленина был опубликован известный декрет о свободе совести, отделении церкви от государства и школы от церкви. «Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами»,— гласит ст. 124 Основного закона нашей страны — Советской Конституции.

Правда, многие церковники сразу же встретили эту свободу в штыки. Заседавший в 1917/18 г. церковный Собор и возглавлявший его патриарх Тихон открыто призывали к борьбе против ленинского декрета об отделении церкви от государства и против Советской власти вообще. В первые годы борьбы с контрреволюцией против нашей Армии выступили мобилизованные церковной реакцией целые «полки Иисуса», «полки богородицы», «старообрядческие дружины святого креста», «меннонитские» и «мусульманские» дружины и т. п. Но многомиллионные массы

[1] Это относится не только к обычным казенным, но и к специальным мирским сборам. «Принадлежность к расколу,— гласит закон,— не освобождает от сборов и повинностей в пользу приходской (православной) церкви», если большинство в приходе составляют православные.

рабочих и даже верующего крестьянства не пошли за ними, сочувствуя социальной программе большевиков. Когда же в голодном 1921 г. партия решила привлечь и часть церковных богатств на приобретение хлеба для голодающих, а попы, вцепившись в свои ценности, выступили на деле против голодающих масс народа, это вызвало против них уже явное озлобление масс. И это отрезвило даже многих церковников. Лучшие из них поняли, что им не к лицу идти против народа. Они примирились с Советской властью, и это делает им честь.

Но мы не можем забыть, что в борьбе нашего народа за коммунизм у него еще очень много врагов, призывающих к крестовому походу против Советской Социалистической Республики всю зарубежную Европу и весь буржуазный мир. Мы знаем, что самыми непримиримыми застрельщиками этого похода на Западе являются церковники и возглавляемые ими политические партии, сильные только темнотой и невежеством доверяющих им народных масс. И мы должны быть всегда готовы к отпору их идеологии.

Всякий союз между церковью и государством в нашей стране распался. Пролетарская власть не намерена вмешиваться в дела церковные, но и в свои дела носа совать церкви не позволяет. Правда, в этом отношении еще не все ясно и точно размежевано. В частности, требует ясности вопрос об имущественных взаимоотношениях церкви и государства.

Революционная власть, не остановившаяся перед национализацией всего помещичьего землевладения и всех средств производства отечественной буржуазии, не могла оставить неприкосновенными и огромные церковные и монастырские имущества. Имущества эти созданы народным трудом и потому должны принадлежать всему народу без различия его принадлежности той или иной церкви, тому или иному религиозному или даже антирелигиозному учению. Вот почему в тяжелые дни голодного 1921/22 г. рабоче-крестьянская власть не задумалась наложить свою руку на часть церковных драгоценностей, чтобы обратить их в хлеб насущный для голодающего Поволжья, не различая среди голодающих православного от магометанина или буддиста.

Иначе всегда относилось к этому вопросу духовенство. Оно только себя считало правомочным распорядителем церковных имуществ. Эти имущества и право распоряжения ими являлись еще в недавнем прошлом для наших пастырей духовных, по-видимому, несмотря на их обеты нищенства, наиболее ценным догматом их вероучения. И они готовы были за него на какую угодно борьбу. Всякий посягавший на этот «догмат» являлся в их глазах злейшим еретиком и анафемой, если не подлинным антихристом, в борьбе с которым не следует гнушаться никакой клеветой и предательством, или, выражаясь по-церковному, языком преподобного Иосифа Волоцкого, никаким «богонаученным коварством».

В условиях социализма острота всех таких имущественных притязаний церковников исчезает. Духовные пастыри всех церквей одинаково питаются лишь за счет добровольных приношений своей паствы. И теперь даже имущественные интересы церковников разных вер толкают их на соревнование между собой за удержание и расширение своей наличной паствы. Господствующих церквей уже нет. Удержать за собой прихожан силой ни одна из них не может. Приходится бороться за свою веру лишь силой убеждения и примером духовной доблести самих проповедников.

Это сильно повышает моральный их авторитет в глазах верующих. В связи с этим церковь, как собрание верующих, становится активнее и влиятельнее, привлекая в свои ряды все новых прозелитов. В их среде зарождаются новые течения. Старая, отмиравшая из-за равнодушия к ней паствы церковь становится живой, обновленной церковью. Октябрьская революция и в этой среде пробудила новый дух обновления.

ГЛАВА ВТОРАЯ
СПОРЫ ВЕРУЮЩИХ

16. ЗА И ПРОТИВ ВЕРОТЕРПИМОСТИ

Мы знаем теперь, почему у нас не было и быть не могло свободы совести. У господствующих классов, у всех тех, кто, утопая в роскоши и разврате, живет, как праздные трутни, чужим трудом, есть слишком много оснований бояться свободной критики, обличений и разоблачений. Силы же заткнуть рот всякой критике, задушить всякое самомалейшее проявление свободы у них было более чем достаточно. Но у иного читателя возникает вопрос: неужто же враги религиозной свободы не могут привести в защиту своей нетерпимости никаких иных соображений, кроме своего шкурного страха обличений, страха потери влияния и власти? Неужто у них нет других доводов?

Для публики, для народных масс, конечно, есть. Хотя, нужно сказать, что и те немногие доводы, которыми они оправдывают себя в глазах народа, настолько жалки, что всякий раз говорят лишь либо о их невежестве, либо о их неискренности. Впрочем, пусть они говорят за себя сами.

«Наши законы,— скажут они,— заключали в себе немало стеснений и принудительных мер против заблуждающихся в вере». Это правда. Но ведь это делалось для их же пользы, для того чтобы привести их к истинной вере и тем спасти от мучений ада. Все эти законы и меры не заслуживают хулы, ибо не может быть греха в принуждении людей к добру, хотя бы и силою.

Так ли это? К добру ли принуждают такие законы? Конечно, нет. Насилием в делах веры можно принудить лишь к лицемерию. Но кто же сочтет лицемерие за добродетель? И далее. Гонения служат будто бы на пользу самих гонимых, спасая их души от вечной смерти. Верно ли это? Прежде всего следует отметить факт, что если казенная статистика насчитывала ежегодно десятки тысяч иноверцев, присоединившихся к православию под влиянием политики религиозных преследований, то число тайных и явных отпадений от православия вследствие отвращения лучших членов церкви к этой политике насилий и сыска над совестью верующих всегда было гораздо больше. Оно составляло ежегодно, быть может, целые сотни тысяч. Таким образом, господа гонители ересей и раскола, если признать вместе с ними, что лишь в православии можно спасти свою душу, губили своей политикой гораздо больше душ, чем спасали. Мало того, они решительно никого не спасали. Не спасали потому, что и те десятки тысяч наименее религиозных иноверцев, которые — не по убеждению, а из одного лишь страха или корысти ради — начинали исполнять обряды господствующей церкви, не становились еще от этого православными. Они к своим старым грехам прибавляли этим лишь еще один новый грех лицемерия и, стало быть, даже с точки зрения людей, считающих православие единоспасающей верой, ничуть к спасению своих душ не приближались. Выходит, что господа гонители вводили гонимых лишь в новый грех якобы для их же пользы. Впрочем,

стоит ли еще убеждать кого-нибудь, что ни пользы, ни добра насилие в делах веры никому, кроме самих насильников, не приносит.

— Чего же вы хотите?..— завопят враги религиозной свободы, притворяясь непонимающими сути дела.— Ведь православных в России было свыше 87 млн., а магометан — только 13, иудеев — около 5, всех же раскольников и сектантов не наберется и 3 млн.[1] Так неужто же можно допустить, чтобы господствующей верой вместо православия было у нас магометанство, иудейство или вероучение какой-нибудь ничтожной кучки сектантов? Может ли правительство такой кучке еретиков предоставить право совращать в свои ереси всех православных христиан, а этим последним заградить уста для проповеди?

Этого никто не требует. Ни одна религия не должна пользоваться покровительством государства в ущерб другим. Правительство должно служить одинаково всему народу, а не одной лишь его части. Перед законом все должны быть равны: и богатые, и бедные, и русские, и татары, и христиане, и язычники. Что дозволено одним, не может быть запрещено другим. Если свобода проповеди предоставлена православным, ее необходимо предоставить и иноверцам. Если иудей вправе у нас менять свою веру на какую угодно другую, то этого права нельзя лишить и православного. Религия есть частное дело каждой верующей души, и залезать в чужую душу в сапогах с жандармскими шпорами для проверки ее прав верить так, а не иначе — это кощунство большее, чем глумление в храме.

Церковь должна быть отделена от государства. Иными словами, каждая церковь, т. е. каждая религиозная община, христианская она или языческая, входит ли в нее 100 млн. душ или только десяток, должна быть уравнена в правах со всеми остальными религиозными и антирелигиозными, научными, литературными и всякими иными сообществами. При таких условиях они будут бороться между собой лишь силой своей веры и правдой своих убеждений, ибо ни одна из них, даже самая многолюдная, не получит поддержки правительства для подчинения себе или угнетения прочих — силою власти и оружия. Ссылаться на право большинства угнетать меньшинство — в делах веры нелепее, чем где-либо. Если взять весь мир в целом, то в нем еще до Октябрьской революции около 90 млн. православных при 170 млн. магометан и 860 млн. язычников затерялись бы как песчинка в море, ибо на 100 граждан мира пришлось бы не больше 5—6 православных. Если же брать отдельные страны, то в царской России большинство составляли православные, а в Турции или Пакистане — магометане. Но можем ли мы признать справедливым, чтобы в Турции, где православные составляют меньшинство, их именно поэтому угнетали магометане и силой обращали в свою веру?

— Э, да нешто можно поганую магометову веру равнять с христианской,— скажут нам на это иные христиане.

Вот в том-то и горе, что, хотя на свете насчитывают до тысячи разных вер, последователи каждой из них — христиане ли это, магометане или язычники — только свою веру признают правильной, все же остальные — лживыми и погаными. Но заставь любого из них доказать ясно и бесспорно, почему только его вера хороша, а все остальные плохи, и он сразу спутается в своих мыслях и ничего не докажет. Не докажет потому, что в религиозных вопросах все решительно основано на одной лишь вере. Представим себе для примера спор людей разных вероучений.

---

[1] Это цифры старой казенной статистики. Но многие сектанты скрывали свое отпадение от православия, и, по подсчетам некоторых писателей, их при царизме было не меньше 8—10 млн.

17. ЧЬЯ ВЕРА ЛУЧШЕ?

— Наша вера лучше всех,— заявит христианин,— потому что она основана самим Христом, сыном божиим, тогда как основатели всех остальных религий — простые обманщики.

— Неправда,— воскликнут хором все иноверцы.— Основатели наших религий — Моисей, Магомет, Конфуций, Заратустра, Лао-Цзы — не обманщики, а святые люди и великие пророки божии.

— Вы веруете, что ваш Христос — сын божий,— скажет буддист.— Пусть так. Основатель нашей религии, Будда, почитается нами за самого бога. Почему же нам признать вашу веру лучше нашей?

— А вот почему,— возразит христианин.— Вы слепо верите в ваших учителей и потому поклоняетесь и обоготворяете их. Нам же со стороны виднее, что все ваши Магометы и Будды — лжепророки и самозванцы, тогда как наш Христос...

— Постойте, друзья,— перебьет обиженный магометанин.— В таком случае почему бы и нам не сказать вам, христианам: вы ослеплены верою в вашего учителя и боготворите его, но нам со стороны виднее, что он обманщик и самозванец.

— Не горячитесь, господа,— вмешается в спор человек науки.— Ни один из ваших учителей, основателей великих религий, без всякого сомнения, не был обманщиком. Если бы они обманывали, если бы они сами не верили со всем пылом религиозной страсти в то, чему учили, они не увлекли бы за собой столько последователей. Гораздо легче допустить, что эти вдохновенные основатели великих религий и пророки были близки к тому душевному состоянию, которое называют религиозным экстазом, или, если хотите, религиозной манией. Во всяком случае они скорее сами обманывались, искреннейшим образом веруя в свое призвание творить волю богов и говорить от их имени, чем обманывали. Лишь в дальнейшем развитии религий поповский обман становится неизбежным. Свидетельством же того, насколько чуждая обманов сильная вера способна заражать и увлекать за собою народные массы, могут служить многочисленные примеры несомненного религиозного помешательства, когда больные люди, воображая себя богами или пророками, основывали новые вероучения и увлекали за собою целые толпы последователей. Этих мнимых «самозванцев» большею частью казнили, но их нужно было, конечно, разве только лечить.

Вот несколько примеров. Вслед за Иисусом выдвинулся, по свидетельству писания, некий Февда, который, «выдавая себя за кого-то великого», увлек за собой до 400 последователей. Вслед за ним явился Иуда Галилеянин и тоже «увлек за собою довольно народа». Но Февда был убит, погиб и Иуда, и ученики их рассеялись (Деяния, V, 36—37). В позднейшее время, около 1540 г., некий Николай из Мюнстера основал целую секту приверженцев, уверяя, что он выше Иисуса, который-де был только его прообразом. Выдававший себя за «сына божия» анабаптист Иорис (около 1556 г.) тоже имел массу учеников в Голштинии и Фризии. Около 1763 г. в Германии с успехом выдавал себя за Мессию и собрался управлять миром егерь Иван Розенфельд. А у нас в России в 1649 г. объявился «Христос-искупитель» Данило Филиппов и основал целую хлыстовскую секту. За ним следовал целый ряд других хлыстовских «христов» и «богородиц», и все они пользовались большим успехом. При императрице Анне власти сочли нужным даже вырыть из могилы и развеять в прах кости одного из таких «христов», Суслова, у могилы которого не было отбоя от поклонников. В середине XVIII в. на берегах Оки бродил некий турок с 12 учениками, который мнил себя Христом с апостолами. В 1808 г. сослан властями какой-то мордовский «бог» Кузька, который тоже имел 12 «апостолов». Около того же вре-

мени еще мучился в тюрьме основатель скопческой веры Селиванов, слывший у своих последователей за самого «господа Саваофа и с ручками и с ножками». В 1833 г. тщетно пытался вознестись на небо новый «Илья-пророк» — крестьянин Терентий. В 1836 г. в народе ожидали светопреставления и поэтому явились сразу три «христа» — Лукьян Петров с «Ильей» и «ангелами», Евстигней Яковлев с 12 «апостолами» женского пола и Никифор Филиппов. И у всех у них были верные им ученики и последователи, и всем им приходилось так или иначе пострадать за веру... В домах для умалишенных и теперь немало таких «богов», «христов» и «пророков». Теперь они уже не увлекают за собою толпы народа и не основывают новые секты и вероучения, но зато их уже не жгут и не распинают.

18. ЧУДЕСНОЕ В РЕЛИГИИ

— Все это Христа не касается,— скажет христианин.— Не наше ослепление верою, а вся его чудесная жизнь от непорочного зачатия через свята духа до воскресения из мертвых свидетельствует нам о его божественном происхождении. И если нужны еще доказательства правоты и превосходства нашей веры перед всеми прочими, то разве ими не могут служить все те бесчисленные чудеса, какими прославили эту веру наши учителя и святые?

— Напрасно вы ссылаетесь на чудесное,—возразят иноверцы.— Каждый из нас мог бы порассказать тоже немало чудес про своих святых и учителей. И даже в жизни Иисуса, если верить не только вашим, но и нашим сказаниям, не было ничего столь чудесного, чего не случилось бы и в жизни других вероучителей.

— И в самом деле...— подхватит какой-нибудь из египетских учеников Платона.— Вы говорите о непорочном зачатии вашего Христа от девы Марии. Но разве мы не могли бы рассказать вам в свою очередь о том, как мать нашего учителя, тоже чистая дева Периктиона, испытала сверхъестественное зачатие через влияние бога Аполлона и как этот бог возвестил Аристопу, с которым была обручена мать Платона, о чудесном происхождении ребенка? [1]

— А разве в жизни нашего учителя,— поддержит буддист,— нельзя указать целый ряд столь же чудесных фактов, как и в жизни Иисуса? Едва родившись через непорочное зачатие, как это было предсказано его названному отцу святым старцем, Будда тотчас же прошел три шага и громовым голосом подал весть о своем величии. Предвидя это его величие, пять мудрецов пришли к ребенку Будде и поклонились ему. Перед началом своего служения Будда, подобно Иисусу, подверг себя семинедельному посту и победоносно отверг все искушения злого духа Мары. В конце же своего служения Будда, как и Иисус, имел своего Иуду-предателя в лице Девадатты, который в союзе с сыном царя Бимбисары из зависти и ради честолюбия пытался погубить Будду. Но посланные против него убийцы при виде Будды стали его учениками; дикий слон, усмиренный его кротким взглядом, покорно последовал за Буддой, и даже скала, которая должна была раздавить Будду, чудесно остановилась над его головой. Когда же Будда умер —

---

[1] Основатель Рима Ромул, по сказаниям язычников римлян, тоже был плодом случайной встречи бога Марса с девицей Реей Сильвией, когда та шла с кувшином за водой к источнику. Великий завоеватель Александр Макендонский был, по таким же сказаниям, будто бы сыном бога Аммона, обманувшего его мать в виде змея. Скопческий «искупитель» Селиванов, по верованию скопцов, тоже родился «от чистые и непорочные девы Елизаветы Петровны». Вообще такие легенды, в которых народ возвеличивал имена своих любимых героев и святых, не составляют редкости в истории человечества.

содрогнулась земля и послышались раскаты грома, и среди них раздались слова бога Брамы... Вы говорите, что Иисус умер и воскрес, по писанию, но Будда, по нашему писанию, умирал и снова возрождался для земной жизни много раз, а не однажды только. Чем же наша вера хуже вашей или всякой иной?

— А тем,— возразит христианин,— что те рассказы про чудеса, в которые вы верите, такая же человеческая выдумка, как былины про богатырей Вольгу Святославича и Садко, богатого гостя, или сказки про Кащея бессмертного да Бабу-ягу, костяную ногу, тогда как христианские сказания о чудесах истинны.

— Вы не верите в наши чудеса,— скажут иноверцы.— Ну что ж. А мы на тех же основаниях не станем верить вашим. Чем же вы тогда докажете нам правоту вашей веры?

— Положение действительно трудное,— может тут заметить человек науки.— В наше время, как известно, чудес не бывает. В истине же тех рассказов о чудесах далекого прошлого, которые дошли до нас от наших легковерных праотцов, мы вполне можем усомниться. Эти праотцы верили ведь даже в сказку о трех китах, на которых будто бы земля держится. Не верить же и нам в такую нелепицу. Впрочем, если бы век чудес и не миновал еще и если б какой-нибудь волшебник сказал мне: «Три больше десяти, а в доказательство этого я превращу эту палку в змею»,— я был бы удивлен его ловкостью, но все же не согласился бы с его мнением. Чудеса малопригодны в качестве доказательств.

19. ЧТО НОВОГО В ХРИСТИАНСТВЕ?

— Для тех, кто не верит в чудеса,— скажет христианин,— лучшим доказательством божественного происхождения и превосходства нашего вероучения пред всеми прочими может служить уже самое его содержание. Ни одна ведь религия не заключает в себе столь возвышенной правды, как учение Христа о любви к ближним и всепрощении.

— Полно, так ли это?..— усомнятся иноверцы.— Действительно ли в христианстве заключается что-нибудь новое или более возвышенное по сравнению с другими вероучениями?

— А разве не ново учение Христа о загробном воздаянии добрым и злым и о последнем воскресении всех человеков?..— скажет христианин.

— Нет, не ново...— ответит последователь древнеперсидской религии — мездаизма. Наш великий учитель Заратустра более чем за тысячу лет до Христа учил, что добрые после смерти войдут в жилище света и славы, злые же — в вечный мрак, в жилище бесов. «Верующие,— сказано в наших священных книгах,— будут восседать на небе с Ормуздом (богом добра); в конце же времен мертвые воскреснут и будут жить на земле, которая тогда освободится от всякого зла» [1].

— Ну, пусть это не ново...— воскликнет христианин.— Но у кого еще, кроме христианских учителей, можно найти столь светлые и возвышенные истины, как, например, вот эти: «Любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается — люби ближнего твоего, как самого себя» (Галатам, V, 13—14). «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий (1-е Коринфянам, XIII, 1). «Не судите» (Матфей, VII, 1). «Не мстите за себя» (Римлянам, XII, 19). «Любите

---

[1] Выдержки из священных книг нехристианских исповеданий см.: Беттани и Дуглас. Великие религии Востока, а также другие сочинения по истории религии.

врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» (Матфей, V, 44). «Побеждай зло добром» и т. д. (Римлянам, XII, 21). Это уж новые заповеди. Сам Христос сказал: «Заповедь новую даю вам — да любите друг друга» (Иоанн, XIII, 34).

— Значит, и Христос ошибался,— возразит конфуцианец.— Заповедь любви по меньшей мере на 2400 лет старше христианства. По свидетельству Конфуция, жившего в 551—479 гг. до рождества Христова, эта заповедь была известна еще императору Куху, который жил за 2435 лет до Христа. «Нет добродетели,— говорил этот император,— выше любви ко всем людям».

— Не ново ваше учение,— подтвердит и таоист.— Основатель нашей религии мудрец Лао-Цзы еще за 600 лет до Христа учил: «Не судите своих ближних... Будьте целомудренны и не карайте других... Учитесь прощать несчастному его испорченность... Истинно добрый человек любит всех людей и не отвергает никого». «Плати — добром за зло и за оскорбления мсти благодеяниями»,— заповедал нам Лао-Цзы. Разве это не то же, чему спустя 600 лет учил ваш Христос?

— А разве в наших священных законах Ману,— скажет браминист,— не содержатся такие же заповеди всякому подвижнику, как и в Евангелии? «Пусть он,— говорит Ману,— терпеливо выслушивает грубые слова, пусть никого не оскорбляет и не делается ничьим врагом... Пусть не платит гневом за гнев, пусть он благословляет проклинающих его». Чем же это хуже евангельского учения? А ведь законы Ману столетий на пять старше Евангелия.

— Тому же учил и Будда,— скажет последователь этого мыслителя.— «Покоряй гнев терпением, покоряй зло добром, покоряй скупого дарами, а лжеца истиной» — вот подлинные слова Будды, жившего за пять веков до Христа. Чем же учение этого кроткого мыслителя уступает евангельскому учению? Ведь Будда не был лицемером. «Прекрасные слова, неосуществленные на деле,— говорил этот мудрец,— подобны красивому яркому цветку без запаха». И примером своей собственной жизни, полной самоотречений и жертв, доказывал он истину своего учения.

— Поверьте,— мог бы прибавить к этому человек науки,— что не только из среды иноверцев, но из среды людей без всякой веры в какого бы то ни было бога можно привести тысячу примеров того, как эти люди, становясь в ряды борцов за рабочее дело, всю свою жизнь посвящали служению той же заповеди любви, любви ко всем трудящимся и обремененным, любви к своим братьям по труду и борьбе за общие идеалы. Любовь к ближним присуща людям очень различных и даже противоположных верований и убеждений, и потому присутствие заповеди любви в том или другом учении вовсе еще не доказывает божественности происхождения этого учения.

— Э, что вы там мудрствуете лукаво,— выйдет наконец из терпения христианин.— Что бы вы там ни говорили, все равно мы останемся при своем убеждении. Наша вера лучше и правее всех, потому что она основывается не на человеческих рассуждениях, а на свидетельстве священного писания. В нем же не может быть неправды или обмана, так как его писали не простые люди, а боговдохновенные пророки и апостолы божии.

— Прекрасно,— воскликнут иноверцы.— Вы останетесь при ваших убеждениях, а мы при своих. И у нас ведь есть свои священные книги, которым мы доверяем не меньше, чем вы вашим.

— Вы не допускаете неправды в вашей Библии,— прибавит магометанин,— хотя она дело рук человеческих. Но как же в таком случае нам допустить какой-либо обман в нашем Коране, который продиктован Магомету самим Аллахом через архангела Гавриила?

— Или как нам,— подхватит мездаист,— не доверять нашей священной книге Авесте, когда ее вручил Заратустре сам бог Ормузд?..

Так или приблизительно так должен закончиться всякий религиозный спор между вполне убежденными последователями разных вероучений. Конечно, спорить они могли бы и дольше. Христианин мог бы еще, например, укорить язычников за их поклонение грубейшим идолам-чурбанам. Мог бы он посмеяться и над иными из языческих обрядов вроде того, по которому, «чтобы очистить сердце, по наивному верованию индусов, полагается втянуть немного воды через одну ноздрю и выпустить ее через другую». Таким манером можно, дескать, прочистить лишь нос, а не сердце. Но и язычники не остались бы в долгу. Они указали бы, что и в крестильной купели христиан омывается только кожа младенцев, однако это не мешает им верить, что в этой купели, «кроплением очистив сердца от порочной совести» (Евреям, X, 22), можно омыть от греха их души. Они напомнили бы, что и у православных христиан в божницах не редкость встретить изображения святой троицы в виде человека о трех головах, богородицы-троеручицы с тремя естественными руками, мученика Христофора с песьей головой и т. п. Так вот, когда христиане поклоняются подобным изображениям, разве это чем-нибудь отличается от самого грубого идолопоклонства?.. Но в конце концов в результате спора каждый остался бы все-таки при своем убеждении, что его вера самая правая и истинная.

Если, однако, даже в спорах с язычниками христианин не может бесспорно доказать превосходства отстаиваемых им религиозных истин, то тем труднее найти что-либо неоспоримое в тех тонких и запутанных разномыслиях, какие разделяют самое христианство на сотни разнообразнейших толков, сект и согласий.

20. ДОСТОВЕРНОСТЬ БУКВЫ ПИСАНИЯ

В самом деле, на чем можно основывать достоверность тех или иных истин христианской церкви? Очевидно, либо на свидетельствах священного писания, либо там, где их не хватает, на дошедших до нас преданиях от святых отцов церкви — апостолов и архипастырей. Так учит православная церковь. Но можем ли мы безусловно положиться на все то, что для нас сохранило устное предание отцов церкви? Нет, не можем, потому что они такие же люди, способные и забывать и заблуждаться, как и мы, грешные. Кроме того, по свидетельству св. Григория Богослова, «наши отцы и учителя часто говорили не то, что думали, а то что их заставляли говорить обстоятельства и необходимость».

Чтобы видеть, как грубо заблуждались иной раз отцы церкви, приведем пару примеров из русской истории. Еще лет 200 тому назад с небольшим русский патриарх Адриан (умер в 1700 г.) издавал послания против брадобрейцев. Ссылаясь на священное писание и доказывая, что человек без бороды теряет образ божий и уподобляется «псу или коту», патриарх равнял брадобрейцев еретикам, заслуживающим проклятия. А через несколько лет после такого послания, в 1698 г., из-за границы вернулся бритый царь Петр Великий и стал собственноручно брить бороды у своих бояр и купечества. И что же? Проклял его патриарх? Отлучил от церкви? Ничего подобного. Святые отцы живо переменили свое мнение на этот счет. Бог — дух, скажут они теперь без запинки. Духи же, дескать, не бреются, как это нам достоверно известно, уже потому, что им нечего брить. Поэтому бритые цари вовсе не теряют образа божия, все же несогласные с этим суть явные еретики и достойны анафемы... Более правы ли были святые

отцы в этом вопросе до 1698 г. или после — нам не важно. Во всяком случае раньше или позже этого года они несомненно заблуждались.

Другой пример. Стоглавый собор 1551 г., на котором был собран весь цвет православного духовенства, осудил и предал анафеме троеперстие и «тройную аллилуйю» и установил, что креститься следует двумя перстами, а «аллилуйя» повторять не больше двух раз подряд[1]. Но прошло столетие. Собрался новый церковный Собор в 1667 г. и вынес новое решение. Клятвы Стоглава на троеперстие и «тройную аллилуйю» он отменил, предав проклятию вместо этого двоеперстие и «двойную аллилуйю», а отцов Стоглава обозвал в своем соборном постановлении «невеждами». Мы не беремся решать здесь, который из этих двух соборов был невежественнее. Так или иначе, один из них заблуждался. От заблуждений, стало быть, не застрахованы не только отдельные отцы церкви, но даже целые соборы их. Значит, на предания и толкования святых отцов положиться, безусловно, никак невозможно.

Остается священное писание. В нем, по удостоверению апостолов, содержится «слово божие». Писано оно по «откровению Иисуса Христа», причем боговдохновенны в нем не отдельные места, а вообще «все писание богодухновенно» (1-е Фессал., II, 13; Галатам, I. 12; 2-е Тимоф. III, 16). В нем не должно бы быть поэтому никаких ошибок, ни единой буквы неверной. На него-то уж, казалось бы, можно положиться. Но так ли это на деле? Попробуем сравнить, одинаково ли рассказано у разных евангелистов про одни и те же факты, про одни и те же слова и дела Иисуса? Не перечат ли евангелисты в чем-нибудь сами себе или друг другу? В писаниях простых смертных это бывает, конечно, сплошь и рядом, но в боговдохновенном слове божием ничего подобного не должно быть ни под каким видом. Проверим.

Что же оказывается? Да именно то, чего не должно бы быть. Евангелисты и апостолы не только по-разному передают одни и те же слова и факты, но и явно то и дело перечат друг другу. Приведем только пару простейших примеров. Сравним у разных евангелистов ну хоть имена избранных самим Иисусом 12 его апостолов. Ясное дело, что имена эти везде должны бы быть одни и те же. На деле же это не так. У Матфея (X, 2—4) в числе 12 апостолов назван Леввей, прозванный Фаддеем. У Луки же (VI, 13—16) Леввея нет, а вместо него назван Иуда Иаковлев[2], которого в свою очередь нет у Матфея. Как же это объяснить? Неужто евангелисты не знали твердо даже имен всех 12 апостолов? И кто из них прав? Матфей или Лука? Мы не беремся решать этого. Во всяком случае один из них неправ, следовательно, и в Евангелии есть ошибки. Другой пример. В Евангелии родословие Иисуса приводится дважды: у евангелиста Матфея (I, 1—16) и у Луки (III, 23—38). И одно с другим совершенно не сходится. По Матфею, муж девы Марии, Иосиф, был сыном Иакова, сына Матфана, сына Елеазара, сына Елиуда, сына Садока и т. д. По евангелисту Луке, тот же Иосиф был сыном Илии, сына Матфата, сына Левии, сына Мелхия, сына Ианная и т. д. По Матфею Иисус приходится потомком царя Давида в 28 поколении, по Луке — в 42-м. Опять-таки

---

[1] Тот же Стоглав предал торжественному проклятию в качестве «эллинских беснований» песню, пляску, музыку, а также употребление колбасы, зайцев и тетеревов. Подозревает ли ныне какой-нибудь мастеровой, отхватывая трепака вприсядку или мирно завтракая куском колбасы, что его присядка — не присядка, и колбаса — не колбаса, а все это «эллинские беснования», сам же он окончательно погибший человек, так как на его голову должна пасть соборная анафема всех святых отцов Стоглава?

[2] Не нужно смешивать с Иудой Искариотом, который значится у обоих евангелистов.

очевидно, что по меньшей мере один из них, если не оба, ошибается. Каким же образом возникают такие ошибки в «боговдохновенном» писании?

Нам скажут, что в подлинных писаниях евангелистов таких вопиющих разноречий, быть может, и не встречалось. Но эти подлинники, к сожалению, давно затерялись. Дошедшие же до нас многочисленные списки с них, несомненно, при многократном переписывании значительно искажались. Из сличения всех известных списков видно, что только в разные списки Нового завета переписчики вольно или невольно внесли путем пропусков, вставок и искажений до 80 тыс. разноречий, из которых многие весьма существенны. Таким образом, все ошибки в священном писании, какие там можно отметить, надо, по всей вероятности, отнести в счет не самим евангелистам, а их позднейшим искажателям.

Допустим, что это так. Допустим, что в подлинниках писания не было ошибок. Но ведь этих подлинников у нас нет. А списки полны искажений. Каким же образом можно полагаться вполне безусловно даже на свидетельство священного писания, когда мы не в силах отличить, что в нем принадлежит евангелистам, а что их искажателям? Ведь и про единую букву писания никто не сможет сказать теперь с полной достоверностью, что это неискаженное слово божие, а не отсебятина какого-нибудь полуграмотного мниха-переписчика. А если это так, то вправе ли хоть одна христианская церковь, опираясь на какую-нибудь букву писания, терзать и насиловать совесть всех остальных христиан, основывающих свои верования на какой-нибудь иной букве того же писания?

21. ДУХ ПИСАНИЯ

Но тут нам скажут, пожалуй, что в религиозных спорах не всегда же речь идет лишь о мертвой букве, т. е. об отдельных словах писания. Слова, конечно, искажались переписчиками до неузнаваемости. Но не могли же они в такой же степени исказить и самый смысл Христова учения? Значит, в писании остается все же нечто достоверное, на что можно вполне положиться и что стоит отстаивать.

Однако стоит лишь попробовать определить, в чем именно заключается этот дух Христова учения, чтобы убедиться, что нет ничего более спорного, чем эта мнимая «достоверность». Если предоставить это дело какому-нибудь жандарму в рясе или мундире, то самый подлинный дух учения Христова будет заключаться в том, чтобы всякий в покорном смирении терпеливо давал себя стричь попам и властям предержащим в ожидании загробного воздаяния. Бедняк-пролетарий найдет в том же учении смысл совершенно противоположный. А между тем каждый из них будет основываться на самых недвусмысленных словах писания. В самом деле. Предоставим слово черносотенцу.

— Мятежные мечтатели, ропотники ничем не довольные!..— воскликнет он, обращаясь к революционерам.— Вы добиваетесь равенства, братства, свободы, вы хотите упразднить нищету и горе из этого мира скорби и воздыханий. Вы призываете к оружию, к борьбе за эти требования, вы призываете к бунту против существующего строя жизни и властей предержащих!.. Мятежные мечтатели!.. Разве вы забыли слово писания, по которому «все, взявшие меч, мечом погибнут» (Матфей, XXVI, 52)? Нищеты и неравенства уничтожить невозможно, да и не следует. «Нищие всегда будут среди земли»,— учит нас писание (Второзаконие, XV, 11). И еще сказано: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1-е Коринфянам, VII, 20). Слугою ли ты призван или господином, нищим ли или миллионером — оставайся в

том звании, в каком призван. Но какое может быть братство между слугою и властелином, и какая свобода у голодного? Вы добиваетесь равенства, а в писании сказано: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым» (1-е Петра, II, 18). Вы хотите изгнать из мира неправду и угнетение и тем самым идете против воли божией, «ибо то угодно богу,— свидетельствует апостол,— если кто, помышляя о боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Терпите же до конца, ибо «если, делая добро и страдая, терпите, это угодно богу» (1-е Петра, II, 19 — 20).

В своей неизреченной дерзости вы не останавливаетесь даже перед ниспровержением самодержавной царской власти. Безумцы! Вспомните слова апостола: «Будьте покорны всякому человеческому начальству... царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым» (1-е Петра, II, 13—14)... «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от бога... Посему противящийся власти противится божию установлению» (Римлянам, XIII, 1 — 2). Таких же ожидает страшное возмездие: «Как Содом и Гоморра... подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые... отвергают начальства и злословят высокие власти» (Иуда, I, 7 — 8). Так гласит священное писание.

— Фарисеи вы и лицемеры! — ответит на это рабочий-социалист.— Мы не обращаемся к священному писанию для обоснования наших требований, ибо они и без того слишком достаточно у нас обоснованы. Но, если бы это было нужно, мы с гораздо большим правом, чем вы, могли бы сослаться на писание, потому что Иисус с апостолами были в свое время, подобно нам, революционерами и не щадили современных им фарисеев-охранителей. Недаром же эти фарисеи честили их почетным именем «всесветных возмутителей» (Деяния, XVII, 6). Недаром их считали «язвой общества, возбудителями мятежа» и т. п. (Деяния, XXIV, 5). Чего же добивались эти всесветные возмутители? И чего мы добиваемся?.. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства...» «К свободе призваны вы, братия»...— говорит апостол (Галатам, V, 1, 13). И мы стоим за свободу. Да не будет «иным убо отрада, вам же скорбь, но по изравнению», чтобы «кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка...» «Да будет равенство!..» — гласит писание[1]. И мы стоим за равенство. «Вы знаете,— учил Иисус,— что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так» (Матфей, XX, 25—26). Не возвеличивайте себя друг перед другом и так, как это делают фарисеи. Не называйте себя ни наставниками, ни учителями, «ибо один у вас учитель — Христос, все же вы — братья» (Матфей, XXIII, 8). «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью»,— учит нас писание (Римлянам, XII, 10). И мы стоим за братство.

— Мы знаем, конечно, и без вас,— скажет далее рабочий, что покуда будут богатые и бедные, властители и подвластные, не будет ни равенства, ни братства, ни свободы. Но мы знаем и то, что все это не вечные установления. Вы говорите, что нищие всегда будут. Это ложь. Во времена апостольские, когда у всех верующих, по словам писания, «было одно сердце и одна душа и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее, не было между ними никого нуждающегося» (Деяния, IV, 32, 34). Не будет их и при торжестве социализма, когда все необходимое для общего труда на общую поль-

---

[1] 2-е Коринфянам, VIII, 13, 14, 15. Сравни славянский и русский текст: в русском переводе вместо «равенство» стоит «равномерность»; переводчики, по-видимому, смягчали славянский текст.

зу, т. е. *прежде всего земля, фабрики и заводы*, станет, как свет и солнце, общим достоянием всех трудящихся.

Не заботясь ни о ком и ни о чем на свете, кроме собственной персоны и своей туго набитой мошны, вы дерзко осуждаете это требование социализма. Лицемеры! Разве вы забыли слова Иоанна Златоуста, что даже самое слово «мое» происходит от диавола — «вся бо нам общая сотворил есть бог, яже суть нужнейшая» — и что нельзя сказать «мой свет, мое солнце, моя вода, мой лес, моя земля» и т. д. Вы угрожаете нам, что поднявшие меч против вас, насильников и братоубийц, от меча погибнут. Ну что ж. В борьбе за свои убеждения, за наш социалистический идеал нам не страшно и душу свою положить. Следуя в этом отношении примеру самого Иисуса, мы исполним лишь христианскую заповедь: «любить не словом или языком, но делом и истиною». Любовь же Христову, учит нас писание, «познали мы в том, что он положил за нас душу свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (Иоанн, III, 18, 16).

Вы призываете наших братьев-рабочих к кротости и терпению и уверяете нас, будто их незаслуженные страдания угодны не только вам, торгашам человеческим трудом и кровью, но и самому богу. Вы напоминаете нам о заповеди всепрощения и непротивления злу. Фарисеи лукавые! Следуете ли вы сами этой заповеди? Иисус действительно учил «не мстить за себя» и с беспримерной кротостью переносил все личные обиды, Иисус все мог простить своим врагам, но он был беспощаден к врагам народа. Бичом изгонял он торгашей из храма и бесстрашно обличал властных фарисеев в неправде. Им он не прощал, стало быть, их лицемерия и обид народных. Да иначе и быть не могло. Ведь любовь к трудящимся и обремененным неразлучна с враждою к их обидчикам и угнетателям и неизбежно приводит к борьбе с ними в защиту тех, кого мы любим.

Вот почему Иисус говорил: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; *не мир пришел я принести, но меч»* (Матфей, X, 34). И в другой раз: «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но *разделение*, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех». «Огонь пришел я низвесть на землю; и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лука, XII, 51—52 и 49). Слышите ли вы, гнусные жабы и ящерицы в синих мундирах и долгополых рясах, эти речи? Не мир, но меч и огонь революционной страсти нес на землю против всех народных пауков и тиранов тот учитель, чье чистое имя вы так захватали вашими грязными лапами.

Фарисеи и лицемеры! Вы не затрудняетесь, конечно, оправдывать теперь словами писания иго самодержавной власти, как некогда оправдывали ими иго крепостного права. Но мы напомним вам иные слова того же писания: «В те дни, когда, по писанию, не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Судей, XVII, 6; XVI, 25), т. е., говоря иначе, не знал над собой иной власти, кроме велений собственной совести. И что же? Худо это было в очах господа? Нет, видно, не худо, потому что бог сильно прогневался, когда его избранный народ, соблазнившись примером «прочих народов», решил избрать и себе царя. Устами прозорливца Самуила господь такими словами предрек тогда народу все, чего ему следует ждать от царя: «Сыновей ваших он возьмет... и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и поставит их... чтобы они возделывали поля его... И дочерей ваших возьмет, чтобы оне... варили кушанье и пекли хлебы. И поля... и сады ваши лучшие возьмет и отдаст своим слугам... И от посевов ваших... возьмет десятую часть... и возстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе»... «И увидите, *как велик грех*, который

вы сделали пред очами господа, прося себе царя» (1-я Царств, VIII, 11—18; XII, 17). Таковы слова писания.

Как же вы дерзаете осуждать тех «мечтателей», которые отвергают начальство? Ведь и Иисус с апостолами принадлежал к их числу. «Облекитесь во все оружие божие,— говорил апостол,— потому что *наша брань* не против крови и плоти, но *против начальства, против властей,* против *мироправителей* тьмы века сего, против духов злобы поднебесных», т. е., говоря по-современному, против всех авторитетов, земных и поднебесных (Ефесянам, VI, 11—12). И писание решительно предсказывает такое время, когда Иисус «упразднит всякое начальство и всякую власть и силу» (1-е Коринфянам, XV, 24). Это время уже не за горами. «Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит» (Евреям, X, 37). Это пролетариат грядет железной поступью к своему самоосвобождению. В пламени революционных стихий сгорит весь старый буржуазный мир пошлости и угнетения, и, дождавшись нового неба и новой земли, на которых обитает правда, *«мы будем царствовать на земле»* (2-е Петра, III, 13; Апокалипсис, V, 10). Вот чему учит нас писание. Готовьтесь же к этому, братья. «Теперь,— воскликнем мы словами Иисуса,— кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч»(Лука, XXII, 36). Так скажет рабочий.

Кто же из них, черносотник или революционер, вернее усвоил себе истинный дух Христова учения? Каждый из них основывается на подлинных словах писания, и каждый из них, пожалуй, прав по-своему. В писании действительно содержится сколько угодно утверждений, взаимно противоречивых не только по букве, но и по духу. И именно поэтому писание представляет собой арсенал духовного оружия, пригодный для вооружения людей самых разнообразных и даже взаимно противоположных взглядов. Оно дает богатейший материал для всех ересей и расколов. С его помощью можно все доказать. Даже противоестественное требование секты скопцов, даже требование самокалечения основывается на самых недвусмысленных словах писания. «И есть скопцы,— говорит Иисус,— которые сделали сами себя скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит» (Матфей, XIX, 12).

— Но как же быть в таком случае? — спросит верующий.— Какому же из вероучений отдать предпочтение? На чем же тогда основываться, если и в писании нет ничего бесспорного?

«Всякий поступай по удостоверению своего ума»,— отвечает на это апостол (Римлянам, XIV, 5). «Много-де в писании,— решают тот же вопрос духоборцы,— иное тому, иное другому пригодно, а мы-де принимаем то, что нам следует». Иными словами, всякому предоставляется выбирать в нем то, что ему по душе придется. Других же оснований для выбора нет.

Это несомненно верно. Но если это верно, то по какому же праву ктонибудь стал бы требовать, чтобы то вероучение, которое ему больше других по душе, стало по этой причине господствующим, все же остальные — гонимыми? Пусть каждый из вас, скажем мы людям с такими претензиями, глубоко и искренне убежден в превосходстве своего вероучения. Что ж из того? Тем лучше для вас. В таком случае вам и желать больше нечего, кроме самой полной и ничем не ограниченной свободы проповеди для всех учений. Ведь при такой свободе, когда всем станут известны и лучшие и худшие учения, всякий и без принуждений, вкусивши сладкого, не захочет горького, т. е. изберет вашу, наилучшую веру, если она действительно такова. А если нет, то тут уж и принуждения не помогут: насильно мил не будешь. Но тут пенять придется уж на себя самих.

— Однако,— скажет какой-нибудь упрямец,— должны же быть какие-нибудь границы терпимости. Конечно, возможно кое-как прими-

риться с известными различиями и обрядах и догматах христианской церкви. Возможно примириться, пожалуй, даже с существованием языческих исповеданий. Но как допустить отрицание всяких догматов и обрядов, которое соединяется к тому же у многих сектантов с разными гнусными деяниями? Но мыслимо ли потерпеть отрицание всяких религий и даже самого бога, как это делают разные безбожники-вольнодумцы?

Что касается «гнусных деяний» сектантов, вроде так называемого «свального греха», который будто бы имеет место на тайных хлыстовских радениях, то тут, скажем мы, прежде всего следует удостовериться, не простая ли это клевета на сектантов со стороны их преследователей. Ведь и про первых христиан, когда те скрывались еще от гонений в подземных катакомбах, в высших кругах развратного Рима была в ходу точь-в-точь такая же клевета. А древнеримский историк Тацит, упоминая в своей летописи о христианах времен Нерона, «которых-де все *ненавидели за черные дела»,* так говорит о них: *«Эта пагубная секта* была уничтожена, но после снова распространилась не только по Иудее, где получила начало, но даже в Риме, где образовался центр их *постыдных и преступных* дел».

Очернить, как видит читатель, нетрудно и самое чистое. Но, если даже в среде преследуемых сектантов и действительно творилось что-нибудь неладное по части нравов, все неладное сразу бы исчезло, как только с религиозной сводобой они перестали бы скрываться и зажили открыто у всех на виду... Что же касается отрицания всех догматов и даже самого бога, то, конечно, относиться к этому терпимо слишком непривычно для членов господствующей церкви. Но это еще не резон для преследований. И, если они следуют писанию, они не могут не признать этого. Ведь, по писанию, «каждый из нас за себя даст отчет богу», и «судить друг друга» запрещается человекам (Римлянам, XIV, 12—13). А если это так, то кто же из человеков вправе судить и преследовать этих отрицателей? Разве они не ответят за себя сами перед богом? К тому же, быть может, все эти отрицатели и не так уж страшны, как их малюют. Во всяком случае для чего бы им затыкать рты? Неужто православные члены церкви так не стойки в своей вере, что могут поколебаться в ней от первого же услышанного ими свободного слова? Выслушаем же внимательно все, что могут сказать в свою защиту эти отрицатели, и если есть у них чему научиться — научимся, а нет — так останемся при своих старых взглядах.

Предоставим слово сектанту.

22. ОБРЯДНОСТЬ ЦЕРКВИ

— Вы хотите знать, почему мы отрицаем ваши обряды и догматы?..— спросит сектант.— Извольте. Мы их не признаем потому, что все они противны и слову божию, и разуму человеческому. В самом деле. Вы строите себе роскошные храмы из мрамора и гранита, загромождаете их раззолоченными изображениями всевышнего и святых и кадите перед ними бесчисленные вечерни и заутрени, всенощные и обедни, молебны и панихиды. Но к чему все это? Подумайте! Нужны ли богу пышные храмы, у стен которых мерзнут без крова бесприютные дети бедняков? Угодны ли ему золотые чаши и парчевые ризы и прочие драгоценности, которыми украшают себя его праздные служители, в то время как миллионы тружеников остаются в жалких рубищах среди голода и нищеты? Приятны ли ему все ваши поклоны и благовония и прочие обрядности богослужения, когда вы не исполняете той его заповеди, в которой «весь закон» состоит в том, чтобы «любовью служить друг другу»? Мы думаем, что все это не нужно и не угодно

богу. Ваши храмы и хождение в них лишь унижают его достоинство, потому что «бог, сотворивший мир и все что в нем, он, будучи господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду». Таково свидетельство апостолов (Деяния, XVII, 24—25).

Людям не нужны храмы, ибо каждый из них — «храм бога живого, как сказал бог» (2-е Коринфянам, VI, 16). Но большинство из них усердно строят себе храмы из камня и железа, равнодушно взирая на палачей, разрушающих нерукотворные храмы божии, т. е. убивающих людей. Фарисеи! Скажем мы им словами апостола: «Разве вы не знаете, что вы — храм божий и дух божий живет в вас? Если кто разорит храм божий, того покарает бог, ибо храм божий свят, а этот храм — вы». Таковы слова писания (1-е Коринфянам, III, 16—17). Из этих слов мы заключаем, что людям гораздо важнее содержать в чистоте храм своего сердца, чем поддерживать благолепие каменных и деревянных храмов. И мы отрицаем эти внешние храмы.

Отрицаем мы и почитание икон. В первые века христианства икон не было. Церковный Собор в Эльвире торжественно запретил «изображать на стенах предметы поклонения и почитания». Великие же отцы церкви четвертого века, святые Евсевий и Златоуст без обиняков называли употребление икон идолопоклонством. И действительно, разве не сказано в писании: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им» (Исход, XX, 4—5)? «Твердо держите в душах ваших,— читаем мы там же,— что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам господь на (горе) Хориве из среды огня. Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота... птицы крылатой» и т. д. (Второзаконие, IV, 15—18). Но люди, как видно, сильно развратились. Они забыли эти заповеди и, хотя бога, по слову апостола, «никто из человеков не видел и видеть не может» (1-е Тимоф., VI, 16), его изображают ныне не только в виде мужчины — бог Саваоф, но даже в виде птицы крылатой — святой дух в виде голубя. Мы уже не говорим об изображениях святых с песьими головами, а также троеруких, трехголовых и тому подобных существ, которым тоже поклоняются многие христиане. По-нашему, все это идолопоклонство.

Отвергаем мы и поклонение угодникам божиим, а также их мощам и тому подобным предметам. Отвергаем потому, что только одному всевышнему надлежит поклонение: «Единому премудрому богу честь и слава»,— говорит апостол (1-е Тимоф., VI, 1—17). Даже апостолам и самим ангелам божиим, как об этом неоднократно свидетельствует писание, не следует поклоняться. Так, когда апостол Петр вошел к язычнику Корнилию, «Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его». Петр же поднял его, говоря: «Встань; я тоже человек» (Деяния, X, 25—26). В другом месте апостол Иоанн рассказывает, как он «пал к ногам ангела... чтобы поклониться ему». Но ангел сказал апостолу: «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей, богу поклонись» (Откровение, XXII, 8—9). Итак, по писанию, поклоняться не только человекам, но и ангелам божиим не следует, даже будучи лицом к лицу с ними. Тем более, стало быть, не следует поклоняться безжизненным изображениям, хотя бы и наиболее праведных человеков или их бренным останкам. Ведь, по свидетельству писания, «и кости священников, и кости пророков», точно так же как и кости царей и простолюдинов, в конце концов «будут навозом на земле», и только (Иеремия, VIII, 1—2). Не поклоняться же нам навозу?

Отвергаем мы вообще всю внешнюю показную сторону религии. «Бог есть дух,— учил нас Иисус,— и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоанн, IV, 24). Это значит, что поклоняться богу нужно духовно, творя дела правды, а не напоказ, в громких молитвословиях, изнурительных постах и затейливых обрядностях. К чему, в самом деле, все эти многочисленные обрядности богослужения, если бог, сотворивший мир, вовсе «не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду» (Деяния, XVII, 25)? К чему все эти бесконечные ектеньи и прошения за каждой обедней, если «знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него» (Матфей, VI, 8)? К чему, наконец, все эти фарисейские предписания поститься тому простонародью, которому и без того большей частью жрать нечего? Ведь, по учению Иисуса, «не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст» (Матфей, XV, 11). «Итак, никто да не осуждает вас за пищу и питье». «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования». Так учит нас апостол (Колос., II, 16; 1-е Коринфянам, X, 25).

Бог не требует служения человеков. Не нуждается он, стало быть, и в особых специалистах богослужения. Но к чему же нам тогда вся эта пышная лестница «отцов духовных» от диаконов до митрополитов и патриархов? Разве в писании не сказано: «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах» (Матфей, XXIII, 9)? К чему все эти высокие чины церкви, к чему все эти «преподобия» и «преосвященства», когда Иисус запретил кому бы то ни было из вас называться даже учителями и наставниками, ибо один у вас учитель и наставник — Христос, «все же вы — братья» (Матфей, XXIII, 8, 10). «Научайте и вразумляйте друг друга»,— говорит апостол, обращаясь ко всем христианам (Колос., III, 16). Стало быть, и для этой цели не требуется особого посвящения в какой-либо сан. К чему же тогда вся духовная иерархия? Мы отвергаем ее.

23. ТАИНСТВА И ДОГМАТЫ

Вы спросите теперь, какое значение придаем мы, сектанты, различным христианским «таинствам» вроде крещения и причащения, а также основным догматам церкви о непорочности девы Марии, о божественности Иисуса Христа, о единосущности пресвятой Троицы... Мы ответим, что никакого значения, ибо суть учения Иисуса не в этих догматах и таинствах, а в его высоконравственных заповедях, подтвержденных примером собственной жизни праведника. К тому же все эти установленные церковью догматы и таинства вовсе не подтверждаются словом божиим.

Возьмем хоть «таинство» водного крещения. Нам говорят, что сам Иисус крестился в Иордане. Верно. Но ведь он и обрезался по иудейскому закону. Не установить ли нам по этому случаю еще одно таинство — обрезания? Иисус принял водное крещение от Иоанна Крестителя. Это так. Но окрестил ли он сам таким образом хотя бы ближайших своих учеников — апостолов? Нет, он сам никого не крестил. Хотя сам Иисус, по свидетельству писания, «не крестил, а ученики его» (Иоанн, IV, 2), скажут нам на это, «но он сам заповедал им крестить все народы». Опять-таки верно. Но каким крещением? Водою или учением? «Я крестил вас водою,— говорил Иоанн Креститель,— а он будет крестить вас духом святым» (Марк, I, 8), т. е. истиной. И Иисус, посылая апостолов крестить народы, действительно не о воде говорил им. «Итак, идите научите все народы, крестя их во имя отца, сына и святого духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам» — вот слова Иисуса (Матфей, XXVIII, 19—20). Значит, речь идет не о воде, а о

науке. Или, говоря словами апостола о крещении, «не плотской нечистоты омытие, но обещание богу доброй совести спасет...» (1-е Петра, III, 21). В таком крещении учением не было ничего не понятного, ничего таинственного. Крестить — значило спропагандировать, сделать сознательным последователем Христова учения, и только. Но само собою разумеется, что «крестить» в этом смысле слова возможно только взрослых людей, как это и делали апостолы. Теперь же, как раз наоборот, крестят грудных младенцев. Крестят их, конечно, только водою, ибо младенца ничему не научишь и не возьмешь с него обещания доброй совести. Крещение потеряло, таким образом, всякий смысл. Но, должно быть, именно поэтому оно стало называться «таинством».

Обратимся теперь к другому «таинству» такого же характера. Нам говорят, что хлеб и вино, употребляемые в причастии, претворяются в плоть и кровь Христовы и что таинство это установлено-де самим Иисусом на тайной вечере. И действительно, он говорил там, указывая на хлеб: «Сие есть тело мое» и т. д. Но только по грубому недоразумению возможно эти слова его понять в их буквальном смысле. Иисус постоянно говорил притчами и иносказаниями. Можно ли, например, понимать буквально его слова о том, что у верующих в него «из чрева потекут реки воды живой»? (Иоанн, VII, 38). Ведь не только у нас, грешных мирян, но даже у самих смиренных «отцов святейшего синода» не вытекло доныне из чрева не то что реки, но и реченки. Или и они не «верующие»?.. Возьмем другие слова Иисуса: «Я есмь хлеб жизни... Ядущий мою плоть и пиющий мою кровь имеет жизнь вечную» и т. д. (Иоанн, VI, 48, 54). Можно ли их понимать буквально? Конечно, нет. Это только образное выражение, речь же идет вовсе не о плоти или крови, а об учении Иисуса. И он сам поясняет это словами: «Дух животворит; плоть не пользует ни мало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь» (Иоанн, VI. 63). Такой же духовный смысл имели и слова Иисуса на тайной вечере. Общая братская трапеза от одного хлеба и из одной чаши должны были стать постоянным напоминанием его учения о братской любви и его смерти во имя этого учения. Вот почему знаки этого общения в его воспоминании — преломляемый хлеб и общую чашу — Иисус уподобил своей плоти и крови. Но позднейшие его последователи извратили смысл этих слов, поняв их буквально. И вот, создав из братской трапезы затейливый и непонятный обряд, они окрестили его «таинством». Таково же, примерно, происхождение и всех остальных «таинств».

Остановимся теперь на некоторых догматах. Что означает, например, догмат о непорочности девы Марии? Мы знаем, конечно, рассказ о чудесном зачатии Иисуса. Но ведь, по свидетельству писания, Мария, кроме того, была матерью еще четырех его братьев — Иакова, Иосии, Симона и Иуды и нескольких сестер (Марк, VI, 3). Причем все эти братья Иисуса ровно ничем не выдавались из среднего обывательского уровня, ибо, по словам евангелиста, «и братья его не веровали в него» (Иоанн, VII, 5). Что же хотели сказать отцы церкви, устанавливая этот догмат о непорочности девы Марии? Не то ли, что, будучи матерью целой полудюжины самых обыкновенных ребят, можно оставаться все же непорочной девой? Или то, что и вся эта полудюжина, подобно Иисусу, была зачата ею через свята духа? Но не слишком ли много взваливать столько черной работы на духа свята? Так или иначе, но во всяком случае святые отцы позабыли согласовать свое измышление со свидетельством слова божия. Верить же им самим на слово никто не обязан.

Далее. Основательнее ли догмат о божественности Иисуса? Бог ли он или человек? В символе веры о нем говорится: «Рожденна, несотворенна, единосущна отцу, им же вся быша». По писанию, однако, выхо-

дит иначе. «Твердо убо да уразумеет весь дом Израилев,— говорит апостол,— яко и господа, и христа его бог сотворил есть, сего Иисуса его же распясте» (Деяния, II, 36) [1]. Но, будучи лишь одним из творений божиих, Иисус не может быть равным или даже единосущным самому богу, творцу вселенной. Ведь и прекраснейший храм не равен своему строителю. Не равен богу и Иисус. «Отец мой более меня»,— говорит он сам своим ученикам (Иоанн, XIV, 28). «Христу глава — бог» — говорят за ним и апостолы (1-е Коринфянам, XI, 3). Правда, они очень часто называют Иисуса «господом», т. е., говоря по-русски, господином, но ни разу — богом. Даже Иоанн, любимейший из учеников Иисуса, видевший его, несомненно, тысячи раз, говорит, однако: «Бога никто никогда не видел» (1-е Иоанна, IV, 12). Значит, даже он не почитал Иисуса богом. Нам скажут, что сам Иисус очень часто называет бога отцом, а себя — сыном божиим. Это верно. Но ведь тот же Иисус учил и всех нас обращаться к богу со словами «отче наш». «То есть, не плотские дети суть дети божии»,— поясним мы это словами апостола,— «но все, водимые духом божиим, суть сыны божии». «Все вы — сыны божии по вере во Христа Иисуса»,— говорит апостол, обращаясь к своей пастве (Римлянам, IX, 8; VIII, 14; Галатам, III, 26). Значит, слова «сын божий» нельзя понимать в буквальном смысле. Но кто же в таком случае Иисус? А вот кто, отвечает нам писание: «Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед отцом Иисуса Христа, праведника». «Ибо един бог, един и посредник между богом и человеками, *человек* Христос Иисус» (1-е Иоанна, II, 1; 1-е Тимоф., II, 5; ср. Римлянам, V, 15 и др.).

Основательнее ли, наконец, учение о единосущной и нераздельной троице богов: отца, сына и духа? Подтверждается ли оно словом божиим? Нисколько. В писании говорится, конечно, не раз об отце, сыне и духе, но только один «отец» всех человеков именуется там богом. К «сыну» же и «духу святу» ни разу во всем Новом завете не применено слово «бог». Мало того, мы уже видели, что Иисуса, «сына божия», апостол называет без всяких иносказаний человеком, но не больше. А дух, по слову писания, «есть истина», и только (1-е Иоанна, V, 6). Таким образом, скажем мы словами апостола, «нет иного бога, кроме единого» (1-е Коринфянам, VIII, 4). Триединый же бог, в состав которого входят нераздельно и бог, и человек, и истина,— это уже не бог, а просто неудачное измышление человеческое.

Вы, конечно, не согласитесь с нами. Это ваше право. Вы будете опровергать все нами сказанное — и доводами рассудка, и ссылками на священное писание. Пожалуйста, опровергайте. Мы вовсе не претендуем на непогрешимость всех наших мнений. Быть может, мы и откажемся от некоторых из них, если нам докажут их несостоятельность. Но если вместо честного спора о мнениях вы вздумаете затыкать нам рот, воздвигнув против нас гонения,— разве мы не вправе будем тогда напомнить вам слова Иисуса: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо — что ты бьешь меня?»

Так скажет сектант.

---

[1] В русском переводе: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев,— говорит апостол,— что бог соделал господом и христом сего Иисуса, которого вы распяли».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОПОВЕДЬ НЕВЕРИЯ

24. НИ ЧЕРТЕЙ, НИ БОГОВ

Выслушаем теперь вольнодумца.

— Заповедь любви к ближним, любви деятельной и бескорыстной,— скажет вольнодумец,— является и для меня основой общественной морали. Но именно поэтому я отрицаю весь ненужный балласт суеверий и лжи, провозимый в простые сердца под флагом религии и мешающий людям свободно мыслить, без рабского страха жить и бескорыстно любить своих братьев. Чуждаются суеверий и сектанты, но я иду дальше их и в корне отвергаю существование ада и рая, чертей и богов. Все эти старые басни, пригодные ныне лишь для устрашения бедных и слабых, на корысть богатым и сильным, решительно, на мой взгляд, устарели в наш век. И я убежден, что значительные массы рабочего люда вполне уже созрели ныне для того, чтобы, выслушав истину о религии, понять ее и без сожалений отвернуться от своих поверженных кумиров. Пусть же смелые сердцем с радостью внемлют словам правды.

Человечество имеет за собой длинный ряд веков прожитого прошлого — всемирной истории. В течение этих веков оно не стояло на месте, но все время росло, развивалось, увеличивало свою власть над природой. И если мы заглянем в глубь времен, то увидим там не нынешнего человека, властелина природы, а жалкого беспомощного дикаря. Лишенный всяких сколько-нибудь действительных орудий труда и защиты, этот полуголый и вечно полуголодный дикарь был почти совершенно беззащитен против зноя и холода, против грозы и бурана, против дикого зверя и другого голодного человека. И вот, чувствуя свою зависимость от окружающей среды, но не умея ее объяснить естественными причинами, он стал объяснять себе все непонятное, как умел. Подавляющая его природа казалась ему полной чудес и таинств. Услужливое воображение дикаря населяло ее целыми сонмами живых существ: леших, русалок, водяных, домовых и тому подобных злых и добрых богов. Эти боги в представлении дикаря обладали, конечно, всеми теми же чувствами и способностями, страстями и пороками, что и люди. Они и любили, и ненавидели, и обманывали и поддавались обманам, одним покровительствовали, других преследовали. Говоря короче, эти боги не людей создали по своему образу и подобию, а сами были созданы ими по этому рецепту.

Как бы то ни было, но с тех пор, как дикарь создал себе богов по своему подобию, ему стало легче жить на свете. Ему стало все понятно. Ударит ли гром — дикарь уже знает, что это бог Перун пустил свою стрелу. Завоет ли вьюга, метель — дикарю опять-таки известно, с кем он имеет дело. Это Баба-яга едет в своей ступе, помелом заметает. Приключилась ли какая беда в лесу на охоте — это Леший попутал. Случилось ли удачно избежать опасности — это свой домашний бог-покровитель выручил. И каждая семья, каждое племя стремилось всегда иметь у себя под рукой поближе такого бога-покровителя, чтобы

вовремя умилостивить его заклинаниями или жертвой и воспользоваться его заступничеством. Дикарь был неприхотлив, и достигалось это очень просто. Всякий причудливый камень или чурбан, случайно напоминающий человеческие черты, мог стать и действительно становился в глазах дикаря таким богом-покровителем. И лишь впоследствии, когда вкусы стали значительно прихотливее, этих богов стали изготовлять искусные мастера из дерева и металлов. У нас, в царской России, среди полудиких инородческих племен Сибири бытовало немало таких первобытных богов и обычаев. Уходя на охоту или рыбную ловлю, эти дети природы усердно молили своих нехитрых богов об удаче и обильно мазали их деревянные губы салом и кашей. Когда же охота и после такой взятки богам кончалась плохо, наивные дикари жестоко укоряли своих богов в лени и нерадивости, а подчас и секли их без всякой пощады.

Таковы зачатки представлений человека о боге и о религии.

Конечно, современный бог — единый и предвечный, невидимый и вездесущий, всеблагий и всемогущий — нимало не похож на тех жалких чурбанов, которых подчас мазали по губам салом, а подчас драли. Однако, как это ни странно может показаться, но современный христианский бог приходится прямым, хотя и отдаленным, потомком именно таких жалких чурбанов. Иными словами, современные представления о боге, несмотря на всю его многосторонность и величие, выросли, постепенно совершенствуясь, именно из вышеуказанных первобытных представлений дикаря. Становясь культурнее и развитее, этот дикарь, естественно, становился все требовательнее к своим богам. Чтобы не терять к ним уважения, он должен был, сознательно или нет, приписывать им постепенно одно за другим все те качества, которые он особенно ценил в себе самом и других людях. Но боги наделялись ими, конечно, в превосходной степени, так что «сила» превращалась во «всемогущество», «знания» — во «всеведение», «доброта» — во «всеблагость» и т. д. С развитием человечества вырастали и его представления о боге. И в результате из поклонения грубейшим чурбанам выросла религия единого и бесплотного бога, творца и вседержителя. А порукой в том, что все это правда, может служить нам не что иное, как Библия.

25. РОДОСЛОВИЕ БИБЛЕЙСКОГО БОГА

В самом деле, Библия как нельзя лучше доказывает нам то, что и «избранный народ» божий в древнейший период своей истории пребывал, подобно прочим первобытным народам, в идолопоклонстве. «Единый» Саваоф — это уже продукт значительно позднейших времен. До Авраама, «*за рекою,*— читаем мы в книге Навина,— жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и *служили иным богам*». Причем вера в этих «иных богов» сохранялась, по-видимому, еще очень долго и после Авраама, и даже после Моисея. Иначе зачем бы преемнику Моисея Иисусу Навину было взывать к народу: «Отвергните богов, которым служили отцы ваши *за рекою и в Египте*» (Навин, XXIV, 2, 14). Что же это были за боги, которым служили «за рекою» Фарра и более древние патриархи избранного народа? В ответ на это приведем следующий поучительный рассказ из Библии. Когда Иаков уходил от Лавана, то его жена, дочь Лавана, «Рахиль похитила *идолов,* которые были у отца ее». Лаван догнал Иакова с упреками: «Зачем ты украл *богов моих?*» «У кого найдешь *богов твоих,*— ответил Иаков,— тот не будет жив». Лаван принялся обыскивать шатры Иакова, но ничего не нашел, ибо Рахиль, усевшись в своем шатре на идолах, заявила отцу, что она не может встать: «У меня обыкновенное

женское». Тогда Иаков рассердился на Лавана и сказал ему: «Если бы не был *со мною бог отца моего,* бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог... вступился за меня вчера». В заключение они помирились и вступили в союз, свидетелем которого был призван «бог Авраамов и бог Нахоров... бог отца их». А «Иаков поклялся *страхом отца своего* Исаака» (Бытие, гл. XXXI).

Чему же нас учит этот рассказ? А вот чему. Лаван — внук Нахора и правнук Фарры — был идолопоклонником. Но Лаван, да и Иаков вовсе не были отступниками от веры отцов своих, иначе они не ссылались бы в закрепление своего союза на бога своих дедов, Авраама и Нахора, бога Фарры — «отца их». Значит, и те «боги», которым, по слову Библии, служил издревле Фарра со своим родом, были тоже *идолами.* В то же время мы видим, что даже у таких близких родственников, как Лаван и Иаков, имеются у каждого свои *особые* семейные боги-покровители. Иаков почитает и идолов Лавана за богов, а Рахиль даже крадет и укрывает их, но *своим* специальным заступником он признает не их, а «бога» или «страха» отца своего Исаака, который всегда *с ним* и которым он клянется в торжественные минуты. Лаван тоже имеет и чтит *своих* собственных семейных богов, хотя побаивается иной раз и бога отца Иакова (см. Бытие, гл. XXXI, 29). В свидетели же союза призываются не боги Лавана и не страхи Иакова, а, очевидно, равно почитаемый ими обоими бог отца Авраама и Нахора, т. е. бог общего их прадеда Фарры. Этот общий для них *родовой божок* Фарры, как видно, весьма мало напоминал собой того *«великого, сильного и страшного»* бога Израиля (Второзаконие, X, 17), какого рисовали себе отдаленные потомки Фарры. И Навин не без оснований утверждал, что Фарра за рекою служил *иным* богам. Однако мы знаем, что этот божок Фарры был богом и Аврааму с Нахором, а бог Авраама стал страхом Исаака и богом Иакова. И вот, по мере того как племя Авраама умножалось и вырастало в целый народ, росли и его представления о боге. Семейный «бог Авраама, Исаака и Иакова», как его очень часто называет Библия, мало-помалу стал национальным «богом евреев» (Исход, III, 18). Маленький «страх Исаака» вырос в великое страшилище всего Израиля.

Как же это случилось? Каким путем «избранный народ» пришел от идолопоклонства к понятию единого всемогущего бога?

Представить себе это нетрудно. Конечно, это произошло не сразу. Несомненно, что у каждого из потомков Авраама очень долго были в ходу свои особые семейные боги-покровители. Их-то, по-видимому, и имеет в виду закон Моисея об освобождении рабов-иудеев в юбилейные годы. Если раб добровольно откажется уйти на волю, «то пусть господин его приведет его *пред богов,*— гласит этот закон,— и поставит его к двери... и проколет ему... ухо шилом, и он останется рабом его вечно» (Исход, XXI, 6). Едва ли возможно сомнение в том, что здесь идет речь о домашних идолах[1]. Но такие домашние боги и годились лишь для домашнего обихода. Когда же требовалось сослаться на что-нибудь или закрепить что-либо именем бога в сношениях со своими соплеменниками за пределами дома, то поневоле приходилось ссылаться, подобно Лавану с Иаковом, на таких богов, имена которых говорили бы уму и сердцу всех соплеменников. Приходилось, стало быть, называть имя бога родоначальников племени Авраама, Исаака и Иакова. Бог Авраама, Исаака и Иакова становился, таким образом, самым популярным из богов. Как Авраам был отцом и владыкой своего племени, так и бог Авраама в представлении патриархального народа

---

[1] Догадки попов о том, не следует ли здесь под словом «боги» разуметь судей, совершенно произвольны. Судей Библия так и называет судьями.

становился отцом и владыкой всех прочих богов племени, пока не вырос окончательно в «бога богов и владыку владык» (Второзаконие, X, 17; Навин, XXII, 22 и др.). Такова первая ступень в развитии идеи единого бога.

26. ОБЛИК БОЖИЙ

На этой ступени развития религиозные понятия были еще очень грубы. Так, заурядные боги творят еще, по этим понятиям, зачастую неправду, а бог богов чинит над ними свой суд и расправу. «Бог стал в сонме богов,— рисует нам такую сцену Библия,— среди богов произнес суд: «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?.. Я сказал: «Вы — боги, и сыны *всевышнего* — все вы, но вы умрете, как человеки»» (Псалтирь, 81, 1—2, 6—7). Впрочем, эти «сыны всевышнего» не только способны были «оказывать лицеприятие нечестивым». Им вообще присущи были все человеческие страсти. «Когда люди начали умножаться на земле,— читаем мы, например, в книге Бытия,— и родились у них дочери, тогда *сыны божии* увидели дочерей человеческих, что оне красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал... В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны божии стали входить к дочерям человеческим, и оне стали рождать им»... (Бытие, VI, 1—2, 4). Не менее грубо и аляповато, по своему собственному образу и подобию, представляли себе потомки Авраама и самого «бога богов». «Во время прохлады дня» этот бог прохаживается по раю (Бытие, III, 8). Когда ему в жертву сжигали животных, он «обонял приятное благоухание» (Бытие, VIII, 21). Иной раз, должно быть ради развлечения или от скуки, он не прочь и подраться с кем-нибудь из смертных. Так, этот всемогущий отец богов «до появления зари» безуспешно борется с Иаковом и, увидев, что не одолевает его, повреждает ему бедро и просит: «Отпусти меня, ибо взошла заря» (Бытие, XXXII, 24—28). В довершение всего этот бог рисуется нам Библией *в сапогах*. «На Едома простру сапог мой...» — грозится он в одном из псалмов (Псалтырь, 107, 10). Как видно, «бог богов» вовсе не походил по своим привычкам и внешности на бесплотного духа.

Еще грубее рисовался он своим поклонникам с духовной стороны. Из рая, например, бог изгоняет Адама, по Библии, вовсе не за ослушание своей воле, как это принято теперь истолковывать, а из боязни, что тот, вкусивши от древа познания добра и зла, обретет и бессмертие и сам станет богом. «И сказал господь бог: вот, Адам стал *как один из нас* (т. е. *из богов!*), зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Бытие, III, 22). Сотворив человека, этот бог очень скоро раскаялся в этом и грозит: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил... ибо я *раскаялся,* что создал их» (Бытие, VI, 6—7) [1]. Что же касается правосудия, то у *национального* «бога Израилева» было, как и следует ожидать, по меньшей мере две правды: одна для «избранного народа», а другая — для иноземцев. «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост»,— предписывает, например, закон божий Израилю (Второзаконие, XXIII, 20). «Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу... отдай ее, он пусть ест ее или продай ему, ибо ты народ святой...» (Второзаконие, XIV, 21). «И в рабство брата твоего

[1] В другой раз, гораздо позже, «господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». Но к этому времени понятия о боге стали уже значительно возвышеннее, и это раскаяние почти рядом со словами Самуила: «Не скажет неправды и не раскается верный Израилев; ибо не человек он, чтобы раскаяться ему»,— звучит резким противоречием (1-я Царств, XV, 35 и 29).

не обращай навеки, но покупай себе рабов *у народов, которые вокруг нас»,* и «вечно владейте ими» (Левит, XXV, 39—46). Как видит читатель, иноземцев «святой народ» мог, отнюдь не теряя своей святости, и обирать посредством ростовщичества, и порабощать навеки, и кормить дохлятиной. «Богу евреев» было мало дела до иноземцев.

Впрочем, не до всех. К тем из них, которые являлись национальными врагами «избранного народа», он совсем не равнодушен. К ним он прямо беспощаден. «Не оставляй в живых ни одной души из них»,— предписывает закон божий Израилю, перечислив целый ряд народов (Второзаконие, XX, 16). «Иди и порази Амалика,— говорит господь Саваоф Саулу,— и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца». Когда же Саул оказывается милостивее своего бога и, истребив всех амалекитян, щадит их царя Агага, господь «кается», что воцарил Саула, а верный слуга божий Самуил исправляет ошибку Саула, собственноручно разрубая Агага «перед господом в Галгале» (1-я Царств, XV, 3, 33).

Люди не доросли еще тогда до понятия о боге, чуждом лицеприятия ко всем народам. Божок-покровитель рода Авраама вырос вместе с этим родом в бога-покровителя целого народа, но не больше. Этот бог одобряет или осуждает не то, что хорошо или худо с общечеловеческой точки зрения, а только то, что выгодно или невыгодно для избранного народа. Поэтому нет такого предательства и вероломства, которое, если оно только служило на пользу Израилю, не восхвалялось бы и не поощрялось в книге закона бога Израилева. Вспомним, например, награду блуднице Раав *за измену своему народу* сокрытием у себя в Иерихоне соглядатаев Иисуса Навина. Вспомним восхваление Иаили за то, что та *предательски заманила* к себе Сисару, военачальника ханаанского, и *убила* его сонного, вонзив кол в висок. Сисара был в мире с племенем Иаили, но он воевал с Израилем, и этого довольно: «Да будет благословенна между женами Иаиль» (Навин, гл. VI; Судей, V, 24 и сл.). Даже самое явное мошенничество не претило национальному «богу евреев». «И сказал господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона... Когда же он... с поспешностью будет гнать вас отсюда, внуши народу (тайно), чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей *выпросили вещей серебряных и вещей золотых (и одежд)»*... «И дам народу сему милость в глазах египтян; и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками: каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущих в доме ее... и *оберете* египтян». Дело было к пасхе. Израиль выпрашивает у египтян дорогую утварь и одежды, очевидно, под предлогом этого праздника. «И они давали ему, и обобрал он египтян» (Исход, XI, 1—2; III, 21—22; XII, 36).

Так представляли себе некогда «всемогущего бога» даже религиознейшие люди своего времени.

27. ЖРЕЦЫ И ЕДИНОБОЖИЕ

И нужно сказать, что этот бог, адвокат и потатчик, очень не скоро дорос в глазах своих почитателей до роли *праведного судии всего мира.* Даже в такой мировой религии, как христианство, это случилось не сразу. Так, Иисус, избрав 12 апостолов, говорит им: «На путь *к язычникам не ходите* и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева...» «Я послан *только* к погибшим овцам дома Израилева,— говорит Иисус и хананеянке, молящей его об исцелении дочери,— не хорошо взять хлеб у детей и бросать псам» (Матфей, X, 5—6; XV, 24, 26). Но подобные понятия не могли удержаться в христианстве, которое было поначалу истинной религией всех

«трудящихся и обремененных». Богатым оно угрожало, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в царство небесное, а нищим сулило блаженство. Вспомним притчу о богатом и Лазаре. О личных их грехах и заслугах там нет и речи. Богатый наслаждался в земной жизни?.. и довольно — он идет в ад. Нищий Лазарь страдал? Этого достаточно — ему открыты врата рая. Такая классовая религия не могла ограничиться рамками одного народа. Она распространялась повсюду, где только были богатые и бедные и *классовое* угнетение одних другими, а потому с первых же своих шагов она стала *международной*. И тогда апостолы Христовы поняли, что им не к лицу было делить народы на *детей* божиих и *псов*. «Истинно познаю,— говорит апостол Петр,— что бог нелицеприятен, но *во всяком народе* боящийся его и поступающий по правде приятен ему» (Деяния, X, 34—35). Такова высшая ступень развития идеи о боге.

На этой ступени развития, как мы знаем, нет уже «бога богов», потому что вообще «нет иного бога, кроме *единого*». Но куда же девались все остальные боги? Как объяснить этот последний скачок от многобожия к единобожию? Для этого нам придется вернуться несколько назад.

Скачка, конечно, не было. Все происходило постепенно. По мере того как умножалось племя Авраама, росло и значение его бога. Но если для умилостивления домашних богов не требовалось особых жрецов, так как каждый глава семьи сам «ходил перед лицом» своего бога, то для служения и жертвоприношений племенному «богу богов» скоро потребовался целый штат специалистов. Из народа выделилась целая жреческая каста левитов. Служили они, конечно, только имени бога Авраама, так как соответствующий идол — покровитель рода, очевидно, ничем не выделялся из среды прочих идолов и очень рано затерялся среди них в потомстве Авраама [1]. Но это отсутствие всем доступного вещественного бога было только на руку левитам. Бог, известный всему народу только по имени и объявляющий свою волю всегда через особых избранников, был для них гораздо сподручнее. Вот почему они уверяли, что никто не может видеть лицо господа и остаться в живых (Исход, XXXIII, 20). Да и разговаривал господь с народом, по их изображению, не иначе как среди пламени громовыми раскатами. Вспомните библейский рассказ о явлении бога народу на горе Синае. Тут «были громы, и молнии, и густое облако над горою», «и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась», вообще происходило, по-видимому, самое обыкновенное извержение вулкана. Но Моисей сумел его выдать за чудесное явление бога, и запуганный народ добровольно отказался в пользу левитов от сомнительного удовольствия лично беседовать с таким страшным богом (Исход, XIX, 16—18; XX, 18—19).

Этого только и нужно было левитам. Захватив в свои руки монополию говорить с таким недоступным массам народа господом и законодательствовать от его имени, они очень скоро стали хозяевами положения, бесконтрольно управляя всеми делами народа. Достигалось это примерно так. «А сынам Левия,— говорит верховный истолкователь воли бога от его имени,— вот я дал в удел *десятину* из всего, что у Израиля, за службу их» (Числ., XVIII, 21). И народ послушно нес левитам требуемую десятину, богу же возносилась, конечно, лишь «десятина из десятины». Чтобы упрочить за собою такое положение, кото-

---

[1] У Исаака, впрочем, по всей видимости, был еще такой идол. Жена его Ревекка «пошла попросить господа», когда это ей потребовалось (Бытие, XXV, 22), но идти к «вездесущему» богу ей, конечно, не было нужды. Ясно, стало быть, что она пошла попросить идола, занимавшего определенное место в их жилище или особой кумирне.

рое всецело зависело от влияния на народ того бога, которому они служили, левиты, естественно, должны были умалять значение всех остальных богов соперников. И вот они объявляют, что бог Авраама, Исаака и Иакова — «бог-*ревнитель»*, т. е. ревнующий к славе иных богов. «Ты не должен,— заключают они отсюда именем господа,— поклоняться богу иному, кроме господа бога, потому что имя его — «ревнитель», он бог-ревнитель» (Исход, XXXIV, 14). Бог-ревнитель, так же как и «бог богов», конечно, вовсе еще не устраняет представления об иных богах. Их существование здесь еще не отрицается. Воспрещается лишь поклонение им. Но все же это был уже решительный шаг к полному их отрицанию, ибо боги без поклонения им — это уже только тени богов. И действительно, со временем одни из них оказались забытыми, другие же вроде, например, «Вельзевула, божества Аккаронского», стали в представлении народа диаволами, и на сцене остался один бог-ревнитель.

Конечно, прежде чем левиты провели в жизнь свое запрещение поклоняться своим и чужеземным идолам, им пришлось выдержать упорную и продолжительную борьбу. Но они готовы были на все ради упрочения своего господства. Бог-ревнитель был беспощаден к своим соперникам. «Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот и обратно и *убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего»* — так говорит господь бог Израилев устами Моисея левитам после одной из попыток народа сделать себе *иного* бога, который *шел бы перед ним.* «И пало в тот день из народа около трех тысяч человек» (Исход, XXXII, 27—28). Столь же печально кончилась и другая попытка восстания против захвативших монополию святости Моисея и Аарона. «Полно вам,— говорили возмутившиеся,— все общество, все святы, и среди их господь! Почему же вы ставите себя выше народа господня?» Но сила оказалась не за ними. Мятежники, будто бы по чуду божию, потерпели жестокое «поражение». Зачинщики якобы провалились сквозь землю, а из остальных «умерло от поражения четырнадцать тысяч семьсот человек» (Числ., XVI, 3, 49). Еще хуже приходилось от властных жрецов бога Израиля жрецам и пророкам чужих богов. Пророк Илья один «отвел», по словам Библии, «четыреста пятьдесят пророков Вааловых и четыреста пророков дубравных к потоку Киссону и *заколол* их там» (3-я Царств, XVIII, 19, 40). Допустить поклонение *чужим* богам и делиться с их служителями своим влиянием вовсе не входило в расчеты левитов, и они отнюдь не стеснялись оправдывать именем своего бога даже цареубийства, если цари, уклоняясь от их влияния, пробовали поклоняться чужеземным богам [1].

Так, мало-помалу, путем грознейших предписаний против поклонения иным богам, издаваемых от имени бога-ревнителя (см., например, Второзаконие, гл. XIII), и беспощадной борьбы с их нарушителями, левиты подготовили народ к восприятию идеи единого бога. Но в Ветхом завете эта идея не нашла еще своего полного выражения. Там до конца господствует все та же грозная фигура бога-ревнителя. Великий и страшный, мстящий своим врагам до четвертого поколения, он не мог, конечно, вызвать к себе особенной любви в народе. Но он внушал безотчетный ужас, и этого было достаточно левитам. Они могли издавать от его имени сколько угодно самых мелочных и нелепых

---

[1] Например, когда Иную убил своего царя Иорама, поклонявшегося Ваалу, то, по словам Библии, это было «праведно» в очах господа, и он наградил Иную. Правда, Иную и сам «не отступал... от золотых тельцов, которые в Вефиле и которые в Дане», но доморощенные «тельцы», видно, были не так опасны левитам, как чужеземный Ваал (4-я Царств, X, 19, 29—30). Сравни историю с «Вельзевулом, божеством Аккаронским» (4-я Царств, гл. I).

предписаний — все они становились нерушимыми заповедями божиими. «Не стыдись... окровавить ребро худому рабу», но «стыдись облокачивания на стол...» — предписывали они Израилю чуть не залпом (Сирах, XLII, 1—5; XLI, 24). И Израиль послушно стыдился и не стыдился. Щедрые на предписания левиты не давали ему ступить и шагу, не рискуя споткнуться на какую-нибудь заповедь. Даже отправляясь туда, куда и царь пешком ходит, бедный Израиль должен был помнить особую заповедь божию: «Должна быть у тебя лопатка,— гласит заповедь,— и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое» (Второзаконие, XXIII, 13). И Израиль без спора «садился» и послушно «зарывал» все, что следует по писанию. Да и как ему было ослушаться?

«Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих,— грозил ему сам господь, бог-вседержитель, устами левитов,— то и я в ярости пойду против вас». «Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их...» «Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат...» «И наведу на вас мстительный меч»... и моровую язву, и египетскую проказу, и почечуй, и коросту, и прочее, и прочее, и прочее (Левит, XXVI, 14, 16, 22, 23, 25; Второзаконие, XXVIII, 24, 27).

Возможно ли тут было, ввиду стольких страстей, дерзнуть облокотиться на стол, не устыдившись, или усесться для известной надобности не по писанию? Как ни «спасителен», однако, страх господен, но на одном страхе далеко не уедешь. В загробное существование и загробное воздаяние добрым и злым тогда еще не верили. И в религиозные души при виде царящей в этом мире неправды стали закрадываться, несмотря на страх господен, всеразъедающие сомнения.

28. ЗАГРОБНОЕ ВОЗДАЯНИЕ

«Для чего не умер я, выходя из утробы? — вопрошал уже многострадальный Иов.— Теперь бы лежал я и почивал... я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света». «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет... а человек умирает и распадается; отошел и где он?» «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Проводят дни свои в счастии и мгновенно нисходят в преисподнюю?.. Скажешь: «Бог бережет для детей его несчастие его». Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал... ибо какая ему забота до дома своего... когда число месяцев его кончится?» «Межи передвигают... бедных сталкивают с дороги... Нагие ночуют без покрова... в городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет, и *бог не воспрещает того»* (Иов, III, 11, 13, 16; XIV, 7, 10; XXI, 7, 13, 19, 21; XXIV, 2, 4, 7, 12). «Сыны человеческие,— восклицает другой проповедник,— сами по себе животные, потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна; как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом». «Праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем». «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а *мертвые ничего не знают*, и уже *нет им воздаяния»*. «И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их» (Екклезиаст, III, 18 — 19; VII, 15; IX, 4 — 5, 11).

Когда такие мысли возникают и ширятся в народе, они предвещают близкий конец влиянию жреческой касты. Ей остается тогда либо изобрести что-нибудь новое для успокоения возмущенной совести мирян, либо ждать их бунта против своего бога и его служителей. Но бунт без положительной цели, без нового идеала взамен разбитых верований не принес бы такого успокоения. И сами миряне гораздо охотнее готовы были по тому времени воспринять всякий новый вольный или невольный обман, способный дать им удовлетворение, чем отважиться на открытый разрыв с отживающими обманами. Пришло время, и они получили такое удовлетворение в учении о загробном воздаянии.

— Неужели же нет правды у бога?— вопрошали себя обездоленные.— Неужто же наши мучители так и останутся без воздаяния, а труждающиеся и обремененные — без награды? Нет,— решали они.— Не может этого быть. Если нет правды в этой жизни, есть стало быть, какая-то другая загробная жизнь, где каждый, и добрый, и злой, получит наконец по делам своим.

Такой ход мыслей столь естествен у людей, чувствующих себя бессильными отвоевать для себя самих правду жизни, что учение о рае и аде и загробном воздаянии возникало не раз и до Христа у многих народов, хотя лишь в христианстве оно нашло свою наиболее законченную форму. Дело в том, что из страданий и зол окружающей жизни люди всегда строят себе идеал *лучшей* будущей жизни и так или иначе стремятся воплотить его в действительность. Когда же они *бессильны* сделать это сами, они хватаются, как за якорь спасения, за веру в помощь сверхъестественных сил. Их идеал становится воздушным замком, золотой мечтой, ради спасения которой они готовы даже на перенесение своего идеала в несуществующий загробный мир. Такими бессильными в указанном смысле элементами общества и были в свое время те рабы и нищие, к которым обращался Иисус со своею проповедью царствия божия. Как же им было не радоваться учению, по которому это царствие божие должно было прийти без всякого их содействия, путем божественного вмешательства, и притом прийти так скоро, раньше даже их смерти?

«Истинно говорю вам,— учил их Иисус,— есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие божие, пришедшее в силе...» «Не прейдет род сей, как все сие будет» (Марк, IX, 1; Матфей, XXIV, 34). «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия господня,— прибавляли к этому апостолы,— не предупредим умерших, потому что... мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение господу...» «Время уже коротко»... «*Еще* немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит»... И все «дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых... близок всему конец» (1-е Фессал., IV, 15 — 17, 1-е Коринфянам, VII, 29; Евреям, X, 37; 1-е Петра, IV, 5, 7).

Это учение давало угнетенным и обираемым силу терпеть и ждать. И потому в свое время оно было весьма утешительным для всех бедняков. Но за веками века проходили чредой, рабы и нищие все терпели в ожидании близкого царствия божия и умирали, ничего не дождавшись, поколение за поколением. А обещание царствия божия, которое должно было, по слову Иисуса, прийти в силе еще при жизни апостолов, остается и поныне, вот уже второе тысячелетие, все еще неоплаченным векселем, невыполненным обещанием. Правда, попы и доныне готовы, не сознавая своего духовного банкротства, твердить неизменно все свое: потерпите еще немного, очень немного.

Но тем временем коренным образом изменились формы жизни, и все изменилось. Современный пролетарий уже не нуждается в спаси-

тельных обманах. Ему уже ни к чему утешительные басни о загробном воздаянии. Он и сам скоро сможет стряхнуть с себя повсюду цепи неволи и воздаст, таким образом, должное себе не в мечтах, а на деле. Но тем важнее стала теперь эта сторона христианского учения для богатых и сильных. Для них это по нынешним временам лучший громоотвод. Терпите, терпите, твердят они своим жертвам, то и дело ссылаясь на писание. «Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство — от Господа»,— учит нас премудрый Сирах (Сирах, XI, 14). Если вам теперь худо — не огорчайтесь. Тем лучше вам будет в будущей жизни. Если нам здесь живется недурно — не завидуйте. Тем хуже нам будет на том свете. Там уж всякий получит свое. Одни — вечное блаженство, другие — вечные муки. Терпите же, ибо только претерпевший до конца спасется.

Современный класс трудящихся и обремененных — пролетариат на целую голову перерос, однако, такие грубо-наивные басни. Стремясь к созданию такого общественного строя, в котором всем было бы равно прекрасно жить и развиваться, нынешний передовой рабочий, коммунист, скажет в ответ на такие речи:

— Не соблазняйте нас вашим раем. Вы и будущую жизнь рисуете нам по образцу нынешней. Вы говорите, что и там, как здесь, одни будут блаженствовать, другие же терпеть лютые муки. Мы не понимаем и добровольно отказываемся от такого блаженства. Как могут ваши праведники блаженствовать в раю, зная, что в то же время их братья терпят в аду неизмеримые муки? Разве они думают только о себе, как это делаете вы, блаженствуя, здесь на земле ценою наших страданий? Нет, не надо нам вашего рая. Мы устроим себе свой рай на земле. Но в той будущей жизни, которую *мы* устроим, не будет ни овец, ни козлищ, ни угнетенных, ни угнетателей. В ней все получат возможность одинаково широкой и полной, одинаково радостной жизни...

Вы скажете, что не может же бог оставить одинаково без воздаяния и добрых, и злых. А мы на это ответим: «Почему же ваш бог, «всеблагий, всеведующий и всемогущий» творец добрых и злых, не создал всех людей добрыми? Если он не мог этого сделать, значит, он не «всемогущий», а если не хотел, значит, не «всеблагий». Почему, в самом деле, в мире столько зла и страданий, если его создал бог «всеблагий и всемогущий»?»

Вы скажете, что зло в мире не от бога, а от дьявола. А мы вам ответим: «Разве дьявол сильнее бога? Разве он создан не тем же богом? Зачем же, по ошибке что ли, создал бог этого «отца лжи»? Или бог не «всеведущ»? И затем, по чьей воле сатана творит зло в мире, по своей собственной или по волей божией? Если по своей, то почему же бог не лишит его власти причинять зло? Или он не «всемогущ»? А если по воле божией, то зачем же бог велит ему делать зло? Или он не «всеблаг»?»

Вы скажете, что сатане предоставлена власть искушать, а людям — свободная воля, чтобы лучше испытать добрых и злых, а затем воздать каждому по заслугам. А мы вам ответим: «Разве бог без испытания не в силах отличить добрых от злых? Вы называете бога отцом. Но как назвали бы вы отца, который, видя, в руках пятилетнего сына бритву, занесенную над горлом такого же малыша-братишки, не отнял бы ее под тем предлогом, что он не хочет лишать своих детей «свободной воли»... причинять зло друг другу? Пусть бы он прибавил к этому в свое оправдание, что, если, дескать, Митя прирежет Ваню, он его накажет примерно и справедливость будет восстановлена. Как бы вы назвали такого отца? Не извергом ли или помешанным? Но вы именно такую роль приписываете вашему богу. Нам не надо такого бога».

И, сказав так, рабочий несомненно будет прав. В мире действительно слишком много зла, чтобы творцом его возможно было предположить *«всеблагого»* бога. Ссылка на свободную волю людей ровно ничего в этом отношении не объясняет. Ведь «всемогущий» бог, если он не хотел уж *всех* людей создать добрыми, мог бы по крайней мере устроить жизнь так, чтобы и при полной свободе желать зла люди злой воли самими условиями жизни лишены были власти делать его. Или «всеведущий» бог не мог додуматься даже до того, до чего додумались рабочие-социалисты? Но ссылка на свободную волю звучит прямо злой насмешкой, когда мы узнаем из писания, что вся судьба человека предопределена богом прежде даже, чем он родится. Про сыновей Ревекки, например, написано: «Когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого... сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего»... «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел»» (Римлянам, IX, 11 — 13). За что же это бог авансом возненавидел неродившегося Исава? Разве тот не мог оказаться и добрым, так же как и злым, если ему была дана свободная воля? А если нет, если бог заранее уж предопределил ему родиться со злой волей, то кого же надо винить в этом и «ненавидеть» — Исава или бога? Можно ли признать «всеблагим» или даже только праведным бога, который карает и ненавидит людей за то, что они таковы, какими он сам их создал? Конечно, нет. Но такого бога, несовершенство которого очевидно даже для нас, простых смертных, мы не можем признать за бога, пусть им пугают ворон, если угодно. Для иной цели в наш век свободной мысли он уже не может рассчитывать на признание.

29. ЗАЧЕМ ВЫДУМАН БОГ

— Безумцы! — воскликнет тут какой-нибудь фарисей.— Вы не верите в бога. Вы не понимаете, что он так необходим человечеству, что, если бы его и в самом деле не было, его следовало бы выдумать. Ведь не будь у людей страха перед вездесущим и всевидящим богом, который запрещает делать зло ближним и от которого никуда не спрячешься, так ведь тогда все было бы позволено человеку... И встал бы брат на брата, и все стали бы убивать друг друга, и пришел бы конец миру.

— Напрасно вы думаете,— можно ответить такому фарисею,— что лишь узда страха божия удерживает людей от взаимного истребления. Живут же, не истребляя себе подобных, чуждые всякой религии дикие звери. Так неужто же люди оказались бы глупее ослов или свирепее тигров? Человек действительно может сказать словами апостола Павла: «Все мне позволительно», но — и это очень важное «но» — *«но не все полезно»* (1-е Коринфянам, VI, 12). А потому из одного лишь соображения собственной пользы, из инстинкта самосохранения, не говоря уже о более высоких побуждениях, люди сумели бы устроить свою жизнь по правилу «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Но в этом именно правиле, по свидетельству Иисуса, и заключается «закон и пророки» (Матфей, VII, 12). Что же прибавляет к этому страх божий? Защищает ли он бедных и немощных от богатых и властных? Ничуть. Наоборот, он служит щитом лишь богатым от бедных и угнетателям от угнетенных. И каким еще щитом. Самая всеведущая полиция и наиболее вездесущие шпионы не защитили бы так угнетателей и эксплуататоров от справедливого возмездия их жертв, как глубокая вера их в необходимость, выполняя волю всевышнего, все претерпеть в этой жизни ради загробного воздаяния.

Это превосходно понимал тот мудрец, который утверждал, что бога следовало бы выдумать. Он знал, для чего его выдумывают. Если бы ему, подсмеивался этот мудрец, имея в виду одного ученого вольнодум-

ца, если бы ему пришлось управлять чернью, он живо бы ввел в своих владениях какую-нибудь религию. Итак, религия *необходима для управления чернью?* Страх божий может заменить собою действие многочисленной полиции и жандармерии? Так что ли, господа фарисеи? О, конечно, так. Мы вас вполне понимаем. Бог и черт с их посулами рая и угрозами ада на полицейской службе у современных иродов и пилатов — вот картинка, достойная пера великого сатирика.

Но оставим фарисействующих иродов с их полицейским богом и обратимся к искренно верующим. Верующие чтят в боге, конечно, не полицейского стража, а законодателя добра. Они убеждены, что без помощи бога люди не могли бы отличать добро от зла, и на этом именно зиждется их вера в бога — добро. Но так ли это? Чем руководствуемся мы в различении добра и зла? Велениями бога? А что, если бы бог велел все то, что мы почитаем добром, переименовать во зло, и наоборот? Мог бы человек последовать такому велению? Стал бы он любовь к ближнему почитать за смертный грех, а убийства, грабежи и насилия — за добродетель? Вы скажете, что всеблагий бог не может издать таких велений? Но ведь обобрать египтян и истребить вплоть до грудных младенцев Амалика повелел, по свидетельству Библии, бог. Так вот, признаем ли мы такие деяния добрыми? Нет, не признаем. А если это так, то не все, стало быть, хорошо, что велит бог, и человек отличает добро от зла, вовсе не считаясь с его велениями.

Эта способность различать добро от зла, становясь в этом отношении судьей хотя бы самих богов, с древнейших времен присуща каждому человеку. Будучи животным общественным, человек очень рано приучился различать все то, что полезно обществу, от того, что ему вредно, и первое стал называть добром, а второе — злом. С течением времени эта привычка обратилась в прочный *инстинкт*. Этот инстинкт, направленный к общему благу, принято называть общественным или социальным в отличие от эгоистических инстинктов, направленных к личной выгоде человека. Так вот этот-то *социальный инстинкт* и подсказывает человеку при каждом его поступке, худо или хорошо он поступает. Конечно, с развитием общественной жизни развивались и социальные инстинкты человека, а вместе с тем развивались и его моральные понятия, весьма различные для разных времен и разных общественных классов. И ныне, например, моральные понятия сознательных пролетариев значительно превосходят те, какие 2 тысячи лет тому назад запечатлелись в евангельской морали.

30. ЕВАНГЕЛЬСКАЯ МОРАЛЬ

В самом деле, чему нас учит Новый завет? «Не мстите за себя, возлюбленные»,— читаем мы там. Почему же не мстить? Потому ли, что месть — зло? Нет. Не мстите потому, что бог отомстит за вас: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу божию, ибо написано: «Мне отмщение... я воздам». Итак, если враг твой голоден — накорми его; если жаждет — напои его, ибо, *делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья»* (Римлянам, XII, 19—20). Вдумайтесь в эти слова. К чему этот призыв? К отказу от мести или к наиболее жестокой мести? К добрым или злым инстинктам обращен этот призыв? Читаем далее: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» и т. д. Почему? Потому ли, что это добро? Нет, но для того, чтобы иметь заслугу перед богом и получить от него награду, «ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» (Матфей, V, 44, 46). Далее следуют прекрасные заповеди о том, чтобы творить все добрые дела тайно, не трубя о них по-фарисейски в синагогах и на улицах. А за ними опять тот же припев: «Иначе не будет вам

награды от отца вашего небесного». Твори добро тайно, «и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матфей VI, 1, 4). Далее следует заповедь всепрощения с тем же припевом: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам отец ваш небесный» (Матфей, VI, 14—15). Вообще же все учение основано на правиле «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матфей, VII, 2).

По этой морали человек соблюдает заповеди добра не из бескорыстной любви к людям, а из шкурного страха возмездия или ради награды. Но такое добро, творимое из корысти, ради райских утех, или из-под палки под страхом ада,— сомнительное добро. На такое добро способны и мытари, и фарисеи. Вот к какому выводу приходят теперь все чаще чуткие к правде сердца пролетариев. И это лучший признак, что христианская мораль доживает свои последние дни. На смену ей выдвигается уже новая, *пролетарская мораль,* мораль борцов за братство и свободу, борцов за коммунизм. Эта мораль воспитывается в *коллективной борьбе* против эксплуататоров, в массовых стачках и партийной товарищеской солидарности, в борьбе, успех которой был бы совершенно немыслим без взаимной поддержки и жертв во имя общих идеалов грядущего человечества. Сторонникам этой новой морали придется прежде разрушить своей критикой подгнившие устои ада и рая, чтобы люди могли творить добро бескорыстно, из одной лишь братской любви к ближним. И только тогда, уже на развалинах ада и рая, под которыми будет погребена навеки худосочная мещанская мораль «долга» и «расплаты», они смогут воздвигнуть прочный фундамент для своей, яркой, как солнце, и здоровой, как сама природа, бескорыстной пролетарской морали, без узды и арапника.

Конечно, люди, нищие духом, не скоро смогут примириться с такой свободной моралью без долга и расплаты, без бога и черта. Если нет бога, лепечут они растерянно, то кто же сотворил мир? Ведь всякая вещь имеет своего творца и начало... Но нищих духом мы спокойно можем оставить при их «блаженстве» нищеты духовной. Ведь они не поймут нас, если мы их спросим: «А откуда же взялся бог, если все должно иметь своего творца и начало? Кто же и когда создал бога? Если же, по-вашему, бог не имел ни творца, ни начала, значит, не все имеет свое начало. И тогда не проще ли допустить, что не бог, а мир не имел ни творца, ни начала?..» Нищие духом не поймут этого. Но зато тем лучше поймут нас все смелые умы и пылкие сердца, когда мы им скажем: «Бога никто никогда не видел», свидетельствует апостол (1-е Иоанна, IV, 12). И это вполне понятно, потому что никакого бога в природе нет. Можно, конечно, все лучшее, что живет в нашей собственной душе, представить себе как нечто внешнее, поднимающее наш моральный облик над уровнем рядового мещанина-себялюбца, и назвать это лучшее богом. И все же это будет лишь игра слов или самообман. Никакой внешний авторитет не может внушить нам добрых чувств к людям, если их не рождает в нас повседневно все наше общественное бытие, все наличные условия труда и быта и общие задачи в общих интересах всех трудящихся. Там, где нет этих условий и люди «должны» творить добро, повинуясь лишь авторитету церкви или «страху божию», там нет и прочной основы для такой «морали долга». С долгами ведь люди не очень охотно расплачиваются.

Вспомним лучшие из евангельских заветов: «Если мы любим друг друга, то бог в нас пребывает», а «кто говорит: я люблю бога, а брата своего ненавидит, тот лжец» (1-е Иоанна, IV, 12, 20). Отсюда можно заключить, что, говоря о «боге», апостол имел здесь в виду лишь присущие людям внутренние их добрые чувства любви друг к другу. Там, где их нет, нет, стало быть, и «бога». Незачем, значит, и искать его там, вне человеческих взаимоотношений. И когда люди объективируют эти свои

лучшие чувства вне человека и, обожествляя их, поклоняются этому бестелесному призраку «бога», они впадают лишь в новую ересь идолопоклонства, где идолом становится сам идеализирующий себя идолопоклонник.

Так скажет вольнодумец.

31. ВЫВОДЫ НАУКИ

Все вышесказанное о священных писаниях христиан может проверить, взяв в руки Библию, каждый грамотный человек. Каждый здравомыслящий читатель этих писаний сможет, стало быть, и сам разобраться в их достоинстве. Но не каждый знает выводы современной исторической науки о том времени и конкретной обстановке, в которой получили свое начало эти писания. Изучением этого начального периода развития раннего христианства в его литературных памятниках очень много занимались и профессора богословия, и советские историки. И если не во всем, то во многом пришли в полном согласии к весьма неожиданным для всех верующих выводам. В частности, выяснилось, что основной источник наших сведений о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа, т. е. Евангелие, и «Деяния апостолов», записанные якобы ближайшими его учениками и современниками, написаны и стали известны миру не ранее 160—180 гг. нашего летосчисления, т. е. около 150 лет спустя после предполагаемой смерти Иисуса. Значит, либо авторы этих писаний прожили каждый свыше 150 лет, что совершенно неправдоподобно, либо, назвавшись живыми свидетелями жизни и смерти Иисуса и его любимыми учениками, каким считался, например, в апостольской среде младший из них, Иоанн, они вовсе не были ими.

Но можно ли по памяти восстановить дословно, скажем, все речи и проповеди Иисуса, записанные 150 лет спустя после того, как они прозвучали? Еще меньше можно положиться на достоверность событий, передаваемых из уст в уста в течение нескольких поколений. В особенности если эти авторы, всуе выдавая себя за современников описанных событий, не были ими. Уклонившись от истины в одном случае, они сами заставляют сомневаться в своем правдолюбии и во всех других своих свидетельствах.

Книгопечатания в те времена еще не было. Рукописные сочинения при многократной их переписке искажались описками, пропусками слов и домыслами малограмотных переписчиков, а также тенденциозной правкой редакторов до неузнаваемости. Но за первые десятилетия жизни христианских общин о них не сохранилось вообще никаких рукописей. Да и предположить их трудно, учитывая, что первые проповедники новой веры апостольского века, как выходцы из народных низов — рыбаки и ремесленники, едва ли были шибко грамотны. Заслуживает также особого внимания, что все эти апостолы Иисуса были иудеями, а все священные книги Нового завета, включая Евангелие, апостольские деяния и послания, написаны на чуждом им греческом языке. Причем некоторые из авторов этих книг обнаруживают свое знакомство не только с греческим языком, но и с греческой философией.

В частности, «Послания апостола Павла» к римлянам, коринфянам, ефесянам и прочим церковным общинам нового вероучения, открытые впервые в собрании «еретика» Маркиона не ранее 139 г. н. э., несомненно заключают в себе элементы греческой философии («гносис») и по этой примете не могли быть написаны раньше 30-х годов II в. Но апостола Павла, известного в качестве первоучителя язычников, в эти годы заведомо не могло уже быть в живых. Значит, от его имени эти послания писал кто-то другой, смело выдавая себя за живого свидетеля и

участника событий столетней давности, о которых он мог знать разве лишь понаслышке от отцов и дедов. Подобная «смелость» самозванных авторов, по-видимому, соответствовала литературным нравам эпохи, допускавшей и «благочестивый обман» верующих, если он служил интересам церкви. Но «свидетельства» таких авторов нельзя признать образцом достоверности. А между тем никаких других, более достоверных свидетельств о жизни и деятельности первоучителей и основателей христианской церкви до нас вообще не дошло. И потому не приходится удивляться, что уже не один из серьезных историков высказывал сомнение даже в реальном существовании этих легендарных «основателей» христианства. Так, академик Р. Ю. Виппер в своем последнем исследовании раннего христианства прямо утверждает, что «миф о Христе и апостоле Павле, как исторических личностях, есть литературная легенда второй половины II в. нашей эры» [1].

Однако в последние годы нашлись и некоторые документальные первоисточники этой литературной легенды. У раннего христианства обрелись и ближайшие идейные предшественники. Мы имеем в виду свидетельства о них, открытые недавно в так называемых Кумранских рукописях. Эти рукописи, запрятанные в подземных пещерах пустынной местности Вади-Кумран, в 22 км от Иерусалима, были случайно найдены впервые в 1947 г. одним из арабов, а затем их неоднократно находили (до 1963 г.) и в других пещерах. В отличие от христианских священных книг, дошедших до нас лишь в греческих переводах, Кумранские кожаные и папирусные свитки написаны на местных — древнееврейском и арамейском языках и, по-видимому, отражают религиозные воззрения и быт одной из преследуемых сект, возникшей еще во II в. до н. э.

Еврейский писатель I в. Иосиф Флавий ничего не знал о «христианах». И это понятно, ведь слово «Христос» — греческое, по-еврейски оно звучало «Мессия» (помазанник), и первые ученики Мессии, евреи, скорее могли бы назвать себя «мессианами», или по аналогии с фарисеями и саддукеями — «мессеями». Но тот же Иосиф Флавий прекрасно знал секту, именуемую им «ессенами» или «ессеями». И вот что он о них пишет: «К богатству они относятся с презрением, и поразительна их общность имущества; среди них нет никого, выделяющегося своим имуществом, ибо существует закон, что вступающие в общину предоставляют свое имущество в общественную собственность секты... и словно у братьев, у всех одно общее имущество» [2]. Подтверждают такой образ жизни ессеев и греческий философ Филон, и римский — Плиний Старший. А главное, подтверждается он и ныне найденными кумранскими документами. По уставу общины в Кумране (I, 12) все ее члены должны были принести в нее *«все свое знание, всю свою силу* (т. е. труд) *и все свое имущество»*.

Кумранская община, судя по раскопкам ее руин, представляла собой целый комплекс строений, разделенных дворами. Внутри дворов было семь каменных водоемов и производственные помещения гончарных мастерских, прачечной, красильни, мельницы, хлебопекарни и др.; самое большое помещение — человек на 100 (22 $\times$ 4,5 м) — было, повидимому, трапезной и местом общих собраний. К нему примыкала посудная, где обнаружено до 1200 штук разной посуды, в том числе 38 горшков, 21 кувшин, 708 чаш и 210 тарелок. Из сельскохозяйственных орудий обнаружены железные серпы. Найденные здесь серебряные и бронзовые монеты датируются концом II в. до н. э.— до 68 г. н. э., т. е. до второго года Иудейской войны против Рима. Это был центр совмест-

---

[1] Р. Ю. Виппер. Рим и раннее христианство. М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 69.
[2] И. Д. Амусин. Находки у Мертвого моря. М., 1964, стр. 42.

ного труда и потребления общины числом не свыше 200 человек. В Кумранских рукописях они не называют себя ессеями. В числе их самоназваний — «община бедных», «простецы или малые», «сыны света», «община истины», а также «Новый союз» или «Новый завет».

Все эти названия несомненно напоминают нам христианские писания Нового завета. Можно найти в Кумранских рукописях и другие сближения с позднейшими христианскими писаниями. Основателя своей общины кумраниты тоже признавали Мессией, но, считая его «избранником бога» и «учителем праведности», в божеский сан все же не возводили. Во главе кумранской общины стояли 12 выборных членов совета; первых христиан возглавляли 12 апостолов, хотя и с иными функциями. Каждый неофит, допускаемый в общину Кумраны, должен был предварительно «очиститься» водой омовения. И это напоминает христианский обряд крещения. Но устав общины тут же предупреждает всех неофитов, вступающих в воду, что они не «очистятся (водой), если не отвратятся от зла». В обычаях общины, как и у первых христиан, были *общие трапезы* с благословением хлеба и вина (или виноградного сока). Устав Кумраны (VI, 2) одобрял этот обычай: «Пусть вместе едят, вместе благословляют, вместе совещаются», но не усматривал в этом никаких «таинств». Кумраниты, как и христиане, жили в ожидании «последних дней», когда воскреснет умерший учитель и «в руку избранника своего бог отдаст суд над всеми народами». Только этот «конец времен» представлялся им весьма реалистически в чисто военном плане 40-летней мировой войны «сынов света» до окончательной их победы над «сынами тьмы». После чего, как поясняет свиток Войны, «в руки *бедняков* предашь ты врагов *всех стран,* в руки склоненных к праху, чтобы унизить *могущественных* людей (всех) народов». И это вовсе еще не будет концом света, ибо другой фрагмент книги Тайн раскрывает перед нами, что только после такой завершающей победы, «как тьма отступает от света», «знание заполнит мир, и не будет в нем никогда больше глупостей!» [1]

Это лишь мечта. Но в такой бедняцкой мечте зреет уже светлая идея всемирной социальной *революции* трудящихся!

Сопоставляя такое древнейшее учение с позднейшим христианством, мы находим в них немало общего и в области моральных устоев, и в быту. Но есть и существенные различия. В древнейших общинах кумранитов не было еще ни рабов, ни господ. И они резко осуждали рабовладельцев, как «оскверняющих *равенство»* нечестивцев [2], в то время как позднейший христианский Новый завет уже требовал: «...рабы, повинуйтесь своим господам!» (Пав. Ефес., VI, 5). В связи с этим устав Кумраны учит «любить всех сынов света... и *ненавидеть* всех сынов тьмы» (I, 9—12). А евангельская мораль, равняясь уже на преобладание рабов в своих рядах, внушает им надежду лишь на загробное воздаяние и оглашает новую заповедь смирения: «Не противься злому» (Матфей, V, 38). Не менее существенны и другие отличия. И прежде всего то, что в учении кумранитов вовсе не было никаких догматов (о троице единосущной, о непорочном зачатии и пр.). Не было в нем и чудес сверхъестественных. Да и всякой мистики обрядной и таинств непостижимых было несравненно меньше, чем, скажем, в туманах новозаветного «Откровения» Иоанна Богослова. И, конечно, все эти догматы, чудеса и таинства, дополнившие собою учение древнейших предшественников христианства,— это и есть та литературная легенда, которой обросли за сотни лет все канонические книги Нового завета.

---

[1] И. Д. Амусин. Указ. соч., стр. 21, 25.
[2] Там же, стр. 39.

Основной вывод: христианское учение, как бы его ни называли, получило свое начало еще до нашей эры. И, несомненно, у него был свой первооснователь. Но когда он родился и как его звали,— это пока еще в точности неизвестно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение нам хочется еще раз подчеркнуть один из важнейших выводов объективной общественной науки. Изучая историю всех религиозных вероучений и отметая из них все наиболее баснословные вымыслы и суеверия как естественную дань глубокому невежеству той среды, в которой они возникли, нельзя не отметить, что и наиболее рафинированная религиозная мысль наших дней чрезвычайно консервативна. Каждый из ее домыслов, освященный «божественным» авторитетом, становится непререкаемой догмой, бесспорным чудом или непостижимым таинством. Отсюда вытекает и общая инерция застоя таких вероучений. Отсюда же и крайняя непримиримость таких представлений, как понятие о боге с его застывшими качествами мнимой вечности, неизменности и совершенства, и идеи свободы с ее задачами все изменить, обновить и усовершенствовать. Всякое живое слово и творческую мысль в области познания, перестройки общественных норм поведения или смены самих экономических основ общества религиозная мысль отвергает уже потому, что усматривает в них опаснейшее покушение на монопольные прерогативы самого божественного Промысла. Но Промысел этот ничего сам не промышляет.

А между тем мы переживаем эпоху небывалой еще в мире активности и сдвигов во всех областях человеческого творчества. В области производства страны социализма, выполняя и перевыполняя свои величественные планы, уверенно опережают в темпах своего роста самые передовые твердыни капитализма. В области государственной политики рушатся последние устои грабительского колониализма. На арене истории появляются все новые народы, жаждущие свободы и тем охотнее готовые поддержать страны социализма в их мирной политике и энергичной борьбе за всеобщее и полное разоружение всех народов. А в области науки и техники открываются все новые горизонты небывалых еще достижений Разума.

Он все глубже проникает в самые недра атомного ядра и в отдаленнейшие глубины Вселенной. Советские ученые, совсем не прибегая к помощи богов, объясняют происхождение жизни на Земле, возникновение новых звездных ассоциаций и всего мироздания. Советские инженеры создают все новые спутники и лунники, межзвездные ракеты и планеты и штурмуют ими небо, отправляя все дальше в глубь Космоса. Снабженные точными приборами, эти космолеты отмечают все достойное внимания на своем пути, способны сфотографировать задний лик Луны, передать это фото радиограммой земным адресатам, вернуться обратно на Землю с живыми наблюдателями космических далей. Весь мир радуется этим успехам человеческого Разума и готов расширять его творчество новыми, еще более яркими и смелыми достижениями. И это наводит на размышления даже самых невежественных пустосвятов.

Но тщетно они недоумевают в досаде: как же это все эти дерзкие посланцы Земли, спутники и лунники, облетевшие много раз все небесные пространства, не наткнулись там ни разу на «небесную твердь» и не встретили на своем пути ни райских обитателей, ни адской черты оседлости в той столь обширной «преисподней», в которой поджариваются миллиарды грешников под присмотром самого сатаны? Им, может быть, и невдомек еще, что за пустые вымыслы человеческой фантазии мудрено реально зацепиться. Но со временем сама жизнь в повседневном опы-

те всех своих проявлений ликвидирует наиболее устаревшие пережитки бытующих еще небылиц. А культурная работа и упорная идеологическая борьба с такими пережитками лишь ускорит и завершит их ликвидацию.

Казалось бы, что разномыслия на такие отвлеченные темы, как тема о том, что собственно ожидает всех нас «на небесах», можно было бы отложить и на будущее, предоставив всецело эти небеса и решение задачи голубям, летчикам и астронавтам. Но, к сожалению, столь высокая идеологическая «надстройка» сильно мешает возведению под ней более прочного базиса новых общественных отношений. И в нашу эпоху строительства коммунизма решение таких задач никак нельзя надолго откладывать. В предпринятой ныне коренной перестройке всего труда и быта нельзя под новое здание заложить даже фундамент без того, чтобы не убрать без излишней проволочки над ним всех старых чердаков и голубятен, а вместе с ними и той застойной идеологии, которая боится правды, никуда не ведет и зовет лишь нас *вспять* со всех колоколен.

Творчество осуществимо лишь в условиях свободы. И мы зовем всех к самому свободному и активному коллективному творчеству, какое только возможно на путях построения коммунизма.

1965 г.

ЧЕРТЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА*

●

*С. Г. Струмилин. Договор займа в древнерусском праве. М., 1929.

ОТ АВТОРА

История русского гражданского права, как известно, вообще мало разработана и представляет собой богатое поле для научных изысканий и исследований. Но особенный интерес, способный привлечь внимание не только историка-юриста, но и социолога-экономиста, представляет в ряду других относящихся сюда тем история древнерусского займа. Дело в том, что юридическая форма займа искони покрывала собой весьма сложную сеть кредитных отношений, в тонкой паутине которых мало-помалу запутывались все более широкие слои населения. Вызываемые требованиями гражданского оборота в условиях растущей общественной дифференциации, кредитные отношения в свою очередь сами становились фактором дальнейшего социального расслоения.

Известно, что в древности заем носил ярко ростовщический характер. До начала XII в. годовой процент роста по займам определялся у нас нормой на два — третий, т. е. в 50% за год, а затем, с Владимира Мономаха до Алексея Михайловича, т. е. с XII до XVII в., русское право ограничивает законный процент нормой на пять — шестой, т. е. в 20% годовых. Но практика, разумеется, далеко выходила за эти нормы, в особенности когда вместо денежной формы этот процент взимался натурой по формуле *«а за рост — пахати,* или *за рост — служити и* т. д., или при семейных и продовольственных ссудах крестьянам хлебом». Ссужая своим крестьянам зерно, помещик обычно, даже в XVII в., не требовал процентов, но отмерял ссужаемое зерно в «отдаточную» четверть — в шесть четвериков «вровно», а возвращать ссуду приходилось уже другой мерой — в «приимочную» четверть — в восемь четвериков «с верхи», причем эти «верхи» поднимали разницу между этими мерами до 58%. Такие ростовщические проценты создавали базу для накопления ростовщических капиталов. А эти последние, обращаясь затем в торговле, перерастали в процессе неэквивалентного обмена в еще более значительные — торговые капиталы. На базе этих взаимоотношений и совершалось прежде всего то первоначальное накопление, которое затем явилось предпосылкой развития современного капитализма и капиталистической эксплуатации. Вместе с тем на почве займа, в порядке эволюции форм его обеспечения, постепенно складывалась и вырастала все более прочная цепь зависимых отношений — от закупничества через служилую кабалу к крепостной зависимости. Нужно ли говорить, какой интерес представило бы выяснение путей развития и взаимной связи этих институтов, оставивших по себе столь глубокие следы в истории России. Но для этого, конечно, необходимо прежде всего более близкое и детальное знакомство с древнерусским займом, чем то, каким мы доныне располагали. Правда, истории займа и доныне везло в русской литературе более других вопросов гражданского права. Ей посвящена даже пара специальных монографий, из которых первая, впро-

чем, сильно устарела [1]. Однако и после них в указанной области осталось столько спорного и неясного, что новая попытка разработки материала, особенно для освещения социальной стороны вопроса, не только желательна, но и необходима.

Согласно намеченному плану настоящего исследования нам прежде всего придется осветить вопрос о происхождении древнейшего обязательства из займа. Вопрос этот ввиду оживления на Западе деликтной теории происхождения обязательств, каковая, на наш взгляд, отнюдь не подтверждается данными истории русского права, заслуживает особого внимания, и мы ему посвящаем отдельный очерк. Предметом следующего затем очерка будет характер древнейшего обязательства из займа.

1. ГЕНЕЗИС ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ЗАЙМА

Приступая к изучению займа в русском праве с древнейших времен, естественно прежде всего задаться вопросом о времени возникновения этой сделки и характере ее происхождения.

Нет сомнения, конечно, что отношения по займу, предполагающие наличность имущественных неравенств, или, говоря иначе, наличность известного социального расслоения на почве института частной собственности, возникли не раньше этого института, а стало быть, во всяком случае не раньше разложения так называемого первобытного коммунизма. Но состояние наших источников не позволяет нам углубиться в эту, так сказать, доисторическую эпоху. Древнейшие дошедшие до нас памятники русского права относятся, как известно, уже к X—XI вв., когда от первобытного коммунизма у славян оставались, по-видимому, одни лишь воспоминания. Таким образом, относительно времени возникновения займа нам следует выяснить лишь одно: возникает ли заем на наших глазах, в историческую эпоху, или мы его находим в готовом виде с первых же страниц истории права и, следовательно, начало кредитных отношений в древнерусском быту должны отнести к эпохе доисторической?

Поставив так вопрос, нужно сказать сразу, что и общие соображения, и факты, бесспорно, свидетельствуют в пользу последнего из решений: возникновение у нас отношений из займа надо несомненно относить еще к доисторической, или, говоря точнее, к дописьменной, эпохе. Дело в том, что русское общество X—XI вв. было уже очень далеко от того первобытного состояния, в котором, не зная ни имущественных неравенств, ни сколько-нибудь значительного торгового оборота, оно могло еще легко обходиться без развития кредита.

О степени социального расслоения общества к моменту древнейшей кодификации Русской Правды, открытой Татищевым в летописи под 1016 г., можно судить по следующим фактам. Из рассказа летописца о крещении Руси видно, что русское общество уже в X в. знало и хозяев и работников, и богатых и нищих [2]. А в 1018 г., когда новгордцы на вече решили нанять в складчину варяжскую дружину в помощь Ярославу, то по раскладке им пришлось обложить простых мужей по 4 куны, старост — по 10 гривен, а бояр — даже по 18 гривен с плательщика. Считая в тогдашней гривне по 25 кун, надо принять, что высший класс бояр уже в ту отдаленную эпоху был примерно в 112,5 раза состоятель-

---

[1] А. Загоровский. Исторический очерк займа по русскому праву до конца XIII столетия.— «Университетские известия», № 8. Киев, 1875; Вс. Удинцев. История займа. Киев, 1908.

[2] «Полное собрание русских летописей» (ПСРЛ), т. 1. СПб., 1846, стр. 50 под 988 г.: «Посем же Володимир посла по всему граду глаголя: «аще не обрящеться кто реце, богат ли, ли убог, или нищ, ли работник, противен мне да будет»».

чее рядовых граждан [1]. Но разве такая беднота, живущая бок о бок с богатством, не предполагает уже сама по себе значительного развития кредитных отношений!

Еще более показательным в том же смысле следует признать следующий факт. Как видно из множества кладов с серебряными диргемами VIII и IX вв., которые были обнаружены в районе Днепра, а также из прямого свидетельства арабского писателя IX в. Ибн Хордадбе, оживленный торговый оборот между Днепровскою Русью и Хазарско-арабским Востоком завязался еще столетия за два до первой записи древнейшей редакции Русской Правды. О характере этой торговли Ибн Хордадбе сообщает: «Что же касается купцов — русских — они же суть племя из славян, то они вывозят меха выдры, меха черных лисиц и мечи из дальнейших концов Славонии к Румскому морю». Русские купцы доставляли свои товары в греческие города, к Черному морю, спускались по Дону и Волге к хазарской столице, выходили в Каспийское море, проникая на юго-восточные его берега и даже достигали на верблюдах со своими товарами Багдада, где их и видал Хордадбе, писавший об этом не позднее 846 г.[2] Трудно думать, конечно, что столь бойкий торговый оборот мог протекать в течение целых столетий, не породив исторически с ним неизбежно связанных кредитных отношений.

Переходя от подобных фактов и общих соображений к непосредственным справкам из источников истории древнерусского права, можно бы прежде всего сослаться на один из древнейших памятников этого рода — договор Олега с греками от 911 г. В ст. 13 этого торгового по своей задаче договора, где идет речь о порядке наследования имущества по смерти кого-либо из русских в Царьграде и о способе передачи этого имущества наследникам умершего в Русь, сказано «кому будеть писал наследити именье, да наследить е́ от взимающих куплю Руси от различных ходящих в грекы и удолжающих» [3]. Отражает ли эта статья русские или византийские порядки наследования? Во всяком случае несомненно одно: возлагая передачу наследства в Русь на русских купцов, ходящих в греки и «удолжающих», эта статья мимоходом удостоверяет наличие долговых отношений среди торгующей Руси уже к X в.

Но в данном случае еще не вполне ясно, о каких именно долговых отношениях идет речь. Вытекают ли они подлинно из займа, или из какого-либо другого договора, или даже совсем не из договора, а из деликта, т. е. из правонарушения либо «обиды».

Последнее предположение заслуживает особого внимания. Дело в том, что по господствующим представлениям о развитии права древнейшие обязательства возникали именно из деликта, представляя собою композицию или узаконенный выкуп от родовой мести за причинение вреда или ущерба. Так, главный обоснователь этого взгляда на Западе А. Хейслер утверждает вполне категорически, что «обязательственное право началось не с договора, а с порождающего долг деликта» [4].

---

[1] ПСРЛ, т. 1, стр. 62 под 1018 г.: «Начаша скот сбирати от мужа по 4 куны, а от старост по 10 гривен, а от бояр по 18 гривен...» Так по Лаврентьевскому списку; в Ипатьевской летописи и везде, кроме Лаврентьевской, вместо «18 гривен» стоит «по осмидесять», что давало бы основание к еще более резкому выводу — считать тогдашнее боярство раз в 500 богаче «мужей» ($80 \times 25 : 4 = 500$).

[2] А. Я. Гаркави. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины VII в. до конца X в. по Р. Х.). СПб., 1870, стр. 49; В. О. Ключевский. Курс русской истории.— Соч., т. I, ч. I. М., 1956, стр. 126—127.

[3] Этот текст из договора Олега и все последующие из других юридических памятников, если не будет особой ссылки на иной источник, цитируются по известному изданию: М. Владимирский-Буданов. Хрестоматия по истории русского права, вып. 1. Изд. 5. СПб. и Киев, 1899, стр. 7.

[4] Andreas Heusler. Institutionen des deutschen Privatrechts, Bd. II. Leipzig, 1885—1886, S. 230: «Aber ein Obligationenrecht hat nicht mit einem Vertragsrechte begonnen, sondern mit Delicten und den aus ihnen entspringenden Verpflichtungen».

Один из русских исследователей, специально изучающих этот вопрос, А. Г. Гусаков формулирует ту же мысль следующими словами: «едва ли мы погрешим против истины, если скажем, что в порядке исторического возникновения обязательства из деликтов предшествуют обязательствам из договоров» [1].

Деликтная теория обсновывается главным образом на фактах истории германского и римского права. Но некоторые исследователи довольно решительно распространяют выводы относительно этой теории вообще на все народы, придавая ей, подобно А. Г. Гусакову, значение «общего закона, наблюдаемого в истории права» [2]. В соответствии с этим следы деликтного происхождения древнейших обязательств усматриваются не только у римлян и германцев. «Через деликтную стадию,— утверждает, например, А. Г. Гусаков,— договоры прошли и в системах других народов... Исключения не составляет в этом отношении и древнейшее русское право» [3].

Отнюдь не задаваясь здесь целью проверять общие основания деликтной теории в отношении всех народов, мы по теме настоящей работы никак не можем, однако, обойти вопроса о соответствии названной теории фактам истории русского права и сразу же должны сказать, что эти факты при ближайшем их рассмотрении, на наш взгляд, нимало не подтверждают деликтной теории.

Исходным пунктом этой теории, утверждающей, что «все обязательственное право вступает в правовую жизнь со стороны деликта», можно считать следующее обобщение Хейслера: «У всех народов наблюдаются пережитки древнейшего права, по которому заем осуществлялся лишь в форме грабежа и заимодавец свое право на уплату долга защищал посредством враждебных действий, а позже путем деликтного иска» [4]. Если несколько отвлечься от рискованного словоупотребления, ибо грабеж едва ли можно рассматривать хотя бы и в примитивном праве как особую форму займа, то отмеченное положение сведется, пожалуй, просто к тому, что грабеж повсюду древнее займа. Положение это весьма правдоподобно, но центр тяжести теории лежит, конечно, не в нем, а в возможных из него выводах. Именно: 1) если грабеж древнее займа, то не вправе ли мы и обязательство из грабежа считать старше обязательства из займа и 2) если обязательства договорные возникли сравнительно поздно, то легко допустить, что они уже в силу этого определяли на первых порах, по аналогии с более ранними деликтными обязательствами, такое же отношение верителя к неисправному должнику, какое первобытный правопорядок освящал в отношении обыкновенного правонарушителя — вора или грабителя.

Какое же это было отношение?

Как известно, право требования потерпевшего к обидчику в древнейшую эпоху родовой мести осуществлялось путем самоуправной расправы и приводило к взаимоотношениям между ними, аналогичным отношениям победителя к военнопленному или господина к рабу. Попадая в полную личную зависимость от произвола победителя, такой обидчик должен был так или иначе искупить свою вину, и очень часто он искупал ее денежным выкупом, размеры которого, однако, определялись в

---

[1] А. Гусаков. Деликты и договоры как источники обязательств в системе цивильного права древнего Рима.— «Ученые записки Московского университета. Отдел юридический», вып. 12. М., 1896, стр. 20.

[2] Там же, стр. 72.

[3] Там же, стр. 106—107.

[4] Andreas Heusler. Op. cit., Bd. II, § 122, S. 231; «Es finden sich ja sogar bei allen Völkern Reste uralten Rechts, wonach Leiche sich nur in der Form des Raubes bewerkstelligte und der Ausleiher sein Recht auf Rückgabe durch Fehde und später durch Delictlage verfolgte. So tritt alles Obligationen recht von der Delicte in das Rechtsleben ein».

указанных условиях не столько величиной причиненного ущерба, сколько степенью гнева и раздражения победителя. Вследствие этого обидчик, искупая нанесенный им ущерб соответствующим эквивалентом, платил вместе с тем обычно потерпевшему особый штраф за обиду в обеспечение доброго мира с ним в дальнейшем [1].

Так обстояло дело с деликтами. Но так ли оно обстояло в отношениях между верителем и неисправным должником по займу? Сторонники деликтной теории отвечают на это утвердительно и приводят ряд веских аргументов. Не имея в виду, однако, останавливаться подробно на этих аргументах, поскольку они основываются на фактах истории западноевропейского права, мы ограничимся здесь лишь парой примеров.

В римском праве древнейшей формой займа был так называемый nexum. Заключалась эта сделка per aes et libram, т. е. ударом куска меди о весы в присутствии пяти свидетелей и весовщика (libripens), в каковом обряде нетрудно угадать пережиток эпохи, еще не знавшей чеканной монеты, вследствие чего передача валюты только и могла совершаться при помощи взвешивания металла.

Юридическая же особенность этой сделки по сравнению с позднейшим займом, по мнению Гушке [2], и до последнего времени большинства других романистов, в том, что nexum в случае просрочки долга давал кредитору без всякого суда и приговора, как в случае поимки вора с поличным, непосредственное право на принудительное взыскание (manus injectio) [3].

Подобно этому в древнегерманском праве, по свидетельству Бруннера, в случае напрасного требования уплаты по займу верителю предоставлялось взыскивать не только просроченный долг, но и законом определенное возмещение за промедление в уплате, которое представляется как искупление за причиненную верителю противозаконной просрочкой несправедливость или обиду [4].

В нашу задачу не входит рассмотрение, насколько бесспорны приведенные свидетельства. Но само собою разумеется, что если бы мы нашли и в русском праве аналогичные признаки деликтного характера взыскания по займу, то нам пришлось бы с ними очень серьезно считаться.

---

[1] Эти две части выкупа с правонарушителя — в возмещение частного ущерба и штраф за обиду в обеспечение мира впоследствии, когда охрану общественного мира взяла на себя государственная власть, вполне обособились, и уголовные штрафы (так называемый fredum — мир) стали взыскиваться уже в пользу государства, тогда как частный ущерб по-прежнему возмещался непосредственно потерпевшему под именем композиций (compositio — примирение, приведение в порядок).

[2] Huschke. Ueber das Recht, des Nexum und das alterömisches Schuldrecht, 1846.

[3] По мнению А. Г. Гусакова, просрочка nexum влекла за собой выдачу должника кредитору головою на правеж в связанном виде (nexus — связанный) с выводом его на рынок и громогласным заявлением там суммы долга, но без обязательства, однако, для задержанного служить верителю (А. Гусаков. Указ. статья, стр. 214). Впрочем, в настоящее время этот взгляд оспаривается. Новейший исследователь nexum Mitteis в своей работе «Ueber das Nexum...» (Zeitschrift der Savigny Stifung für Rechtsgeschichte, 1901) устанавливает, что nexus следует рассматривать не как человека, на которого обращено принудительное исполнение, а как лицо, заложившее себя за полученный им заем в кабалу с обязательством служить верителю до отработки или уплаты долга. В таком случае римского «нексуса» можно уподобить древнерусскому «закупу», который тоже был заемщиком под заклад своей свободы и в то же время наймитом, получающим от своего «господина» за свою работу определенную «купу», или «цену» (Русская Правда, ст. 70—73 по Карамзинскому списку; М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 1).

[4] Heinrich Brunner. Grundzuge der deutschen Rechtsgeschichte. Leipzig, 1901, S. 181: «Im Falle vergeblicher Mahnung war es nicht etwa dem Gläubiger überlassen, das Verzugsinteresse geltend zu machen, sondern es traten gesetzlich fixierte Säumnisbussen, die sich als Sühne für das dem Gläubiger durch rechtswidrige Vorenthaltung zugefügte Unrecht darstellen».

Обратимся, однако, прежде всего к вопросу о том, действительно ли доказано, что деликтные обязательства предшествовали договорным.

В защиту этой широко распространенной гипотезы выдвигается, между прочим, следующее небезынтересное филологическое сближение. Яков Гримм еще в 40-х годах прошлого столетия указал на родство готского слова dulg в значении «денежный заем» с англосаксонским dolg, dolh в значении «рана», «членовредительство»; в том же значении «рана», «увечье» слово dolg, dulg встречается в древнефризийских законах [1]. Таким образом, готское dulgisskula — должник первоначально могло означать попросту «виновный в увечьи». Сопоставив же еще с этими словами немецкое dolch — кинжал и славянское dlug — долг, легко себе представить такую эволюцию этого термина: dolch — орудие увечья, dolh — увечье, долг из увечья, долг вообще и в частности долг из займа. Исходя из этого, можно думать, что слово «долг» в значении «увечье» древнее того же слова в значении «заемное обязательство». Охотно допускаем, что факты увечья имели место гораздо раньше древнейших сделок займа, подобно тому как выше мы готовы были признать, что грабеж древнее займа.

Но что же дальше?

Если бы было доказано, что деликтные обязательства уже в древнейшее время возникали непосредственно из самого факта деликта и одновременно с ним, то, признав грабеж или увечье древнее займа, мы тем самым признали бы и самое обязательство из деликта древнее договорного обязательства из займа. Но в том-то и дело, что это никем не доказано, да вряд ли и доказуемо.

В эволюции идеи возмездия за правонарушения различают следующие четыре стадии: 1) стадию господства родовой мести, 2) стадию заменяющих ее добровольных композиций, 3) стадию узаконенных тарифов композиций и, наконец, 4) современную нам стадию государственной репрессии [2]. При этом в эпоху узаконенных композиций обязательство уплатить определенный выкуп за известное правонарушение вытекало по силе закона, независимо от взаимных соглашений, действительно уже из самого факта правонарушения или деликта. Но ведь в предшествовавшую ей эпоху добровольных композиций обязательство уплаты отнюдь не диктовалось деликвенту никакой посторонней силой и, стало быть, возникало лишь в результате известного торга и соглашения заинтересованных сторон.

Сторонники деликтной теории обычно упускают это из виду. Например, Хейслер, называя мировую с обещанием уплаты выкупа первым договором германского права, думает, однако, что предметом этой мировой был, по-видимому, лишь вопрос об отсрочке платежа при невозможности немедленной расплаты, самое же обязательство платежа, по его мнению, возникало непосредственно из деликта, с того момента как обиженный признавал за благо отказаться от мести [3]. И, конечно, такой взгляд вполне соответствует правовым воззрениям эпохи узаконенных тарифов композиций: «Аще не будеть кто мьстя, то 40 гривен за голову»,— гласит первая же статья Русской Правды. Но ведь для того, чтобы такое положение сложилось и приобрело принудительную силу обычного права, необходимо предположить довольно продолжительную практику совершенно добровольных соглашений ради отвращения родовой

---

[1] E. Rössler. Das altprager Stadtrecht mit einer Vorrede von L. Grimm, 1845, S. 11 u. f. Ср. А. Гусаков. Указ. статья, стр. 67—68.

[2] F. Girard. Manuel élémentaire de droit romain, 3-me ed. Paris. 1901, p. 390.

[3] Andreas Heusler. Op. cit., Bd. II, § 121, S. 230! «Aus Delichten entstand, wenn der Verletze auf die Fehde zu ferzichten für gut fand, eine Zahlungspflicht des Verbrechers und aus dieser bei Unmöglichkeit der sofortigen Zahlung im Gelobnis für Wergeld oder Busse, die fides facta, der Sühnvertrag, der erste Vertrag des deutschen Rechts».

мести. Родовая месть, однако, как это явствует из самого понятия, обращалась против чужеродцев, по отношению к которым дикарь первобытной эпохи, как известно, все считает дозволенным. Украв что-либо у чужеродца или даже содрав с него скальп, дикарь не только не чувствует по отношению к нему какой-либо вины, которую ему следовало бы искупить, но даже гордится своими действиями. Правда, за обиду ему угрожала смерть, но на месть и он мог ответить отмщением. Все разрешалось, таким образом, лишь соотношением сил. Из самой обиды, стало быть, а тем более из одностороннего отказа обиженного от мести при таких условиях, разумеется, никакого, даже морального, обязательства для обидчика возникнуть не могло. Если же обязательства возникали все же при замирении ради прекращения тягостного состояния вражды, то вытекали они в эту эпоху исключительно и непосредственно из взаимного соглашения сторон.

Но если это верно — что несомненно,— если обязательства, возникающие даже по поводу деликта, истинным своим источником имели все же соглашение, то нет никаких оснований думать, что подобные же соглашения не могли создавать в ту же эпоху обязательств и по иным поводам, например из займа и других оснований. Таким образом, мнение, согласно которому деликтные обязательства древнее договорных, следует признать по меньшей мере не доказанным.

Здесь нужно еще заметить следующее. Договор замирения с обещанием уплатить композицию Хейслер называет первым германским договором. А между тем этот договор ведь относится к числу фидуциарных, или кредитных, сделок, т. е. таких, необеспеченность исполнения которых в древнейшее время заставляет самого же Хейслера признать их позднейшими по сравнению со сделками наличного характера вроде мены или купли-продажи [1]. Но, оставляя даже в стороне эти последние, спросим сторонников деликтной теории: вероятно ли, чтобы кредитная сделка о композиции явилась первой ну хотя бы не из всех, а только из одних кредитных сделок древнего права?

Мы понимаем, что выкупы от мести были по общему праву слишком велики для того, чтобы их возможно было уплачивать сразу, без отсрочки. Например, вира Русской Правды в 40 гривен, как видно из расценки скота в ст. 26 Академического и ст. 42 Карамзинского списков, равнялась стоимости 40 волов, или 50 коров, или 400 свиней, или 800 баранов, что по ценам 1913 г. на самый худой конец соответствует сумме 2 тыс. руб. или около того. Такие суммы вообще едва ли посильны были отдельным правонарушителям и предполагают коллективную за своих членов ответственность целой общины или рода. Немедленная уплата по первому требованию такого штрафа и в наше время оказалась бы непосильной для громадного большинства правонарушителей. А летопись учит нас, что в X в. даже менее значительные суммы собирались у нас далеко не вдруг. Так, в 980 г., по свидетельству Лаврентьевской летописи, когда варяги потребовали у князя Владимира за свою службу окуп по 2 гривны с человека, т. е. по 2 гривны поголовной дани с киевлян, то Владимир, очевидно в полном согласии с тогдашними обычаями, ответил на это: «Пождете, да же вы куны сберуть за месяць» [2].

Отсрочка в уплате вир и композиций была экономически неизбежной, и она несомненно была обычным явлением в древнейшую эпоху. В польском праве такая отсрочка вылилась даже в форму строго определенной правовой нормы. Согласно Статуту Вислицкому середины XIV в., ответчику при исках о вотчине или «о великой денежной сумме, т. е. о сорока гривнах», даже для явки в суд давался увеличенный

[1] Andreas Heusler. Op. cit., Bd. II, § 121.
[2] ПСРЛ, т. 1, стр. 33.

срок — три недели; самое же взыскание больших сумм производилось с рассрочкой на три срока по шесть недель, т. е. в общем растягивалось на 18 недель [1]. Характерно, что «великая сумма денег» в указанной норме прямо отождествляется с 40 гривнами, т. е. с ценою выкупа за голову и по русскому, и по древнейшему польскому праву.

С этим можно еще сопоставить ст. 18 Карамзинского списка Русской Правды: «А судным кунам росту нет». Отвергая течение процентов после приговора на суммы, взыскиваемые по суду, эта статья несомненно указывает, что и в русском праве судебное взыскание вир и композиций производилось с известной, и притом довольно значительной, отсрочкой, ибо при немедленном взыскании не могло бы возникуть и речи о росте.

Но если отсрочка была обычной даже при судебном принудительном взыскании вир и композиций, то тем более естественной она была в более раннюю эпоху, когда об уплате композиций мирно договаривались сами заинтересованные стороны. Таким образом, едва ли подлежит сомнению, что мировые сделки относительно выкупа от мести были сначала кредитными сделками с отсрочкой уплаты.

Кредитная сделка, однако, поскольку она откладывает исполнение принятого обязательства на будущее, подразумевает наличие взаимного доверия сторон. Отсюда, по-видимому, и само название выкупа — *«вира», «вирное»* или *«вера», «верное»,* подобно тому как во французском языке слово сгеаnсе — вера, доверие и доныне употребляется в значении «долг», «долговое обязательство» [2].

До сих пор слово «вира» производили то от зырянско-вотяцкого корня «вир» — кровь (митрополит Евгений), то от латышского wir — муж (Палацкий), сближая его в то время с немецким Wehrgeld, древненормандским La Were в значении «выкуп за голову» и т. д. Новейший исследователь Русской Правды Гец считает происхождение слова «вира» несомненно германским [3]. А между тем для подобных гипотез о заимствовании нет достаточных оснований, так как с не меньшим правом можно производить это слово и непосредственно от общего чуть ли не всем арийским языкам корня слов: *славянского* — «вера», «вира», wiara, *литовского* — wёra, *латинского* — vere (верно), werus (истинный), *древневерхненемецкого* — wâra (верность, истина), wâr, wêri, *верхненемецкого* — war, waere, *современного немецкого* — wahr (верный, истинный) и т. д. [4]

Тождество слов «вира» и «вера» явствует и непосредственно из сопоставления разных списков Русской Правды. Буквы «и» и «ять» в начертании слов «вира», «вирное», «вирник» чередуются здесь между собой довольно часто, а в иных списках буква «ять» даже явно преобладает [5]. Всего буква «ять» в указанных словах по вариантам Калачева встречается не менее 84 раз в 27 из 50 рассмотренных им списков Русской Правды [6]. При этом можно отметить, что буква «ять» преобладает в московских списках Русской Правды, например в Успенском и Синодаль-

[1] Statuta polskie króla Kazimierza z rękopisu wydał K. W. W ó j c i c k i. Warszawa, 1847, r. XXVIII A. H e l z e l. Starod. Prawa polskiego pomniki, t. I, r. CLXV. Warszawa, S. 171.

[2] Ср. аналогичное употребление слов «веритель», creditor, glàubiger, crêancier и т. п. для обозначения лица, имеющего право требования, из какого-либо долгового отношения.

[3] L. K. G o e t z. Das Russische Recht.— «Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft», Bd. 24, S. 398.

[4] Немецкое Wergeld сближают еще со словом Wehr (оружие, защита), но, повидимому, и это последнее слово происходит от того же корня wahr (ср. сербское «узети кога на веру» в значении «охранять в дороге»).

[5] См. ст. 10, 13, 45 и 46 в списке князя Оболенского в изд. Русской Правды В. Сергеевича (изд. 2. СПб., 1911).

[6] Н. В. К а л а ч е в. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской Правды, вып. I. Изд. 2. СПб., 1880.

ном III. С другой стороны, в тех списках, преимущественно новгородского происхождения, где господствует начертание «вира», мы нередко встречаем букву «и» вместо «ѣ» и в других словах, например: «личьцю» вместо «лѣтцю», «поидеть» вместо «поѣдеть», «у клити» вместо «у клѣти», «на недилю» вместо «на недѣлю» и т. п., что объясняется общеизвестной особенностью южнорусского и новгородского произношения[1].

Иными словами, термин «вира» киевских и новгородских летописей представляет собою, по-видимому, лишь особое произношение русского слова «вера» и означает ту сумму выкупа за голову, которую верили должнику — обидчику, так как он не мог ее заплатить сразу[2].

Мыслимо ли, однако, чтобы первый пример такого доверия показали именно кровные враги, вступающие в договор о прекращении родовой мести? И не логичнее ли предположить как раз обратное, а именно: что эти враги вступили последними на путь взаимного доверия, т. е. лишь после того, как кредитные сделки, возникавшие на почве торговых и иных сношений, равно как и точное по ним исполнение, стали обычным и общеизвестным явлением?

Мировая сделка, без сомнения, была весьма древней формой производящего обязательства договора. Большинство формальных договоров, заключавшихся по формуле стипуляции, ведет свое начало, по-видимому, именно отсюда. В пользу этого говорит и сама формула обещания при стипуляции (Centum dare, spondes ne? — spondeo!), и ее название. Обещание здесь дается лишь одной стороной, и притом без всякой ссылки на получение эквивалента, что вполне соответствует положению вынужденного к примирению обидчика. Что же касается названия «стипуляция» (stipula — соломина), то его происхождение объясняют так. Заключение мировой сделки при деликтах, как это подтверждается древнегерманским fides facta, сопровождалось бросанием на землю или ломанием копья. Впоследствии в качестве символов копья стали-де употреблять простой прут (festuca) или даже соломинку (stipula), а отсюда договор, связанный с употреблением этого символа, получил имя стипуляции[3].

Гарантией исполнения подобных договоров о композиции в древнейшее время могли служить до известной степени акцессорные договоры заклада и поручительства[4]. Но заклад по общему правилу мог служить достаточным обеспечением, лишь если долг был небольшим. И даже самозаклад в лучшем случае обеспечивал долг, не превышающий рыночной цены раба, а цена раба, как известно по Русской Правде, составляла всего 5 гривен, т. е. едва $1/8$ долю простой виры. Порука же представляла собой известную гарантию, разумеется, лишь постольку, поскольку сам поручитель заслуживал доверия. А так как поручителем был, конечно, обычно сородич или друг обидчика, то едва ли он мог рас-

---

[1] Ст. 1, 3, 6, 16 и 24 Археографического списка в изд В. Сергеевича.

[2] В сербскохорватском языке и доныне слово «вера» употребляется в значении «кредит», «веровник» — в значении «заимодавец» и т. п. (См. «Дифференциальный сербско-русский словарь Л. А. Мичатека» (СПб., 1903). Ср. также ст. 61 Статута Винодольского (1288): «J ošče, ličba jest werovana...» — в значении «если сумма кредитована» (H. Jireček. Svod zakonůw slovanských. Praha, 1880).

[3] Впрочем, догадка, что festuca или stipula употреблялись при мировых сделках именно в качестве символов копья, бросаемого, так сказать, в знак разоружения бывших врагов, довольно спорна и допускает возможность иного истолкования роли этих предметов при сделках.

[4] О поручителях см., например, Фюстель де Куланж. История общественного строя древней Франции, т. V. СПб., 1910, стр. 486. Fideiusor отвечал за полную уплату выкупа и штрафа. Формула из Turonenses, № 32, показывает нам двух обвиняемых, для которых смертная казнь заменена вирою; для обеспечения уплаты они немедленно представили поручителя: «Fideiussorem pro soledos oblegaverunt». В ст. 13 Академического списка Русской Правды о своде говорится: «Или (подозреваемый в присвоении чужого) не поидеть (на свод), то (он обязан представить) поручника за 5 днии».

считывать на особое доверие со стороны мстящего за обиду чужеродца. Таким образом, самая возможность мировых сделок между чужеродцами ради отказа от кровной мести за соответствующий выкуп или, вернее, за обещание выкупа была бы для нас непонятной загадкой, если бы мы не знали об одном весьма интересном институте глубочайшей древности, бросающем яркий свет на рассматриваемую проблему.

Этот институт, которым доныне юристы, по-видимому, почти не интересовались, заслуживает, однако, гораздо большего внимания. Мы имеем здесь в виду чрезвычайно распространенный в древности у славян, да и не только у них, институт кумовства — побратимства. В русском былинном и сказочном эпосе следы этих институтов попадаются на каждом шагу. Но немало следов и пережитков их находят и у прочих славян, у немцев, итальянцев, греков, лопарей, кавказцев и кельтов, в монгольском и тюркском эпосе и т. д.[1] Как видно из этих пережитков, кумовство и побратимство едва ли чем существенным различались в древнейшее время, представляя собою с бытовой стороны освященную обычаем форму принятия чужака в данный родовой союз со всеми правами и обязанностями сородича[2]. Так, в древнескандинавском обряде братания побратимы, смешивая кровь свою с землею и припав на колени, призывали богов в свидетели, что они будут друг за друга мстителями. В Сицилии формулы и ныне кумящихся в день св. Иоанна Крестителя детей заключают в себе обет делиться всем, что у них есть; о готовности все поделить с кумой говорится и в причитаниях кумящихся девушек в Абруццах. Другие формулы говорят вообще о взаимной верности и готовности оказывать помощь друг другу. Причем связь, возникающая из этого союза, считалась более даже тесной и святой, чем кровная связь[3].

И вот оказывается, что этот институт кумовства-побратимства находил себе очень частое применение при замирении даже самых кровных врагов. Так, еще Тацит, говоря о заключении мира между Радамистом и Митридатом, сообщает следующую подробность (Annal., XII, 47): «Схватившись правыми руками, они крепко связали большие пальцы и, когда кровь прилила к оконечностям, извлекли ее легким наколом и лизали друг у друга». Это, конечно, обряд братания. Но в то же время Веселовский свидетельствует, что на славянском юге, особенно в Сербии, и в совсем недавнее время известны были такие народные формы кумовства, «как кумовство при замирании для отвращения родовой мести или в минуту опасности, когда кто-нибудь ищет в другом помощи и предлагает ему покумиться во имя бога и св. Иоанна». Далее, «сербскому обряду кумовства для замирения и устранения мести отвечает таковой же в Сицилии». И здесь в подобных случаях «пьют мировую и

[1] А. Н. Веселовский. Гетеризм, побратимство и кумовство в купальской обрядности.— «Журнал министерства народного просвещения». 1894, № 2, стр. 303—304.

[2] Говоря о народных формах кумовства у южных славян, Веселовский замечает: «В таких случаях кумовство сливается с другой формой народного союза — побратимством: кумую тебя во имя бога и св. Иоанна, помоги мне, будь мне братом по богу,— говорят в нужде тому, кого избрали себе побратимом», и т. д. (А. Н. Веселовский. Указ. статья, стр. 303). Само слово «кумовство», звучавшее в древности у славян, по Миклошичу (Lexicon Palaeos lovenico latinum. Vindobona, 1862), подобно латинскому commatris, «комотрьство» — соматеринство, показывает, что покумившиеся почитались как бы детьми одной матери, т. е. сородичами. Судя же по роли кумовьев в христианском обряде крещения, куда они восприняты из народного обычая не ранее VII—VIII вв., легко заключить, что обряд кумовства и раньше служил для принятия путем фиктивного усыновления в лоно рода, подобно тому как ныне новорожденный, становясь крестным сыном христиан-восприемников, приобщается этим к лону церкви.

[3] А. Н. Веселовский. Указ. статья, стр. 292, 293, 295. Ср. также обращение Васьки Буслаева, набирающего себе дружину, после угощения охотников круговой чарой вина: «Гой еси ты, Костя Новоторженин! А и будь ты мне названой брат, и паче мне брата родимого» («Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». М., 1938, стр. 53).

кумятся». А в Швабии Иванов день, к которому всего чаще приурочивалось совершение обрядов кумовства, и поныне зовется Versöhnungstag, т. е. днем замирений [1].

Чрезвычайно важная роль обряда кумовства-побратимства при замирении очевидна. Не отомстить чужаку в эпоху родовой мести значило бы покрыть себя несмываемым позором, ибо месть в ту эпоху была не столько правом, от которого можно было бы и отречься за приличный выкуп, сколько священной и ненарушимой обязанностью. Но в качестве названного брата, который почитался «паче родимово», тот же чужак сразу становился неприкосновенным, и всякая обязанность мести по отношению к нему сама собой отпадала. Напротив, поднять на него руку было бы уже делом совершенно неслыханным [2]. С другой стороны, если в отношении чужака нарушение обещаний и вообще всякое предательство было вполне позволительным, то изменить словом или делом сородичу, а тем паче брату названному было бы по морально-правовым воззрениям того времени тягчайшим и совершенно нетерпимым преступлением. Таким образом, кумовство-побратимство в указанную эпоху служило для обеих сторон, несомненно, наилучшей гарантией как прочности заключаемого мира, так и точности исполнения всех связанных с мировой сделкой обязательств. Вот почему оно и было, по-видимому, самым распространенным, если не единственно возможным, путем к замирению ради прекращения родовой мести еще задолго до эпохи узаконенных тарифов композиций.

Институт кумовства-побратимства, будучи суррогатом кровной связи, создавал в междуродовых сношениях древнего общества тот цемент взаимного доверия, без которого немыслимо было бы развитие никаких кредитных отношений. Но именно поэтому он находил себе, конечно, применение не только в мировых сделках для отвращения мести, но и вообще во всех случаях, где требовалась спайка доверия. А такая спайка нужна была прежде всего для объединения разнородных элементов в военной дружине. Вот почему наш новгородский былинный витязь Васька Буслаев, набирая себе дружину сборную, начинает с того, что братается со своими будущими соратниками [3]. Не менее важную роль, однако, элемент доверия должен был играть, конечно, в древнейших торговых и профессиональных ассоциациях, гильдиях, цехах и тому подобных народных союзах. И едва ли не повсюду начальною спайкою в этих союзах служил, по-видимому, опять-таки институт побратимства. Так, следы скандинавского fóstbroedralag давно уж находят в гильдейских союзах Дании и Норвегии [4]. Еще явственнее следы кумовства-побратим-

---

[1] А. Н. Веселовский. Указ. статья, стр. 294, 301, 303, 309. Наконец, в рассказе былины об Алеше Поповиче и Тугарине: Алеша, переодетый калекою, расшиб Тугарину голову и «скочил» ему на черну грудь, а побежденный враг просит пощады в следующей форме: «Втапоры взмолитца Тугарин Змеевич млад: «Гой еси ты, калика перехожая! Не ты ли Алеша Попович млад? Токо ты Алеша Попович млад, сем *побратуемся* (побратаемся) с тобой?»». Былина добавляет, что «втапоры Алеша врагу не веровал, отрезал ему голову прочь» («Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», стр. 125). Но очевидно в нравах эпохи, возможно, было и иное окончание боя. И действительно, в одной сказке бой богатырей заканчивается братанием: «И назвали они (побежденные) тут Ивана Косырева старшим братом» (И. А. Худяков. Великорусские сказки. М., 1860, № 121).

[2] «Ишшо где это слыхано, где видано, брат на брата со боем идет?» — вопрошает, например, богатырь Данило Данисьевич идущего супротив него побратима Добрыню («Песни, собранные П. В. Киреевским», т. I, вып. 3. М., 1861, стр. 36—37).

[3] Сопоставим с этим, что в народном эпосе едва ли случайно и все члены киевской богатырской дружины связываются между собою узами побратимства: Илья Муромец — с Добрыней и Васильем Пьяницей. Добрыня — с Алешей, Потоком, Алеша — с Потоком, Екимом Ивановичем и т. д. («Сборник Кирши Данилова», № 11, 20, 21, 23, 25, 50 и пр.). Ср. также народную сказку о семи братающихся между собою богатырях (И. А. Худяков. Указ. соч., № 33, 81 и 121).

[4] А. Н. Веселовский. Указ. статья, стр. 318.

ства чувствуются уже в самом названии нашего древнейшего купеческого общества — Ивановского братства в Новгороде, т. е. братчины, посвященной св. Иоанну, исконному покровителю всех кумящихся и братающихся[1]. И таких следов можно бы еще открыть очень много.

Правда, следы эти иной раз не вполне ясны, сказываясь лишь в отдаленных пережитках обрядовой символики архаического института, но тем не менее они могут представить значительный интерес для юриста. В самом деле, мы знаем, что от древнегерманской мировой сделки, в обряд которой входило ломание копья, осталась лишь одна, символизирующая это копье (?) соломинка в слове «стипуляция». Но из древнейшей эпохи генезиса зачатков права у нас сохранилось так мало фактов, что исследователь с радостью хватается и за эту соломинку, чтобы осветить ею доисторические потемки. Из обрядовой символики кумовства-побратимства осталось гораздо больше пережитков, хотя они тоже очень далеки от своего первообраза.

Возьмем хотя бы входившее в обряд братания общение крови. В разные времена и в разных местах оно происходило по-разному. Братающиеся скандинавы смешивали вытекающую у них после уколов кровь с землею. Радамист с Митридатом 2 тыс. лет тому назад, по Тациту, извлекая кровь легкими уколами из больших пальцев, лизали ее друг у друга. Любопытно, что у болгар в некоторых местах, по Веселовскому, и доныне «вступающие в побратимство ножом порезывают себе большой палец правой руки и лижут один у другого кровь». Но у тех же болгар наблюдаются уже и иные приемы. Например, вступающие в братство трижды вкушают хлеба и вина, причем «младший из братающихся пускает себе из руки кровь, которая и примешивается к вину», или даже вовсе обходятся без крови, а просто «пьют виноградное вино из одной фляжки», приурочивая этот обряд к дню Иоанна Крестителя[2].

Эта символическая замена крови вином при братании нашла себе, повидимому, особенно широкое применение. Кое-где, например у южных славян или в сардинском народном обычае кумовства (komparatico di S. giovanni), при котором «кубок с вином переходит из рук в руки», это общение кубка в качестве символа общения крови до сих пор сохраняет свое значение[3]. Но еще шире воспоминания о таком общении, связанные со старонемецким обычаем пить особо освященное вино во имя св. Иоанна — так называемая Johannisminne, или любовь св. Иоанна[4]. Этот обычай, выродившийся ныне, по-видимому, в современный застольный обычай пить на «ты» — так называемый брудершафт, был полон когда-то гораздо более глубокого значения.

Но для нас в особенности ценно свидетельство Веселовского, что обычай пить Иваново вино, известный когда-то очень широко не только у немцев, но и у мадьяр, и в Тироле, и среди хорутанских славян, и у чехов (milost a laskas sv. Jana), и даже в Англии, находил себе, между прочим, применение при совершении сделок: «В былое время чару св. Иоанна (poculum St. Johǎnnis) пили при сделках и купле; оттуда ее назва-

---

[1] Как видно из древнейших сербских песен, св. Иоанн в представлении славян был искони в той же мере покровителем братающихся, как св. Илья — заведующим громами, св. Петр — ключарем рая и т. д. См. в песнях, собранных Вуком Караджичем: «Када свеци благо под'јелише; Петаръ узе винце и шеницу, и кључеве от небоског царства; А. Илија муње и громове; Пантелиія велике вруhине. Свети Јован кумство и братимство» и т. д. (Српске народне пiесме. Књига друга. Пiесме јуначке најстарије. У Бечу, 1875, с. 2).

[2] А. Н. Веселовский. Указ. статья, стр. 306—308.

[3] Там же, стр. 292.

[4] В Германии к 1929 г. сохранилось кое-где приурочение обычая пить Johannisminne к 24 июня с его общими трапезами и примирениями. Пьют Иваново вино с припевом: «Grüss dich Gott, Bruder gut!» (А Н. Веселовский. Указ. статья, стр. 300, 302).

ние в старых актах: victima emptionis, bibitionis»[1]. Обычай пить вино и воду при купле-продаже у славян историк славянских законодательств Мацейовский отмечает уже в актах XIII в., начиная с 1208 г.[2] Это объясняет нам происхождение столь распространенного и ныне обычая «спрыскивать» всякую сделку почти обязательным распитием магарычей, известных также под именем «литки»[3]. Ныне этот обычай служит только признаком завершения сделки согласно пословице «Пропито—продано». Но, ведя свое начало от древнего обряда общения кубка при братании, этот обычай, очевидно, когда-то имел и другое значение: обеспечить себе или внушить чужаку-контрагенту необходимое доверие в добросовестном исполнении заключаемого обязательства. Такое доверие в отсутствие обмана важно было внушить и при наличных сделках вроде мены или купли-продажи. Старая русская пословица «Где кабалено, там и вино» указывает, однако, что братским общением кубка и в старину, как и ныне, скреплялись не только наличные, но и кабальные, т. е., вообще говоря, кредитные, и в частности заемные, сделки.

Помимо общения кубка, другим важнейшим символом кровной связи в обряде братания служило опоясывание братающихся одним кушаком[4] или особым растением, сохранившим кое-где и доныне название пояса св. Иоанна[5], сплетение вырванных у братающихся волос или стеблей травы, связывание побратимов за пальцы соединенных рук и еще чаще просто схватывание друг друга правыми руками[6]. Эти символические действия сопровождались, конечно, и соответствующими словесными формулами, отмечающими установленную обрядом связь. Так, в Сицилии дети, вырывая у себя по волоску и свивая их вместе, а затем схватившись мизинцами и связав их, и ныне припевают: «Связан крепко, не вырваться, лети, волосок, лети в море. *Мы покумились, мы покумились*» и т. д.[7] Значит, в том, что указанные действия символизируют именно установление квазиродственной связи, едва ли может быть сомнение.

Тем более знаменательно, что совершенно аналогичные действия служили и для обеспечения обязательств по договорам. Так, широко известен «старинный обряд связывания рук договаривающихся»[8]. Например, у лужичан, по свидетельству Мацейовского, в знак прочности договора один другому давал горсть травы вместе с волоском, выдернутым из головы. С той же целью (na dowód pewnosci umowy) договаривающийся у лужичан и чехов подавал руку другому[9]. Последний обычай в форме

[1] А. Н. Веселовский. Указ. статья, стр. 300.

[2] W. Maciejowski. Historya prawodawstw słowiańskich, t. 3. Warszawa, 1859, str. 96.

[3] Ср. польское litkup и немецкое litkauf, leitkauf в том же значении «магарыч» (Н. П. Сильванский. Феодализм в древней Руси. СПб., 1907, стр. 40). Ср. еще в хорватском Статуте Винодольском XIII в. у Jireek'a, ст. 45: «Za kih je zakon dati likuf» и в польских судебных записях XIV в. «ia oto sukn, dal sandzicz lithkup w swem domu czso ia, cupil Mikolay» (W. Maciejowski. Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian. Pamiętnik II. Petersburg, 1839, str. 347.

[4] Обычай, сохранившийся у болгар (А. Н. Веселовский. Указ. статья, 1894, № 2, стр. 306).

[5] У чехов — Sv. Jana pas, у немцев — Johannesgürtl, по-русски — чернобыль (artemisia vulgaris). Веселовский отмечает, что на Украине этим растением опоясываются на Иванов день для устранения болезней (А. Н. Веселовский. Указ. статья, стр. 309).

[6] А. Н. Веселовский. Указ. статья, стр. 294 и сл.; М. Ковалевский. Первобытное право, вып. I. М., 1886, стр. 161.

[7] А. Н. Веселовский. Указ. статья, стр. 293 (здесь и далее в цитатах курсив наш.— *С. С.*).

[8] Г. Ф. Шершеневич. Учебник русского гражданского права. М., 1912, стр. 349.

[9] W. Maciejowski. Historya prawodawstw słowiańskich, t. 3, str. 92. Следы такого соединения рук при заключении договоров находим и у поляков уже в актах XIV в. в довольно употребительной формуле при поручительстве: «pro quo... такие-то (имя рек)... manu conjuncta sunt fidejussores» (см. книги Краковского суда записи 1389 г., № 200, 210, 322; A. Z. Helcel. Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I. Warszawa, 1856).

так называемого рукобития пользуется у нас и ныне самым широким распространением при сделках, хотя отдаленная веками связь этого пережитка с обрядами кумовства-побратимства давно уже забыта.

Что касается символического употребления травы и волос при заключении сделок, то от него в современных обычаях, по-видимому, не осталось уже ничего. Но в юридическом языке еще нашлись бы, пожалуй, некоторые следы. Нужно лишь поискать. Весьма возможно, например, что пресловутая соломинка, давшая свое имя стипуляции, играла в этом договоре ту же роль, что и целая горсть травы с волоском на придачу у лужичан, т. е. служила символом той связи, какую знаменовало собой исконное сплетение волос или травы в обряде кумовства-побратимства [1]. Еще вероятнее, что все то же связывание братающихся, сплетение их волос и тому подобные обрядовые акты в применении их к договорам вообще дали свое имя от слов «вязать», «обязать» и самому обязательству (obligatio — обязательство) как таковому [2].

Однако, воздерживаясь от дальнейших догадок в этом направлении, можно, подведя итоги сказанному об обстановке и формах заключения древнейших обязательств, сделать такой вывод. Гипотезу о старшинстве обязательств из деликта по сравнению с договорными нельзя признать ни единственно возможной, ни даже наиболее вероятной. Во всяком случае, если судить лишь по сохранившимся пережиткам древнейших форм всевозможных сделок, с неменьшим правом можно отстаивать и другое мнение, согласно которому первообразом и первоосновой заключения всяких сделок и возникновения всяких обязательств как договорных, так и деликтных, служили формы кумовства-побратимства. А это прежде всего союз договорного происхождения, в зависимости от чего и характер связи в древнейших обязательствах, заключаемых в этих формах братского союза, носил на себе, надо думать, отпечаток равенства сторон, взаимного доверия и гуманности, а не того личного подчинения должника и бесконтрольной над ним власти верителя, какие предполагаются деликтной теорией.

Таковы общие, более или менее гипотетические соображения об относительной древности деликтных и договорных обязательств, поскольку речь идет о древнейшей, дописьменной эпохе права.

Как бы, однако, ни решать этот вопрос для эпохи доисторической, нужно сказать, что уже наиболее древние из дошедших до нас памятников права знают оба рода указанных обязательств. И во всяком случае «ни древние законы и никакой другой источник не сообщают нам сведений о таком обществе, которое было бы вполне чуждо понятия о договоре» [3]. Сказанное давно уже отмечено в отношении памятников римского права [4]. Но то же можно сказать с равным основанием и про древнерусское право.

---

[1] Здесь стоит отметить, что употребление стеблей растений при сделках было, по-видимому, крайне распространенным и чрезвычайно старинным обычаем. В отношении римского права об этом обычае приходится заключать лишь из термина stipulatio (stipula — стебель, соломина). В древнегерманском праве находим уже более ясные его следы: здесь отчуждающий свое имущество бросает его приобретателю в полу так называемую фестуку (festuca — стебель, соломинка, прут). Lex sallica, tit. XLVI. Но всего интереснее, что, по-видимому, вполне однозначущий понятию festuca символ под именем «буканну» был известен и в Вавилоне еще 4 тыс. лет тому назад. Здесь купля и другие сделки скреплялись следующей формулой: «Полная цена деньгами уплачена. «Буканну» — передан. Договор заключен» (Hans Fehr. Hammurapi und das salische Recht. Bonn, 1910, S. 23, 28).

[2] Ср. также древнерусское название договора — «суплетка».

[3] Г. С. Мэн. Древнее право, его связь с древнейшей историей общества и его отношение к новейшим идеям. СПб., 1873, стр. 244.

[4] F. Girard. Op. cit., p. 387. «Peut-être sont elles,— говорит он о договорных обязательствах,— moins anciennes que les obligations delictuelles et y a-t-ti en une période de l'histoire du droit ou la conscience juridique arrivee, a la distinction des

В самом деле, обратимся к Русской Правде в ее наиболее краткой и древней редакции. Составление этого свода или по крайней мере первой его половины (до ст. 18 по Академическому списку) исследователи относят к началу XI или концу X в.[1], но поскольку в нем сведены не законодательные новеллы какого-либо князя, а исконные нормы слагающегося крайне медленно обычного права, эти нормы, конечно, значительно древнее самого свода. О древности их можно, между прочим, судить на основании следующего.

Немецкий исследователь древнерусского права Гец доказывает, что древнейшая редакция Русской Правды вовсе не знает вир и продаж *в пользу князя*, устанавливая лишь размеры головничества, уроков и пеней в возмещение *частного* вреда и ущерба. А между тем из известного рассказа летописи от 996 г. о временной отмене князем Владимиром вир и восстановлении их в интересах фиска «по устроенью отню и дедню» видно, что виры в пользу князя уже в X в. были старинным, прадедовским обычаем. Стало быть, если верно, что краткая редакция Русской Правды не знала таких вир в пользу князя, значит, она отражает собою еще более древнее, так сказать догосударственное, правосознание. И вот, обращаясь уже к этому первому своду древнерусского права, мы легко в нем откроем не только деликтные, но и договорные обязательства.

В качестве примера сошлемся на ст. 2 и 17 Академического списка. По ст. 2 побитый или раненый, если он не может мстить за себя, в праве взыскать с обидчика 3 гривны в свою пользу и уплату лекарю; по ст. 17 испортивший чужое имущество обязан уплатить за него по стоимости испорченного[2]. Это несомненные обязательства из деликта. Но наряду с ними в ст. 14 по тому же списку читаем: «Аще где възыщеть на дроузе проче, а он ся запирати почнеть: то ити ему на извод пред 12 человека, да еще боудеть обидя не вдал боудеть достойно емоу свой скот, а за обидоу 3 гривне».

Ради точного изъяснения этой статьи, для нас очень важной, сопоставим ее прежде всего с предшествующими, в которых идет речь о порядке взыскания узнанной пропажи, похищенной или утерянной[3].

Из них ст. 13 предписывает следующую форму вещного иска. Если кто узнает свою вещь у другого, то он не в праве прямо взять ее, сказав «это мое», но должен сказать «пойди на свод, где еси взял». В дополнение к этому *вещному* иску ст. 14 говорит о взыскании *прочего,* т. е. уже, очевидно, не того, что пропадает у хозяина без его ведома, а того, что им самим кому-либо одалживается[4]. Здесь речь идет, стало

---

droits réels et des droits personnels, ne reconnaisait d'autres obligations que celles nées des delicts. Mais sans entrer dans les raffinement de doctrine, on peut dire que le droit romain le plus ancien connaissait déjà les deux catégories d'obligations».

[1] М. Дьяконов. Очерки общественного и государственного строя древней Руси. Изд. 2. СПб., 1903, стр. 46.

[2] Ст. 2 — «Или будеть кровав или синь надъражен... Оже ли себе не можеть мьстити. То взяти емоу за обидоу 3 гривне, а летцю мъзда». Ст. 17 — «А иже изломить копье, любо щит, любо порт, а начнеть хотети его деръжати у себе, то приати скота у него; а иже есть изломил, аще ли начнеть приметати (т. е. прикидывать или высчитывать, сколько платить), то скотом ему заплатити, колько дал будеть на нем».

[3] Ст. 12 — «Аще поиметь кто чюжь конь, любо ороужие, любо порт, а познаеть в своемь мироу: то взяти емоу свое, а 3 гривне за обидоу». Ст. 13 — «Аще познаеть кто, не емлеть его, то не рци емоу: мое, нъ рци емоу тако: поиди на свод, где еси взял; или не поидеть, то пороучника за 5 днии».

[4] М. Н. Тихомиров в своем «Пособии для изучения Русской Правды» (М., 1953) спрашивает, что значит «проче?» в данной статье, обращая внимание на то, что слово «скот» обозначало не только деньги, но и имущество (стр. 78). Однако сопоставление ст. 14 Академического списка со ст. 43 Пространной Русской Правды (по Троицкому списку), где под общим заголовком «Оже кто скота взищеть» та же статья начинается словами: «Аже кто взищеть кун на друзе»,— подтверждает, что и в краткой редакции речь идет именно о взыскании денег, а не иного «прочего» имущества.

быть, уже о ином, обязательственном иске, и потому для него указывается и иная форма процесса: пред 12 человека.

Что же, собственно, подлежит спору в этом процессе? Истец, очевидно, добивается уплаты долга, а ответчик ему возражает. Но что? Текст статьи не вполне ясен, и возражение ответчика может быть понято двояко: или он, признавая долг, ссылается на то, что уже погасил его уплатой, или, не признавая долга, он отрицает самый факт передачи ему валюты долга. В соответствии с этим изъяснение резолютивной части статьи возможно в следующих двух смыслах:

1-е толкование	*2-е толкование*
Если в результате спора будет доказано, что ответчик злонамеренно *не отдавал* долга, то за обиду *с ответчика* взять 3 гривны.	Если будет доказано, что истец вовсе *не давал* ответчику достойным образом в долг взыскиваемого скота, то за обиду *с истца* взять 3 гривны.

Различие последствий того или иного истолкования чрезвычайно существенно.

При первом толковании основание долга неясно, значит, можно допустить и *деликтное* его происхождение, при втором — долг предполагается возникшим *из передачи валюты* в виде «скота», значит, здесь речь несомненно идет о долге из реального договора. А затем при первом толковании уголовный штраф взыскивается совсем в духе деликтной теории — просто за неисполнение обязательства, при втором — за недобросовестное вымогательство платежа без всяких к тому оснований, т. е. за деяние с явными признаками уголовного правонарушения и с нашей, современной точки зрения.

Спрашивается, какое же из этих двух толкований ст. 14 заслуживает предпочтения? До сих пор этот вопрос даже не возбуждался, и все исследователи, из которых мы назовем К. Неволина, Н. Калачева, М. Владимирского-Буданова и Геца, единодушно придерживались первого толкования[1]. Тем не менее мы считаем его ошибочным. И вот по каким мотивам.

Прежде всего на размышление наводит выражение: «а он ся почнеть запирати». В чем должник может запираться? Да в том, что он занимал, конечно. В этом смысле указанное выражение весьма употребительно в русском юридическом обороте. Сравни, например, следующее место: «и как истец на ответчике учнет... заемных денег искать, и ответчик в тех заемных денгах *не запрется, что заимывал...»*[2] Или другое: «и на суде, государь, он, Елизарей, *в том запирался, что он у меня денег не имывал»*[3]. Но если должник не оспаривает того, что он занимал, а лишь утверждает, что он свой долг уже отдал, то применимо ли к такому случаю слово «запираться»?

Второе сомнение при общепринятом толковании вызывает слово «вдал», которое довольно произвольно истолковывается в значении «отдал». Как видно из ст. 127 Карамзинского списка, слово «вдал» в Русской Правде употреблялось именно в значении «дать» взаймы, а отнюдь

---

[1] К. А. Неволин. Полн. собр. соч., т. V. СПб., 1858, стр. 125; Н. Калачев. Исследование о Русской Правде. М., 1846, стр. 99, 84; М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. I, стр. 29; L. K. Goetz. Op. cit., Bd. 24. Так же истолковывается ст. 14 Академического списка и в специальных монографиях о займе А. Загоровского и Вс. Удинцева, ср. комментарии Правды Русской (М.—Л., Изд-во АН СССР, 1947, стр. 105—109).

[2] «Указная книга Земского приказа», XIII, ст. 8, 17 ноября 1628 г.

[3] «Акты, относящиеся до юридического быта древней России» (далее — «Акты юридического быта»), т. I. СПб., 1857, № 104 (1646—1648 гг.).

не отдать[1]. Таким образом, это слово гораздо ближе соответствует предлагаемому нами второму толкованию.

Наконец, обратим внимание на выражение: «Не вдал ему свой скот». Оно устраняет всякие сомнения. Имея в виду запирающегося в долгу ответчика, нельзя сказать, что он злонамеренно не отдавал истцу своих денег или свой скот. «Свое» незачем было бы и отдавать. Другое дело, если бы он не отдавал истцу его денег. В этом уже легче было бы отыскать смысл. Но, имея в виду недобросовестного истца, сказать, что он вовсе не одолжал ответчику своих денег, вполне возможно. Стало быть, речь здесь идет об истце, и смысл всей статьи изъясняется следующим образом.

Если кто взыщет на другом долга, а должник запрется в том, что истец давал ему взыскиваемое, то идти им на извод пред 12 человека; и если окажется, что истец действительно не давал ответчику тех денег, которых злонамеренно ищет, то за обиду с него 3 гривны.

Правильность такого истолкования становится еще более очевидной при сопоставлении приведенной статьи с очень близкой к ней по содержанию ст. 10 Мирной грамоты новгородцев с немцами от 1195 г. Эта статья Мирной грамоты как бы дополняет ст. 14 Краткой Русской Правды. Последняя в своей резолютивной части, как мы уже видели, предусматривает только последствия недобросовестного иска, считая, очевидно, последствия иска доказанного само собой разумеющимися. Статья же 10 Мирной грамоты имеет в виду как раз этот второй случай — иск доказанный. И вот крайне характерно, что, имея в виду именно этот случай, она ровно ничего не говорит ни про штраф, ни про обиду: «Оже емати скот Варягоу на Роусине, или Роусину на Варязе, а ся его заприть; то 12 мужь послухы, идеть роте, взъмет свое».

Можно бы, пожалуй, приписать умолчание этой статьей дополнительного уголовного штрафа с должника за неисполнение договора влиянию германского права. Но для этого нет решительно никаких оснований. Прежде всего, если принять приведенное выше мнение Бруннера, уголовный штраф с неисправного должника был именно в духе древнегерманского права[2]. И, значит, добиваться его отмены в договоре с новгородцами немцы не имели оснований. Напротив, сравнение названного договора с другими памятниками русского и немецкого права той же эпохи ясно указывает, что не немцы, а русские отстояли в этом договоре по всем пунктам свои правовые воззрения.

Так, из одной отвергнутой русскими редакции договора немцев с новгородцами (XIII в.) видно, что у немцев в эту эпоху допускались «заклеймение, наказание розгами за маловажное воровство и смертная казнь за более значительное»[3]. В утвержденных же русскими договорах 1195 и 1270 гг., как и вообще во всем древнейшем русском праве, мы встречаем лишь денежный выкуп за уголовные деяния вообще и кражу в частности. Но еще интереснее сопоставить постановления этих договоров о взыскании долга. Договор 1195 г. делает специальную оговорку по этому поводу: «Немчина не сажати в погреб Новегороде, ни Новгородца в Немчьх; нъ емати свое у виновата»[4]. Точно так же ст. X до-

---

[1] «Оже где холоп вылжеть коня (куны), а он (веритель) боудеть не ведая вдал, то господину выкупати и или лишится его; ведая ли боудеть дал, то кун лишеноу емоу быти».

[2] Heinrich Brunner. Op. cit., S. 52. Ср. также ст. 52 Рипуарской Правды, по которой, если кто-либо одолжит кому-нибудь свою вещь, назначив срок, и если тот задержит одолженную вещь сверх срока, то к долгу присчитывается трижды пять солидов. Подобная же пеня, или законная неустойка за просрочку долга, предусмотрена в ст. 211 Lex sallica.

[3] Ив. Андреевский. О договоре Новгорода с немецкими городами и Готландом, заключенном в 1270 году. СПб., 1855, стр. 13.

[4] М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 1, стр. 112.

говора 1270 г. подтверждает эту оговорку: «Если Новгородец сделает долг в Готландии, то его (за оный) нельзя посадить в погреб» (in dhe pogarden — в тюрьму) и т. д.[1]

Значение этих оговорок выясняется из сравнения с отвергнутым русским и немецким проектом, по которому «незаплативший долга лишается свободы вместе с женою и детьми; заимодавец выводит его на торг и волен увезти из Новгорода своего должника, если на торгу его никто не выкупит»[2]. Подобно этому другой памятник немецкого права, восходящий, судя по языку, к XII в. (мы имеем в виду так называемые Новгородские скры, или Правду немецкого двора в Новгороде), заключает в себе целый ряд аналогичных статей о том, что должника, отданного другому за долги в неволю (to eghene — zu eigen — в собственность), можно до уплаты им долга держать для безопасности взаперти или связанным (ст. 53), что несостоятельного деликвента в случае неуплаты штрафа следует «посадить в погреб» (an de pogribben), где и содержать его на хлебе и воде до тех пор, пока не заплатит серебра (ст. 66), что за причинение увечья виновный, «если бы он по бедности не мог заплатить денег (1,5 марки штрафа и 10 марок серебра композиции), то должен за то десять недель содержаться в башне (in deme torne — in dem Thurme — по-современному в тюрьме) на хлебе и воде», и т. д.[3] Как видим, этот дух немецкого права совсем не соответствовал правовым воззрениям, отразившимся в Мирной грамоте новгородцев 1195 г.

Ошибочно толкуя ст. 14 Краткой Русской Правды, Неволин утверждал, что «запиравшийся во взыскиваемых с него деньгах, если был уличен в своем долгу посредством свидетелей, должен был заплатить истцу за обиду три гривны»[4]. Основываясь на том же толковании, некоторые исследователи идут и дальше, извлекая из него довольно смелые выводы в пользу деликтного происхождения договоров. Так, А. Г. Гусаков в ст. 14 усматривает «самое замечательное из всех постановлений древних кодексов об обязательствах», и вот почему: «В нем, по мнению этого ученого, выражено с полною ясностью, что нарушение договора стоит на одной линии с причинением обиды и притязание истца сводится не только к исполнению обязательства, но также и к требованию уплатить штраф»[5]. Стоит лишь, однако, сопоставить эти утверждения со ст. 10 Мирной грамоты, чтобы сразу же обнаружить полнейшую их произвольность. Нарушение договора здесь, очевидно, отнюдь не приравнивается к обиде, ибо, уличив запирающегося ответчика в долге, истец попросту берет свое, и только. Никаких дополнительных притязаний на штраф за неисполнение договора истец, стало быть, в эту эпоху иметь не мог.

Ст. 14 Краткой Русской Правды и ст. 10 Мирной грамоты можно бы еще сличить с соответствующей им статьей Пространной Русской Правды, где они обе как бы сводятся воедино[6]. Смысл этой статьи, по-видимому, таков: если истец уличит запирающегося ответчика в долгу, выведя против него послухов, то возьмет свои куны, в противном же случае (если он не сможет этого сделать — зане же не дал ему кун за много лет) обязан уплатить ему сам за обиду 3 гривны. Несмотря на некоторую неясность выражения «за много лет», указывающего, вероятно, на

---

[1] Ив. Андреевский. Указ. соч., стр. 27.
[2] Там же, стр. 33, прим.
[3] Там же, стр. 61—62, 70, 75.
[4] К. А. Неволин. Полн. собр. соч., т. V, стр. 125.
[5] А. Гусаков. Указ. статья, стр. 107.
[6] См. ст. 43 Карамзинского списка и ст. 58—59 Троицкого списка (изд. Сергеевича): «Аже кто взищеть кун на друзе, а он ся начнеть запирати, то оже на нь выведеть послуси, то ти поидуть на роту, а он возметь свое куны. Зане же не дал ему кун за много лет, то платити ему за обиду 3 гривны».

момент заключения оспариваемого договора (в прошлое время, несколько лет тому назад), всякое иное толкование и этой статьи, имея в виду все вышеизложенное, представляется нам весьма маловероятным[1].

Как бы то ни было, содержание ст. 14 древнейшей редакции Русской Правды на основании всего вышеизложенного можно считать вполне установленным. И если при прежнем толковании было еще неясно, о взыскании какого — деликтного или договорного — долга в ней идет речь, то теперь уже нет сомнения, что речь в ней идет о долге из передачи валюты, т. е. договорного происхождения. Таким образом, мы можем утверждать решительно, что уже с древнейших времен, и во всяком случае не позже X в., русское право знало наряду с деликтными и договорные обязательства. Можно сказать даже определеннее: оно знало обязательство из займа, так как в сделке, описанной в ст. 14 Краткой Русской Правды, мы имеем дело с передачей валюты в виде скота или денег, т. е., вообще говоря, вещей заменимых, отдаваемых под условием возврата эквивалента.

В рассмотренной статье недостает только самого термина «заем» для обозначения описанной в ней сделки. Не встречается он ни разу и во всей Русской Правде, несмотря на то что в пространной ее редакции имеется целый ряд детально разработанных постановлений о разных видах займа. Но из этого вовсе не следует заключать, что соответствующий термин вообще не был известен древнерусскому обществу рассматриваемой эпохи. Совсем напротив. Первое упоминание о займе в Начальной летописи мы встречаем уже в 996 г., т. е. даже раньше 1016 г., которым датируется древнейшая редакция Русской Правды. «Вдаяй нищему, богу взаим даеть»,— читаем мы здесь изречение Соломона, вняв которому князь Владимир, по словам летописи, «повеле всякому нищему и убогому приходити на двор княжь и взимати всяку потребу, питье и яденье и от скотьниць кунами». Затем в той же летописи под 1015 г. встречаем фразу: «Заим суд лъжю отдаеть»[2]. А затем термин «заем» находим и в целом ряде других памятников XI в.[3]

Таким образом, констатировать наличие отношений из займа в древнерусском обществе X—XI вв. мы можем, основываясь не только на описании соответствующей сделки в Русской Правде, но и на упоминании о ней в ряде других современных памятников.

2. ХАРАКТЕР ДРЕВНЕЙШИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Констатировав наличие в древнем быту отношений из займа, обратимся к уяснению характера той социально-юридической связи, какая возникала между контрагентами из этой сделки в древнейшее время.

Проблема эта, несмотря на всю важность, заключает в себе еще очень много неясного. Спорен даже вопрос о том, была ли эта связь личного или имущественного характера. И в этом споре мы опять наталкиваемся на теорию деликтного происхождения обязательств.

Согласно этой теории, вопрос разрешается следующим образом. Древнейшее обязательство есть обязательство уплатить известное возмещение за причиненный вред во избежание мести потерпевшего. До тех

---

[1] Ср. другие истолкования той же статьи (Правда Русская, т. II, М.— Л., 1947, стр. 408—410).

[2] Лаврентьевская летопись под 996 г.— ПСРЛ, т. 1, стр. 54, 56; Ипатьевская летопись под 1015 г.— ПСРЛ, т. 2, вып. I. Изд. 3, стр. 116.

[3] Ср. «Даждь ми взаим три хлебы» (Лука, VI, 35; XI, 6). В Пат. Син. XI в.: «Дадиве в заим», 266. У Гр. Наз. XI в.: «Даиати в заим бо(г)у», 78 и т. д. (И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам под словом «заим», т. I. СПб., 1893, стр. 916).

пор, стало быть, пока это обязательство не погашено уплатой, потерпевший сохраняет за собою право дать волю своему гневу и отплатить обидчику. Отсюда явствует чисто личный характер связи заинтересованных сторон. Гнев — это ведь чувство в высшей степени личное, оно всегда обращается на лицо, а не на вещи, реализуясь прежде всего в посягательствах на телесную неприкосновенность, свободу и жизнь обидчика. Возникшее, таким образом, представление о личной ответственности должника, став привычным правосознанию эпохи, легко могло со временем распространиться с деликтных обязательств и на более поздние — договорные. Для кредитора ведь мало оснований различать, должен ему другой известную сумму за увечье или по займу. И если в первом случае он, скажем, может бросить неисправного должника в погреб, подвергнуть его бастонаде или обратить в рабство, то, наверное, он сочтет себя в праве сделать то же самое и в другом случае.

Такое правосознание в древнейшую эпоху, по мнению сторонников деликтной теории, было общим явлением у всех народов. «История права,— утверждает, например, А. Г. Гусаков,— отмечает в этом отношении поразительное однообразие у всех народов, находящихся на низших ступенях развития,— первоначально всюду преобладающее значение имеет личное взыскание. В применении к неисправному должнику оно оказывается столь же общим явлением, как и в применении к лицам, ответственность которых основывается на деликте» [1].

Можно ли, однако, принять вышеизложенный взгляд за доказанный? И тем более в отношении всех народов? Общие соображения, какие приведены и еще могут быть приведены в развитие деликтной теории, пожалуй, и правдоподобны, но ввиду спорности исходной точки — действительно ли из деликта возникли примитивные обязательства — сами по себе не решают еще вопроса. Сторонники деликтной теории ссылаются, правда, и на положительные факты истории права. Но и в этом отношении не следует упускать из виду, что вследствие скудости памятников древнейшей истории права такие факты нередко подвергаются слишком произвольным толкованиям. Вследствие этого всякие ссылки на историю права должны подвергаться особо тщательной проверке. Во всяком случае, верен ли приведенный вывод деликтной теории о личном характере древнейшего обязательства или нет, этот вопрос может быть решен лишь на основании положительных данных истории права. Обратимся же непосредственно к ним, останавливаясь на судьбах древнерусского займа.

Это должно представить тем больший интерес, что русские вовсе не составляют исключение среди «всех народов», которым принято приписывать господство личных взысканий с неисправных должников на первых ступенях права. Такой авторитетный юрист, как Д. Мейер, положительно утверждал, например, со ссылками на Русскую Правду, что в древнерусском быту «в случае неисправности всякий должник отвечал верителю личностью» [2]. А Владимирский-Буданов комментирует это мнение относительно личной ответственности должника в древнерусском праве следующим замечанием: «Прибавим, что в этом заключалась полнейшая противоположность права московского государства праву литовскому, по которому взыскание обращалось главным образом на имущество. Указанная вскользь Мейером особенность права московского государства должна быть признана *основным началом обязательственного права* в московском законодательстве. Отсюда объясняется правеж и выдача головою» [3].

---

[1] А. Гусаков. Указ. статья, стр. 215.

[2] Д. Мейер. Древнее русское право залога.— «Юридический сборник». Под ред. Д. Мейера. Казань, 1855, стр. 228.

[3] М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 3. Изд. 3. СПб.— Киев, 1889, стр. 4, прим. (курсив наш.— *С. С.*).

Посмотрим же, в какой мере справедливы эти утверждения. Итак, личный ли характер носила долговая связь в древнерусском праве или имущественный?

Мы знаем, к чему в двух наиболее основных чертах сводится это различие.

1. *По вопросу о преемственности.* В обязательстве личного характера долговая связь существует лишь между договорившимися сторонами. Веритель обладает здесь известными правами на действия своего должника и, пожалуй, вообще на его личность, но не на его имущество. Поэтому такие обязательства не переносимы на третьих лиц, не участвовавших в сделке, и прекращаются окончательно со смертью хотя бы одной из сторон. В обязательствах имущественного характера веритель получает право на известную часть имущества должника, и потому это имущественное право может быть отчуждено кому угодно, вместе с тем и со смертью должника долговое отношение отнюдь не прекращается, а просто переходит на тех, к кому перешло его имущество.

2. *По роду ответственности.* В случае личной связи ответственность за неисполнение обязательства падает на телесную неприкосновенность, личную свободу и жизнь должника. В случае связи имущественного характера — только на его имущество.

Нам предстоит, таким образом, прежде всего выяснить, как обстоит дело с вопросом о преемственности древнейших обязательств из займа в русском праве.

Некогда в римском праве, если исходить из общепринятых воззрений, обязательства из займа, как, впрочем, и всякие другие, были не переносимы на третьих лиц ни в порядке договорного отчуждения прав требования, ни в порядке наследования. Долговая связь была чисто личной и потому не допускала замены в лице должника или верителя иначе как по взаимному их соглашению, т. е. путем замены самого договора новым договором. Со смертью же одного из контрагентов эта связь порывалась окончательно. Со временем, однако, такое положение вещей, вполне согласное с духом деликтной теории, претерпело существенные изменения. И ныне повсюду, как известно, вошли в оборот не только переуступки кредиторских прав помимо согласия должника, но и так называемые бумаги ордерные и на предъявителя, по которым должник уже при самом заключении долгового обязательства обязуется уплатой всякому доверителю бумаги, т. е. лицу, ему совершенно неведомому. Вместе с тем долговая связь отнюдь не прерывается и со смертью одного или даже обоих контрагентов, переходя по общему правилу в полном объеме на их правопреемников.

Такая преемственность обязательств настолько дисгармонировала с традиционными воззрениями романистов, что для спасения этих устаревших воззрений была создана даже особая фикция, по которой правопреемник вступал будто бы в самую личность наследователя и лишь в качестве естественного продолжателя этой личности осуществлял ее права и обязанности. Несостоятельность этой фикции явствует уже из того, что и в современном праве к третьим лицам в порядке наследования способны переходить далеко не всякого рода обязательства, причем менее всего способны к такому переходу именно те обязательства, которые всего теснее связаны с личностью договаривающихся, как, например, в договоре личного найма, т. е. те, которым всего естественнее, казалось бы, перейти к продолжателям «личностей» контрагентов. С другой стороны, наоборот, всего легче в современном обороте осуществляется преемственность обязательств чисто имущественного характера. Но для объяснения этого нет нужды, конечно, представлять, будто такие обязательства переходили к преемникам «личности» контрагентов, ибо

вполне достаточно видеть в них просто преемников имущества этих контрагентов.

Говоря иначе, преемственность обязательств в современном праве всецело зависит от их характера. Если в исполнении обязательства усматривается лишь имущественный интерес, то преемственность его сама собой подразумевается; если же в исполнении договора существенную роль призваны играть личные индивидуальные особенности сторон, то преемственность соответствующих обязательств по общему правилу, наоборот, исключается.

Древнейшее право, однако, согласно деликтной теории, не знало таких различий. В нем все обязательства, в том числе и заемные, по примеру деликтных носили характер чисто личной связи. И поскольку, скажем для аналогии, сын не мог бы быть оштрафован за уголовные проступки умершего отца, постольку же он не подлежал бы ответственности и за долги его.

Посмотрим же, наблюдалось ли нечто подобное в древнерусском праве, и если наблюдалось, то в какую эпоху.

В поисках фактов из области русского права, наиболее пригодных для истолкования их в пользу деликтной теории с вышеуказанной точки зрения, мы прежде всего должны обратиться к указам 1588 и 1597 гг.

В указе от 8 февраля 1588 г., изданном по боярскому приговору при Феодоре Ивановиче, значится: «А которые люди ищут по выданным кабалам, кто за свой долг кому, за денги, подписав кабалу выдаст, а сам он жив или умер, и по тем кабалам и по памятем суда не давати» [1].

«*Выданные* кабалы», как видно из противопоставления их в одном из указов 1646 г. заемным кабалам, «по которым кабалам учнут истцы о суде *сами* бить челом», суть заемные письма, по которым ищут не сами верители, на чье имя кабалы писаны, а другие лица, верителями к тому управомоченные [2]. И, стало быть, смысл приведенной новеллы 1588 г. сводится к следующему: она объявляет ничтожными всякие передаточные надписи на заемных письмах, хотя бы надписатель был еще жив и мог лично подтвердить подлинность своей подписи, удостоверяющей возможную уступку им своего права требования предъявителю кабалы.

Наряду с этим указом о переуступке заемных обязательств можно поставить другой указ той же эпохи, реформирующий положение кабального холопства в Московской Руси. Холопство этого рода возникло у нас, как известно, из дополнительного по займу обязательства «за рост служити». С уплатой долга прекращалось и это обязательство. С конца XVI в., однако, такой должник потерял свое право освободиться во всякое время от холопства уплатой долга, будучи вынужден, таким образом, служить своему господину за проценты с занятой суммы до смерти господина. Зато в случае смерти господина он получал свободу и без уплаты долга.

«...А которые люди... кабалы служилые на себя давали... и тем всем людем, и женам, и детем, которые жены и дети в тех служилых кабалах писаны в службу... быти в холопстве, как и по докладным, а от государей своих им не отходити и денег по тем служилым кабалам у тех холопей не имати, и челобитья их в том не слушати по старым кабалам; а выдавать их тем государем, по тем кабалам, в службу, до смерти... по государеве же смерти... женам после мужей своих, и детем после отцов своих, до тех кабалных записных людей, и до их детей... дела нет, и де-

---

[1] «Указная книга ведомства казначеев», указ от 8 февраля 1588 г., ст. XXI.

[2] «Указная книга Земского приказа», указ от 25 июля 1646 г., ст. XLII (ср. «Уложение государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, 1649 г.», 1913, гл. X, ст. 258).

нег по тем отцовским кабалам на тех кабалных холопех женам и детем не указывати» [1].

В том, что дополнительное обязательство «за рост служити» прекращалось со смертью одного из контрагентов, нет ничего неожиданного с точки зрения современного права, ибо это обязательство чисто личное. Но почему вместе с тем теряло силу и главное обязательство — об уплате займа? Почему наследники верителя, обязанные освободить кабального слугу от личной службы, теряли право и на денежный иск с него по отцовским кабалам?

Всего легче было бы ответить на эти вопросы догадкой, что долговые обязательства в рассматриваемую эпоху русского права вообще создавали лишь чисто личную связь, не допускающую никакой замены одного лица другим, никакой преемственности. В таком случае действительно можно бы сказать, что наследникам «дела нет» до должников их наследователя, ибо им нет дела ни до кого, кто не связан договором лично и непосредственно с ними. Однако такое обобщение, как мы это увидим дальше, было бы, несомненно, слишком поспешным.

Во всяком случае, даже признавая приведенные факты вполне достаточными для установления личного характера долговой связи в русском праве к концу XVI в., необходимо было бы еще удостовериться в том, что такой характер был и раньше, уже с древнейших времен, присущ обязательствам русского права. Это необходимо, ибо, согласно деликтной теории, не допускающая замены в лицах долговая связь в обязательствах должна характеризовать собой именно древнейшую стадию в развитии права, когда отношения между всяким должником и кредитором строились еще, дескать, по образцу отношений между обидчиком и мстителем, соглашающимся на выкуп за обиду. Но, углубляясь в более древнюю эпоху русского права, мы не находим в ней уже решительно никаких подтверждений деликтной теории.

Переуступка обязательств. Боярский приговор 1588 г. своим запретом давать суд по выданным кабалам вводит несомненно новшество. Уже apriori ясно, что до него судебная практика не отказывала в исках по выданным кабалам, ибо в противном случае не понадобился бы и запрет. Но возможно, что задачи суда при исках по выданным кабалам сильно затруднялись в тех случаях, когда должник оспаривал подлинность передаточной подписи или же ссылался на уплату долга отсутствующему на суде первому верителю. И тогда вышеуказанный запрет 1588 г. можно бы объяснить попросту как наиболее примитивную попытку избежать излишних затруднений в судопроизводстве. По крайней мере именно такими мотивами продиктован другой запрет, содержащийся в том же указе 1588 г.,— запрет давать суд «по старым кабалам», более 15 лет, на тех людей, которые сами «не учнут винитца».

Как бы то ни было, запрет 1588 г. в отношении выданных кабал, по-видимому, настолько не соответствовал требованиям оборота, что уже очень скоро, во всяком случае не позже 1646 г., закон был пересмотрен и отменен: в 1646 г., заслушав доклад о боярском приговоре 8 февраля 1588 г., сысканном дьяками в Земском приказе после московского разорения, «государь указал, а бояре приговорили: по выданным кабалам суд давать» [2]. В указе этом, правда, речь идет лишь о взыскании «истины» по кабалам, без ростов, но запрещение ростов

---

[1] «Указная книга Приказа холопьего суда», указ от 25 апреля 1597 г., ст. 1.

[2] «Указная книга Земского приказа», ст. XLII, 8 июля 1646 г. В тексте указа, собственно говоря, значится, что по выданным кабалам велено давать суд еще в 1628 г., но соответствующего этой ссылке указа неизвестно.

при Алексее Михайловиче было общей мерой, относящейся ко всяким кабалам[1].

Подробнее регламентирован вопрос о передаче обязательств в Уложении 1649 г., в котором находим следующую статью: «А кто на ком учнет заемных денег искать по выданным кабалам, а кабалы из лет не вышли, и на кабалах будет подписано, что им те кабалы выданы за долг, или на те кабалы даны им данные: и по тем выданным кабалам истцом на заемщиках заемныя деньги велеть править без росту же. А будет та кабала, которую в суде истец положит, не подписана, и данные на ту кабалу у него, на чье имя та кабала писана, нет: и по той кабале суда не давать»[2].

В этом узаконении, как видим, суд предъявляет к держателю долгового документа, выписанного на имя третьего лица, одно лишь требование: удостоверить добросовестное владение этим документом, причем легитимация держателя допускается либо в виде особой надписи на самой кабале, либо в виде специального письменного акта.

Однако для оборота и это требование было, по-видимому, стеснительным, и скоро практика нашла способ обходить его. Выданные кабалы и после Уложения не исчезли из оборота[3]. Но наряду с ними с этого времени все чаще попадаются кабалы, в которые уже при самом заключении займа включалась следующего рода оговорка: «а неотъиматися нам заимщиком от сей кабалы ни коими делы, где ся кабала ни застанет под коим судом ни есть по сей кабале, *а хто с сею кабалою ни станет, тот по ней и истец*»[4]. С такой оговоркой заемное письмо не встречало уже никаких препятствий к обращению, уподобляясь современным бумагам на предъявителя.

До Уложения подобных оговорок в обиходе, по-видимому, не было. Быть может, потому, что и особой нужды в них тогда не встречалось, поскольку ни закон, ни обычай не требовали еще слишком категорически письменной легитимации держателя долгового документа. Во всяком случае до Уложения заемные письма, и не снабженные никакими оговорками, обращались, по-видимому, довольно свободно. По крайней мере в целом ряде актов этой эпохи мы встречаем неоднократные указания на то, что заемные документы и закладывались, и отчуждались и вообще долговые обязательства переуступались как возмездно, за деньги или за долг, так и безвозмездно, например в виде вклада по душе в монастырь.

В самом деле, приведем несколько примеров сделок этого рода.

О случае заклада заемной кабалы нам известно одно указание еще от XIV в. Перечисляя в одной новгородской духовной этого века своих должников, с которых ему следует получить «по жеребьям и по грамотам», завещатель, между прочим, пишет: «а взяти ми... у Филипа Яскоминова три рубля; а грамота в закладе»[5]. Д. Мейер, с представлениями которого о чисто личном характере древнерусских обяза-

---

[1] «Уложение государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, 1649 г.», гл. X, ст. 255.

[2] Там же, ст. 258.

[3] См. «Акты, относящиеся до юридического быта древней России», изд. 1913 г. (далее — «Акты юридического быта»), т. 2. СПб., 1864, № 129, разд. III; 1671 г., стр. 89; «Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства» (далее — «Акты юридические»). СПб., 1838, № 427, 1671 г., стр. 461; № 316, разд. III, 1678 г., стр. 337 (в последнем акте речь идет об иске по «выкупной», т. е. выданной за деньги, кабале и даже по «перехваточной (?) заемной памяти»).

[4] См. заемную денежную кабалу 1665 г. М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 2. Изд. 4. СПб.— Киев, 1901, стр. 247. Ср. «Акты юридического быта», т. 2, № 125, разд. II, 1666 г.; разд. III, 1678 г.; № 126, разд. VIII, 1663 г.; разд. IX, 1668 г.; разд. XII, 1678 г.

[5] «Акты юридические», № 409, разд. I.

тельств плохо мирилось это указание, пытался истолковать приведенное выражение «а грамота в закладе» в значении «а грамота в забросе, затеряна» [1]. Однако это толкование едва ли приемлемо, так как нам известны и другие случаи аналогичных сделок с кабалами. Укажем, например, на духовную 1619 г., где при исчислении своих заемных кабал к уплате и к получению завещатель сообщает: «да что (еще?) есть кабала Суботкина, *лежит* у Ивана Соловецкого *в тридцати во шти алтынех в четырех денгах»* [2]. Здесь уже очевидно, что кабала Суботкина не затеряна, она лежит у Ивана Соловецкого, и притом не просто лежит, на хранении, а лежит в определенной сумме, т. е. находится в закладе.

О чем же говорит возможность таких сделок?

Назначение всякого заклада — служить обеспечением исполнения какого-либо обязательства. Но кабала сама по себе, т. е. лишь в качестве клочка исписанной бумаги, разумеется, не представляет никакой ценности и потому не могла бы служить обеспечением. А если она все же передавалась и принималась в заклад, значит, при таких передачах кабал имелась в виду ценность не самой бумаги, а того имущественного права требования, которое было зафиксировано в данной бумаге. Говоря иначе, закладу подвергалось, собственно, *право требования* по данной кабале. При этом, поскольку для заклада права требования служила передача соответствующего долгового документа, можно думать, что владение этим документом обеспечивало закладопринимателя в двух отношениях: во-первых, до выкупа заклада закладодатель, очевидно, не мог взыскать своего долга по заложенной кабале и, во-вторых, в случае просрочки заклада закладоприниматель получал возможность реализации его путем непосредственного предъявления заложенной у него кабалы третьего лица ко взысканию.

Таким образом, из факта *заклада* кабал в рассматриваемую эпоху мы выводим юридическую возможность *взыскания* по чужим кабалам в эту эпоху и заключаем, что право требования по займу, как бы овеществляясь в долговом документе и переходя с ним из рук в руки, носило в данную эпоху, вопреки мнению Д. Мейера и других, уже вполне ясно выраженный имущественный характер.

В подтверждение сказанного мы приведем дальше целый ряд разнородных указаний и фактов. Но прежде всего остановимся еще на нескольких примерах закладных сделок, аналогичных вышеуказанным.

В одной заемной 1612 г. с перезакладом земли значится: «Се яз Никита Стафиев... занял есми у Моисея у Конанова сына 30 и 5 рублев... А в тех есми ему денгах яз заимщик заложил землю, свое владенье... а заложил есми яз Никита ту *свою землю по своей по закладной грамоте*, что мне заложил Трофим Артемьев сын... *А закладную грамоту Трофимову... яз Микита отдал Моисею же...»* [3] В другой, более ранней заемной с перезакладом по кабалам от 1559 г. читаем: «Се яз князь Василей... занял есми у Кириллова монастыря старца у Никодима монастырские казны триста рублев денег; а в тех денгах заложил ему есми *закладное свое село,* что мне заложил князь Григорей... по двема кабалам в трех же стех рублех... *а старые есми кабалы и запись очищелную,* что у меня взяты на князя Григорья, *отдал старцю ж Никодиму...»* [4]

---

[1] Д. Мейер. Указ. статья, стр. 236. Ср. его утверждение о древнерусском юридическом быте: «имущественного характера обязательств он (этот быт) не сознает вовсе; в них, следовательно, нет для него ничего подлежащего залогу» (там же, стр. 235).

[2] «Акты юридические», № 424.

[3] «Акты Холмогорской и Устюжской епархии», ч. 2, CIX.— «Русская историческая библиотека», т. III. СПб., 1894, стр. 219, 220—221.

[4] «Акты юридические», № 241.

Формально здесь речь идет о закладе *земли,* а не кабал или грамот. Но фактически мы имеем здесь дело с перезакладом, т. е. в сущности лишь с закладом *закладного права* на эту землю, причем право это как бы овеществляется в соответствующем долговом документе первого заемщика, вследствие чего передача права и осуществляется передачей документа. Правосознание эпохи, очевидно, предполагало, что, не выкупив своей закладной кабалы у нового ее держателя, первый заемщик не мог отобрать у него из заклада и свою землю [1]. Вследствие этого, надо думать, владение «старыми кабалами» первых заемщиков и служило главным обеспечением новых верителей в случаях перезаклада. Новые же закладные в их руках являлись как бы лишь легитимацией правомерности их владения «старыми кабалами» третьих лиц.

В приведенных случаях мы имели дело с закладом прав, вытекающих из обязательств по займу. Здесь, стало быть, первый веритель сохранял за собою все же хотя бы условное право выкупить самому заложенную кабалу, перезаложенную землю и т. п.[2] Гораздо чаще, однако, встречаются указания на полное отчуждение долговых обязательств.

Иногда, особенно в более древних актах, эти указания не вполне определенны, но во всяком случае на возможность как получения, так и уплаты по обязательствам третьих лиц они указывают с достаточной ясностью.

Так, в упомянутой уже выше новгородской духовной XIV в. значится: «а взяти ми... по жеребьям и по грамотам... у Матфеевых, у Болсина у Семена и у Гордея пять рублев, *за Марфу за Охромееву тещу...»* Мы не знаем из какой сделки вытекает право завещателя получить вместо Марфы 5 руб. долгу с Матфеевых. Известно, однако, что этот долг Матфеевых Марфе он имеет получить за нее не по поручению, а для себя, ибо в духовной сказано: «а то все *мое* чисто возмет сын мой Федор» [3]. Еще яснее в этом отношении указание другого, более позднего акта — XV в. (до 1460 г.), в котором некий чернец Ярлык пишет: «Дал есми... (в Симонов монастырь)... свои селца... *и што в тех селцех и в деревнях на людех мое серебро делное и ростовое, и яз то дал все Пречистой на Симаново...* на поминок своей души»[4].

Здесь характер сделки не оставляет сомнений. Чернец Ярлык передает монастырю право получения за него долгового серебра с его должников в виде вклада по душе. Аналогичное указание можно привести и из актов XVI в. Укажем, например, данную закладную Федора Некрасова от 1591 г. на «свои закладные две пожни... в Кирилов монастырь» [5]. Здесь с передачей монастырю закладных и, значит, подлежащих выкупу пожен, очевидно, передается в виде вклада и право получения с собственника пожен в случае их выкупа всей суммы долга этого собственника по закладной Федору Некрасову.

С приведенными сделками, указывающими на возможность получения по чужим обязательствам, сопоставим нижеследующие. В одной закладной начала XV в. читаем: «Се яз Семен Степанов сын Рознеж-

---

[1] Ср. о перезакладе в литовско-русском праве «Статут Литовский 1529 г.», разд. X, арт. 4 — «Временник Московского общества истории и древностей российских», кн. 18. М., 1854, стр. 85.

[2] Ср. о выкупе перезаложенного ковша в духовной 1567—1568 г. Н. П. Лихачев. Сборник актов, вып. I, № XVI. СПб., 1895, стр. 56.

[3] «Акты юридические», № 409, разд. I. В словах «взяти 5 руб. за Марфу» можно бы еще, пожалуй, усмотреть иной смысл, допуская, что Марфа — раба и что она была продана Матфеевым за 5 руб. Но, во-первых, цены на рабов в XIV в. были в несколько раз ниже, а, во-вторых, обозначение Марфы не по отцу, а в качестве тещи какого-то, очевидно весьма известного лица, Охромея, для рабы было бы слишком необычным.

[4] «Акты юридического быта», т. I. СПб., 1857, № 85.

[5] Там же, № 63, разд. XX.

ского занял есмь у архимандрита у Малахиа... и у его братьи... двадцать рублев монастырского серебра святого Благовещенья, а умру в осаде, а кабалы своеа не выкуплю, ино им моа отчина... по моей душе. *А дати ми Епифанию, Боголюбскому старцу, кадь меду, и яз велел заплатить Малахею же»* [1]. Это передача *уплаты* долга третьему лицу. В другом акте того же XV в., а именно: в данной на земле Троицкому монастырю от 1432—1443 г.,— находим такое место: «А что нам (княгине с детьми) давати Александру старцу Русану трицат рублев, двацат рублев Новгородских, а десят рублев ходячег, *и та с нас гн наш игумен Зиновеи Троцьский з братьею снял»* [2]. Снял, очевидно, за вклад, приняв на себя уплату долга вкладчицы Русану, который, кстати сказать, значится в числе послухов означенной сделки. Далее, укажем следующую отступную от 1571 г.: «Се яз Василей да яз Иван, Онкудиновы дети, отступилися есмя дяди своему Елизару Федорову сыну долгу и слободы и всего живота без вывета... *а что у нас долгу* отцова и своего, *ино Елизару, за тот живот и за землю* долг наш поплатити весь» [3]. Далее, из одной поручной 1608 г. узнаем о следующей сделке: «снял Василей... Степановское повытие с дочери его с Марьи», т. е. взял на себя земельный надел Степана с таким обязательством: «и будет что... на Степана кабал или записей денежных или хлебных, и *те кабалы выкупать Василью своими денгами и хлебом»* [4].

Из сказанного можно заключить, что правосознание эпохи, рассматривая долговые обязательства исключительно с имущественной стороны, свободно допускало замену не только в лице кредитора, но зачастую и в лице должника, так как переуступке третьим лицам подвергались и права требования, и обязанности уплаты долга.

В некоторых сделках имущественный характер заемных обязательств выступает особенно рельефно. Так, в разделительных актах заемные кабалы обычно рассматриваются не иначе как составная часть общего имущества, подлежащая разделу наравне с прочим добром, совершенно вне зависимости от того, на чье имя те кабалы писаны. Сошлемся, например, на раздельную тихвинцев Мининых с племянником по случаю их отъезда в Стокгольм в 1646 г.

«Се яз Тимофей да яз Семен,— читаем мы в этой раздельной,— с племянником своим Иваном... поделились есме меж собя... по третем *хлебное, и обиходное, и товарное, и долговое, на ком что взять и кому что отдать...* А кабалного долгу Тимофею платить: в Веденский монастырь сто рублев, Ерославцу Дмитрею Петрову сто рублев... и всего долгу, по выкладке, платить четыреста рублев... с ростами. А Семену платить за собя, по кабалам: Ефиму Бухарину девяносто рублев, Анны Житчихи по двем кабалам сто рублев... *А мне Ивану платить по кабалам:* Ефиму Бухарину сто рублев, Анны Житчихи сто рублев, Пречистые Богородицы в казну четырнадцать рублев, *а в кабалы писано имя Тимофеево... А в обиходе, в товаре и в кабалах,* Тимофею досталось на сто на шесть рублев; Семену... на сто на полтретья рубли; Ивану... на сто на шестнадцать рублев досталось... и нам кабалы, которая кому досталась платить, безо всякого задержания выкупати и друг друга в тех долгах разрешить безмятежно и без убытков» [5].

Подобно этому в раздельной трех братьев Кулаковых с племянником их Андреем от 1566 г. читаем: «разделилисе есмя с Ондрием з Дмитриевым сыном, с племянником своим, *хлебом и солью, и скотом,*

---

[1] «Акты юридического быта», т. 2, № 126, II.
[2] Там же, т. 1, № 63, VII.
[3] «Акты юридические», № 23 (отступная приводится в «правой грамоте» 1571 г. на стр. 57).
[4] «Акты юридические», № 290, разд. III.
[5] «Акты юридические», № 267.

и платьем, и долгом, и слободою... А что кабала у Зелениных на Дмитрея на Ондриева отца в сороке алтынех, ино по той кабале Ондрею Дмитрееву дела нет: мы три браты, Иван и Михайло и Игнатей, за ту Кабалу поимались» [1].

Как видим, «хлебное, и обиходное, и товарное, и долговое» имущество поступает здесь в дележ на совершенно одинаковых основаниях. Пусть Ивану при этом придется платить либо получать по кабалам Тимофея или наоборот,— это не меняет расчета, лишь бы каждый «в обиходе, в товаре и в кабалах» в общем итоге получил полностью свою долю.

Уже из этого сопоставления имущества в кабалах с имуществом в товарах можно бы заключить, что в рассматриваемую эпоху заемная кабала могла без особых препятствий обращаться, переходя, подобно товару, из рук в руки. А это в свою очередь предполагает возможность взыскания по чужим кабалам для всякого управомоченного держателя таких кабал. И действительно, свидетельствуя о таком обороте, акты то и дело говорят об «отказных», о «данных» и «выкупных», о «выданных» за деньги или за долг и даже о «перехваточных» кабалах и заемных записях. Спрашивается, насколько же было обеспечено взыскание по таким кабалам, переменившим своего владельца?

На вопросе о праве взыскания *по поручению* за кого-либо другого мы можем здесь не останавливаться. В отношении таких учреждений, как монастыри, столь часто выступавших у нас на Руси в роли заимодавцев, это право искать по кабалам через доверенных лиц само собою подразумевалось. И лишь изредка в монастырских кабалах оно выражается специальной оговоркой: «а кто монастырьских по сей кабале станет, старць или слуга, той нам (заимщикам) истець» [2]. Но и в отношении частных лиц это право, по-видимому, никогда не оспаривалось. В духовной Ивана Васильевича Волынского от 1629—1630 гг. имеется, например, такое место: «да на пошехонце на Илье Онфалове взяти по кабале пятнатцат рублев денег, *будет на нем* не взял человек мой Бессон» [3].

Из подчеркнутой оговорки ясно, что доверенный слуга мог иной раз взыскивать по кабалам своего господина даже без его ведома.

Более спорным ввиду указа 1588 г., запретившего давать суд по выданным кабалам, является вопрос о праве иска по чужим кабалам не в качестве доверенного лица, а от своего собственного имени. Обращаясь, однако, к актам, видим следующее.

Из указной грамоты от 5 июня 1646 г. шуйскому воеводе о взыскании недоимки откупных денег с кабацкого откупщика Луки Ляпунова узнаем, что в уплату этой недоимки у Луки были не только «отписаны дворы и лавки и животы» для продажи их по вольной цене, *но и отобраны все его заемные кабалы* на разных лиц с приказом воеводе: «А по кабалам... (всю сумму долга этих лиц *Ляпунову)* велеть доправить тотчас» [4]. Ясно, значит, что — в интересах фиска по крайней мере — взыскание по чужим кабалам и до формальной отмены указа 1588 г., состоявшейся 8 июля 1646 г., было вполне возможно. Но еще интереснее в этом отношении приходная книга Болдина Дорогобужского монастыря за 1603—1604 гг., в которой находим целый ряд записей о получении по переуступленным монастырю кабалам разных лиц.

[1] «Акты Холмогорской и Устюжской епархии», ч. 2, NXLIII.— «Русская историческая библиотека», т. 14, стр. 71, 72. Ср. еще раздельную князей Кемских от 1529 г.: «мне ся князю Костянтину достало... Тутановское селцо, да Новоселки... да кабала Ивана Добринского в трицати и в получетверте рубле...» и т. д. («Акты юридические», № 264).

[2] «Акты юридические», № 253, заемная кабала 1608 г.

[3] Н. П. Лихачев. Указ. соч., вып. I, № XXVI, стр. 85.

[4] «Акты юридического быта», т. I, № 55, разд. IX.

Например: «На сыне боярском на Ондрее Дедевшине взято полтина, что он занел на Москве у Ондрея Уньковского... у Василья Гаврюшина взято *по отказной кобале* слуги Фомы Огафонова уплаты десять рублев... у Федора Курбакина взято *по кобале дачи слуги* Демкиных денег уплаты семь рублев... на Климе Карпове взято *по отказной памети* старца Иякова Шепетки десять алтын...» и т. д.[1] Все эти записи в несомненности подтверждают, что, несмотря на указ 1588 г., получение по чужим кабалам было вполне обычной вещью в начале XVII в.

Из более ранних актов укажем на духовную С. Д. Пешкова-Сабурова от 1560 г., где значится: «да взяти мне по Тимофееве кабале Карамышова на Костянтине на Хвостове да на Никите на Костянтинове сыне Шаткове полчетвертатцат рублев денег по кабале, а ту мне кабалу выдал Тимофей за свой долг да и о(т)пись мне Тимофей в той кабале дал своею рукою»[2]. Как видим, Сабурову и в голову не приходит сомневаться в возможности взыскания по «выданной» ему за долг чужой кабале. В другой духовной князя Н. А. Ростовского от 1548 г. читаем: «да что *на меня выкупил кабалу* в четырех рублех Григорей Очин Плещеев у Федора у Туренка, и *яз те денги заплатил сыну* (Григория Плещеева) Федору и Федор мне в тех денгах и отпись дал своею рукою, а кабалу ялся отдать да кабалы мне не отдал»[3]. Как видим, и здесь выкупленная третьим лицом кабала была оплачена должником без спора. Но погашенная кабала в данном случае не была возвращена при уплате, и вот завещатель особо оговаривает это со ссылкой на расписку, очевидно, во избежание *вторичного требования* по той же кабале с его наследников. Наконец, укажем еще на одну любопытную вкладную от 1540 г. на заемную кабалу, где читаем: «Се яз Матфей да яз Федор... *дали есмя* в Кирилов монастырь... *кабалу* на Петра на Васильева сына Ушакова в смидесят рублех, с росты сорокоустни, по своих родителех да и по своих душах»[4].

Нужно ли говорить, что такая «данная» кабала не представляла бы для монастыря решительно никакой ценности, если бы ее нельзя было предъявить ко взысканию.

Итак, обращение выданных кабал задолго до первого о них упоминания в указе 1588 г. можно считать установленным. Мы можем указать даже пару образчиков таких кабал с передаточными на них надписями. Первая из них — заемная князя Ф. П. Ухтомского в 10 руб. с закладом деревень — относится к 1550 г. На лицевой ее стороне обычный текст: «Се яз князь Федор... занял есми у князя у Данилы... десять рублев... на год; а в тех есми денгах заложил ему...» и т. д. На обороте подпись должника: «По сей кабале яз князь Федор денги занял и деревни заложил и руку приложил». А немного выше, другим почерком, следующая, по-видимому позднейшая, надпись заимодавца: *«По сей кабале взял у князя у Ивана с братом деньги;* а (и)ные у меня князя у Данила на деревни кабал (и) иных крепостей, которые в сей кабале писаны, нет. Подписал яз князь Данило своею рукою»[5].

С первого взгляда эту надпись можно бы принять за простую расписку в получении долга. Но ведь должником был Федор, а деньги взяты с Ивана. Правда, они взяты у Ивана с братом, и можно подумать, что Федор-то и был этим братом. Однако это допущение совершенно произвольно. Прежде всего должнику вовсе не нужна была бы

---

[1] «Акты юридического быта», т. 2, № 142, разд. I.
[2] Н. П. Лихачев. Указ. соч., вып. I, № XIII, стр. 40.
[3] «Акты юридические», № 420.
[4] «Акты юридические», № 123.
[5] «Акты юридические», № 240, 262—263. В кабале «никаких крепостей» не писано, и выражение «которые в сей кабале писаны» надо, очевидно, относить не к слову «крепостей», а к слову «деревни».

расписка в уплате долга на кабале. Если кабала налицо, то достаточно просто отобрать ее у верителя. А затем к чему было бы заимодавцу уверять должника в расписке, что иных крепостей на деревни, писанные в кабале, у него нет? Должник ведь и сам знает, какие крепости он давал ему на свои деревни. Иное дело, если кабала переуступается данной надписью третьему лицу. Стороннему приобретателю весьма важно конечно получить удостоверение, что на деревнях, служащих обеспечением указанной в кабале суммы долга, не тяготеет более никаких закладных обязательств. Вот почему мы и думаем, что приведенная надпись представляет собой не отпись в получении долга или расписку, а ту особую надпись, которая согласно указу 1588 г. употреблялась, когда кто за свой долг кому или за деньги *«подписав* кабалу выдаст».

Второй известный нам образчик выданной кабалы представляет особую заемную от 1501—1502 г. с закладом права рыбной ловли. «Се яз Окул Жук, княжь Иванов слуга Семеновича,— читаем мы в этой кабале,— занял есмь у архимандрита у Въскресенского у Череповского монастыря у Арсенья рубль денег, Московскими денгами ходячими, по пяти гривен за полтину... на год; а в тех есмь ему денгах заложил государя своего полночь, в Устьзуцком езу; за росты ему бити и седети... лета 7010». Под кабалой же следующая позднейшая приписка: «А сю кабалу архимандрит Арсений *положил в казну,* а у казначея взял рубль денег, а та полночь ловити ему (казначею) на митрополита. А подписана лета 7021 генваря в 24 день» [1].

Из приведенных актов видно, что с начала XVI в. переуступка прав требования по обязательствам неоднократно удостоверялась специальным актом или особой подписью на кабалах. Но у нас есть основание думать, что в рассматриваемую эпоху такая документальная легитимация отнюдь еще не считалась обязательной и взыскание по чужим кабалам было вполне возможно и без нее.

Один случай такого взыскания весьма обстоятельно изложен в правой грамоте 1561 г. Некий Васюк Петлин занял 110 руб. по кабале у Некраса с закладом в этой сумме своей вотчины. Некрас эту кабалу и очищальную запись Петлина передал в виде вклада в монастырь. Монастырский слуга Сенька предъявил по той «данной кабале» к Петлину иск, требуя или уплатить 110 руб. «вкладных монастырских денег», или отступиться от закладной вотчины в пользу монастыря. И суд за отказом Васюка произвести уплату «присудил тое Васюкову закладную отчину» в монастырь, братье, «по их вкладной монастырской кабале» [2]. Характерно при этом, что никакой передаточной надписи на кабале Некраса, приведенной в правой грамоте полностью, не было; сам Некрас, проживавший в это время в монастыре, на суд не являлся, и никаких иных доказательств того, что кабала действительно передана в виде вклада монастырю, не приводилось. Очевидно, вполне достаточной презумпцией в пользу такого заключения служил уже самый факт нахождения кабалы в руках истца.

К аналогичным выводам приводят также следующие строки из одной духовной начала XVI в.: «Да что были у меня две кабалы на городцкых людей, кабала в тридцати рублех, а другая кабала во штидесяти рублех, на сотцкого на Паню на Обухова, да на Федора на Онкудинова... ино те *у меня кабалы городцкые утерялись, а денги меня по тем кабалам дошли; а у кого те ся кабалы явят, ино по тем кабалам до тех людей городцкых, которые... писаны в тех кабалах, дела нет*

---

[1] «Акты юридического быта», т. 2, № 126, разд. IV.
[2] «Акты юридического быта», т. 1, № 52, разд. VII.

никому; а в тех кабалах дал есми городцкым людем отпись...»[1] Едва ли может быть сомнение, что эти строки продиктованы опасением вторичного требования по утерянным кабалам. А если это так, то, значит, ко взысканию можно было предъявить даже кабалу, утерянную владельцем и затем кем-либо подобранную, т. е. можно было искать по кабалам и без формальной легитимации их держателя, ибо, разумеется, на утерянных кабалах не бывает никаких передаточных надписей на имя неизвестного, которому предстоит их найти когда-либо.

Здесь необходимо, кстати, коснуться вопроса о значении расписки в получении долга по утерянной кабале. Предохраняла ли она сама по себе в эпоху до Уложения 1649 г. от вторичного требования по той же кабале, если бы та нашлась у кого-либо,— это еще большой вопрос[2]. В самом деле. Нам известен один образчик такой расписки, сохранившейся на духовной В. П. Кутузова от 1560—1561 г. В этой духовной, между прочим, значится: «да дати ми старцу Вас(ь)яну Романову сыну Попову два рубля и полтрет(ь)ятцат алтын по кабале», а на обороте духовной имеется следующая отпись: «По сей духовной и по сей (упомянутой выше?) кабале яз Роман Юр(ь)ев сын попов Романов внук попов, Вас(ь)янов племянник денги Вас(ь)янов взял, поп Леонтей да поп Филимон со мною же денги взяли *и вылежет иная кабала на Вас(ь)яново имя в д(в)у рублех и в полтрет(ь)ятцати алтынех и нам та кабала очищати,* а подписал яз Роман своею рукою. Поп Леонтей руку приложил. Поп Филимон руку приложил. Послух поп Иван руку приложил»[3]. Мы не знаем, насколько типична эта расписка, выданная, по-видимому, за утратой подлинной кабалы, ибо в противном случае она была бы излишней и непонятной. Но если обязательство очистки было обычной принадлежностью в таких описях, то значение их отнюдь не в гарантии против вторичного требования. Напротив, они его даже прямо предполагают и лишь стремятся возложить возможные отсюда убытки на получивших первую уплату. А это опять-таки еще лишний раз подтверждает, что взыскателем по кабале мог явиться иной раз даже случайный ее держатель, вовсе не легитимированный передаточной надписью или иным актом.

Сказанному не приходится слишком удивляться. Законность владения кабалой в случае спора можно ведь было, конечно, доказывать за отсутствием документа и свидетельскими показаниями. Грамотность в рассматриваемую эпоху была развита крайне слабо. В более старых кабалах обычно нет подписей ни должника, ни послухов[4]. Поэтому *в случае спора* даже самый факт займа устанавливался лишь свидетельскими показаниями названных в *заемной памяти* послухов. В указанных условиях не было, по-видимому, ни оснований, ни возможности требовать непременно письменного удостоверения факта передачи кабал из рук в руки. И надо думать, что в древнейшую эпоху оно по общему правилу и не требовалось. Вот почему передаточные надписи на кабалах и тому подобные по значению акты, несомненно, и в XVI в. представляли собою большую редкость. Тем труднее было бы, разумеется, разыскать их среди малочисленных остатков письменности более отдаленной эпохи.

---

[1] «Акты юридические», № 415.

[2] О значении «отписи» см. «Уложение государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, 1649 г.», гл. X, ст. 254.

[3] Н. П. Лихачев. Указ. соч., вып. I, № XIV, стр. 51—52.

[4] Вопрос о подписях под кабалами урегулирован лишь в указе 1628 г., а обязательность *письменной* формы заключения кредитных сделок вообще признана только указом 1635 г. М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 3 («Указная книга Земского приказа», XIII, ст. 7; XXIV). См. также «Уложение государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, 1649 г.», гл. X, ст. 246, 247.

Однако и на основании немногих представленных свидетельств и указаний можно смело утверждать, что указ 1588 г., объявивший ничтожными сделки по переуступке заемных обязательств, правосознанию эпохи отнюдь не соответствовал. Как после него, так и до него в течение целых веков с кабалами совершались всевозможные сделки и обязательства по займу переуступались без всяких препятствий. Можно даже сказать, что и в промежуток времени от издания до отмены этого указа запрет давать суд по переуступленным кабалам не получил значительного распространения. В годы смуты указ, по-видимому, был затерян, когда же его вновь разыскали «после московского разорения», то тут же и отменили.

Переходя к вопросу о наследовании обязательств и возвращаясь к указу 1597 г., мы начнем с указания, что указ этот ни в коем случае нельзя истолковывать слишком распространительно. Освобождая кабальных слуг после смерти их господ не только от обязанности «за рост служити», но и от капитального долга, этот указ лишь обобщал и освещал сложившийся к тому времени в господской среде обычай. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с общим характером духовных завещаний XVI в. Отпуск кабальных слуг на волю по смерти господ, считавшийся, по-видимому, столь же душеполезным делом, как и вклады в церкви и монастыри на помин души, практиковался в этих духовных и до указа 1597 г. повсеместно. Но столь же повсеместной практики наследования заемных обязательств и бескабально и по всяким кабалам, *кроме служилых,* ни этот указ, ни обычай отнюдь не упраздняли.

Убедиться в этом всего легче опять-таки из тех же духовных грамот, главное содержание которых в древнейшее время сводилось именно к перечислению подлежащих наследованию обязательств завещателя. Наследованию подлежали при этом и права требования и обязанности уплаты. Так, в одной духовной 1619 г. вслед за перечислением, на «ком ему что взяти» и «кому что дати», завещатель говорит: «*Да благословляю яз,* по сей изустной памяти, *сына своего... и сноху свою... долги по кабалам платити, имати и во всем разплачиваться...*» [1] В другой духовной, 1506 г., читаем: «А духовную приказываю своим (душе)приказщиком... *по кабалам денги собрати, долг заплатити* и по душе поправити» [2]. Преемниками прав требования завещателя назначались обычно его ближайшие родственники — жена, дети. Например, в духовной 1472 г. значится: «*А что мои денежки на людех в деле, и те денежки моя жена сберет,* с моим посельским, по моему и по посельского спискам» [3].

В другой уже цитированной выше новгородской духовной XIV в. читаем: «а взяти ми где что, по жеребьям и по грамотам, *а то все мое чисто возмет сын мой Федор*» [4]. Но иногда права требования переходили по завещанию и в совершенно чужие руки. Так, в древнейшей известной нам духовной XIII в. (до 1270 г.) они передаются Юрьевскому монастырю: «Се аз раб божий Климянт,— читаем мы здесь,— даю с(вя)т(о)моу Гергью игоуменоу Варламоу и всеи братье, *что възял есмь 20 гривн серебра на свои роукы* с(вя)т(о)го Гергья, было ж бы ми чим заплатити. Даю за все то два села... одерьнь с(вя)т(о)моу Гергью... А свою жену приказываю игуменоу Варлаамоу и всеи братьи... А про куны, чим то ми ся было вам платити,— в купецьском

---

[1] «Акты юридические», № 424.
[2] «Акты юридические», № 416.
[3] «Акты юридические», № 410.
[4] «Акты юридические», № 409.

сте оу Фомы 8 гривн възмите, а оу Борькы 4 гривне, оу Фомы Моръшня особьнеи 2 гривне без 2-ю нагатоу... *а ты, Варламе, исправи»* [1].

Как видно из других актов, унаследованные однажды права требования и обязанности уплаты по займу подлежали в свою очередь дальнейшей передаче по наследству. Так, в одной духовной 1546 г. значится: «дати ми Истоку Болотову *брата его денег рубль...* А взяти ми на князе на Дмитрее Ивановиче на Пункове пять рублев *по кабале,* да на нем же ми взяти одиннадцать рублев *бескабально,* и те у меня денги *мати его займовала...»* [2] Исток Болотов является, очевидно, наследником своего брата, которому был должен завещатель. И значит, обязанность уплаты этого долга *наследнику верителя* переходит здесь к наследникам *должника* завещателя, не прекращаясь даже со смертью обеих сторон, участвовавших в заключении займа. В то же время к наследникам того же завещателя переходит и долговое право требования к наследникам должника («мати его займовала»). В другой духовной 1524 г. читаем: «дати ми Васильевых денег Кроминых пять рублев по церквам, дати ми *Федоровых денег* Лазорева три рубли Ионе Пестову старцу, а *те денги имал у них отец мой Матфей»* [3]. Отец завещателя занимал деньги у Василия и Федора; их уже, очевидно, нет в живых, на наследство их, по-видимому, могут претендовать лишь церкви да старец Иона. Тем не менее к наследникам завещателя — должника их — переходит обязательство уплаты по займам, заключенным еще отцом этого завещателя. Еще в одной духовной XV в. находим следующие строки: «А взяти ми... *и вы то дети мои возмите;* у Деевых детей на Виткове улице, *и возмите по отца моего рукописанью пять рублев...»* [4] Здесь заем был заключен, по-видимому, еще Деевым-отцом у отца завещателя, и получить долг предстоит, стало быть, уже внукам верителя у детей должника.

Подобные распоряжения на случай смерти о взыскании и уплате долгов завещателя не оставались, конечно, лишь благими пожеланиями. Об исполнении их нередко можно встретить отметки на духовных. Для примера приведем хотя бы следующую отметку на обороте одной весьма древней духовной, относимой к 1391—1428 гг. «А по се дшвное брат моег, што ми велел двое коньв продати да долг заплатити, и яз их продл да заплатил долг Парфенью, дал е три рубли, досталь з(а)емново серебра Фегнасту заплатил игумновнов с(ы)ну два рубля, Касьяну рубль заплатил, оу Ермак взят полтин да плачена Васьяну старецу, да две овчины, Ондронову с(ы)ну; на Фоке да на Пантелеике взято полтина» [5].

К исполнению завещанных обязательств призывало прежде всего чувство *моральной* ответственности, как это видно из особых оговорок по адресу наследников и должников завещателя в некоторых духовных. Так, в духовной Пантелеймона Масюра Соловцова от 1627 г. читаем: «Дати мне на Москве Остафью Кувшинову тритцать алтын и те денги платити сыну моему Ондрею, *а меня в долгу не положити, а души моей тем не повредити»* [6]. Забота о душе отца завещателя обязывала, разумеется, и его наследника-сына. По адресу же чужих людей, вроде должников завещателя, мы находим в духовной новгородца Климента от XIII в. следующее, например, характерное в указанном

---

[1] И. Срезневский. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках, т. II. СПб., 1857, стр. 38—42; М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 1. Изд. 5, стр. 137—139.

[2] «Акты юридические», № 419.

[3] «Акты юридические», № 418.

[4] «Акты юридические», № 409, разд. II.

[5] «Акты юридического быта», т. 1, № 82.

[6] «Акты юридического быта», т. 1, № 86, разд. I.

смысле предостережение: *«И ли кто почнеть ся запирати того* (что указано в духовной) *тъ станеть со мною перед богомь!»* [1]

Но помимо этого всякая духовная имела и строго юридическое значение. Предполагалось, что, подводя свои расчеты с жизнью в заботах прежде всего о спасении своей души, завещатель, как «на духу», не способен засвидетельствовать в своей духовной неправды. Поэтому в случае запирательства должников, указанных в духовной, по ней можно было взыскивать и судебным порядком какие угодно, даже бескабальные, долги этих должников. Иными словами, духовная по общему правилу приравнивалась при судебных взысканиях долга свидетельскому показанию под присягой и могла заменить собой даже кабалу.

О таком значении духовных мы заключаем из следующего. В так называемом Судебнике царя Федора Иоанновича 1589 г. имеется ст. 191 следующего содержания: «А хто при смерти напишет духовную, *и попу у духовные седити, а болше рубля без кабалново долгу не писати, да и то писати, коим обычяем дано* что бол(ь) говорит, то писати. И будет бол(ь) умрет, и попу взяти сорокоуст и духовная о(т)дати, кому приписано. А будет бол(ь) оживет, и попу духовъная драти, как минет шесть недил» [2]. Как видно, вследствие порчи нравов к концу XVI в. стали возможными злоупотребления при записи бескабальных долгов в духовных. И юридическая мысль века ищет средства борьбы с этим в ряде ограничений свободы составления духовных. Однако Судебник 1589 г., насколько нам известно, не получил законодательной силы. И вот в одной указной грамоте 1646 г. мы встречаем такую жалобу шуян на кабацкого откупщика в г. Шуе Луку Ляпунова. «Лежит-де ныне тот Лука болен и, умысля воровски по многой с ними недружбе, хочет писать духовную ложную на них посадцких людей, многие болшие долги, поклепав напрасно, в ту духовную писать... и чтоб такие ложные воровские духовные писать не велеть, чтоб им в том его воровстве после его живота проданым напрасно не быть» [3]. В ответ на эту жалобу суздальский архиепископ указал попам г. Шуи: Луке в духовную бескабальных долгов иначе не писать, как по предварительному опросу должников, на которых он укажет «бескабальный свой взяток», а иных духовных не свидетельствовать никому. Из приведенного нетрудно заключить, что поклепные завещания представляли опасность и вызывали необходимость борьбы с ними именно постольку, поскольку по духовным можно было производить *принудительное* взыскание бескабального долга, как по кабалам [4].

Итак, наличие соответствующих указаний в духовной могло служить вполне достаточным условием для перехода обязанностей и прав завещателя по его заемным сделкам к преемникам этого завещателя. Но такое условие вовсе не представлялось необходимым для указанной цели. В духовной могли оказаться случайные пропуски при перечислении завещаемых обязательств к получению и уплате. И все же такие забытые обязательства ничего не теряли в своей силе по смерти завещателя. Так, на обороте одной духовной 1551—1552 г. имеются в числе прочих отметки *о получении* по двум кабалам, в этой духовной вовсе не упомянутым [5]. А из другого акта 1600 г. мы узнаем об уплате душеприказчиком долга завещателя, несмотря на то, что последний в своей духовной «тот долг не написал... прозабыл» [6]. Можно сказать,

---

[1] М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 1, стр. 139.

[2] «Судебник царя Феодора Иоанновича 1589 г.». М., 1900, стр. 48.

[3] «Акты юридического быта», т. 1, № 55, разд. VII.

[4] См. «Уложение государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, 1649 г.», гл. X, ст. 255: «А править заемные деньги по кабалам и по духовным на заимщиках...» и т. д.

[5] Н. П. Лихачев. Указ. соч., вып. I, № VIII, стр. 26.

[6] Там же, № XX, стр. 68.

однако, больше. Не только случайные пропуски в духовных, но и полное отсутствие каких бы то ни было завещательных распоряжений отнюдь не препятствовало переходу заемных обязательств со смертью любого должника или верителя к законным преемникам всего остального имущества.

В Уложении Алексея Михайловича это выражено в следующем постановлении: «А будет кто кому, дав на себя в заемных деньгах кабалу... да умрет, *а после его в животах его останутся жена его и дети,* или иные кто его роду... (а истцам) в тех их исках того умершаго на жену и детей и на иных роду его суд дати»[1].

Здесь важно отметить, что ответственность за долги умершего падает на его родственников лишь постольку, поскольку они «в животах его останутся», т. е. унаследуют его имущество. Значит, не вследствие кровного родства, или, говоря иначе, не в качестве преемников личности, а лишь в качестве преемников имущества умершего они отвечают по его обязательствам. И, например, на жене, которая не владеет «животами» умершего мужа, кроме своего приданого и законной четвертой части, долгов мужа править не велено было![2]

Такой взгляд на наследственное преемство обязательств присущ всему древнерусскому праву, как бы далеко мы в него ни углублялись.

Так, из узаконений XVI в. заслуживает внимания указ 1562 г. о выморочных вотчинах князей Ярославских Стародубских и др.: «А которого князя бездетна не станет, и те вотчины имати на государя»,— читаем мы в указе. «А на котором князе останется долг велик, а будет того вотчину велит государь взять на себя, и государь, разсудя по вотчине и по долгу, за ту вотчину велит долг платить из своей казны»[3]. Как видим, даже казна, выступая в роли законного преемника чьего-либо выморочного имения, принимала на себя вместе с тем и обязанность платить долги умершего собственника этого имения. Тем естественнее было, разумеется, возложить такую обязанность на родных детей наследодателя. По литовско-русскому праву того же XVI в. дети не могли уклониться от этой обязанности, даже ссылаясь на свое малолетство. «Дети лет не доросшы...» — читаем мы в Литовском Статуте 1529 г.— «долги отца своего повинни суть платити, молодостью лет своих не вымовляючися»[4].

Особенно подробно разработан вопрос о наследовании обязательств в Псковской судной грамоте, постановления которой относятся к XIV—XV вв. Согласно этим постановлениям, иск против наследников должника, будут ли это его родственники или люди сторонние, всегда возможен. Точно так же возможен и иск преемников верителя против его должников. Но если этими преемниками являются «приказники» завещателя, т. е., вообще говоря, люди, ему сторонние, то для возможности иска требуется наличность формальных документов: «а толко будет заклад, или запись, ино волно искати по записи... а не будет заклада, ни записи... ино им не искати ничегож, ни съсудиа, ни торговли, ни зблюдениа, ничегож»[5]. В отношении родственников отпадает и это требование. «А оу которого оумръшаго, а будет отец, или мать, или сын, или брат, или сестра, или кто ближняго племени, а *животом владеет,* а толко не стороннии людие, ино им волно искати без заклада и без

---

[1] «Уложение государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, 1649 г.», гл. X, ст. 245.

[2] См. патриарший приговор о взыскании долгов после умерших.— «Полное собрание законов», собр. I, т. I. СПб., 1830, № 210 от 25 июля 1657 г.

[3] «Указная книга ведомства казначеев», XVIII, 15 января 1562 г.

[4] «Статут Литовский 1529 г.», разд. V, арт. 6.— «Временник Московского общества истории и древностей российских», кн. 18, стр. 34.

[5] «Псковская судная грамота» (1397—1467 гг.), ст. 14.

записи оумрършаго, а на них волнож искати»[1]. Но и здесь ответственность за долги умершего родственника ясно обусловливается владением «животом» этого родственника. Совершенно в том же духе постановление Псковской грамоты о взыскании покруты с умершего изорника: «А будет оу изорника брат, или иное племя, а *за живот поимаются,* ино государю на них и покруты искать»[2].

Наиболее классическое выражение, однако, этот правовой взгляд нашел себе в договорах смольнян с немецкими городами в первой половине XIII в. Так, в подтвердительном договоре 1240—1250 гг. читаем: «Аже Смолнянин товар дасть в Ризе или на Гътьском березе, *а не расплативъся поидеть к богови, а кто его задъницю възметь, тът и гостиный тъвар дасть».* А в основном договоре 1229 г. та же статья изложена следующим образом: «Аже Латинин дасть княжю хълопоу в заем, или инъмоу доброу чел(о)вкоу, а оумрете не заплатив, *а кто емльть его остатък, томоу платити* Немчиноу. Такова правда оузяти Роусиноу оу Ризе и на Гочкомь березе»[3]. Предполагать в этих статьях влияние германского права, разумеется, нет достаточных оснований. Правда, в древнегерманском праве можно найти сходные постановления о наследовании обязательств. Так, в Саксонском зерцале, составленном около 1230 г., читаем: «Кто берет наследство, должен платить долги в пределах всего полученного им движимого имущества»[4]. «Правда» (Recht) новгородского немецкого двора, или так называемые «Новгородские скры», тоже содержит одну статью, по которой имущество должника по его смерти делится соразмерно претензиям кредиторов[5]. Но, исходя из этого, соответствующие постановления можно признать лишь *общими* русскому и немецкому праву указанной эпохи.

К заимствованиям у немцев в области права в эту эпоху русские, как было уже сказано, и вообще обнаруживали мало склонности. В данном же случае в этом и нужды не было, ибо наследование обязательств было искони известно не одному лишь Смоленску, а и повсеместно по всей Древней Руси.

Известно оно было на Руси уже в эпоху Русской Правды. В этом памятнике древнейшего русского законодательства находим, между прочим, следующее определение. Сыновья одной матери, но разных отцов наследуют каждый только *от своего отца.* В связи с этим отчим, опекая своих пасынков, обязан охранять их имущество. В противном же случае наступают такие последствия: «Будеть ли (отчим) потерял своего иночима что, а онех (т. е. пасынков своих) отца, а умреть, то възворотить брату (брат), на неже и людье вылезуть, что будеть отець его истерял иночимля. А что ему своего отця, то держить»[6]. Иными словами, сын отчима-опекуна, растратившего что-либо из имущества опекаемых пасынков, *вместе с достоянием своего отца наследует и его обязательства* в отношении этих пасынков. Приведенная статья имеет в виду частный случай, в котором, кстати сказать, речь идет о наследовании обязательства из деликта (растраты), а не из договора. Тем

---

[1] «Псковская судная грамота» (1397—1467 гг.), ст. 15.

[2] Там же, ст. 86. Ср. еще ст. 94 об уплате братьями отцова долга «опчим животом» и ст. 104 о конкурсном удовлетворении верителей соразмерно их претензиям из имущества умершего должника.

[3] «Договор смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригою, Готландом и немецкими городами 1229 г.», ст. 12 (Цит. по: М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 1, 1908, ст. 12, стр. 100).

[4] «Wer nun das Erbe nimmt, der solle die Schuld zahlen, also fern, als ihm im fahrender Habe wird» (Цит. по: М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. I, 1908, стр. 100, прим.).

[5] «Новгородские скры», ст. 78.— Ив. Андреевский. Указ. соч., стр. 80.

[6] «Троицкий список», ст. 137.— «Русская Правда» в четырех редакциях. СПб., 1904.

не менее едва ли есть основание сомневаться, что совершенно так же подлежали наследованию и договорные обязательства.

К какому времени следует отнести возникновение рассматриваемого института наследования обязательств, сказать трудно. Мы только что видели следы этого института уже в пространной редакции Русской Правды, некоторые нормы которой, судя по именам установивших их князей, заведомо восходят к XII и даже XI в. Но главное содержание этого памятника, как известно, составляли не княжеские постановления, а обычно правовые нормы, древность которых совершенно не поддается определению. Тем не менее, считаясь с одним постановлением договора Олега с греками от 911 г., можно утверждать, что в X в. указанный институт был уже известен русскому праву.

Мы имеем в виду ст. 13 договора 911 г. «О работающих в Грецех Руси у хрестьянского царя» следующего содержания: «аще кто умреть, не урядив своего именья, ци и своих не имать, да възратить именье к малым ближикам в Русь; аще ли створить обряжение, таковый възметь уряженое его, кому будеть писал наследити именье, да наследить è от взимающих куплю Руси от различных ходящих в Греки и удолжающих» [1].

Эта статья нуждается в некоторых пояснениях. В отличие от других статей договора, регулирующих взаимоотношения между русскими и греками [2], ст. 13, как видно уже из ее заголовка, касается только русских, находящихся в пределах Греции. Она регулирует порядок наследования только в отношении этих пришельцев, совсем не затрагивая интересов греческих подданных. Интересам греческого правительства она тоже не соответствует. Имущество умершего на чужбине русина в отсутствии близких людей и без завещания могло бы в качестве «выморочного» попасть в греческую казну, но договор предупреждает эту возможность, требуя возвращения такого имущества в Русь хотя бы дальним родственникам умершего. Отсюда ясно, что статья включена в договор по требованию и в интересах одной только стороны — русских, а не греков. Значит, и право, отраженное в этой статье, есть русское право, ибо зачем греки стали бы в данном случае, не будучи в этом заинтересованы и даже в ущерб себе, навязывать русским *свои* правовые воззрения по вопросу о порядках наследования.

Изъясняя эти порядки на основании ст. 13 договора Олега по существу и пользуясь догадкой Эверса, что руссы ездили в Грецию партиями, составлявшими род общины, один автор изображает дело так: «Ежели кто из среды этой общины умирал во время путешествия, то компания брала оставшееся после умершего имущество и обязывалась доставить его в целости в отечество *для удовлетворения кредиторов покойного* или для передачи родным его» [3]. Такое толкование, однако, представляется нам слишком свободным. Согласно тексту статьи, наследнику предоставляется получить завещанное от русских купцов, ходящих в Грецию и «удолжающих». Последнее выражение не вполне понятно. Но во всяком случае ясно, что наследник имеет *получить* завещанное от удолжающих купцов, а не платить им что-либо. Значит, эти «удолжающие» не кредиторы, а должники покойного завещателя. Это надо представлять себе следующим образом. Если ходящие в Гре-

---

[1] Цит. по: М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 1, стр. 7.

[2] Например, «аще кто убиеть крестьяна русин или христьянин русина» и т. д.— См. ст. 4, 6, 7 и др. того же договора.— М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 1, стр. 3—5.

[3] А. Станиславский. Исследование начал ограждения имущественных отношений в древнейших памятниках русского законодательства.— «Юридический сборник». Под ред. Д. Мейера. Казань, 1855, стр. 164—165. Ср. И. Ф. Эверс. Древнее русское право в историческом его раскрытии. СПб., 1836, стр. 160—161.

цию руссы составляли своеобразные торговые общины или компании, то, конечно, главная доля имущества каждого из них, состоявшая в товаре, находилась в общем распоряжении этой компании. Таким образом, в случае смерти одного из своих членов, вся компания оставалась у него в долгу на соответствующую сумму, каковую и должна была передать в Русь *наследникам* покойного.

Выводы из всего сказанного ясны. Как видим, на Руси уже с древнейших времен в понятие «имения», подлежащего наследованию, включались и права требования по обязательствам должников наследователя. Обязательства, стало быть, даже в X в. отнюдь не прекращались со смертью одной из обязанных сторон. А из этого как нельзя более явствует чисто *имущественный* характер древнейших обязательств русского права. Тот же вывод уже засвидетельствован нами выше на основании данных о свободе договорной замены в лице кредитора по обязательствам в древнерусском праве. Таким образом, можно сказать, что вообще все известные нам исторические данные о преемстве обязательств в русском праве как по договорному их отчуждению, так и по наследованию решительно противоречат утверждениям деликтной теории о личном характере древнейших обязательств, будто бы отнюдь не допускающих замены в лицах контрагентов.

И нужно сказать, что личного характера по этому признаку были у нас искони чужды не только такие обязательства договорного происхождения, как заем, но, по-видимому, даже некоторые обязательства из деликта, например из растраты опекаемого имущества, каковое обязательство по Русской Правде во всяком случае наследованию подлежало. Таким образом, можно думать, что в отношении характера связи сторон, вопреки деликтной теории, не договорные обязательства у нас строились по образцу деликтных, а как раз наоборот — деликтные строились по образцу договорных.

Ответственность по обязательствам. Обратимся теперь к другому признаку, по которому деликтная теория приписывает древнейшим обязательствам личный характер,— к определению характера ответственности по обязательствам в русском праве.

В настоящее время, как известно, должник отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, и только имуществом, отнюдь не подвергаясь личному задержанию за долги даже в случае полной несостоятельности. Это общепризнанный принцип современного права [1]. Но, обращаясь к прошлому, увидим нечто иное. Так, еще совсем недавно, на нашей памяти, функционировала долговая тюрьма, а заглянув поглубже, в XVI—XVII столетия, мы встретим и телесные экзекуции «на правеже», и выдачу должников истцам в принудительные работы до искупа [2]. Взыскание, таким образом, обращалось непосредственно на лицо должника, а не на его имущество. Должник мог быть даже вполне состоятельным, но если он не хотел платить, имущество его оставалось неприкосновенным.

Такой парадоксальный на современный взгляд порядок существовал, по-видимому, довольно долго. Так, в одном из указов от 1628 г. приводятся жалобы на то, что многие должники «стоят на правеже... в долгое время, год или болши или менши, а исков истцом не платят, а у тех людей есть в городах вотчины и животы, а у иных московские, и в городех дворы... и животы, и лавки, и отъезжие промыслы, а *стоячи на правеже истцом не платят ничего, а хотят от правежев отстояться*». В результате этих жалоб указ 1628 г. вводит некоторое нов-

---

[1] См., напр., у Дернбурга Пандекты, т. III. Изд. 2. М., 1904, стр. 191: «В наше время личное задержание должников окончательно отменено».

[2] При Петре Великом неоплатных должников отдавали даже в каторжные работы.

шество: у тех должников, которые «стоят на правеже месяц, а откупиться им будет есть чем... велено ценить дворы и животы, а отдавать в истцов иск». Но и тут еще, как видно из текста, взыскание прежде всего обращалось все же на лицо должника, и лишь в случае безрезультатности целого месяца «стояния на правеже» допускалась оценка имущества, да и то за исключением вотчин, которые и после 1629 г. еще очень долгое время не подлежали отчуждению в уплату долгов их собственников [1].

Отмеченная за последние два-три столетия эволюция в сторону расширения имущественной и сужения личной ответственности на первый взгляд как будто подтверждает гипотезу деликтного происхождения древнейших обязательств. Согласно этой гипотезе, «принадлежащее кредитору право обратить взыскание непосредственно на личность должника в порядке исторического происхождения стоит в генетической связи с системой мести» [2]. Это, очевидно, надо понимать следующим образом. Если древнейшее обязательство представляло собой обещание известной уплаты в откуп от мести, то неисполнение такого обязательства возвращало, конечно, обиженному его право личной мести, но вовсе не создавало ему никаких прав на имущество обидчика. Распространяясь с деликтных обязательств и на договорные, такая практика могла привести древнее общество к убеждению, что неуплата всякого долга, представляя собою вполне достаточное основание для воздействия на личность должника, не дает, однако, никому права посягать непосредственно на его имущество. А исходя отсюда, легко понять, что лишь весьма длительная эволюция права могла привести к современному правосознанию, в котором, по выражению Кунце, «право кредитора на тело должника уступило место праву на его волю, т. е. на имущество» [3].

Эволюция характера ответственности за долги по русскому праву, начиная с эпохи судебников, как уже было сказано, как будто вполне согласуется с вышеизложенной гипотезой. Но попробуем проследить эту эволюцию несколько глубже, вплоть до Русской Правды. Ведь естественно заключить, следуя деликтной теории, что если еще в XVII столетии личная ответственность за долги почти совершенно исключала имущественную, то тем в большей неприкосновенности она сохраняла за собой этот характер в X—XII столетиях. Сторонники деликтной теории утверждают к тому же, что в древнейшую эпоху ответственность за долги была повсюду не только чисто личной, но и сугубо суровой, отливаясь чаще всего в форму долгового рабства, а иной раз давая кредитору право даже на саму жизнь должника. Мы не станем приводить всех относящихся сюда фактов, отсылая интересующихся к работе Колера [4], а только сошлемся на следующее утверждение А. Г. Гусакова: «Новейшими исследованиями доказано, что необычайно суровые последствия долговых отношений составляют общую черту в первоначальном праве всех народов арийской ветви» [5].

Обратимся же к памятникам древнейшей эпохи русского права и посмотрим, не сказалась ли и в нем эта общая черта в виде каких-либо следов долгового рабства или иных признаков чисто личной ответственности.

---

[1] Ср. указ от 15 января 1628 г., X, ст. 7; от 17 ноября 1629 г., XIII, ст. 9 («Указная книга Земского приказа».— М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 3. стр. 140).

[2] А. Гусаков. Деликты и договоры, стр. 215.

[3] Kuntze. Die Obligationen, S. 18, 20 (цит. по: А. Гусаков. Указ соч., стр. 24).

[4] Kohler. Shakespeare vor dem Vorum der Jurisprudenz. Würzburg, 1884, S. 7—65.

[5] А. Гусаков. Указ. соч., стр. 17.

Еще недавно такой вопрос показался бы совершенно праздным, ибо в наличии долгового рабства в Древней Руси до последнего времени никто из серьезных исследователей не сомневался[1]. Но после известной работы проф. Удинцева[2], справедливо усомнившегося в правильности общепринятого взгляда, вопрос приобретает новое и весьма серьезное значение.

Дело в том, что в пространной редакции Русской Правды в отношении несостоятельных должников употребляются следующие выражения: «ждут ли ему, *продадут ли* его — своя им воля», *«вести я на торг и продати»*[3]. Разумеется, всего легче истолковать эти выражения согласно их буквальному смыслу, т. е. принять, что продажа должника на торгу есть продажа его в рабство. Но в данном случае самое легкое толкование ни в коем случае не будет наиболее правильным.

В самом деле. Сравним вышеприведенные выражения со следующим местом из договора князя Игоря с греками от 945 г.

Ст. 14. «Или аще ударить мечем, или копьем, или кацем любо оружьем Русин Грьчина, или Грьчин Русина, да того деля греха заплатить сребра литр 5, по закону русскому; аще ли есть неимовит, да како может, втолько же продан будеть, ако да и порты, в них же ходить, да и то с него сняти, а опроце да на роту ходить по своей вере, яко не имея ничтоже, ти тако пущен будеть»[4].

Из приведенного совершенно очевидно, что речь в этой статье идет только о продаже всего имущества неимовитого ответчика, не исключая одежды, а не о продаже его самого в рабство, хотя выражение «продан будеть» относится к лицу ответчика совершенно аналогично выражениям ст. 68 и 69 Пространной Русской Правды. Точно в таком же значении принудительной продажи имущества ради покрытия уголовного штрафа или частных убытков выражения «продати», «продажа» употребляются неоднократно и в позднейших памятниках. Например, в уставной Двинской грамоте 1397 г. в ст. 5 значится:

«А кто у кого что познает татебное, и он с себя сведет до десяти изводов, нолны до чеклого татя; и от того наместником и дворяном не взяти ничего; *а татя впервые продати* противу поличного; а въ другие уличат, *продадут* его не жалуя; а уличат въ третьие, ино повесити»[5].

По буквальному смыслу и здесь продают самого татя, но если бы это была продажа в рабство, то, продав его впервые, невозможно было бы еще продать и «в другие». Впрочем, здесь и непосредственно из контекста ясно, что продажа татя *противу поличного* означает просто частичную продажу его имущества в размере стоимости украденного, а продажа, *не жалуя,* очевидно, равносильна полной конфискации всего имущества.

Ряд аналогичных выражений о татях мы встречаем, далее, и в Судебнике 1497 г. Здесь то и дело читаем: «А которого татя поимают... да исцево на нем доправя *да судие его продати»,* или: «А у котораго неделщика сидят тати, и ему татей на поруку без докладу не дати, *и не продавати ему татей»,* или: «А наместником... и тиуном... татя и душегубца не пустити, и всякого лихого человека *без доклада не продати*,

---

[1] Из сторонников взгляда, согласно которому несостоятельный должник Русской Правды обращался в рабство, назову К. А. Неволина (Полн. собр. соч., т. V, стр. 125), Н. В. Калачева («Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской Правды». Изд. 2, стр. 132), В. О. Ключевского (Соч., т. I, ч. I, стр. 244), В. Сергеевича («Русские юридические древности», т. I, 1890, стр. 142).

[2] Вс. Удинцев. Указ. соч., стр. 140—141.

[3] Ст. 68 и 69 Карамзинского списка Русской Правды. М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 1, стр. 58, 59.

[4] Там же, стр. 18—19.

[5] Там же, стр. 142—143.

ни казнити, ни отпустити»[1]. Но если бы кто-нибудь, основываясь на букве этих выражений Судебника, допустил, что тати действительно подлежали продаже в рабство, тот жестоко бы ошибся. И это можно подтвердить не только ссылкой на более раннюю Двинскую грамоту, но и другими памятниками — уже из эпохи применения Судебника 1497 г. Вот, например, место о суде над татями из Губной Белозерской грамоты 1539 г.: «И как наместники и волостели и их тиуны *на тате продажу свою учинят,* и вы бы, старосты губные, тех татей велели, бив кнутьем, да выбити их из земли вон»[2]. Этот текст не допускает сомнений. О продаже татей в рабство здесь не может быть и речи уже потому, что они подлежат изгнанию. Таким образом, вполне ясно, что выражение «продати татя» или равносильное ему «на тате продажу свою учинить» может означать только принудительное взыскание с виновного посредством продажи его имущества.

Имея в виду такое словоупотребление, едва ли возможно сомневаться, что и в Русской Правде в ст. 68 и 69 употребляется оборот *«продати должника»* в том же значении. Тем более что для выражения продаж в рабство Русская Правда знает другой, более точный термин — «продать обель»[3]. Косвенным подтверждением отсутствия долгового рабства в эпоху Русской Правды может послужить и следующее. В ст. 119—121 (по Карамзинскому списку) Пространной Русской Правды перечисляются, по-видимому, все наиболее обычные пути обращения свободного человека в рабство: самопродажа, брак с рабой без ряду и личный наем без ряду. Но если это так, то почему же здесь пропущено обращение в рабство за долги? Ведь нет сомнения, что несостоятельность должников была обычным явлением во все времена, и если бы только она влекла за собою обращение в холопство, то это был бы, конечно, далеко не последний его источник.

Однако такой пропуск можно бы все же признать случайным, если бы у нас не было прямых данных за то, что «одолжавшие», т. е. несостоятельные, купцы и после обнаружения их несостоятельности оставались свободными. В самом деле, в уставе великого князя Всеволода о церковных судех 1125—1136 гг. читаем: «А се церковныа люди... изгои трои: попов сын грамоте не умееть, холоп ис холопьства выкупится, купець одолжаеть...»[4]

Итак, в результате несостоятельности одолжавший купец становится изгоем. Но мы знаем, что изгои принадлежали к числу лиц свободного состояния, за убийство которых по ст. 1 Карамзинского списка взыскивается полная вира в 40 гривен, тогда как за холопа и раба по ст. 84 Троицкого списка «виры нетуть». Можно бы подумать, что свободными остаются, попадая в изгои, лишь те должники, несостоятельность которых несчастная, а не виновная. Но, во-первых, такое допущение уже само по себе разрушает стройность деликтной теории, согласно которой кредитор-взыскатель уподобляется обыкновенному мстителю, «не соразмеряющему» своей реакции со степенью вины обидчика[5]. А во-вторых, оно весьма плохо согласуется и с некоторыми

---

[1] «Судебник великого князя Иоанна Васильевича, 1497 г.», ст. 10, 35, 43.— М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 2, стр. 86, 94, 98.

[2] Цит. по: М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 2, стр. 115.

[3] Цит. по: М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 1, стр. 61 (ст. 73 Карамзинского списка: «продасть ли господин закупа обель»).

[4] Цит. по: М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 1, стр. 245.

[5] Говоря о взыскании долга по законам 12 таблиц, А. Гусаков усиленно подчеркивает это уподобление: «При этом особенно важно обратить внимание на то обстоятельство, что, подобно обыкновенному мстителю, который не соразмеряет своей реакции со степенью вины правонарушителя, древнеримский кредитор-взыскатель не делает различия между несостоятельностью добросовестного и недобросовестного ответчика: и того и другого в конце концов ожидает одна и та же участь» (А. Гусаков. Указ. соч., стр. 215—216).

фактами. Несчастные банкроты у нас наперекор деликтной теории искони пользовались особыми льготами. Ст. 68 Карамзинского списка предоставляет такому купцу-банкроту рассрочку долга: «не насилити ему, ни продати его, но како начнеть от лета платити ему, тако же платить, занеже пагуба от бога есть, а не виноват есть». Такие купцы, значит, не разорялись окончательно принудительным взысканием, ввиду чего и могли постепенно расплачиваться, продолжая свои торговые занятия. Но в таком случае ясно, что это не они попадали в разряд церковных сирот — изгоев, которые с выходом из своего прежнего состояния в качестве совершенно безнадежных плательщиков не нуждались бы, конечно, и в рассрочках. И, стало быть, надо думать, что ряды этих «бывших людей» нашей старины пополнялись именно *виновными* банкротами вследствие разорения их дотла «продажей» на торгу безо всяких льгот и рассрочек.

Но если бы нам даже пришлось признать *спорными* все приведенные соображения в пользу того, что ст. 68 и 69 подразумевают лишь имущественную ответственность за долги, мы настаивали бы все же на этом, исходя из других, более общих соображений.

Деликтная теория в основу объяснения личного характера ответственности за договорные долги в древнейшую эпоху кладет их аналогию с долгами деликтного происхождения. Конечно, современное право строго различает неисполнение обязательства от совершения деликта, но древнее право не знало столь тонких различий. Напротив, в эпоху 12 таблиц, по словам А. Г. Гусакова, «деликты и договоры являются — в процессуальном отношении — юридическими фактами, производящими *совершенно однородные* последствия». В другом месте тот же автор, имея в виду Русскую Правду, высказывается еще категоричнее: *«Неисправный должник есть такой же деликвент, обидчик, как и вор,*— так можно формулировать принцип древнейшего русского права, лежащий в основании всей системы средств обеспечения и защиты договорных отношений. Здесь *всякое* нарушение договора является в форме *оскорбления, обиды»* [1].

В подчеркнутых мною словах дело не обошлось, конечно, без преувеличений. Вору действительно приравнивается по Русской Правде неисправный должник, но не всякий, а только тот, который, *«полгав* куны у людей, *побежить в чюжу землю»* [2]. Но в таком псевдозайме, в котором деньги *вылганы,* чтобы скрыться с ними от уплаты, чувствуются элементы уголовного деяния и с современной точки зрения. Зато во всех нормальных случаях нарушения договора займа, как мы уже это видели из ст. 14 Академического списка и ст. 10 Мирной грамоты 1195 г., древнейшее право ничего уголовно наказуемого, никакой обиды или оскорбления отнюдь не усматривало. Далее, можно утверждать, что даже в самом деликте древнее право нередко очень явственно различало элементы уголовной неправды от неправды гражданской и пеню за обиду от возмещения ущерба. Например, если уже по древнейшей Краткой Русской Правде простая, очевидно случайная, порча чужого добра предполагала лишь возмещение ущерба («заплатити

---

[1] А. Гусаков. Указ. соч., стр. 225 и 108. Ср. А. Загоровский. Указ. статья, стр. 538: «Начать с того, что в XIII столетии не было и помину о том разделении норм гражданского и уголовного права, какое существует теперь. Частное правонарушение и преступление одинаково были обидой...» И на стр. 540— о «смешении юстиции уголовной и гражданской».

[2] См. ст. 133 Карамзинского списка: «Оже человек полгав куны оу людей, а побежить в чюжоу землю, веры емоу не яти, как и татю». Словом «полгав» здесь несомненно отмечается элемент обмана. Ср. аналогичное выражение в ст. 127 того же списка: «Оже где холоп вылжеть коня (куны), а он будеть не ведая вдал»...

колько дал боудеть на нем»), то за похищение чужого имущества полагалось не только «взяти свое, но и 3 гривны за обиду» [1].

Но, отбрасывая крайности и преувеличения, необходимо признать, что в общем древнее право действительно не видело резкой грани между сферой уголовных и гражданских отношений и очень долго смешивало их и сближало [2]. Не только в XII—XIII вв., но и гораздо позже мы на каждом шагу встречаем статьи закона, в которых одновременно идет речь о заемных делах и грабеже, о займах и «сносех» и т. п. [3] Ввиду столь слабой дифференцированности древнего права вполне законно было бы заключить, что личная ответственность за деликты соответствовала такой же ответственности и по договорам. Это само собой понятно. Но для этого прежде всего следовало бы установить, что ответственность *за деликты* в рассматриваемую эпоху действительно носила ясно выраженный *личный* характер.

Телесные наказания, принудительные работы, продажа в рабство и тому подобные суровые последствия нарушения договора займа, предполагаемые деликтной теорией с древнейшего времени, стали бы понятными, если бы нам доказали для той же эпохи наступление аналогичных последствий и за совершение деликта. Но к великому ущербу деликтной теории это-то как раз и недоказуемо. Более того, основываясь на содержании Русской Правды, можно утверждать обратное: X—XII вв., будучи по преимуществу эпохой денежных штрафов и композиций, были тем самым эпохой господства имущественной ответственности даже за уголовные преступления. Таким образом, если говорить о смешении и взаимном уподоблении областей гражданского и уголовного права, то в эту эпоху не гражданская ответственность уподобляется уголовной, а совсем напротив: «Здесь,— как это вынуждены признать даже сторонники деликтной теории,— уголовное право, если о таковом можно говорить, получает характер чисто гражданский» [4].

Правда, в начале этой эпохи, судя по древнейшему краткому своду Русской Правды, наряду с имущественными взысканиями за обиды по суду остается еще некоторое место и для личного воздействия истителя на обидчика, например за убийство родственника или за оскорбление действием (см. ст. 1 и 2 Академического списка). Денежные взыскания назначаются здесь лишь факультативно: «Аще не будеть кто мьстя» или «оже ли себе не можеть мьстити», т. е. на случай, если управомоченный к мести не захочет или не сможет сам отомстить обидчику. Однако, принимая в расчет, что от насилия по общему пра-

---

[1] Ст. 12 и 17 Академического списка. Со ст. 17 Академического списка о неумышленной, по-видимому, порче чужого любопытно сопоставить ст. 80 Троицкого списка: «А кто пакощами (или «пакости деля», т. е. на зло) конь порежеть или скотину, продаже 12 гривен, а пагубу — господину урок платити». Значение наличности умысла или отсутствие вины в определении ответственности деликвента обнаруживается и в целом ряде других статей Пространной Русской Правды. Например, предумышленное убийство в разбое карается строже, чем убийство в раздражении на пиру (ст. 4—5 Троицкого списка); несчастный банкрот получает льготу, «зане же пагуба от бога есть, а не виноват есть» (ст. 50 того же списка); если кто возьмет к себе чужого холопа, «не ведая», что это холоп, то «платежа в томь нетуть» (ст. 109 того же списка) и т. д.

[2] «Очевидно,— замечает проф. Ключевский,— Русская Правда различает право уголовное и гражданское...» Но «граница между уголовным и гражданским правом вообще не достаточно ясна» (В. О. Ключевский. Соч., т. I, ч. I, стр. 240).

[3] «Судебник великого князя Иоанна Васильевича, 1497 г.», ст. 6, 48, 53; «Судебник царя и великого князя Иоанна Васильевича, 1550 г.», ст. 11, 16, 31, 62; «Судебник царя Федора Иоанновича, 1589 г.», ст. 15, 20; «Указная книга ведомства казначеев», № XVI, 1560 г.; «Указная книга Земского приказа», № 1, 1622 г. и т. д.

[4] А. Гусаков. Указ. соч., стр. 112. В. Ключевский очень образно характеризует это примитивное состояние права: «Закон как будто говорит преступнику: бей, воруй, сколько хочешь, только за все плати исправно по таксе» (В. О. Ключевский. Соч., т. I, ч. I, стр. 243).

вилу страдал, конечно, всегда слабейший, надо думать, что судебный штраф, даже в случаях личной обиды, применялся гораздо чаще самоуправной мести. В других же случаях, когда речь шла об ущербе не личного, а имущественного характера, будь это покража или отказ в платеже займа, Русская Правда уже в древнейшей редакции исключает возможность самоуправства. Предписывая истцу установленные для вещного и обязательственного иска формы процесса (см. ст. 13 и 14 Академического списка), она сохраняет за ним в этих случаях лишь право имущественного взыскания.

В позднейшем своде Русской Правды оговорка о возможности самоуправной расправы за личные обиды уже отсутствует. Вместе с тем мы узнаем оттуда, что сыновья Ярослава, собравшись по его смерти, «отложиша убиение за голову, но кунами ся выкупати, а ино все, якоже Ярослав судил, такоже и сынове его уставиша» (ст. 2 Троицкого списка). Это значит, что и факультативное право мести смертью за убийство близких родных было уже отменено во второй половине XI в.

Возможность иного толкования этой статьи, например в смысле отмены смертной казни за убийство, отпадает уже потому, что смертной казни древнейшее русское право вовсе не знало. Последнее, впрочем, оспаривается Ключевским. Он думает, что обычное право той эпохи знало и смертную казнь и, по всей вероятности, пытки, хотя Русская Правда и умалчивает об этом. Такие умолчания, свидетельствующие, по мысли Ключевского, о несочувствии Русской Правды «некоторым юридическим обычаям Руси, слишком отзывавшимся языческой стариной», он объясняет «глухим протестом христианского юриста против старого языческого обычая или нововымышленной жестокости» и т. п. [1]

Однако приведенный взгляд решительно опровергается эпизодом, рассказанным в летописи под 996 г.: «Живяше же Володимер в страсе божьи, умножишася разбоеве, и реша епископи Володимеру: «Се умножишася разбойници; почто не казниши их?.. ты поставлен еси от бога на казнь злым, а добрым на милованье; достоить ти казнити разбойника, но со испытом»». Убежденный византийским красноречием этих христианских юристов, князь Владимир и впрямь было «отверг виры, нача казнити разбойники». Но реформа отразилась скверно на интересах фиска: «и реша епископи и старци: «рать многа; оже вира, то на оружьи и на коних буди». И рече Володимер: «тако буди». И живяше Володимер по устроенью отьню и дедню» [2]. Как видим, прадедовским установлением языческой Руси были отнюдь не казни, а виры, «христианские же юристы», воспитанные в духе византийской государственности, играли в эту эпоху совсем не ту роль, какую им приписал Ключевский. После этого имущественная ответственность в русском праве надолго и почти совершенно вытесняет всякую иную. Лишь три наиболее тяжких преступления — убийство в разбое, поджог и конокрадство — влекут за собою «поток и разграбление» [3], т. е. сверх конфискации имущества еще и *изгнание* преступника вон из земли [4].

---

[1] В. О. Ключевский. Соч., т. I, ч. I, стр. 236, 238.

[2] ПСРЛ, т. 1, стр. 54.

[3] Ст. 5, 30, 79 Троицкого списка Русской Правды.

[4] Иначе у В. О. Ключевского, считавшего эти преступления одним из источников рабства: «...за разбой, поджог и конокрадство преступник подвергался... потере всего имущества с лишением свободы» (В. О. Ключевский. Соч., т. I, ч. I, стр. 241). Такое толкование слова «поток», однако, совершенно произвольно. В словарях Миклошича и Срезневского приведен целый ряд доказательств, что слова «поток», «поточити» употреблялись в значении exilium fugare. По Далю, выражение «поток белки» и в современном языке употребляется в значении «перекочевка», «переход стаей». В летописях под 1079 г. читаем: «И възвратися Роман с Половци вспять, и убиша й Половци... а Олга емше, поточиша й за море Царюграду» (ПСРЛ, т. 1, стр. 87), под

Обычным последствием всех остальных правонарушений было лишь возмещение частного ущерба и уголовный штраф в заранее определенном размере. Взыскивались эти пени и композиции в случае нужды, конечно, принудительным порядком, но и такое принудительное взыскание, как видно по всему, касалось непосредственно лишь имущества правонарушителя и производилось путем продажи этого имущества с публичного торга. В отношении уголовного штрафа в пользу князя, именуемого в Русской Правде «продажей», это явствует уже из самого его названия. Тем же путем продажи имущества обидчика — «противу поличного» или «в только же ако да и порты, в них же ходить, да и то с него сняти» — производились в случае нужды по вышеуказанному и возмещение частного ущерба, и вообще всякие композиции за обиду. Таким образом, едва ли возможны сомнения, что *в случае состоятельности* деликвента *всякое* взыскание обращалось в рассматриваемую эпоху непосредственно на его имущество. Но тут возникает другой весьма существенный вопрос. А что если у виновного не оказывалось имущества в должном для уплаты пени или композиции размере? Не отвечал ли он хоть тогда уже непосредственно своей личностью, т. е. жизнью, трудом или свободой?

Вопрос этот, предрешенный в положительном смысле общепринятым толкованием ст. 68 и 69 Карамзинского списка, не возбуждал доныне должного внимания исследователей. Если, казалось им, даже несостоятельный заемщик за долг обращается в рабство, то можно ли ждать иного отношения к несостоятельности должника-деликвента? Не находя подтверждений этому в Русской Правде, даже очень осторожные исследователи, например В. И. Сергеевич, попросту заключили, что Русская Правда не договаривает, и договаривали за нее сами: «Неоплатным должником может оказаться... всякое лицо, на которое падает взыскание в силу причиненных его действиями (обидами) убытков. Надо думать, что лица, виновные в убытках, не пользовались льготами, предоставленными несчастным несостоятельным. Они подлежали во всяком случае продаже в рабство» [1]. Не менее категоричен в этом отношении М. Ф. Владимирский-Буданов: «По древнему праву преступник должен был прежде всего удовлетворить потерпевшего от преступления и, в случае несостоятельности, становился рабом его» [2]. К аналогичным выводам, следуя тому же методу догадок, приходили и другие ученые. Так, по мнению Ланге, несостоятельный тать не обращался в рабство, но отдавался в закупы для принудительной отработки долга [3]. Ключевский, комментируя Русскую Правду, утверждает, что «пеня за татьбу в случае несостоятельности татя заменялась повешением» [4]. Во всех этих случаях речь идет все же о личных взысканиях.

Насколько, однако, произвольны подобные утверждения, убедиться очень нетрудно. Что касается утверждения Ключевского, то оно уже apriori совершенно невероятно. Как допустить, чтобы простой вор, вся пеня которого по ст. 30 Троицкого списка определялась всего в 3 гривны, подлежал в случае несостоятельности повешению, если гораздо более опасный, коневый тать подвергался по той же статье лишь выдаче князю «на

1129 г.: «В то же лето поточи Мстислав князи Полотьскые Царюгороду, с женами и детьми» (там же, стр. 131), под 1140 г.: «И упорозьняся Мьстислав от рати... посла по Кривитьстеи князе, по Давида, по Ростислава и Святослава и Рогъволодовича два, и усажа у три лодьи и поточи й Царюграду за неслушание их» (ПСРЛ, т. 2. СПб., 1845, стр. 15—16).

[1] В. Сергеевич. Русские юридические древности, т. I. Изд. 2. СПб., 1902, стр. 148.

[2] М. Владимирский-Буданов. Указ соч., вып. 1, стр. 8.

[3] Н. Ланге. Исследование об уголовном праве Русской Правды. [Б. м., б. г.], стр. 180.

[4] В. О. Ключевский. Соч., т. I, ч. I, стр. 242.

поток», т. е. изгнанию, не лишаясь, стало быть, не только жизни, но и свободы? Обращаясь же к более вероятной гипотезе о лишении свободы или закупничестве несостоятельных деликвентов, нужно прежде всего заметить следующее. Древнее право различало два рода взысканий с правонарушителя: в пользу князя — виры, продажи, в пользу частных лиц — головничество, пагуба, уроки. При этом право преимущественного взыскания предоставлялось представителям гражданского иска. Так, с поджигателя князь получал право уголовного взыскания лишь «переди пагубу исплатившю» [1]. Но в таком случае ясно, что последствия неуплаты уголовного штрафа не могли быть серьезнее последствий неуплаты гражданского иска. О том же, что, собственно, угрожает деликвенту за неуплату частной композиции в возмещение ущерба или обиды, нам вовсе незачем гадать предположительно, так как уже древнейшие памятники говорят об этом вполне категорически. Вспомним хотя бы содержание ст. 5 договора Олега с греками от 911 г.:

«Аще ли ударить мечемь или бьеть кацем любо ссудом, за то ударение или убьение вдасть литр 5 сребра *по закону русскому;* аще ли будет неимовит тако створимый, да вдасть елико можеть и да соиметь в себе и ты самыя порты своя, в них же ходять, а опроче да роте ходить своею верою, яко никакоже иному помощи ему, *да пребывает тяжа оттоле невзискаема о сем».*

Статья эта столь ясна, что не допускает никаких кривотолков. Из нее видно, что долг, возникавший из деликта, в случае удостоверенной несостоятельности обидчика не влек для него за собой ни обязанности отработать должное, ни лишения свободы, ни какой бы то ни было иной казни. Тяжба просто исчерпывалась с этого момента сама собой, и долговое отношение прекращалось.

Статья ясна. Но она настолько противоречит общепринятым представлениям, что ее доныне обычно или совсем проходили молчанием, или, подобно Загоровскому, пытались объяснить византийским влиянием [2]. Последняя попытка не выдерживает, однако, и снисходительной критики. Византийское право той эпохи, как известно, давно уже вышло из стадии композиций, и там, где русское право ограничивалось денежными взысканиями, оно карало ударами, урезыванием рук, носов и тому подобными казнями. В частности, за рану по греческому закону IX в. полагалось отсечение руки.

«Иже мечом ударить кого,— гласит соответствующая статья в русском переводе,— аще до смерти убиеть, мечем казнен будеть; аще ли же ударены не умреть, иже рану давый, рукы его отсечени будуть, понеже всяко с мечем ударити дерзноу» [3].

Зная это, В. И. Сергеевич в русском происхождении *денежной пени* за раны и побои в ст. 5 договора Олега с греками 911 г. не сомневался, так как, говорит он, «по греческим законам оскорбление действием наказывалось иначе». Но заключение ст. 5 о прекращении тяжи в случае несостоятельности, по его мнению, «вовсе не в духе русских обычаев, по которым надо предполагать (!?) в данном случае продажу в рабство или выдачу головой в услужение до покрытия долга» [4]. Однако, если это

[1] Ст. 79 Троицкого списка. Ср. ст. 10 о взыскании на тате «Судебника великого князя Иоанна Васильевича» 1497 г.: «да исцево на нем доправя да судие его продати; а не будет у того татя статка, чем исцево заплатить,.. а судье не имати ничего на нем». Как видно, штраф в пользу судьи, или судебные пошлины, даже в XV в. слагались с *несостоятельного* деликвента без всяких для него за это последствий.

[2] А. Загоровский. Указ. статья, стр. 491—492.

[3] См. греческий текст и древнерусский перевод некоторых памятников византийского права IX в., вошедших в Кормчую, в кн.: А. Павлов. Книги законные, разд. II, ст. 63. СПб., 1885, стр. 77.

[4] В. Сергеевич. Греческое и русское право в договорах с греками X века.— «Журнал министерства народного просвещения», январь 1882 г., стр. 104—105.

заключение «не в духе» русского права, значит, оно в духе права греческого. А между тем сам Сергеевич в той же статье приводит факты, решительно противоречащие этому допущению. В. И. Сергеевичу хорошо известны случаи, когда по греческому праву Эклоги и Градских законов деликвент, будучи состоятельным, карался лишь денежной пеней, «бедный же, который не мог уплатить пени, подвергался телесному наказанию и изгнанию» [1]. Так, за первую кражу полагалось: «аще оубо (воры) от *имеющих* и свободных сущих, к количьству украденаго и сугубу отдадят татбу пострадавшему; аще ли же *убози* суть се створшеи, бьеми да поточени будут»... За блуд взыскивалось 36 переперов — «аще оубо й домовит есть... аще ли же убог есть, да биен будеть»... За растление — «литроу злата», а если виновный убог — «бьем и острижен поточен да будет» [2]. Ясно, что греческое право разрешало вопрос о последствиях несостоятельности деликвента совсем не в духе ст. 5 договора Олега.

Таким образом, принадлежность всей этой статьи от начала до конца русскому праву не подлежит никакому сомнению. А впрочем, ссылка на русский закон заключается и в самой статье. В несколько измененной редакции, но с тою же ссылкой — «по закону русскому» — повторена приведенная статья и в договоре Игоря от 945 г. (ст. 14).

Спрашивается, о чем же говорят нам эти повторные ссылки? Да, очевидно, о том, что если «закон», о котором идет речь, подлинно русский, то его следует искать не только в договорах с греками, но и в чисто русских сводах древнейшего права. Правда, его не нашли до сих пор в этих сводах. Но, по-видимому, лишь потому не нашли, что не искали. В самом деле, что представляет собою следующая статья древнейшей редакции Русской Правды?

«Аще ли кто кого ударить батогом, или жердью, или пястью, или чашею, или рогом, или тылеснию, то 12 гривне. Аще (виновные) сего не постигнуть, то (т. е. 12 гривен) платити ему (ударенному), то ту тому конець» [3].

Подобно ст. 5 договора Олега, и эта статья Краткой Правды говорит о взыскании за ударение. Сам размер этой композиции, по-видимому, в обоих случаях один и тот же, ибо серебряная гривна X в. весила, насколько известно, 32 золотника, а литра — 77 золотников [4], стало быть, 12 гривен составляет около 5 греческих литр. А в целом статья Русской Правды лишь более лаконично передает содержание приведенной статьи договоров с греками. Ударивший повинен заплатить 12 гривен, гласит эта статья, а если он не в состоянии будет уплатить столько, то тут и делу конец.

Иное толкование едва ли возможно. Правда, выражению «не постигнуть» (не смогут) иногда придают значение «не настигнут», «не поймают» [5]. Но при таком толковании фраза «а если сего (виновного) не настигнут, то платити ему» теряет всякий смысл, ибо, если виновного не поймают, очевидно, и платить некому будет.

Итак, обидчик по древнерусскому праву отвечал только своим имуществом. А если взыскать с него было нечего, то тяжба на том и кончалась согласно пословице «На нет и суда нет».

Но если ответственность даже за долги деликтного происхождения в древнейшую эпоху русского права носила чисто имущественный характер, то тем более это должно быть справедливо в отношении договорного

---

[1] Там же, стр. 106.
[2] А. Павлов. Указ. соч., разд. II, ст. 39, 46, 50, стр. 71, 73, 74.
[3] Ст. 7 Археографического списка. Изд. 2.
[4] И. И. Кауфман. Русский вес, его развитие и происхождение в связи с историею русских денежных систем с древнейших времен. СПб., 1906, стр. 71.
[5] М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 1, стр. 25, прим.

долга по займу. В особенности же беспочвенна с этой точки зрения гипотеза о долговом рабстве в эпоху Русской Правды. Мы знаем уже, что в рабство по Русской Правде не обращались даже наиболее опасные уголовные преступники, хотя, конечно, конфискация их имущества далеко не всегда могла покрыть всю сумму причитающихся с них взысканий. Вообще говоря, кары сильнее изгнания, исключающего, конечно, не только вечную, но и временную неволю до искупа, Русская Правда, по-видимому, вовсе не знала. Но если бы даже она и знала ее, то как допустить, чтобы к прогоревшему купцу или иному несостоятельному заемщику закон того времени был более суров, чем к разбойникам и поджигателям? Разумеется, никаких оснований для этого быть не может, ибо и вся-то гипотеза о долговом рабстве в древнерусском праве висит на одном лишь слове «продати» в ст. 68 и 69 Карамзинского списка, или даже, говоря точнее, на слишком поспешном и вследствие этого совершенно неправильном истолковании этого слова.

Сопоставление характера ответственности за договорные долги с характером ответственности за деликты освещает нам, однако, положение дел не только в X—XII вв., но и в последующее время. Конечно, до тех пор, пока даже преступник отвечает за свои преступления по большей части лишь имуществом, мудрено ожидать иной ответственности должника. Но с течением времени в силу целого ряда причин характер репрессии за деликты заметно меняется. Вместо денежных пеней и продаж и наряду с ними появляются телесные наказания, личное задержание, казни; преступник постепенно начинает отвечать за всякую вину уже непосредственно своей личностью. Вместе с тем в том же направлении эволюционирует характер ответственности и за неисполнение договорных обязательств.

В древнейшую эпоху общинно-родового быта обязательства уплаты долга или композиции скреплялись торжественными обрядами религиозного значения. Гарантией исполнения их, кроме того, служила естественная *круговая порука* всех сородичей заимщика или деликвента, прочно спаянных между собой общностью крови и родового имущества. В силу этого случаи неисполнения обязательств вследствие злой воли или несостоятельности должника были, вероятно, весьма редки. А интересы социального мира настоятельно требовали, чтобы противная сторона удовлетворялась в этих редких случаях тем, что возможно было взыскать на имуществе заимщика или деликвента, не претендуя на большее.

Но в дальнейшем, по мере расслоения древнего общества на *классы*, количество обид всякого рода возрастало, а родственные связи слабели. Ограничение ответственности обидчика лишь имущественными взысканиями приводило все чаще к полной безответственности наиболее бедных членов общества. Такая безответственность «убогих» естественно должна была вызывать раздражение в окружающей их среде «имовитых». Раздражение это до поры до времени выливалось в разные формы самоуправной расправы, а затем, с усилением государственной власти, их сменили соответствующие меры уголовной репрессии. Наряду с имущественной ответственностью возникла, постепенно усиливаясь с накоплением бедности, личная ответственность несостоятельных деликвентов, а затем и остальных должников. Естественной эволюции в этом направлении у нас не мало содействовало, вероятно, и влияние византийского права, занесенного к нам вместе с христианством греческими иерархами и положенного в основу Кормчей русского церковного корабля.

Проследив эту эволюцию шаг за шагом, мы увидели бы далее, как личные взыскания *на случай несостоятельности* деликвента с течением времени приобретали все более *самодовлеющее* значение, по сравнению

с которым денежные пени за деликты отступили далеко назад, постепенно сокращаясь до скромных размеров судебных пошлин.

Вместе с этим мы увидели бы также, как принудительное взыскание всякого рода проходило у нас последовательно следующие три стадии: в первой оно обращалось непосредственно и только на имущество должника; во второй оно обращалось на имущество, а за недостатком его — и на лицо должника; и, наконец, в третьей оно обращалось на имущество лишь посредственно, путем воздействия уже с самого начала на лицо должника.

Разумеется, это только общая схема. Хронологически точных граней между указанными этапами в эволюции характера взыскания по обязательствам указать невозможно. Политически раздробленная Русь не представляла в этом отношении полного единообразия на всем своем пространстве. В одних областях ее эволюция шла быстрее, в других — медленнее, представляя немало различий и целый ряд местных особенностей.

Так, в Литовской Руси эта эволюция дальше второй стадии, по-видимому, и не пошла. Долги и «вины» взыскивались здесь в эпоху статутного права по общему правилу на имении ответчика, но с оговорками: «або не вдостатку — на персоне его мает быти каран», или, как еще сильнее сказано в другой статье: «А естли бы именье за тую суму не стояло ино за шию его выдати» [1]. Состоятельному ответчику суд предоставлял срок для добровольной уплаты взыскиваемого от четырех недель и более, смотря по величине суммы. По истечении же этого срока в случае нужды производилось и принудительное взыскание, именуемое «грабежом». Судебный грабеж этот чинился особыми чиновниками, «детскими» или «вижами», в присутствии добрых сторонних людей с производством подробного реестра всех описываемых за долг «статков» должника и с оценкой их по известной таксе. Затем «грабеж» передавался в уплату истцу с предоставлением, однако, ответчику права выкупить свои статки в течение известного срока [2]. Неимущего же ответчика, поскольку тот не имел за себя поручителей, суд, по-видимому, выдавал истцу «за шию» без всяких отсрочек. Значение этой выдачи за долг или пеню явствует из следующей статьи: «Теж уставуем, иж человек волный за жадный выступ не мает взят быти у вечную неволю. А естли бы за который выступ *выдан был* в которой суме; тогды мает ся выробити, на каждый год выпуску мужику дванадцать грошей» и т. д. [3] Итак, личная ответственность даже несостоятельного должника сводилась здесь в худшем случае к обязанности отработать свой долг.

В Московской Руси эволюция принудительного взыскания долга дошла в своем апогее до известного правила: «А на правеже Дворян и детей Боярских *бити* до тех мест, покамест с должники розделаются» [4]. Такой же способ взыскания применялся и к прочим должникам, с тою лишь разницей, что отстаиваться на правеже они могли не больше месяца, а затем их животы и вотчины ценили и отдавали «в истцов иск». Неимущих же выдавали истцам головою в работу до искупа, считая за год работы по 5 руб.[5] Таким образом, личное взыскание обращалось

---

[1] «Статут Литовский 1529 г.», разд. V, арт. 9; разд. VI, арт. 15.— «Временник Московского общества истории и древностей российских», кн. 18, стр. 36, 48.

[2] «Статут Литовский 1529 г.», разд. VI, арт. 15, 20, 31; разд. VIII, арт. 19; разд. IX, арт. 20.— «Временник Московского общества истории и древностей российских», кн. 18.

[3] Там же, разд. XI, арт. 7.

[4] «Уложение государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, 1649 г.», гл. X, ст. 204.

[5] Там же, ст. 261—266. Дворян в работу до откупа не выдавали из государственных соображений.

здесь не только на тех, кто не мог, но и на тех — и прежде всего на тех,— кто мог, но не хотел платить по своим обязательствам.

Такого апогея развитие личного взыскания по обязательствам в Московской Руси достигло в XVII в. Но и в этом веке обязательство отнюдь не утратило своего имущественного характера, который всегда так ярко сказывался в способах переуступки и наследования обязательств. В XVI в. мы не встречаем следов применения бастонады на правеже. В XV в. не вошла еще, по-видимому, в обычай и выдача в принудительные работы до искупа. По крайней мере в Судебнике 1497 г. речь идет лишь о выдаче должника и деликвента истцу в его гибели головой «на продажю», т. е. на продажу, разумеется, лишь их *имущества* [1]. А если мы заглянем еще поглубже, например в эпоху Русской Правды, то увидим, что и личное задержание должника у нас на Руси есть продукт более нового времени [2].

Нам нет, однако, надобности останавливаться здесь на этом вопросе более подробно. Всего вышесказанного вполне довольно, чтобы установить ошибочность представлений сторонников деликтной теории о *личном* характере связи сторон в древнерусском обязательстве. Таким представлениям еще можно было бы с грехом пополам найти оправдание в памятниках XVI—XVII вв. Но оно решительно противоречит историческим данным более древней эпохи.

---

[1] М. Владимирский-Буданов. Указ. соч., вып. 2, стр. 86.

[2] «Мирная грамота новогородцев с немцами 1195 г.», ст. 13: «Немчина *не сажати в погреб* Новегороде, ни Новгородца в немчьх; нъ емати свое у виновата» (М. Владимирский-Буданов, вып. 1, стр. 112).

ЧЕМУ УЧИТ ИСТОРИЯ*

Из многих уроков истории, преподанных человечеству, быть может, наиболее наглядными и поучительными следует признать уроки последних мировых войн XX в. И в прежние времена войны были бичом человечества. Но никогда еще этот бич не поражал свои жертвы столь широко и губительно, как в нашу эпоху войн мирового масштаба. Оглядываясь назад, можно сказать, что не только человеческие жертвы, но и материальный ущерб, не говоря уже о расточении культурных ценностей и моральной деградации, связанной с разнуздыванием каждой войной в человеке звериных его инстинктов, возрастает от войны к войне в геометрических пропорциях. Но материальный ущерб в связи с огромными достижениями военной техники — от примитивной стрелы дикаря до атомной бомбы включительно — возрастает при этом даже много скорее, чем человеческие потери, вызываемые применением этой все более совершенной боевой техники истребления.

Это похоже на парадокс, но тем не менее это неоспоримый закон, что тот же самый технический прогресс, который в применении к мирному труду неизменно повышает его эффективность, в применении к боевым задачам, т. е. направленный против человека, наоборот, снижает эффективность мобилизуемой для этой цели и вооружаемой всеми средствами истребления живой силы. Объясняется это тем, что если в мирном производственном труде технический прогресс преодолевает только постоянную инерцию мертвых тел природы, то в борьбе с человеком он неизбежно наталкивается на активно возрастающее его противодействие. Прогрессу в средствах нападения здесь непрерывно противодействует парализующий его прогресс в средствах защиты. Все возрастающая бронебойность скорострельных орудий погашается все возрастающей стойкостью высококачественной защитной брони; против быстроходных танков изобретаются надолбы и фауст-патроны, против губительных подводных лодок — минные заграждения, против смертоносных бомбардировщиков — радиолокация и зенитки.

Сколько величайшего остроумия и глубокомыслия затрачивается при этом одними изобретателями только для того, чтобы осталась безрезультатной творческая работа мысли других? Человеческий гений безмерно расточается в этом бесплодном соревновании с самим собою, вместо того чтобы творчески обогащать всей своей совокупной мощью производительный труд человечества. Вместе с тем столь же бесплодно расточаются и все другие материальные и трудовые ресурсы народов в бешеной гонке вооружений, в которой даже самые миролюбивые страны не могут безнаказанно отставать от наиболее агрессивных. Но мало сказать, что они расточаются бесплодно. Народнохозяйственный их эффект не нулевой, а резко отрицательный, ибо каждая

* *Публикуется впервые.*

«удачно» использованная граната, бомба или мина разрушает и истребляет еще больше материальных ценностей и живой рабочей силы, чем требуется для производства этих средств истребления. Да и чисто военный их эффект, несмотря на рост вооружений противоборствующими друг другу средствами защиты и нападения, с каждой войной падает, а сумма затрат боеприпасов, металла, труда и денег на каждого выведенного из строя вражеского бойца неизменно возрастает.

Правда, военные победы при любых условиях предпочтительнее поражений, но, как учит нас история, даже победы в современных условиях становятся уже слишком дорогим, можно сказать, даже прямо разорительным удовольствием. И уже ныне не один из народов победителей, вспоминая пирровы победы, смог бы сказать и про себя: «Еще одна такая победа, и я окажусь полным банкротом».

Хорошо еще, что в Новом Свете обретается богатый американский дядюшка, готовый за приличную мзду выручить из беды и кое-кого из своих старосветских клиентов-победителей. Однако ведь и за эти займы победы придется долго и мучительно расплачиваться целым поколениям потомков вчерашних победителей. Еще дольше и горше придется за свои и чужие грехи расплачиваться трудящимся массам побежденных стран. И невольно возникает вопрос: доколе же человечество будет терпеть и мириться с таким страшным бедствием, как современные мировые войны?

Ведь эти войны не стихийные бедствия, подобные пожарам и наводнениям или извержениям вулкана и землетрясениям, хотя по своим последствиям они губительнее любых землетрясений. К современным войнам, как учит нас история, вполне сознательно и долго готовятся генеральные штабы, ради них продвигаются к власти попирающие все законы узурпаторы, их финансируют банкиры, их провоцируют в ожидании военных сверхприбылей фабриканты оружия, их безнаказанно пропагандируют, разжигая национальные распри, сотни лживых перьев продажной прессы. Но разве сознательная подготовка в интересах тех или иных отдельных гангстеров всенародных бедствий не является с точки зрения мировой совести и международного права величайшим преступлением? И можно ли виновников подобных преступлений, сеющих смерть и разорение миллионов людей, рассматривать иначе как самых опасных уголовных преступников, подлежащих ответственности перед судом международного трибунала?

Опыт объединенных в последней мировой войне народов-победителей убедил их в необходимости такой ответственности агрессоров всех рангов и родов оружия перед международным трибуналом. И трибуналы этого рода уже приведены в действие. Это можно лишь приветствовать. И не только потому, что суд над гнуснейшими преступниками и палачами удовлетворяет попранное ими чувство справедливости, но главным образом потому, что такой суд в порядке профилактики является реальным предостережением всем грядущим узурпаторам и агрессорам. Доныне даже крупнейшие агрессоры оставались безнаказанными. Если бы еще в прошлую войну Вильгельм вместо одной лишь короны потерял вместе с ней и голову, на которой болталось это старомодное украшение, а господа Круппы и прочие поджигатели войны лишились своих состояний, то, вероятно, и самому Гитлеру не очень повадно было бы повторять опыт Вильгельма, а главное, некому и нечем было бы финансировать это столь рискованное коммерческое предприятие. До сих пор никакого риска для некоронованных королей пушек и взрывчатки из активнейшего их содействия агрессии не вытекало. Вильгельмовская Германия, пролив целые моря крови, проиграла войну, но Круппы даже при этом худшем для них исходе, как известно,

стали только еще богаче и сильнее. И только немногих из них на скамье подсудимых в Нюрнберге впервые настигла историческая Немезида.

Этот урок истории пригодится для всех агрессоров. Их еще очень много не только в стане франкистской Испании, в Аргентине и резиденциях прочих диктаторов и узурпаторов, уже пришедших к власти. Немало их найдется и в более демократических странах, где они еще драпируются в мантии республиканцев и либералов, но уже теперь ведут подготовку к новой войне, спекулируя и шантажируя такими козырями, как атомная бомба, и тому подобными сильно действующими средствами. Они уверяют и себя, и других, что с такими козырями можно кого угодно поставить на колени. Однако история нас учит, что и у Вильгельма и у Гитлера было немало козырей. И они тоже были уверены в победе, так же как их подручные гинденбурги и кейтели. И все же у миролюбивых народов нашлись козыри посильнее. Не исключено, что и новые спекуляции агрессоров окажутся не более удачными. Но тогда уж, наверное, им не удастся избежать своего Нюрнберга.

Таковы уроки истории.

1945 г.

НА ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ

О ЗАДАЧАХ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА[1]

Научная организация труда прежде всего предполагает широкое внедрение достижений науки на всех участках производственного труда в целях повышения его эффективности. Однако доныне далеко еще не созрели все социальные предпосылки такого внедрения. Масштабы и темпы оплодотворения производственного и управленческого труда Наукой еще более чем скромны, и не всем еще ясно даже, с какого конца и как такую Научную организацию труда в народном хозяйстве лучше всего начинать. В каких сочетаниях и пропорциях заводская выучка и школьная наука, простой, полуавтоматический и сложный труд, массы работников в основном исполнительного физического труда и кадры рационализаторов, людей по преимуществу творческого труда способны в различных условиях создать оптимальный эффект — это еще не решенная задача.

В условиях капитализма, на самых передовых заводах Форда в США, эта задача решалась проще всего. Мы знаем, что даже во времена самого дробного, мануфактурного разделения труда мастеровые разных цехов и профессий еще значительно различались своей выучкой и качеством труда. И, скажем, труд ручных набойщиков ситцев расценивался в два раза выше труда ручных ткачей. В работе таких «умельцев» от слов «ум», «уметь» овеществлялась наряду с физическим еще и немалая доля умственного труда.

Но на смену этому старому разделению труда пришло новейшее в дни машинной техники империализма. И, например, у Форда на его конвейерах с принудительным ритмом не осталось уже вовсе места для умственного труда привязанных к ним рабочих. Весь умственный труд Форд целиком сумел переложить на своих наемных инженеров. Они, согласно всем требованиям своей науки, расчленили весь производственный процесс на простейшие элементы, рассчитали, сколько секунд требуется рабочим на предписанную каждому из них микрооперацию, рассадили их у движущейся ленты конвейера, и рабочим осталось лишь с утра до вечера без остановки, бездумно «вкалывать» заданное, автоматически повторяя хоть всю жизнь одни и те же движения, повторяя тем более бездумно, что ритмы конвейера уже так рассчитаны, чтобы вовсе не оставлять времени для раздумий.

Однако крайнее упрощение операций сознательного рабочего до того, что они становятся доступными даже умственно отсталым людям, с монотонным повторением их без передышки через каждые 6—7 секунд до 4 тыс. раз в день и свыше 1 млн. раз в год не так уж и разумно: при такой однобокой нагрузке работает, сильно переутомляясь, лишь небольшое число мышц и нервных узлов человека, а все остальные, не исключая и самых высших центров головного мозга, остаются праздными и без повседневной практики постепенно атрофируются.

[1] Статья в сб. «Эффективность научно-технического творчества». М., изд-во «Наука», 1967.

Советские физиологи труда находят, что даже на конвейерах можно и нужно значительно расширить объем и круг заданий, выполняемых каждым рабочим, чтобы, не обедняя их психики, мобилизовать в оптимальных ритмах новые группы мышц и нервных центров и тем самым сделать их труд более содержательным, а значит, и не столь утомительным [1]. Советские рабочие, имея свободный выбор, впрочем, и сами быстро уходят с таких работ, где им предлагается слишком нудный «механический труд». Да и вся современная техника с каждым годом повышает требования к рабочим, не столько к их мускульной энергии, сколько к сумме их знаний, гибкости мышления и воле к труду. И все это в корне противоречит западным установкам фордизма в области рационализации труда.

В такой рационализации производства, в которой зияющее противоречие в разделении умственного и физического труда достигает своего апогея и где наука уже вполне откровенно становится на службу одному лишь капиталу, именно потогонная система крайней эксплуатации труда еще совсем недавно рассматривалась в капиталистических странах как последнее слово научной его организации. Но это не наша концепция. Бездумный и к тому же физически изнуряющий труд не может быть ни радостным, ни высокопроизводительным.

В условиях социализма мы стремимся прежде всего ликвидировать столь уродливое капиталистическое разделение труда, в котором командующее меньшинство хозяев, пользуясь своей монополией собственности на средства производства, утверждает эту монополию и на все преимущества умственного развития. В бесклассовом обществе Наука должна в равной мере служить всем людям в их труде и творчестве. Вот почему в СССР, обеспечивая всем возможность бесплатного обучения вплоть до высшего инженерно-технического уровня, мы уже узаконили уровень средней школы как минимум обязательного для всех наших детей школьного политехнического образования. Детский мозг особенно восприимчив к учению. И эту его особенность целесообразно полностью использовать во все годы созревания его до лет полной уже годности всего организма к здоровому и полноценному общественному труду. Такая подготовка к труду нового поколения составляет вместе с тем и важнейшую предпосылку воистину научной организации труда в производстве.

Сажать за конвейер разумных людей, способных к качественному труду, и отводить им роль полулюдей-полуавтоматов в условиях социализма не только бесчеловечно, но и нерасчетливо. Такую роль гораздо лучше выполняют полностью автоматические станки и агрегаты. А разумных людей с много бóльшим хозяйственным эффектом можно использовать там, где еще не хватает автоматики, и везде, где ею уже можно управлять и налаживать ее, повседневно улучшая на ходу и приемы труда, и технические приспособления. Конечно, там, где к такой рационализации труда годен по своей подготовке и проявляет заботу о ней повседневно весь коллектив трудящихся в своих собственных интересах, ее эффект будет неизмеримо выше, чем там, где над рационализацией производства мудрует лишь верхушка наемных управленцев в хищнических интересах своих нанимателей. А поскольку интересы последних вовсе не совпадают с общими интересами трудящихся, то и рационализацию по указке частных предпринимателей, или так называемые тейлоризм и фордизм, можно рассматривать лишь как злостную карикатуру на подлинно Научную организацию труда.

---

[1] В. Селюпин. Ритмы здоровья.— «Москва», 1966, № 7, стр. 150 (ссылка на работы З. М. Золиной).

Научной организация труда становится лишь там, где наука и труд, взаимообогащаясь на всех ступенях производства, могут опереться не только на выводы большой науки, но и на массовую творческую самодеятельность самих умельцев непосредственно в производстве, у каждого станка и мотора.

Вспомним, как готовил к труду таких умельцев еще в первые годы Советской власти незаурядный поэт революции и первый рационализатор труда в СССР Алексей Капитонович Гастев. Станочники в его институте труда (ЦИТ) прежде всего должны были до тонкости изучить свой станок и назначение всех его частей до последнего винтика, с тем чтобы в случае нужды каждый станочник мог сам его наладить или переналадить без чужой помощи. А затем совместно с учителем изучались, разлагаясь на элементы, все рабочие движения и излишние исключались, а наиболее экономные в новом их сочетании закреплялись повторением. Анализ и синтез — это азбука науки. И в результате такого метода обучения каждый ученик при достаточной школьной подготовке уже за две-три недели и сам становился умельцем на своем рабочем месте. А главное, каждый из них тем самым овладевал научным методом рационализации своего труда на любом рабочем месте.

В отличие от бездушного фордизма, насаждающего уродливый бездумный труд, школа Гастева, как видим, умножала все более вдумчивый и разумный труд, сознательно исключающий все излишества в использовании наиболее ценной человеческой энергии. Исключить излишества не так уж просто. Но именно поэтому даже рядового умельца можно уподобить художнику, который тоже, лишь отсекая «все лишнее» из безликой глыбы мрамора, извлекает из нее прекрасные образцы очеловеченной культуры. В таком именно мастерстве и скрываются подлинные качества творческого труда.

К сожалению, со смертью Гастева надолго были забыты и многие из рекомендованных им методов рационализации труда. Но в условиях социализма не иссякала общественная в них потребность. Она уже в порядке самодеятельности самих трудящихся в социалистическом соревновании выдвигала под разными наименованиями все новые задачи этого массового движения за повышение производительности и высокие качества труда.

Начиная с 30-х годов миллионы ударников включаются в соревнование за количество создаваемого продукта. Затем движение расширяется за счет легионов отличников в борьбе за все лучшее его качество. Росло число новаторов производства и по всем другим линиям. Ширилось движение и за совмещение нескольких профессий каждым из рабочих. Возрастала их тяга к учебе без отрыва от производства, сначала в скромных масштабах овладения техникой и сдачи экзаменов по техминимуму, затем и в самых широких — с лозунгом «Учиться, работать и жить по-коммунистически». И если экзамен по техминимуму сдавали миллионы рабочих, то в бригадах, соревнующихся за коммунистическое отношение к труду, участвуют уже десятки миллионов.

Конечно, совсем не случайно и то, что именно рабочие в процессе производственного творчества ныне уже ежегодно дают миллионы ценных изобретений и рационализаторских предложений. Но можно ли сказать, что у нас тем самым создана Научная организация труда? Конечно, нет. Это лишь неорганизованный самотек масс в нужнейшем направлении. Его еще нужно возглавить и организовать, обогатив всеми рычагами Науки управления.

Правда, у нас были уже попытки в порядке самотека под именем коллективного опытничества выполнять функции, более свойственные таким органам, как упраздненный ЦИТ Гастева. Рабочие некоторых цехов по собственному почину периодически устраивали дружеские

встречи для обмена своими знаниями и опытом. Обсуждались с показом на практике всех деталей и приемов очередные работы, и лучшие из показанных достижений становились, таким образом, общим достоянием всех участников таких встреч. Но, разумеется, рабочие не могли организовать на этих встречах ни сравнительный хронометраж трудоемкости изучаемых работ и приемов, ни даже достаточно наглядный их показ на замедленном продвижении киноленты. Не хватало элементов точной науки, да и «опыт» использовался на глазок, весьма кустарно. А главное, все возможные достижения замыкались в слишком узком кругу одного лишь цеха или бригады, хотя показ лучших достижений следовало бы организовать не только в цехах, но и периодически на самых широких отраслевых конференциях для скорейшего их внедрения по всей стране.

Однако по всему фронту организации труда наши достижения все же огромны. И доля наиболее ценного умственного труда в общих его затратах неизменно возрастает. Показательно, что даже в весьма трудоемких металлургических цехах доля умственного труда по хронометражу в работе таких высококвалифицированных профессий, как сталевары, сталепрокатчики, уже и ныне достигает 70% их времени. Возрастает неизменно и число ценнейших изобретений в сфере производства. Труднее всего пока решается лишь проблема внедрения этих изобретений, да и всех других достижений научной организации труда. Для решения данной проблемы у нас и доныне нет еще ни надлежащего организационного центра и его органов на местах, ни продуманной системы поощрения за скорейшее внедрение. А между тем народнохозяйственные потери, какие мы несем из-за слишком медленного внедрения лучших достижений, неисчислимы.

Понятие «Научная организация» труда очень широко. И его никак нельзя ограничить слишком узкими техническими рамками. Наука и Труд в безотрывном единстве продвигают, конечно, вперед и технику. Но в условиях социализма, следуя универсальному закону экономии времени, даже за лучшую технику мы боремся прежде всего в интересах самих трудящихся масс.

Таким образом, в широкой социальной трактовке научная организация труда — это такая его организация, которая ставит перед собой задачу неуклонного роста производительных сил общества и производительности его труда, не только без ущерба здоровью и жизни трудящихся. но даже с облегчением и сокращением в общей сумме затрат доли самого простого и утомительного физического труда и расширением наиболее сложных и совершенных форм труда умственного. С ростом автоматики и телемеханики границы необходимого времени в сфере общественного труда, несомненно, сильно сокращаются. И это открывает перед нами все новые просторы для расширения границ свободного времени — в целях всестороннего развития наших способностей и разумного их использования в самом плодотворном и привлекательном на всех поприщах творческом труде. Мы уже не сомневаемся, что именно такой, все более увлекательный труд со временем превратится из средства к существованию в первую потребность нашей жизни. В соединении с радостями культурного отдыха такой полноценный труд несомненно завершит всю многогранную полноту нашего бытия. Уже поэтому можно сказать, что научная организация труда — это одна из важнейших задач и предпосылок расцвета всей Коммунистической науки.

О „ПРОГНОЗАХ“ В ОПТИМАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ[1]

Важнейшей заботой наших дней в области экономики несомненно становится повышение эффективности нашего народнохозяйственного планирования. А чтобы поднять его, вооружив всеми ресурсами математических методов и электронно-вычислительных машин, на новый уровень оптимального, т. е. возможно точного и наиболее эффективного, планирования, казалось бы, прежде всего нужно решительно покончить с той неразберихой в области ценообразования, в результате которой цены отклоняются от своей стоимостной базы на десятки и даже сотни процентов. Ведь до тех пор, пока исходные данные для плановых заданий и долгосрочных прогнозов столь ненадежны, не могут быть надежны и вытекающие из них выводы. И не уточнят их даже самые совершенные электронные машины.

В каждом плане следует различать элементы, объективно обусловленные прошлым в их закономерном развитии пропорций и диспропорций, независимо от всякого на них планового воздействия с нашей стороны, и элементы, которые заведомо поддаются во времени свободному воздействию рычагов социалистического планирования. Первые можно лишь предвидеть в предстоящем их самотеке, а вторые необходимо не только предусмотреть, но и предопределить, сознательно с оптимальным эффектом используя в бескризисном приближении к вершинам коммунизма. В связи с этой основной задачей у нас еще не так давно подчеркивали, что наши планы «не планы-прогнозы, а планы-директивы», с ударением именно на директивную сторону планирования. Но опасности необоснованного волюнтаризма на этом пути ныне толкают уже в обратную сторону. В моду входит трактовка «научного» планирования по западным образцам с ориентировкой в основном на научное предвидение, на планы-прогнозы, а в сущности вовсе на бесплановый самотек. И тут нас встречает другая, еще бóльшая опасность — утонуть в безрадостном самотеке инерции.

Мы знаем, что и буржуазная наука, владея всеми возможностями долгосрочных прогнозов в условиях стихийного развития своей экономики, уже десятки лет пытается наладить у себя эффективное планирование и бескризисный рост народного хозяйства. Западные хозяйственники не могут пожаловаться на какое-либо стеснение их частнохозяйственной инициативы. У них господствуют и хозрасчет, и принципы высокой рентабельности, им ничто не мешает ориентироваться на рынок, к их услугам самые «гибкие цены», отражающие малейшие колебания спроса и предложения. Одним словом, у них все налажено, о чем можно лишь мечтать в свете буржуазной науки и теоретиков предельной полезности. И все же им не удается не только ликвидировать у себя такие бедствия, как хроническая безработица и все более час-

[1] «Вопросы экономики», 1967, № 1.

тые потрясения кризисных спадов, но даже своевременно *предвидеть* очередное их приближение.

Недостает у них для этого, как известно, лишь «безделицы» — достаточной свободы распоряжаться всеми хозяйственными ресурсами страны в масштабах всего хозяйства, недостает свободы творчески строить, перестраивать и с оптимальным успехом *управлять* им в интересах всего общества. Конечно, там, где имеются такие предпосылки творческого планирования, оно требует для своей реализации научного подхода. Но там, где их нет, где средства производства, распыленные между миллионами частных хозяев и хозяйчиков, служат лишь их противоречивым интересам в конкурентной борьбе, в которой слабейшие всегда с неизбежными потерями поглощаются сильнейшими, там нет почвы для действенного планирования в общенародных интересах. А в забвении этих интересов всякое «планирование» и любые «прогнозы» не будут оптимальными.

Посмотрим, однако, что обещают нам долгосрочные прогнозы, без которых, конечно, не обходится и советское планирование. И каковы прежде всего исходные гипотезы и методы, на которых базируются такие прогнозы.

Как видно из представленных на научную сессию по методологическим проблемам экономического прогнозирования докладов (Москва, декабрь 1966 г.), математики из ЦЭМИ, рассматривая экономику в качестве «инерционной системы», полагают, что «основной гипотезой, на которой основано использование методов экономического предсказания, является сходство условий воспроизводства в прошлом и предвидимом будущем, которое с необходимостью вытекает из равномерного развития научно-технического прогресса». Из этой гипотезы исходит и рекомендация экстраполяции от прошлого к будущему в качестве решающего метода в предвидении «основных тенденций будущего развития». Все это сопровождается, осторожности ради, существенными оговорками о «возможных флуктуациях вследствие воздействия случайных причин», о том, что предсказывать ход развития «можно лишь приближенно, с определенной ошибкой, которую необходимо минимизировать», и что «в настоящее время нет достаточно эффективных методов долгосрочного прогнозирования» (см. тезисы доклада А. Д. Смирнова, стр. 5—9). Но в какие же сроки и с какими предельными ошибками оно все же реально осуществимо, остается пока неясным. Кое-что, впрочем, в этом отношении разъясняют другие докладчики.

Конечно, исходя из гипотезы «равномерности» технического прогресса и «сходства» условий воспроизводства во времени, нам было бы очень легко «предвидеть» из года в год одни и те же *стабильные* среднегодовые темпы и пропорции развития. За возможность *«устойчивых»* темпов роста по закону прямой, т. е. в геометрической прогрессии, ратуют и сибирские математики (см. тезисы доклада Н. Ф. Шатилова, стр. 4). Но любые гипотезы требуют подтверждения опытом. Однако по свидетельству НИЭИ Госплана СССР, наш опыт вовсе не подтверждает вышеуказанной гипотезы со всеми вытекающими из нее выводами, а экстраполяция как метод предвидения по этой гипотезе допускает ошибки даже в определении всего общественного продукта до 147% за одно пятилетие (см. тезисы доклада В. В. Померанцева, стр. 6—7).

Более того, докладчик этого института выдвигает, ссылаясь на опыт, совсем иную гипотезу нашего хозяйственного роста — «не по закону геометрических прогрессий», а по «гиперболическому закону» *затухающих кривых*, утверждая, что «с ростом абсолютных величин годовые темпы роста будут уменьшаться» (тезисы доклада Померанцева, стр. 7, 8). Однако, хотя такую тенденцию и можно обнаружить в опыте

на том или ином ограниченном участке хозяйственного развития стран, но обобщать ее, возводя в степень закона, было бы слишком близоруко. История экономики на протяжении веков учит нас, что технический прогресс, при всех колебаниях кривой развития, протекал в общем от формации к формации *не затухая,* и даже не по закону *стабильных* темпов роста, а со все возрастающим *ускорением* на восходящей стадии каждой новой общественной формации. И этот опыт истории меньше всего оснований *игнорировать* в странах социализма на первых ступенях только еще разгорающейся научно-технической революции.

Как видим, важнейшие исходные позиции и методы долгосрочных прогнозов, предложенные для обсуждения, пока еще малообоснованы, противоречивы и не так уж много нам обещают, если не считать предельной величины ошибок (до 150%), несмотря на использование предельно точных ЭВМ. Хотелось бы, однако, поскорее перейти к обсуждению наиболее актуальных проблем *директивного* планирования. В этой области нас ожидает не меньше трудностей, но много больше вполне осязательных положительных результатов.

Отдавая долг прошлому, связывающему нашу свободу в творческом плановом воздействии на грядущее нашей социалистической экономики, нужно сказать, что мерой такой *связанности* и *свободы* может служить соотношение между массой уже овеществленного прошлого труда в ресурсах всей страны и того *живого* труда, которым она еще может свободно распорядиться в пределах того или иного планового периода. В тесных пределах текущего планирования на срок не свыше одного года мера такой свободы в директивах возможной реконструкции и нового строительства очень ограничена. И, казалось бы, существующие уровни и пропорции производственных фондов *овеществленного* труда чуть ли не целиком предопределяют и все использование живого труда, уже и так, без особой плановой опеки, полностью занятого своим делом в каждый данный момент. Здесь как будто все уже доступно предвидению и не допускает никакого произвола, никакой свободы. А между тем народное хозяйство не автоматически саморегулирующаяся система. И чем длиннее сроки перспективного планирования, тем менее надежными выглядят методы долгосрочного предвидения, но тем шире раскрываются перспективы для *сознательного* достижения поставленных планом задач при наличии надежного руководства с далекой перспективой.

Поясним это только несколькими цифрами. К началу 1965 г. основные производственные фонды СССР без учета износа исчислялись в 278 млрд. руб. при износе около 1/3, а народный доход за 1965 г. достигал 192 млрд. руб. Таким образом, доля живого труда по отношению к ресурсам прошлого труда в производстве составляла очень значительную величину — не меньше 2/3 начальной величины затрат овеществленного труда за весь период нашей истории. Однако на капитальные вложения за счет всех *накоплений* этого года ушло только около 44 млрд. руб., из них на расширение и реконструкцию предприятий — не свыше 28 млрд. руб. Если же учесть, что до 80% этой суммы уходит на завершение уже начатого строительства *прежних лет,* то на долю *нового строительства* в каждом годовом плане останется еще — для свободного использования — едва 1/5 этой суммы, т. е. не свыше 3% народного дохода и всего живого труда за год. В плане, где все наши возможности уже на 97% предрешены, и впрямь не много оставалось бы для свободных решений.

Но никто не ограничил нас годовыми сроками, и уже первый из наших планов, план ГОЭЛРО, был заверстан на 10—15 лет и смело предначертал великий творческий замысел электрификации всей послереволюционной России. И в нашей практике реализован уже не один

план такого же масштаба. А главное, что в этой практике многолетнего планирования мы уже не связаны в своих замыслах наличными уровнями и пропорциями по рукам и ногам. Приближаясь к свободно намеченной цели *за ряд лет,* мы во много раз увеличиваем и мобилизуемые для этого возможности. Если в 1965 г., не выбравшись еще из потока незавершенных задач, мы могли бы свободно направить в новое русло всего каких-нибудь 5—6 млрд. руб. вложений, то в замыслах на пятилетку 1966—1970 гг., располагая перспективой вложений в 310 млрд. руб., мы можем в 50 раз свободнее ими маневрировать до тех пор, пока они в нашем плане не нашли еще своего оптимального назначения.

А вместе с тем растут и масштабы наших планов. И, конечно, не случайно, что в этой новой пятилетке, скажем в области энергетики, мы уверенно запланировали построить за пять лет столько электростанций, что они по своей мощности превысят свыше 42 планов ГОЭЛРО, рассчитанных в свое время на 10—15 лет. Опыт уже показал, что мы можем строить достаточно реалистические многолетние планы. И не только на пять лет. Вполне оправданны директивные замыслы и на 10—20 лет вперед. Конечно, в таких замыслах роль долгосрочных прогнозов далеко отступает перед возрастающими возможностями прямого воздействия на контуры грядущей жизни. Но сожалеть об этом нет оснований.

Подходы к своим задачам разных наук всегда были различны. А с ростом возможностей науки в ней умножаются не только новые научные дисциплины, но и все более широкие научные и общественные их задачи. Времена, когда эти задачи в основном сводились к изучению прошлого и посильному предвидению заложенных в нем потенций, с тем чтобы яснее понять и объяснить себе окружающий нас поток событий, давно уже в прошлом. Прошло уже свыше 120 лет, с тех пор как в тезисах К. Маркса о Фейербахе был отмечен основной порок тогдашней науки: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его» [1].

В наше время этой важнейшей задаче как раз лучше других служат те науки, которые, подобно наукам планирования и управления общественным хозяйством, не только многое объясняют, но и могут служить надежным *руководством* к *действиям* в данной области.

Некоторые экономисты хотели бы даже *цели* таких действий определять в порядке только еще предстоящих *прогнозов* конечного их назначения. Но ведь эти конечные цели уже твердо зафиксированы в нашей партийной программе коммунизма. И нам только остается, опираясь на познанные уже законы экономики и методы научной организации труда, лишь постоянно совершенствовать наши методы управления всей экономикой и кратчайшими путями продвигаться к намеченным целям.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 4.

О ЦЕНЕ „ДАРОВЫХ БЛАГ ПРИРОДЫ“[1]

В связи с развитием хозрасчетных взаимоотношений отдельных предприятий в народнохозяйственном обороте всех ценностей и требованиями социалистического соревнования трудящихся у нас в последнее время все чаще возникает потребность оценки в издержках производства у соревнующихся коллективов таких природных благ, как земля, вода, ископаемые богатства недр и др. Природа далеко не равномерно обеспечивает ими разные районы и предприятия, и это сильно искажает результаты соревнования даже по таким важнейшим его показателям, как сравнительная производительность труда и рентабельность различных коллективов и предприятий. А вместе с тем снижается и эффективность тех фондов поощрения, какие, направляясь не туда, где они всего нужнее, расточаются безрезультатно.

Рекомендуется и эти «дары» природы, в достаточной их оценке, включать в себестоимость производства хозрасчетных предприятий в качестве рентных платежей государству. Допускается, что изъятие затем этой ренты в бюджет наряду с платой за фонды, столь же неравномерно включаемой в себестоимость, полностью выровняет условия соревнования трудящихся всех предприятий, а остаточная прибыль этих предприятий станет решающим критерием их достижений. Но остается неясным критерий «достаточной» для этого оценки природных благ. Ведь если цены их строить вне требований закона стоимости, т. е. сверх стоимости, то и сумма цен всего общественного продукта превысит его стоимость как раз на сумму всей такой «ренты» за счет «даровых» благ природы.

Однако едва ли кому-нибудь взбредет на ум устанавливать цены не освоенных еще никем земель в пустынях, океанских вод или атмосферного воздуха. Хозяйственный интерес для нас представляют только уже освоенные и осво́яемые блага природы. Но их уже никак нельзя назвать даровыми. Все они приобретают цену своего освоения. А эти цены вполне определяются общественной стоимостью затрат по освоению таких благ. В каждом частном случае эти затраты сильно колеблются, в общих же итогах своего воспроизводства — подчиняются закону стоимости, и нет никакой необходимости прибегать к каким-нибудь иным, искусственным методам и приемам такой оценки. Это справедливо в отношении всех освояемых благ природы. Но особенно уместно и своевременно об этом напомнить в связи с оценками земельных богатств.

После Октябрьской революции земля в результате национализации выпала из товарооборота страны. Ее нельзя уже ни продать, ни купить на рынке. Выпали из учета и цены на землю. Ее стали рассматривать как даровое благо природы, подобное речной воде или дачному воздуху, которыми мы пользуемся без всякого счета.

[1] «Вопросы экономики», 1967, № 8.

Однако это заведомо ошибочная концепция, чреватая бесхозяйственным расточительством важнейших первоисточников народного богатства — расточительством общественных ресурсов прошлого и живого труда. Назвать землю дефицитным или особо редкостным благом в СССР, где в сельскохозяйственное пользование вовлечено пока еще не свыше 10% пригодной для этого площади, едва ли возможно. Но тем не менее на освоение этой условно пригодной земли в сельском хозяйстве всегда и безусловно требуются очень значительные затраты труда. Некоторые советские экономисты, например С. Д. Черемушкин, и ныне еще утверждают, что «земля как дар природы не имеет стоимости». Но не следует забывать, какой ценой достается этот дар природы земледельцу в процессе его освоения.

Напомним, что и у славян, как и германцев в Западной Европе, это освоение началось с подсечно-огневого земледелия. Основной ландшафт тогдашней Германии, по свидетельству Тацита, в I в. н. э.— «это страшный лес или отвратительное болото!» Не лучше выглядел, конечно, первоначальный ландшафт и у наших предков — древлян, дреговичей и прочих древоделов[1]. Еще до первого посева им нужно было вырубить этот «страшный» лес и подсушить огнем «отвратительные болота», повторяя эти трудоемкие росчисти через каждые три-четыре года на новом месте, так как старые росчисти, покрываясь за это время новой порослью, обращались в многолетний перелог. На каждую вырубку леса (без раскорчевки) требовалось при этом из расчета на десятину 45 дней труда, на пожог поваленного леса — еще 45 дней, а всего с «опрятыванием» и рыхлением — не менее 109 дней, или до 100 дней на 1 га (не считая посева и уборки хлебов). Таким образом, на освоение земли каждое поколение землеробов только за 30 — 40 лет расходовало до 1 тыс. чел.-дн. труда на 1 га. И признать это природное благо даровым в подобных условиях можно лишь в порядке глубокого недоразумения.

Правда, с переходом от подсечно-переложной системы земледелия к господствующей в условиях феодализма системе пашенного, парового трехполья нормы затрат на освоение новых площадей пашни сильно сократились, так как пашня уже не обращалась в перелог, зарастающий лесом. Но зато на новых росчистях требовалось не только подсечь растущий лес, но и выкорчевать все пни для распашки целины. И, конечно, по затратам на освоение такой новой пашни расценивалась и вся старая равного качества, освоенная в предшествующие века и годы.

В наше время мы располагаем вполне достоверными массовыми данными советской статистики о стоимости освоения новой пашни на целинных и залежных землях. В 1954 — 1960 гг., за сёмь лет, в основных районах освоения новых земель было поднято за государственный счет 41,8 млн. га целины и залежей, причем вложения на освоение этих земель дополнительно, сверх обычных капитальных вложений исчисляются в 4,4 млрд. руб. (в новом масштабе цен, т. е. по 105 руб. на 1 га)[2]. Вместе с тем основные производственные фонды на освоенных землях за те же годы возросли на 3,5 млрд. руб. И если все вложения в строения и оборудование на целине уже полностью учтены в этих производственных фондах, то в цену освоения самой земли — 105 руб.— можно включить в основном лишь оплату труда по ее освоению. Но оплата труда в 1958 г. поднялась в совхозах до 53 руб. в месяц, и даже минимум оплаты труда не падал ниже 45 руб. в месяц, или 1 р. 88 к. в день. Стало быть, на освоение 1 га пашни в 1954—1960 гг.

---

[1] Не лучше он выглядит и ныне в просторах сибирской тайги и лесотундры.
[2] «Народное хозяйство СССР в 1960 году». Госстатиздат, 1961, стр. 442—443.

требовалось в сельском хозяйстве не менее 56 рабочих дней (105 руб. : 1 р. 88 к. = 56).

Однако это еще не полная стоимость освоения земли, ибо сверх оплаты труда в нее следует включить и действующую норму накоплений. В данном случае эта норма в 1958 г. по всему народному хозяйству достигала не менее 57%, так как фонды заработной платы всех рабочих и служащих, за вычетом налогов и оплаты труда колхозников, составляли в этом году не свыше 60,2 млрд. руб., а прирост всех основных и оборотных фондов — не менее 34,6 млрд.[1] Следовательно, фактическая норма накоплений m : v = 34,6 млрд. руб. : 60,2 млрд. руб = = 57,4%. Таким образом, полная стоимость освоения земли в СССР к 1958 г., с учетом нормы накопления, составляла в среднем до 165 руб. за 1 га, или цену до 88 рабочих дней в деревне (165 руб. : 1 р. 88 к. = = 88). Заметим, что текущие затраты на обработку 1 га пашни освоенной уже земли не достигали и 11 дней живого и прошлого труда, т. е. были раз в 8 ниже стоимости освоения земли.

С повышением производительности труда в сельском хозяйстве стоимость освоения новых земельных угодий должна бы, конечно, понижаться, но повышение оплаты труда и нормы накоплений обычно опережает рост производительности труда, и цена земли в падающей валюте быстро возрастает. Так, в дореволюционной России цены на землю с XVI в. изменялись таким образом. В 1511—1526 гг. «худые земли» продавались не дороже 70—75 коп. за десятину пашни. В 1532 г. «старцы» купили 300 десятин пашни по 1 р. 33 к., но земля была «добрая». А в общем при колебаниях от 67 коп. до 1 р. 33 к. средние цены XVI в. не превышали 1 руб. за десятину пашни[2]. В XVII в. по Уложению 1649 г. «распашная земля» расценивалась уже по 3 руб., а сенные покосы — по 2 руб. за десятину. После же крестьянской реформы 1861 г. цены на землю резко возросли, изменяясь не только в связи с качеством земли, но и способами ее приобретения, скажем, по рыночной расценке за наличный расчет или через Крестьянский банк с рассрочкой платежей и процентами. Напомним, в частности, что земля, доставшаяся крестьянам при их освобождении, расценивалась по рыночным ценам в среднем до 16 р. 80 к. за десятину, а уплатить за нее их заставили дворяне по выкупной операции с процентами не менее 27 руб. за десятину. В дальнейшем же наблюдался такой рост цен на землю в пределах Европейской России (в руб.)[3]:

Год	За га	За десятину	Год	За га	За десятину
1860	15,1	16,8	1890	37,2	41,3
1870	18,3	20,3	1900	63,1	70,0
1880	20,7	23,0	1910	101,8	113,0

Эти данные показывают увеличение цен за 50 лет капиталистического развития в 6—7 раз, что значительно превосходит темпы роста в феодальную эпоху, хотя и в тот период цены земли повышались стремительно — в 3 раза лишь за одно столетие. Однако столь высокие темпы роста объясняются не столько ростом плодородия земли или иными причинами, сколько в основном обесценением денег. В этом легче всего удостовериться, сопоставив цены на землю с оплатой труда в условиях сельского хозяйства.

---

[1] «Народное хозяйство СССР в 1965 году». М., изд-во «Статистика», 1966, стр. 592—593.

[2] С. Г. Струмилин. Очерки экономической истории России и СССР. Изд-во «Наука», 1966, стр. 129.

[3] «Материалы по статистике движения землевладения в России», вып. XXIV, т. II, 1915, стр. IX.

К сожалению, о времени феодализма у нас немного вполне сравнимых и достоверных данных об оплате рабочей силы, и тем ценнее те из них, какими мы можем с уверенностью воспользоваться. Так, за XVI в. мы располагаем таким свидетельством иноземца Герберштейна, побывавшего в Москве (до 1526 г.), согласно которому рядовой поденщик получал 1,5 московской деньги, а ремесленник — 2 деньги за день. Значит, чтобы купить десятину пашни ценою 1 руб., или 200 денег, такой рядовой поденщик должен был бы отработать за нее 133 рабочих дня. В XVII в. цена земли поднимается до 3 руб. за десятину пашни, но и оплата труда поденщика — «ярыги» — уже с первой половины XVII в. поднимается до 3 коп. «поденного корму»[1]. И, стало быть, реально, по нормам оплаты труда, цены земли не утроились, а даже несколько снизились — до 100 рабочих дней рядового поденщика.

В связи с этим можно напомнить, что у боярина Б. И. Морозова еще в 1652 г. чистили лес от зари до зари «наемные деловые людишки», 139 человек; за 3,5 дня они вычистили всего 11 десятин и только на валку леса затратили по 44 рабочих дня на десятину[2]. Если к этим затратам прибавить не меньше на пожог леса или раскорчевку до 1500 пней на десятину росчистей, то и получим, по-видимому, не менее 100 рабочих дней на десятину расчищенной пашни. Таким образом, денежная цена земли в 3 руб. в XVII в. едва ли существенно расходилась с полной трудовой ее стоимостью.

К моменту крепостной реформы цены земли с 1649 г. возросли еще более чем в 5 раз, но и нормы оплаты труда от них не отставали. В частности, к 1863 г. поденная плата землекопам на Урале достигала 23 коп., а заводским чернорабочим платили по 20 коп. в день. Но с 1860 г. эти нормы возросли уже в среднем за два года на 14%[3]. Значит, в 1860 г. оплата рядового поденщика-чернорабочего не превышала 17,5 коп. в день (20 : 1,14=17,5). На оплату земли по рыночной цене такому поденщику потребовалось бы не больше 96 рабочих дней за десятину (16,8 : 17,5 = 96). Говоря иначе, к концу эпохи феодализма цены на землю у нас даже падали по отношению к поденной оплате батрацкого труда. Это было вполне объяснимо ростом производительности труда при освоении и обработке земли.

В первые десятилетия после крестьянской реформы в оплате освобожденного труда можно отметить новый скачок вверх. С 1860 по 1890 г. поденная плата батрака поднялась за 30 лет в денежной оценке с 17,5 до 51,3 коп., т. е. почти в 3 раза, а реально, с учетом роста цен (в валюте 1913 г.) — с 35 до 76 коп., более чем вдвое,— на 117%, опережая рост цен на землю. Если бы мы выражали цену земли в поденной плате такого батрака, нам потребовалось бы не свыше 80 рабочих дней на десятину.

Однако в дальнейшем, к концу века, повышение цены земли в условиях растущего малоземелья в деревне начинает опережать рост оплаты батрацкого труда. Этому содействовало и то, что уже в процессе самой реформы малоземелье крестьян возросло еще на десятки процентов за счет присвоенных дворянами из их наделов отрезков земли, а также то, что в лице раскрепощенной крестьянской верхушки на рынке появился новый, еще не насыщенный спрос на дворянские земли. А вместе с тем пережитки крепостничества в деревне — в форме отработки на господской пашне осенних задатков на уплату налогов весной

---

[1] С. Г. Струмилин. Очерки экономической истории России и СССР, стр. 36—37, 48.
[2] «Хозяйство крупного феодала-крепостника XVII в.», ч. I. Л., 1933, стр. 76—77.
[3] С. Г. Струмилин. История черной металлургии СССР. М., 1967, стр. 350, 351.

и других форм кабального найма — в условиях возрастающей с ростом малоземелья скрытой массовой безработицы в крестьянском хозяйстве заметно сдерживали нормальный рост оплаты батрацкого труда. С 1890 г. мы имеем такую динамику этих показателей в Европейской России (без Польши):

Годы	Цена земли за десятину		Поденная плата, коп.*
	руб.	дней труда	
1890	41,3	80,5	53,2
1900	70,0	108,2	64,1
1910	113,0	141,1	83,4
1890—1910	81,4	125,0	66,9
1913**	122,0	120,0	101,3

* С. Г. Струмилин. Проблемы экономики труда. — Избранные произведения, т. 3. Изд-во «Наука», 1964, стр. 277.

** По всей бывшей империи цены земли были выше, достигая, согласно оценкам Крестьянского банка, в 1910 г. 140 руб. и в 1913 г. 151 руб. за десятину.

Как видим, при всех колебаниях спроса и предложения с XVI по XX в. цены земли, возросшие номинально более чем в 120 раз, реально в трудовой оценке (в днях рядового поденщика-батрака) даже несколько снизились — со 133 до 120 поденщин на десятину, в пределах вполне допустимого роста производительности ручного труда и точности наших расчетов, т. е. без всякого отрыва от своей стоимостной основы.

С тех пор прошло еще полвека. Земля у нас уже не продается. Но по стоимости ее освоения на целинных землях мы ее уже выше оценивали в 165 руб., или 88 рабочих дней за 1 га по минимальным нормам оплаты труда к 1958 г. К началу 1967 г., по данным ЦСУ, производительность труда в сельском хозяйстве повысилась за 8 лет на 46%, а оплата труда — на 49%. Повысились и нормы накопления в стране — примерно с 57 до 61% к фондам оплаченного труда. С учетом этих моментов повышается и стоимость освоения земли в ценах 1966 г. до 177 руб. за 1 га. По сравнению с нормами 1913 г. мы получаем такие оценки:

Год	Цена земли за десятину		Поденная плата, коп.
	руб.	дней труда	
1913	111,5	110	101,3
1958	165,0	88	187,5
1966	177,0	63	280,0

Здесь, в условиях социализма, за последние годы наблюдаются особенно высокие темпы роста заработной платы в деревне, которые долго отставали от средних темпов роста по всей стране. Но заметно растут механизация, энерговооруженность и производительность труда. На расчистке леса используются и электропилы, и корчевальные машины, убирающие до 30 корней в час и расходующие на 1 га лесной расчистки не свыше 45 часов. Вот почему на освоение целины нам требуется все меньше затрат и реальная стоимость земли в трудовой ее оценке столь заметно падает у нас за последние десятилетия.

Конечно, такая средняя оценка земель по всей стране, без учета сравнительных ее качеств на каждом отдельном ее участке, в каждом совхозе или колхозе еще недостаточна для развернутого хозяйственного расчета на всех таких участках. Но качество земли поддается

соизмерению сравнительным плодородием при равной агротехнике обработки и необходимыми при этом затратами живого и прошлого труда на единицу обрабатываемой площади. С повышением плодородия это качество пропорционально возрастает, с увеличением нормы затрат на 1 га, наоборот, понижается. И если нам известно, что в каком-нибудь колхозе, скажем Краснодарского края, урожайность за последнее пятилетие была в 2,4 раза выше средней нормы по стране, а текущие затраты не превышали 60% средних затрат на 1 га по СССР, то качество такой земли будет в 4 раза выше средней нормы и ее цена в этом колхозе составит, по нашему расчету, 177 руб. × 4, или 708 руб. за 1 га. Нетрудно заметить при этом, что в оценке качества земли мы исходим из отношения величины продукции P к затратам труда T на данной земле, а этот показатель служит в то же время мерой производительности труда или индивидуальной стоимости продукции на данном участке производства.

Для чего же могут потребоваться такие оценки земли в социалистическом хозяйстве? Земля здесь не продается. Не приходится начислять на ее стоимость и амортизационных отчислений, так как в нормальных условиях использования она служит нам без износа. Земля перестала быть товаром, как и многие другие фонды производственного назначения. Но она не выпала из планового оборота хозрасчетных ценностей. Ее все чаще изымают из сельского хозяйства под индустриальное строительство новых городов, рудников и шахт, железных дорог и крупнейших гидростанций, затопляя на сотни километров берега наших рек и создавая за счет затопляемых лугов и пашен все новые моря на суше. И до тех пор, пока все такие изъятия сельскохозяйственных угодий производятся без всякого учета их стоимости в фондах индустриального строительства и без возмещения их сельскому хозяйству новыми вложениями на освоение новой целины в масштабах учтенных изъятий, мы не наладим действительного хозрасчета. Стоимость индустриальных объектов в результате этого изрядно преуменьшается, а рентабельность преувеличивается, и в план попадают нередко и вовсе малоэффективные объекты. Ценнейшие же земельные фонды якобы даровой земли между тем без нужды расточаются. Охотников на даровую землю всегда ведь сколько угодно найдется.

По имеющимся расчетам, у нас на индустриальные нужды к настоящему времени изъято уже до 50 млн. га сельскохозяйственных угодий [1]. К 1980 г. потребуется изъять на те же нужды минимум еще 50 млн. га, а к 2000 г. понадобится уже до 200—250 млн. га. Считая даже только по 177 руб. за 1 га, цена этих земель составит от 35,4 млрд. до 44,2 млрд. руб. А ведь с ростом оплаты труда будут еще расти и эти цены. К этим сотням миллиардов рублей, изымаемых за счет земельных богатств на индустриальные нужды вовсе без учета, следует добавить и цену всей той земли под техническими культурами, постоянный прирост которых служит сырьевыми ресурсами той же индустрии, ограничивая посевы зерновых по сравнению с растущей в них потребностью населения. Это ставит уже под угрозу важнейшую из них — в хлебе насущном. Мириться долго с такой беспечностью в распоряжении огромными ресурсами планового хозяйства, конечно, нельзя. И повышенные требования осуществляемой реформы относительно строгого проведения хозрасчета всеми предприятиями с полным учетом и платностью всех производственных ресурсов по их действительной стоимости можно лишь приветствовать.

---

[1] К 1913 г. в границах СССР мы насчитали в городах до 4 млн. га и в промышленности под заводами и рудниками, лесами и прочими землями — до 7,3 млн. га на сумму 605 млн. руб. К 1967 г. города по числу жителей выросли в 4,5 раза, промышленность по числу рабочих — раз в десять.

Однако едва ли этой задаче могут послужить такие оценки земельных угодий, какие уже исходят из того, что земля не имеет стоимости. Приведенная мной выше средняя оценка земли к 1967 г. в 177 руб. за 1 га пашни не претендует на особую точность. Ее можно сколько угодно уточнять, уточняя, в частности, и общие итоги затрат живого и прошлого труда на освоение целинных земель, учтенные статистикой. Но ее нельзя просто отвергнуть, поскольку она строится на твердой базе закона стоимости. Однако имеются уже попытки построить ее и в полном отрыве от этой базы. Такой случай можно было наблюдать недавно в одной из академических комиссий ВАСХНИЛ по докладам известных аграрников С. Д. Черемушкина и С. В. Лященко.

Обсуждался большой вопрос об установлении «условной расчетной цены на землю и размера компенсации за изъятие земель из сельскохозяйственного оборота». Называя свои цены «условными», докладчики подчеркивают этим, что они определяются не обычным путем, по стоимости, ибо земля — даровое благо, а путем особых «технико-экономических расчетов». По этой методике основным ценообразующим фактором становятся уже не трудовые затраты, связанные с освоением земли, а ее «рентабельность» в сельском хозяйстве или в индустриальном использовании, учтенная «по валовому продукту и налогу с оборота за последние десять лет». Однако наряду с рентабельностью цену земли образуют и государственные потери. В частности, по словам одного из докладчиков, при освоении новых посевных площадей вместо изъятых потери государства и сельского хозяйства входят в цену земли. А в общем в этой новой методике, усвоенной по давно уже известным на Западе образцам, господствует старый принцип капитализации исчисленной доходности земли из той или иной средней нормы прибыли в данной стране.

Но тут уж пути наших докладчиков сильно расходятся. Один из них, оценивая земли сельскохозяйственного пользования, исходит из чистой доходности земли и капитализирует ее цену из 5%, т. е. по сумме чистой прибыли за 20 лет, а другой, оценивая земли индустриального назначения, исходит из валовой доходности изымаемых земель и определяет их цену капитализацией из 10%, т. е. по сумме валового дохода с них за 10 лет. В связи с этим и результаты получаются разные. По расчетам С. Д. Черемушкина, земля в сельском хозяйстве оценивается при этом в среднем по 315 руб. за 1 га с колебаниями от 110 руб. в Якутской области до 1370 руб. в Краснодарском крае, а по оценкам С. В. Лященко, та же земля, изымаемая под строительство электростанций или целые моря затоплений, должна возмещаться в среднем по 1900 руб. с колебаниями от нуля за «бросовые земли» до 60 тыс. руб. за 1 га и с учетверением этих цен уже через 35 лет.

Ученые докладчики украсили свои расчеты математическими формулами. Допускаю, что ими были использованы и электронно-вычислительные машины. Но при всем своем уважении к агрономическим и математическим наукам я никак не мог бы присоединиться к выводам докладчиков. Прежде всего методика капитализации доходов по средней норме рентабельности уместна только там, где действует закон равной нормы прибыли, а у нас он заведомо не действует. И потому любой избранный для этой цели процент капитализации — 5, 10 или 50 — будет в равной мере произвольным. Ничем не оправдано при этом включение в нормы «рентабельности» земельных угодий такого «дохода», как весь падающий на их продукцию налог с оборота. А между тем, вовсе не образуя новой стоимости, этот налог может служить лишь ее перераспределению, но как раз в сельском хозяйстве, где цены и без того были доныне ниже уровня стоимости, он мог повышать лишь его убыточность.

Еще более произвольны попытки включить в цену земли какие-либо потери. Это был бы слишком легкий способ повышать цену своих зе-

мельных угодий, умножая на них своей бесхозяйственностью всяческие потери. Неправдоподобен и слишком быстрый рост цен земли, намеченный докладчиками в перспективе ближайших лет. С. Д. Черемушкин объясняет его, между прочим, «ростом производительности труда, в результате чего возрастает чистый доход, приходящийся на единицу площади». Однако рост производительности повышает лишь объем создаваемой продукции, но снижает ее цены. За счет этого фактора скорее следовало бы ожидать снижения цен освоенной земли. А чистый доход с единицы площади может возрасти при этом лишь в том случае, если мы не снижаем цен продукции земли по мере роста производительности труда и тем самым сознательно допускаем обесценение своей валюты.

Менее всего вразумительны идеи С. В. Лященко о том, что земли, направляемые в индустриальное пользование, должны расцениваться раз в шесть дороже, чем в сельском хозяйстве. Аналогии с Западом, где земля дорожает безмерно в индустриальных центрах, для нас неубедительны. Там господствует безумная конкуренция частных интересов, а у нас — плановое размещение производств в общественных интересах. Более высокого качества земель под индустриальное строительство не требуется, ибо там, в отличие от полеводства, земли под стенами или печами и машинами вовсе не плодоносят. Почему же за изъятие их из сельского хозяйства по столь условной оценке Лященко настоятельно требует возмещения в несколько раз выше их действительной, т. е. безусловной, стоимости?

Это в интересах сельского хозяйства? Может быть. Но попробуйте подсчитать, в какие суммы обошлось бы такое возмещение, по 1900 руб. за 1 га, хотя бы только всем гидроэлектростанциям на Волге — со всеми их морями затоплений. И вы увидите, что их и строить не пришлось бы, пожалуй, признав нерентабельными. Понятно, что, пользуясь лишь столь ненадежными «условными» оценками той или иной категории земель, совсем нетрудно загнуть и даже перегнуть палку в ту или другую сторону. Но стоит ли оперировать всякими условностями, когда можно определить и без них действительную трудовую стоимость освоения и цены наших земель?

Думаю, что не стоит.

Все учтенные в нашем хозяйстве основные производственные фонды, включая скот, оценивались к началу 1966 г. всего в 312 млрд. руб. В то же время до 225 млн. га пашни и до 50 млн. га изъятых в индустриальное использование земель, не считая всех других, оставались в составе этих фондов вовсе без оценки. Между тем только эти земли по средней трудовой оценке их освоения стоят нам не менее 48,6 млрд. руб., а с учетом и всех прочих освоенных угодий — сенокосов и пастбищ, садов и виноградников (свыше 372 млн. га), если их оценивать хотя бы по вдвое более низкой норме,— стоимость их составит еще 33 млрд. и в общей сумме возрастет до 81,6 млрд. руб.[1] Вместе с учтенными все наши производственные фонды составили бы, значит, до 393,6 млрд. руб. Таким образом, оставляя без учета весь труд, овеществленный в наших земельных богатствах, мы не только преуменьшаем общий их итог, но и в той же мере преувеличиваем «отдачу» этих фондов и нормы их рентабельности.

При более полном учете и экономном использовании наших земельных угодий совсем по-иному выглядели бы и рентабельность очень многих проектируемых застроек, и проблема их размещения поближе к дешевым землям, а в частности и масштабы допустимых затоплений и заболачивания ценнейших земель безбрежными морями при каждой гидроэлектростанции. Там, где ценят земли, ее, наоборот, с боями отвоевывают у моря, ограждая дамбами и земляными валами. Думается, что

[1] «Народное хозяйство СССР в 1965 году», стр. 64, 277.

и у нас при должном хозрасчете оказалось бы выгоднее ограничивать берега ожидаемых затоплений дамбами и валами, хотя бы в той мере, в какой нужные для этого затраты с лихвой окупятся экономией возмещений за стоимость затопленных без нужды лугов и пашен.

* * *

К числу ценнейших даровых благ природы наряду с землей относят обычно и используемые нами воды. Запасы их в морях и океанах неисчерпаемы и пока еще не оценены. А там, где они более ограничены по сравнению с повседневной в них потребностью, и вода приобретает свою цену. Но и здесь эта цена всегда может быть измерена по затратам на освоение каждой единицы этого природного «дара». Тем самым он перестает быть даровым.

Очень часто в нашем быту мы даже не замечаем этого. Попросите, например, в городе или деревне испить стакан водицы, и никто не откажет вам в этом, не требуя никакой оплаты. А между тем, согласно бюджетам времени, только на доставку воды из колодца в избу у нас в деревне за год на семью расходуется свыше 400 часов труда или до 50 дней, т. е., по нынешним расценкам рабочей силы — до 140 руб. Правда, из расчета на стакан воды это все же не составит и десятой доли копейки, а потому и не предполагает оплаты. Но с ростом городов и индустриальных нужд, а также массового орошения в засушливых районах сельского хозяйства вода расходуется не стаканами. Потребление ее возрастает в таких масштабах, что все быстрее иссякают мелкие местные источники ее и приходится добывать ее или из подземных недр глубоким бурением, или подавать издалека за сотни километров по специальным каналам и водопроводам. А вскоре за истощением пресных вод возникнет уж кое-где необходимость извлекать их и из ближайших морей с опреснением и доставкой потребителям. И тогда уж и подавно это благо природы приобретает не малую трудовую стоимость его освоения.

А между тем и в использовании этих будто бы даровых благ природы далеко не всегда выполняются все требования экономии и хозрасчета. И это прежде всего относится ко всем предприятиям, которые спускают без должной очистки свои сточные отходы в наши реки и озера, загрязняя и отравляя такие важнейшие источники нашего водоснабжения. Это бедствие, которое можно избегнуть лишь переводом всех предприятий на «замкнутый» круг водоснабжения — с очисткой забранных вод для повторного каждый раз использования в своих же цехах и без права спускать их куда-либо за пределы завода. Во всех других случаях, когда вода подается из водопроводов или каналов с известными затратами на их сооружение, следовало бы установить полную ее платность по стоимости этой подачи. Там, где такая платность отсутствует, например на орошаемых полях Средней Азии, поля эти чаще всего поливаются без строгого учета, с избытком, а в результате земли уже через несколько лет засоляются и выбывают из эксплуатации.

Однако наряду с заслушливыми районами, постоянно требующими орошения, у нас немало и других, страдающих от избытка вод, заболачивающих и обесценивающих их земли. Природа не очень равномерно одаряет нас своими благами. И даже столь ценное благо, как вода в пустыне, становится злом, когда ее слишком много и она «обогащает» нас зловонными болотами. В этих случаях приходится расходовать большие государственные средства на сооружение дорогостоящих каналов и подземного дренажа уже не для того, чтобы добыть еще сколько-нибудь водицы, хоть из-под земли, а только для того, чтобы удалить ее подальше и вернуть пострадавшим землям их естественное плодородие. Но и в этих

случаях следовало бы тем или иным способом возмещать такие общегосударственные затраты на мелиорацию местного значения за счет повышенной доходности тех хозяйств, какие ее обретут в своих владениях.

К числу даровых благ природы относят и все ископаемые рудные и нерудные богатства до тех пор, пока они покоятся в недрах. И на этом основании все поисковые геологические работы по разведке ископаемых месторождений не включаются в нашей практике ни в основные фонды добывающей промышленности, ни в издержки производства уже добытых руд и угля, нефти и природных газов. А это несомненно ошибка, и не малая. Даровыми ископаемые богатства остаются только до тех пор, пока мы о них еще ничего не знаем. Но уже первая поисковая разведка, которая обнаруживает места их залегания, сколько их и каковы их качества,— это уже первый трудовой вклад в их общественную стоимость, игнорировать который совершенно непозволительно независимо от результатов поиска. Опытом познано, сколько безрезультатных затрат приходится на один удачный поиск и одну добытую тонну разных ископаемых. Таким образом, мы заранее знаем, сколько всего потребуется затрат на поисковые работы по всему плану намеченной добычи и по каждому ископаемому в отдельности. По некоторым из них эти работы относительно незначительны, а по другим — огромны. И оставляя их без учета в издержках производства ископаемых благ природы, мы несомненно сильно искажаем и стоимость, и рентабельность многих из них.

Наиболее ценным в потребительном его значении бесспорно можно признать такое природное благо, как окружающий нас атмосферный воздух. Без него ведь и пяти минут не проживешь. Но воздушный океан так велик и доступен, что освоение этого блага не стоит нам никакого труда. И потому не возникает нужды устанавливать на него какую-либо цену. Лишь в меру того, как мы сами загрязняем и портим воздух отходами вредных производств, в подземных шахтах и даже на улицах крупных городов, перенасыщенных выхлопными газами автотранспорта, познается истинная цена чистого воздуха. И она определяется всеми затратами на вентиляцию жилищ и шахт, кондиционирование воздуха во вредных цехах, освежение его зелеными насаждениями и парками отдыха в городах. Не все из этих затрат учитываются в стоимости продуктов производственной сферы. Издержки по вентиляции жилищ или содержанию городских парков относятся к затратам непроизводственной сферы. Но и они, полнее насыщая легкие всех трудящихся свежим воздухом, повышают их производительность труда и в конечном счете находят свое возмещение в производственной сфере. Впрочем, точное размежевание в этом отношении границ между производственной и непроизводственной сферами еще не достигнуто, и тут остается еще немало дискутабельного.

Казалось бы, например, что геологическая разведка, как и всякий акт познания, ничего не прибавляет и не убавляет от вещественного состава и качеств добываемых благ. Она повышает лишь нашу информацию о возможности этой добычи в пределах данного места и времени. А между тем без такого прироста информации оказался бы невозможным нужный прирост и самой добычи соответствующих благ. Таким образом, известная норма информации становится здесь неустранимой предпосылкой и начальным звеном самого производственного процесса по добыче ископаемых. Она стоит труда разведчиков недр и в составе всех других общественно необходимых затрат совокупного труда по разведке и добыче подземных благ должна бы полностью войти в учет их стоимости. И отказ нашей практики от включения в учтенные издержки всех затрат поисковой разведки, конечно, существенно занижает — на всю сумму этих затрат — действительную стоимость добытых благ. Подобно этому не учитывается у нас в издержках производства и целый ряд других

затрат, аналогичных предварительной разведке, без которых, однако, нельзя и начать какое-либо новое производство.

К числу таких предварительных работ, связанных с потребностью в новой информации, можно отнести и все камеральные работы по проектированию новых предприятий, по планировке и застройке новых городов, планировке транспортной сети и всех других объектов строительства. Из всех затрат, произведенных за все годы Советской власти по линии капитальных вложений, но вовсе не учтенных ни в основных, ни в оборотных фондах, на такие «бездомные» работы ушли уже миллиарды рублей. И едва ли разумно, что все эти миллиарды улетают у нас вместе с заводским дымом в бездонную трубу забвения без всякого отражения в реальной стоимости созданного продукта. Если быть последовательным и посмотреть шире, то придется признать, что и вложения в науку еще в большей мере, чем поисковая разведка или планировка строительства, служат своей информацией прежде всего народному хозяйству. Не следует забывать, что наука становится уже непосредственной производительной силой и главным рычагом технического прогресса в нашей стране. В ее составе все большее значение приобретает в перспективе ближайших лет и ожидаемой «научно-технической революции» новая «наука управления» со всеми ее органами планирования и организации производства.

И было бы только логичным включить в издержки производства общественного продукта в той или иной мере и немалые вложения в науку со всеми органами управления и научной организации труда в производстве.

Конечно, можно сказать, что и сама наука становится даровой производительной силой, как только ее внедрят и освоят в производственном процессе. Но в том-то и дело, что только на внедрение ее в сотни миллионов голов и освоение в производстве даже в самой малой доле требуется в несколько раз больше затрат, чем на все финансирование большой, творческой науки. Если мы не включаем эти затраты по внедрению наук в стоимость всего общественного продукта, то и по этой линии допускается известный недоучет и в себестоимости всей реализуемой в стране научной информации, и в стоимости продукта тех отраслей труда, где эта информация используется без всякой оплаты, в основном в качестве дарового блага.

Однако и при всех возможных уточнениях общественной и локальной стоимости продукции по каждому предприятию и хозяйству в отдельности дифференциальная их рентабельность или убыточность неустранима. Никакая норма рентабельности сама по себе мерой эффективности труда в каждом из них служить не может, так как определяется не только трудом, но и его фондовооруженностью или качеством земли и удаленностью от рынков и прочими привходящими обстоятельствами. Между тем в рамках социалистического соревнования каждый производственник должен находиться в равных с другими условиях, получая и зарплату, и все другие виды поощрения только по количеству и качеству своего труда, независимо от любых привходящих обстоятельств: и на передовых по технике и на отстающих предприятиях, и на лучших и на худших землях, и в нормальных условиях погоды и даже в случаях гибели всего урожая от стихийных бедствий.

Можно ли, однако, добиться подобных условий соревнования?

Легче всего решается задача борьбы со стихийными бедствиями. Страна наша очень велика, и, переложив методами взаимного страхования от стихийных бедствий большой риск отдельных хозяйств на всю страну, можно добиться вполне удовлетворительных результатов. Гораздо труднее добиться, скажем, равного уровня фондовооруженности и действующей техники на предприятиях разного возраста, так как под

действием технического прогресса этот уровень постоянно повышается на новейших предприятиях по сравнению с более старыми и совсем устаревшими. Но и тут возможны существенные поправки за счет учета обесценения стареющих фондов и соответствующего снижения амортизационных отчислений в издержках производства таких предприятий. Дело в том, что технический прогресс, снижая стоимость новых благ, обесценивает в той же мере и все старые того же рода, в том числе и устаревшие основные фонды прежних лет. Этот «фактор времени», однако, не учитывается в нашей практике, и завышенная оценка фондов по начальной их стоимости до полного износа сильно искажает норму их рентабельности и реальной эффективности на устаревших предприятиях.

Поясним это примером. Допустим, что норма прибыли в среднем по всем новым предприятиям составляет до 15% к начальной оценке их фондов, но с каждым годом снижается в обратной пропорции к росту производительности труда в стране. По данным ЦСУ, она повысилась в советской промышленности с 1950 г. (за 15 лет) более чем в 2,5 раза (на 156%). Значит, на предприятиях, построенных 15 лет тому назад, в результате отставания в технике рентабельность не превышает и 6%. Но если учесть, что и фонды столь устаревших предприятий за 15 лет по той же причине обесценились во столько же раз, то окажется, что по отношению к реальной их стоимости норма их рентабельности остается примерно на том же уровне, как и в других, позже построенных предприятиях. Качество устаревшей техники, конечно, ниже новой. Но это как раз и возмещается ее обесценением по мере снижения этих качеств, измеряемых сравнительной продуктивностью различной техники на единицу их стоимости. И чтобы выравнять при этом условия социалистического соревнования в большинстве отраслей промышленности, достаточно, по-видимому, лишь правильно учитывать требования фактора времени в текущей оценке и переоценке — хотя бы через каждые пять лет — всех ее производственных фондов.

Труднее эта задача решается в тех отраслях труда, где колеблемость рентабельности определяется не условиями техники, а такими привходящими природными явлениями, как горная и поземельная рента. Резкие колебания дифференциальной рентабельности в зависимости от сравнительного богатства недр или качеств земли на разных ее участках и независимо от приложенного к ним труда решительным образом нарушают интересы тех работников, которым достаются наименее выгодные участки. Неоправданные убытки, так же как и незаслуженные сверхприбыли, в равной мере дезорганизуют труд. С этой опасностью пытаются бороться даже в капиталистическом обществе частных собственников такими полумерами, как понижение закупочных цен на хлебные продукты в наиболее урожайных районах, прогрессивно-подоходный налог на сверхприбыли концернов и корпораций, и другими мерами, которые не мешают все же крупным акулам капитала еще больше жиреть, а мелкой рыбешке, путающейся рядом с ними в тенетах беспощадной конкуренции, банкротиться, насыщая своими потрохами все тех же прожорливых хищников.

В советском обществе о частной собственности подобных предпринимателей сохранились лишь горькие воспоминания, а все природные богатства давно уже принадлежат всему обществу. Здесь находятся уже и новые возможности выровнять все условия соревнования трудящихся даже на тех участках народного хозяйства, где этому особенно препятствует неравенство природных условий эксплуатации труда. Правда, в нашей практике сохраняются еще от прошлого и такие меры, как «зональные» закупочные цены и подоходный налог с колхозов, но, как и всякие полумеры, они не достигают цели. Наряду со сверхпри-

быльными колхозами-миллионерами где-нибудь в Краснодарском крае, приходится все чаще слышать о таких, которые, и не мечтая о прибылях, просятся на совхозный режим и отказываются от всех преимуществ колхозной самодеятельности. С этим нельзя долго мириться, и наша практика давно уже нащупывает лучшие пути. Мы имеем в виду так называемые расчетные цены везде, где природные условия слишком колеблют обычные нормы хозяйственного расчета.

Расчетные цены продукции отдельных предприятий определяются при этом по индивидуальной ее стоимости на таких предприятиях и потому очень различны. Но они служат только для сбыта этой продукции своему же отраслевому объединению, тресту или синдикату, где в общей сумме складывается уже и общественная ее стоимость для дальнейшей реализации потребителям. Объединение при этом ничего не теряет, а отдельные предприятия, независимо от природных факторов и условий размещения в пространстве, получают все же такие цены, которые в соответствии с Программой нашей партии должны обеспечить каждому нормально работающему предприятию возмещение издержек производства и обращения и получение «необходимой» прибыли.

Размер «необходимой» прибыли здесь определяется тем, что она должна восполнить издержки каждого предприятия до полной стоимости — в данном случае индивидуальной — всей реализуемой в нем товарной продукции. Такая прибыль, возмещая еще не оплаченный в издержках предприятия труд занятой в нем рабочей силы, легко может быть исчислена по средней норме валового накопления, запланированной на ближайшую пятилетку по всему народному хозяйству, если эту норму, вслед за Марксом, принять равной в одном и том же проценте к оплачѐнному труду, т. е. ко всему фонду заработной платы каждого предприятия,— $m : v$.

Расчетные цены исключают при этом перераспределение создаваемой стоимости в пространстве в связи с неравномерным размещением естественного плодородия и всех прочих «даровых благ природы». Исключается вместе с тем и вытекающая из их оценки дифференциальная рентабельность отдельных предприятий или хозяйств. Но именно поэтому учтенная в них прибыль по расчетным ценам в сопоставлении со средней нормой накоплений — не в процентах к фондам, а на единицу труда — сможет показать, на каком именно предприятии и насколько эффективность труда была выше, чем на других, и в какой именно мере каждый из соревнующихся коллективов трудящихся заслуживает особого поощрения сверх нормальной оплаты труда.

И такие возможности нужно, конечно, полностью использовать.

ОТ ОКТЯБРЯ К КОММУНИЗМУ[1]

Октябрьская революция в царской России, свалившая в 1917 г. вслед за царизмом заодно и все устои капитализма в этой огромной стране непредвиденных возможностей, стала уже заведомо историческим рубежом мирового значения.

Однако далеко не сразу она получила за собой такое признание даже в среде ближайших попутчиков Октября. Напомним, что у западных теоретиков марксизма почитался непререкаемой догмой взгляд, по которому победа социализма сможет быть обеспечена не раньше, чем для этого созреют все условия в большинстве передовых стран мира. К счастью, советские коммунисты никогда не были догматиками. И, не дожидаясь других, они-таки не упустили представившейся им возможности довести у себя победоносную пролетарскую революцию до ее логического конца. А передовые страны Запада, возглавляемые такими лидерами, как Уинстон Черчилль, тем временем тщетно пытались удушить нас в кольце блокад и интервенций. И лишь мудрейший лондонский «Таймс» с первых же дней после победы Октября не без успеха успокаивал своих читателей, сообщив им с полной уверенностью о большевиках, что, «хотя они и сильны, у них не хватит ума управлять страной...»

Не стоит, впрочем, спрашивать, у кого же именно не хватило ума в данной ситуации. Ведь под управлением коммунистов наша страна, свергнув ярмо капитализма, продвинулась вперед с тех пор за 50 лет на целые столетия, опередив на пути мирного экономического развития уже не одну из твердынь и «передовых» форпостов капиталистической агрессии. Но особенно поучительный урок истории получила гитлеровская Германия, попытавшись предательски — одним лишь молниеносным ударом без объявления войны — сокрушить оружием всю мощь социалистических возможностей СССР. Развязка всей этой эпопеи в Нюрнберге, где многие из сподвижников Гитлера расплатились уже за эту авантюру своей головой, показала, однако, что СССР — твердый орешек, о который легко обломать и крепчайшие зубы. К тому же после поражения фашизма за спиной СССР вырастал уже целый лагерь новых стран социализма, возможности которого становились с каждым годом все более широкими и привлекательными.

И тогда хитроумный Одиссей английской буржуазии, Уинстон Черчилль, сколачивая новую коалицию против стран социализма, выдвинул свою, со всех сторон обтекаемую идею холодной войны с ними всей мировой буржуазии под знаменами НАТО. Такая война, казалось бы, не требует от агрессивной буржуазии особого героизма и даже не угрожает ее виновникам предстать когда-либо перед судом нового Нюрнберга в случае военного поражения. Ведь в ней можно обойтись и

[1] Доклад на научной сессии Института мировой социалистической системы «Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая социалистическая система». М., 1967.

вовсе без сражений. Достаточно лишь организовать за счет налогоплательщиков разорительную гонку вооружений, оградив одновременно противный лагерь всеми видами экономической блокады и торговой дискриминации, чтобы быстро довести, не мытьем, так катаньем, беднейших конкурентов в этом соревновании до полной нищеты и, схватив их за горло, поставить на колени.

Однако скоро обнаружилось, что внутренняя конкуренция в лагере самой буржуазии угрожает слабейшим его членам даже сильнее, чем все миролюбивые социалистические страны, а торговля с ними заведомо прибыльнее бойкота. И вот уже не стало старейшего вдохновителя холодной войны Черчилля, доживает свой век и боевой союз западных держав НАТО. Противоречия между американским и западноевропейским капиталом на мировом рынке обостряются, а бесплодная гонка вооружений прежде всего переобременяет бюджеты наиболее агрессивных стран капитала. И это опрокидывает все авантюристические расчеты на «холодную» войну в условиях, когда и самая горячая, атомная война ничего уже в соревновании экономических систем решить не может.

Тем временем мы уже успели построить социализм в нашей стране и приступили к строительству материально-технической базы коммунизма. Победу Октябрьской революции в наши дни можно уже признать окончательной и бесповоротной. Она открыла собою новую эру, которая, по оценке классиков марксизма, впервые выводит нас «из царства необходимости в царство свободы». И действительно, лишь с обобществлением всех средств производства в результате социалистической революции мы выходим из тягостной необходимости слепо следовать всем велениям рыночной стихии, приобретаем новые рычаги сознательного планирования в общественном производстве материальных ценностей и открываем широчайшие возможности творческой самодеятельности трудящихся во всех областях науки и культуры с каждым новым расширением их свободного времени, которое, таким образом, по Марксу, само становится «величайшей производительной силой».

Значение такой победы, открывшей новую эру общественных отношений — без классового угнетения и эксплуатации человека человеком,— трудно преувеличить. И не без основания весь предшествующий период мировой истории — от первых антропоидов до сэра Уинстона Черчилля вместе с воспетой им холодной войной — можно назвать лишь предысторией истинно человеческих взаимоотношений. История их начинается только с первых побед Великого Октября. А эти победы становятся для нас вместе с тем и высшим торжеством человеческого Разума, поскольку они еще задолго до нас были в основном предусмотрены и обоснованы творцами нашей общественной науки — марксизма.

Но вот прошло уже полвека с тех пор, как мы вступили на новый путь — от Октября к коммунизму, и пора подвести хотя бы первые итоги за эти полвека. И если спросить себя, как далеко мы уже продвинулись вперед на этом нелегком пути, то серьезный ответ на него потребует размышлений. Бесспорно лишь одно — что в области экономического соревнования с капиталистическим миром наши достижения уже огромны и, несмотря на трудности, возрастают с каждым годом. А вот в области идеологической трактовки многих проблем и категорий науки о коммунизме у нас нет еще полной ясности и определенности. Теория явно отстает от практики. И число все более спорных разномыслий и острых дискуссий об оптимальных путях нашего продвижения к коммунизму за последнее время даже заметно возрастает.

Это вполне объяснимо, конечно. Ведь классики марксизма, широко разработав в своих трудах важнейшие проблемы эпохи капитализма,

не оставили нам в наследие готовеньким столь же детальное учение о коммунизме. Заботу об этих «деталях» они вполне резонно возложили на своих преемников по строительству коммунизма, т. е. на наше поколение. А этому поколению в повседневной борьбе тоже не скоро удалось задуматься о проблемах углубленной теории. И очень долго большинство из наших экономистов довольствовалось остатками и пережитками учений прошлого. Хотя основы марксизма остаются незыблемыми, практика, наталкиваясь на целый ряд неожиданных трудностей, еще нередко хромает и явно нуждается в дальнейшем развитии и углублении теории. Таким образом, оживление и обострение теоретических дискуссий наших дней, поскольку они обогащают науку, можно лишь приветствовать. Но пора бы нам и подытожить хотя бы важнейшие идеологические расхождения, которые уже получили свое разрешение или еще ждут его, за полвека нашего продвижения к коммунизму.

Возьмем, например, живучесть пережитков прошлого даже в терминологии советской экономики. Наша практика очень долго сохраняла в полной неприкосновенности все несвойственные ей категории и основные понятия. Так, уже упразднив капитализм в СССР, наши бухгалтеры, финансисты и статистики еще лет 20 усердно подсчитывали в своих балансах по инерции основные и оборотные капиталы социалистических предприятий. А между тем в таком словоупотреблении не понято основное, что «капитал» всегда служил орудием эксплуатации труда, а социализм принципиально исключает эту задачу в использовании своих производственных фондов. Но заблуждались во многом не только бухгалтеры. В памятные годы нэпа, когда от вынужденной политики «военного коммунизма» Ленин повернул руль к развязыванию товарных отношений в СССР, этот неожиданный, хотя и вполне обоснованный, поворот к рыночной стихии оказался непонятым не только в буржуазной среде, но и в кругах друзей. И если врагов революции этот поворот обманул несбывшимися надеждами на реставрацию капитализма, то немало друзей ошиблось, расценив его как явное «отступление» от задач революции, с которым надо как можно скорее покончить.

Лишь со временем обнаружилось, что товарность социалистического хозяйства в первой фазе коммунизма — явление вполне закономерное и, если учесть все его особенности, благоприятствующее нашим задачам. Оно облегчает возможности планирования на первых его этапах, когда все производственные пропорции не поддаются еще измерению непосредственно в трудовом выражении, но уже с вполне достаточной точностью могут получить свою меру и в товарных ценах, т. е. в денежном выражении трудовой стоимости реализуемых благ. Тем не менее споров о товарности социалистического хозяйства в первой его фазе возникало в марксистских кругах немало. Одни пытались объяснить ее лишь наличием в СССР двух форм собственности — общегосударственной и колхозной — и тем самым резко ограничивали сферу ее действия обменом лишь между этими секторами хозяйства. А между тем и в сфере государственного хозяйства, как известно, все рабочие и служащие получают в основном все им необходимое в порядке куплипродажи, а не планового распределения по потребностям, какое мыслится лишь в условиях полного коммунизма. А некоторые товарищи вопреки фактам и доныне категорически отрицают товарность современного нам социалистического хозяйства.

Так, один из виднейших советских статистиков, И. С. Малышев, в 1960 г. писал: «Товарное производство и социалистическая собственность — это взаимно исключающие понятия. Конечно, на первый взгляд... вся та масса предметов потребления, продаваемых населению и учреждениям в магазинах розничной торговли, кажется именно ре-

зультатом товарного производства. Однако это чисто внешнее впечатление...»[1] С первого взгляда, читая эти строки, можно подумать, что в наших розничных магазинах не осталось уже ничего путного и они торгуют лишь пустыми миражами, а нам лишь кажется, что мы уже сыты подобными галлюцинациями. Но это только внешнее впечатление, ибо в магазинах наших кое-где отмечается и затоваривание. Мысль товарища Малышева, однако, гораздо тоньше. Он исходит из метких замечаний В. И. Ленина о том, что наши товары — товары *особого* рода, товары, которые *перестают* быть товарами. И, следуя этой диалектике, легко допустить, что в конце концов, в условиях изобилия, они вовсе перестанут быть «товарами» в обычном смысле этого слова, обратившись в продукты, идущие на потребление «не через рынок». Но И. С. Малышеву этого было мало. Он решил, что товары уже с первых же шагов планового хозяйства перестали быть товарами. А это ни с чем не сообразно, не подтверждается ни ссылками на классиков, ни общеизвестными фактами и как будто уже само собой выпадает из области дискутабельного.

Удивляться господству товарно-денежных связей в обществе, только что вышедшем из недр капитализма со всеми его традициями и пережитками, не приходится. Гораздо удивительнее было бы, если бы они по какому-то волшебству вдруг сразу же исчезли, на другой день социалистической революции. Искать специальные причины для объяснения наличия товарных отношений в СССР уже с первых лет революции тоже вовсе нет никакой нужды, так как не было еще достаточных причин для их исчезновения. И вообще следует помнить, что для смены общественных формаций требуются большие сроки, в течение которых история, преодолевая на своем пути с трением и скрипом инерцию прошлого, преподносит нам подчас нелепейшие неожиданности. Мы имеем в виду, в частности, весьма поучительный кризис затоваривания промышленной продукции в СССР уже в 1923 г.

Товарного перепроизводства, конечно, не было у нас в эти годы. Но были серьезные теоретические расхождения о задачах нэпа в среде хозяйственников. И, несмотря на то, что нэп был прежде всего политикой смычки с полунищей деревней, большинство хозяйственников усматривало главную его задачу в реализации хозрасчета и высокой прибыльности советской промышленности. Застрельщики этой концепции, как известно, уже в 1923 г. заявляли на XII съезде партии: «Мы собираемся проходить через стадию первоначального социалистического накопления» — и с этой целью провели резолюцию, по которой необходимые для возрождения социалистической промышленности оборотные средства образуются «в качестве избытка сельскохозяйственных продуктов над потреблением деревни». И все это завершалось директивой: «Вопрос о создании в государственной промышленности прибавочной стоимости — есть вопрос о существовании Советской власти, т. е. судьбе пролетариата»[2].

Конечно, «прибавочная стоимость» в условиях социализма не извлекается. Но больной Ленин отсутствовал на съезде. А хозяйственников устраивала и такая формула поощрения высоких цен. И вот уже в приказе ВСНХ трестам от 16 июля было указано, что «общим руководящим началом для деятельности как предприятия, так и ВСНХ на ближайший период является прибыль». Хозяйственники из ВСНХ потребовали при этом от трестов принять все меры к тому, чтобы получить

---

[1] И. С. Малышев. Общественный учет труда и цена при социализме. М., Экономиздат, 1960, стр. 25—26 (курсив мой.— *С. С.*).

[2] «XII съезд РКП(б) 17—25 апреля 1923 г.». Стенографический отчет. М., 1923, стр. 263, 264, 293.

«наибольшую прибыль»[1]. И действительно, цены промышленности, без всякого соображения с законом стоимости и при одновременном снижении сельскохозяйственных цен, были повышены в 2,3 раза, что привело вместо сверхприбыли к чувствительному затовариванию по всей промышленности.

Ничего особо страшного, однако, при этом не произошло. Центральный Комитет партии уже с сентября 1923 г. принял меры к снижению завышенных цен. И эфемерный «кризис сбыта» рассосался еще в том же году. Валовая продукция крупной промышленности за весь 1923 г. повысилась при этом на 53%. И даже чистая прибыль по балансу государственных трестов на 1 октября 1923 г. составила не менее 111 млн. руб., или 3,7% к основным фондам. Политика таких хозяйственников с их тяготением к «непомерно высоким ценам» была осуждена на 13-й конференции партии как мелкобуржуазный уклон от марксизма. Уроки «кризиса» требовали особого внимания к проблемам ценообразования. Но никаких готовых решений в планировании цен в те годы еще не нащупывалось. Ясно стало лишь одно — что право устанавливать цены тем органам, какие наиболее заинтересованы в их завышении, доверять не следует.

Трудно было на первых порах лишь примириться с признанием «прибавочной стоимости» в условиях социализма. Попытки заменить это понятие термином «прибавочный продукт» или «прибавочный труд» не спасают нас от противоречий, так как все они в равной мере являются отличительным признаком классовых формаций и мерой эксплуатации труда. Ведь «прибавочным трудом» Маркс называл неоплаченный труд рабочего. Правда, любители цитировать нашли у него в III томе «Капитала» и такое высказывание: «Прибавочный труд вообще, как труд сверх меры данных потребностей, всегда должен существовать». И в этом случае на его долю, по Марксу, остаются лишь страховые фонды и фонды расширенного воспроизводства[2]. Однако и эти фонды в условиях социализма не менее необходимы, чем другие. И сам Маркс это вполне подтверждает уже в I томе того же «Капитала», наиболее законченного и зрелого из его экономических трудов.

Ограничить рабочий день с повышением производительности труда одним лишь «необходимым трудом», так, чтобы вовсе исчез «прибавочный», по его мысли, невозможно только при режиме капитала. «Устранение капиталистической формы производства позволит ограничить рабочий день необходимым трудом. Однако необходимый труд, при прочих равных условиях, должен все же расширить свои рамки. С одной стороны потому, что условия и жизнь рабочего должны стать богаче, его жизненные потребности должны возрасти. С другой стороны, пришлось бы причислить к необходимому труду часть теперешнего прибавочного труда, именно тот труд, который требуется для образования общественного фонда резервов и общественного фонда накопления»[3].

Какое же из этих двух решений предпочтительнее в нашу эпоху, с победой социализма?

Думается, что та граница между необходимым и прибавочным трудом, которая определяла меру его эксплуатации в условиях капитализма, полностью исчезает с ликвидацией буржуазии. В условиях социализма приобретает гораздо большее для нас значение граница между фондами потребления и фондами расширения материального производства, создаваемого трудом. Но эта грань проходит по совсем другой линии — положительных показателей нашего продвижения к

[1] Эм. Квиринг. Очерки развития промышленности СССР, стр. 74.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 25, ч. II, стр. 385—386.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 539.

коммунизму. К сожалению, немало экономистов и доныне, сохраняя традиционные представления о прибавочном труде и продукте, дают повод думать, что именно за счет этих источников питается не только весь фонд общественных накоплений, но и вся сфера непроизводственного труда, который по столь же устаревшей традиции все еще рассматривается в наших учебниках как труд «непроизводительный».

Во времена Адама Смита производительным действительно признавался только труд, воплощаемый в товарах, поскольку он обычно присоединяет к стоимости материала стоимость своего содержания и прибыль своего хозяина. Решающим признаком производительного труда при этом становится даже не столько материальность товаров, сколько воспроизводство их «с той или иной прибылью». «Только труд, производящий капитал, есть производительный труд»,— поясняет эту концепцию А. Смита Карл Маркс[1]. По этой концепции вся сфера обслуживания, включая чиновников, юристов, врачей, учителей, ученых, писателей, актеров, музыкантов, певцов, танцовщиков, представляет собой «непроизводительных работников».

«Труд самого последнего из этих людей,— поясняет Адам Смит,— обладает известной стоимостью... но труд даже самой благородной и самой полезной из этих профессий не производит ничего такого, на что можно было бы потом (!) купить или достать одинаковое количество труда. Подобно декламации актера, речи оратора или мелодии музыканта, труд их всех исчезает в самый момент его выполнения». И Адам Смит заключает: «Они являются и содержатся на часть годового продукта остального населения»[2].

Это не столь уж убедительно звучит в устах даже мудрейших Адамов буржуазной экономической науки. Почему все производители сферы услуг должны содержаться на чей-либо чужой счет, если их труд обладает самостоятельной стоимостью и, стало быть, вступая в обмен этой стоимости на продукты производственной сферы, они нормально обмениваются лишь эквивалентами своего труда? Потому, что услуги обычно исчезают уже в самый момент их выполнения и потребления? Но разве продукты материального производства не исчезают столь же обычно в момент их потребления? К тому же далеко не все плоды труда непроизводственной сферы исчезают из общественного потребления столь мимолетно, как изображал автор «Богатства народов». Напомним хотя бы о таких плодах творчества непроизводственной сферы, как песни Гомера или теоремы Евклида. Их производство едва ли было для кого-либо прибыльным. Нельзя его отнести и к числу особо «фондоемких» или «материалоемких». И все же его плоды оказались прочнее стали и долговечнее железобетона. Они все еще живут среди нас целые тысячелетия, обогащая чувства и разум народов и не требуя от них за это уже ни оплаты, ни ремонта, ни амортизации.

Такими качествами обладало творчество в области наук и искусств и во времена Смита. Относить его в сферу непроизводительного труда и тогда можно было только с позиций буржуазного общества и требований капитала. Но теперь, в наше время, когда наука, по нашему общему признанию, становится уже непосредственно «производительной силой», отрицать производительность научного труда нет оснований.

Ну, а как же быть с врачами, учителями и прочими работниками сферы обслуживания?

О них давно уже сказано Марксом, что «труд врача и учителя не создает непосредственно фонда, из которого они оплачиваются, хотя их

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. I, стр. 137.

[2] Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1935, стр. 279.

труд входит в издержки производства того фонда, который вообще создает все стоимости, а именно в издержки производства рабочей силы». Но рабочая сила материального производства и есть основная и важнейшая производительная сила нашего общества. А потому и весь дополнительный труд, какой входит в издержки производства этой основной производительной силы, не может рассматриваться как непроизводительный. И Маркс заключает: «Таким образом, производительным трудом Смит должен был бы признать такой труд, который или производит товары, или непосредственно производит, формирует, развивает, сохраняет, воспроизводит самоё рабочую силу» [1].

И если с такой концепцией и не мирились пионеры буржуазной идеологии, то ныне, уже в условиях социализма, нам, казалось бы, совсем не обязательно повторять все их ошибки, начиная с самых азов, от Адама. Сохраняя деление на производственную и непроизводственную сферы труда, мы могли бы уже признать, что работники и той, и другой — одни *опосредствованно,* обслуживая воспроизводство рабочей силы во всем народном хозяйстве, а другие *непосредственно* участвуя в производстве всех материальных ценностей — тем самым, в качестве «совокупной» рабочей силы страны, в полной мере участвуют в создании всего общественного продукта и народного дохода этой страны. И, стало быть, труд всех этих работников может быть более или менее производительным, но в категорию заведомо «непроизводительных» можно было бы отнести из их числа лишь явных лодырей, прогульщиков и дармоедов.

Не пора ли уж признать, что любой общественно полезный труд не может быть бесплодным. Социалистический принцип распределения требует от всех сограждан работы по способностям и вознаграждения их по труду независимо от того, в какой сфере эти их способности используются в плановом хозяйстве. И признание в этих условиях труда какой-либо категории работников — скажем, учителей и врачей, выполняющих заданный им план по способностям,— непроизводительным лишь порочит не только этих работников, но и все планы, умножающие и вознаграждающие такой якобы бесплодный труд.

Но отказ от чужеродных нам трактовок А. Смита о непроизводственной сфере труда важен для нас и в другом отношении. В подсчете народного дохода марксистская наука давно уже ограничивается чистой продукцией одной лишь производственной сферы, без повторного счета всех внутренних оборотов в народном хозяйстве. А в практике стран капитализма господствует метод учета в национальном доходе и всех индивидуальных доходов сферы обслуживания, в полном отрыве от производственной сферы труда. Дефект этой практики как раз и заключается в том, что обе эти сферы восполняют друг друга и их нельзя успешно изучать в отрыве одну от другой. Если же их рассматривать в совокупности, то обнаружится следующее обстоятельство: с расширением границ хозяйственных оборотов страны за счет сферы обслуживания возрастают не только общие доходы, но и суммарные издержки по всему хозяйству, чего не учитывает буржуазная практика.

Однако, в частности, в сфере обслуживания не образуется особых фондов накопления. И потому доходы этой сферы по стоимости всех созданных в ней услуг в основном балансируются равноценными издержками материальных ценностей производственной сферы, необходимых на оплату труда в сфере услуг. Таким образом, возрастает лишь внутренний валовой оборот между сферами, а в общем итоге народный доход и с учетом услуг остается равным тому же, какой был по одной лишь производственной сфере. Не меняется и сумма чистых

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. I, стр. 150, 154.

накоплений. Но с полным учетом затрат совокупного труда по всему народному хозяйству получаются иные показатели его производительности, а вместе с тем и более низкие нормы накопления — $m : v$ или $m : (v + m)$ в расчетах на каждую единицу труда.

Обычно допускается, что наши фонды накоплений создаются только кадрами производственной сферы. Если же учесть, что и образование и квалификация, а вместе с тем и производительность этих кадров во многом определяются той подготовкой их к труду, какую они получают еще в сфере обслуживания всей рабочей силы страны, то пришлось бы признать, что и работники этой сферы если не прямо, то косвенно являются в той же мере творцами всех наших успехов и конечных достижений.

Б условиях соревнования экономических систем решающая роль принадлежит показателям производительности труда. Между тем сравнительная точность их исчисления и в нашей, и в зарубежной практике невелика и далеко не отвечает всем требованиям строгой теории. Важнейшее из этих требований, обоснованное еще классиками марксизма, а именно: требование учета наряду с *живым* и всех затрат *прошлого* труда, овеществленного в общественном продукте страны,— обычно вовсе игнорируется нашей статистической практикой [1]. Остается без учета, в частности, и труд в сфере обслуживания всей занятой в стране рабочей силы. А это величина немалая. К тому же удельный вес ее в общих затратах труда разных стран весьма различен. Стало быть, и общая их экономичность становится малосопоставимой.

В последние годы в качестве важнейшего критерия экономичности сопоставляемых хозяйственных комплексов и отдельных предприятий у нас все чаще вместо производительности труда выдвигаются показатели сравнительной их рентабельности. И в связи с новыми реформами в области планирования с ориентировкой на развязывание рыночных отношений и всех ресурсов хозяйственного расчета расширяется оживленная дискуссия вокруг целого ряда связанных с этими задачами спорных проблем.

Основная из этих задач — возможность и необходимость серьезного повышения эффективности народнохозяйственного планирования на данном его этапе — совершенно бесспорна. Эта задача, по-видимому, назревает не только в СССР, но и в ряде других стран социализма в связи с теми или иными трудностями, а также и с новыми возможностями их преодоления. В нашей стране подобные трудности возникают уже не в первый раз. И в обсуждении нового курса наших дней мы не случайно наталкиваемся на ряд поучительных аналогий из времен нэпа 20-х годов.

И тогда и ныне — правда, на весьма различных уровнях производства — наша страна стала перед большими трудностями в своем развитии и необходимостью решительного поворота в своей хозяйственной политике. И в том и в другом случае важнейшей причиной трудностей оказался недопустимый отрыв сельского хозяйства от общего уровня возможностей и потребностей страны, со всеми вытекающими отсюда опасностями. Не случайно и то, что поворот к нуждам наиболее отсталой отрасли хозяйства на обоих этапах потребовал прежде всего посчитаться с велениями рынка в условиях ценообразования, т. е. с забытым законом стоимости.

Поучительно и то, что на обоих этапах нашлись экономисты, убежденные в том, что, и не считаясь с этим законом, можно успешно решить все хозяйственные проблемы. Мы уже видели, как в годы нэпа кое-кто из хозяйственников, следуя линии наименьшего сопротивления,

---

[1] К. Маркс и Ф Энгельс. Сочинения, т. 25, ч I, стр. 286—287.

диктовал советским трестам требование «наибольшей прибыли» и, хотя добился этой ценой только липового «кризиса сбыта», обнадежил всех западных мудрецов сладкой иллюзией, что у нас уже возрождается капитализм. Известно ведь, что кризисы — это самый верный признак капитализма.

В наши дни еще больше прославился на Западе другой наш экономист, Е. Г. Либерман, провозгласивший, что лучшим критерием эффективности советских предприятий может служить лишь получение ими высокой нормы прибыли. Нашлись у него уже и последователи, поставившие «максимизацию прибыли» в качестве важнейшей задачи «оптимального» планирования [1]. Высокая норма прибыли! Помилуйте, да ведь это идеал буржуазной мысли. С нею даже планирование приобретает новый вкус. И наш профессор сразу же был прославлен на Западе как высший авторитет в области советской экономики. В газете «Фигаро» уже в 1962 г. было напечатано, что профессор Либерман предлагает «восстановить в СССР режим свободного предпринимательства» и можно предвидеть «уже близкий возврат капитализма в СССР».

Конечно, наш профессор никому не предлагал ничего подобного. И всем, кто все еще ждет реставрации капитализма в СССР, и на этот раз, как и в годы нэпа, предстоят лишь горькие разочарования. Но из сочиненной ими наспех смешной «либермании» лучше всего видно, чего им больше всего хотелось бы.

В завершение всех аналогий с концепциями нэпа можно отметить и одно существенное отличие. Тогдашние экстремисты лишь на ближайший период добивались высокой нормы прибыли, а нынешние горячие головы, вооруженные всеми ресурсами электронно-вычислительной техники, требуют уже максимизации этих норм без всяких ограничений. Но можно ли усмотреть какой-либо прогресс в таком новом, на этот раз математическом «уклоне» от строгих требований экономической теории? Едва ли. Хрен редьки не слаще. И «максимальные» нормы прибыли еще глубже смогли бы вовлечь нас в пучину кризисов, чем просто «высокие», по образцам 1923 г.

Весьма понятно, что высокие нормы прибыли предполагают политику высоких рыночных цен. Значит, для максимальных норм потребовались бы уж и цены сверхвысокие. Но такие цены, выгодные лишь продавцам, крайне невыгодны покупателям и прежде всего всем трудящимся, снижая до минимума реальное значение их заработков. Напомним лишь тот «общий закон», зафиксированный еще Марксом, по которому *«прибыль повышается в той же мере, в какой понижается заработная плата...»* [2] Таким образом, те, кто требует у нас максимизации прибыли, тем самым ратуют за снижение реальной оплаты труда в СССР до такого же предельного ее минимума. Но едва ли такая политика целесообразна в условиях социализма. И, во всяком случае оптимальной в нашем планировании ее с точки зрения интересов рабочего класса признать никак нельзя.

Конечно, в условиях социализма и прибыль служит интересам рабочих. Однако «прибыли» здесь создаются за счет отложенных потребностей рабочих и служат в основном задачам расширения производства в интересах грядущих дней. Но ведь одновременно с фондами расширения должны расти и фонды вовсе неотложного, текущего потребления тех же рабочих. И оптимальным будет только такой план и такие цены которые обеспечивают рост и тех и других фондов — в наиболее для нас приемлемых, оптимальных пропорциях. Искомым в такой задаче таким образом, становится вовсе не максимум той или другой из этих

---

[1] «Коммунист», 1966, № 8, стр. 87.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 6, стр. 449.

величин, а наивыгоднейшее их распределение в общей сумме обеспеченного планом народного дохода [1].

Что же касается оптимальных цен в таком плане, то в интересах всего общества наиболее пригодными можно признать лишь равновыгодные для всех в эквивалентном обмене цены, т. е. цены по действительной трудовой стоимости всех благ.

Правда, в дискуссии о ценообразовании обсуждалось уже и много других предложений и практических рецептов на любой вкус. Наименее сложным из них является рецепт вернуться и в нашем планировании, попросту и без затей, к испытанной уже во всем мире системе «цен производства». Такие цены с надбавкой к «себестоимости» равной нормы прибыли во всех отраслях труда складывались в свое время стихийно в результате жестокой конкуренции частных предпринимателей на рынке, т. е. ценою немалых жертв и народнохозяйственных потерь. Однако единое плановое хозяйство прекрасно обходится и без равной нормы прибыли, и без излишних потерь. Так стоит ли возвращаться вспять по уже пройденному пути?

Цены производства, впрочем, не слишком еще отклоняются от стоимости. Но имеются рецепты и позатейливее. Нередко весьма видные экономисты и незаурядные математики выступают и с такими еще не опробованными новеллами в ценообразовании. Одни, например, сулят нам новые, особо выгодные трудовые цены, которые в сумме по всей конечной продукции «превышают ее трудовую стоимость». Другие строят свои цены на базе «объективно обусловленных оценок», вытекающих из не менее чуждой нам теории предельной полезности. Третьи, уже в явном отрыве от трудовой стоимости, базируют свои цены на сравнительной потребительной ценности разных благ, хотя еще полной загадкой остается сопоставимость их по этому признаку. Но и при наличии этой разноголосицы решающими остаются программные директивы партии.

Они не требуют от нас ни максимизации прибыли, ни повышения цен. Но в них твердо записаны две установки. *Первая:* «Цены должны во все большей степени отражать общественно необходимые затраты труда...» *И вторая:* «Систематическое, экономически обоснованное снижение цен на базе роста производительности труда и снижения себестоимости продукции — основное направление в политике цен в период строительства коммунизма» [2]. Это уже не дискуссионные установки. И если, неуклонно выполняя их, мы всегда будем еще помнить, по заветам Ильича, что «производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя» [3], то с этими установками коммунизм будет построен.

Ну а как же быть со всеми дискуссиями и столь существенными в них расхождениями по самым животрепещущим вопросам науки марксизма в наши дни?

В былые годы самой острой борьбы с контрреволюцией подобные расхождения даже в собственных внутрипартийных рядах, несомненно, казались весьма опасными. И меч диктатуры пролетариата беспощадно пресекал появление любых потенциальных «ересей» в этих рядах, отсекая их в самом их зародыше, на корню. Но тем самым всякое продвижение вперед научного коммунизма надолго застопорилось. Омертвленные догмы застыли в анабиозе. И даже казалось, что они уже облекаются липкой плесенью на кафедрах обленившихся начетчиков. Состояние нетерпимое в любой науке.

Но времена меняются. И мы уже не страшимся любых расхождений в научных дискуссиях. Отжившие свое время идеи в свободной дискус-

[1] Подробнее об этом см. в моей книге «Проблемы социализма и коммунизма». М., 1965, раздел «Проблемы оптимальных пропорций», стр. 199 и сл.

[2] «Программа Коммунистической партии Советского Союза», 1961, стр. 90.

[3] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 20.

сии и сами постепенно опадают, как мертвые листья в октябре. А новые, творческие идеи лишь проверяются и обогащаются в таких столкновениях лучших умов. Из столкновения мнений родится истина, свидетельствует наш опыт. И мы можем лишь приветствовать, что научная жизнь в подобных столкновениях бьет уже вокруг нас ключом. В такой атмосфере, как кажется, воспрянут духом, просыпаясь ото сна, и самые отпетые начетчики прошлых лет. И чем чёрт не шутит, когда начетчики не спят! Ведь даже из плесени родится пенициллин. Во всяком случае, можно сказать, что один лишь факт такого общего оживления на фронтах нашей науки, где рука об руку соревнуются физики и лирики, математики и экономисты — ободряющий итог наших дней.

К тому же все эти дискуссии, обсуждения и рассуждения в плановом хозяйстве и делу не помеха. Ибо каждой задаче отводится свое время. Определяя при этом трудящимся их рабочее время, необходимое для выполнения всей их производственной программы, план высвобождает им все больше «свободного времени» и для других задач в области науки и культуры, с таким примерно наказом: «В свободное время дискутируй с кем хочешь и спорь хоть до слез, но производственная программа должна быть выполнена на все сто процентов».

Таков закон. Но лучше всего, если его веления выполняются не страха ради, а без всякого понуждения, с полной охотой и личной заинтересованностью в этом всех исполнителей каждого плана. К этой основной задаче — обеспечить такую систему планирования, при которой с общими интересами всей страны в количественном и качественном выполнении планов будут в наибольшей мере совпадать и все частные интересы каждого из исполнителей этих планов,— и направлена, как нам кажется, проводимая реформа научной организации труда и управления.

Конечно, с этой центральной задачей реформы теснейшим образом увязывается и ряд других. Для нас важно не только дружное выполнение наших планов, направленных к ликвидации важнейших производственных диспропорций, скорейшему подъему сельского хозяйства и наиболее прогрессивных из числа новейших отраслей индустрии. Не менее важно и общее ускорение временно затормозившихся темпов нашего хозяйственного роста за счет нового повышения производительности труда. А еще очень важно дальнейшее развязывание самодеятельности самих трудящихся в их социалистическом соревновании за высшую эффективность труда и всемерное поощрение их инициативы в области массового рационализаторства и изобретательства в этой среде. Кстати сказать, это особенно многообещающий резерв в связи с широкими перспективами дальнейшего внедрения науки непосредственно в производство, а также среднего и высшего образования в головы непосредственных производителей у станка. Наконец, весьма важно и все то, что освобождает от слишком назойливой и мелочной опеки непосредственных руководителей производства на местах, растормаживая их творческую энергию от бюрократических излишеств чрезмерной централизации.

Однако все эти многообразные задачи тем успешнее будут выполнены, чем глубже будет продумана и полнее реализована центральная идея реформы о теснейшей увязке общенародных интересов планирования с самой конкретной и земной заинтересованностью в оптимальном выполнении каждого плана прежде всего всех его исполнителей — сверху донизу и обратно. Но это совсем не легкая задача. Для своего решения она требует и продуманной тарификации повременной оплаты труда всех профессий по их квалификации, и научного нормирования сдельной оплаты по миллионам изделий и операций, и всеохватывающей системы премирования и поощрения многообразнейших достижений труда, а главное, немалых ресурсов для образования необходимых фондов поощрения по всем видам индивидуального и коллективного премирования.

Образование этих фондов мыслится за счет ресурсов прибыли каждого данного предприятия. И там, где коллектив предприятия добился повышения прибыли за отчетный период, возможность такого ее использования не вызывает сомнений. Но ведь в поощрении нуждаются и другие достижения производственников, например экономия в издержках прошлого труда, улучшение качества продукции, повышение производительности труда... И они, конечно, независимо от наличия прибыли заслуживают премирования. А между тем у нас имеются даже целые отрасли труда без прибыли, хотя производительность труда в них и растет. И пока еще неясно, за счет каких ресурсов предполагается поощрять в них миллионы рабочих за самое важное для победы социализма — за рост производительности труда. Но уже ясно, что однобокая ориентировка на прибыль в подобных случаях потребует еще поправок.

Отдельные предприятия и даже крупные их объединения при неравной оснащенности средствами труда и ресурсами энергии не могут быть в равной мере рентабельными в условиях социализма. Однако добиваться равной «нормы прибыли» — по отношению к наличным производственным фондам — у нас нет оснований. Ведь новая стоимость создается только живым трудом. А для того чтобы обеспечить равные «нормы накопления» — по отношению к затратам труда в межотраслевом их разрезе,— достаточно только выравнять все цены у потребителей по общественной стоимости реализуемой продукции. Но для того чтобы создать равные условия соревнования производственников и стимуляции их труда в каждом из хозрасчетных предприятий, этого явно недостаточно.

Коллектив каждого из них не должен отвечать за те независимые от него локальные условия, которые могли бы незаслуженно повысить или понизить его шансы в соревновании со всеми другими. Такие условия следует исключить, определяя локальную рентабельность каждого из них в пределах объединения на базе «расчетных» с ним цен с учетом «дифференциальной», по Марксу, т. е. индивидуальной стоимости их продукции. Нормы такой дифференциальной рентабельности отдельных предприятий при этом, несомненно, сблизятся, но полного их выравнивания в условиях соревнования ожидать не приходится.

Ведь и по рентабельности, даже при всех прочих равных условиях, передовики будут опережать отстающих. Методика всех таких расчетов, однако, далеко еще не разработана и требует обсуждения.

Обсуждаются еще и самые принципы наиболее эффективного распределения накоплений между потребностями централизованного их использования в общих интересах страны и локальными нуждами каждого из отдельных хозрасчетных предприятий. Ставится вопрос, каким из этих потребностей следует отдать предпочтение. А в связи с этим и другой: кого же в условиях социализма надлежит рассматривать в качестве основного распорядителя всех накоплений страны? Уполномоченные на это центральные органы управления или прежде всего самих непосредственных производителей всех благ на местах?

До сих пор по господствующей у нас концепции демократического централизма в непосредственное распоряжение отдельных предприятий из общих накоплений страны предоставлялись, сверх необходимых им фондов реновации и модернизации, лишь весьма скупые фонды индивидуального и коллективного поощрения трудящихся каждого из этих предприятий. Проводимая ныне реформа в развитии хозрасчетных рычагов управления значительно расширяет возможности экономической стимуляции труда многообразными фондами предприятий. Но имеются уже экономисты, требующие идти еще дальше в развитии хозрасчета. Порядок распределения прибыли, соответствующий полному хозрасчету социалистических предприятий, должен — по их концепции — исходить из того, что прибыль как результат хозяйственной деятельности

коллектива принадлежит этому предприятию. Из нее предприятие производит платежи в бюджет по определенным нормативам, возвращает банковские ссуды и выплачивает проценты. Оставшаяся же часть прибыли используется на развитие предприятия, дополнительное материальное поощрение работников и создание резервных фондов.

Автор называет такой порядок распределения прибыли «остаточным». Имеется в виду, что каждое отдельное предприятие со взносом «платы за фонды» и всех прочих установленных платежей в бюджет из своей валовой прибыли приобретает тем самым в качестве исправного арендатора государственных средств труда уже неотъемлемое «право собственности» или по меньшей мере серьезные претензии на всю «остаточную», чистую прибыль за вычетом таких платежей. Такой правопорядок, вполне осуществим. Но в нем чувствуется уже заметный «уклон» от социализма к синдикализму. А вместе с тем обнаруживаются и некоторые скрытые угрозы успехам оптимального планирования.

Мы не догматики, но, расценивая без всяких предубеждений все плюсы и минусы такого поворота к устремлениям синдикализма, мы не можем признать за ним достаточной целесообразности. Конечно, передача всей «остаточной прибыли» в полное распоряжение хозрасчетных предприятий углубит их заинтересованность в росте накоплений, умножит возможности стимуляции трудящихся, расширит местную инициативу и самодеятельность масс, ослабит чрезмерную централизацию планирования, увеличит общие масштабы реконструкции устаревших предприятий по сравнению с требованиями нового строительства и тем самым повысит фондоотдачу на единицу вложений, а может быть, на время ускорит и общие темпы роста всего общественного продукта. Но если все это плюсы, то за каждым из них скрываются значительно превышающие их минусы.

В самом деле, прежде всего претензии любого местного коллектива рассматривать чистую прибыль, полученную в государственном предприятии, как результат только его собственной хозяйственной деятельности ничем не могут быть оправданы. Этот результат определяется и ценами, и размещением предприятий в отношении к рынкам сбыта и поставщикам сырья, и производственными условиями в сопряженных отраслях труда, и наличием пропорций или диспропорций в его распределении по всему народному хозяйству, и многими другими обстоятельствами. И в сущности в условиях социализма любой трудовой коллектив может твердо претендовать лишь на то, чтобы в обусловленной всем равной оплате по труду был, в частности, учтен и тот прирост производительности каждого из его сочленов в отдельности и всех вместе, какой ими достигнут за отчетный период.

Предоставляя им сверх того и всю чистую прибыль в интересах местного значения, нельзя, в частности, избежать и всех опасностей «местничества» и прежде всего расширения производственных диспропорций в недопустимых масштабах. Излишняя самостоятельность в столь широком использовании общественных ресурсов на местах их присвоения неизбежно вступит в противоречие с общими интересами всей страны. Например, интересы страны требуют подтягивания отсталых районов к передовым. А использование чистой прибыли, освоенной в предприятиях и без того наиболее промышленных районов у себя на местах, наоборот, лишь увеличит неравномерность их размещения по всей стране.

Точно так же если все чистые накопления наиболее прибыльных отраслей труда будут целиком использованы на дальнейшее их развитие, независимо от потребностей страны, вместо того чтобы в централизованном порядке направить их туда, где они всего нужнее, то это лишь умножит наперекор всем требованиям планового хозяйства имеющиеся в нем диспропорции и внесет новые элементы дезорганизации и хаоса. Еще менее целесообразно распылять страховые фонды и резервы стра-

ны по всем ее многотысячным предприятиям, несмотря на то, что такое распыление их рекомендуется в интересах «полноты» хозрасчета некоторыми экономистами. Централизованные резервы заведомо можно полнее и эффективнее использовать, чем до конца распыленные. К тому же подобная их децентрализация вовсе уже не мирится с ленинскими установками на демократический централизм. И можно лишь порадоваться, что экономическая реформа не пошла по следам таких экономистов.

Все успехи этой реформы на путях к коммунизму еще впереди. Многое еще на этих путях потребует от нас и теоретических дискуссий, и опытной проверки. Но основное уже нащупано в нашей практике. И больше всего обещает центральная идея плана наладить такую практику планирования, в которой общие интересы страны в наибольшей гармонии сочетались бы с повседневными интересами всех его исполнителей — в процессе стимуляции и научной организации труда. Кое-что, в частности, уже и реализуется в таком перспективном ресурсе нашей грядущей мощи, как изобретательство и массовая рационализация труда в СССР. Скупиться на средства в их поощрении — это самая нерасчетливая политика. Поощрять их за счет текущей прибыли предприятий невозможно, ибо весь эффект рассчитан на реализацию экономии в будущем. И, стало быть, для поощрения их необходимо изыскивать другие источники. А между тем стоит посмотреть, какими бурными темпами возрастает исчисляемая за их счет экономия в хозяйстве (см. табл.).

Следует заметить, что в исчисленных здесь суммах «экономии» на долю более крупных «изобретений» приходится не свыше 11% учтенной экономии. И, стало быть, львиная доля этой экономии образуется за счет более мелких вкладов творческой мысли рядовых производственников у станка. Каждый из таких вкладов экономит нам пока лишь сотни рублей. Но рационализаторы и изобретатели уже теперь насчитываются миллионами, а через 10—20 лет будут исчисляться десятками миллионов. И, контролируя на ходу, за работой, производство по всей стране, такие нештатные его наблюдатели будут, конечно, и независимо от заводских конструкторских бюро нащупывать повсеместно и повседневно миллионы крупных и мелких улучшений. А затем в свободные часы, за пределами рабочего дня, и реализовать их в своих заявках и предложениях с тем большим успехом, чем выше будет образовательный и культурный уровень таких рационализаторов и изобретателей.

В наше время и те и другие, несомненно, как раз входят ближайшим образом в число тех живых сил, посредством которых — по Марксу —

Таблица

Изобретательство и рационализация в СССР

Годы	Число авторов	Поступило предложений	Из них внедрено	Экономия за счет их внедрения	
	тыс.			млн. руб.	%
1950	555	1241	655	498	100
1955	1138	2080	1169	625	126
1960	2431	3987	2536	1457	292
1961	2694	4152	2676	1620	325
1962	2732	4259	2818	1695	340
1963	2757	4120	2745	1645	331
1964	2836	4053	2761	(1666)	334
1965	2935	4076	2841	(1760)	354
1966	(3040)	4126	2841	2000	401
За 16 лет (1951—1966)	30 465	48 364	30 700	17 982	3600

наука заставляет силы природы служить труду и по-настоящему сама становится уже непосредственно производительной силой страны.

Показательны темпы, какими рационализация силами самих производственников расширяет свои пределы в нашей стране. Население страны с 1950 г., за 16 лет, возросло всего на 28%, число рабочих и служащих почти удвоилось, расходы по государственному бюджету на все образовательные задачи и науки возросли при этом на 223%, а экономия за счет массовой рационализации производства — в 4 раза! А при таких темпах роста, не менее 9% в год, эта экономия, обгоняя рост народного дохода, к 2000 году возрастет еще раз в 20. Нужно еще учесть, что эта экономия образуется сверх всяких планов, рассчитанных на успехи дорогою ценою крупных капиталовложений. Сверхплановая экономия добровольцев рационализации — в основном за счет одной лишь творческой их смекалки, в немногие еще часы их внерабочего времени,— уже теперь обходится много дешевле. Но вот границы «свободного времени» наших рационализаторов в ближайшие годы будут неуклонно расширяться за счет сокращения рабочего дня всех производственников. А вместе с тем будет расти и удельный вес их свободного творчества в общих итогах народного дохода.

Учитывая высокую производительность творческого труда и то, что в условиях полного коммунизма «свободное время» трудящихся и по числу часов в сутки превзойдет длительность нормального рабочего дня в производстве, становится яснее, насколько возрастут возможности всех нештатных любителей рационализации и реализуемая ими экономия в народном хозяйстве. Любопытно сопоставить уже теперь масштабы этой экономии с теми затратами, какими прежде всего питается творческая энергия миллионов рядовых рационализаторов.

Все затраты на школьное просвещение в СССР за 1966 г. составили не свыше 13 млрд. руб., а экономия за счет новшеств рационализации— 2 млрд. руб. Но ведь внедряются такие новшества не на один год и дают экономию, пока не устареют, не менее 5—10 лет. Таким образом, учтенная экономия возрастает уже до 10—20 млрд. руб., окупая только по линии этой сверхплановой отдачи чуть ли не полностью все ежегодные затраты по линии просвещения трудящихся. Однако школьное просвещение повышает квалификацию, а вместе с тем и отдачу не только 3 млн. рационализаторов, но и всех 80 млн. рабочих и служащих, занятых в стране. И в той же пропорции повышается и общая их отдача стране.

Еще продуктивнее затраты на науку, хотя бухгалтерски их «рентабельность» и не поддается учету. Мы еще недооцениваем всего, что нам обещает научная организация труда и управления.

Научная организация труда — это прежде всего такая его организация, которая ставит перед собой задачу неуклонного роста производительных сил общества без всякого ущерба здоровью и жизни трудящихся и даже с облегчением и сокращением в общей сумме затрат доли самого простого и утомительного физического труда за счет расширения наиболее сложных и совершенных форм труда умственного. С ростом автоматики и телемеханики границы времени, необходимого в сфере общественного производства, при этом, конечно, сильно сократятся. И это откроет перед нами новые просторы «свободного времени» в целях всестороннего развития наших индивидуальных способностей, ради использования их в наиболее плодотворном и привлекательном на всех поприщах — творческом труде. Именно такой все более привлекательный труд станет со временем из рядового средства существования первой потребностью нашей жизни. В соединении с радостями культурного отдыха этот полноценный труд, несомненно, завершит своим Разумом и Красотой всю многогранную полноту нашей жизни.

И тогда мы уже подойдем вплотную от Октября к коммунизму.

90-ЛЕТИЕ АКАДЕМИКА С. Г. СТРУМИЛИНА[1]

В Московском Доме ученых 31 января 1967 г. состоялось торжественное заседание, посвященное чествованию выдающегося советского ученого, одного из крупнейших современных экономистов, Героя Социалистического Труда, академика Станислава Густавовича Струмилина.

Отметить 90 лет со дня рождения и 70 лет неутомимой и плодотворной научной, педагогической и общественной деятельности юбиляра пришли видные деятели науки, работники партийных и общественных организаций, преподаватели многих вузов, журналисты, друзья и воспитанники С. Г. Струмилина. В адрес юбиляра поступило свыше 300 приветственных телеграмм от научных и общественных организаций нашей страны, а также из-за рубежа. Приветствия С. Г. Струмилину прислали члены Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов и А. И. Микоян, заместитель Председателя Совета Министров СССР, Председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков, президент АН СССР М. В. Келдыш.

Открывая торжественное заседание, вице-президент АН СССР П. Н. Федосеев сказал: «Яркий талант, помноженный на огромное трудолюбие, высокая принципиальность и марксистско-ленинская закалка — вот тот чудесный сплав, который можно назвать струмилинским стилем. Вклад Станислава Густавовича Струмилина в развитие советской науки велик и многогранен. Политическая экономия и философия, планирование народного хозяйства и статистика, экономика труда и демография, социология и история народного хозяйства — вот неполный перечень отраслей науки, где Станислав Густавович проложил новые пути и внес новые идеи, во многом обогатившие эти отрасли знаний».

С докладом о жизни и деятельности юбиляра, представителя славной плеяды ученых-коммунистов старшего поколения, работавших под непосредственным руководством В. И. Ленина, выступил на заседании академик А. М. Румянцев. Прекрасная жизнь Станислава Густавовича, говорит докладчик, его неустанное творческое горение, энтузиазм и страстность ученого-борца, его феноменальная работоспособность, скрупулезность и добросовестность в исследованиях — образец беззаветного служения партии, народу, науке, пример для всех советских экономистов и экономистов братских социалистических стран. На его трудах выросли и воспитались тысячи практических и теоретических работников экономического фронта.

Поздравляя юбиляра от имени работников государственной статистики, начальник ЦСУ СССР, член-корреспондент АН СССР В. Н. Старовский отметил большую роль Станислава Густавовича в становлении советской статистики. Он вспомнил, что свыше 40 лет тому назад, в 1922 г., будучи еще молодым статистиком, он присутствовал в качестве

[1] «Вестник статистики», 1967, № 4, стр. 89—91.

делегата на III Всесоюзном съезде статистиков, где С. Г. Струмилин активно участвовал в обсуждении многих вопросов и выступал с докладом. Уже тогда Станислав Густавович произвел на всех огромное впечатление своей научной эрудицией, принципиальностью и глубоким пониманием сущности обсуждаемых проблем. Авторитет С. Г. Струмилина в то время ярко проявился в единодушном избрании его тайным голосованием в постоянную исполнительную комиссию статистических съездов.

В. Н. Старовский напомнил, что имя С. Г. Струмилина часто встречается в записках и поручениях В. И. Ленина, что Владимир Ильич дважды писал о предоставлении квартиры С. Г. Струмилину.

Советские экономисты хорошо помнят и знают, каким активным борцом за дело социалистического планирования является Станислав Густавович, как он боролся с буржуазными экономистами, с троцкистами и другими врагами нашей партии по коренным вопросам развития социалистической экономики.

От зарубежных гостей Станислава Густавовича поздравил директор Института экономики Академии наук ГДР Карл Бихтлер.

С. Г. Струмилин в среде советских ученых известен не только как выдающийся экономист, но и как большой гуманист. В семье Станислава Густавовича воспитались и получили путевку в жизнь более десяти приемных детей. От имени его воспитанников со словами глубокой любви и признательности к юбиляру обратился лауреат Ленинской премии П. Н. Гольцев.

В заключение на заседании выступил встреченный долгими аплодисментами С. Г. Струмилин.

«Дорогие товарищи! — говорит Станислав Густавович,— я глубоко тронут высокой наградой и от души благодарен вам за все те теплые слова и добрые чувства, какими вы почтили меня сегодня, в день моего 90-летия. Позвольте, однако, сегодня мне быть очень кратким. Позвольте лишь поделиться здесь с вами теми мыслями, какие были записаны мною в связи с юбилеем всего пару дней тому назад.

Понятно, что, отмечая день юбилея любого из своих ученых, наша общественность воздает должное прежде всего тем наукам, какие обогащаются их трудами. Но даже в такие праздники самой науки не следует забывать, что в наше боевое время соревнования двух систем и на поприще наук, как и в других областях, один в поле не воин. Для сколько-нибудь крупных побед на любом фронте прежде всего требуются «большие батальоны». И на фронте науки лучшие творческие достижения доступны лишь крупным коллективам ученых. Каждого из них в отдельности при всех их индивидуальных достоинствах можно рассматривать при этом лишь как дифференциально малую величину. Но все вместе в дружном строю и в свободном соревновании за выполнение общих задач они успешно продвигают вперед нашу науку. Кстати сказать, чем больше в этом творческом соревновании обнаруживается разномыслий и противоречий, тем быстрее освобождается от ошибок, обогащается и радует своими потенциями развития и наша экономическая наука. И совсем не потому, что в ней уже все достигнуто, обосновано, ясно, бесспорно и остается лишь почивать на лаврах, пережевывая старые истины. А как раз наоборот. Радует нас то, что в этой науке на наших глазах возникают все новые интереснейшие проблемы и трудности, для преодоления которых нужны все новые методы и подходы, глубокие поиски и смелые дерзания — и вообще открывается необъятное поле очень нужной, более, чем когда-либо, творческой борьбы и радостной работы в области нашей славной науки.

Нам, советским экономистам, рано еще почивать на лаврах. Наша экономика, перед которой Октябрьская революция открыла широчай-

шие возможности развития, одержала, несмотря даже на многие из наших промахов и ошибок, немало несравненных побед. Но времена меняются, хозяйство растет, и перед лицом новых трудностей роста, перед которыми мы стали в наши дни, нам, по-видимому, потребуется для их преодоления много дружных усилий. Экономистам в наши дни дремать некогда. И, признаться, у меня лично, несмотря на возраст, все еще чешутся руки внести и свою долю участия в решение тех боевых задач, какие ставит перед нами жизнь. Убежден, конечно, что не менее «рвутся в бой» и все те из нас, кто помоложе. И это радует меня не только за весь наш коллектив, но и за судьбы нашей самой боевой и растущей науки.

В заключение мне хотелось бы помянуть добрым словом и тех учителей, кому я в наибольшей мере лично обязан всем лучшим, чем живут и дышат в нашей стране. Немалым я обязан в своем культурном развитии нашей самой идейной в мире и наиболее захватывающей русской художественной литературе, творцов которой и наших общих учителей здесь не перечислить. Не могу пожаловаться и на своих школьных учителей, среди которых были далеко не заурядные люди. Но неизмеримо больше обязано наше поколение всему коллективу борцов и творцов социалистической революции, открывшей перед нами новую эру в истории. И уже совсем безмерно обязаны мы все таким вождям этой беспримерной революции, как Великий Ленин, учивший нас (и не только нас) самой высокой науке победоносного творчества — науке социалистической революции.

Но человек весь век учится. Многому научили меня долгие годы работы в Госплане. А затем вот уже 36 лет неуклонно просвещаюсь я в стенах Академии наук, в коллективе умов с мировыми именами. И, конечно, таким из них, как неповторимый Глеб Максимилианович Кржижановский и многие другие, я тоже премного обязан за науку. Но должен все же признать, что успешнее всего мы учимся на собственных ошибках, которых у меня было совсем не мало. Кстати скажу, что этот вид учебы по сравнению с другими имеет даже одно преимущество. Ведь за свои ошибки мы никому уж ровно ничем не обязаны».

Чествование Героя Социалистического Труда, академика С. Г. Струмилина вылилось в праздник советской экономической науки.

Р. Савранская

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

[1] Без мифологических имен.

СОДЕРЖАНИЕ

Станислав Густавович Струмилин

Воспоминания и публицистика

Утверждено к печати Отделением экономики АН СССР

Редактор *М. Е. Товмосян* Технический редактор *Н. Ф. Егорова*

Сдано в набор 9/I 1968 г. Подписано к печати 9/IV 1968 г. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага № 1.
Усл. печ. л. 42. Уч.-изд. л. 40,4. Тираж 6200. Т-06324. Тип. зак. 925. Цена 2 р. 74 к.

Издательство «Наука» Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва, Ж-54, Валовая. 28
Отпечатано во 2-й типографии изд-ва «Наука»

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
130	9 сн.	пришлось	не пришлось
195	8 св.	Алексаевку	Алексеевку
215	3 сн.	буржуазии	капитализма
386	26 св.	в то время	в то же время
388	25 сн.	при замирании	при замирении
393	29 св.	еще	аще

С. Г. Струмилин

2 р. 74 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

С. Г. СТРУМИЛИН

ВОСПОМИНАНИЯ И ПУБЛИЦИСТИКА